

1997–...

РУССКИЙ ЖУРНАЛ



1997–...

РУССКИЙ ЖУРНАЛ





Вы держите в руках сборник материалов Интернет-издания «Русский Журнал». Не ищите в разделах этой книги рубрик и колонок РЖ, которые приспособлены только для функционирования в Интернете. Это просто КНИГА. Вы можете перелистать ее, прочесть подряд или вразбивку и поставить на полку в своей домашней библиотеке.

РУССКИЙ ЖУРНАЛ

1997–...

<http://www.russ.ru>

Создатели проекта

Глеб Павловский (главный редактор и владелец проекта), *Дмитрий Иванов*,
Марина Литвинович.

Участники проекта

Елена Пенская (заместитель главного редактора), *Галина Скрябина*
(ответственный секретарь), *Илья Овчинников* (выпускающий редактор).

Елена Баранова, *Денис Бычихин* (корреспондент), *Евгения Викентьева*
(реклама), *Марина Волкова*, *Татьяна Восковская*, *Вячеслав Глазычев*, *Евгений*
Горный, *Иван Давыдов*, *Максим Егоров*, *Татьяна Задирака* (web-обеспечение),
Мария Ильницкая, *Сергей Ильницкий*, *Ольга Кабанова* (Культура), *Сергей*
Кузнецов, *Борис Кузьминский* (Круг чтения), *Андрей Левкин*, *Роман Лейбов*
(Net-культура), *Екатерина Ливергант*, *Людмила Локшина*, *Андрей Мадисон*
(Политика), *Леонид Мартынов* (художник), *Татьяна Можяева* (редактор),
Евгений Натаров, *Тихон Осипов*, *Сергей Петропавлов*, *Петр Поспелов*
(Культура), *Олег Пуля*, *Наталья Пчелкина*, *Юлия Савченко*, *Елена Тимошкина*
(редактор), *Марина Фрейдкина* (редактор), *Юлия Фролова* (редактор), *Ревекка*
Фрумкина (История современности), *Юрий Швецов*.

Рейтинги, награды

Награда сайта «Русская Америка», избранная страница НЖМД, второе место на конкурсе «Da-da-net» 1998 года в номинации «Ресурс на тему культуры и искусства», награда «АнТРОЦИТ» за лучший web-сервер 1998 года в номинации «культура и развлечения». Стабильное место в первой двадцатке категории «Политика» в каталоге «Рамблер».

Контактные лица

Евгения Викентьева jany@russ.ru, *Галина Скрябина* russ@russ.ru.

Содержание

Предисловие 8

ВЛАСТЬ

- Глеб Павловский.* Ельцин. Свобода. Стальная дверь 11
Андрей Левкин. Россия в августе: четвертая матрица 14
Владимир Дворников. О принципе дифференцированного голосования 23
Юрий Бокарев, Сергей Митрофанов. Главная задача экономики XX века 35
Владимир Золоторев. Почему у нас ничего не получается? 43

ЯЗЫКИ

- Лев Сигал.* Разгневанный пурист и рассудочный лингвист, или Инвектива против живого русского языка 57
Симон Кордонский. Чапаев, штирлиц, русский, еврей, брежнев, чукча + ельцин = пушкин 63
Аркадий Драгомощенко. Засада 67
Михаил Айзенберг. Повод для разговора 70
Георгий Винокуров. Сделка с бессознательным 76
Сергей Земляной. Перелицовка как творческий метод политического высказывания 81
Михаил Ремизов. Война, язык и неврастения 90
Александр Алтунян. Виктор Клемперер — солдат культурного фронта 99
Сергей Ушакин. Видимость мужественности 107

ПЕРСОНЫ

- Андрей Новиков.* Облако в штанах 133
Евгений Майзель. Березовский: мифологический портрет в интерьере 140
Вячеслав Курицын. Солженицын после восьмидесяти 145
Ревекка Фрумкина. Реформатский сегодня 149

Евгений Горный, Игорь Пильщиков. Лотман
в воспоминаниях современника 156
Сергей Гандлевский. Бродский. Олимпийская игра 166
Виктор Кривулин. Завещание в занавешенном зеркале 171
Всеволод Некрасов. Лианозовская группа.
Лианозовская школа 178
Моему Я — грош цена. Интервью *Елены Ознобкиной*
с *Валерием Подорогой* 192

ЭЛИТЫ

Иван Давыдов. Новое русское средневековье 207
Генри Алисон. Патент на любопытство 214
Дмитрий Рузаев. Золотые наши старики 217
Михаил Айзенберг. О временах, о нравах 227

АМБИЦИИ

- I *Аркадий Драгомощенко.* Поэтика суверенности 233
Марк Печерский. Американский 1968-й 237
Михаил Вербицкий. Helter skelter-68 242
Андрей Левкин. Интеллигенция как художественный проект 248
Псой Короленко. Кот внутри 252
Владимир Тучков. Яркевич и интеллигенция 257
Елена Мулярова. Из хиппи в яппи 265
- II Навіть навернулись слёзи.
Читатели обсуждают статью *Елены Муляровой* 269

ПОД СЕТЬЮ

Дмитрий Рузаев. Квантовая голова 307
Пауль Треанор. Интернет как гиперлиберализм 313
Андрей Левкин. Человек с топором 323
Джон Перри Барлоу. Продажа вина без бутылок:
экономика сознания в глобальной Сети 330
Игорь Пильщиков. Кибер-коммунизм как виртуальная реальность,
или «Барбрук в поход собрался...» 358
Андрей Левкин. Татуировки на мозге 368
Интернет убьет кино, вино и домино.
Интервью *Ильи Овчинникова* с *Максимом Мошковым* 373

- Роман Лейбов.* 1545 слов о фантиках 384
Алексей Андреев. Изнасилованный глаз 390
Мирза Бабаев. Религия в киберпространстве 399
Михаил Вербицкий. Кибология - религия эпохи Интернета 402
Евгений Горный. Интернет для журналистов 407
Юля Фридман. Дмитрий Вулис, Ph.D.,
и Пользователь Красная Шапочка 423
Евсей Вайнер. Баста, карапузики?
или Как закалялось оптоволокно 443

ПЕРЕМЕНЫ

- Георгий Кнабе.* Европа. Рим. Мир 451
Александр Секацкий. Братва 468
Сергей Чернышев. Неудержимая власть 472
Борис Дубин. Литературная классика в идеологиях культуры
и в массовом чтении 478
Беседа *Владимира Альбрехта* с *Глебом Павловским* 489

ЮДОЛЬ

- Денис Бычихин.* В людях-2 501
Александр Скидан. О пользе и вреде Петербурга для жизни 504
Николай Малинин. Жизнь и смерть валютной проститутки 512
Ольга Кушлина. Полтора квадратных метра 516
Илья Овчинников. Маятник Мариной 520

ТВЕРДЬ

- Михаил Ямпольский.* Дневник чтения 529
Виктор Сонькин. Чума на оба ваших чума! 534
Вячеслав Глазычев. Сад демонов 537
Сидни Монас. Джойс и Россия 541
Виктор Сонькин. Только для сумасшедших 554
Глеб Павловский. Друг Отечества, Катилина! 557
Андрей Левкин. Не все @ — ангелы, да и любишь немногих 565

Предисловие

Интернет-издание «Русский Журнал» открылось 14 июля 1997 года.

Нам помог непростой опыт журнала «Век XX и мир» (1987–1995), а ориентиром, виртуальным «близнецом-соперником» послужил американский сетевой проект журнала для интеллектуалов, задуманный, но так и не воплощенный Биллом Гейтсом в начале 90-х.

Осознанно балансируя на стыке двух культур — бумажной и сетевой, создатели РЖ впервые в русскоязычном секторе Интернета поставили своей целью охватить в одном издании вопросы современной литературы, политики, экономики, культуры.

Мы рискнули объединить невиданные ранее в Рунете крупномасштабные формы и солидность содержания, свойственные скорее «толстым» бумажным журналам, с чертами, типичными для электронных СМИ: портрет нашего читателя/пользователя размыт, текст нелинеен, а у процесса изготовления продукта нет ни начала, ни фиксированного конца.

К счастью, концепция настоящей книги не требовала от нас специально-го осмысления проблем, которым посвящены сотни дискуссионных статей и монографий. Мы не стали размышлять о том, чем сетевая словесность отличается от оффлайновой и каковы сравнительные достоинства и недостатки текстов на экране монитора и на старой доброй книжной странице.

Вы держите в руках просто сборник разнородных по тематике и стилистике материалов (иные, кстати, публиковались только в печатной версии РЖ — журнале «Пушкин», 1997–1998). Не ищите в разделах этой книги рубрик и колонок РЖ, которые приспособлены только для функционирования в Интернете. Даже образец такого сугубо сетевого жанра, как читательский форум (см. раздел «Амбиции»), оказался здесь не столько из-за своей «сетевизны», сколько потому, что этот конкретный форум читается как традиционный эпистолярный роман.

Словом, перед вами — просто книга. Которую можно положить на край стола, поставить на полку, перелистать, прочесть вразбивку или подряд. Даже, если придет охота, отсканировать и поместить в Сеть.

При всех видовых различиях он- и оффлайна одно правило остается неизблемым: плохой текст плох на любом носителе. А хороший — на любом хорош.

По крайней мере, мы в это верим.

Редакция РЖ

ВЛАСТЬ

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ

Ельцин. Свобода. Стальная дверь

К психиатрии демократического процесса в России

День рождения Бориса Ельцина 1 февраля 1988 года в службе «Факт» — предшественнике издательского дома «Коммерсантъ» — был днем, когда нам устанавливали стальную сейфовую дверь стоимостью в 1000 (одну тысячу) рублей. Безумная цена! То было одно из первых кооперативных изделий в Москве. В моду входили только что отставленный Ельцин, гласность и кооперативы.

Рынок стальных дверей, целиком захваченный кооператорами, как раз тогда переживал бум. Сам фонд Сороса (он теперь именуется Институтом «Открытое общество») начал деятельность в СССР с того, что всем членам правления — «прорабам перестройки» — врезал бронированные, будто из бункера рейхсканцелярии, врата; такие же Сорос даровал и иным драгоценным для русской культуры лицам (свидетельство директора фонда Сергея Чернышева).

С чего бы это? Что угадывал москвич времен горбачевской идилии в словах рекламы: *«Дверь нашей конструкции выдерживает не менее 30 минут нахождения в пламени ацетиленовой горелки, а также очередь в упор из автоматического оружия»?* Незримый ацетиленовый страх вышагивал впереди перестройки, как Христос из «Двенадцати»; свобода от страха была ее манией или, если угодно, Психеей. И все это — в самом безопасном городе СССР, где никто на улицах пока не стрелял, и в арсенале милиции еще не появились ни расчехленные автоматы, ни метровые кусачки, перекусывающие рельс.

Готовясь к демократическим реформам, Москва одевалась в листовую сталь и как следует запиралась. В том же феврале 1988-го грянул погром в Сумгаите.

Чутье советского человека сразу заметило важную деталь и распространило ее по системе тайных слуховых окон СССР: в Сумгаите фанерные двери проламывали, хозяев вытаскивали на улицу и убивали.

Полы разгромленных армянских жилищ были усеяны перестроечными «Огоньками» с популярным романом Рыбакова «Дети Арбата»: его тогда выписывали все. Вспоминается, как будущую демократию заново обучали лгать: обороняя тезис «Наш человек добр — портит его государство», погром, вопреки фактам, объяснили директивой ЦК КПСС. Но армянину, которого толпа соседей выковыривала из его квартиры, уже никакой Коротич ничего не мог доказать — он видел перед собой пасть зверя. Зверем был сосед, переставший бояться государства. Власть уходила, настало понимание важности крепкой двери.

Сумгаит сильно разогрел спрос. В службе «Факт» мы готовили уставы дверных кооперативов десятками. По Москве вдруг было установлено двести тысяч стальных дверей! За дверьми кипела свобода, которую тогда принято было называть «демократией»: свобода смотреть телевизор и выглядывать наружу в глазок. Как хочешь, так и живи, трогать не стану — с этими словами государство ушло, навсегда ограничив демократию пультом ТВ.

Надо понять, почему жизнь без диктата оказалась для нас приемлема только в форме жизни **без государства**? Ответ на вопрос означал бы разъяснение загадки ельцинского десятилетия. Заодно мы поймем тайную связь Горбачев-Ельцин.

Смерть добрейшего Ленгинаса Белопетрявичуса — тогда отвечавшего в аппарате правительства за кооперативы — мешает уточнить его слова конца 1987 года, хорошо мне памятные: «Да делайте что угодно — милиции и ОБХСС Рыжков запретил вас проверять!» Разве это не то же, что «берите столько суверенитета, сколько сможете»? Возьми себе столько государства, сколько унесешь на себе, — решил наш Али-Баба Ельцин. И сам поступил так же.

Почему мы не доверили себя никому из более рациональных и практичных политиков? Что виной — наша безответственность? Заведомое нежелание опять оказаться в чьей бы то ни было регулярной власти? Или в «деловых людях» и «хороших практиках» чувствовалось что-то опасное, чего мы боялись еще больше? Так или иначе, выбор сделали: поставив себе двери из двух листов стали толщиной в полсантиметра каждый, граждане СССР сочли государство излишним.

Команда Горбачева начала разбирать систему управления страхом. Чуть позже Ельцин объявит ее навсегда отмененной. На разного рода кляузы и «сигналы» он отмахивался: люди столько натерпелись — пусть отдохнут от властей! Побазарят, поворуют... И что же? История перестала существовать. Человеку сказали: иди и живи без твоего врага, государства, — человек укрылся за дверью, в меру сил и умения осуществляя отсюда набеги на себе подобных. Не стало внешнего мира, силы тяжести, реальность заканчивалась в поле экрана и дверного глазка.

Так, человек из Свердловска, никогда не читавший ни Герберта Маркузе, ни иных критиков репрессивности, провел глобальный опыт по отмене «необходимых условий, институтов и правил игры». Синдром свободы за дверью обернулся систематической обоюдной агрессией. Вновь повторился вечный шок русских революций — свобода дала России не меньше оборотней, чем террор, и соотечественники представились друг другу зверьем. Морлоки охотятся на обобранных элоев перед жалкими их телевизорами, из которых элои тщетно ждут справедливости — то есть немислимых кар.

Россия сама себе — целое экспериментальное человечество. Правда, данные наших экспериментов чаще анализируют другие, а мы только переглядываемся: кто виноват? Вот и Ельцин под Рождество, уходя, испросил у людей прощения — за что же? За нашу человеческую природу? Один раз в истории стадо следовало оставить без пастуха. Россия сделала еще один шаг к пониманию всей проблематичности демократии.

31 января 2000 года

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Россия в августе: четвертая матрица

Что сразу приходит в голову? Нумерология никогда не производила на меня впечатления, но календарные закономерности не признать трудно — учитывая времена года, ну и что?

В августе, понятное дело, удобнее всего вести военные кампании, часть из которых будет выиграна, чем и будет достигнута определенная судьбоносность. Уместно проводить в это время различные торжественные госмероприятия — учитывая в случае России климат Петербурга, в котором они привычно и имели место.

Еще в голову приходит тот простой факт, что до Петра в России Новый год был в сентябре. Отчего, видимо, к этой дате некоторые дела и доделывались — сознательно или бессознательно, да и сама она явно согласуется с сельхозциклом. И это разумно, в новую жизнь надо отправляться с запасом харчей. Закончить дело к сентябрю, чтобы в сентябре начать что-то новое: опять же, учебный год — но это распространяется уже на новейшую историю. А потом — похолодает, а весной — авитаминоз.

Событий всегда, в любом месяце, происходит много, но август характерен какими-то вот такими специальными — не на уровне видоизменений внутри структуры, но — ее смены. Притом, что важно, не революционно, а что ли эволюционно, именно к августу естественно подводя к некоторому новому периоду и фазе развития.

Смотрим. Август — это военные операции: Брусиловский прорыв; Россия в Северной войне — и первые победы, и окончательная сдача

шведов в августе (августах). Суворов в августе сильно чехвостит всех подряд, то же самое делает Ушаков на море, а раз уж о море, то в августе началось первое кругосветное путешествие Крузенштерна на кораблях «Надежда» и «Нева» 1803-1806 годов (вернулись они тоже в августе, а следующим августом в кругосветку ушел Головнин). Ну а раз путешествия, то создание Географического общества, не говоря уже о петровском приказе волочь на ассамблеи женщин.

То есть в этих штуках проглядывает нечто связанное с прорывом — переходом в некое новое состояние на новый этап. Я тут не играю в московского психоаналитика, поскольку сексуальную бессознательность государства подо все это подводить не буду. Скорее, это уже изрядно традиционный Гроф, а именно — типы перинатальных матриц.

Гроф, по сути, здесь не слишком важен. Главное здесь не достоверность гипотезы, а ее наличие. Просто точка, откуда смотреть на ландшафты.

То есть мы имеем дело с неким существом (Россией), у которого раз в год, в определенный месяц (сильнее, слабее) происходит некий прорыв, почти физиологически ощутимое прорывание чего-то, и это действие на некоторое время удовлетворяет существо. Тип матрицы, очевидно, четвертый. *«По смыслу она связана с третьей клинической стадией родов, с непосредственным рождением ребенка. Главный парадокс здесь состоит в том, что находясь буквально на пороге освобождения, индивид ощущает приближение катастрофы огромного размаха».*

«Родственными психопатологическими синдромами здесь являются шизофренические психозы (опыт смерти-возрождения, мессианский бред, элементы разрушения и воссоздания мира, спасение и искупление, идентификация с Христом), маниакальная симптоматика, эксгибиционизм». Понятно, что за 10 последних лет всех этих штук мы насмотрелись во многих областях жизни.

Самое здесь для меня странное то, что в России всегда имелась среда, по-своему соответствовавшая элэдэшным методам Грофа, некая галлюциногенная психоделика. Хотя бы совершенно галлюцинаторный Петергоф, ландшафтная элэдэшка, открытая — в полном согласии с исследуемой закономерностью — в августе 1723 года как летняя резиденция Петра Первого и дальнейших российских императоров. Ну или столь же галлюциногенно-петергофское мероприятие — московский салют 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов.

Странно, конечно, что вполне личностные характеристики Грофа я пытаюсь тупо применить к массовому сознанию. Нет, не тупо —

они перешли на него через отдельно взятых индивидуумов, на это сознание влиявших.

Например, в августе 988 года Св.Владимир крестился и приступил к крещению Руси. В августе 1773 года появившийся в заволжских степях беглый донской казак Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III и призвал манифестом казаков, калмыков и татар к восстанию, чтобы *«злодеев-дворян — этих разорителей крестьян — ловить, казнить и вешать»*. А вот бессознательные двойники — в один и тот же день, 7 августа, в 1682 году взошел на престол Петр I, а в 1687 году Мазепа был избран гетманом Малороссии. В 1941 году Сталин сделался Верховным Главнокомандующим, и тоже в августе, но 1812 года, главнокомандующим стал Кутузов.

В августе 1745 года произошла свадьба наследника российского престола Великого князя Петра Федоровича, женой которого стала дочь прусского генерала, из мелких владетельных принцев Ангальт-Цербст, София Августа. Ее привезли в Петербург, обратили в православие с именем Екатерина Алексеевна. В общем, *«И месяц цезарей, ей Август улыбнулся»*, ну а Екатерина I 12 августа 1726 года утвердит Верховный Тайный Совет, а 10 августа 1767 года на четырех языках (русском, французском, немецком, латинском) будет издан ее «Наказ». Об августовском Пугачеве уже сказано.

То есть, от частного к общему, от персонажей к государству. Что государственного происходило в России в августе?

Дефолт, ГКЧП, в 1996-м Ельцин, избранный на второй срок, официально вступил в должность президента России. Александр I подписал рескрипт *«О запрещении тайных обществ и масонских лож»*, в 1905-м — Закон об учреждении законосовещательной государственной Думы. В 1906-м Николай II сообщает Петру Столыпину о назначении его председателем Совета Министров вместо Горемыкина. 1917-й — сформировано второе коалиционное Временное правительство под председательством Керенского. 1918-й — СНК РСФСР принял Положение о Высшем совете народного хозяйства.

Не уходя далеко от частного и общественного, посмотрим на их взаимопроникновение. Вот покушение 1906 года на Столыпина на Аптекарском острове — совершенно матричное, перинатальное: *«Случайно спасшийся депутат Муханов рассказывал, что не слышал звука взрыва, произведшего такое страшное опустошение в доме и убившего столько людей. В полной тишине Муханов был сброшен со стула, не потерял сознания и, встав на ноги, больше всего поразился наступившей темнотой: это штука обратилась в мельчайшую пыль, в которой дышать становилось невозможно. И лишь после этого он заметил в двух шагах от себя непо-*

движную фигуру церемониймейстера Воронина, спокойно остававшегося на своем месте, недоставало только головы...» Да и сами эти трое убийц: переодетые боевики эсеровской партии вошли в помещение, пользуясь своей маскировкой (двое были одеты как ротмистры жандармерии), но здесь были разоблачены одним из охранников. Увидев опасность, боевики взорвали бомбы, находившиеся в портфелях. Сами покушавшиеся были разорваны взрывом на куски, погибли еще 29 человек, большая часть дачи была разрушена, но Столыпин остался цел. Конечно, это тоже было в августе.

Следующий шаг: рациональное использование бессознательной матрицы в целях влияния на общество (далее я уже не буду называть месяц, в котором произошло событие, — все они августовские).

В 1934 году происходит Первый Всесоюзный съезд советских писателей — несомненно, событие, прямо относящееся к коллективному бессознательному (*«инженеры человеческих душ»* — сказано именно по этому поводу). Далее, подтверждая его глубинность: в 1946-м состоялось заседание оргбюро ЦК ВКП(б), посвященное вопросам культуры, а точнее, руководству культурой, после чего в том же 1946-м ЦК ВКП(б) приняло постановление *«О журналах „Звезда“ и „Ленинград“»* (Ахматова и Зощенко), а в августе 1954-го — Постановление Президиума Союза советских писателей *«Об ошибках журнала „Новый мир“»* (В. Померанцев, М. Лифшиц, Ф. Абрамов, М. Шеглов). В 1947-м в «Правде» опубликована статья Д. Шепилова *«Советский патриотизм»*, это начало кампании против космополитов. В 1947-м создана Академия художеств СССР, а в 1948-м завершила работу сессия ВАСХНИЛ, признавшая учение Т.Д. Лысенко *«единственно правильным»*.

То есть мы видим, что происходит некоторая петля — от личности к коллективному бессознательному, оказывающему уже обратное действие на индивидуумов и уже на более физиологическом уровне.

Вплоть до такой вполне фрейдистской бессознательной групповухи: подвиг Алексея Стаханова по части вырубки дыры в плоти Земли в 1935 году. Рекорд, установленный Стахановым на шахте «Центральная-Ирмино» (он за смену — 5 часов 45 минут — добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз), был произведен так: Стаханов бурил узкий проход, по которому продвигался сам, а следом шла бригада, расширявшая забой и крепившая стены. Вся выработка засчитывалась одному человеку. Советский народ откликнулся на трудовой подвиг: *«Даешь стране угля, // Хоть мелкого, но до хуя!»*

В прямой подсознательной связи с этим видом получаемого продукта стоит ваучеризация, начавшаяся в августе 1992-го, — действие решительно коллективно бессознательное, отвечающее массовым чайни-

ям некоего счастья. Обратим внимание на примерно схожий тип того же «угля»-ваучеров и наличие негативного опыта, связанного с подобной раздачей эрзаца ценных бумаг, — даже и не об обрушившихся в августе 1998 года ГКО речь, а о «Медном бунте» в Москве 1662 года, вызванном расстройством хозяйства страны и выпуском большого количества медных денег, приравненных к стоимости серебряных, что и привело к их обесцениванию. Что до ваучеров, то их стоимость была определена, исходя из оценки имущества российских предприятий на 1 января 1992 в 1 триллион 400 миллиардов рублей. Только долги предприятий друг другу к середине года уже в полтора раза превышали эту сумму.

Но учтем мистический механизм подобных — ваучерам, Стаханову — мероприятий. В этом же ряду следует упомянуть и о том, что в августе 1941-го советская авиация, базировавшаяся на островах Хиумаа и Сааремаа, совершила первый налет на Берлин (в ответ на налет гитлеровской авиации на Москву). 13 бомбардировщиков «ДБ-3» авиаполка под командованием Евгения Преображенского сбросили на Берлин первые бомбы. Затем было совершено еще девять налетов на столицу Германии, пока Эстония не была оккупирована фашистами. А Талалихин ночью таранит немца над Москвой.

Разумеется, при повторении событий такого ряда в тот же месяц присутствует и самогенерация событий, имеющих вполне рациональный характер, — не удивительно, что дата выборов президента — август, раз уж в августе распался Союз после путча и, соответственно, возник новый президент. Разумеется, вокруг этого события другие события будут группироваться; разумеется, календарный год является естественной меркой для планирования действий — не удивительно, соответственно, и то, что некоторые процессы начинают синхронизироваться: год после дефолта ушел на поправку отношений с западными рынками (дольше года нельзя — тогда это уже система) и был подсознательно скорректирован отставкой Степашина. Но — в отдаленной связи со Степашиним и Кириенко — возникает тема некой иррациональной личной ответственности тех же, например, премьеров, которые, разумеется, просто люди и нести ее не могут.

Но матрица требует именно такую степень ответственности. В августе 1914-го первым именованным георгиевским крестом в ходе первой мировой войны награжден донской казак из хутора Нижний Калмыкос Козьма Крючков — тот самый, который шашкой и пикой на утренней дороге от города Кальварии к имению Александрово поубивал с приятелями (Иваном Щегольковым, Василием Астаховым и Михаилом Иванковым) 24 германца, а сам он лично — 11 человек. Картинки с подвигом Крючкова составили военный обиход тыловой жизни страны,

сам он был скромен: *«Не чая быть живым, я решил дорого продать свою жизнь. Лошадь у меня подвижная, послушная. Хотел было пустить в ход винтовку, но второпях патрон заскочил, а в это время немец рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку. Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны неважны. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею по одиночке уложил остальных. В это время мои товарищи справились с другими. На земле лежали двадцать четыре трупа, да несколько раненых лошадей носились в испуге. Товарищи мои получили легкие раны, я тоже получил шестнадцать ран, но все пустых, так — уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила одиннадцать ран, однако я на ней проехал потом назад шесть верст».*

С этой историей согласуется следующая: в 1973 году по Центральному телевидению начался — почему-то решительно в дачно-курортную пору — показ сериала «Семнадцать мгновений весны». Может быть, косвенно потому, что в 1943-м в это время началась партизанская «рельсовая война», результаты которой по сути неизвестны, но в сравнении с темным фактом ее возникновения и несущественны.

То есть получается, что гипотеза, согласующая Россию в августе четвертой перинатальной матрицей, оказывается небесным смыслом. Но сейчас будет еще интересней. Граф, как известно, выковыривал подсознание индивидуумов на ЛСД-сеансах. Вот его результаты относительно феноменологии четвертой матрицы на подобных терапиях: *«Огромное понижение давления, расширение пространства, иллюминативный тип экстаза, видение гигантских помещений, яркий свет и прекрасные цвета (небесно-голубой, золотистый, радужный, яркий, как павлиний хвост), чувство повторного рождения и спасения».* Кажется, что описывается советская атомная программа.

Конечно, вся она полностью погружена в август. Все ее главные, знаковые события произошли именно в этом месяце. В 1943-м подписан приказ о создании лаборатории № 2 АН СССР («курчатовской») в Казани, в 1948-м принят в эксплуатацию Семипалатинский полигон, в 1949-м на нем проведено первое испытание ядерного оружия (мощность взорванного устройства была от 10 до 20 килотонн). В 1953-м на Семипалатинском полигоне был осуществлен первый в мире взрыв «термоядерного боеприпаса» мощностью 400 килотонн (испытание водородной бомбы). В 1957 году успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета. В 1962-м СССР проводит ядерные испытания на Новой Земле — та самая сверхбомба в 20, что ли, мегатонн, от которой

весь мир потом неделю трясся. Ну и — уже слегка спекулируя на предмете — понятно, что в августе не заключались никакие договоры о прекращении испытаний и прочие моратории.

Отметим, что такая приверженность бессознательных российских действий именно этому месяцу имела свой столь же бессознательный резонанс — в августе 1984 года президент Рейган на все США заявил: *«Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через пять минут»*. Началась паника государственного масштаба, а все дело было в том, что он проверял микрофон перед пресс-конференцией, а все уже подключили...

В результате укоренения матрицы уже не в подсознательном, а во вполне рациональном пространстве государства, имеем следующие радости по части их взаимоотношений.

1922-й — из России высланы или отправлены в Сибирь 160 деятелей культуры, названные «особо активными контрреволюционными элементами». Среди элементов были Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Питирим Сорокин и другие. Корабль то ли философов, то ли уродов. 1932-й — Закон об охране социалистической собственности (*«Закон о трех колосках»*): расстрел с конфискацией всего имущества или высылка сроком на 10 лет за хищение колхозного и кооперативного имущества. 1936-й — начался первый открытый московский процесс по делу объединенного троцкистско-зиновьевского антисоветского центра (Зиновьев, Каменев). 1941-й — издан приказ № 270: сдающиеся в плен командиры и политработники объявлялись *«злостными дезертирами»*, а их семьи подлежали аресту и лишались государственных пособий. И даже Андропов в 1983 году встретился с ветеранами партии, которые сказали: *«И мы просим вас не либеральничать с теми, кто не об общем деле думает, не о работе, а только о личном благополучии»*. Андропов ответил: *«Это мы вам обещаем»*. Последовали аплодисменты. Андропов начал чистку коррумпированных чиновников, но не довел ее до конца, умер.

А в 1782-м в день 100-летия со дня вступления на престол Петра I в Санкт-Петербурге открыт памятник «Медный всадник», и здесь уже можно говорить и о подсознательном механизме геополитического масштаба, о котором очень любил писать в этой связи Даниил Андреев. 1914-й — указом Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград. В августе были ликвидированы Запорожская Сечь и Республика немцев Поволжья. 1968-й — вторжение в Чехословакию. Раздел Польши 1772 года. Да и вообще, в 1939 году была учреждена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

В жизни всякого человека бывают моменты, когда весь он в кровище и говнище, тут уж не до чистоплюйства. Бывают матрицы и похуже — например, вторая, Латвии: *«...ощущение космического поглощения, невыносимая и безысходная ситуация, когда не видится конца, чувство загнанности в ловушку или клетку, мучительное чувство вины и неполноценности (ужасы войн и концлагерей, опасные эпидемии, болезни, запустение и смерть), зловещие темные цвета. При этом источник опасностей ясно определить невозможно, и индивид склонен интерпретировать окружающий мир в свете параноидальных представлений».*

Вот, кстати, еще одна преграда для сожительства стран — разные, несовместимые матрицы. Что до фактов, то в латвийском случае они уже просто с перебором. В августе Латвию приняли в СССР, отсюда она ушла тоже в августе, а еще и войска отсюда выведены через года три тоже в августе, не говоря уже о том, что г-н Ленин подписал ей первую независимость в августе 1920 года.

И — главная проблема коммунистов. Она возникла в августе 1917 года, когда в Петрограде работал VI съезд ВКП(б). Одним из первых на съезде обсуждали вопрос о явке Ленина в суд. Съезд категорически выступил против явки. Серго Орджоникидзе сказал: *«Им важно выхватить как можно больше вождей из рядов революционной партии. Мы ни в коем случае не должны выдавать товарища Ленина».*

То есть — его удержали внутри себя, в своем, так сказать, партийном лоне, не дав в положенный момент естественно выйти в общество. То есть коммунисты попытались перевести Россию из четвертой матрицы в третью. А там существо *«испытывает постоянные родовые муки и никак не может родиться. Там отчаянная борьба за выживание, сильнейшее механическое сдавливание, часто высокая степень гипоксии и удушье. Воспоминания же постнатальной жизни дают следующий ряд ассоциаций. Сражения, битвы (атаки и штурмы в сражениях и революциях, испытания военной службы), опыт совращения и изнасилования. Усиление страданий до космических масштабов, убийства и кровавые жертвоприношения, активное участие в жестоких битвах, атмосфера безумного авантюризма и опасных приключений, сдавливание и боль, мышечное напряжение, судороги, тошнота и рвота, жар и озноб, потливость, сердечная недостаточность, трудности контроля сфинктеров, звон в ушах».*

То есть четвертая матрица вполне приличная, потому что — о чем может мечтать существо с четвертой матрицей? Разве что стать первой, со свойственным той внутриутробным счастьем... Не получится. И поэтому все будет постоянно повторяться...

Путч я провел в Санкт-Петербурге. С ГКЧП там все стало ясно на второй день, баррикады разобрали, некоторый народ группировался у

Мариинского дворца — в ожидании коммунистических танков из Пскова. Танки вроде бы ползли, то есть определенная нервозность имелаась. Но она закончилась уже 20 августа, когда на питерском канале появился командующий Северным флотом (адмирал Кузнецов?), который объяснил — на чьей стороне стратегические силы этого флота. После этого все было кончено.

И вот тогда питерское телевидение и допустило ошибку. Оно возобновило передачи ровно с того места, на котором остановилось в момент появления путчистов и «Лебединого озера». Уже и не помню, какая-то музыкальная программа. Тогда показалось, что это правильно и хорошо. Теперь-то я понимаю, что была допущена страшная ошибка... Нельзя было возвращаться, надо было пилить куда-то дальше. Но — понятно, что ничего сделать было нельзя, ничего они придумать не могли, потому что все должно повторяться...

А почему именно август? Да вот потому, что август.

16 августа 1999 года

ВЛАДИМИР ДВОРНИКОВ

О принципе дифференцированного голосования

В Конституциях большинства демократических стран записано, что источником власти в этих государствах является *народ*. Именно он выбирает органы власти, принимает важнейшие исторические решения и контролирует их исполнение. Между тем, насколько мне известно, ни в одной из Конституций нет четкого и ясного объяснения о том, *кто такой народ*, являющийся главным источником власти. Такая неясность в основном вопросе порождает неизбежные многочисленные кривотолки и недоразумения, наносящие ущерб престижу демократии в целом.

Итак, кто же такой «народ»? Первая реакция на этот простой и легкий вопрос: вы что же, сами не знаете, что такое народ? Ну, народ — это... люди... население... Но когда задается вопрос о том, *какие люди, какое население*, то здесь начинаются серьезные трудности. Социология определяет народ как *население, проживающее на данной территории*. Скажем, американский народ — это суть население, проживающее на территории Америки, российский народ — население, проживающее на территории России и т.д. Вроде бы, все ясно. Но тут встает вопрос: зачем подменять слово «народ» словом «население» и делать из власти народа власть населения? Когда сенатор говорит об американском народе, о его интересах и традициях, то ведь он явно имеет в виду нечто большее, нежели статистическое понятие населения. Когда речь идет об интересах американской нации, то здесь, очевидно, имеется в виду и воля предков, основавших эту нацию, и интересы потомков, которые будут ее развивать и улучшать. Именно здесь отчасти лежит тот пафос

демократии, который полностью улетучивается при переходе к прозаическому «населению».

Но допустим, однако, что народ — это население. *Всё* население.

Когда происходит перепись населения, то в нее, как известно, включаются и дети, и лица без гражданства, по тем или иным причинам проживающие на данной территории, а также лица с временной пропиской. Входят ли они в состав народа с демократической точки зрения? Очевидно, нет, поскольку они не имеют *избирательных прав*, дающих им возможность участвовать в выборах властных структур. Значит, народ в данном случае — это даже не население, а *часть* населения, имеющая избирательные права. Народ — это избиратели, народ — это *электорат*. Уже многими политологами в прошлом было отмечено, что именно электорат является *реальным* источником власти в демократическом государстве.

Из истории известно о существовании различного рода цензов при вхождении в состав электората. Со временем многие из них (например, имущественный, родословный и т.д.) были отменены, и сейчас остались только два — возрастной (в зависимости от страны) и, если угодно, паспортный. *Только лица, имеющие паспорт (граждане), старше известного возраста имеют право участия во власти путем выборов.*

Но все было бы еще не так худо, если бы *все* избиратели *всегда* дружно приходили на участки и голосовали. Или, по меньшей мере, *большинство* избирателей (1).

В действительности ни для кого не секрет, что полной явки в большинстве случаев не происходит. Более того, является неоспоримым фактом, что на некоторых выборах достаточным условием для признания их состоявшимися является участие лишь 25(!) процентов избирателей. Если учитывать, что ответственные решения принимаются простым (50%+1) большинством голосов, можно сказать, что фактически народом в данном случае является даже не часть населения, а незначительная (половина от 25%) часть электората. Причем никто не может гарантировать, что при нарастающей политической апатии избирателей, их количество, необходимое для признания выборов состоявшимися, под давлением обстоятельств не будет понижено до, скажем, 15 или даже 10%. И предпочтения этой незначительной части избирателей преподносятся как волеизъявление всего народа (2)!

В этом состоит невольная ложь нынешней демократии. Невольная — потому что за ней не стоит заранее обдуманного намерения (3).

Когда я говорил об этом некоторым политологам, они, понимая серьезность доводов, лишь разводили руками: дескать, все так, при ближайшем рассмотрении великодержавный народ, подобно шагреновой коже,

сжимается порой до кучки избирателей — но что же ты предлагаешь? Отменить выборы совсем? Но как тогда создавать властные структуры?

Конечно, выборы отменять нельзя, поскольку это связано с непредсказуемыми последствиями, да и невозможно — по причине отсутствия реальной альтернативы. Но и обманывать себя тоже, по-видимому, не стоит.

Я много думал о том, как можно было бы сделать институт выборов более совершенным и поднять тем самым его престиж в глазах каждого гражданина. После долгих размышлений пришел к осознанию желательности, если не сказать необходимости, введения *принципа дифференцированного голосования*, который я и попытаюсь сейчас изложить на бумаге. Этот принцип, хотя и не разрешит всех теоретических проблем демократии (это дело длительного времени и значительных интеллектуальных усилий), но зато, как мне видится, позволит сделать демократию в ее современном виде намного более эффективной.

Как известно, каждый избиратель, приходящий на участок, имеет голос, который он отдает за того или иного кандидата. Количество этих голосов подсчитывается, и по нему, в конечном счете, принимается решение об избрании кандидата на соответствующий пост. Однако, если мы обратимся к житейской практике, то увидим, что все человеческие голоса отличаются друг от друга по глубине, тембру, музыкальности и прочим признакам. В природе не существует двух одинаковых голосов, хотя и есть похожие. Если идет отбор на оперное отделение, то вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что голос Шаляпина нельзя ставить на одну доску с голосом его костюмера.

Конечно, политические голоса невозможно отличить по тембру или окраске. Но мне представляется весьма перспективным различение их *по весу*. В самом деле, разве можно сравнивать, скажем, при проведении президентских выборов голос какой-нибудь старушки из глухой деревеньки, с трудом читающей и пишущей, и голос уважаемого писателя, имеющего большой политический опыт и искушенного в вопросах публичной жизни? Это несправедливо как по отношению к старушке, взваливающей таким образом на свои хрупкие плечи всю полноту ответственности за выбор, так и по отношению к писателю, поскольку при таком игнорировании его опыта и знаний у него пропадает очевидно всякая охота голосовать. Очень часто я слышал от уважаемых мною людей такие слова: «Я не голосовал, потому что не верил в то, что я что-то смогу изменить».

Между тем, положение дел изменится, если мы будем различать политические голоса по *весу* — то есть при подсчете голосов учитывать не только их количество, но и вес. Продолжая начатое сравнение,

допустим, что голос провинциальной старушки имеет вес в 1 условную единицу, а голос заслуженного писателя в 100 условных единиц. Тогда и с бабушки снимается изрядная доля исторической ответственности, и у писателя появляется возможность реально повлиять на исход голосования.

Следует заметить, что качественный подход применяется в большинстве областей нашей жизни. Образование, квалификация, опыт учитываются при приеме на работу в любой развитой стране. Аттестат интеллектуальной зрелости выдается по окончании средней школы. Почему бы не осуществить то же самое и в такой важной сфере, как политика? Политическая зрелость — в принципе, такая же понятная вещь, как и интеллектуальная (4).

Прежде чем говорить о возможных способах введения системы дифференцированного голосования, мне хотелось бы остановиться на некоторых главных преимуществах, которых можно достичь при правильном ее применении.

Во-первых, это позволило бы снять два последних количественных ценза — возрастной и паспортный — и тем самым покончить с *цензурой* в сфере выборов. Всем детям и лицам без паспорта можно дать по голосу с *элементарным весом* и тем самым предоставить им (или их родителям — *за них*) возможность участвовать в своем будущем. Тем более, что как показывает жизнь и телевидение, некоторые дети поумнее некоторых взрослых.

Второе. Существенно уменьшилась бы весьма развившаяся в последнее время практика *покупки голосов*. Не секрет, что во многих местах голоса просто покупаются, иногда за бутылку водки или даже за буханку хлеба (5). Это отвратительное явление подрывает саму идею выборов. При дифференцированной системе голосов у людей, политически более зрелых и потому все-таки менее продажных, появилась бы возможность *реально* влиять на исход выборов, и потому деньги перестали бы играть такую важную роль, какую они играют сейчас.

В-третьих, избирательные кампании могли бы стать значительно чище и гибче. Сейчас, как известно, большая часть политической рекламы делается по принципу грубого внушения, суггестии («война компроматов», различные грязные методы очернения соперника), которые по своему воздействию рассчитаны в основном на эмоциональную сферу. При качественном голосовании тот или иной кандидат, прежде чем вкладывать огромные деньги в шумную и скандальную избирательную кампанию, еще бы подумал, а не отпугнет ли он этим избирателей, имеющих более *весомые* голоса, и, таким образом, не окажутся ли его приобретения меньше потерь?

Четвертое преимущество заключается в том, что у интеллигентных людей, прямо или косвенно обиженных и униженных недифференцированной системой, появится стимул для участия в выборах, что, несомненно, положительно повлияет на их исход.

В-пятых, у всех людей, желающих активно участвовать в политической жизни, появится возможность не только бастовать, посещать различные митинги и демонстрации, но и возможность без шума и драки увеличивать вес своего голоса путем получения соответствующих знаний, опыта и квалификации.

Шестое преимущество, весьма существенное в наше время, — *экономическое*. Сейчас уже все, или почти все, понимают, что выборы — удовольствие дорогое, и если они по тем или иным причинам срываются, то это больно бьет по карману налогоплательщика, прежде всего из наиболее незащищенных слоев населения. Основная причина перевыборов — неявка избирателей. Как обеспечить явку? Сейчас это делается с помощью рекламы. Но не того или иного кандидата, а самих выборов — «Голосуй (за кого-нибудь) — или проиграешь!» До сих пор никто точно так и не знает, во сколько обошлось внедрение этого лозунга в массовое сознание. Понятно, что при переходе к дифференцированной системе голосования, которая, как мы видели, благодаря «избирательному» подходу таит в себе огромные ресурсы по повышению избирательской активности, — вероятность подобного «проигрыша» существенно снижается. Кроме того, мы сможем сэкономить (и довольно существенно в масштабах страны!) на рекламе самих выборов и повторных перевыборах (6).

И, наконец, самое главное. При качественном подходе к подсчету голосов само *качество* принимаемых решений станет лучше, и потому уважения и доверия к этим решениям станет больше.

Вообще говоря, дифференцированный подход вытекает из элементарных требований здравого смысла. Существуют же квалифицированные врачи, квалифицированные юристы, квалифицированные слесари, квалифицированные кинорежиссеры — почему же не может быть квалифицированных *избирателей*? Кто-то, быть может, скажет: потому что избиратель — это не профессия, а, скажем, общественное право, общественная обязанность, общественная «нагрузка»... Но ведь дело избрания власти — ничуть не менее ответственное, а может быть, в каком-то смысле и более сложное, чем дело врача или юриста, ведь в нем так или иначе решается судьба многих людей на долгий срок. Откуда же такое неравноправие в подходах?

Мне могут возразить, что введение понятия *веса* при подсчете голосов нарушает принцип равноправия. Мы-де разные в жизни, но как

избиратели мы все равны. Здесь многое зависит от того, как понимать слово «равны» — в смысле равноправия или же одинаковости. Если не ошибаюсь, в конституциях большинства стран записано, что каждый гражданин имеет *право* избирать и быть избранным в органы власти. Но разве равное *право* на получение образования предполагает одинаковый *уровень* этого образования? Когда школьнику выдается «красный» аттестат зрелости или студенту диплом с отличием, разве это нарушает права его товарищей?

При дифференцированном подходе фундаментальное право голоса полностью сохраняется. Более того, как мы видели выше, оно даже может быть расширено путем снятия возрастного и паспортного цензов. Как показывают события в Прибалтике, получение гражданства может стать проблемой даже для лиц, проживших в стране большую часть своей жизни.

Сам по себе формальный принцип равноправия, требующий избирательного права для всех *без исключения* (никого не исключать), должен быть дополнен другим принципом — принципом справедливости, который предполагает *разную* меру и потому *разную* ответственность за его осуществление. Иначе это будет не равноправие, а «уровниловка». И если голос почтенной в других отношениях, но малограмотной и далекой от политики бабушки приравнивается к голосу искушенного политолога или аналитика, это нарушает элементарный принцип справедливости, по которому каждому следует воздавать по заслугам (7). А как, скажите, учитываются заслуги избирателей?

Справедливости ради следует отметить, что в своей зачаточной форме принцип дифференцированного голосования уже *был* применен на практике. Я имею в виду случаи, когда председатели колхозов или кооперативов обладали правом *двойного голоса*. Только этот принцип был применен в несколько несоответствующей форме: в самом деле, с какой это стати один человек имеет два голоса? Что он — раздваивается при этом? Другое дело, если голос председателя мы будем рассматривать как двойной по *весу* — в отличие от одинарных голосов рядовых участников. Тогда все логично и становится на свои места. Кстати, в большинстве случаев, как показывает опыт, рядовые участники с уважением относились и относятся к председательской привилегии и не видят в ней никакого нарушения «равноправия».

Таким образом, налицо логическая необходимость качественного перехода в системе выборов (8) и подсчета голосов. Это событие, без сомнения, поднимет результаты голосования на принципиально новый уровень и сделает весьма затруднительными многие нынешние злоупотребления. Но логическая необходимость отнюдь не снимает и не

уменьшает *практических проблем* при переходе к системе дифференцированного голосования. И главную трудность, главную помеху можно было бы выразить в простом вопросе: *а судьи кто?*

Когда я делился своими соображениями по поводу квалифицированного подхода со знакомыми, имеющими интерес к данной области, то почти все они говорили: ну, допустим — так, допустим — все правильно, но *кто же* будет судить, *кто* будет определять квалификацию избирателя? Я обычно отвечал на это, полушутя: кто? — *компетентные органы...* И тут же получал ответ: знаем, мол, проходили уже — политическая благонадежность, лояльность и так далее... Да. В истории немало примеров подобного рода, но разве злоупотребление отменяет употребление? Разве наличие продажных судей, недобросовестных следователей свидетельствует о необходимости отмены суда как общественного института? Или бездарных врачей — о ненужности медицины?

Мне возражат, что члены органа, определяющего квалификацию избирателя, могут быть пристрастны в своих оценках в пользу какой-либо партии или политической силы. Конечно, могут. И, наверное, будут. Так же, как и учителя, выдающие ученикам аттестат зрелости, или выездная комиссия, выдающая диплом студенту, или научный совет, наделяющий аспиранта ученой степенью. Это уже совсем другой вопрос, есть ли в обществе грамотные и честные люди, *способные встать выше сиюминутной выгоды и работающие на перспективу*. Было бы слишком поспешным говорить, что таких людей, таких специалистов нет. При желании их можно отыскать повсюду. К тому же не секрет, что в любом серьезном деле, когда оно только начинается, невозможно избежать ошибок и просчетов, и обязанность всех заинтересованных сторон, по-видимому, состоит не в том, чтобы совать «палки в колеса», а в том, чтобы помочь побыстрее избавиться от этих ошибок (9).

Тут надо все же попытаться расставить все точки над *i*. Кто такой избиратель? Это всего лишь *роль* в политической *игре* — тогда к этому и отношение соответствующее — или же это серьезное занятие, которому можно и должно учиться.

Вообще говоря, нет никакого сомнения, что у каждого избирателя *должно* быть право на повышение своей квалификации. Это право представляется мне настолько существенным, что оно достойно быть записанным в Конституции или, по меньшей мере, в Законе о выборах. Сейчас у избирателя *нет* такого права. Понятно, что подобная «уровниловка», как я уже отмечал выше, является одной из основных причин политической апатии, угрожающей институту выборов, в частности, и авторитету демократии, в целом.

Как это все может мыслиться практически?

Прежде всего, необходима *поправка* к Основному закону. Маленькая, но очень важная. Необходимо добавить в статью об избирательном праве уточнение о том, что каждый гражданин (житель) России имеет право избирать *в меру своей квалификации* и быть избранным *в меру своего авторитета* в руководящие органы власти (10).

Для определения этой квалификации и осуществления фундаментального права избирателей *на ее повышение* при Центральной избирательной комиссии может быть создана специальная Аттестационная комиссия, состоящая из компетентных людей.

Что значит слово «компетентный» в данном случае?

Вопрос, надо признать, весьма непростой, но представляющийся мне разрешимым в конечном счете. Понятно, что определять квалификацию избирателя и, соответственно, вес его политического голоса не могут ни врачи, ни юристы, ни слесари, ни финансисты, ни даже кинорежиссеры. В таком качестве могут выступать, очевидно, лишь избиратели высшей квалификации, избиратели *по преимуществу*. Слово «избиратель» происходит от глагола «избирать, выбирать». Но не просто выбирать, а *разбираться*, то есть делать правильный, объективный выбор в пользу того или иного кандидата. Объективный, говоря проще, значит беспристрастный. Беспристрастный, однако, не значит бесстрастный. Бесстрастный, равнодушный избиратель, как правило, не ходит на выборы и, по сути, является лишь *потенциальным* избирателем. Но, скажут, беспристрастных людей, беспристрастных избирателей не бывает, у любого человека есть те или иные взгляды, симпатии и т.д. Что же получается? Беспристрастный выбор вовсе невозможен? Я так не думаю. Я полагаю, что он возможен не как бесстрастный, а как *сверхстрастный*. То есть такой, при котором *избиратель по призванию* ставит себя выше сиюминутных пристрастий и собственных выгод и начинает думать о *будущем всех* (11).

Таким образом, компетентный избиратель, говоря в самом общем виде, суть тот, который в своем решении руководствуется некими *прочными* ценностями, который знает или верно угадывает, в чем состоит смысл, *замысел* политики и политической власти вообще и *как* этот замысел осуществлялся в прошлом, осуществляется сейчас и будет осуществляться в будущем. И чем больше такой избиратель думает о вечном, чем меньше зависит он от злобы дня и политической конъюнктуры, тем лучше, очевидно, разбирается он в людях, претендующих на властное кресло. Вот уже есть нечто, могущее стать критерием при ответе на вопрос — а судьи кто?

Предвижу очередное возражение: а не подвергнется ли новоиспеченный орган коррупции, не постигнет ли его печальная судьба других

политических институтов? Но разве Верховный Суд или, скажем, Конституционный Суд не могут быть подкуплены? В принципе, и такое возможно. Что же теперь — отказаться от них? Или просто попытаться обеспечить всеми возможными и законными способами их правильное функционирование (12)?

Еще одним важным условием для выбора членов Комиссии мог бы стать, скажем, добровольный пожизненный отказ от конституционного права *быть избранным* в органы власти. Эта жертва, этот отказ от всякого рода чиновнических амбиций могли бы сделать работу Комиссии гораздо более устойчивой (13).

Конечно, переход к системе дифференцированного голосования нелегко как с юридической, так и с *психологической* точки зрения. Поэтому вряд ли стоило бы рассчитывать на ее внедрение сразу в масштабах целой страны, целого государства. Она, как и любое другое нововведение, должна сначала пройти проверку на практике. Ее можно было бы опробовать на каком-нибудь прогрессивном регионе, а уже затем, после получения конкретных результатов (скажем, резкого увеличения активности избирателей и экономии на перевыборах), расширять сферу применения. Сокращение вышеупомянутых расходов могло бы стать основным источником финансирования всего проекта.

Завершая вышесказанное, хочу отметить, что принцип дифференцированного голосования, несмотря на внешнюю «нереальность» и даже «фантастичность», представляется мне затребуемым самой жизнью, поскольку он выводит институт выборов на другой, качественно иной, уровень, дает ему, так сказать, другое измерение (14). Поэтому все усилия и средства, потраченные на его разработку и внедрение, не будут бесплодными и несомненно принесут немалую пользу государству и обществу (15).

13 января 2000 года

Примечания:

1 Одним из фундаментальных признаков демократического голосования является его добровольность. Поэтому у избирателей сохраняется право голосовать не только руками, но и «ногами», не приходя на участки. Я бы выделил три основные причины неявки избирателей: неявка из скромности («я в этом плохо разбираюсь, есть люди поумнее, пусть они и решают»), неявка по причине по-

литической апатии и лени («а что я один могу изменить?») и невяка из чувства протеста («да пошли они все подальше с этой своей демократией! я политикой не интересуюсь!»).

2 Самый свежий пример на этот счет. Недавно в Казахстане при проведении выборов Президента было объявлено, что выборы состоятся при любой явке избирателей. Возможно, подобное решение было принято, чтобы показать доверие власти к избирателям, которые, сознавая серьезность ситуации, сами придут на участки, но нельзя не заметить, что власть при этом сильно рисковала, поскольку в случае явки, скажем, 5% избирателей Президент мог бы быть избран лишь 3% (!) из них. Нетрудно подсчитать, какой процент от всего населения выбрал бы главу государства на семилетний срок в таком случае!

3 В этом смысле аристократия как власть известного благородного меньшинства гораздо честнее нынешней демократии, претендующей быть правлением всех или, как минимум, большинства, а на самом деле — являющейся властью сомнительного меньшинства, сомнительного — по причине неизвестности своего состава.

4 Мне скажут, что при избрании важны не голоса, а поддержка (доверие) избирателей. Избиратели не избирают, а поддерживают ту или иную кандидатуру. Пусть так. Но разве эта поддержка, опять-таки, у всех одинакова? Неужели не ясно, что квалифицированный избиратель, принявший свое решение на основании знаний, опыта и непредвзятого подхода, будет гораздо больше и дольше поддерживать своего избранника, нежели малоразборчивый обыватель, проголосовавший на основе настроения, подачек или массовой агитации?

5 Недавно из уст довольно влиятельного чиновника я слышал следующий призыв к избирателям: вы-де подачку возьмите (есть-то хочется!), а кандидата, подавшего вам, вычеркните! Совет, несомненно, остроумный и полезный в наш век «кидал» и жуликов, но с моральной точки зрения — крайне сомнительный. Ведь когда мне предлагают сделку, я должен или согласиться, или отказаться честно. Когда же я соглашаюсь из корысти, а потом нарушаю соглашение, то такое поведение иначе, чем мошенничеством, и не назовешь!

6 При таком положении дел для каждого избирательного округа можно вычислить общий удельный вес голосов. По простой формуле: количество голосов, помноженное на вес каждого из них. В этом случае выборы можно признать действительными при подаче более половины от общего удельного веса (50%+1) голосов без ограничения количества избирателей, пришедших на выборы. Тогда можно говорить о большинстве — но не количественном, которое само по себе еще ни о чем не говорит, а качественном, существенном и потому гораздо более объективном. Проблема невяки потеряла бы свою остроту и стала бы не необходимым условием, а лишь любопытной деталью каждых выборов.

7 Мне могут возразить, что простой народ лучше разбирается в людях, нежели «пристрастная» интеллигенция. Возможно, когда-то оно и было так, и подоб-

ного рода политическое «почвенничество» имело смысл. К счастью или к несчастью, сейчас другие времена. Если послушать, что говорит о политиках «простой народ», на основе каких суждений и за какую цену принимает он свои решения, то подобный взгляд выглядит более чем сомнительным. Как это ни прискорбно, но в большинстве случаев это не оригинальные воззрения, а продукт «средств массовой информации», слухи, составленные с известной заранее целью и не прошедшие взвешенного и критического осмысления. Уже не говоря о нищете и продажности. Впрочем, попадают, конечно, и народные мудрецы без званий и степеней, но они смотрятся на общем фоне как редкое исключение.

8 Хочу заметить, что квалификация избирателей вполне могла бы быть учтена и при проведении такого важного политического мероприятия, как референдум. В принципе, референдум — это те же выборы, но не чиновников, а стратегических решений государства.

9 Сейчас очень много говорят о коррумпированности и криминализации власти. Для этого, без сомнения, есть множество причин различного характера. Но одной из этих причин является, на мой взгляд, практика безразличного голосования. Она, вне всякого сомнения, облегчает приход во власть различного рода демагогов и толстосумов, умело оперирующих голосами доверчивых и обозленных избирателей. Поэтому здравомыслящая часть власть имущих должна приветствовать дифференциацию голосов как один из способов сделать саму власть более устойчивой и надежной.

10 Интересно, что различное достоинство, различный авторитет избираемых (кандидатов) не вызывает ни у кого особых возражений. Основным показателем возможности претендента занять тот или иной пост является, как известно, рейтинг, определяемый на основе опроса общественного мнения, проводимого различными фондами и журналами. Этот рейтинг, являющийся, по сути, показателем компетентности претендента, в данном случае не только констатирует, но и формирует мнение избирателей, поскольку многие из них начинают воспринимать этот, в сущности, выборочный опрос как нечто объективное и принимают свое решение на основании данного рейтинга. Поэтому было бы весьма разумно при проведении общественных опросов также учитывать избирательскую квалификацию опрашиваемых, что сделало бы сами опросы, если можно так выразиться, более объемными и достоверными.

11 В настоящее время некоторые избиратели голосуют не за определенного кандидата, а назло всем остальным (голосование от противного). Понятно, что подобный «выбор» трудно признать объективным, хотя причины для него могут быть порой весьма уважительными.

12 Еще одно возражение состоит в том, что сам процесс квалификации избирателей будет напоминать уже имевшие место в нашей истории общественно-политические аттестации, ленинские зачеты и прочие добровольно-принудительные мероприятия. В отличие от всего вышеперечисленного настоящая

аттестация может мыслиться как исключительно добровольная. Как можно заставить человека выучить английский язык, если он этого не хочет? Дело обстоит следующим образом: хочешь активно участвовать в процессе формирования власти, хочешь утяжелить свой политический голос, сделать его более весомым в хоре общественного мнения, стать квалифицированным избирателем — сдавай соответствующий экзамен, тест или что-нибудь в этом роде соответствующей государственной комиссии — и получишь желаемое.

13 По этому поводу у меня всегда вызывало сомнение «самоголосование» — голосование за себя. Когда я, скажем, выдвигаю свою кандидатуру или соглашаюсь на это выдвижение, выхожу с какой-либо инициативой и прочее, то я, очевидно, уже самим этим актом голосую за себя или свое предложение. Зачем же нужно несколько комичное выделение в бюллетене собственного имени? Это не только лингвистическая, но и политическая тавтология. Более того, подобное «равноправие» открывает дорогу злоупотреблениям типа «Президент голосует так!», различного рода губернаторским спискам, кандидатам мэра и проч. Если нет закона, возбраняющего чиновникам демонстративно голосовать за себя и свои предложения, то всякий уважающий себя политик должен отказаться от избирательских прав на свой пост или давления на избирателей — хотя бы из политической скромности (верю, что таковая возможна!).

14 Я бы даже сравнил переход к новой системе подсчета голосов с переходом черно-белого телевидения к цветному.

15 Конечно, в обществе существуют мощные силы, для которых квалифицированное голосование крайне невыгодно, поскольку оно существенно снижает их шансы на победу в борьбе за власть. Они, несомненно, будут тормозить это нововведение. Но опускать руки перед этими силами, признавать принцип неосуществимым значит, по сути, способствовать этим силам в их попытке затормозить ход исторического развития.

ЮРИЙ БОКАРЕВ
СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВ

Главная загадка экономики XX века

Откуда берутся кризисы и можно ли их
предотвратить

XX век обещался быть веком. Либеральным мечтателям казалось, что к этому были все основания. Никогда ранее научная и инженерная мысль не давала результаты, столь впечатляющие, и никогда ранее человечеству не удавалось организовать огромные массы людей не для разрушительных войн, а для позитивного сотрудничества.

Действительно, бурно развивающийся капитал легко преодолевал границы, установленные амбициозными властителями, фактически делал их бессмысленными. А развитие мировой финансовой системы и таких универсальных учреждений, как банки и биржа, — позволяло стать активными участниками коллективного экономического процесса не только капиталисту или заводчику, но и фермеру, рабочему и даже рантье: ведь работали его деньги. На его деньги строили гигантские лайнеры и возводили небоскребы.

Главный принцип молодого капитализма «произведи и продай», казалось, исключал и бедность, и безработицу. Бедному ничего не продашь, и уж точно ничего не продашь, предварительно не произведя.

«В начале этой поразительной эры ожидали, — писал на переломе XIX и XX веков американский журналист и экономист Генри Джордж, — и было естественно ожидать, что сокращающие труд машины облегчат труд и улучшат положение рабочего, и огромный рост производительных сил сделает существующую бедность достоянием прошлого. Если бы чело-

век прошлого века... мог увидеть лесные деревья, превращающиеся в законченные изделия почти без прикосновения человеческой руки, если бы он мог представить себе то огромное сбережение труда, какое вытекает из улучшенных способов обмена и сообщения, — баран, битый в Австралии, съедается свежим в Англии, а поручение, данное лондонским банкиром после полудня, утром того же числа выполняется в Сан-Франциско, — если бы он мог представить себе те сотни усовершенствований, из числа которых мы привели лишь некоторые, то какой бы вывод сделал он относительно соответствующего состояния человечества?»

Он сделал бы вывод, что наступает Золотой век.

«Однако, — продолжал Генри Джордж, — ...разочарование сменялось разочарованием, открытие следовало за открытием и изобретение за изобретением, нимало не уменьшая труда тех, кто всего более нуждался в отдыхе, и не принося довольства бедняку. Нужда царит там, где содержатся огромные постоянные армии, но царит также и там, где их нет; нужда царит там, где нелепые и гибельные тарифы угнетают промышленность, и там, где промышленность почти свободна; нужда царит там, где господствует авторитарное правительство, но царит она и там, где политическая власть целиком находится в руках народа; в странах, где бумага заменяет монету, и в странах, где только золото и серебро считаются деньгами».

Если бы Генри Джордж пожил немного подольше, он отметил бы и еще одну странную вещь: оказалось, что бог финансов, Великий безликий посредник между трудом и его окончательным продуктом, отличался крайне своенравным характером. Да, он толкал миллионы людей добывать нефть, строить машины и везти торговый груз за моря, но он же смахивал плоды их труда, как карточный домик.

Финансовые системы чем-то напоминают тот же «Титаник»

Недаром образ этой катастрофы будоражит воображение вот уже целое столетие. Вот собраны деньги, чтобы его построить, вот труд рабочих и инженеров воплощен в машины, а машины движут корабль в Америку. Очевидно, страховая компания заключила самую выгодную сделку за свою историю — ведь это самое надежное творение рук человеческих, акционеры потирают руки в предвкушении растущих прибылей. И вдруг какой-то айсберг за два часа все это превращает в ничто.

Но тут хотя бы был айсберг! С самого начала XX века мир потрясали гигантские волны экономических кризисов, которые зарождались внутри стремящихся к благополучию систем. В США кризис разразился в 1900 году и достигал пиков в 1907-м, 1920-м и 1929-м. От 1929 года отсчитывается тяжелейший период Великой депрессии. В Германии кризис практически не кончался, а его кульминация в 1913 году дала толчок

к первой мировой войне. Война оживила производства и убила избыток рабочей силы на полях сражений, но проблемы не решила. Реконструируя хронику дней после первой мировой войны, Эрих Мария Ремарк писал в своем самом известном романе «Три товарища»: *«1921. Я припоминал. И не мог уже вспомнить... То было время инфляции. В месяц я зарабатывал двести миллиардов марок. Деньги выдавали два раза в день, и каждый раз делали на полчаса перерыв, чтобы сбегать в магазины и успеть купить хоть что-нибудь до очередного объявления курса доллара, так как после этого деньги снова наполовину обесценивались».*

Вторую мировую войну вызвала неспособность «открытых обществ» справиться с ситуациями периодических кризисов, разрешить конфликт между бедностью и богатством. Критика либеральной экономики и ожидания более прогрессивной системы породила две тоталитарные конструкции — гитлеровскую в Германии и сталинскую в СССР, которые неизбежно должны были столкнуться. Но сначала они продемонстрировали кажущееся решение проблемы. И Гитлер, и Сталин ликвидировали безработицу и оживили индустрию, заставив ее работать на войну. Сталинизм вообще исключал экономические кризисы. В советском государстве до начала 80-х годов отсутствовала явная инфляция и постоянно рос валовой национальный продукт, что позволило на многие десятилетия растянуть спор: что эффективней — либеральная, никем не управляемая экономика или экономика тотального управления, контроля и распределения?

Но на самом деле этот спор был заведомо некорректен

Тоталитарные государства так же не справлялись с экономическими проблемами, как и либеральная экономика, и цена ошибки управления там была непомерно велика. В 30-х годах в России невидимый остальному миру голод на Украине и в Поволжье унес миллионы жизней. Долгие годы СССР походил на галеру, в трюме которой, ГУЛАГе, трудились прикованные к веслам гребцы. Эти люди не получали вознаграждения за свой труд и не создавали потребительский спрос на рынке. Перепроизводство не грозило советской системе, поскольку производить или не производить — решало начальство.

Галера заведомо плывет медленно. Стоило в 1985 году в СССР задуматься о модернизации и, как следствие, о правах человека, обнаружилось все те же дефекты, свойственные экономикам западного типа. Освобожденные люди создали настоящий хаос. Первое пришедшее на ум объяснение гласило, что это оттого, что у них не было опыта жизни в условиях свободного рынка, которым на протяжении нескольких поколений располагал западный человек. Однако одним отсутствием опыта

вряд ли объяснишь, почему россияне превратили в прах свои заводы и фабрики, свои уголья и богатства недр в конце века...

Похоже, что слова Генри Джорджа о том, что ни технический прогресс сам по себе, ни различные политические институты не уничтожают бедность и не решают проблемы периодических кризисов, оказались пророческими.

Попробуем заглянуть вглубь проблемы

Огромная литература по этой теме поражает узостью подходов. Очень многие экономисты из всего множества причин, порождающих экономические кризисы, рассматривали только весьма проблематичное «перепроизводство». Однако «перепроизводству» предшествуют предыдущие фазы цикла: 1) депрессия, 2) подъем, 3) расцвет, 4) финансовое напряжение, 5) кризис. Каждая фаза содержит в себе элементы следующей. Вот он вечный двигатель экономики.

Парадокс заключается в том, что в рыночной экономике практически невозможно удержаться на пике успеха. Построить так называемый развитой капитализм. Никакой успех не вечен, он завоевывается постоянным поиском нестандартных решений. Причем каждому следующему поколению снова приходится доказывать свое право на лучшую жизнь. Действительно, стоит экономике вступить в стадию расцвета — именно тогда рабочие получают самую высокую зарплату, а банки выдерживают самые высокие процентные ставки на кредит, — как общество неумолимо приближается к стадии финансового напряжения. Тогда цена товара становится непомерно велика — ведь в ней заложены оплата труда, выплата процентов по кредиту и многое другое. Но для рынка такой товар слишком дорог. Он скапливается на складах при сильно вздутых ценах. Вследствие перегрузки коммуникаций замедляются перевозки, задерживаются платежи и своевременное погашение банковских ссуд. Происходит первое банкротство, потом второе, предприятия ликвидируются чередой.

Тогда в кругах банкиров возникает опасение за судьбу кредитов, выданных для поддержания явно нездоровых хозяйственных условий. Банки оказывают нажим на своих клиентов, побуждая их выплатить долги. В панике промышленникам и торговцам приходится снижать цены в надежде ускорить оборот и, как следствие, увеличить кассовую наличность. Предложение на рынке увеличивается, а покупатели — не будь дураки — начинают ожидать еще более низких цен, что опять же не способствует ликвидации товарных запасов. Тем не менее, процентные ставки продолжают расти из-за спроса на кредит со стороны предпринимателей, желающих удовлетворить своих партнеров по бизнесу, на-

стаивающих на платеже. Созданный уровень цен не привлекает больше покупателей. Понижение цен становится неизбежным. Начинается кризис. Он выражается в продолжающейся ликвидации на фондовой бирже и более или менее решительной ликвидации на товарном рынке, интенсивность которой зависит от напряженности кредита. Если ликвидация происходит постепенно, то развивается промышленный кризис, подобный кризисам в США в 1903 или 1910 годах. Однако напряжение денежного рынка может быть столь значительным, а ликвидация может принимать такие решительные формы, что экономика подвергается серьезным испытаниям, подобным тому, которое испытали США в 1907 году.

Если властные и финансовые институты общества на момент кризиса не в состоянии принять разумных *патриотических* решений, экономика страны вступает в стадию депрессии. У людей опускаются руки, а политики не знают, что делать: ведь в этот момент у людей не остается денег, чтобы что-нибудь купить, значит, им ничего нельзя предложить, в производстве отсутствует смысл, нет возможности собрать налоги. Но, по счастью (хотя личного счастья здесь немного), срабатывают естественные регуляторы рынка. Общество отступает от своих завоеваний. Люди соглашаются на труд за низкую зарплату. Активы скапливаются в банках. Сначала они ищут помещения в первоклассные облигации, затем — в первоклассные акции и, наконец, в акции с менее устойчивой доходностью, цены которых колеблются около самого низкого уровня. Снова начинается подъем, а экономисты продолжают гадать, как бы устроить так, чтобы он не кончался... Все повторялось. Продолжительность народнохозяйственных циклов была различна. В начале XX века преобладали семилетние циклы. Например, циклы в США с кризисами в 1907, 1914 и 1920 годах. Но случались и девятилетние циклы (например, кризис 1929 года), более характерные для второй половины XIX века.

После второй мировой войны...

...экономические циклы не наблюдались вплоть до 1974 года. Во многом это было связано с послевоенной Бреттон-Вудской системой, препятствовавшей масштабным финансовым спекуляциям. Но если до второй мировой войны экономические циклы характеризовались, главным образом, действиями национальных коммерческих банков и фондовых бирж, то начиная с 1974 года в игру вступили внешнеэкономические институты. Международные финансовые организации перестали быть только кредиторами «реального сектора» национальной экономики и соединились с глобальной сетью мирового финансового хозяйства.

Главной фигурой мировой финансовой системы становятся не национальные банки, а международные холдинговые компании и инвестиционные фонды. Они вкладывают деньги не в «реальный сектор», а в ликвидные бумаги. В 1998 году эти компании и фонды располагали активами в размере 5 триллионов долларов.

Для инвесторов этих компаний и фондов нужен весь мир. Поэтому они оказывают сильное давление на национальные экономики, побуждая их к «либеральным» экономическим реформам. В результате мировая экономика либерализована до такой степени, что капиталы и инвестиции могут перемещаться куда им угодно, и поэтому для национальных экономик резко возрос риск тотального банкротства просто из-за утечки капитала за границу через международные фонды и инвестиционные компании. Главными признаками перемещений инвестиций являются резкие колебания курса национальной валюты с тенденцией ее девальвации, изменения официального учетного процента с тенденцией его повышения, рост внешнеэкономической задолженности государств с утяжелением условий расчета, колебания размеров внешней торговли и соотношения между экспортом и импортом, понижение курса ценных бумаг национальных компаний.

Начиная с 70-х годов характерными признаками таких циклических колебаний стали скрытый или объявленный дефолт и установление режима внешнего управления. Главной задачей внешнего управления является установление международного контроля над национальной валютой и денежными потоками страны. Ситуация такого рода складывалась в Мексике, Аргентине, Юго-Восточной Азии, наконец, в Бразилии, а теперь и в России.

Неудивительно, что международные финансовые проблемы находились в центре внимания Всемирного экономического форума, проходившего в швейцарском Давосе. Там тоже было отмечено, что виновниками мировой финансовой нестабильности являются движения спекулятивных капиталов. Об этом сказал некто-нибудь, а канцлер Германии Герхард Шредер. Они *«ставят экономики целых стран на порог разорения и создают опасную для всего мира нестабильность»*, — сказал он. По его мнению, настала пора предпринять серьезные усилия для создания обязательных рамок для новой мировой финансовой архитектуры. Президент Египта Хосни Мубарак отметил: *«Всемирная деревня загорелась, а мы не знаем, откуда идет огонь. Появились сомнения в принципиальной эффективности финансовых рынков»*. Министр финансов Великобритании Гордон Браун призвал к принятию необходимых решений «до нынешнего лета» с целью создать систему, которая «предотвращала бы и регулировала кризисы». Она должна включать МВФ, частный сектор и все международное со-

общество, предусматривать выделение кредитных линий для предотвращения распространения кризисных явлений по миру. Со своей стороны глава финансового ведомства США Джеймс Рубин отметил, что в условиях мирового финансового кризиса «нет легких решений, нет волшебной палочки». *«Есть некоторые проблемы, над которыми нам придется работать в ряде случаев годами, — подчеркнул он. — Реформы, о которых обычно говорят, на поверхностный взгляд выглядят привлекательно. Но когда их начинаешь изучать внимательно, возникают вопросы, на которые пока удовлетворительных ответов нет».*

Так что же, болезнь неизлечима?

В самый разгар очередного мирового финансового пожара трудно оставаться оптимистом. Ни свободный рынок, ни административное вмешательство, очевидно, не являются панацеей. Но, может быть, существует какое-то оптимальное совмещение подходов?

Андрей Сахаров в своей работе «Размышления о прогрессе, моей стране и мире» и др. предугадал «конвергенцию» капитализма и социализма и солидарность соперничающих держав во имя решения глобальных вопросов — угроз экологической катастрофы, голода и ядерной войны. Есть мнение, что это пророчество реализовалось «наоборот» — капиталистический Запад все больше подпадал под власть анонимной бюрократической системы, а социалистическая номенклатура переродилась в консервативно-олигархическую квазибуржуазную касту. Однако XX век показал и другое: результаты «конвергенции» находятся в прямой зависимости от моральных и профессиональных качеств менеджера класса.

Там, где менеджерский класс соответствует уровню угрозы, есть высокая доля вероятности, что общество выйдет из кризиса не только без катастрофических потерь, но и обогащенное уникальным опытом. Там, где разумное управление сочеталось с соблюдением принципов либерализма в экономике, результаты были обнадеживающие.

Когда элита на высоте

Вспомним, что когда 4 марта 1933 года Рузвельт стал президентом, в Америке насчитывалось 13 млн. безработных, а Вашингтон из-за хлынувших сюда отчаявшихся американцев напоминал осажденный город. Положение было не лучше, чем в России в 1991-м, однако Рузвельт заразил нацию своей уверенностью. Администрация Рузвельта не только объявила о решительных действиях, но и действовала решительно. Был образован комитет Уэсли Митчела по подавлению кризиса, была создана резервная система банков и заложена современная финансовая сис-

тема. Были организованы общественные работы, в основном — в секторе строительства. У людей появились деньги, они смогли покупать промышленные товары, деньги вернулись в экономику. Из Великой депрессии Америка вышла, минуя и войну, и диктатуру.

В дальнейшем Америка не испытывала кризисов вплоть до 1974 года. Но в 1974 году спусковым механизмом нового кризиса стала политика стран ОПЭК, приведшая к повышению тарифов на нефть. И право, Америка жила слишком роскошной жизнью, которую символизировал восьмицилиндровый лимузин. От чего-то надо было отказываться. Это был год, когда Нью-Йорк впервые погасил рекламу — американцы стали экономить энергию. Однако Америка вновь не стала ждать, пока рынок сам собой придет в равновесие. Администрация Джимми Картера инициировала структурную перестройку экономики. Была совершена революция в ресурсосберегающих технологиях, повсеместно внедрялись компьютеры, произошел переход от механизации к автоматизации.

Истинные причины кризисов раз на раз не повторяются. Каждый раз они требуют оперативного и грамотного вмешательства в ситуацию, а главное — изобретения своеобразного ноу-хау. Когда в 80-е Америку потряхнул кризис нового типа, на этот раз связанный с массовым перемещением капиталов в Азию, Гонконг, Сингапур, откуда в Америку хлынули дешевые товары, Америка перешла на престижные товары и овладела рынком чипов. Экспортировала образ жизни, массовую культуру. Выход всегда найдется.

Человек ищет, где лучше, а капитал — где больший процент прибыли. Современные коммуникации позволяют почти мгновенно переводить его из одного региона в другой, обрушивая экономику стран-неудачниц. Но хочется надеяться на то, что XXI век станет веком понимания, что Земля — это общий дом. Возможно, хаосу будут противопоставлены системы коллективных действий.

8 июня 1999 года

ВЛАДИМИР ЗОЛОТОРЕВ

Почему у нас ничего не получается?

«Восьмое чудо света занимает одну шестую часть суши.»
Андрей Кньшев.

Семь лет непрерывных реформ для людей, задающих себе вопрос: что же происходит в этой стране, — стали каким-то интеллектуальным кошмаром. Действительно, с одной стороны, власти вроде бы что-то делают, с другой — жизнь становится все хуже. Объяснений подобного состояния масса: от жидомасонского (вариант — российского) заговора, до рассуждений об извечных свойствах нашего народа и правителей. При всем разнообразии вариантов, все они страдают полной безысходностью и лишь добавляют «еще один кирпич в стену» извечного отечественного отчаяния перед «чудищем облым, огромным, стозевным»... Всем знакомо ощущение, как будто пытаешься пробиться через ватную стену — оно возникает при общении с нашим государством и при любых попытках предпринять что-либо, выходящее за пределы обычного жизнеобеспечения. Складывается впечатление, что сила тяжести на Украине в несколько раз выше, чем на остальной планете, — так трудно здесь дается каждый шаг.

Между тем, возможны более правдоподобные, чем «все — козлы», объяснения особенностей нашей ситуации и, соответственно, рецепты по ее преодолению, тем более, что сегодня для этого существует большая, чем раньше, интеллектуальная готовность. На Западе появилась плодотворная концепция виртуальной экономики, значительно ближе стоящая к действительности, чем другие «объясняющие» идеи. (Помнится, еще несколько лет назад на различного

рода семинарах попытки объяснить иностранцам, что, к примеру, государственный бюджет Украины — в основном фикция, и не только в «отдельных цифрах», а именно с макроэкономической точки зрения, — воспринимались, мягко говоря, с недоверием.) Несколько лет назад вышло «Оновлення» Сергея Дацюка, примерно в то же время автор опубликовал в журнале Романа Зварыча «Демос» статью «Иголки и булавки украинских реформ», и теперь, после «виртуальной экономики», я могу утверждать, что существуют определенные точки отправления для нового, более продуктивного взгляда на украинскую реальность.

Некоторые предварительные замечания

1. Иллюзия экономики

За годы перестройки и после нее экономическая наука приобрела в общественном сознании невиданный ранее, поистине сакральный образ. Экономисты напоминают трудящимся и политикам неких магов и волшебников, обладающих тайным знанием о том, «как вывести страну из кризиса». Экономические дискуссии, с точки зрения общественного сознания, выглядят как споры о том, как именно произносится спасительное заклинание: «эне, бене, раба» или «рекс, пекс, фекс». Никто, впрочем, не сомневается, что главное — это найти и произнести спасительную формулу. Между тем, экономика достаточно далеко отстоит от магии, равно как и от точных наук (единственное сходство наблюдается, пожалуй, между денежным обращением и термодинамикой). Наиболее точно проблему связанных с экономикой иллюзий сформулировал нобелевский лауреат Фридрих фон Хайек: «*Экономика — это всего лишь наука о людях*». Кстати, неслучайно тот же Хайек предлагал новый термин — «каталлактика», считая, что связанный со словом «экономика» наукообразный контекст решительным образом искажает понимание реальности. Ниже будет применяться преимущественно такой «каталлактический» подход, иначе говоря, всегда имеется в виду прежде всего то, что экономика — это наука о людях.

2. Трудно говорить о снеге в Африке

Многое из того, о чем сказано ниже, не могло быть замечено ни внутри, ни снаружи покойного СССР. Внутри почти не было людей, обладающих «наружным» знанием (а тем более — опытом), «снаружи» все государст-

ва выглядят более или менее одинаково (поэтому советологи специализировались в основном на внешней политике СССР и кремлевских интригах). Только наше нынешнее «половинчатое» состояние делает возможным понимание и прорисовку векторов происходящих процессов.

3. Все дело в пропорциях

Явления, о которых пойдет речь, по-видимому, существуют во всех странах. Другое дело, что в разных странах они существуют в разных масштабах и приводят к разным последствиям. Безусловно, об украинской ситуации можно говорить и в терминах макроэкономики, и это будет правильно, но это будет не вся правда и даже не большая ее часть. С другой стороны — скорее всего, в Америке сыну сенатора проще стать сенатором, чем простому смертному, но это для них некритично. Чтобы избежать огромного количества отступлений, автор просит постоянно иметь в виду эти замечания.

Карл Маркс был прав, или Последний привет из могилы

«„Аврора“, где же был твой айсберг?»

Николай Фоменко.

Для меня самым непонятным тезисом марксизма было утверждение об отмирании государства через огосударствление всего. Действительно, понять этот постулат тем, кто родился при социализме, невозможно, поскольку практически на самых первых этапах истории СССР уже было достигнуто это замечательное состояние «отмирания». Впрочем, оно не привело к предсказываемым Марксом замечательным последствиям, и потому мы все учили в институтах о «дальнейшей необходимости возрастания роли государства в условиях социализма». Хотя возрастать уже было нечему, потому что все возможное, включая граждан, было национализировано. Действительно, *в СССР не существовало государства в строгом смысле слова просто потому, что говорить о государстве можно только тогда, когда существуют независимые от него субъекты, для которых оно выступало бы в роли законодателя и арбитра.* Поскольку таких субъектов не было, то и государства не было (см. предварительное замечание 3). Люди зрелого возраста, определяющие нашу политику, никогда не видели государства, не сталкивались с ним, не знают, как оно устроено и для чего служит. То, что было в СССР, — еще нуждается в назывании и исследовании. Для удобства назовем эту

структуру псевдогосударством (хотя бы потому, что она имела внешние признаки государства).

У каждого рынка — своя «невидимая рука»

«Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимаемая кольцо...»

Андрей Кнышев.

Независимо от того, существует государство или нет, в обществе всегда происходит экономический обмен. В «нормальном» случае обмен осуществляется на основе частной собственности и главным критерием его выгоды является способность удовлетворять потребности других людей. Рост вашей собственности в «нормальном» рынке зависит от удовлетворения чужих потребностей.

В «ненормальной» социалистической ситуации, когда не существует частной собственности как экономического явления, обмен все равно происходит. При этом роль собственности играет статус: в самом простом случае — должность в государственной иерархии («непростые» случаи все помнят — приемщик пустых бутылок или какой-нибудь «умеющий крутиться» человек «со связями» часто по статусу были выше директора небольшого завода, вот почему я говорю именно о статусе, а не о должности). Особо очевидным такой способ хозяйствования стал во времена «развитого социализма», когда доля прямого принуждения в экономике сильно упала. Все помнят дефицит и пресловутый блат. Блат — самый яркий пример обмена на основе статуса. При этом, если вы можете «достать», к примеру, доски для дачи, а вам нужен билет в театр на модный спектакль, количество досок, которое вы отдадите за билет, зависит от того, какой статус вы будете иметь. Очевидно, что если вам удастся обратиться к держателю билетов в качестве представителя Ивана Иваныча — секретаря горкома, досок уйдет меньше, чем в случае «от Ивана Ивановича» — простого директора. Если же держатель билетов — ваш хороший друг, билеты достанутся вам даром, то есть — за деньги.

Добавим сюда еще одно важное обстоятельство — рынок (или, говоря словами Хайека, «расширенный порядок человеческого сотрудничества») основан на принципе предложения товаров и услуг всем желающим. Блат существовал для «своих» (при том, что участвовали в нем все). Иначе говоря, издержки обмена в первом и во втором случае просто несравнимы. В первом — вы идете в магазин и покупаете нужную вещь, во втором — тратите время и силы на поиск «нужных

людей», производите какие-то дополнительные услуги для того, чтобы стать «своим», не считая платы за сам товар. Такая ситуация распространялась не только на частных лиц, но и на предприятия. Вспомним о существовании «снабженцев» — людей, основной функцией которых было «выбивание» из предприятий-смежников поставок, которые, как правило, были предписаны государственным планом и должны были осуществляться «автоматически». Все вышеизложенное можно свести к двум формулам. 1) Объем собственности — статуса — при социализме никак не зависит от способности удовлетворять потребности других людей. 2) Большинство транзакций в этой системе не увеличивают национального богатства. *Советский Союз погубили не империализм или падение цен на нефть, а ежедневные миллиарды убыточных экономических обменов.*

Теперь мы можем сделать следующий принципиально важный шаг. Коль скоро существует множественность обменов, в социалистической системе также можно говорить о рынке как информационной среде и как способе координации усилий незнакомых друг с другом людей для достижения индивидуальных целей (так сказать, координации «без предварительного сговора»).

Возвращаясь к «нашим баранам», с горечью констатируем, что самоорганизующаяся система координации, возникающая естественным образом в системе с собственностью, основанной на статусе, многократно усиливает негативные последствия убыточных обменов. Коль скоро рост собственности (статуса) не зависит от удовлетворения потребностей других людей, «невидимая рука рынка», основанного на статусе, уничтожает все живое в экономике, не увеличивает, а уменьшает национальное богатство. Для удобства рынок, основанный на статусе, мы будем называть антирынком.

Что же случилось в перестройку?

«А чем же плохо следовать установленным процедурам?»

Михаил Горбачев (Роберт Асприн, «Корпорация МИФ в действии»).

Деграция социализма привела к тому, что монолит псевдогосударства начал разваливаться (я не имею в виду политический развал СССР — это только одно из последствий общего процесса). Говоря более образно, глыба социалистического льда начала таять, вокруг нее появилась «вода» — люди и структуры, оказавшиеся в результате экономической деграции вне системы полного государственного

патроната. Возникла внешняя по отношению к псевдогосударству среда, которая начала существовать по законам обычной денежной экономики. (Здесь очень важно отметить, что перестроечная либерализация, позволившая перейти к денежным отношениям, была всего лишь реакцией на деградацию социализма, которая позволила «льду» медленно таять, а не разлететься на куски от перенапряжения. Сегодняшнее наше состояние есть результат продолжения давно начавшегося разрушения социализма, а никак не результат «перестройки» или «либеральных реформ».) В результате в постсоветских странах сложилась удивительная система, в которой одновременно существуют денежная экономика и антирынок, при этом второй паразитирует на первой.

Еще один важный момент: как только появилась внешняя по отношению к псевдогосударству среда, оно начало выступать по отношению к ней как обычное государство, источник норм и арбитр, не будучи никак к этому приспособленным и главное — не имея никаких обратных связей с внешней средой. Внутри же эта «ледяная глыба» псевдогосударства ничуть не изменилась и по-прежнему является системой, основанной на статусе. Мотивы, которыми руководствуется наше псевдогосударство по отношению к денежной экономике диктуются разрушительной логикой антирынка. Было бы большой ошибкой думать, что сфера антирынка ограничена только рамками государства, нет, мы все являемся участниками как обычного рынка, так и антирынка одновременно. Ларек, продающий контрабандные сигареты (потому что «кто надо» может ввозить импортные сигареты без акциза благодаря связям), — самый простой пример. Взятки гаишникам, «бутылки» сантехникам — все это статусные, антирыночные отношения, пронизывающие наше общество и глубоко присущие ему. (Егор Гайдар в своей книге «Государство и эволюция» показал, что практически за всю историю территория бывшей Российской империи никогда не знала «нормальной» частной собственности и потому патриархальные статусные отношения гораздо глубже, чем мы думаем.)

Экология экономики

«Не хотите жить как люди — будете жить по Уставу!»

Угроза командира подчиненным.

Самый простой способ паразитирования антирынка на денежной экономике всем знаком, и он очень хорошо вписывается в нашу ги-

потезу. Вспомним, что различные государственные агенты (налоговая, пожарники и пр.) в отношениях со своей жертвой прежде всего стремятся перейти из формальной плоскости юридической нормы в плоскость личных отношений — отношений на основе статуса: «Мы у вас можем найти любые нарушения, поэтому давайте договариваться по-хорошему». При этом и сами жертвы не стремятся к законности отношений. Хороший пример такой системы находится в армии. Формально, устав, равно обязательный для солдата и для генерала, гарантирует рядовому человеческие условия службы — восьмичасовой сон, отдых в выходной и т.д. Однако, он же содержит и явно невыполнимые требования — к примеру, все военнослужащие должны отдавать друг другу честь (то есть и солдат солдату). Так что, хочешь «качать права» — ходи отдавай честь на посмешище своим товарищам.

Основной ущерб, наносимый обществу антирынком, не является простой арифметической суммой недополученной прибыли от времени, потраченного на общение с государством, и сумм, ушедших на взятки. Гораздо страшнее общее «загрязнение» рынка (вообще говоря, можно было бы предложить интересную тему «экологии экономики»). Как и в случае обычного экологического загрязнения, о «загрязнении рынка» можно сказать лишь то, что оно является постоянно действующим фактором, но каково будет его воздействие в каждом конкретном случае — сказать невозможно. Иначе говоря, *решения в денежной части нашей экономики принимаются не только под влиянием ее собственных сигналов, но и под влиянием сигналов антирынка, что делает их неэффективными.* Возвращаясь к нашему примеру — контрабандист, не платящий акциз, может продавать свои сигареты дешевле, чем те, кто его платит. Более низкая цена для обычного рынка — сигнал остальным продавцам тоже снижать цены, для чего необходимо предпринимать экономические меры (искать новых поставщиков и т.д.). Однако, в нашем случае, низкая цена — не результат ноу-хау (которое могли бы открыть и другие участники рынка), а результат обмена статусом, и потому нормальная реакция других продавцов (снижение цен) на «загрязненный» сигнал приведет их к разорению. Эта ситуация приводит также к тому, что *доверие к любым рыночным сигналам в нашей экономике крайне низко*, никогда нельзя сказать — рыночный это сигнал или антирыночный. Оценить ущерб от такого состояния дел не представляется возможным. Пока что можно лишь констатировать три очевидных результата: 1) наш предприниматель, заранее предполагая, что «все равно ничего не получится», как правило, ничего не делает в тех ситуациях, когда

«обычный» развил бы большую активность; 2) в условиях недостоверных сигналов невозможно планирование на уровне предприятия и какая-либо долгосрочная деятельность, усилия участников рынка направлены в основном на поиск «быстрых денег», что приводит к криминализации, а значит — еще большей зависимости от государства; 3) конкуренция в этих условиях превращается в весьма сомнительный инструмент, отнюдь не обеспечивающий победу лучшего; по сути, конкуренция происходит за более удобный и дешевый доступ к необходимому статусу.

Обнаглевшая раковая опухоль

«Тот, кто говорит — „проще, чем отобрать конфету у ребенка“, — никогда не пробовал отобрать конфету у ребенка.»

Робин Гуд (Роберт Асприн, «Еще один великолепный миф»).

Все предприниматели задают один и тот же риторический вопрос: «Неужели они не понимают?» Смысл его сводится к упрекам в адрес государства — дескать, нельзя резать курицу, несущую золотые яйца, и далее в том же духе. Один из членов НДП как-то написал в нашей газете: *«Разговариваешь с чиновниками — каждый по отдельности вполне здравый человек, а все вместе действуют, как стая саранчи»*. Абсолютно правильное определение, если учесть, что и нормативные акты, и практики во многом — продукты антирынка. В этом «специфика» и безысходный ужас нашей ситуации: для денежной части нашей экономики продукты государства являются юридическими нормами, в то время как для самого псевдогосударства — «экономическими» решениями, способом паразитирования, конвертации статуса в деньги и «нормальную» собственность. Важно, что применение норм, являющееся компетенцией «исполнительной власти», полностью зависит от ее «доброй воли» (по-другому и не может быть в статусной системе) и потому даже «правильные реформаторские» законы и другие нормы выполняются так, чтобы прежде всего поддерживались условия, позволяющие существовать антирынку. Со стороны эта деятельность выглядит столь виртуозно, а ее последствия — столь очевидно, что это позволяет недалеким людям говорить о «заговоре» то ли «империалистов» вкупе с МВФ, то ли чиновников-саботажников. Между тем, *деятельность псевдогосударства столь эффективна именно потому, что не направляется из одного центра и в большинстве случаев не являет-*

ся продуктом политических решений и компромиссов, а является результатом той самой рыночной координации незнакомых друг с другом людей для достижения индивидуальных целей, о которой говорилось в начале статьи. Напомню, что в этой координации участвуют не только чиновники, но и все остальное население, при этом ни те, ни другие не подозревают об этом.

В качестве примера эффективности антирынка, приведу список основных «побед» псевдогосударства, с которым наверняка согласятся те, кто следил за нашей новейшей историей:

1. *Абсолютная победа над частной собственностью.* Разговоры о приватизации могут обмануть разве что МВФ. Когда нет процедуры банкротства, когда в любой момент предприятие может быть «реприватизировано» Фондом госимущества или парламентом ввиду «неправильности» приватизации, когда понятие собственности не существует для «правоохранительных» и прочих органов и, главное, когда никто и не заикается о частной собственности на землю, — говорить о собственности бессмысленно. Если нет собственности — в экономике процветает статус.

2. *Потрясающая устойчивость к попыткам преобразовать псевдогосударство в обычное государство.* Замечательное свидетельство мощи антирыночных механизмов — то трогательное единство, с которым большинство постсоветских стран «внедрило» у себя пресловутую «смешанную» систему из избираемого президента и назначаемого премьер-министра — начальника правительства. Подобной структуры не существует ни в одной развитой стране, видимо, по причине ее чрезмерной замысловатости (автор готов доказать, что даже «французская модель» при всей ее ненужной громоздкости, весьма далеко отстоит от отечественных вариантов). На самом деле, ничего нового в этой системе нет — это переименованный вариант отношений ЦК — Совмин, в которых главная роль отводится ЦК (президенту), но за исполнение которой отвечает Совмин. Если воля избирателей никак не влияет на поведение правительства — процветает статус.

3. *Полное игнорирование права плюс фактический отказ от судебной реформы* (здесь и пояснять ничего не нужно). Если нет арбитра, решения которого обязательны для всех, — процветают отношения, основанные на статусе.

Здесь меня могут обвинить в преуменьшении роли коррупции, лоббизма «групп интересов» и фактическом оправдании власть имущих, дескать, они не виноваты, а виновата «невидимая рука». Скажу только, что коррупции на Украине нет, поскольку она является правилом, а не исключением. Даже в тех случаях, когда при обращении в го-

сударственные органы вам удастся решить свою проблему без взятки, вы все равно платите псевдогосударству «налог» в виде потраченного времени, всегда значительно большего, чем это необходимо для решения вопроса (опять-таки, подчеркну, что это слишком простой, линейный пример, относящийся к узкой сфере, в реальности все значительно сложнее). Для антирынка важна прежде всего ваша «беготня» сама по себе, которая является индикатором — свидетельством достаточной непрозрачности — одного из необходимых условий его существования. Взятка нужна отдельно взятому чиновнику, он может ее и не получить, но все вместе, не договариваясь друг с другом заранее, чиновники в любом случае заставят вас «побегать», чтобы получение взятки кем-то из них было вообще возможным. Сила самоорганизующейся системы проявляется в том, что отдельного взятокбрателя можно уволить, но никто не заставит чиновников поступать иначе, пока человек зависит от государства так, как на Украине.

Все, наверное, замечали, что если по каким-то причинам посетители в присутственных местах перестают «бегать» (упрощаются правила, ужесточается контроль), антирынок реагирует мгновенно и через некоторое время все возвращается на свои места. Кто это делает? Никто. И все вместе. На государственном уровне это проявляется в знакомой всем наблюдателям картине — как только принимаются какие-то реформаторские решения, антирынок немедленно «компенсирует» их решениями в другой области, сводящими первые на нет.

Что же до оправдания власть имущих, то никто их не оправдывает, напротив, как и в любом секторе рынка, здесь существует конкуренция и потому действует естественный отбор. Выживают «сильнейшие», то есть те, кто не задает лишних вопросов и соглашается с неписаными и не обговариваемыми правилами (зная многих чиновников, я никогда не видел, чтобы они договаривались в курилках о том, как им «ужучить» посетителей). Люди, воспринимающие наши государственные органы как государственные, то есть прежде всего такие, где существует строгий порядок и формальная иерархия соответствует реальной, — просто не могут победить в этой конкуренции. Как рыночная экономика сильнее плановой (*«Мы не знаем другого способа, кроме конкуренции, для того, чтобы информировать индивида, где его вклад в создание общественного богатства будет максимальным»*), — пишет Хайек в последней работе «Пагубная самонадеянность», так и антирынок «сильнее» любой сознательной политики или «заговора». Разница в том, что он «информирует индивида» фактически о том, где его деятельность нанесет наибольший ущерб обществу.

ПОЧЕМУ У НАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?

Что делать?

«А вам не кажется, что мне достается как-то слишком много неприятностей?»

Иов (Роберт Асприн, «Мифтерия жизни»).

Наше положение усугубляется тем, что существующие политические стереотипы не учитывают не только решающей роли антирынка, но и самого его существования. Я думаю, что и нынешний президент искренне считает, что он помогает развитию предпринимательства, принимая различного рода указы, в то время как указами делу не поможешь: антирынок «развивается» естественным путем и предел его развития — наша полная деградация. Во многом возникновению ложных иллюзий мы обязаны деятельности «национал-демократических» политиков (вкуче с радостно вторящими им чиновниками), которые в самую ответственную пору, 91-93-й годы, пользуясь своей идейной монополией в СМИ, всякий раз, когда предпринимались попытки критики в адрес наших институций, устраивали неприличные истерики, обвиняя всех и вся в «покушении на государственность». Они создали иллюзию существования у нас государства, которое просто необходимо немного реформировать, в то время как нам достался осколок социалистического «льда», «реформирование» которого вылилось пока что в раскраску граней этой глыбы в разные цвета.

Теперь неудивительно, что, глядя на весь творящийся у нас хаос, возникший якобы в результате либерализации, политики в подавляющем большинстве твердят об «усилении роли государства», между тем как для борьбы с антирынком необходимо как раз обратное. Вообще говоря, лучшие экономические реформы — это отделение государства от экономики и организация самого государства. Здесь, правда, *возникает роковая проблема — как реорганизовать псевдогосударство, ведь других инструментов, кроме самого псевдогосударства, для этого не существует.* Мы уже видели, что антирынок способен эффективно противостоять любым попыткам разрушить его изнутри, поэтому точка опоры для преобразования псевдогосударства должна находиться вне его (как говорил Архимед: *«Дайте мне точку опоры и я переверну Землю»*; с самой Земли перевернуть ее затруднительно). Одним из таких механизмов может быть Учредительное собрание, эффективно примененное американцами после того, как они десять лет промучались со своей неработоспособной системой (уже после отделения от Англии), и многократно потом воспроизводившееся в Европе (единственный, пожалуй, неудачный вариант произошел в России). Возможно, существуют другие меха-

низмы, в любом случае — это отдельная серьезная тема. В любом случае, людям, влияющим на принятие решений и стремящимся жить в «нормальной» стране, следует подумать над отказом от самой парадигмы «реформ». Реформы, иначе говоря — издание нормативных актов с прогнозируемыми последствиями, просто невозможны в существующей системе, ибо реформы направлены на уничтожение антирынка. Изнутри (а формальное государство — тоже часть антирынка) разрушить эти отношения не представляется возможным, по крайней мере семилетний опыт подсказывает, что это так. Любое реформаторское решение на этапе исполнения будет «откорректировано» таким образом, чтобы не затрагивать основ антирынка, и весь ужас ситуации в том, что «корректировка» произойдет естественным, то есть самым надежным и эффективным, образом. Мне кажется, вместо «реформ» в качестве задачи следует говорить о создании, если угодно — «придумывании», государства с заранее известными и, следовательно, ограниченными полномочиями.

20 августа 1999 года

ЯЗЫКИ

ЛЕВ СИГАЛ

Разгневанный пурист
и рассудочный лингвист,
или Инвектива против живого
русского языка

Полемика двух полушарий головного мозга,
с прологом и эпилогом

Пролог. В последнее время я стал очень раздражительным: подозреваю возникновение самых натуральных неврозов. И все дело в русском устном, в повседневной разговорной речи окружающих меня русских московских людей. Почему-то раньше я просто не замечал в ней тех, скажем так, шероховатостей, которые ныне прямо-таки отравляют мое существование.

Возможно, я из тех самых обрусевших инородцев, которые, как учил дедушка Ленин, *«пересаливают по части истинно русского настроения»*. Вождь мирового пролетариата совершенно справедливо имел при этом в виду настроения имперские; я же веду речь об особом аспекте данного вопроса — о лингвистическом шовинизме.

Мои родители — одесские евреи, то есть выходцы как раз из тех самых мест, откуда проникла в русский язык речевая зараза — засилье южизмов, эта истинная пагуба. Однако мать не только себя переделала, но и десятилетиями педантично учила русских школьников нормативной московской речи.

Однако дело даже не в родителях — всем лучшим и худшим в себе, в своем языковом мироощущении я обязан книгам. Пария в кругу сверстников, я подпитывался книжной речью так, что разговорным русским, пожалуй, в совершенстве не владею. «Говорит, как пишет», — странная похвала адресована Чацкому. Как неимоверно сложно для меня, человека, зарабатывающего пером, писать так, как говорит большинство!

В юности я, разумеется, нисколько этого не стеснялся, глядя на окружающих с известным высокомерием. Теперь же пытаюсь говорить общепринятым языком — не выходит. Писать при строжайшей самоцензуре и саморедактуре, ценою длительных раздумий буквально над каждым словом — удастся, а вот спонтанно говорить — нет. Комичней всего то, что в бытовых конфликтных ситуациях от волнения я начинаю изъясняться особенно витиевато. Получается что-то в духе смешившего всех однокурсника-эстонца: «Если фы не путете корректировать сфое пофетение, я путу фынуштен окасать на фас фисическое фостейстфие».

Поэтому нет ничего странного в том, что я совершенно не переношу в русской речи всего того, чему не учили в школе. Однако образование и рассудок подсказывают, что очень часто здесь налицо не речевые ошибки, а скорее речевые новации — поступь прогресса.

Итак, два полушария головного мозга спорят между собой. «Пурист» переполнен эмоциями, «лингвист» (определение условное: автор этих строк — в лингвистике дилетант) мыслит логически.

Пурист: Есть два явления в современной разговорной речи, которые, неустанно преследуя меня, вызывают едва ли не нервный тик. Во-первых, у нас на глазах прямо-таки вымирает глагол «надевать», вытесняемый отовсюду своим однокоренным собратом.

Казалось бы, нет ни малейшего повода для путаницы: действие глагола «одевать» переходит на свой объект, глагола «надевать» — на орудие действия; в первом случае имеется цель, во втором — лишь средство ее достижения (*«двуногих тварей миллионы для нас орудие одно»*). В чем, собственно говоря, здесь затруднение? Пытаюсь высмеивать близких: «Ты персонифицируешь туфли. ОДЕТЬ их значит очеловечить — нарядить в штаны, рубаху и т.д.». Все без толку — не срабатывает никакое лекарство!

Кстати, почему-то психологически проще пережить болезненный процесс «одевания» существенных элементов гардероба, таких как, например, пальто, но гораздо сложнее не заметить этот речевой огрех применительно к мелочам: часам, украшениям, очкам и т.п. Однако подобное безобразии распространилось и на них; при этом «одевание» решительно шагнуло за рамки устной речи. Открой брошюрку по технике секса, тебе обязательно настойчиво порекомендуют ОДЕТЬ презерватив!

Терпеть это нельзя. Куда же смотрят власти? Необходимо принять закон «О защите русского языка». Ведь здесь проблема того же порядка, что и защита исчезающих видов животных и растений или, скажем, памятников истории и культуры. Предохранение языка от порчи — это настоятельно требующий вмешательства государства эколого-культурный вопрос. Пусть уполномоченные на то государственные органы займутся безответственными редакциями, которые экономят на добросовестных корректорах. Пусть оштрафуют их на кругленькую сумму, чтоб неповадно было!

Лингвист: Напрасно ты горячишься и апеллируешь к городовому. В тебе заговорили вдруг полковник Скалозуб и унтер Пришибеев. И все лишь потому, что язык большинства расходится с твоими консервативными привычками, с твоим школярским представлением о норме, якобы являющимся аксиомой. Ведь ты атеист, а проявляешь нетерпимость религиозного фанатика. Но будь ты даже набожен, неужели ты хочешь приравнять учебник к Библии, словарь к молитвеннику, предписания академиков из Института русского языка АН СССР к наставлениям непогрешимых церковных иерархов?

Давай рассудим здраво, ты же вполне образованный человек и прекрасно знаешь, что язык отнюдь не есть нечто неизменное, свыше и навсегда данное. Тебе ли не знать, что из века в век все языки с той или иной скоростью развивались, причем во вполне определенном направлении — в сторону упрощения.

Сегодня на твоих глазах проходит один из естественных и неизбежных этапов развития языка. Свидетельствуй, а не ропщи! Глагол «надевать» отмирает за счет расширения смыслового значения однокоренного глагола «одевать». Банальная история. Почему ты так разволновался? «Вся рота идет не в ногу, один рядовой Иванов — в ногу». Ты это хочешь сказать?

По-твоему выходит, что язык создается кастой профессионалов-лингвистов, а не вызревает в стихии многомиллионных полуграмотных масс. Тогда почему ты предлагаешь этой касте опереться на государственное принуждение, словно ей недостает собственного авторитета? Не потому ли, что собираешься бороться с живой реальной жизнью? Да это так же безумно, как поступок Ксеркса, когда он приказал высечь море!

На самом деле сочинители словарей и авторы учебников не законодатели, а всего-навсего нотариусы, да и то фиксирующие положение *de facto* с огромным опозданием. Пройдет какое-то время и они обязательно поместят в своих тезаурусах столь милый твоему сердцу глагол «надевать» с пометкой «устар.». Тогда ты наконец успокоишься?

Кстати, это касается и архаического, по сути, склонения имен числительных. Готов биться об заклад, что с годами русисты официально

признают их неизменяемыми частями речи, каковыми они и являются во многих индоевропейских языках.

Пурист: Пожалуй, логика твоих хладнокровных, фаталистских рассуждений безупречна. Ты мог бы еще призвать на помощь и Гегеля: *«Все действительное разумно, а все разумное действительно»*. Но попробуй понять и переполняющие меня чувства. Ведь то, что происходит, просто нестерпимо. После всюду натяканного «одевания» второе, что вызывает у меня нервную дрожь, — это ударение в многострадальном глаголе «звонить».

Есть два сорта людей: те, кто говорит «звóните», и те, кто говорит «звонíte». Мое отношение к малознакомым персонам в большой степени формируется тем, как они обращаются с этим словом-оселком. И теперь данный глагол, даже правильно произнесенный, я уже не могу спокойно пропустить мимо ушей.

Говорят, что каждый должен посадить дерево и т.п. Иногда меня посещают эротико-педагогические грезы немного в духе маркиза де Сада. Хочется взять на воспитание юную Галатею из провинции и заняться с ней спряжением злосчастливого глагола, сопровождая каждую форму гулким шлепком по мягкому месту: «Я звон-ю́, ты звон-и́шь, он звон-и́т, мы звон-и́м, вы звон-и́те, они звон-я́т».

Конечно, я понимаю, откуда идет такое ударение. Наверняка это очередной украинизм, как и пресловутое «ихние». Ведь по-украински «звонить» будет «дзвуниты». Как сказал тургеневский герой: *«Справедливо, но не утешает»*.

Лингвист: Обрати внимание, что в этой новации наличествует *ratio*. Ударение несет смыслообразительную нагрузку. Уже не спутаешь форму повелительного наклонения и изъявительного будущего времени. Человек говорит: «Позвоните мне, пожалуйста». И он же спрашивает: «Когда вы мне позвóните?» Исторически все легко объяснимо. Ведь до наступления эры всеобщей телефонизации данный глагол использовался куда реже, только в контексте: «Москва — звонят колокола». Помоему, такое объяснение должно утешить тебя и примирить с суровой языковой действительностью.

Пурист: Мы обсудили с тобой самое простое. Умом я воспринимаю твои доводы, но совладать со своими чувствами не могу. Однако наш разговор о порче или, если угодно, о модификации русской речи нельзя считать завершенным, коль скоро мы обходим молчанием процесс пиджинизации — это устрашающее вторжение иноземных варваров. Я говорю о бесцеремонной американской лингвистической интервенции последних трех-четырёх лет.

Конечно, это требует весьма обстоятельного разговора, да и мои чувства здесь несколько противоречивы. Естественно, я не шишковец,

не сторонник «топталища», «позорища» и «мокроступов». Замечу однако, что ныне русская речь не обогащается стараниями людей образованных, знающих многие языки, а засоряется малограмотными «челноками», как скверная азиатская барахолка. Собранный ими хлам выглядит у нас крайне неорганично, антиэстетично, ужасающе дико.

Разве можно мириться с тем, что какие-то придурки тащат в родную речь такие перлы как «шоп-тур», «секс-символ» и даже слово-ублюдок «news-блок»?! Между прочим, символом секса может быть только определенная геометрическая фигура, а никак не реальная особь человеческая. Так говорят по-русски.

А уж в кругу профессионалов просто деться некуда от жаргонизмов типа «бизнес-встреча» (услышано от одной юной барышни, носящей громкую фамилию крупного государственного деятеля-реформатора). Послушайте, я допускаю заимствование лексических единиц, но ведь все эти дефисные конструкции противоречат русским принципам словообразования!

И потом, едва ли кого-то покоробят классические заимствования: греческие («патриот», «школа», «стихи») или латинские («партия», «милиция», «секретный»), или галлицизмы («тужурка», «одеколон», а тем более родные «шаромыжник», «шантрапа»). Но мне кажется, что сама структура, сами принципы построения английского языка настолько противоположны русским, да и вообще континентальным европейским, что британским словечкам никогда у нас не прижиться, не войти в плоть и кровь.

Недаром Гоголь отмечал, что заговорив по-английски, всякий тотчас «делает птичье лицо». Знаю по себе: произнесешь одно английское словцо, и уже гораздо проще всю фразу завершить по-английски, чем вернуться к родным берегам.

Ты можешь себе представить газету «New York Times-ежедневная»? А «Коммерсантъ-daily»? Сам факт существования издания с таким ублюдочным названием — это самая настоящая пощечина. Как могло Министерство печати зарегистрировать подобное непотребство? Нет, отеческую речь следует защищать в законодательном порядке — поучимся у французов.

Правительство Москвы запретило иностранные вывески, а воз и ныне там. Необходимо привлечь общественность, чтобы брала за жабры нарушителей, как это происходит, например, в Эстонии или в Квебеке.

Лингвист: Ты завел речь о мировых аналогах. Бросим взгляд на них. Мне доводилось раскрывать шведские или итальянские газеты и видеть там: «week-end», «seat-in pacifico». Я ходил по улицам Афин и видел повсюду дикий ералаш из латинских и греческих букв. Но возьмем Японию — великую державу, некогда самоизолировавшуюся от белых

людей (как и соседи-китайцы, у которых Чацкий призывал поучиться «премудрому незнанию иностранцев»). Заглянем в японский разговорник: «нож» — «найфу», «утро» — «монингу». Вот это уже самая настоящая пиджинизация! Теперь сравни, как целомудренно, как гордо выглядит на этом фоне наш великий и могучий.

Все дело в том, что если «железный занавес» раскрыт недавно и внезапно, как у японцев или у нас, то язык не успевает переварить мощный поток варваризмов. Но если контакт с соседом был длительным, то вырабатывается лингвистический иммунитет, как в испанском, арабском или иврите.

Как ты помнишь, при Петре Великом пехоту именовали «инфантерией», любовника — «галантом», завтрак — «фриштыком». Все неорганичное очень скоро сошло само, как детская болезнь ветрянки. Кстати, насчет чуждости английских слов ты сильно перегнул. А «бокс», «футбол», «компьютер»?

Позволь резюмировать на смеси языков: «Laissez passer! Laissez faire!» А там перемелется — мука будет.

Эпилог. Спорящим не суждено прийти к общему знаменателю, ибо это полемика разума и чувств. Борьба с языком толпы — занятие безнадежное и глупое. Финал очевиден — испорченные нервы и полная безоговорочная капитуляция. Но душой я, кажется, всегда буду в стане побежденных.

6 августа 1997 года

СИМОН КОРДОНСКИЙ

Чапаев, штирлиц, русский, еврей, брежнев, чукча + ельцин = пушкин

Мало стало политических анекдотов (1), все больше о новых русских, да сексе. Нет и объединяющих идей. И если отсутствие объединяющих идей кое-кто считает признаком деградации нации, то исчезновения политических анекдотов теоретики как бы не замечают.

Анекдот — другая сторона объединяющих и жизнеутверждающих идей. Известно ведь: если есть идеи, то есть и анекдоты, эти идеи ниспровергающие (2). А нет идей, нет и анекдотов. В оппозиции «идея — анекдот» — суть общества, разделенного на народ, власть и интеллигенцию. Власть утверждает идеи, интеллигенция эти идеи ниспроверяет в анекдотах, а народ, матерясь, пьет водку и ими — анекдотами — закусывает. Народ в таком обществе безвластен и неинтеллигентен, власть неинтеллигентна и ненародна, интеллигенция ненародна и безвластна (3).

Политики в таком обществе нет — одна экология: жрут друг друга взаимно и оценивают ближних и дальних по степени съедобности. Интеллигенция поливает власть и жалеет народ вслух, а про себя — презирает. Она — к тому же — признает только власть идей и художественных образов, а все другие власти считает говном. Власть — и не без основания — считает говном интеллигентов и осознает себя как силу, которая может по морде интеллигенту заехать и в народ стрельнуть — при необходимости. Народ власть не любит, а интеллигенцию предпочитает видеть в гробу.

Другие страны как-то обходятся без этой дряни. Нет там ни народа, ни власти, ни интеллигенции, одни люди — граждане своей страны. И отношения между людьми гражданские и политические, а не экологи-

гические. Одно плохо, мало у них таких идей и таких анекдотов. И жизнь «за бугром» поэтому лишена высоких идейных смыслов и мелких радостей застольных анекдотов.

Самопроизвольная (что бы там ни говорили конспирологи) деградация режима почти начисто смыла совреду. Большая часть тех, кто еще десять лет назад был народом, властью и интеллигенцией постепенно становятся людьми и озабочены в основном бизнесом, хлебом насущным, да зрелищами. Но есть и те, кто продолжает ощущать себя частью общества, разделенного на народ, власть и интеллигенцию. Обитают они в основном в отечественной политике, которая пока прямая наследница советской экологии. Но и там реликты чувствуют себя неудобно и потому намерены возродить народ, который можно презирать, и власть, которую можно поливать в анекдотах. Но особенно им хочется возродить интеллигенцию, которая сможет снабжать власть жизнеутверждающими идеями, а народ — ниспровергающими идеи анекдотами.

Желание перейти от слов к делу упирается в невозможность дела, естественно, в рамках принятой онтологии «народ — власть — интеллигенция». Идти в народ — накладно, да особенно и не с чем. К тому же, где его найдешь, настоящий народ? Идти во власть — не пустят, а если и пустят, то используют в лучшем случае на гигиенические прокладки. Остается идти в интеллигенцию: классово близка, охраны не положено, в рукав не сморкается. Но она ангажирована: пишущие сильно заняты в интеллектуальной службе власти и ничего не читают, кроме газет, а читающим книжки надоела политика и безденежье.

Советскую интеллигенцию взращивали много лет путем идеологической индоктринации. По-другому, наверное, и не получилось бы. Для индоктринации нужны идеи. Истоки уверенности в том, что любое говно превращается в конфетку под действием этого катализатора, лежат в творчестве вождя мирового пролетариата. Даже перепревший навоз исторической памяти волшебным образом (4) делится на фракции «народ», «власть», «интеллигенция» — как только соприкасается с настоящими идеями. Но Ильич пока несвоевременен, а Саддам и команданте Маркес и Лукашенко слишком экзотичны.

Опыт реконструкции русской идеи демонстрирует: при попытке вымучить идею получается несмешной анекдот. Для успеха дела нужны такие идеи, которым можно сопоставить смешные политические анекдоты. Если идея не допускает трансформации в анекдот, то она ненастоящая.

Я думаю, что новые политические идеи возникнут — не дай бог, конечно, — вовсе не в заказном академическом творчестве. Скорее они возрастут в политизированном искусстве. Был когда-то такой литературный герой — Хулио Хуренито, гениальный провокатор. Он — по воле

Ильи Эренбурга — занимал активную жизненную позицию, совершал поступки и генерировал идеи, последовательно реализованные членами ВКП(б) вскоре после его смерти. Хуренито погиб в Арзамасе (или в Армавире — не помню уже) в конце гражданской войны, но его дело только-только померло. Сегодня наследники (5) Хулио Хуренито творят новые, к счастью, пока только художественные реальности. Но имеют при этом политические амбиции.

Можно действовать и по-другому. Например, начинать сочинять политические анекдоты, запускать их в массы (6), а потом реконструировать из признанных смешными анекдотов объединяющие идеи. Инструмент для проверки анекдотов для этого есть.

Некоторые идеологи — методом тыка — начинают осваивать этот путь. Вот и название журнала «пушкин» произошло — по свидетельству его автора (7) — из анекдота. Мне кажется, что Чернышев (он же, в соавторстве с Криворотовым, — С. Платонов (8)) использует эту логику в своей философской прозе. Он онтологизирует и интерпретирует ситуации, созданные авторами фантастических произведений (от Платона до Стругацких) и старых политических анекдотов, разворачивая их в объединяющие идеи. Но анекдоты у него «с бородой», а потому и идеи несвоевременны. А как старается! Подкинуть бы ему свежих анекдотов, да взять неоткуда.

Читаю о перфомансах и компроматах, слышу, как новые идеологи шуршат и шустрят по закромам в поисках идей. Жду появления в электронных библиотеках рубрик «Политические анекдоты». Если возникнут, то уже созрели где-то жизнеутверждающие идеи. Надо будет думать «ехать — не ехать», да держать наготове сидор с известным «походным» набором. Сколько лет не вспоминал об А. Галиче. А тут вдруг захотелось послушать. Помните: «Ох, не шейте вы, евреи, ливреи...»

13 ноября 1997 года

Примечания:

- 1 Смотрите книгу Курганова «Анекдот как жанр». — СПб., 1996.
- 2 На всякое «Народ и партия едины» было и есть «Спасибо партии родной за доброту и ласку. Отобрали выходной, обосрала Пасху».
- 3 Под анекдотами я понимаю не только смешные фразы, которые пересказывали друг другу интеллигенты в курилках НИИ и вузов в те давние годы, но и определенные тексты, такие как «Сказка о тройке» и «Улитка на склоне» Стругацких, метафорические тексты Андрея Платонова и т.п.

4 Волшебство называется фальсификацией истории.

5 М. Гельман. Компромат как литературный жанр // «Пушкин», № 2, 1997.

6 Общественная деятельность по распространению политических анекдотов трансформировалась в «активные информационные мероприятия», коими за весьма приличные бабки занимается известная часть бывших интеллигентов. Так что навыки не потеряны.

7 По свидетельству Сергея Чернышева (выступление на презентации «Пушкина»), в мучительных поисках названия (первоначально журнал собирались назвать «Идиот») он обратился к собственному руководящему опыту: когда надо было внушить подчиненным, что надо делать дело, он спрашивал у них: а кто будет делать? Пушкин? Журнал решили назвать «Пушкин».

8 С. означает, очевидно, Сократ. Сократ Платонов, не хухры-мухры.

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

Засада

* * *

В октябре 90-го года я ужинал с американским поэтом Норманом Рос-тенем. В черных стеклах трудно было отличить отражения ламп от уличных фонарей «с той стороны».

Говорили о разном, но больше о Мэрилин Монро, с которой он был дружен в период ее бурного романа с Генри Миллером.

— Фактически, она его спасла... — закончил Норман.

— Хорошо... — сказал я. — Допустим, история становится понятней. Но почему Мэрилин, в самом деле, стала кумиром нации? Почему до сих пор она занимает такое место в вашей памяти?

— На этот счет существуют тысячи ответов, — уклончиво заметил он. — Но мы на самом деле обязаны ей очень многим.

— Чем именно? Тем, что она открыла «новую» эру? Тем, что она воплотила это странное сочетание совершенной наивности и головокружительной удачи? *Blue dream*?

— Нет, — сказал Норман. — Не совсем...

— Но что тогда?! Секс-символ 50-х? Кеннеди? Что еще?..

— Как бы это сказать... *Она дала нам стиль.*

* * *

Сегодня эта фраза не кажется мне столь исчерпывающе точной, как в тот вечер. Сегодня эта фраза не столько проясняет таинственное явление «стиля» и его вожделение, сколько размывает очертания ряда вопросов, обязанных своим существованием самому слову, частота упоминания которого не уступает по частоте употребления слову «деньги».

Заниматься его толкованием — занятие неблагодарное, поскольку само по себе слово живет только в словарях, да и то в виде неприятная-

тельных и банальных смыслов, осевших, под стать карстовому слою памяти, на его полой скорлупе.

Не обинуясь, мы говорим о стиле поведения, пишем о стиле одежды, интерьера, речи, мы слышим о стилях архитектуры, вступаем в споры по поводу художественных стилей и прочих. А подчас удается поверить и в то, что *стиль* — не что иное, как сумма неких качеств, свойств, принадлежащих тому или иному явлению и, следовательно, определяющих его, делающих его таким, как оно есть. Но как быть с фразой «она дала нам стиль»? Не является ли создание стиля чем-то наподобие медленных тектонических процессов отбора и комбинации различных, зачастую противоречивых особенностей, необходимость воплощения которых обнаруживается внезапно и безусловно? Что-то вроде английского газона, являющего безупречность неизбывного примера.

Так ли неожиданно эти особенности открываются во вполне законченном и обозримом «образе», который становится несомненным для опыта? И потом, производится ли стиль временем, историей, взаимодействием неисчислимых интересов — или же *некто* конкретно, обнаруживающий в себе и для нас черты поведения, манеры одеваться, говорить, мыслить, выбирать то, что в своей совокупности в один прекрасный момент оказывается единственно приемлемым, в самом деле может влиять на вкусы или умонастроение общества?

И о ком, признаться, втайне думаем: не опереди он/она нас на мгновение, мы бы и сами все это прекрасным образом устроили. Этот же некто, имеющий обыкновение опережать на мгновение осведомленных в том, что им «нужно», обычно называется «харизматической личностью», героем, потому что, скрепя сердце, не взирая на самые достоверные самооправдания, мы вынуждены признавать, что наши представления, как бы то ни было, остаются смутными желаниями (которые обязан угадывать производитель, но это другая история...). И, может быть, даже не желаниями, но предчувствиями, эдаким туманным беспокойством неотступной неудовлетворенности.

В 1707 году Ж.-Л. Бюффон, на приеме в Академию говоря о том, что факты, открытия, знания вполне могут существовать вне человека, произносит ставшее известным определение: «*Стиль — это сам человек. Стиль не может ни отчуждаться, ни передаваться, ни изменяться*». Что, надо полагать, не противоречит сказанному, но в то же время проливает свет на еще одну немаловажную особенность, предлагающую «дополнительное» объяснение *реальности* совлечения частных в определенное и устойчивое (до поры до времени) явление стиля как такового. Передел собственности явление перманентное.

Если отвлечься от «человека-стиля» Ж.-Л. Бюффона, равно как и от того, что стиль по выражению Р. Барта есть *«проявление вояне органических свойств личности»* (как проявление себя в росте для растения), можно продолжить, что стиль вполне возможно вообразить как энергетическое, силовое поле, в котором, под стать металлическим опилкам на магните, располагаются разрозненные пристрастия, мечты, стереотипы, представления, воспоминания и т.д., образуя узоры очевидности. Степень ее различна.

Между тем, энергия такого совлечения-преобразования свойственна не только личности, но и социальным группам, производящим собственную идеологию, мифологию, собственную коллективную память, управляемую обязательствами различных регистров.

Что относится и к такому институту социальной жизни, как Власть — в значении машин управления. Хотя Власть сама есть силовое поле, определяющее рамки политического представления, в пределах которого неустанно разыгрывается драма первенства, превосходства. Двусмысленность налицо: либеральная власть концептуально должна быть сценой достижения согласия и создания связей в обществе, необходимых для производства решений, которые не под силу каждому в отдельности. Однако функционирование такой системы взаимодействия в свой черед предполагает *иерархию, субординацию* — лидерство. Что неизбежно приводит к проявлению и утверждению превосходства одного над другим. Процесс этого проявления и утверждения вполне можно назвать в сегодняшних условиях — политикой.

Но власть отнюдь не стиль. Стиль возможен и, более того, необходим как актуализация власти. Стиль есть деятельность, производящая политику и одновременно ее производный продукт. Перефразируя одно известное высказывание, добавлю, что политические обязательства проявляются именно в стиле, который может представлять любую власть — и *«как то, что она есть; и как то, чем она кажется; и как то, чем она является на деле; равно как и то, чем она хотела бы выглядеть»*.

Собчак проиграл Яковлеву не потому, что их одевали разные Дома, или потому, что исповедовали они различные идеологии, проигрыш заключался в длине рукава. Отделенный тяжким зеркалом рекламного board'a, Собчак сидел за столом управления и мудрости в белой рубашке с длинным рукавом.

Яковлев же шел с забора в той же рубашке, но с коротким рукавом. Пиджак был закинут за плечо. Зима уходила. Наступало лето, которого так не хватает здесь, в этом городе.

В котором когда-нибудь кто-нибудь непременно о ком-нибудь скажет: «Они дали нам стиль».

МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ

Повод для разговора

«Культурная ситуация», «художественная ситуация» — слова явно из лексикона культурологов и искусствоведов. Но понимание культуры у нас немного странное: очень показательно, например, выражение «культурный багаж». Невольно представляется переезд музея в новое помещение. В подмене культуры-интенции культуртрегерством опаснее всего пассивность предполагаемого получателя. Вот почему при слове «культура» лица собеседников слегка деревенеют и как будто обесцвечиваются. Потом разговор соскальзывает на другую тему, все оживляются, начинают перебивать друг друга...

Что это значит? Это значит, что термин неверен. Подлинная жизнь культуры не может быть скучной, ее только так и можно опознать — по вспышке личной заинтересованности. Та тема, на которую разговор неожиданно соскальзывает, и есть культурная тема. Культура — это воздух человеческого общения, им-то мы и дышим. Его убывание ощущается даже не как творческое — как физическое удушье.

Новости переполняют нашу жизнь, но это не делает ее полной. Полноту жизни обеспечивает только новизна, пущенная в дело. Только новость, ставшая новацией, — неожиданное разрешение давних проблем.

Видимо, основным источником новаций и является какой-то глубинный конфликт. Еще недавно таким общим для многих конфликтом было сопротивление сминающему давлению общества-государства. Не хочу сказать, что сейчас этот конфликт снят, но совершенно ясно, что и смысл, и характер его изменились. Не конфликт исчез — исчезла опре-

деленность и устойчивость конфликта. Исчезло, так сказать, прочное конфликтное основание.

Тот же глубинный конфликт заявляет себя в других обстоятельствах. Выяснение должно идти на другом языке, в противном случае область идей загромождается посторонними вещами, которые для этой области — помехи, мусор, экспериментальная «грязь».

Наши фобии всегда выступают под маской. И может быть, первая забота «человека мыслящего» — увидеть подлинное лицо личных демонов и социальных недомоганий. Не обманываться самому, не вводить в заблуждение других.

Мы живем в другой стране, в другом мире, надо бы обсудить друг с другом новые впечатления. Об адекватности своих реакций можно догадаться по параллельным примерам. Вот идет передача с эдинбургского фестиваля, и наш корреспондент спрашивает у актера шотландца, чем привлекло их труппу «Собачье сердце» Булгакова.

— Эти проблемы очень актуальны для нас, — отвечает актер.

— Какие именно проблемы?

— Во-первых, проблема трансплантации; во-вторых, проблема бездомных.

Здесь хорошо видно, какая спайка стереотипов и заблуждений образуется на месте непонятого, непрочитанного текста. Но такие тексты окружают нас со всех сторон. Нам необходимы другие навыки ориентации, необходим период накопления информации, сомнений и темноты — продуктивного непонимания. И соответствующий язык, в принципе отличный от языка новой журналистики, где даже не предполагается существование вопросов, на которые сам автор не знает ответа. Тяжело наблюдать, как распорядились «свободой слова» те, чье личное слово несвободно. Освобождение слова — тяжкая, опасная работа. Оно может воспользоваться своей свободой вовсе не так, как мы ожидали.

Например — исчезнуть. А как известно, нет слова — нет и явления. Можно предположить, что странная ненаполненность обступившего нас культурного пространства — проблема в основном языковая. Исчезающее слово оставляет после себя свои низшие подобия: эхо, шум. Похоже, что и культурная ситуация начинает прочитываться по своему эху, *по культурному шуму*. На поверхности заметна не художественная работа, а культурная агрессия, в лучшем случае — групповые, коллективные движения. И если в этом плане нет особых достижений, то создается впечатление, что нет смысла обсуждать всерьез и культурную ситуацию.

Сама природа зрительского, читательского внимания оказалась подвержена странным мутациям. Постоянное поощрение публичной

составляющей литературного процесса превращает читателя в «читающую публику». А зрение «публики» напоминает зрение некоторых хищных птиц: она видит только движущиеся предметы. Некоторые новые свойства нашей литературы можно объяснить только сознательным или неосознанным приспособлением к этим зрительным особенностям.

Я не хочу сказать, что стихает всякая речь, что люди перестают беседовать и писать. Но ситуация множества языков, каждый из которых не «прожит», а взят напрокат, приводит к умолчанию разговора. Диалог переходит на уровень общего разума (что-то «разумеется», что-то нет). Разговор заменяется полемикой, но и она при отсутствующем разговоре, по существу, фиктивна. На зыбкой почве борьба бессмысленна, противники только глубже вгоняют друг друга в топь. К ошибке приводит не ход мысли, а выбор способа мышления в жанре «оргвыводов»: широковежательная размашистость и запальчивость, скорострельность с неизбежными промахами. Чем острее отточена эта плоскость, тем невыносимей ее прикосновение; тем неуместнее весомость, не имеющая других оснований помимо стилистических.

Экспериментальная насущная жизнестроительная задача не решается ни логически, ни полемически. Она проживается во внутреннем диалоге, которому необходим внешний спутник — разговор. Без выхода вовне внутренний диалог теряет направление и начинает кружить, как заблудившийся в лесу. Но и линейное построение уже через несколько ходов оказывается за пределами реальности — в области идеологий; и чтобы заметить эту границу, мысль должна постоянно оглядываться, вступать в диалог.

Говорит ли человек своими словами? То есть говорит ли он именно то, что хочет сказать, или неосознанно пользуется суфлерской подсказкой господствующих «дискурсов»? Как избавиться от власти фразеологии?

Нужно изменить род усилий. Таких иных, инородных, усилий требует идеальный разговор. Разговор — это мышление, отчасти перенявшее у реальности ее стихийный и противоречивый порядок. У него своя логика и своя пластика; его высокая температура заставляет «твердые» формы мысли заново проходить стадии смещения-расплава, рождения, инициации. Разговор — становление мысли (читай: становление культуры). Он набирает высоту за счет встречного сопротивления. Слова одного, сталкиваясь, подхватываются словами другого, и это дает им восходящую способность, родственную левитации.

В смене высот, направлений и ролей меняется сама природа высказывания. Оно неотделимо от восходящего потока, от определенной ситуации. (А «ситуация» здесь — что-то вроде зеркальца, подставленного вдруг и с неожиданной стороны, способного обнаружить изнанку ло-

гики говорящего.) У разговора двойная природа: это, собственно, встреча двух родов речи — внешней и внутренней.

Нужно пояснить, что «внутренней» речью нам представляется язык не готовый, почти неведомый: ищущее себя высказывание, слово в процессе становления. Даже не слово еще, а нарождающаяся связь миметических разметок (проекций?), кольцующих смысловые темноты. Размышление-переживание, переживание-глоссолалия. Этот язык — ключ к твоему существованию, к твоему личному времени. Он лишает время самой губительной его способности: проходить бесследно. Стремление существовать в разговоре есть просто стремление существовать.

Искушенный читатель, полагаю, уже подметил в нашем описании неведомого «разговорного» языка какие-то знакомые характеристики. Действительно: диалогичность, плюрализм, переключение точек зрения, культ корректности. Именно эти или подобные признаки видит в себе постмодернистский тип мышления. То есть наш искомый язык, похоже, давно найден и хорошо разработан, многие им успешно пользуются.

На мой взгляд, найдено не то и не там. Есть род языковых практик, создающих как бы буферную зону между человеком и его истинным положением. Для нашей интуиции этот язык — иностранный. Положите запрет на десяток ключевых слов (вроде того же «дискурса») — и объясниться станет невозможно.

Мы назвали эти слова ключевыми, и напрасно. Они скорее напоминают отмычку. Ответ всегда находится в ожидаемом месте. (Например, как-то по-человечески понятно, что систему, которая все — от стилевых предпочтений до самоубийства — объясняет как «художественный жест», надо немедленно упразднить: она слишком универсальна.) Постмодернистское мышление, как будто неотделимое от критики языка, демонстрирует невиданную ранее подчиненность языку в самом примитивно-властном его выражении — в гипнозе терминологии. Терминология не только смещает ход мысли, но почти подменяет его. Слова игнорируют автора.

Можно заметить, что само качество такого дискурса поразительно соприродно какому-то взвешенному, теряющему ориентиры культурному состоянию. И здесь, в языке, в характере последовательности, — та же потерянности, расслабленно-конвульсивный ритм движения мысли, особая фактура, что ли, самого мыслительного процесса, приблизительно определяемая выражением «хорошая мина при плохой игре».

Все-таки мы ждем от мысли смелости. А это мысль не только не смелая, но изначально и навсегда испуганная. Причем испуганная всего лишь за свою репутацию. Отсюда вся двусмысленность, речь не от себя, попятное движение описаний, как будто пытающихся спрятаться за

собственную спину. «...Любое утверждение приписывается игре, где ты играешь, как другой, и где другой проигрывает, хотя играешь ты» (1).

Понятно, чем в первую очередь отличаются от «разговора» эти по-своему виртуозные упражнения мысли: они не учитывают и даже не предполагают собеседника. Абсолютная незаинтересованность в диалоге, странное равнодушие к другим возможностям и гипотезам, к другому языку, не культивирующему их эзотерическую лексику. Сектантская, отчасти колонизаторская спесь.

Казалось бы, необходимо сравнивать мысли и сомневаться. Но это, видимо, не совсем мышление. Скорее, принявшая облик мышления, выхолощенная художественная практика.

Такое предположение отчасти объясняет своеобразное понимание реальности в постмодернистской системе представлений. Искусство порождает новую реальность, а с реальностью существующей вступает в сложные отношения обмена, конкуренции и борьбы за независимость. Но постмодернистское мышление, видимо, неотчетливо понимает собственную природу и не считает себя художественной практикой. Свою игровую двойную бухгалтерию оно полагает «гамбургским счетом». И тут отношения не могут идти гладко, концы с концами никогда не сходятся.

Не заметив подмены в своей трактовке реальности, постмодернизм, однако, замечает, как неузнаваемо изменился ее облик. Такой реальности действительно не стоит доверять, и постмодернисты по-своему правы, настаивая на том, что природа их реальности мнима, а интуиция и живое восприятие отменены или (в более осторожной редакции) «отложены».

Замешанная на художественной игре теория навязывает умозрению приоритетный отбор фактов, вольное их толкование и особый культурный этикет. Она борется за власть, и в этой борьбе искусство — ее ближайший и основной конкурент. У искусства сходная зона влияния, но совершенно другие возможности, в которых теория видит для себя все меньше интересного. Не понимая действенной, деятельной природы искусства, теоретики считают ее областью заведомо бессобытийной (вернее, областью, где возможны только условные события: отсутствие, заявленное как присутствие, назначенное событием), но очень живо, заинтересованно реагируют на любые акции общественного активизма и «прямого» действия, еще способные будоражить омертвевшее восприятие.

Не стоит удивляться, например, что даже художественный критик выступает сейчас в роли хорошо информированного социолога. Его занимают только те пленочные зоны, где «художественная жизнь» входит в контакт с общественным мнением, распределением успеха, стратифи-

кационными сдвигами и т.п. Не в последнюю очередь это свойство языка. Другой разговор на нем невозможен, так как по своему происхождению это язык областной: пришедший в критику из областей «фундаментального анализа» — из социологии, психологии, политэкономии. Вполне ощутима и его генетическая связь с марксистским искусствознанием, не к ночи будь помянуто.

Не могу, к сожалению, вспомнить, кому принадлежит замечательная фраза: *«Одним и тем же словом „культура“ мы называем и клетку, и ключ от нее»*. Постмодернизм в сравнении с другими типами сознания на порядок более «культурен». Но это сознание полностью подчинено культуре как состоянию и глубоко враждебно культуре-становлению, неотделимой от идущего на всех уровнях разговора: куда дальше, как иначе. Культурная статика как раз прерывает такой разговор и разводит его участников по разным помещениям; постепенно превращает их в разные популяции, «разделенные общим языком» (как американцы и англичане, по их же меткому замечанию).

Для художника (в широком понимании этого слова) такое разведение особенно немислимо: человек и автор теперь должны существовать раздельно, почти не общаясь. Немислимо еще и потому, что едва ли удастся уловить сущностное различие между нашим описанием встречного языкового движения в идеальном разговоре и возможным описанием языка художественного — тоже двойного, встречного. Языка, способного к высказыванию-поступку и верящего в правоту как в ослепительную творческую удачу.

И разговор, и художественное действие имеют тайной целью какую-то точку осмысленного присутствия, точку существования. Мы ничего не знаем заранее, гарантии невозможны, риск не снят. Но что-то в нас отчаянно сопротивляется размыванию и уравниванию, расслабляющему облегчению жизни и представлению о себе как о частице в силовом потоке. По крайней мере в этом сопротивлении мы уверены, уж оно-то не фиктивно... Есть с чего начинать новый разговор.

Октябрь 1997 года

Примечание:

1 А.М. Пятигорский. Избранные труды. — М., 1996. С. 364.

ГЕОРГИЙ ВИНОКУРОВ

Сделка с бессознательным

Изучение психосемантического воздействия на сознание людей при помощи средств массовой информации — задача очень трудная. Долгое время эта проблема была отдана на откуп изданиям, провозглашающим идеи национально-патриотической (сиречь «нехорошей») части политического спектра. И дело здесь вовсе не в том, что, по мнению российского политического и журналистского истеблишмента, подобному явлению нет места в нашей демократической реальности. Главное — ему нет места в реальности, *разделяемой* (то есть признаваемой за таковую) общественным мнением. Другими словами, тема числилась среди запретных — таких, как, например, роль масонства в современной истории, разработка спецслужбами психотронного оружия, деятельность агентов влияния, «стукаческое» прошлое ряда радикал-демократических деятелей. Даже простое упоминание о них считалось дурным тоном, виновный автоматически изгонялся из «приличного общества» в маргинальную зону «бесноватых красно-коричневых».

Все изменилось с начала июля 1996-го. Назначенный на должность секретаря СБ А. Лебедь в публичном выступлении на тему «Основные направления деятельности СБ РФ в настоящий период» назвал «психосемантическое моделирование поведения людей» как один из факторов, несущих в себе угрозу нашему государству. Кроме того, многие послевыборные публикации «престижных» изданий (газет «Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», журнала «Итоги»), где рассказывалось об участии американских политических советников в выработке стратегии и тактики избирательной кампании Б. Ельцина, содержали упоминание о конкретных приемах моделирования массовой психологии и поведения, вполне соответствующих обнародованной А. Лебедем процедуре.

Согласимся, что обсуждение данной проблемы на пресс-конференции столь высокого должностного лица и на страницах «приличных» газет и журналов — это совсем не то же самое, что ее муссирование на антиправительственных митингах или на страницах изданий политического андеграунда, — ведь известно, как сильно влияют на восприятие информации социальный статус и престиж того, кто эту информацию сообщает: для обывателя сведения, полученные из издания, в целом следующего «линии партии», есть нечто совершенно иное, чем сведения, сообщенные «критиками оккупационного режима». Поэтому у нас есть все основания считать, что вопрос о сути и последствиях психосемантического воздействия СМИ на аудиторию поставлен на повестку дня и на него можно и нужно отвечать, не опасаясь быть обвиненным в «неадекватности» или, того хуже, в тайном неприятии свободы слова.

Итак, в чем же суть применяемых пропагандой психосемантических процедур?

Прежде всего отметим непосредственную апелляцию к чувствам, минуя рациональную составляющую психики; при этом используются коллективный опыт, историческая память и эмоциональные переживания, закрепленные в коллективном бессознательном и нашедшие свое выражение в стереотипах массового сознания. Владея «ключом» к глубинам подсознания, коммуникатор получает доступ к святой святых — процессу формирования социальных установок — и может, интерпретируя по-своему факты, внедрять в незащитное массовое сознание необходимые идеологемы и мифы.

Настоящие профессионалы способны находить такие «пароли», опираясь на собственную интуицию, однако существуют и отработанные приемы, позволяющие узнать их опытным путем. Одна из методик, носящая название «фокус-группа» и примененная в ходе предвыборной кампании у нас в стране американскими специалистами, подробно описана в журнале «Итоги» (16.07.96). В ходе свободной дискуссии, проводимой в специально подобранной группе людей, исследователь выслушивает мнения (и фиксирует реакции) ее участников, а также выясняет, какие события и социально-психологические причины подобные взгляды и реакции порождают. От себя добавим, что применение гипноза, различных форм нейролингвистического программирования и т.п., естественно, позволяет исследователю добиться большей откровенности испытуемых.

Следует особенно подчеркнуть, что такого рода информация, отражающая реальную мотивацию и ожидания людей — зачастую иррациональные и непоследовательные, основанные на эмоциях, интуитивных предчувствиях и устоявшихся предрассудках, — не могла бы быть получена с помощью традиционного политологического и социологического анализа.

Результаты этих исследований учитываются при создании информационных стереотипов, применяемых для воздействия на электорат через СМИ. При этом использование «родных» для данного электората архетипов массового сознания, способных вызвать эффект «психологического резонанса», делает пропаганду высокоэффективной.

Это лишь один из множества примеров психического воздействия на подсознание людей, которое является по своей сути *скрытым внушением*. Насколько допустимы такие «игры с коллективным бессознательным»?

Казалось бы, невозможно представить себе передачу информации без элементов внушения. Более того, использование внушения для достижения «высоких» целей считается у работников СМИ не только допустимым, но даже необходимым. Определенная внешняя форма сообщений, выразительность и эмоциональная окраска, специально смоделированная ситуация, в которой оказывается читатель, зритель или слушатель, и другие подобные средства, имеющиеся в арсенале отечественной журналистики, разумеется, способны вызвать и вызывают у аудитории некритическое, помимо сознания и логики, восприятие информации. И журналисты хотя и не признают этого в открытую, тем не менее не считают такие трюки чем-то предосудительным.

Однако, по нашему мнению, помимо того, что нейропрограммирование с чисто конъюнктурными узкополитическими целями вряд ли допустимо как с этической, так и с юридической точки зрения, подобное *моделирование массовой психологии таит в себе еще одну, главную опасность*.

Дело в том, что бессознательное (как индивидуальное, так и коллективное) имеет не только «светлую» составляющую, порождающую иррациональные проявления высокого героизма и самопожертвования, когда человеческий дух торжествует над голым прагматизмом и материализмом. Наряду с ней имеются и другие — «темные», «страшные», «низменные» — стороны психики. Анализ же большинства политических рекламных кампаний в СМИ показывает, что основной упор в них делался именно на такие проявления человеческой природы: использовался *страх* перед гражданской войной, разжигалась *ненависть* к политическим противникам, культивировался *конформизм* по отношению к действиям партийных вождей и т.п.

Подобная техника воздействия на болевые точки психики, развивающая и углубляющая душевные слабости человека, прекрасно описана на страницах культового произведения всех записных борцов с тоталитаризмом — романа Дж. Оруэлла «1984» — в кульминационной сцене пытки главного героя. Орудием пытки служит предварительно выведенный максимально негативный стимул — крыса. Такие «крысы» («то, что хуже всего на свете») есть у каждого из нас: кто-то боится потерять близких; кто-то готов на все, лишь бы избежать нищеты; да и собственная свобода и вседозволен-

ность многими ценятся превыше всего. И если, покопавшись в темных глубинах нашего бессознательного и найдя интуитивно или опытным путем самое уязвимое место, очередной «психоинженер» подсунет нам под нос соответствующую «крысу», мы (слаб человек!) тут же почти инстинктивно завопим, подобно герою Оруэлла: «Отдайте им [крысам] Джулию, а не меня!» (в роли «Джулии» могут быть «Родина», «будущие поколения», «соотечественники»), — совершив тем самым метафизическое предательство.

Кроме «психического кнута» существует и «пряник»: кому-то застит глаза желание личного успеха; другой готов на все ради обеспеченной жизни; третьему достаточно для полного счастья, чтобы было «сто сортов колбасы» в магазине.

Это верно и для целых народов. Обычно самые болезненные переживания, порожденные трагическими и страшными событиями, вытесняются на периферию психики — в отдаленные уголки коллективного бессознательного. В самых общих чертах для «электората» России такие ранящие воспоминания связаны с гражданской войной, годами голода и разрухи, строгостями суровой предвоенной поры, опустошительным нашествием врагов во время Великой Отечественной войны и подобными «ранами коллективной души». Играя на соответствующих комплексах, а также на таких не самых лучших особенностях национальной психологии, как иррациональная тяга к «воле», мещанский индивидуализм («мая хата с краю»), социальная пассивность и конформизм («начальству виднее»), стремление избежать открытого столкновения с противником («лишь бы не было войны») и т.п. — можно, разумеется, вполне успешно управлять «толпой», действующей в состоянии аффекта и бессознательно стремящейся снять вызванное «кнутами» и «пряниками» эмоциональное напряжение за счет полного подчинения воле коммуникатора.

Но вот вопрос: не приведет ли такое освобождение от «оков» разума и нравственности самых темных и низких чувств и устремлений человеческой души к *массовому психозу*, «звериному бунту»? Могут ли наши «манипуляторы сознанием» сравниться в сноровке с пушкинским Балдой, который, баламутя воды веревкой, не только сумел вызвать из темных глубин чертей, но и заставил их себе служить? А ну как разбуженные «бесы бессознательного», выйдя из-под контроля, расштатают и подорвут хрупкое, истерзанное «гласностью» психическое здоровье нации? Такой «социопсихический Чернобыль» неизбежно приведет к полному хаосу нашу и без того непрочную государственность.

Видимо, такая перспектива и встревожила тех, кто в свое время вложил слова о ней в уста секретаря Совбеза: помимо прямых указаний на подобную угрозу, об этом свидетельствует и лексический анализ его выступлений, в которых слова «(русский) бунт», «хаос», «необходимость

наведения порядка», «угроза безопасности страны», «возможность мятежа» употребляются столь часто, что стали почти символами. То, что Лебедь был низвергнут с политического Олимпа, вовсе не снимает вопрос с повестки дня: Лебеди приходят и уходят (и, кстати, снова приходят), а их политические штабы со своими идеями и программами остаются; да и сама-то проблема, если говорить начистоту, вовсе не высосана из пальца. Психосемантическое программирование — оружие сильное и в неумелых руках способно породить ситуацию, подобную той, что возникает при появлении на многолюдной улице обезьяны с гранатой.

Каковы же пути решения этой непростой проблемы? Естественно, юридически запретить или хотя бы ограничить использование журналистами приемов скрытого внушения невозможно. И хотя в российском законодательстве найдется пример такого рода запрета — ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» содержит запрет на использование «скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и(или) оказывающих вредное влияние на их здоровье», — явное несоответствие данной нормы права реальным масштабам психического воздействия на аудиторию и многообразию его форм лишь подтверждает бесполезность юридических «запретов на внушение». Подобный метод неэффективен еще и потому, что представить убедительные доказательства в данном случае весьма сложно. Кроме того, СМИ выступают здесь лишь как исполнители социального заказа, а главные виновники — определенные политические силы — находятся вне юрисдикции закона о средствах массовой информации, равно как и какого-либо другого законодательства.

Что же касается апелляции к гражданской сознательности и нравственному долгу журналиста, то заниматься этим — себя не уважать. Ведь одна («посвященная») часть «журналистской братии» откровенно млеет от власти над умами «электората» и безнаказанности своих проделок. «Профаны» же в самом деле считают, что просто «информируют население о событиях» — и не более того. Поэтому наивно надеяться, что «акулы пера и гиены голубых экранов», давно избавившиеся от «химеры по имени совесть», смогут понять всю глубину проблемы и выработать соответствующие моральные принципы и этические нормы, отвергающие всякое манипулирование психикой человека. Скорее всего, нам предстоит и дальше наблюдать использование СМИ в качестве «психосемантического оружия массового поражения», применение которого будет иметь непредсказуемые последствия для национальной безопасности, свободы и, конечно же, для самих СМИ, с обескураживающей беспечностью возвращающих «информационного Голема».

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНОЙ

Перелицовка как творческий метод политического высказывания

Юрий Лужков в амплу российского Паркинсона

Во фрейдовском психоанализе есть одно понятие, которое представляется мне крайне важным для адекватного понимания российской политики (и политиков) 90-х годов истекшего столетия: *бегство в болезнь*. Согласно определению авторов образцового «Словаря по психоанализу» Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса, бегство в болезнь — это *«образное выражение, обозначающее тот факт, что субъект ищет в неврозе средства для избавления от своих психических конфликтов. <...> Речь идет о стремлении субъекта избежать конфликтной, напряженной ситуации посредством образования симптомов»*. По устоявшейся оценке мирового политического и политологического сообщества, Россия сегодня — «больной человек Европы». Не стану здесь ни присоединяться к этой оценке, ни оспаривать ее. Факт болезни — штука бесспорная, правда, менее очевидно другое. А именно то, что российская политика и обслуживающая ее журналистика (в т.ч. публицистика) представляли собой до избрания Владимира Путина главой государства одно сплошное бегство в болезнь. Сплошное, ибо беспросветное. Господствующим способом избежать неизбежное, хотя бы иллюзорно, обойти проблемы, вытеснить конфликты как раз и было отмеченное Лапланшем и Понталисом «образование симптомов», выполнявших одновременно и

функции сокрытия, и функции манифестации загонявшейся вглубь болезни. Вслед за Германом Гессе («Игра в бисер») я буду называть длянущуюся во времени совокупность этих симптомов «фельетонной эпохой», в которую после 1993-го и особенно после 1996 года вступили российская политика и политический дискурс.

Намечу, следуя Гессе, некоторые наиболее характерные черты «фельетонной эпохи». Начатые шестидесятниками и продолженные демократами первого призыва битвы за свободу слова и мысли завершились в 90-е годы тем, что *«дух действительно приобрел неслыханную и невыносимую уже для него самого свободу, <...> не найдя настоящего закона, сформулированного и чтимого им самим, настоящего авторитета и законпорядка»*. Этот период был ознаменован поразительными феноменами «унижения, продажности, добровольной капитуляции духа». Ведущими модусами политического высказывания стали стеб (фельетон по-русски), анекдот, слух, «мочилровка», «слив компромата» и т.д.

Наконец, последняя из значимых в обсуждаемой связи черт «фельетонной эпохи»: *«В ходу были и доклады. <...> Помимо статей, и специалисты, и бандиты духовного поприща предлагали обывателям того времени, еще очень цеплявшимся за лишенное своего прежнего смысла понятие «образование», и множество докладов, причем не просто в виде торжественных речей по особым поводам, а в порядке бешеной конкуренции и в неимоверном количестве. <...> Люди слушали доклады о писателях, чьих произведений они никогда не читали и не собирались читать, смотрели картинки, попутно показываемые с помощью проекционного фонаря, и так же, как при чтении газетного фельетона, пробирались через море отдельных сведений, лишенных смысла в своей отрывочности и разрозненности. Короче говоря, уже приближалась ужасная девальвация слова <...>»*. Если попытаться подвести сказанное под некий общий антропологический знаменатель, то без боязни ошибиться можно утверждать: *ее, «фельетонной эпохи», главной особенностью в России было то, что все или подавляющее большинство всех занимались по преимуществу не своим делом, чему и отдавали, вполне беззаветно, свои силы и время.*

Разумеется, переживаемая нашей страной «фельетонная эпоха» по внешним проявлениям, по конкретной симптоматике, по техническим аксессуарам далеко ушла и сильно отличается от той, что была нарисована творческим воображением Гессе. Но ее суть, ее, с позволения сказать, эйдос остались неизменными. В этом меня с ошеломляющей очевидностью убедила книжка московского мэра Юрия Лужкова «Российские „законы Паркинсона“». Автор как будто задался целью превратить антиутопические предупреждения-предсказания-характеристики Гессе в сбывшееся пророчество. Не стану впадать в педантизм и остановлюсь на

главном. Прежде всего, совершенно очевидно, что натянув на голову шутовской колпак юмориста и облачившись в вериги сатирика, Юрий Лужков выбрал совершенно неподобающий себе наряд: с юмором и остроумием у него похуже, чем у его покойного друга, незабвенного Юрия Никулина, — если вменяемый читатель и улыбается при чтении этого текста, то улыбка неизменно выходит несколько недоуменной и натянутой. Надо иметь большое и доброе сердце, быть записным весельчаком, вроде академика Евгения Велихова, чтобы «очень смеяться» при чтении книжки, — гораздо больше искреннего смеха, сдается, вызывает угодливо хвалебное предисловие самого ученого к публикации мэра. А что до сатиры в творении мэра, она получилась какая-то... перелицованная. О друге Белинского и Герцена, литераторе Николае Кетчере (1808-1886), язвительный современник стихотворно обмолвился: *«Перепер он нам Шекспира // на язык родных осин»*. Вот так и Лужков, пускай прозаически, перепер мысли и постижения англичанина же, наподобие Шекспира, Сирила Норткота Паркинсона на язык родных берез, инкрустировав их заимствованиями у других авторов и королляриями а la Спиноза собственного изготовления. Например, такими: *«Закон Чизхолма: любые указания люди понимают иначе, чем тот, кто их дает. <...> Дополнение Лужкова: мат — единственный язык, указания на котором понимаются без искажений»*. Воля ваша, а мне импонирует, как наш правша матерно подковал саркастического джентльмена: бей чужих, чтоб карась в своем пруду не дремал. Если взглянуть на данный вопрос в широкой философско-исторической и культурологической перспективе, то выясняется: Лужков обнаружил превосходное владение доминирующим в «фельетонные эпохи» творческим методом перелицовки и тем самым заявил о себе как сложившемся постмодернисте. И как поклонник его незаурядного мастерства, я в дальнейшем поставлю акцент на рассмотрении секретов такого, в первую очередь — стиливых: как говаривал Хемингуэй, если есть стиль, остальное неважно.

Закономерен вопрос: коль скоро книжка Лужкова абсолютно не оригинальна — а ни протагонист «фельетонной эпохи», ни методолог творческой перелицовки, ни постмодернист по определению не могут быть оригинальными, — то зачем изнуренному кефиром занятому человеку ею заниматься? Ответу как на духу: в целях исследовательских, если угодно — археологических. Один известный, точнее сказать — печально известный, архитектор некогда сформулировал «закон развалин». Он звучит примерно так: *надо проектировать и строить здания, которые, даже будучи разрушены, через годы, десятилетия и столетия будут выглядеть так, как смотрятся величественные развалины монументальных сооружений Древнего Рима*. В этом смысле сатирическую юмористику или юмористическую сатиру Лужкова следует трактовать не

как выражение его ренессансного порыва, а как обломок тех грандиозных начинаний в сфере государственно-политической архитектуры, коими был обуреваем в 1999 году мэр Москвы, зиждитель «Отечества», зодчий ОВР и поборник постмодернистской деконструкции ельцинского режима и радикального реформаторства. Указанные начинания и возведенные под их осуществление объекты в течение этого года и в первом квартале следующего стремительно обветшали, архаизовались, рухнули и руинировались. И ныне, на фоне развалин, текст Лужкова привлекает скорее археологический, чем какой-либо другой интерес, судя по таким его пассажам: *«Наша цель — построить систему, где все навыки, свойства, традиции российского народа работали бы не в минус, а в плюс. <...> Не буду рассказывать, как мы представляем себе такую систему. Разговор об этом идет давно, в том числе — в материалах «Отечества», кому интересно, можете прочитать»*. Может быть, Лужков был прав, отказываясь разговоры разговаривать, поскольку такую «систему», которая работает в плюс, они с Евтушенковым в Москве возвели; кому интересно, может посмотреть, если допустят. Но кто сейчас читает материалы «Отечества»? Построенное по представленному в них проекту политико-идеологическое сооружение рухнуло в 45-50 раз скорее, чем хрущевские пятиэтажки. Нет, археология, и несть ей конца! И, уподобляясь археологу, я попытаюсь по «Российским „законам Паркинсона“» как обломку сего проекта восстановить некоторые архитектурные задумки ее автора (авторов).

Начну с того, что в разбираемую книжку включены три текста: помянутое предисловие Велихова, лекция «Российские „законы Паркинсона“» и «некоторые законы в вольных переводах и переложениях Юрия Лужкова» под скромным, изысканно старомодным (какой столичный мэр пользуется сегодня блокнотом?) общим названием «Из блокнота мэра». В каждом из этих текстов по-своему, на особицу определяется жанровая специфика всего произведения в целом: Велихов, не обинуясь, величает его «философско-психологическим эссе», как у Монтеня или Бэкона; Лужков-чтец — «лекцией», читанной не недоделанным пробным существом из «философов и публицистов», а посвященным из когорты «нынешних и будущих управленцев»; третья часть книжки «Из блокнота мэра» ближе к жанру «Записных книжек», «Заметок по случаю», «Затесей» и т.п. При всей моей вере в людей и особенно в мэров я отдаю себе отчет в том, что «философско-психологическое эссе» — это отнюдь не то же самое, что открытая лекция в Международном университете, а эссе и лекция, предполагающие некую оформленность, — совсем не то же самое, что фрагментарные, разрозненные «жизнемысли», на бегу зане-

сенные в блокнот. Данное обстоятельство ставит читателя книжки перед проблемой ее тройного и более авторства: в любом случае, авторы трех частей брошюры — соответственно, Велихов, Лужков' и Лужков" — слабо подозревали о существовании и творческих интенциях друг друга. Блистательный постмодернистский прием: за-авторство — это круто, но еще круче — авторство множественное! Один автор (Велихов) облыжно приписывает другому (Лужкову') приверженность «мудрости» чиновников, в то время как второй несет по кочкам эту самую мудрость отечественной бюрократии, апеллируя к изобретенному им, доселе неслыханному «позитивистскому рациональному подходу»: для нас, простецов, позитивизм — это эмпиризм, а рационализм — это отрицание всякой эмпирии в пользу единовластия Ratio. Это, по меньшей мере, интригует — это почище квантовой революции в физике, поминаемой в книжке. А мятежный Лужков" напроочь игнорирует присутствие прочих авторов в творении, равно как и заявленную в его заглавии тему, занимаясь главным образом «Законом Мерфи» Артура Блоха и лишь однажды ссылаясь на так называемый «Четвертый закон Паркинсона», который у самого Паркинсона в соответствующей работе является первым и, по существу, единственным: *«Истина в том, что количество служащих и объем работы совершенно не связаны между собой. Число служащих возрастает по закону Паркинсона <...>»* (С.Н. Паркинсон. Законы Паркинсона. — М.: Прогресс, 1989). Перевод Лужковым Паркинсона оказался немного чересчур вольным. Вообще-то, у меня нет полной уверенности, в точности ли то, что заявлено, он переводил или нечто совсем другое, и с какого именно языка, а также об одном предмете или о разных толкуют авторы.

Однако по соображениям экономии мышления в трактовке Эрнста Маха отставлю в сторону интеллектуальную продукцию г-на Велихова и Лужкова" и сосредоточусь на шедевре Лужкова'. Он существует — виртуально — как *устная речь*, то есть лекция, и одновременно как *письмо*, то есть как *написанный и напечатанный авторский текст*. При всей их внешней идентичности они отнюдь не тождественны, даже в смысле жанровом и стилевом. В ипостаси устной речи «Российские „законы Паркинсона“» суть превращенная форма конференса: это зачитываемая вслух публичная псевдоимпровизация на объявленную тему, оснащенная «оживляем» в виде почтенных и даже отчасти салонных анекдотов, слегка завуалированных неприличностей (цитата из Губермана: *«Давно пора, ... три точки ... мать, умом Россию понимать»*, — редакция цитаты Лужкова'; или элегантная, хотя и матерная, русская пословица: *«Либо баба вдребезги, либо мужик пополам»*) и выбранных мест из чужого и

собственного «жизненного опыта», которые чем-то смахивают на повествования капитана Врунгеля.

Чтобы не прослыть безнадежным эстетом, помешанным на стиле, отмечу уже в применении к письменной речи, к тексту Лужкова': это есть не что иное, как выполненная в стандарте «мягкого PR» политагитка, эксплуатирующая идеи и сюжеты иностранных сатириков и критиков бюрократии в партийно-клановых целях и «со склонением на наши нравы», как любили выражаться коллеги Лужкова' по цеху, русские вольные переводчики XVIII века.

Стилистика анализируемого текста — это, скорее, *стилизация* интеллигентского московского просторечия, *имитация* фонтанирующего остроумия и свободного потёка, виноват, потока ассоциаций. Автор на бреющем полете проносится над вкусными именами: помимо сервированных уже в начале умственного пиршества обязательных Паркинсона, Блоха, Питера, Карнеги, подаются в произвольном порядке разблюдованные Вебер (Макс), Чаадаев на пару с Тютчевым, опять же Кюстин, Хайек с Фридманном, но без Поппера; Макиавелли со Жванецким, Бор (Нильс, советский агент, по совместительству — физик) с Высоцким (Владимиром, пониженным гением застойной поры), Эйнштейн с Ресиним и *tutti quanti*, стало быть, все прочие. Синодик получился впечатляющий. Смущает одно: не «поминаются ли все», если использовать библейский оборот, эти достойнейшие имена? Попробую объяснить. Нет, имена написаны правильно, без ошибок, прямо по биографическому словарю «Кто есть кто в мире». Но вот незадача: мысли их носителей, за вычетом Ресина, как-то перевераны, что ли. Модифицированы. Взять хотя бы того же Макса Вебера. Лужков' ходит здесь, как козырным тузом, отважным, хотя и риторическим вопросом: *«Разве не показал Макс Вебер в своей „Протестантской этике“, сколь жестко был обусловлен европейский капитализм определенным типом ментальности?»* Просвещенный читатель в растерянности: ничего такого и никому, даже московскому мэру, Вебер не показывал. Мало того, в указанной Лужковым' работе по своей прирожденной стыдливости он даже прямо отказывался от таких показаний: *«Мы ни в коей мере не склонны защищать столь нелепый (!) доктринальный тезис, будто «капиталистический дух» <...> мог возникнуть только в результате влияния определенных сторон Реформации, будто капитализм как хозяйственная система является продуктом Реформации»* (М. Вебер. Избранные произведения. — М.: Прогресс, 1990, с. 106). Ни о какой «жесткой обусловленности», вопреки Лужкову', Веберу и в голову не приходило доктринерствовать. Не надо прибедаваться: это открытие целиком на авторской совести Лужкова'. Вывод отсюда следует амбивалентный: либо автор не читал Вебера, либо прочел его неверно.

Если знамения не лгут, то Юрий Лужков и его alter ego Лужков' не читали еще очень многого или многое прочли неверно. Лично для меня первостепенной удачей постмодерниста стал такой авторский (спичрайтерский, редакторский, издательский) ляпсус: «*„В борьбе обретешь ты имя свое“*, — *песня не только политиков, но и, к сожалению, многих наших хозяйственников*». Я ни секунду не колеблюсь в том, что и Лужкову' ведомо: не из песни вынуты эти слова. Не из песни. А вот откуда они, никто из авторов, спичрайтеров, редакторов, издателей разузнать так и не удосужился. Перегружены по работе, лудят новые безграмотные тексты. А ведь это — не что иное, как перевернутый политический лозунг партии социалистов-революционеров, то есть эсеров: «В борьбе обретешь ты право свое». Вот и разбери-пойми: то ли Лужков' предлагает отечественным политикам дистанцироваться от эсеровской программы решения вопроса о земле, уже использованной большевиками, то ли наших хозяйственников предупреждает от создания новой боевой организации во главе с Азефом, то бишь Абрамовичем.

Некая мистика заключается и в том, что широкий круг участников текста «Российские „законы Паркинсона“» остался невинно не охваченным даже «Золотым теленком» Ильфа и Петрова с его отнюдь не законспирированным от мэров и их помощников-публикаторов эпизодом. Где подпольный миллионер Корейко мигом разгадывает ребус, сочиненный дедом Зоси Синицкой. Цитату начинаю с реплики Корейко: «*<... > А-а-а! Есть! Готово! — Да, — разочарованно протянул старик. <... > — А для чего Вы этот ребус приготовили? Для печати? — Для печати. — И совершенно напрасно, — сказал Корейко. <... > „В борьбе обретешь ты право свое“ — это эсеровский лозунг. Для печати не годится*». Ну, с печатью сейчас дело обстоит несравненно более совершенно: сейчас можно печатать все, что угодно, лишь бы деньги были.

Например, предавать гласности мнение о том, что Макиавелли был родоначальником идей, на которые опирается «классическая наука управления», как это сделал Юрий Лужков. Если я правильно уразумел тонкий ход мысли автора, он имеет в виду наставления в трактате «Государь» князьям, силой захватившим власть, о том, как эту узурпированную власть удержать. Не считая себя специалистом по лужковской «классической науке управления», спрячусь за авторитет Ф. де Санктиса, лучшего знатока Макиавелли: «*Цель их (князей — С.З.) не защита родины, а сохранение княжеской власти, однако же князь может заботиться о себе, только заботясь о государстве. <... > Свободы князь предоставить не может, но может дать законы. <... > Он должен заручиться благоволением народа, держа в узде и господ (олигархов, неономенклатуру — С.З.) и смутьянов (левых и правых радикалов, национали-*

стов, фундаменталистов — С.З.). *Правь подданными, но не бей их до смерти, старайся их изучить и понять, не будучи ими обманут, а сам их обманываая. <...> Самое сильное чувство, на которое они способны, — это страх, поэтому князь должен стараться, чтобы его не столько любили, сколько боялись*. Это вполне классическая наука, и называется она «макиавеллизм». Далек метил Юрий Лужков, да недалеко метнул.

И последнее. С точки зрения словаря текст Лужкова' не богат, но до изумления пестр. Это весьма любопытное смешение некоего абстрактного иностранного языка с латинским корнесловием со столь же абстрактными жаргонами. К примеру, Лужков' испытывает невероятные, вызывающие сочувствие трудности с подбором русского эквивалента для дорогого его взыскательному языковому вкусу иностранного термина «ментальность» («менталитет»): *надо-де познавать «именно нашу (!), российскую (!), ментальность (извините за словосочетание, но нет русского эквивалента) <...>*. Ну, за извинениями дело не станет, приходилось извинять мэра и за большее. А что до эквивалента... Я не поленился и заглянул в словари, которые, видимо, в дефиците в широком кругу участников текста. Итак, «Толковый словарь русского языка»: менталитет — мировосприятие, умонастроение. «Англо-русский словарь»: *mentality* — способность мышления, интеллект; склад ума, умонастроение. «Большой немецко-русский словарь»: *die Mentalität* — склад ума, образ мыслей. Это каким же надо быть стилистом, чтобы наотрез отвергнуть все словарные русские эквиваленты термина «ментальность»! Снимаю шапку, то есть, простите, кепку, перед мастеровитым автором.

И что еще впечатляет: бок о бок с неуловимой на скудном русском языке «ментальностью» стоят вульгаризмы и жаргонизмы, которые с ней и любимым из ее словарных эквивалентов никак не вяжутся — «телек», «более-менее», «туши свет, сливай воду, отдавай концы», «они держат его как хохму» и т.п. Не брезгает Лужков' и канцеляритом: «задействовать», «сделать так, чтобы подобные истины стали фактом поголовной грамотности» (с такими перлами автору не стыдно было бы выступать в рубрике «Нарочно не придумаешь», впрочем, давно закрытой). Не избегает он и оксюморонов: «*игровая серьезность*». Любит к месту и особенно не к месту вклеить красное словцо: «*веселая наука*» управления. Найдется ли в широком кругу участников текста хоть один человек, который объяснит Юрию Михайловичу: «веселая наука» — это категория философии Фридриха Ницше, каковую он и использовал в названии (sic!) своей книги «*Die Fröhliche Wissenschaft*» (1882) .

В разборе книжки Юрия Лужкова стоит поставить точку. Или отточие... А завершу я свои размышления над ее страницами одним биб-

ПЕРЕЛИЦОВКА КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

лейским сюжетом, который показался мне отменно уместным в контексте российских «законов Паркинсона», немецкого «закона развалин», крушения здания лужковской политархитектуры, смешения языков и взаимонепонимания авторов и участников текста, а также всего прочего: *«И сказали они (народы, поселившиеся в Вавилоне — С.З.): построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон»* (Бытие 11, 4-9). Не пора ли признаться, соотечественники, братья и сестры, в том, что «третий Рим» из Москвы не получился в конечном счете, а Вавилон из нее — и вовсе никакой?

3 апреля 2000 года

МИХАИЛ РЕМИЗОВ

Война, язык и неврастения

Факты никогда не «говорят сами за себя». Полагать обратное значило бы впадать в наивность философствующего чиновника либо в лукавство мифотехнолога, сделавшего достаточно для того, чтобы сама немота вещей заговорила удобным ему языком.

Взять даже такие «красноречивые факты», как сводки о боевых потерях: в разных мирах, разных ситуациях, разных сердцах сообщения о павших будут значить разное. В них может звучать обещание прямого транзита к кораническому седьмому небу или вагнеровский полет к навеки далекой скандинавской вальхалле; а может — может и то, что услышит в них наша усталая постхристианская культура...

Факты никогда не говорят сами за себя. Возможность говорить *за них* составляет предмет некой постоянной подспудной войны, войны языков. Поступая в распоряжение ее победителей, факты могут внушать гордость, причинять боль, могут убивать наповал.

Факты потерь в Чечне наше общество переживает травматически. И кажется, дело не ограничивается текущим дискомфортом. Обильно вдыхаемые информационные пары оседают на дне «коллективной души» свинцовым осадком. Это накопление травматического переживания представляется столь же закономерным, сколь ненормальным. Было бы в высшей степени недостаточно отнести его на счет особой сострадательности или той психической нагрузки, которой чревата близость — пусть даже деградированная, информационная близость — смерти. Нагрузка никогда не чрезмерна сама по себе — но лишь в от-

ношении тех опор, что призваны ее выдерживать. В нашем случае к этому призваны структуры смысловой легитимации происходящего. Иначе говоря, избыток травматического эффекта определяется недостатком смысловой компенсации, символической слабостью задействованного языка.

Казалось бы, какая уж тут «слабость», когда Путин, еще будучи лишь новым премьером, уверенно нарушал формат официозного вещания, взлелеянного весомой невнятистью Черномырдина, дипломатической корректностью Примакова... Не повторяя набивших оскомину крутых пассажей, признаем себе: сила языка, сила текста имеет мало отношения к резкости выражений. Энергия, живущая «красным словом», мимолетней аффекта; глубока и долговечна энергия смысла.

Дух войны в текстуре порядка

На волне вторжения в Дагестан и взрывов в Москве удалось сопрячь во едино правовой мотив конституционного порядка с социальным мотивом личной безопасности граждан. Сплести их на уровне массовой психологии (ибо в учебниках политологии и государственного права все увязано гладко с самого начала). Контрапунктическим выражением единства этих мотивов явилась ключевая информационная стратегема второй чеченской кампании: «антитеррористическая операция». (Ведь терроризм опосредует угрозу государственному строю жизнями конкретных граждан.) На первых порах легитимирующий и мотивационный эффект этой смысловой фигуры был, кажется, вполне достаточным. Однако время, кровь, тревожные ожидания и информационный накал взвинтили социально-психологическую нагрузку до предела. Конечно, не вообще «до предела», а до того предела, когда она стала превышать резистентность смысловых опор официального языка, его легитимирующую мощь.

Время, вызревшее в уверенность, что «это надолго», вскоре пошатнуло тот дух «оперативности», которым веяли слова «антитеррористическая операция», ассоциативно воскрешающие в памяти какие-нибудь кадры молниеносных вторжений «спецназа» в захваченные дома, автобусы, самолеты... Все это не вяжется с обстановкой позиционной и партизанской войны.

Кровь, превращенная в официальную и, хуже того, неофициальную новостную статистику, с некоторых пор стала зашкаливать за тот порог социально приемлемой жертвы, который столь же неявно, сколь явственно положен *полицейской* операции — борьбе, ведомой под знаменами законности и безопасности. Вести под их сенью войну, сопряжен-

ную с большими ставками и потерями, по правде сказать, почти столь же странно, как вести умирать на баррикадах под голубыми флагами Федерации независимых профсоюзов.

Между тем как в официальных текстах о Чечне еще с 94-го года преобладает полицейская семантика правопорядка, военно-тактическая и социально-психологическая реальность боевых действий остается реальностью войны. В традиции Клаузевица и Карла Шмитта, пробным камнем этой реальности можно бы назвать некое повседневное и судьбоносное различие «своих» и «чужих», достигающее накала смертельной и отнюдь не личной вражды. Сколь бы ни были сильны корпоративные эмоции стражей правопорядка, их борьба с преступностью не создает ни форм устойчивого размежевания, ни пафоса коллективной судьбы. В чеченской кампании действительность этого социально-психологического опыта войны, напротив, кажется неоспоримой. Вне зависимости от того, что по данному поводу могла бы вычитать вдумчивая голова в Основах конституционного строя, российские солдаты в столь же малой степени воюют «против собственных граждан», как «солдаты Ичкерии» — против собственного правительства. Речь, повторюсь, не о нормативной оценке, а о социально-психологической реальности войны, о самой ее «субстанции» (души воинов разве не суть субстанция войны?).

Эта движущая энергия войны, энергия различения «своего» и «чужого» перед лицом смерти, в любой культуре является колоссальным смыслообразующим ресурсом. Иными словами, компенсация и легитимация жертв и лишений, любых травматических эффектов войны в известном смысле черпается из самой действительности военного положения. Задействование этого внутреннего психологического ресурса войны в масштабах всего общества достигается символизацией ее базовой эмоциональной реальности (опыт переживания «врага», опыт «бытия-в-риске»...) и, разумеется, заявлением войны как таковой. Воплощаясь в символический текст, волевая действительность войны хотя бы отчасти делается достоянием всего общества и культуры. Вы думали, люди войны нуждаются в донорской, реабилитационной помощи нашего общества?.. Выходит, напротив: инъекции их воли спасают народ от того, чтобы стать коллективным невротиком, коллективным неудачником, коллективным диссидентом.

В нашей ситуации действительная энергия войны подчас остается безъязыкой, не узнавая себя в вездесущем языке полицейских истин («порядок должен быть восстановлен», «зачинщики должны быть наказаны», «вор должен сидеть в тюрьме»); а сама война фигурирует в сниженном статусе антитеррористических мероприятий или (в позднейшей, «партизанской», фазе) большой проверки паспортного режима. В

этом разрыве между *сильной фактичностью* и *слабым языком* как раз и гнездится избыток «травматического сознания».

Похоже, что и сама власть отдает себе отчет в этой коллизии. Недаром в недели грозненского штурма, самые тяжелые в военно-тактическом и социально-психологическом отношении, когда казалось, будто судьба кампании на изломе и каждые новые «Итоги» шли в информационное наступление все решительнее, — недаром в те дни люди власти и близкие к ним журналисты находили укрытие в более сильных, чем полицейски-правовое, семантических полях. Взять безусловно знаковую речь Путина на похоронах генерала Малофеева. Речь на похоронах — в своем роде идеально-типическая ситуация развертывания языка компенсации. Представьте, сколь неловко и бездарно звучали бы слова о борьбе за «конституционную законность», «гибель при исполнении», «бандитской пуле» или, больше того, о «территориальной целостности Российской Федерации»... Напротив, многожды и акцентированно употребленное слово «русский» (под прикрытием смягчающих штампов: «русская армия», «русский солдат», «простые русские люди»...) звучало хоть и на грани «политической корректности» и за гранью официозной идеологии РФ, зато в унисон трагическому катарсису военных похорон. Между тем, заметьте: полицейский ровно в той же мере, что и бандит, «не имеет национальности».

Верховенство права

Такого рода отклонения от магистрали социальных и полицейски-правовых мотивов носят скорее эпизодический, ситуативно обусловленный характер. Эта ограниченность символического маневра имеет, конечно, серьезные предпосылки. Ведь боевые действия на территории «субъекта федерации» против некоторой части его населения и без участия суверенного интервента не могут считаться войной. Враждебная часть населения не может считаться врагом, поскольку не может быть вынесена за рамки правового поля Российской Федерации. Не может — в силу конституционного постулата о невозможности лишения гражданства. Все эти невозможности, конечно же, относительно, и порогом их действительности является, как обычно, не сама упругость вещей, но нечто в нас, а именно — «оптика», концептуальная оптика «правового государства».

Идея «верховенства права» значит нечто большее, чем тривиальное «все должны соблюдать закон». Если спрашивать по сути — над чем же верховенствует право? — то ответом могло бы стать: «право» верховенствует над «политикой», претендуя в обход нее определять субстанцию госу-

дарства. В обиходном политическом словаре базовое значение слова «политика» — ругательное. В этом ключе понимать сказанное не продуктивно. Вся интрига, сама претенциозность «верховенства права» состоит, пожалуй, в том, что никакой правовой порядок не имеет оснований в самом себе. Прав Жижек, повторяя многожды сказанное «реалистами»: «единственным основанием власти Закона является акт его провозглашения». Речь, конечно, о провозглашении особого рода — том, что всецело принадлежит стихии исторического действия. Полагание некоего правового «порядка» происходит изнутри известного социального «хаоса» (порядок всегда младше хаоса) — революции, войны, национально-освободительные движения, любые другие эксцессы этногенеза... Своим утверждением всякий правовой порядок обязан опыту «коллективной воли» и «властного решения», если угодно, опыту реального суверенитета. Это и есть политический опыт по преимуществу. Право, всякое конкретное право точно так же, как право вообще, в долгу у политики — у Цезаря, переходящего Рубикон, у толпы, взявшей Бастилию, у Ленина на броневике, первых декретов большевизма и даже — поистине, все движется в направлении фарса — у Ельцина на танке. Даже тогда, когда власть Закона не восходит к какой-либо предельной, пороговой исторической ситуации, например, в случае традиционного обычая, — она коренится в харизматическом авторитете сообщества и, кажется, почти всегда возводится к некой мифической точке «провозглашения» (не без привлечения божественных сил или, на худой конец, каких-нибудь отцов-основателей). Право всегда в долгу у политики. *«Правовое государство» есть идеология абсолютизации правового порядка, благонамеренная уловка Закона, скрывающего свою подвешенность в политическом акте провозглашения.* Лишь ригорист, ничего не ведающий о спасительности иллюзий, мог бы счесть это упреком...

Эта основополагающая «уловка», между тем, отзывается эхом в нашем вопросе. «Фундаментальное незнание» реальности, лежащей *по ту сторону* правового порядка, в области его онтологических условий подчас чревато, увы, слепотой к специфической логике *чрезвычайной политической ситуации*. Так, всякий организованный вооруженный сепаратизм ставит под вопрос суверенитет, действительное верховенство над собою включающего государственного сообщества. Он бросает вызов той инстанции, чьим авторитетом учрежден данный правовой порядок. «Правовое государство» описывает эту *чрезвычайную* ситуацию в терминах *нормальной* ситуации — ведь логика правового порядка есть всегда лишь логика «нормальной ситуации». Как следствие, власть ведет борьбу от имени права, в то время как затронут сам источник любого возможного права. Ситуация не прочитывается по существу, вызов не принимается во всей его внеправовой серьезности.

Сам суверенитет «правовым государством» не принимается всерьез. От *реальности суверенного существования* сообщества идеология правового государства отслаивает некую установочную, постулированную, номинальную суверенность. В последнем качестве суверенитет уже вполне становится внутренним элементом текстуры правового порядка. Не тем, *что провозглашает*, а тем, *что провозглашено*. Не тем, *что учреждает право*, а тем, *на что может быть дано право* (пресловутое право на самоопределение). В этой пассивности постулата суверенитет покидает мир политического и впадает в некую успокоенность гарантированного бытия, ибо «что написано пером, не вырубишь топором»... Тогда как бодрствование реального суверенитета сурово. Все живое, активное, «провозглашающее» может быть «вырублено топором» и ежесекундно поставлено под вопрос.

Гражданство как изнанка суверенитета воспроизводит эту двойственность фактического и номинального. Суверенитету как фактическому статусу сообщества, требующему постоянного подтверждения, соответствует содержательный и обязывающий статус гражданина, определяемый опытом принадлежности «своей стороне». Логика верховенства права, напротив, трактует о формальном гражданстве. И если в правовом государстве «никто не может быть лишен гражданства», то это обратная сторона того, что написанный на бумаге суверенитет не может быть вырублен топором. Иными словами, для идеологии правового государства ни суверенитета, ни гражданства *в содержательном смысле* не существует, она не склонна узнавать их в присущей им глубине фактичности. Поэтому, когда «правовое государство» встречается с большой враждебной группой людей, организованных на почве неприятия его суверенитета над собою или, что то же самое, своей принадлежности к нему, оно не до конца понимает, о чем идет речь, и продолжает считать всех этих людей «собственными гражданами». При этом оно готово усмирить их, недоумевая перед рудиментами «неразумного эгоизма». И если мы, остальные, отчасти понимаем, «о чем идет речь», то исключительно благодаря тому, что еще носим в себе некоторые идеи помимо идеи верховенства права.

Концептуальная безопасность

Маркирование противника как террориста представляет собой зыбкую возможность пройти по острию бритвы. С одной стороны, это статус, не исключаяющий гражданской принадлежности обществу, с другой — образ несет отчетливо «исключающие» коннотации, отмежевывая противника от других членов гражданского общества, общества «всех нормаль-

ных людей». Разумеется, исключаящая энергия образа подкрепляет возможность применения особо сильных мер (но, повторимся, отнюдь не способность переживания особо сильных потерь). И вместе с тем «антитеррористический» язык противостояния остается *внутренне уязвимым* для гуманитарной критики и прочих стратегий пацифистской деконструкции. Достаточно сделать акцент на «включающем» аспекте понятий «террорист» или «бандит», то есть на формальной включенности противника в правовое сообщество граждан, и вот — боевые потери с обеих сторон и особенно среди мирного населения легко читаются как, скажем, «превышение полномочий при задержании». Аналогичная внутренняя уязвимость присуща и «социальной» стороне официального легитимирующего текста. Компенсация военных тягот перспективами «налаживания нормальной жизни» нейтрализовывалась целой армией медийных персонажей, вереницей неких обездоленных претендентов на будущую нормальную жизнь из числа беженцев или, того хуже, упорных жителей Грозного, не согласных, чтобы их «так спасали».

Естественно, официальная позиция имеет свои ответы на «гуманитарный саботаж», причем достаточно веские («достаточно» — по крайней мере, в перспективе 26 марта). Не будем перечислять их, лишь заметим себе: по сравнению с первой чеченской кампанией, ставшей информационно-смысловым поражением, в идеологическом обеспечении военной политики изменилось лишь одно — событийный фон. За три года независимости (с августа 96-го по август 99-го) к пьянящему воздуху свободы примешались запахи разрухи и трупного гниения, к образу маленького гордого народа — черты средневековой разбойной вольницы. Вторжение в Дагестан обозначило невозможность, закрывая на все глаза, отгородиться и оставить друг друга в покое. А вместе с рухнувшими домами в Москве пошатнулась (пока только пошатнулась) та перегородка, что отделяет политическую судьбу страны от жизненного мира «обычных людей». При том, что «факты никогда не говорят сами за себя», говорить посредством событий — конечно же, самая сильная модуляция речи. Но право же, общество, которое усваивает тривиальные политические истины только с помощью таких вот коммуникативных передозировок, — это общество (нет, не дебилов)... неврастеников.

На волне этих событий власть получила известное превосходство над противниками по информационной войне. Между тем, в своей логике и в своем языке она не перешла к символическому дискурсу более сильного порядка и осталась в пределах принципиальной досягаемости уже привычным стратегиям деконструкции: от стихийного пацифизма обществ солдатских матерей до гуманитарной озабоченности «мирового сообщества».

Ролан Барт называл «фигурой системности» те идеологические ходы, что «замыкают дискурсивную систему», обеспечивая ее плотность, изгоняя из нее противника. *«Общая задача таких фигур — включить другого в свой дискурс в качестве простого объекта, чтобы тем вернее исключить его из сообщества говорящих на сильном языке».* Замыкающая «фигура системности» — пожалуй, именно то, чего не хватало языку власти для полноценной «концептуальной безопасности» перед лицом «смысловых диверсий». Идеологически геометрия этого «замыкания» ясна: переход к логике *реального суверенитета* и *содержательного гражданства*, позволяющей трактовать врага как врага и действовать на войне как на войне.

Оставаясь под одной идеологической крышей со своими критиками, власть тем не снискала их снисхождения. На правах неугомонной совести, как обычно, выступил Сергей Ковалев: сказал встревоженно о «полицейском государстве». Упрек, кстати, вполне закономерный в свете некоторой передозировки полицейской силы — не силы как таковой, а именно полицейски мотивированной силы. Атмосфера «полицейского государства» — побочное выделение духа войны, сдавленного ложным языком правопорядка. Судьба слов, как всякая настоящая судьба, иронична: «полицейское государство» оказывается предельной модуляцией «правового государства». Судите сами: «правовому государству» не остается ничего другого, как стать «полицейским» перед лицом серьезного оборота дел. Необходимый для решения вопросов исторического бытия уровень мобилизации несколько превосходит сонливую ритмику поддержания правопорядка (повседневной защиты жизни, собственности и достоинства «граждан»). Возникает ложный эффект завышенной мобилизации, приводящий «правовое государство» к его пороговым значениям, одним из которых является «полицейское государство». Вообще, интимная связь полицейской силы с верховенством права явно недооценена. Иначе мысль о том, что «правовое» и «полицейское» государство — лишь вариации одной темы, сменяющие друг друга в зависимости от обстоятельств, не казалась бы неожиданной.

Для обиходной политической аналитики, ограниченной горизонтами электоральных перспектив, коллизия духа войны с языком власти и связанная с ней «травма общественного сознания» вряд ли вполне значительны, коль скоро им не суждено сыграть роковых ролей в рейтинговой судьбе основного кандидата. Ведь общество все же выдерживает информационный прессинг военной фактичности (в смысле, не впадает в пораженчество). Но именно постольку, поскольку переживает эту фактичность в структурах военно-политического, а не полицейски-правового символизма. Постольку, поскольку думается о родине, когда гово-

рят «закон», о враге, когда говорят «преступник», о «наших», когда говорят «федералы», скажем больше — о победе, когда говорят «безопасность». Слова первого ряда, не правда ли — сплошь мифы? Все верно: лишь «иррациональное» несет заряд социальной энергии. И обратно: чем выше степень «рациональной» тематизации интереса, тем ниже его мобилизующий потенциал. «Рациональной» — в кавычках, ибо с рациональностью, нейтрализующей основной ресурс большой политики (политики большого стиля) — коллективную волю, — с такой рациональностью еще надо бы разобраться.

Помнится, доктор Юнг, внимательный диагностик «цивилизованного человека», связал всеобщее «поклонение Богине Разума» с «психологической неспособностью к нужным политическим реакциям». В свете этой неспособности нельзя исключать, что политика большого стиля и впрямь «отошла без возврата». Однако в противном случае ее первым предприятием, столь же отважным, сколь пропащим, станет мятеж против «символической нищеты» культуры, не выдерживающей нагрузки даже ограниченных мобилизаций. Актуальные символические тексты не служат более полноценной регенерации социальной энергии и обрекают общество на невротическое существование между пиками «повышенной возбудимости» и спадами «быстрой утомляемости».

Нечто вполне сносное для международных клубов исторических пенсионеров является чем-то весьма роковым для обществ беспокойной судьбы — замирающих в низком старте большого рывка, живущих в атмосфере диверсионной войны...

Болезненная, местами до кровавых мозолей истертая, историческая память нашей культуры вот-вот получит свежее воспоминание... Расфасованная в картинках телевизионных агентств, осколочных фразах ньюсмейкеров, война отправляет один за одним свои эшелоны в некое «вчера». Что прокричим вслед, то и запомнится. Война: уважительно назвать ее по имени значило бы заручиться покровительством могущественного божества, которое перерабатывает кровь и грязь в знамена и памятники (а нам, сделанным из глины, здесь нечему удивляться). Строить памятники — способ снятия травмы, жест компенсации. Памятники нужны живым. Так *что* мы будем писать на них?

9 марта 2000 года

АЛЕКСАНДР АЛТУНЯН

Виктор Клемперер — солдат культурного фронта

В. Клемперер. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. Пер. с нем. А.Б. Григорьева. — М.: Прогресс-Традиция, 1998. — 384 с.; ISBN 5-89493-016-2 (V. Klemperer. LTI. Notizbuch eines Philologen. Berlin, 1947).

Книга Виктора Клемперера (1881-1960) «Язык Третьего рейха», или «Lingua Tertii Imperii», «LTI», — название, под которым она известна во всем мире, — вышла в 1947 году в Германии и очень быстро приобрела популярность среди специалистов, занимающихся темой фашизма. Этому способствовало не только бесспорное качество книги, но и то, что «LTI» — это не просто исследование, это свидетельство очевидца. И до сих пор эта книга остается лучшим сочинением о языке Третьего рейха.

До прихода Гитлера к власти Виктор Клемперер, филолог-романист, специалист по французской литературе XVIII века, был профессором Дрезденского технического университета. В отличие от большинства профессоров еврейского происхождения, изгнанных из университетов в 1933-34 годах, Клемперера, ветерана первой мировой войны, раненного на «передовой линии», что специально отмечалось в послужном списке, не трогали до 1935 года. Самым же главным обстоятельством, облегчавшим его положение в сравнении с другими немецкими евреями и, в конечном счете, спасшим ему жизнь, было то, что его жена, пианистка Ева Клемперер, была «арийского происхождения». Клемперер принес присягу Гитлеру, за что не переставал себя казнить все последующие годы, и думал пережить чуму, занимаясь исследованиями французских просветителей. Но в 1935 году его изгнали из университета на пенсию. Вскоре

евреям запретили пользоваться библиотеками, не только научными, но и всеми вообще. Затем запретили посещать кафе, кинотеатры, затем покупать сигареты, пользоваться автомобилем. 13 сентября 1941 года вышло постановление о необходимости носить нарукавную повязку со звездой Давида. Одновременно с введением все новых и новых обязательных правил для евреев нацисты последовательно осуществляли политику полного уничтожения еврейской нации. Тысячи дрезденских евреев отправлялись в лагеря уничтожения, пожилые — через Терезиентштат, молодые — сразу в польские лагеря, Аушвиц, Треблинку. Евреям запретили жить в своих домах и квартирах и свезли в так называемые «еврейские дома». К концу войны там в основном оставались те, у кого были жены-немки. Нацисты действовали абсолютно последовательно. Если уж они признали факт исключительной важности крови, то еврей, женатый на арийке, был лучше других евреев и хотя и подлежал уничтожению, но в самую последнюю очередь. Этот день пришел 13 февраля 1945 года: Клемперер получил приказ — вместе со всеми оставшимися жителями «еврейского дома» явиться в комендатуру с небольшим багажом, который «возможно долго нести», и запасом продуктов на три дня. Это был конец. А вечером и ночью с 13 на 14 февраля произошел известный воздушный налет авиации союзников на Дрезден, в результате которого город был полностью разрушен. Среди десятков тысяч погибших были и последние жители «еврейского дома». Клемпереру и его жене посчастливилось выжить. В общей неразберихе они ускользнули из города и влились в поток беженцев, искавших пристанище на юге, в Баварии, поближе к союзникам. После нескольких месяцев, проведенных в глухой лужицкой деревне, а затем в задней комнате аптеки, хозяином которой был старый знакомый, они дождались окончания войны.

В течение всей своей жизни Виктор Клемперер вел дневник. Ученик знаменитого Карла Фослера, воспринявший от него и интерес к языку, он, начиная с 1932 года, вносит в дневник замечания о языке нацистов. Пока профессор Клемперер работал в университете, он обходил стороной уличные динамики, брезгливо просматривал прессу, стараясь выловить факты из моря пропаганды. Только лишившись возможности профессионально работать, может быть, просто в поисках занятия для привыкших к филологической работе мозгов, Клемперер начинает прислушиваться к языку Геббельса, языку официальной прессы, языку, на котором говорит улица. Он обнаруживает, что немецкого языка начала XX века, с его многообразием стилей, разнообразными регистрами, языка культурного слоя, языка качественной прессы — больше не существует. Общество, от рядового эсэсовца до журналистов из солидных газет и образованных людей, пользуется каким-то особым сленгом, который

Клемперер называет «Lingua Tertii Imperii», язык Третьего рейха. На этом языке говорят обыватели, пишутся книги, учебники истории и пособия по фармацевтике. С середины тридцатых годов значительное место в дневнике Клемперера стали занимать наблюдения и размышления об ЛТИ. Он фиксирует характерные черты этого языка, пытается понять их природу, проследить истоки.

Никто лучше Клемперера не мог бы этого сделать тогда и не сделал до сих пор. Исследователю необходимо было абсолютное проникновение в язык, полная в нем компетентность, а этого в полной мере можно достичь только наблюдая этот язык живым. С другой стороны, для описания языка, как для описания любого объекта, необходима известная отстраненность от него. Кроме этого нужен еще ряд условий: профессионализм, выработанная парадигма описания, образец, с которым сравниваешь, и т.д. Так вот, Клемперер удовлетворял всем этим условиям как никто другой. Во-первых, он был профессионалом филологом, довольно долго интересовавшимся проблемами языка. Во-вторых, он сам был носителем и знатоком совсем другого языка, языка великой немецкой культуры, с которым он постоянно сравнивал язык Третьего рейха и на разнице с которым строил свое описание ЛТИ. Последний был для него просто другим языком, сленгом, и он описывал этот язык так, как лингвисты описывают сленг какой-нибудь профессиональной или социальной группы, принимая в расчет норму общеупотребительной речи. Но ведь были в Германии, кроме Клемперера, и другие профессионалы лингвисты, были литераторы. Почему же именно он? И вот тут очень важным оказывается степень отстраненности. Подметить и точно описать, что произошло с языком, мог только тот, кто оказался вне системы. Истинные арийцы — например, профессора-лингвисты, писатели — были включены в систему, им невозможно было настолько отстраниться от действительности, чтобы язык — плоть от плоти этой действительности, ее суть — стал объектом наблюдения во всех своих мельчайших деталях. Ведь вольно или невольно, но они существовали внутри общества, а отчасти и сами стали носителями языка Третьего рейха. К ним обращался и от их имени говорил Геббельс, для них Гитлер обещал построить «тысячелетний Рейх». Даже те из них, кто, как Юнгер, отказались признать полностью фашистскую идеологию, не могли совершенно отстраниться от действительности. Клемперер же был отторгнут обществом, он перестал для него существовать; с другой стороны, и для него это общество очень скоро оказалось абсолютно чуждым, он начал смотреть на окружающих как на представителей чужого, дикого племени, и их язык стал для него языком чужого племени. Более полное отчуждение просто невозможно. И при этом Клемперер

не был лишен возможности чисто физического контакта с этим племенем, в течение двенадцати лет он мог его наблюдать, записывать его любимые словечки, мифы, обычаи.

Не будет преувеличением сказать, что начиная с конца 1930-х годов ведение такого дневника было действием героическим. При постоянных обысках, которым подвергались жители «еврейского дома», Клемперер каждой своей записью (зашифрованной) рисковал жизнью. Для ведения дневника он поднимался в четыре утра, чтобы до начала рабочего дня описать день предыдущий. И так каждый день, даже после бегства из Дрездена. Из дневниковых записей, посвященных ЛТИ, и была составлена настоящая книга.

Советский режим так же, как и нацистский, создал свой официальный язык, *Lingua Sovietica*. Но до сих пор в отношении языка советской эпохи не появилось труда, подобного исследованию Клемперера. Объяснить это можно тем, что ни один из советских и зарубежных филологов и литераторов не был одновременно и настолько отчужден от общества, и настолько погружен в язык, как немецкий автор. Советские исследователи описывали этот язык изнутри, зарубежные — снаружи. Прекрасные статьи и исследования Г. Винокура, А. Селищева, М. Геллера, П. Сериио и др., касающиеся языка советской эпохи, только подтверждают нашу мысль. Может быть, именно потому, что у нас отсутствует свой Клемперер, его книга особенно будет интересна русскоязычному читателю. Кроме чисто познавательного интереса к удивительному феномену языка нацизма, фашизма, у нас есть и другие причины интересоваться этой книгой. Официальный язык Третьего рейха разительно напоминает язык советский, *Lingua Sovietica*, и даже отличия познавательны интересны, они заставляют сравнивать и задавать вопросы.

Что же заметил Клемперер в языке Третьего рейха? И какие сходства и различия с *Lingua Sovietica* мы можем отметить?

В ЛТИ существовало несколько пластов.

Романтический. С его интересом к сверхценному «Я», с темой сверхчеловека, с презрением к отдельным людям; с романтической привязанностью к «роду», к «крови и почве»; с неприятием рационального.

Экспрессионизм. Слепой, дикий, страстный фанатизм, воодушевление, спонтанность, уникальность — постоянные эпитеты в статьях и речах.

Сакральный пласт. Это, например, постоянно повторяющаяся тема: Гитлер как спаситель, явившийся, чтобы сотворить чудо, чтобы спасти избранный народ, — и наступающее вслед за этим тысячелетнее царство.

Рекламный. Это тема бесстыдного преувеличения, постоянной превосходной степени, уникальности, историчности, важности каждого ша-

га, каждого действия фюрера, каждого произошедшего события. В империи был явный «дефицит будней», все ее дни были «историческими».

Плебейско-спортивный. Тот, кто хочет говорить с народом, должен «смотреть народу в рот», — повторял Геббельс вслед за Лютером. Отсюда наполненность текстов спортивными метафорами и просторечием, использование которых Клемперер объясняет желанием фашистских идеологов быть «близкими народу». Популизм стал принципом партийной пропаганды. И наоборот, предполагалось само собой разумеющимся, что все партийные праздники — «народные», все, что чуждо партии, «чуждо» и народу, все, что близко партии, близко и народу.

Каждому из этих пластов, каждой из этих тем можно найти соответствие, по сходству или противопоставленности, в советском дискурсе.

Клемперер отметил интересную особенность ЛТИ: в его основе лежит устная речь, даже в письменных жанрах, — это прежде всего устное слово. Для нас она интересна вдвойне, потому что в основе языка советского лежит слово письменное. (За исключением политической риторики 20-х годов, когда официальный советский язык, *Lingua Sovietica*, только формировался.) Как характерную деталь ЛТИ Клемперер отмечает обилие иронических кавычек в серьезных текстах: красный «генштаб», русская «стратегия», английские «политики», «немецкий» поэт Гейне. Даже эта маленькая деталь подчеркивает важность интонации в политическом дискурсе нацистов и свидетельствует о правильности тезиса Клемперера о речевом характере ЛТИ. Ирония, ироническая интонация присутствовали и в советском дискурсе, но советские идеологи, в особенности — в последние десятилетия, предпочитали не смешивать жанры и стили: для иронии у них были свои жанры, например, подпись к карикатуре. В нацистском дискурсе была возможность стилистической игры, смешения разных стилистических пластов. Последний прием особенно любил Геббельс. (Из современных российских политиков этим приемом часто пользуется В. Жириновский.) Серьезного Клемперера шокировала способность Геббельса в статье на военную тему использовать спортивную боксерскую лексику и тут же говорить о войне как о «божьем суде». Параллели в советском дискурсе можно найти в те же 30-е годы (позже они постепенно исчезают). В передовой статье «Правды» 1938 года о боях на озере Хасан, выдержанной в высоком стилистическом регистре, присутствует фраза о том, что теперь никому не повадно будет *«совать свое свиное рыло в наш советский огород»*. Клемперер замечает возникшую в 30-х годах моду на мифологические имена для новорожденных и напоминает о схожих явлениях во время Английской и Французской революций. Советские люди, ко-

нечно, вспомнят своих Владленов, Виленов, Марлен, Сталиев — жертв политической моды 1920-30-х годов.

Когда в СССР начала обсуждаться проблема переименования улиц, то среди размышлений, почему в России названия улиц, площадей, городов менялись и меняются с такой легкостью, приводилось такое объяснение: причина в отсутствии культурной, исторической преемственности в русской жизни. Но оказывается, что в культурнейшей стране Германии при режиме, который подчеркивал свое уважение к «немецким корням», шло чуть менее масштабное, но тем не менее массовое изменение названий.

Еврейская «лженаука», превосходство «немецкой науки» и «немецкого кошководства» над всеми остальными; студенты, «пресекающие» вредную деятельность профессора-еврея — как все это похоже на советскую риторику о превосходстве «советской науки», о лженауке генетике, о профессорах-вредителях. Даже «головная организация», даже «Победа будет за нами!» — все, все это кальки с соответствующих немецких, и не только немецких, выражений и лозунгов. Но, может быть, самым обидным советскому патриоту покажется то, что знаменитые наши «битвы за урожай», прорывы и победы на трудовых фронтах — все это тоже пришло к нам извне. Из Германии, из отсталой фашистской Италии. Из риторики итальянских фашистов, из «*battaglia del grano*» — замечает въедливый Клемперер — позаимствовали нацистские идеологи свои заголовки о «битвах за урожай» где-нибудь в Восточной Пруссии.

Книга об ЛТИ была издана в советской зоне оккупации. Клемперер еще в 1939 году писал в дневнике, что ему чужд и нацизм, и большевизм, как, впрочем, и сионизм, что он всегда останется «либералом и немцем». Эти слова, как и замечание, что и нацизм, и коммунизм — одинаково «материалистичны и ведут к рабству», мы узнали лишь из полного текста дневника, опубликованного на немецком только недавно. В книге же об ЛТИ автор сделал несколько реверансов в сторону Москвы, может быть, вынужденных, если мы вспомним исторические обстоятельства и время появления книги. Москва оказывается центром Европы и единственным центром европейской цивилизации. Параллели в официальных языках нацистов и коммунистов (Клемперер упоминает лишь о нескольких: массовая пропаганда, множество сокращений, возникших в русском языке в советскую эпоху, проникновение технической лексики в разговорный язык) — это отнюдь не свидетельства сходства систем. Наоборот — замечает Клемперер, не пытаясь, впрочем, скрыть натянутости объяснения, — «если двое делают одно и то же», значит... советская власть стремится «освободить» дух простого человека, а нацисты — «поработить» его.

Но, конечно, совсем не только об использовании превосходной степени в ЛТИ писал в своем дневнике Виктор Клемперер, переживший нацистов, выживший благодаря чуду, случаю, своей жене и множеству простых добрых людей. Это прежде всего рассказ о тех, кто говорил на этом языке, о «скотах» из СС и «предателях», о простых немцах — отнюдь не героях (вообще, о героях в этой книге речи нет): о горбатой Фриде, опекавшей старого еврея Клемперера на фабрике по изготовлению конвертов и подарившей ему в 1945 году яблоко для больной жены; о торговце, потихоньку снабжавшем автора едой и рассказами о «народных» приметах скорого конца «негодяев»; о соседе по «еврейскому дому», который под влиянием нацистской пропаганды стал искренне стыдиться своей прошлой профессии коммивояжера (ведь это, действительно, чистый «шахер-махер») и собиравшемся, если выживет (не выжил), заняться разведением садов и быть «ближе к природе», как и советовала добрым немцам нацистская пропаганда.

Все эти простые немцы говорили на ЛТИ, слушали ЛТИ, и все они, по мнению Клемперера, были отравлены «ядом» нацистской пропаганды. Горбатая Фрида с любопытством спросила, правда ли, что его жена — немка. То, что для нее, фабричной работницы и чистокровной арийки, это было странно, — свидетельство несомненного отравления. Отравлен «ядом» и сосед по «еврейскому дому», и старый друг, прятавший Клемпереров в своей аптеке. Последний отравлен потому, что допускает возможность спасения положения на фронтах с помощью «нового оружия». Отравлен и рядовой РГ (parteiigenosse), так как и в 1946 году он признается Клемпереру: «Я ведь верил в него», — и тихо добавляет: «...и все еще верю». Но это проникновение нацистского яда в простых людей не вызывает удивления профессора Клемперера, он спокойно констатирует сам факт. А вот что действительно поражает и возмущает его, так это «предательство» интеллектуалов. Предательство не его лично, об этом речи нет. (Добавим от себя, что, если бы оно было, не читали бы мы сегодня размышлений об ЛТИ.) Профессор потрясен, как могли они предать «культуру», великую культуру, «самую великую в мире», как написал он еще перед мировой войной в своем дневнике. Самый большой пафос и гнев слышен именно в местах, описывающих, как меняются под действием пропаганды образованные люди, как одни легко и бездумно отдаются стихии демагогии о «крови и почве», как цинично «предают» другие. Есть в этом негодовании некоторое презрительное высокомерие по отношению к плебсу, занятому спортом и своими маленькими делами, и почти религиозное отношение к Культуре.

Свои последние годы, до самой смерти в 1960 году, Виктор Клемперер посвятил восстановлению немецкой культуры. Внешняя канва его

судьбы после 1945 года на редкость благополучна. Член Комиссии по денацификации, член Академии, депутат Парламента ГДР от Kulturbund'a, профессор нескольких университетов, автор массы статей по филологии, педагогике. Однако самый большой труд Виктора Клемперера — его дневники — оставался неопубликованным почти сорок лет после его смерти. В последние же годы в Германии возникла, по выражению одного критика, целая «индустрия Клемперера». Его дневник — два огромных тома (1700 страниц) — стал едва ли не самым известным автобиографическим бестселлером, по нему начаты съемки тринадцатисерийного телевизионного фильма, его читают по радио и с театральной сцены, готовится адаптированный вариант для школ. В сокращенном виде дневник публикуется в США, и первый том (1998) принят с интересом и благожелательными рецензиями.

Порадуемся, что и русскоязычный читатель получил, наконец, возможность познакомиться с книгой Клемперера об ЛТГ в адекватном переводе А. Григорьева. Культурная ценность этой книги несомненна. Написанная в отрыве от библиотек, она является образцом научной точности, эрудиции, научной и человеческой добросовестности. История написания позволяет поставить ее в один ряд с «Апологией истории» Марка Блока, с дневником Анны Франк, дневником Януша Корчака.

В заключение отметим, что книга издана при поддержке Института «Открытое общество».

28 мая 1999 года

СЕРГЕЙ УШАКИН

Видимость мужественности

«Они не осознают, какую чуму мы им везем!»

З. Фрейд К. Юнгу о психоанализе во время совместного путешествия в Америку [1, с. 11].

«Обычно те специфические качества, которые демонстрирует исполнитель в процессе осуществления поставленных перед ним задач, отражают специфику именно этих задач, а не специфику их исполнителя.»

Э. Гоффман [2, с. 83].

Эрнст Джон, автор биографии Зигмунда Фрейда, приводит интересный факт из жизни психоаналитика. В беседе с княгиней Марией Бонапарт Фрейд якобы воскликнул: «Чего же хочет женщина?» [3, с. 421]. В работе «Женственность», написанной в 1932 году, за несколько лет до смерти, семидесятисемилетний Фрейд, словно подводя итоги своим поискам ответа, заметил, что его собственное понимание сущности женственности является *«разумеемся, неполным, частичным и не всегда дружелюбным...»*, что более полный ответ может дать сама жизнь, или ее поэтические интерпретации, или результаты научных исследований [4, с. 362]. Подобное теоретическое саморазоблачение после почти четырех десятилетий тщательного (или тщетного?) изучения «загадки женщины» и последовательный уход Фрейда из области собственно анализа сексуальности в область психоанализа религии и культуры (1) вряд ли случайны. Не только и не столько потому, что все попытки свести желания женщины к единственному объекту — мужчине, или, в традиционной фрейдистской интерпретации, к пенису, — оказались несостоятельными, сколько в силу тупиковости самой теоретической модели, избранной Фрейдом. Если смысл (жизни) женщины в том, чтобы

преодолеть неизбежность анатомии — посредством замужества, рождения ребенка или прямого отрицания факта кастрации, — то есть, иными словами, если смысл женственности в «обретении» недостающего, то в чем тогда смысл мужчины и мужественности?

Не является ли в таком случае и сам вопрос Фрейда о предмете желаний женщины не чем иным, как замаскированным вопросом о сути желаний мужчины? Не чем иным, как блестящим использованием приема «замещения», «переноса», «маскировки», открытого самим же Фрейдом в его «Толкованиях сновидений»? Не случаен ли и тот факт, что уже в одной из самых первых своих научных работ, посвященных проблемам истерии, Фрейд (следуя Шарко) активно отстаивает право мужчин на *истерические* неврозы [5] — вопреки самой семантике термина (2)? Любопытен в этом плане и тот налет метафорического мистицизма, который характерен для Фрейда при описании его пациентов-мужчин. В отличие от «женских» случаев, вошедших в историю, что называется, поименно (Анна О., Катарина, Дора), мужчины у Фрейда всегда несколько больше (или меньше), чем просто мужчины. Они — скорее персонажи, мифологические фигуры, сценические герои. Показателен сам список: «человек-крыса», «человек-волк», «Царь Эдип» и, наконец, «Нарцисс».

О Нарциссе и пойдет речь в данной статье. Вернее, о той роли, которую играют отражения, образы, модели и репрезентации в формировании мужской половой идентичности (3).

На мой взгляд, концепция *видимости мужественности*, которую я попытаюсь развить далее, довольно удачно описывает два принципиальных аспекта мужской половой идентичности. С одной стороны, она позволяет говорить о мужественности как о перформативном, показательном, обозреваемом, инсценированном явлении, рассчитанном на определенного зрителя. С другой стороны, идея *видимости* акцентирует иллюзорный, фантазматический, символический характер мужественности. В качестве методологической основы я буду использовать выводы психоанализа, содержащиеся в работах таких его теретиков и практиков, как З. Фрейд, М. Кляйн, Ж. Лакан.

Знаки пола

Среди институтов, или, используя терминологию Луиса Альтюссера, «идеологических аппаратов» [7, с. 127-186], занятых в производстве половых идентичностей, лидирующая роль обычно отводится двум — семье и школе. Однако трансформация традиционной структуры семьи, рост числа разводов, ранние браки и т.д., с одной стороны, и утрата школой монополии на распространение знаний, с другой, приве-

ли к тому, что все большее количество нетрадиционных социальных институтов начинает вовлекаться в процесс формирования и реформирования половых идентичностей. Средства массовой информации сегодня являются, безусловно, одним из наиболее активных институтов подобного рода. Несомненно, газеты, журналы, кино и т.д. играли весьма существенную роль в этом процессе и раньше. Принципиальным же отличием сегодняшней ситуации является то, что действуют они в условиях отсутствия четко выраженных культурных, социальных, моральных и т.п. иерархий. Говоря социологическим языком, они начинают играть роль не столько вторичной, так называемой *закрепляющей* социализации, сколько роль социализации первичной, т.е. формирующей начальные, исходные идентификационные модели поведения (4).

Целая серия «мужских» журналов, появившихся в последние годы в России, дает довольно широкую картину того, какие варианты *мужественности* не просто формируются, а ведут вполне серьезную конкуренцию за потенциального читателя-потребителя. «Медведь», квалифицирующий себя как «настоящий мужской журнал», является интересной попыткой сформировать определенную модель *настоящего мужчины*, увязанную, в отличие, допустим, от русского «Плейбоя», не столько с сексом, сколько с вполне конкретной классовой — или профессиональной — позицией. Посмотрим подробнее, как это происходит (5).

Для начала — обширная цитата из этого «*настоящего*» мужского журнала.

«...Представьте Его. Знаменитого, которого знает (в некоторых случаях даже любит) вся большая страна. Пусть некрасивого, но чертовски обаятельного. Потому как быть обаятельным — это его работа... Представьте Его, в свои 25-30-35-40 лет руководящего большой компанией и даже — не боимся этого слова — холдингом. Умеющего принимать решения и брать ответственность на себя. Не всегда хорошо, но почти всегда дорого одетого. Часто умеющего говорить на непонятном иностранном языке. Предпочитающего дорогие сигары дешевым, дорогие коньяки — водке, Хьюго Босса — «Шипру», Grand Cherokee — «Жигулю» и Париж вместе с Дакарсом — отдыху на побережье Рыбинского водохранилища. И самое убийственное, что не только предпочитает, но может себе это позволить. И без всякой задней мысли констатируем — это замечательно: почти вымершая порода настоящих мужчин, оказывается, вовсе не вымерла. И отдельных ее представителей можно близко наблюдать и, если повезет, то и потрогать» («Медведь», № 8, с. 97).

При всей своей иронии и сарказме цитата, тем не менее, содержит едва ли не все основные компоненты, из которых конструируется сего-

дня в средствах массовой информации модель не то «почти вымершего», не то «вымирающего», не то «начавшего возрождаться» *настоящего* мужчины. Компонентов, строго говоря, не так уж и много: *возраст, власть и — главное! — стиль жизни, т.е. устойчивый набор предметов, способов и форм потребления* (6). Примечательно, что все эти компоненты лишены, строго говоря, собственного содержания и носят характер указателей, индикаторов, «дорожных знаков», призванных отметить поворот или предел скорости и имеющих смысл лишь в силу отношений, существующих между самими этими знаками. Париж и Дакар важны постольку, поскольку кто-то очень долго ездил на Рыбинское водохранилище. А способность «принимать решения» и «брать на себя ответственность» становится существенной лишь при условии, что кто-то (опять) может остаться без своей доли власти. «Содержательный» компонент знака — что делать в Париже и по какому поводу «брать ответственность» и «принимать решения» — остается за скобками.

Дискуссии о «сущности» мужественности, таким образом, сменяются дискуссиями о характере мужских «доспехов», а трактаты о воспитании чувств — справочниками по основам этикета, в том числе, и полового. Сама по себе ситуация эта вряд ли способна вызвать удивление — споры о соотношении формы и содержания ведутся не одну сотню и даже тысячу лет. Примечательно здесь другое — форма начинает выполнять не столько репрезентативную, представительскую, отображающую, сколько конституирующую функцию. Именно поэтому особое значение приобретают различного рода «манифестации», «символы», «знаки», или — проще — ярлыки, отсылающие к другим смысловым кодам, другим — не явным, не очевидным, но имеющим первостепенное значение — иерархиям. Иначе говоря, формальные элементы начинают использоваться для обозначения — то есть материализации — *отсутствия* элементов содержательных: как в силу невозможности непосредственного присутствия последних, так и зачастую в силу их фантомного характера. В итоге процесс становления личности совпадает с процессом ее — личности — *образования*, то есть накопления, усвоения и воспроизводства символических средств (образов), с помощью которых личность может *обозначить* свое присутствие в обществе. Мелани Кляйн в своей классической работе о роли символов в формировании личности подчеркивала важность этой *образовательной* функции: «...символизм является не только основанием разного рода фантазий и сублимаций. Помимо этого символизм — это фундамент, на котором индивид строит свои отношения и с внешним миром, и с реальностью в целом» [13, с. 97].

Психоанализ и — позднее — постструктурализм сделали, однако, ряд важных дополнений к концепции символа. В традиционной трактов-

ке символ есть не что иное, как связующий элемент, вернее, часть элемента, указывающая на необходимость поиска остальных частей в целях воссоздания изначальной целостности (7). В контексте психоаналитической теории личности «части» символа стали пониматься как элементы, имеющие свою собственную символическую природу. В результате и идея «изначальной» целостности символа, и идея фиксированной идентичности его «частей» утратили свой фундаментальный смысл. Образы и отображения стали «переводами, не имеющими текста-оригинала» [15, с. 1], поскольку: «...то, что подвергается репрезентации, является не непосредственной реальностью, а лишь иной формой репрезентации. В итоге анализ образов с неизбежностью требует анализа отношений между образами» [16, с. 2].

С точки зрения анализа половой идентичности такое понимание характера репрезентации имеет ряд важных следствий. А именно: пол может трактоваться как символическая конструкция, как знак, призванный графически оформить необходимую ассоциативную связь — вернее, как замечает Тереза де Лоретис, оформить принадлежность к определенной группе или классу [17, с. 4], имеющим, в свою очередь, собственные символические средства репрезентации.

Как технически реализуется подобного рода репрезентация пола? Луис Альтюссер, комментируя вклад Фрейда и Лакана в развитие психоанализа, заметил, что, в сущности, есть лишь два доступных нам способа или механизма репрезентации [18]. В «Толковании сновидений» Фрейд характеризует их как фундаментальные законы «смещения» (*displacement*) (8) и «сгущения» (*condensation*) (9). Лакан, в свою очередь, перенес психоаналитические категории на почву лингвистики, определив те же механизмы как риторические приемы *метонимии* и *метафоры* (10).

В результате этих методологических инноваций появилась возможность рассматривать пол как продукт конкретной риторической деятельности, как постоянно изменяющийся результат непрерывной работы по производству символов и смыслов. Суть анализа в этой ситуации сводится к попытке проявить источники и ход развития тех метафор и метонимий, тех смещений и сгущений, которые и формируют символическое поле половых идентичностей.

Риторика пола

Метафора «бомба замедленного действия» как олицетворение подлинной мужественности имеет давнее прошлое и различные исторические формы. Однако от былинных эпосов (Илья Муромец) и сказок (Емеля,

Иван-дурак) до литературных опытов (Дориан Грей и доктор Джекил/мистер Хайд) и культурных стереотипов (хитрый, но слабый еврей и сильный, но простодушный негр (11) метафора сохраняла свой основной «посыл»: мужественность есть явление глубинное, требующее времени и места для своей полной и подлинной реализации. Внешнее спокойствие есть не что иное, как *видимое* спокойствие, есть тактический прием, используемый для маскировки бурных процессов, идущих в глубине.

Метафора «медведь», безусловно, принадлежит к тому же ряду символических средств и отражает по меньшей мере два аспекта, типичных для понимания природы мужественности. С одной стороны, это мужественность, понятая как независимость, автономность, отделенность; используя еще одну зоологическую метафору — мужественность «степного волка». С другой стороны, это мужественность, олицетворяющая агрессию, стихийность, природную необузданность и инстинкты.

Однако и тот и другой компоненты претерпели в «Медведе» определенную «цивилизационную» обработку, в результате которой мужская независимость стала пониматься как независимость профессионала, эксперта, а мужская агрессивность оказалась «сублимированной» посредством героизации потребительства.

Австралийский социолог Роберт Коннелл замечает в своей книге, посвященной проблемам мужественности, что исторически происходила определенная борьба между концепцией «мужественности», основанной на идее господства грубой силы (условно говоря, пехота), и концепцией, имеющей своей предпосылкой идею знания (условно говоря, ракетные войска) [23, с. 165]. «Медведь» в этом плане достиг определенных успехов, пытаясь объединить обе тенденции в своей версии *мужчины-как-знатока, мужчины-на-своем-месте*. Две рубрики журнала — «Вещи впору» и «Фрак» — призваны в какой-то степени олицетворить эту идею. Интересна концептуальная схема рубрик — речь идет не столько о *конструировании* вещей, не столько о *создании* своего гардероба, сколько о поиске *подходящей* вещи — будь то униформа, рабочий халат или наушники диск-жокея. Иначе говоря, речь идет о возможности *вписаться* в предложенную ситуацию, о способности *использовать* ее в своих целях, а не о желании изменить ее. Что, в свою очередь, предполагает, во-первых, знание ситуации и, во-вторых, знание своих целей.

Характерно, что, несмотря на внешнюю, образную «всеядность» и «внеклассовость» (12), концепция *мужчины-как-знатока* (да и концепция *знатока-как-мужчины*) отражает вполне четкую групповую

идеологию — идеологию так называемого *нового среднего класса*, чей социальный статус определяется не унаследованным капиталом или политическими связями родителей, а конкретной самостоятельной деятельностью конкретного индивида (13). Например, краткие биографические данные, сопровождающие фотографии тех, кому *вещи впору*, как правило, не содержат ни фамилии, ни семейного положения, ни каких-либо иных сведений, определяющих внепрофессиональный статус. В рамках концепции *self-made man* важным является не слово «*man*» и даже не слово «*made*», а приставка «*self*». Понятие профессионализма, таким образом, становится онтологическим стержнем, на который «нанализывается» любая, в том числе и половая, идентичность. Штангист, олимпийский чемпион так формулирует в «Медведе» это стремление не столько к самореализации и самосовершенствованию, сколько к элементарному созданию этого «само», которое позже может быть усовершенствовано: «...когда ты только приходишь в (спортивный) зал — ты никто, тебе еще надо будет много работать и доказывать всем и себе, что ты из себя представляешь. Это сейчас я на самой вершине, чемпион, а до этого я тоже был никем — просто парнем, который подымал штангу» («Медведь», № 14, с. 85).

Внешняя социальная «амбивалентность» в использовании мужских образов, относящихся к разным социальным, экономическим, культурным, профессиональным и т.д. группам, помимо вполне объяснимого экономического фактора привлечения новых читателей, может иметь и другую — психологическую — основу.

Успех журналов типа «Медведя», как и основной массы рекламной продукции, нацеленной на продажу не столько товара, сколько образа жизни, зависит от того, насколько удалась или не удалась идентификация потенциального потребителя/читателя с предложенной ему моделью или обстоятельствами. Иначе говоря, от того, сколь легко конкретный человек способен «примерить» на себя предложенную ему ситуацию и/или идентичность. С этой точки зрения, строго говоря, абсолютно неважно, каким образом происходит идентификация — посредством метафорических фантазий (14) либо посредством практической (то есть метонимической) реализации предложенных советов (15). Важно, что и умозрительное «потребление» образов — в первом случае, и вполне практическое потребление конкретных «статусных» товаров — во втором — изначально основаны на той идентификационной динамике, которая задается и постоянно воспроизводится рекламой или, в данном случае, журналом. Динамика эта, на мой взгляд, вполне описывается термином «нарциссизм» [24, с. 416-418].

Сам себе режиссер

Напомню, что традиционное, «нормальное», психосексуальное развитие личности движется по траектории *субъект* (например, ребенок) — *внешний образец для подражания* (обычно — один из родителей) — *модифицированный субъект*. Нарциссический тип развития имеет принципиальное отличие. Траектория развития в данном случае лишена промежуточного звена, вернее, роль внешнего образца для подражания играет сам же субъект. Траектория, таким образом, приобретает следующую форму: *субъект — идеальный субъект — модифицированный субъект*.

На мой взгляд, Мелани Кляйн абсолютно права, увязывая источник подобного типа развития с неудачей, пережитой субъектом при попытке идентифицировать себя с «внешним» объектом/субъектом [25, с. 199–200]. Нарциссизм, таким образом, является своеобразной формой защитной реакции на неустойчивость связей с внешним миром. О формах проявления защитной функции нарциссизма речь пойдет ниже, а пока хотелось бы остановиться на другом — визуальном — аспекте этого феномена.

Рассказывая в своих «Метаморфозах» миф о шестнадцатилетнем Нарциссе, Овидий не устает повторять, что суть драмы юноши не в том, что он не смог прекратить (или бесконечно продолжать) изматывающий «роман с собой», — в этом случае финал вряд ли был бы столь трагичен. Ирония ситуации в том, что «объектом страсти» стало отражение, образ, зрительный/зримый эффект (16). Переводя символы античной мифологии на общедоступный язык психопатологии повседневной жизни, Зигмунд Фрейд попытался понять, что именно старается увидеть очередной нарцисс в своем (или чужом) отражении/образе, что именно выступает в качестве «спускового крючка» процесса идентификации зрителя и образа. По мнению Фрейда, в подобном диалоге возможно четыре типа взаимоотношений. При каждом из них образ выполняет функцию отражения, напоминая субъекту о нем самом на определенном этапе его жизни.

Таким образом, в процессе восприятия «отражения» имеет место один из четырех видов идентификации:

- идентификация субъекта с его собственным образом (*узнавание настоящего*);
- идентификация субъекта с его образом в прошлом (*активизация прошедшего*);
- идентификация субъекта со своим возможным образом в будущем (*проекция будущего*);
- повторная идентификация с тем/той, кто уже был однажды объектом первичной идентификации (в данном случае речь идет, как правило,

о родителях и, соответственно, о *реставрации исходной идентичности*) [27, с. 555-556].

Сознательно или подсознательно «Медведь» использует все четыре способа, пытаясь таким образом достичь максимально возможного охвата аудитории. «Разночинный» состав тех, кому *вещи впору*, возможно, призван напомнить о недавнем прошлом; интервью с профессионалами *во фраках* и рассказы о *мужской работе* — должны укрепить представление читателей о себе; откровенно «эксклюзивные» мужские фотомодели — провоцируют поиски своего нового облика (фрака?), а исторические страницы о *старых русских* — возвращают к жизни те объекты и субъекты, которые могли бы стать *новой* исходной точкой процесса самоидентификации. Говоря словами Фрейда, образы эти, предлагаемые индивиду в качестве *идеальных* моделей, могут рассматриваться как суррогаты (substitute), призванные заполнить вакантное место первичного, младенческого нарциссизма — нарциссизма, при котором *индивидуальное* и *идеальное* в субъекте еще полностью совпали [27, с. 558].

Зеркало для героя

Хотя фрейдовская типология нарциссизма является весьма эффективной для объяснения *хода* идентификации, она оставляет открытым важный вопрос: почему именно *зрение* становится механизмом, посредством которого происходит *образование* нарциссической личности. Начиная с 1936 года французский психоаналитик Жак Лакан предпринял ряд попыток развития фрейдовской концепции нарциссизма. Лакановская теория *зеркальной стадии*, появившаяся в результате этих попыток, оказала существеннейшее влияние на формирование психоаналитического направления, известного сегодня под названием *постфрейдизм*.

В статье, посвященной роли *зеркальной стадии* в процессе формирования личности [28], Лакан приводит два примера, демонстрирующих принципиально различное отношение «зрителя» к своему зеркальному отражению. Цитируя работу Вольфганга Келера [29], Лакан замечает, что шестимесячный детеныш шимпанзе теряет всякий интерес к своему отражению в зеркале, как только видит, что это всего лишь отражение, а не еще один детеныш. Отношение ребенка того же возраста (17) к своему отражению принципиально иное. Признание отображающей природы зеркала сопровождается, по Лакану, целой серией жестов, посредством которых ребенок «*в форме игры выявляет взаимосвязь, с одной стороны, между движениями собственного отражения и отраженной реальностью, а с другой — между этим видимым (virtual) миром и той реаль-*

ностью, которую он воспроизводит, — то есть телом ребенка, людьми и вещами, его окружающими» [28, с. 1].

Проводя грань между *видимым* и *настоящим*, зеркальное отражение, таким образом, формирует два различных способа отношения индивида к себе и собственному телу. В первом случае самовосприятие *ограничено* символическими формами и является вектором, складывающимся из *отношений между образами*, в буквальном смысле слова заключенными в контекст того или иного «зеркала». Во втором — самовосприятие становится возможным в процессе самоотчуждения, то есть в процессе *соотнесения своего места* с теми позициями, которые уже заняты другими людьми и/или вещами. Однако данное символическое и/или материальное отчуждение личности — не единственный, да и не самый главный эффект, порождаемый зеркальной стадией. Новизна концепции «зеркальной стадии» в том, что она уделяет внимание по меньшей мере двум моментам, которые обычно оставались в тени дебатов о «мире символов» и «мире вещей».

Первый из них связан с локализирующей ролью зеркального отражения. Наблюдая свое отражение в зеркале, ребенок постепенно приходит к осознанию того, что и он сам, и его отражение могут выступать в качестве объекта стороннего взгляда, независимо от его собственного желания. Зеркало в итоге является тем механизмом, при помощи которого взгляд на себя *со стороны* становится неотъемлемой частью как *себя*, так и любого *взгляда* (18).

Второй момент связан с конкретной временной стадией, во время которой происходит подобное «раздвоение» зрения и личности. Как замечает Лакан, ребенок «рождается на свет преждевременно» [28, с. 4], будучи неспособным самостоятельно и эффективно управлять своим телом. Несмотря на всю свою *внешнюю* целостность и однородность, тело ребенка продолжает оставаться до определенного момента в буквальном смысле «раздробленным», «разбитым» и «фрагментированным» [28, с. 4]. Взросление в данном случае и есть не что иное, как процесс обучения тому, как *вести себя* нормально — то есть по возможности устойчиво и без падений. Как считает Лакан, только принимая во внимание эту преждевременность рождения ребенка, можно по достоинству оценить *формообразующую* роль зеркальной стадии. Первоначально примеряя зеркальное отражение, а затем и воспринимая его в качестве *своего*, ребенок тем самым совершает акт идентификации — то есть процесс *изменения*, ограниченный контурами видимого образа [28, с. 2]. Видимый образ становится *образцом* для подражания (19). В итоге «морфологическая мимикрия» [28, с. 3] является и условием, и способом бытия. А зеркальная стадия — драмой, в ходе которой индивид последовательно переживает

цепь фантазий: от раздробленного тела — к телесной целостности, а от нее — к броне идентичности, «*оставляющей следы своей жесткой структуры на всем пути умственного развития индивида*» [28, с. 4].

Важность концепции «зеркальной стадии» обусловлена не только ее ролью в уяснении процесса формирования и образования личности. Существенным является и то, что, как подчеркивает эта концепция, *умозрительная* деятельность личности — то есть процесс ментального и зрительного соотнесения образов — приобретает первостепенное значение всякий раз, когда «броня» очередной идентичности дает трещину. Ленинский «план монументальной пропаганды», как и сама концепция «*наглядной агитации*», — лишь один из примеров того, как этот фундаментальный психический механизм зрительной идентификации может быть использован в политических целях. «Медведь», в свою очередь, демонстрирует, как тот же самый механизм может служить делу формирования определенной группы потребителей (20).

Мишки на Севере

Выше уже шла речь о том, что нарциссизм — вернее, возврат, регрессия к нему — есть во многом форма защитной реакции на нестабильность внешней среды и соответственно той формы собственной идентичности, которая традиционно увязывалась с этой средой. Концепция *мужчины-как-профессионала*, развиваемая в «Медведе», может служить хорошим примером такой регрессии.

В своей лекции «Теория либидо и нарциссизм» Фрейд интерпретирует многочисленные случаи мании величия, мании преследования, эротомании и тому подобных маний (в которых субъект/пациент выступает главным — или единственным — действующим лицом) как *вторичный нарциссизм* [24, с. 424]. Термин этот означает попытку повторения той стадии младенчества, когда ребенок еще не испытал своей отдельности и отделенности от источника тепла и пищи, той стадии, на которой, как замечает британский психолог Стефен Фрош, границы между субъектом и объектом еще не существовало [31, с. 106]. Причина подобной регрессии, как уже отмечалось, кроется в стремлении избежать очередной травмы «разрыва», в желании «упредить» этот разрыв путем создания среды — *собственного мира*, который *неотделим* от своего «творца».

В «Медведе» подобные фантазии-воспоминания о собственной самодостаточности наглядно проявляются в многочисленных рассуждениях о «профессиональном» окружении, о профессиональной, так сказать, «берлоге», вход в которую для посторонних если не запрещен, то крайне ограничен. Сквозная тема *самостоятельности, самодеятельно-*

сти, *самодостаточности*, сопровождающая концепцию «*профессионального мужчины*», постоянный акцент на *личной* способности достигать поставленных целей довольно четко указывают не только на стремление к определению внешних границ идентичности конкретного профессионала, но и на его попытки не выходить за пределы этой относительно безопасной зоны *личного* спокойствия.

Эта концепция нарциссического аутоэротизма, в рамках которого индивид является (единственным) источником своего же собственного удовольствия и своего развития, находит в «Медведе» различные воплощения. Рассуждения известного телевизионного продюсера о понятии «стиль» выражают доминирующую концепцию «самосделанности» достаточно откровенно. «*Стиль*, — объясняет продюсер, — *это когда ты никуда не заглядываешь, кроме как в себя, и пытаешься что-то сделать*» («Медведь», № 14, с. 41). Вопрос, естественно, в том, для кого делать это *что-то*. Вернее, в том, не является ли этот «креативный» человек *стиля* не только единственным творцом, но и единственным зрителем данного стилистического произведения. Или, говоря языком психоанализа, насколько осознание зависимости от внешних факторов становится определяющим для понимания (сущности) собственной идентичности [32, с. 166-168] профессионала.

Судя по тому, что тема одиночества, единственности и уникальности — одна из главных в «Медведе», *внешний* фактор в данном случае воспринимается скорее как помеха, чем как необходимое условие. Тимур Кибиров, например, говорит о стремлении «занимать пустующую нишу» («Медведь», № 8, с. 53). Сергей Курехин — о том, что одиночка «*сейчас может сделать для цивилизации больше, чем толпа художников, скрипачей, театральных режиссеров и кинодокументалистов*» («Медведь», № 8, с. 37). Один из депутатов Думы называет себя «уникальным политиком» именно потому, что за его «спиной никто не стоит» («Медведь», № 16, с. 34). А один из преуспевающих программистов так формулирует принцип удачной карьеры: «*...у тебя программирование будет хорошо получаться, если ты отдашь этому всего себя. Если программист отвлечется на полгода и займется чем-то другим, то как программист он себя через полгода не найдет*» («Медведь», № 14, с. 35).

Примечательным в этой цепи рассуждений является своего рода страх не обнаружить для себя «пустующую нишу», раствориться в «социальной жизни», не найти «себя» через полгода. Иначе говоря, экзистенциальный страх потери собственных границ, страх *слияния* с фоном и, таким образом, страх потери себя как индивида. Авторы многочисленных исследований на Западе уже давно окрестили данную ситуацию *кризисом мужественности* (21), видя причины этого

кризиса в неспособности конкретных индивидов соответствовать культурным нормативам мужественности, доставшимся от прошлой эпохи [34]. Ситуация эта, разумеется, далеко не уникальна. В дискуссиях по поводу конструирования мужественности в средневековье [35] и репрезентации мужских образов в викторианской живописи [36] прослеживаются сходные тенденции. Переход от концепции мужского героизма к более повседневной и — соответственно — менее воинственной концепции мужественности никогда не был легким, поскольку, как справедливо замечает Даниэл Мелия: *«Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются общества с развитой кастой воинов... является вопрос о том, что делать с этими сверхмужественными типами, когда они не заняты на поле боя»* [35].

С этой точки зрения и «рыцарский кодекс» средневековья, и концепция «отца семейства», возникшая позже, были своего рода попыткой «доместицировать» нормативный героизм.

Аналогичная динамика свойственна и постсоветскому периоду. Исчезновение культа героев гражданской, Отечественной и афганской войн, утрата актуальности самой концепции жертвенности во имя социальных идеалов — с одной стороны, и неспособность представить рутинность капиталистической трансформации в символически привлекательных формах — с другой, привели к актуализации концепции профессионализма (22). Профессионализма, идеалом которого является способность сформировать новый, герметичный, рационально выстроенный или, по крайней мере, управляемый мир, где хозяином и творцом является герой-одиночка. «Медведь» под рубрикой «Победитель» описывает причины и характер успеха одного из таких творцов следующим образом: *«Творческая фантазия (итальянского модельера) Ферре подстегивается многими чертами его характера. Он очень ревнив. Ревнует ко всему: он должен чувствовать, что друг — это его друг, что диван — его диван, платье — его, сорочка — его. А чтобы одежда была его, она должна стать его — от ткани до последнего шва. Это значит, что и ткань должна быть придумана им, должна стать частью его собственного мира... Он не умеет отдыхать. Мода — его страсть, а работа — смысл жизни»* («Медведь», № 14, с. 96).

Данная цитата хорошо демонстрирует типичную черту «медведей» — победителей нового типа: нарциссическую манию величия, мегаломанию, в рамках которой существование независимого внешнего мира возможно лишь постольку, поскольку он рано или поздно станет частью мира внутреннего. В итоге, триумф подобного всепоглощающего профессионализма «означает не только видимое освобождение от... конфликтов» с внешней реальностью, но и освобождение от самой реальности [37, с. 155]. О метони-

мических функциях многочисленных деталей, маркирующих границы «собственного мира» профессионала, а также об агрессии как неотъемлемой части нарциссизма речь пойдет чуть ниже. Пока же хотелось бы обратить внимание на то, как подобный профессиональный солипсизм трактуется самими героями «Медведя».

Профессиональный нарциссизм как реакция на кризис господствующих нормативов мужественности естественно и закономерно выливается в проблему одиночества: будь то одиночество профессиональное или одиночество личностное. Осознают ли это герои «Медведя»? Вполне. Осознают ли они это как проблему? Вряд ли. На вопрос о том, чувствует ли он прессинг, диск-жокей радиостанции отвечает: *«Никоим образом. Просто я ощущаю свое одиночество в эфире. Раньше я чувствовал плечо сверстника... Было легче работать. Сейчас их нет...»* («Медведь», № 15, с. 9). Герой-полярник делает более понятным экзистенциальный смысл одиночества. На вопрос: *«Чем Вы занимались на Севере?»* — следует ответ: *«Искал свое место в жизни. Свое место в Арктике»* («Медведь», № 16, с. 4). Любопытным является тот факт, что *поиск себя и своего места* с неизбежностью совпадает с *уходом от других*, с поиском иного фона, на котором границы силуэта были бы лучше видны. Иными словами, одиночество «белого паруса» становится очевидным лишь в силу голубизны долины моря. «Профессиональная» мужественность пытается избавиться от этой «относительности» белизны и воспринимать ее как «абсолютное», состоявшееся и законченное явление.

Подведу предварительный итог. Трактовать «медвежий» профессиональный нарциссизм как акт самолюбования «нового среднего класса», как акт отрицания «общества» во имя корпоративных интересов было бы ошибкой. Вопреки расхожему мнению, нарциссизм носит *ответный* характер и имеет диалоговую природу. Иначе говоря, нарциссическая самопоглощенность «настоящих мужчин» становится результатом «культурной маргинализации», обусловленной их неспособностью и/или нежеланием соответствовать господствующим социальным/культурным нормам [38, с. 109]. Важным в этом процессе является не то, что профессиональная этика подменяется или, вернее, заменяется профессиональной эстетикой, а то, что профессионально-половая идентичность, возникающая в данном случае, крайне далека от того, чтобы быть «впору». «Фрак» этой идентичности приобретен, что называется, *на вырост, с опережением и призван оформить, а не отразить настоящий момент. И как это бывает со всякой вещью, взятой на вырост, зазор между границами нарциссической идентичности и конкретным телом должен быть чем-то заполнен. Чтобы совпадение границ стало видимым.*

Боевые игрушки

Если метафора «медведь» вполне успешно осуществляет метафорическую функцию «сгущения», добавляя понятию «мужественность» дополнительные и не всегда очевидные краски и оттенки, то многочисленные детали одежды, предметы быта и досуга, которые живописует «Медведь», позволяют эфемерной мужественности профессионала метонимически материализоваться и — относительно — увековечить свое присутствие.

Французский социолог Пьер Бурдьё, анализируя вкусы среднего класса Франции, отметил его чрезвычайную озабоченность своим внешним видом, озабоченность, не свойственную ни рабочему классу, стоящему ниже на социальной лестнице, ни традиционным привилегированным группам, чье положение представители среднего класса надеются со временем занять. Вот что пишет Бурдьё: *«Их озабоченность внешним видом, проявляющаяся иногда как чувство неудовлетворенности (unhappu conscioussness) или как высокомерие, является также источником их претензий и постоянной склонности к блефу, к присвоению той формы социальной идентичности, которая состоит в стремлении уравнивать «бытие» (being) и «видимость» (seeming), в желании владеть видимым (appareances) для того, чтобы иметь подлинное (reality)... Разрываясь между объективно доминирующими условиями и отдаленной возможностью приобщения к господствующим ценностям, представитель среднего класса поглощен проблемой своего внешнего вида, обреченного на суд публики...»* [12, с. 253].

Механизм опережающего статусного потребления, о котором говорит Бурдьё, демонстрирует лакановскую зеркальную стадию в действии. На этой стадии отражение формирует объект, а не наоборот. Иными словами, при переходе от одной формы символической саморепрезентации к другой не может не возникать «стремление уравнивать бытие и видимость» бытия. Интересно проследить, какие формы подобного уравнивания используются в «Медведе».

Будучи привлекательной как идея, концепция профессионализма достаточна бедна как образ. Это с неизбежностью ведет к необходимости поиска соответствующего элемента, способного заполнить символические пустоты идентичности, приобретенной на вырост. В «Медведе» таким элементом стала идея агрессивного и в то же время профессионального потребительства. «Медведь», разумеется, здесь далеко не оригинален. Волна рекламных кампаний, стремящихся увлечь так называемого «нового мужчину» — *яппи* — в пучину нарциссического и гедонистического потребительства, поднялась на Западе

в первой половине 50-х годов (23) и превратилась в настоящий шквал к середине 80-х [39]. Как свидетельствуют многочисленные исследования, «маскулинизация» потребительства на Западе шла именно по пути мимикрии (т.е. традиционно «женского») желания *наслаждаться* предметом под агрессивное желание *овладеть* им [11]. Подобная риторическая стратегия, судя по всему, носит универсальный характер. «Медведь», например, описывает такой, казалось бы, заурядный компонент домашней аудиосистемы, как усилитель, следующим образом: «...*Два усилителя и предусилитель F-серии хороши и на слух и на взгляд. Своими угловатыми формами, мощными железными торсами и готическими завитушками детища Энтони Майкельсона (конструктора усилителей — С.У.) чем-то напоминают кавалькаду древних рыцарей в черных доспехах. Сходства с древними воинами добавляют не менее древние лампы, которые здесь используются во входных схемах. Вот только с именами «рыцарям» не повезло: F15, F18, F22... Каждому нормальному человеку ясно, что это не усилители, а как раз наоборот — истребители*» («Медведь», № 8, с. 121).

Сходная метафора «рыцарские доспехи» используется и при описании портативных компьютеров-ноутбуков. Стремясь избавиться от любых нежелательных ассоциаций, «Медведь» видит в этих компьютерах не что иное, как «электронных оруженосцев», верно служащих нынешним *странствующим воинам*, «к которым можно отнести бизнесменов, писателей, журналистов» («Медведь», № 8, с. 122). Вполне закономерно, что в рамках этой риторики ближайшим родственником ноутбука становится вовсе не ординарная пишмашинка, а вполне respectable «черный президентский чемодан» («Медведь», № 8, с. 122).

Еще одним примером неустанной риторической войны этих «странствующих» бойцов невидимого фронта является описание музыкальных колонок. «Медведь» очерчивает метафорические границы сразу и резко: «*У солдата и меломана нет общих интересов. У них есть общий враг — тишина*» («Медведь», № 8, с. 126). Неудивительно, что музыкальный досуг обладателя колонок становится формой *борьбы* с покоем соседей. В интерпретации «Медведя» это выглядит так: «*Конечно, для борьбы с тишиной обычной музыки маловато. Ничто так не разорвет сон ночного квартала, как пулеметные очереди и ракетные залпы средней дальности. И напрасно соседи стучатся головой о стену и просят успокоить вашего динозавра: «домашний театр» слезам не верит. Особенно тогда, когда он вооружен акустикой Kef...*» («Медведь», № 8, с. 127).

Для чего нужна эта «милитаризация» обыденности? С какой целью окружающая среда вдруг превращается в крепость: с усилите-

лями — в роли истребителей, музыкальными колонками — в роли пулеметов и компьютером с единственной заветной «пусковой» кнопкой — в роли командного пункта? С одной стороны, ситуация понятна и вполне соответствует выводу Бурдые: в условиях, когда претензии на обладание тем или иным статусом могут вызвать законные сомнения, решающую роль начинает играть *видимость* принадлежности. Иначе говоря, когда возможности практического — то есть процессуального — проявления мужественности ограничены или сомнительны, присутствие мужественности начинает выражаться в *предметах*, символически заполняющих существующий деятельностный вакуум. Мужественность, таким образом, становится опосредованной. И ее «правильный» вариант, соответственно, заключается в правильном наборе тех или иных товаров, чья судьба — быть увиденными.

Хорошо понимая цель этой *опредмеченной* мужественности, «Медведь» так описывает слегка военизированную коллекцию одежды марки «Chevignon»: *«Ореол героического, созданный вокруг вымышленного персонажа Шарля Шевиньона, оказывается просто необходим в будничной и скучной жизни. «Крутизна», но не в американском, несколько грубом и стандартном варианте, а во французском, смягченном присущими этой нации изысканностью и элегантностью, поднимает настроение, окрыляет, заставляет идти с гордо поднятой головой, чувствуя каждой клеточкой тела свою непосредственную связь с романтикой военного времени»* («Медведь», № 15, с. 114).

Скука будней, однако, вряд ли является единственной причиной подобной тяги к романтике военного времени. Психоаналитическая практика Мелани Кляйн во многом позволяет понять, какие механизмы скрываются за этими попытками «цивилизовать» и «эстетизировать» агрессию. Наблюдая за тем, как дети сначала выбирают, а затем и используют игрушки, Кляйн пришла к следующему выводу: *«В ходе игры дети в символической форме реализуют свои фантазии, желания и накопленный опыт. Для этого они используют тот же самый язык, тот же самый архаичный, филогенетически усвоенный способ выражения, который столь хорошо знаком нам по снам»* [40, с. 64].

Игрушки, таким образом, выполняют связующую, соединительную роль, позволяют преодолеть пропасть между «внешними» объектами и «внутренним» миром ребенка [41, с. 23]. Выбор и описание «игрушек» в «Медведе» (24) выполняют аналогичную функцию — функцию «снятия» напряжения, функцию «выхода» беспокойства в наименее опасной и, вместе с тем, достаточно эффективной форме [42, с. 52]. Иными словами, подобные игрушки и игры позволяют в фантазматич-

ческой форме воспроизвести *действительный* «опыт и реальные детали повседневной жизни» [42, с. 43]. То, что данный опыт и детали, как правило, выражаются в форме агрессии, лишь еще раз подтверждает правильность нарциссического диагноза нынешней профессиональной мужественности. Ведь само существование (якобы) самодостаточного мира профессионалов возможно лишь посредством неустанной борьбы за поддержание его границ, за поддержание видимой целостности, готовой распасться при малейшем вторжении непрофессионалов и непосвященных. Агрессия нарцисса, таким образом, всегда есть ответ на удар, которого еще не было, всегда скрытое признание угрозы потенциальной демаркации идентичности [43, с. 41] — будь то идентичность половая или идентичность профессиональная. Признание того, что ее *видимость* рано или поздно станет явной, что *фрак* окажется с чужого плеча и что даже самая последняя модель «истребителя» устареет раньше, чем этот «истребитель» нанесет первый удар...

Нарциссический тип мужественности, разумеется, не является единственно «доступным» вариантом данного типа половой идентичности в сегодняшней России. Однако, несмотря на свою довольно отчетливую классовую специфику, этот тип мужественности наглядно демонстрирует основные механизмы любого процесса половой идентификации: от иллюзорности *зеркальной стадии* к очевидности *знаков пола*. От изначального единства к последующему одиночеству. От неуверенных попыток бытия к успешной стратегии его видимости...

Будапешт, июнь 1997 года

Опубликовано 15 декабря 1997 года

Примечания

1 Последними крупными работами Фрейда стали «*Civilization and Its Discontents*», опубликованная в 1930 году, и «*Moses and Monotheism*», вышедшая в свет в 1939-м, за год до смерти Фрейда.

2 Слово «*истерия*» происходит от греческого «*hysteria*» — «матка» — и отражает широко распространенное в то время мнение, что истерия как заболевание есть результат дисфункции женских гениталий. Платон в «Тимее» выразил его наиболее полно: «...у женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри их зверь, исполненный детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не да-

ет женщине вздохнуть, доводя ее до полнейшей крайности и всевозможных недуг...» [6, с. 498-499].

3 Под *идентичностью* здесь и далее будет пониматься набор (символических) средств самовыражения, с помощью которых индивид определяет свое отношение к таким социальным категориям, как, например, «пол», «национальность», «возраст», «класс» и т.д. В рамках данной статьи *половая идентичность* будет трактоваться как относительно самостоятельный элемент, аналитически и практически отличимый от таких сходных, но не совпадающих с ним понятий и явлений, как *биологический пол* и/или *половые практики*.

4 См., например, [8], [9], [10], [11].

5 Для анализа взяты номера «Медведя» за 1996 год.

6 Пьер Бурдьё определяет *стили жизни* как «различные системы собственности, в которых находят свое выражение различные системы предрасположенностей (*dispositions*)» [12, с. 261].

7 Как указывает энциклопедия Британника, слово «символ» происходит от греческого «*symbolon*», которое изначально обозначало жетон, составленный из частей, принадлежащих участникам договора или сделки. Части жетона, составляющие вместе целое, таким образом удостоверяли подлинность сделки или подтверждали идентичность владельцев [14].

8 Под *смещением* Фрейд обычно понимает такую трансформацию содержания сна, опыта или конкретного события, при котором оно — содержание — приобретает иной смысловой центр [19, с. 155-157].

9 В своих работах по толкованию сновидений Фрейд описывает прием *сгущения*, или метафоризации, как процесс формирования мыслительной или фантазматической ситуации, объединяющей идеи, детали, события, не имеющие между собой непосредственной, видимой связи [см., например, 19, с. 153-155].

10 Под *метонимией* понимается такой риторический прием, при котором название одного предмета используется для описания другого, при этом оба предмета находятся в состоянии пространственной (или временной) взаимосвязи. В современной Югославии, например, «новых богатых» нередко называют «пейджерами» или «мобильными» (от «мобильный телефон»), что является типичным использованием приема метонимии. В свою очередь, фраза «красно-коричневые опять рвутся к власти» демонстрирует принцип действия *метафоры* — то есть сравнения по аналогии, сопоставления объектов, чье сходство обусловлено скорее ассоциациями, чем «реальными» фактами, — «красно-коричневые», в конечном итоге, являются красными и коричневыми не более, чем кто-либо другой (подробнее об этом говорится, например, в [20, с. 589-591]). В качестве одного из примеров разработки подобной идеи у Лакана см. [21]. К уже существующей схеме Лакан добавил временной компонент, акцентировав внимание на *синхронном*, одновременном, режиме суще-

ствования метафоры и *диахронном*, то есть последовательном, режиме метонимии. Другими словами, метафора выступает как явление («человек — это зверь»), в то время как метонимия — как напоминание, след явления («оскал империализма»).

11 Подробно об этом стереотипе см. [22, с. 696–737].

12 Среди тех, кому *вещи впору*, можно найти представителей самых разных профессий и социальных групп: от скульпторов до мясников, от безработных боксеров до продюсеров телекомпаний.

13 Разумеется, в «Медведе» делаются определенные попытки «стабилизировать» передачу статусного положения. По крайней мере, на уровне идеологических фантазий. Концепция генетически обусловленного элитизма — одна из них. Приведу пример. Один из авторов «Медведя» пишет: *«Если физический тип, сила, темперамент, здоровье, а также толщина губ, длина носа, ширина лба, разрез глаз, величина ушей, полнота, рост, плодовитость, долголетие определяются генами... то наследование морали, духовности, умственных способностей и интеллекта зависит только от родителей. Обладая природным умом и высоким уровнем эмоциональности, вы имеете больше шансов на то, что у вас родится такой же мыслящий и способный ребенок... Невежество, как правило, производит лишь невежество»* («Медведь», № 14, с. 146).

14 То есть синхронным соотношением представления о себе-каков-я-есть с представлением о себе-каким-бы-я-мог-быть.

15 То есть диахронным соотношением представления о себе-каким-я-был с представлением о себе-каким-я-стал.

16 Поэт так описывает характер взаимоотношений между Нарциссом и его отражением:

*Что увидал — не поймет, но к тому, что увидел, пылает;
Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку.
О легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегущий?
Жаждешь того, чего нет; отвернись — и любимое сгинет.
Тень, которую зришь, — отраженный лишь образ, и только.
В ней — ничего своего; с тобою пришла, пребывает,
Вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен.
Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут
С места его оторвать: на густой мураве распростершись,
Взором несатым смотреть продолжает на лживый он образ... [26, с. 92].*

17 Лакан увязывает «зеркальную стадию» с возрастом от шести до восемнадцати месяцев [28, с. 1–2], [1, с. 36].

18 Основываясь на работах Ж. Лакана, М. Мерло-Понти и Г. Валлона, Элизабет Гроз в своей книге дает подробный анализ динамики формирования *взгляда со стороны* в младенчестве [1, с. 36–39].

19 Весьма любопытна роль зеркала в появлении и развитии такого жанра живописи, как автопортрет. Рейнхард Штайнер, например, отводит ему основное место в «инструментализации» процесса поиска личной идентичности, достигшего своего пика в период Возрождения. Намного опередив Лакана, А. Дюрер сопроводил автопортрет 1484 года такими словами: «Сходство достигнуто благодаря зеркалу» [30, с. 7].

20 Любопытно, что подобный же механизм был использован и так называемыми «новыми русскими» в начальный период их формирования. Цветовая агрессия «малиновых пиджаков» рассчитана именно на зрительную/зрительскую реакцию. Идентификация в данном случае идет через *образ* группы, а не через ее функцию.

21 См., например, работу Роджера Хоррока, в которой он пытается сформулировать концепцию кризиса мужественности, базируясь не столько на парадигме «заката культуры», сколько на результатах собственной психоаналитической практики [33].

22 Показательно, что война в Чечне, несмотря на все попытки, не привела к формированию традиционного образа *мужчины-на-войне*. Вполне отражая процессы бюрократизации общественного устройства, неизбежно порождаемые в том числе и концепцией «власти экспертов», чеченская война в «Медведе» подается как плохо, *непрофессионально* организованная военная кампания. О роли армии в этой войне комендант российских войск в Чечне, например, сказал так: «Армия, внутренние войска, органы внутренних дел никогда не занимаются чем-либо по своему желанию или по своей воле. Они выполняют приказы» («Медведь», № 14, с. 53). Словно подтверждая вывод Коннелла о борьбе двух типов мужественности, комендант не оставляет никаких сомнений в том, какая из них одержала верх: «...больно и обидно за армию, больно и обидно за людей, за ребят, которые погибают неизвестно во имя чего» («Медведь», № 14, с. 54). Показательно и, видимо, вполне закономерно, что упадок «авторитета» армейской мужественности совпал с ростом социальной значимости и социальной «очевидности» таких прежде незаметных категорий, как службы «секьюрити» и телохранители. Однако, как и в случае с «вещами впору» и «фраком», тенденция, похоже, остается той же — героизм «защитника» сменился профессионализмом «охранника».

23 Выход в свет в начале 1950-х годов «Плейбоя» стал своего рода пограничным знаком, отметившим рождение новой тенденции.

24 Предметы, о которых шла речь выше, описываются, естественно, в разделе «Игрушки». Одним из относительно постоянных видов подобных «игрушек» является различное оружие.

Использованная литература:

1. Grosz, E. Jacques Lacan: A Feminist Introduction. London: Routledge, 1990.
2. Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin Books, 1990.
3. Jones, E. The Life and Work of Sigmund Freud, 3 vols. (1953-1957). Vol. 2. London: The Hogarth Press.
4. Freud, S. «Femininity» // Freud on Women: a Reader. Ed. by E. Young-Bruchil. New York: W. W. Norton & Company, 1990.
5. Freud, S. «The Neuroses of Defence»; «The Aetiology of Hysteria» // The Freud Reader. Ed. by P. Gay. Vintage: London, 1995.
6. Платон. «Тимей» // Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 3. Общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. — М.: Мысль, 1994.
7. Althusser, L. «Ideology and Ideological State Apparatuses (notes towards an investigation)» // L. Althusser. Lenin and Philosophy and Other Essays. New York and London: Monthly Review Press, 1971.
8. Peirce, K. «A Feminist Theoretical Perspective on the Socialization of Teenage Girls through 'Seventeen' Magazine» // Sex Roles, 1990, vol. 23, № 9/1.
9. Hermes, J. Reading Women's Magazines: An Analysis of Everyday Media Use. Cambridge: Polity Press, 1995.
10. Seneca, T. The History of Women's Magazines: Magazines as Virtual Communities.
11. Barthel, D. «A Gentleman and a Consumer» // Signs of Life in the USA: Readings in Popular Culture for Writers. Ed. by S. Maasick, J. Solomon. Boston: Bedford Books, 1994.
12. Bourdieu, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge, 1992.
13. Klein, M. «The Importance of Symbol Formation in the Development of the Ego» // Klein, M. The Selected. Ed. by J. Mitchell. London: Penguin Books, 1991.
14. Britannika-Online.
15. Weber, S. Return to Freud: Jacques Lacan's Dislocation of Psychoanalysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
16. Dyer, R. The Matter of Images: Essays on Representations. London and New York: Routledge, 1993.
17. De Lauretis, T. Technologies of Gender: Theories of Representation and Difference. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
18. Althusser, L. «Freud and Lacan» // Althusser, L. Lenin and Philosophy and Other Essays. New York and London: Monthly Review Press, 1971.

19. Freud, S. «On Dreams» // *The Freud Reader*. Ed. by P. Gay. London: Vintage, 1995.
20. *Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms*. Ed. by I. Makaryk. Toronto: University of Toronto, 1995.
21. Lacan, J. «The Subversion of the Subject and the Dialectic of Desire in the Freudian Unconscious» // Lacan, J. *Écrits. A Selection*. New York: W.W. Norton & Company, 1977.
22. Bordo, S. «Reading the Male Body» // *The Male Body*, special issue of the *Michigan Quarterly Review*, 1993, vol. 32, № 4.
23. Connell, R. *Masculinities*. Berkeley: University California Press, 1995.
24. Freud, S. «The Libido Theory and Narcissism» // Freud, S. *Introductory Lectures on Psychoanalysis*. New York and London: W.W. Norton & Company, 1966.
25. Klein, M. «Notes on Some Schizoid Mechanisms» // Klein, M. *The Selected*. Ed. by J. Mitchell. London: Penguin Books, 1991.
26. Овидий. *Метаморфозы*. — М.: Художественная литература, 1977.
27. Freud, S. «On Narcissism: An Introduction» // *The Freud Reader*. Ed. by P. Gay. Vintage: London, 1995.
28. Lacan, J. «The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience» // Lacan, J. *Écrits. A Selection*. New York and London: W.W. Norton & Company, 1977.
29. Kuhler, W. *The Mentality of Apes*. London: Routledge, 1951.
30. Steiner, R. *Egon Schiele. 1890-1918. The Midnight Soul of the Artist*. Köln: Benedict Taschen, 1993.
31. Frosh, S. *Sexual Difference: Masculinity and Psychoanalysis*. London: Routledge, 1994.
32. Richards, B. «Masculinity, Identification and Political Culture» // *Men, Masculinities and Social Theory*. Ed. by J. Hearn, D. Morgan. London: Unwin Hyman, 1990.
33. Horrocks, R. *Masculinity in Crisis: Myths, Fantasies and Realities*. London: St. Martin Press, 1994.
34. Silverman, K. «Ideology and Masculinity» // *K. Silverman Male Subjectivity at the Margins*. London: Routledge, 1992.
35. Cohen, J.J. *Medieval Masculinities: Heroism, Sanctity and Gender*.
36. Kestner, J. *Masculinities in Victorian Paintings*. London: Scholar Press, 1995.
37. Grunberg, B. *New Essays on Narcissism*. London: Free Association Book, 1989.
38. Chow, R. «Male Narcissism and National Culture: Subjectivity in Chen Kaige's *King of the Children*» // *Male Trouble*. Ed. by C. Penley, S. Willis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

39. Chapman, R. «The Great Pretender: Variations on the New Man Theme» // *Male Order: Unwrapping Masculinity*. Ed. by R. Chapman, J. Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1988.

40. Klein, M. «The Psychological Principles of Infant Analysis» // Klein, M. *The Selected*. Ed. by J. Mitchell. London: Penguin Books, 1991.

41. Mitchell, J. «Introduction» // Klein, M. *The Selected*. Ed. by J. Mitchell. London: Penguin Books, 1991.

42. Klein, M. «The Psycho-analytic Play Technique: its History and Significance» // Klein, M. *The Selected*. Ed. by J. Mitchell. London: Penguin Books, 1991.

43. Easthope, A. *What a Man's Gotta Do: The Masculine Myth in Popular Culture*. London: Palladin, 1986.

ПЕРСОНЫ

АНДРЕЙ НОВИКОВ

Облако в штанах

Владимир Жириновский: конец карьеры?

Сейчас, когда звезда его стала закатываться, он привлекает особенное внимание. Не поняв феномен Жириновского, вряд ли можно понять законы публичной политики 90-х.

Я убежден в том, что историки наше время будут измерять не фигурами Ельцина или Лебеда (ибо при всей своей первостепенности фигуры эти *суммарны* и потому вторичны), а только одним бесом — *Жириновским*, его стилем воздействия на российскую политику. Фигура сверхмаргинальная, игровая и заведомо *ложная*, Жириновский был в то же время самой рафинированной и самой прозрачной персоналией в политическом процессе конца века.

Как время измеряется в квантах, так нашу эпоху следует измерять в Жириновском. Он был везде, как Фигаро, но не оставил после себя почти ничего. Он — облако в штанах, политик-фантом, заряженный электродами тех, кто на него смотрел.

Дудочка

В 93-м он грянул как гром среди ясного неба, как воплощение нашего бессознательного, как зловещая мутация послеоктябрьского режима, как карикатура, которую осточертевший ото всего избиратель нарисовал на избирательном бюллетене. Универсальная карикатура на всех сразу. На Ельцина, разгромившего парламент, и на Руцкого, обороняв-

шего этот парламент. На Зюганова и на Гайдара, на всех правых и неправых в той октябрьской войне.

Он стал тогда нашим первым национальным примирением. И ложь того примирения, того безумного политического синтеза вполне соответствовала лжи псевдогражданской бойни, совершенной в октябре. Каждая оргия стоит своего похмелья. Схлестнулись две силы, а победил он, Жириновский. Не как «третья сила», скорее как «пятый угол», появившийся на глазах у ошалевшей России. Он, Жириновский, стал вестником какой-то новой эпохи, в которую соскользнула Россия. Своими предвыборными сникерсами и тампаксами он зачал новую расу политиков.

Что-то определенно случилось после того, как Ельцин долбанул по парламенту. словно бы там, внутри, произошла какая-то загадочная реакция, повысилась радиоактивность, и мгновение спустя из Белого дома цепочкой вышли гигантские крысы-мутанты. С красными глазами, с поднятыми кверху лапками, под волшебную дудочку Президента они шли в Думу. И впереди всех шел он, Главный Крыс — Владимир Жириновский.

Так произошла грандиозная мутация нашего политического самосознания. Мы вступили в эпоху сникерсов, тампаксов и последних походов на Юг. Первый бред постдемократической России, первый вопль сумасшедшего, которым огласился декабрьский телеэфир 93-го. Так это было, с этого все начиналось.

Батя Махно русской демократии

Объяснить его успех невозможно. Для этого пришлось бы объяснить слишком многое в России. Принято считать, что этот успех был временным явлением, что, голосуя за Жириновского, россияне голосовали «против», что Жириновский был фантазмагорическим протестом общества против власти.

Данная точка зрения, мягко говоря, ничего не объясняет. Я подозреваю, что голосовали «за», но за что именно — в этом, пожалуй, стоит разобраться. Он назвал свою партию *либерально-демократической*, хотя к идеям либерализма он имеет такое же отношение, какое, наверное, Нестор Иванович Махно имел к идеям Карла Маркса.

Строго говоря, Жириновский — это вообще не идея, это *коэффициент* русского отношения к любым идеям. Страна, русифицировавшая когда-то идею коммунизма и превратившая его сначала в анархию батяки Махно, а затем и в систему государственного террора Ленина-Сталина, — эта *страна* точно так же должна была переиграть, транс-

формировать, превратить в бред и идею либеральной демократии. Жириновский — это человек, вывернувший русскую демократию наизнанку. Надевший этот костюм на себя и заставивший гоготать всю Россию. Над кем? Над собой.

Он — батька Махно демократии, анархический вариант либеральной модернизации. Но, строго говоря, дело не в батьках махно. Батьки махно приходят и уходят, а сталины остаются. И больше того: может быть, по этим батькам махно можно выстроить портрет будущего «демократического Сталина». Вот почему я утверждаю, что, голосуя за Жириновского в 93-м, Россия голосовала все-таки «за». Голосуя за него, мы голосовали и за *будущих политиков* — Лебеда, Зюганова, «нового Ельцина» — и кого там еще? За всех них. Это была *векторная фигура*. В нем не было цели. Но было честное, интуитивно выбранное *направление движения*.

Его электорат

Но боже мой! Кто же за него вообще мог голосовать? Тем более в таких масштабах?.. Необъяснимо, но у Жириновского была своя безумная социология. Он не был политической галлюцинацией. Успех его объясняли по-всякому: связями с КГБ, маргинальным электоратом, стечением обстоятельств. Но чем больше объясняли, тем меньше понимали. Если Жириновский действительно был агентом КГБ, то следует признать, что он — самое большое достижение этой организации за 70 лет.

И если за него голосовали «маргиналы» (и почему в таких количествах!), то дело здесь, очевидно, вовсе не в маргиналах — дело в маргинальном обществе. Ибо в обществе, сброшенном на обочину, именно маргиналы оказываются почему-то немаргиналами. Феномен Жириновского объяснить с точки зрения социологии невозможно. Жириновский — компетенция вообще не социологии, а скорее социальной психологии, или, еще точнее, *социальной психиатрии*. Тем не менее, я попробую дать одну из версий.

Жириновский был уникальным явлением *псевдоморфоза*, произошедшего в политическом спектре России. В отличие от других, он не создал никакой программы. Он сделал свой успех исключительно на компиляции того, что уже существовало до него. Обыгрывая чужие идеи, он сумел привлечь «остатки» почти всех электоральных групп, делая из них «окрошку» масс-политики.

За него проголосовали те, кто раньше голосовал за демократов, — ибо он стал гениальной пародией на демократию. За него голосовала провинция, увидевшая в Жириновском ментальную альтернативу

Москве. В сущности, Жириновский был первым выразителем *провинциального сознания*, он был как бы калькой, которую провинция содрала с московских идеологий, перемешав красное с белым, либерализм с национализмом. (Никто из политиков, кроме разве что Лебеда, не сумел повторить «эффект Жириновского».)

Вообще, Жириновский был явлением скорее русского *бессознательного* (в том числе — бессознательной провинции), чем фактором какой-либо из идеологических доминант. В сущности, он сделал то, что обыватель делал ежедневно, включая телевизор: напичкал свою голову фразами всех, начиная с Гайдара и кончая Руцким, и сделал из них кашу, выдал все это вабанк. Когда говорят, что Жириновского *сделало* ТВ, это отражает лишь техническую сторону его успеха. Я думаю, что он *сам* в некотором смысле был ТВ. Функция его как ТВ была очень медитативной. Как и телевидение, он проецировал на массовое сознание идеологические доминанты.

За него проголосовали и те, кто голосовал за националистов, — ибо его бредовые походы на юг (странным образом, правда, сочетавшиеся с очень прагматичными идеями по выселению кавказцев) стали пародией и на русских националистов. Не национализм Руцкого, Зюганова, а национализм Жириновского оказался самой точной психологической версией России. Единственная часть электората, которая за него не голосовала *никогда*, — разве что коммунисты. Им он был чужд с самого начала. Но с демократией такая «некоммунистичность» Жириновского сыграла плохую шутку. **Он, Жириновский, в какой-то момент стал главной антикоммунистической идеей в российской политике.** Собственно, именно с него начала работать парадигма «ни коммунисты, ни демократы», воплотившаяся окончательно в феномене Лебеда.

Обезьяна Сталина

Говоря высокопарным языком, Жириновский был *политической универсалией*, соединившей в своем имидже игровые сюжеты всех типов российского политического самосознания: националистов, демократов, маргиналов, даже остатки коммунистов. Для избирателя он стал как бы Ельциным и Зюгановым в одном лице, усредненным выражением всех партийных программ. «Суммарный» электорат Жириновского складывался из «помоев» всех аутентичных электоратов. За него проголосовали и те, кто *тяготел* к демократическому или националистическому политическому самосознанию, но никогда — те, кто *сознательно* ориентировался на Гайдара или Зюганова. В этом смысле я бы *сказал*, что Жириновский расколот политический спектр России «изнутри»: оставив каждому электоральному типу по стабильному «ядру», он сумел «содрать» со всех

них их «внешнюю оболочку». Поистине он слеплен *из грязи*, но ведь как слеплен! С какой филигранностью! Слово не грязь это, а белая глина!

Ах, если бы знали, из какого сора произрастают иногда цветы в политике! В этом, на мой взгляд, заключалась главная причина его ошеломительного успеха. Он был единственным политиком, понявшим, что главное в выборах — не идеология, а *имидж*. Искусство не программы, но *компиляции*. Не архетип, а *псевдоним*. Не идея, но *фраза*. Все, что могло быть создано в российской политике, уже создано. Не нужно ничего изобретать, задача заключается в том, чтобы «снять пенки».

Да, его не случайно назвали политиком-постмодернистом. Он ничего не создавал, он лишь гениально играл фрагментами идеологий, созданных другими. Но я бы еще добавил, что всякий фундаментальный постмодернизм тяготеет к стилю «ретро» или, если угодно, к идее консервативной революции. Начав с развязного нэпманского галстука, он скоро надел сталинский френч. Конечно, в этом френче он был, словно обезьяна в галифе, но серьезности его физиономии при этом мог позабавлять сам Сталин. Собственно, он и был обезьяной Сталина. Дьяволом самого дьявола.

Я всегда считал, что у Жириновского вообще не было своего электората. Его феномен — это феномен «пылевого облака». Облака в штанах. Облако это висело над Россией три года. Принимая то одну, то другую форму. Наблюдавшие Жириновского не могли не заметить его необычайную переменчивость. Он принимал очертания то Ельцина, то Зюганова. Из составлявших его клубов пара появлялись то контуры кремлевских башен, то Лобного места, то Юсуповского дворца.

Созданный из помоев, из грязи и пошлости, не имея устойчивой структуры, он обладал немислимыми способностями перевоплощения. Подобно всякому облаку, он целиком зависел от воздушных потоков, его формировавших. Он был поистине *Ничто* русской демократии. В нем Россия видела то, что не находила в других политиках. Этим объясняется его иррациональный успех: он, строго говоря, не был альтернативой Ельцину или Зюганову, он был *дополнением*, их карикатурой.

Феномен Жириновского — это феномен политического Соляриса. Он был материализацией бессознательной России. Россия увидела в нем то, в чем не признавалась себе. Она хохотала над его эскападами. Но это был нехороший смех.

Черт из президентской табакерки

Другим гениальным компилятором в этом смысле можно назвать разве что... самого Ельцина. Как ни странно, Ельцин работал по той же

самой методе, опираясь как бы на всех сразу и ни на кого конкретно, так же создавая для себя «универсальный электорат», который измерялся не партийными и идеологическими пристрастиями, а степенью *прагматичности*. Правда, у Ельцина был несколько иной «рабочий материал» — властные и номенклатурные энергии. В отличие от Жириновского, Ельцин не был столь артистичен, столь виртуален, но методологически они настолько похожи, что про Жириновского можно сказать: он — *черт из президентской табакерки*. Он все время стоял за президентом и повторял каждый его жест. Но Ельцин часто повторял слова своего беса. Они были едины.

Для Кремля Жириновский стал тем же, чем, например, Анпилов для коммунистов: *бесом*, которого время от времени вытаскивали на митинги, а потом прятали обратно. Правда, в отличие от Анпилова, Жиринка из табакерки вытрясли, а обратно загнать так и не смогли... Ни в 91-м, ни тем более в 96-м Жириновский, конечно, не рассчитывал на президентство. Но если бы в политике существовал пост «виртуального президента», лучшей кандидатуры не было бы. Он гонялся по листу кремлевской политики, как головка матричного принтера, то вправо, то влево, с ошалелым безумием. Порой казалось, в его действиях нет никакой логики. Но когда эта головка замирала, мы видели вполне связную политическую доктрину. Извлекая из общества безумную по величине социальную энергию, он был обречен стать временным ее трансформатором, прогнать ее через себя и передать туда, навверх, дальше...

В одной из своих статей я писал об «эффекте замещения» применительно к Жириновскому (том самом эффекте, который впоследствии лег и в основу политической карьеры А. Лебеда). Данный эффект замещения строится путем *создания* фигуры, которая оттягивает голоса у оппозиции и как бы передает их власти. Вам показывают сначала круг, потом квадрат, потом опять круг. Потом квадрат убирается, и вы бессознательно дорисовываете у круга «углы». Жириновский и был вот этим мелькающим изображением, *наводной картинкой*, стирая которую, избиратель неизменно обнаруживал изображение все того же Ельцина. Во всех избирательных кампаниях 93-96-го годов Жириновский сыграл роль подставной фигуры. Голосовавшие за него искали в темной комнате кремлевской власти ту самую черную кошку, которой в ней не было. Но эта кошка (кот) иногда говорила «мяу!» и, говорят, даже ловила мышей.

Он уходит. Кто следующий?

На президентских выборах 91-го он был третьим. В 96-м он стал пятым. Звезда его стала закатываться. Из «третьей силы» он, кажется, в букваль-

ном смысле превратился в «пятый угол». Кажется, он и сам это понял после поражения на июньских выборах. Я помню, как он тогда исчез недели на две, а потом появился злой и несчастный, как черт. Общество отвернулось от него. Уход его с политической авансцены невосполним. Копировать успех Жириновского, как показывает практика, дело безнадежное. Это продемонстрировал хотя бы Владимир Брынцалов — этот политический питекантроп новой формации, слепленный по образу и подобию Жириновского. Но Брынцалов оказался тупиковой ветвью политической эволюции. Питекантропам не дано двигаться с той же скоростью, что и *шимпанзе*.

Если у «облака в штанах» и есть невольные наследники, то я бы назвал, пожалуй, фигуру Лебеда. Как бы они ни были непохожи друг на друга, функционально между ними много общего. И Жириновский, и Лебедь возникли как бы на пересечении двух сил — власти и оппозиции. И тот, и другой стали результатом смыслового моделирования. И тот, и другой были вознесены к Олимпу в считанные минуты, став как бы результатом *экранирования* оппозиционных энергий во властных структурах. У них обоих — Лебеда и Жириновского — **интегративный электорат**. Оба они (каждый по-своему и в свое время) стали фигурами политического синтеза в России, неся в своих имиджах какие-то важные электрические заряды.

Но если Лебедь нашел для себя возможность осесть в региональном эшелоне практической власти, то Жириновского Россия отвергла. Все попытки выдвинуться на губернаторских выборах оказались для него безуспешными. Одновременно с этим состоялся его крупнейший разрыв с левой политической оппозицией, которая так и не смогла простить ему голосование по Степашину и срез правительства Примакова-Маслюкова. Провокаторская роль Жириновского стала очевидной для всех: и для коммунистов, и для демократов, и для власти тоже.

Пьеса, в которой он играл почти десятилетие, подходит к концу. Он уйдет вместе с породившим его режимом. Табакерка захлопнется. О нем забудут, как о дурном сне. Но тень его — воландовского кота Бегемота — еще долго будет носиться в стенах Государственной Думы, и чей-то колокольчик будет звенеть: **«Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то милицию позову!»**

17 августа 1999 года

ЕВГЕНИЙ МАЙЗЕЛЬ

Березовский: мифологический портрет в интерьере

В этой статье мы рассмотрим одного из самых легендарных российских политиков последних лет — полумифическую и многоликую личность господина Б.А. Березовского. И хотя в русском политическом пейзаже Береза — дерево заметное, мы намерены предельно дистанцироваться от политических, идеологических или этических оценок его роли. Нас не заботят ни политика, ни правда. Нас восхищает и волнует мифогенная насыщенность этого персонажа.

Публичный имидж:

Опустим как неуместные и тавтологические — применительно к деятелям такого ранга — обвинения в беспринципности и т.п. Сухой остаток, к которому сводятся практически все разговоры о Березовском, — это его всевластие, неуловимость и злейший авантюризм, причем за этими признаниями, как правило, ощутимы и восхищение, иногда бессознательное, и гораздо более прозрачная ненависть (она же — декларируемое презрение). Березовский — один из самых нелюбимых персонажей в России, да и в остальном мире тоже его любить некому и не за что. «Серый кардинал», «коварный ум», «Распутин наших дней», «бизнесмен-авантюрист» «сверхэнергичный еврейский шизофреник» — сколько мистики и плохо скрываемого уважения в этих определениях, данных самыми разными политиками РФ! Сей собирательный образ удивительно совпадает с тем, что о нем говорят или, чаще, *не* говорят его собственные СМИ. Очевидно, что демонизм Березов-

ского сформирован не без компетентной информационной поддержки самого Березовского. А периодические антиберезовские кампании, состоящие в основном из неразборчивого шельмования, даже усиливают, на наш взгляд, виртуальное (и реальное) влияние Бориса Абрамовича.

внешне похожий на еврея...

Внешне Березовский не просто еврей. Он супереврей, архетип, настоящий уникум. В его внешнем облике собрано воедино такое количество еврейских и квазиеврейских (фетишизируемых антисемитами) особенностей, что не удивляешься мистичности того «общественного врага», которого мы описывали выше. Березовскому свойственна характерно еврейская элегантность (посмотрите, как легка и пружиниста его походка). Его манера говорить — быстро, чуть путано и заикаясь — заставляет вспомнить давно забытый типаж местечкового (и, безусловно, мистического) еврея, который, согласно «народным» представлениям, всегда юлит, суется и торопится; еврея, которому есть что скрывать (христианские младенцы, замученные в ритуальных целях) и который страшится возмездия. К тому же он постоянно размышляет, кого бы еще развести на деньги. Березовский слегка косит, то есть «смотрит» одновременно в разные стороны и никогда в одну. Бывает неловко с косящим человеком, потому что требуется время, чтобы поймать его «настоящий» взгляд. Нос Березовского, как и положено еврею, вытянутой формы и, судя по всему, наделен сверхчеловеческим обонянием. Раннее облысение и фиолетовые щеки — показатели гормональной активности, некоторые результаты которой мы осветим чуть позже.

умный...

Помимо негативно окрашенных мифов, связанных в обыденном сознании с евреями, Березовский успешно репрезентирует и мифы более нейтральные, евреям лестные, в частности, фигуру еврея как «самого умного». Напомним, что Борис Абрамович — доктор физико-математических наук, с 1991 года — член-корреспондент Российской Академии наук, член Международного научного общества по теории принятия решений. Этим человеком написано свыше 100 научных работ и ряд монографий. Послушайте, какие злодейские заголовки — в контексте нашего знания об авторе: «Бинарные отношения в многокритериальной оптимизации» (М., 1981), «Задача наилучшего выбора» (М., 1984), «Многокритериальная оптимизация — математические аспекты» (М., 1989). Некоторые его труды опубликованы в США, Англии, Японии, Германии и Франции.

ПЛОДОВИТЫЙ...

Еще одна примечательная черта — не свойственное большинству ученых жизнелюбие Бориса Абрамовича. Одной из претензий христиан к иудаизму (а все «еврейские мифы» и «еврей» как таковой — продукты «народно-христианского» творчества) является неприятие вульгарно экстраполируемых из Ветхого Завета «исторического оптимизма», интенции «построения Царства Божия на Земле» и т.п. В отличие от благочестивого иудея, благочестивый христианин не забывает о Распятии, столь же нескончаемом, как Воскресение. Березовский очаровательно жизнелюбив, о чем свидетельствует наличие пятерых детей: какое уж тут распятие! Заодно блестяще проиллюстрирован миф о половой активности и похотливости евреев (один из комплексов христиан) и — пожалуй, даже не миф — о живучести древней крови.

БОГАТЫЙ...

Как обойти молчанием знаменитое финансовое могущество Березовского? В 1997 году журнал «Forbes» (тот самый, на который ссылался цифровой Радуев, беседуя с цифровым Березовским, в романе Пелевина «Generation П») включил нашего героя в «Топ-100» богатейших людей планеты. По сведениям журнала, состояние Березовского оценивается примерно в 3 млрд. долларов. Всем известно, что заработано это богатство *«не капиталистическим путем, а благодаря власти бюрократов, которые подписывали нужные документы»* (А. Пионтковский, МЦСИ). Впрочем, это относится ко всем олигархам РФ...

ФИЛАНТРОПИЧНЫЙ...

В постсоветском обществе меценатство воспринимается сродни замалчиванию грехов и вызывает не только иждивенческую радость, но и бесчисленные подозрения. Наш нищий — самый гордый нищий в мире. К тому же, он как будто бешеный, потому что норовит укусить даже ту руку, которая его подкармливает. То, что Сорос — биржевой «торгаш», лучше всего известно именно в России: на Западе это волнует гораздо меньшее количество людей. Слово подыгрывая своей репутации настоящего, сакрального злодея, Березовский — этот шустрый Виланд современной политики — весьма активный спонсор и меценат. По данным газеты «Век» (от 15.09.95), Березовский стал первым в России бизнесменом, вложившим деньги в фундаментальную науку, выделив 1,5 млн. долларов на зарубежные поездки российских ученых для участия в международных конференциях («Logovaz Travel Grant»). В

1996 году Березовский спонсировал фестиваль российского искусства в Париже «Триумф». Кроме того, Березовский — основатель Международного научного фонда, ежегодно присуждающего крупные денежные премии деятелям культуры.

Преуспел Березовский и в душеспасительных делах — правда, сомнительного оттенка. Находясь в должности исполнительного секретаря Совета безопасности РФ (29.10.96 — 05.11.97), он помог десяткам российских граждан вернуться из чеченского плена, в частности — *выкупил* немало пленных у руководителей чеченских боевых организаций, со многими из которых знаком лично. По его собственным недавним откровениям (которым есть основания верить), именно он способствовал освобождению съемочной группы корреспондента НТВ Елены Масюк — холдинг «Мост-Медиа» Владимира Гусинского заплатил за них террористам 2 млн. долларов.

...но совершенно неуловимый олигарх.

Известно, что еврей родственен черту. Одна из фирменных примочек рогатого — убедить в своем несуществовании. Березовскому это удастся регулярно. Обыгрывание виртуальной природы Бориса Абрамовича, часто практикуемое в арт-среде и в литературе (из наиболее известных проектов — упомянутый выше Пелевин), — из той же серии. Березовский выходил сухим из большинства скандалов, связанных с его именем. Число его гражданств вошло в поговорку: кроме российского и, кажется, белорусского, Березовский, если верить авторитетной английской газете «Post», имеет гражданство Израиля. Вероятно, в ближайшее время заговорят еще об одном гражданстве Березовского. В редакцию «Экспресса» попал сенсационный документ — гринкарт на имя Березовского. Этот документ является последней ступенью в процедуре получения гражданства США. Напрашивается тривиальный вывод, что все это комически-непристойное множество гражданств — символ метафизической неуловимости Бориса Абрамовича.

Немного эзотерики в мутной воде

Есть много знаков, по-своему объясняющих глубокое проникновение в русский политический пейзаж столь ярко выраженного еврея и человека, при всем своем стратегическом даре абсолютно нехаризматического. Например, его красивая холеная фамилия гениально симулирует и предопределяет близость русскому топосу, потому что русский пейзаж начинается с березы. При этом дело ограничивается именно близостью и взаимоприя-

жением, никакого растворения не происходит (сравните, например, с Березовчук или Подберезкиным). Его инициалы — БАБ — заставляют вспомнить интеллектуальные спекуляции Вейнингера и Розанова на тему женственности еврейской нации. А если, наконец, мы вспомним, что Борис Абрамович родился под зодиакальным знаком Водолея (23 января), нас вообще должен охватить священный трепет, ибо это эзотерический знак России. Между прочим, другой наш Борис — который Ельцин, он же полный антипод Березовского и воплощение многих чисто русских черт (модифицированных Уральским хребтом) — тоже Водолей. Одно из последних сообщений о Березовском — якобы подхваченный им при переливании крови гепатит. Не исключено, что в скором времени появится информация о циррозе печени и периодических запахах.

Отступление

Забавно, но в русском масскульте (а разве Березовский не герой именно этого клуба?) есть еще один еврей, тоже родившийся под знаком Водолея, но противоположный Березовскому во всем — за исключением равной известности. Березовский — самый нелюбимый еврей России, а тот, наверное, самый любимый (ее еврей). Я о Высоцком. Но это к слову.

Опять про евреев

В еврейях как культурном мифе главной особенностью является то, что они постоянно на что-то жалуются и претендуют. Евреи суть вечные претенденты, часто претенденты в претенденты. Инверсируя это определение, можно сказать, что претендент как таковой — это *еврей на то или иное место*. Слышанное-переслышанное насчет тайной организованности и конъюнктуры — это, конечно, неправда: евреи действуют везде. Некоторые юдофилы всерьез утверждают, что не существует на свете движения, в активистах которого нет хотя бы одного полуеврея. Даже в Гитлере был процент еврейской крови, а в настоящее время таким «внезапным евреем» является, должно быть, Далай-лама.

Случай Березовского, то есть самого «не-внезапного еврея», — блестящая иллюстрация актуализировавшихся мифов, мифологии в действии. Реакция на Другого (каким в мире, без сомнения, является Еврей, даже в собственных глазах) — вся эта органическая масса из слухов, комплексов и прочего — нашла в Борисе Абрамовиче Березовском наивысшее свое выражение.

ВЯЧЕСЛАВ КУРИЦЫН

Солженицын после восьмидесяти

Когда ему исполнилось восемьдесят, общественность дружно склонила головы, зримо подтвердив то, что и так всем было ясно: мы его любим.

И ерническое НТВ, не отказывающее себе в удовольствии крутануть в тот или иной религиозный праздник тот или иной богохульственный фильм; и кичащийся аналитизмом «Ъ», любящий не мифы, а «мир-как-он-объективно-есть»; и истерично-патриотичные издания, не вполне довольные Солженицыным за то, что он не спешит авторизовать свой профиль на их знаменах, — все склонили головы, все сказали спасибо.

Отважнейшие из публицистов считали должным проявить независимость мышления — дескать, писатель он, конечно, не великий, зато гражданин великий, но эта смелость выглядела детским садом. Ясно, что и писатель он великий. Тем более, что он существует в системе, где великий гражданин и великий писатель — не синонимы даже, а атрибуты одной сущности. Порознь не ходят.

Торжественная его и трагическая его судьба: быть последним Великим Писателем Земли Русской. Он замыкает ряд, очередь, в которой жмутся немислимые титаны: кто? Ну не перечислять же в такой вот суете толстых и Достоевских. Именно Солженицыну выпала эта странная роль: позже всех уходить с корабля. Допустим, Бродского тоже называли последним великим поэтом, но тут ведь важны цифры: первый том собрания сочинений Бродского вышел тиражом в 50 тысяч, а четвертый — в 10 тысяч. Быстренько накушались. Допустим, я сам люблю культурологические спекуляции про Галковского, Пригова и Сороки-

на, которые, всяк по своему, играют в продолжение великого ряда, но, увы или ура, настоящему ВПЗРу полагается по штату народное признание. А Солженицына если и не читают внимательно (вопрос неясный — это я реагирую на тему, которая упорно звучала в юбилейных комментариях: дескать, классик толком не прочитан, не понят), то во всяком случае миллионы экземпляров его книг набраны, изданы, оплачены, приобретены — какие-то из этих миллионов даже раскрыты. И потом ни Бродскому, ни Сорокину, ни Галковскому, ни Пригову Лужков от своих системных щедрот поместья у кольцевой дороги не отписал. А Александру Исаевичу — просто счастлив был. Может, ходил еще на прием к нобелиату, умолял, чтобы тот принял подарок.

На фоне этого блестящего величия глупым контрастом выглядят какие-то факты, фактики, какие-то подробности его трения о российское социальное тело. Слишком многое — мимо кассы. Слишком много неуклюжества и суеты. Когда он высадился — один мужик, как целый десант, — во Владивостоке, чтобы ехать по железной дороге до Москвы, это было похоже не на триумфальный проход пророка (так и хочется добавить: через расступившиеся воды), а на Ильфа-Петрова, на агитационный автопробег, на синюю такую блузу. Комсомолец Кац во трет о политическом положении, Снегирев исполнит карточные фокусы и тут же их разоблачит, Тимашук с Петровой свалют гопака. К поезду выходили люди, которым не додали мыла и спичек по карточкам, и обращались к нему, как к столичному начальнику: дай, подсоби, подмогни, подтолкни колесо-то, эй! — а он буровил взором небеса и говорил о небесной России.

Потом он сидел по понедельникам в телевизоре и беседовал с заглядывающим в рот поэтом Кублановским о том, как отвратительны школьные учебники: в прайм-тайм первый канал получил две нудно говорящие головы, которые иногда вскрикивали к тому же, что с экрана следует изгнать грязный масскульт, и Эрнст с Березовским несколько месяцев пытались соотнести все это с политикой отдела кинопоказа и вообще с правилами, по которым играют в телевидение, ничего соотнести не смогли, плюнули и отлучили Солженицына от кнопки.

Еще он выпустил то ли четырнадцатимиллионным, то ли двадцатичетырехмиллионным тиражом (вы простите мне леность, нежелание проверять сумасшедшее число, но тут ведь как с состоянием Билла Гейтса: зело мало мне разницы, пять миллиардов или пятьдесят) брошюру «Как нам обустроить Россию». Сия прелестная геополитическая фантазия, рисующая райские кущи и стада тучных крав от Киева до Алма-Аты, была хороша всем, кроме неточного выбора адресата: широкий читатель как раз переходил от западного палпа к отечественно-

му, менял Чейза на Доценко. Верю — светлой памяти Ивана Денисовича и Матрены, к добродетелям которых, несомненно, относится хозяйская сметка, — что это был последний в истории моего народа столь бессмысленный извод такой прорвы бумаги: и здесь Солженицын замыкает ряд великих добровольно-принудительных глашатаев, интересно, нравится ли ему, что предыдущим был Брежнев с «Малой целиной» или как ее там...

Интересно, больно ли ему, что последний свод выстраданной публицистики — прошлогодняя книжка «Россия в обвале» — расходится в магазинах по капле в месяц, как очень разошедшееся неподъемное колесо, а критики пишут в газетах вроде как правду: прекрасный текст, в котором важен не смысл, а слог, напор, страсть... Критики нынче живут не по лжи: мог ли он подумать, что благодаря этому искомейшему обстоятельству им будет банально неинтересно, что он говорит?

Энергия антисистемности, бросающая других в петлю или там на иглу, породила в его счастливом случае гениальную прозу. Лучшие его книги — «Архипелаг ГУЛАГ» и «Бодался теленок с дубом» — написаны в жанре космогонических битв. В «Архипелаге» Система сражается с Народом: и битва сия настолько баснословна и недискурсивна, что ее можно... не исчерпать, не объяснить... Как-то с ней можно совладать с помощью постмодернистской классификации, эстетики перечня, уходящей в бесконечность энциклопедии фантастических случаев. В «Теленке» с Системой сражается Герой, такой Шварценеггер от букв, обладающий волшебной соломинкой, способной перетянуть наконец воз зла. Этот жанр подразумевает абсолютную чистоту-правоту героя, в роли врага которого выступает не только, предположим, Сулов, но и, допустим, Твардовский. Не правы все. И мы болеем за Солженицына так же, как болеем за героя Джека Лондона, встретившего в лесу голодного недоброго волка, как будем болеть за Андрия Шевченко, когда он пойдет бить пендаль в финале Лиги чемпионов.

Солженицын навязывает обществу крайне, так скажем, эксклюзивные правила игры. Он такой Юпитер, что ему дозволено все. Он это общество одновременно

- критикует во все щели (совок — за тоталитаризм; американцев — за то, что выбрасывают холодильники, тогда как следует их ремонтировать; новую Россию — за то, что она в обвале);
- использует на полную катушку (берет от него квартиры, награды, политические убежища, почести: и от совка брал, и от западников гнилых, и от нынешних вполне берет; от ордена Андрея Первозванного может отказаться любой пацан, попробовал бы он отказаться от имени!);

- посылает куда подальше открытым текстом (ах, сколь гадки желто-буро-голубые средства массовой информации, которые все перевертут вечно, спровоцируют на что-нибудь, моськи эдакие).

Поведение, прямо скажем... Не будем, то есть, прямо говорить. Потому что при всем вышеперечисленном мы его любим. Мы его любим, потому что он боролся за нужные вещи, потому что открывал глаза, потому что он клевый сочинитель, просто потому что он наш Солж и ни у кого больше нет такого классного Солжа.

Но мы его любим *не так*. Он хочет быть пророком, а мы его любим как дедушку или как девушку, или как Майкла Джексона с Ильей Лагутенко, как Микки-Мауса, наконец. Публичный человек обречен оставаться наедине со своей правотой: поскольку у всякого другого есть своя. Публичный человек должен смириться, что коли он навязывает свой монолог, то и ему навязут диалоги: в том числе такие, что мало никак не покажется. Вот я видел по телевизору — Хазанов читал репризу о том, как Солженицын жил на даче у Ростроповича, писал что-то длинное, запершись в комнате в ватнике и кушая тюрю лишь, дабы из образа не выходить, и — простите, уважаемые читатели — испражняясь в виолончель Ростроповича, кою он принял за парашу. Мерзейшее зрелище, а хохочущие в зале Ростропович и Вишневская, Лужков и Черномырдин — зрелище мерзейшее втройне, и я, человек слабо религиозный, чуть ли не Бога попросил, чтобы Солженицыну эта грязь никогда на глаза не попала, но... Но будь готов, пионер ты или пенсионер, что выходя со словом к людям, ты запросто получишь в ответ и много слов, и букетик белены, и мятных пряничков, и липких поцелуев, от которых тошнит, и от мертвого осла уши. А то сиди в избе и думай о судьбах России исключительно себе в голову.

Он победил, да. Не идеи его победили — такая чушь происходила только с идеями, что ли, Ленина, да и то, может, потому, что трупак щурится в мавзолее, — а он сам. Как физический, экономический и духовный субъект.

А победителей никто не слушает. Чего их слушать? Все с ними понятно. Им отдают все, что положено, а сами живут себе дальше свою непонятную жизнь.

28 января 1999 года

РЕВЕККА ФРУМКИНА

Реформатский сегодня

К 100-летию со дня рождения А.А. Реформатского

*«Там, за нигде, за его пределом
черным, бесцветным, возможно белым —
есть какая-то вещь, предмет.*

*Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.»*

И. Бродский.

В 1999 году ушел в лучший мир Илья Мусин, знаменитый ленинградский педагог, у которого учились Темирканов, Гергиев, Синайский и многие другие. Если верить прессе, он в свои девяносто пять был бодр и говорил, что молодежь не дает ему стареть. Мне захотелось вообразить, что мой учитель А.А. Реформатский не на пять лет старше Мусина, а примерно того же возраста, а значит, мог бы быть с нами сегодня. Тогда... Тогда он бы дождался свободы прессы, пережил 1991-й, 1993-й, смерть Шнитке и Бродского, уход Рихтера и Дорлиак, читал бы статьи своего внука Пети, увидел бы трех своих правнуков...

В первые годы нашего знакомства и, смею сказать, дружбы А.А. был уже пожилым человеком; хотя по возрасту он и годился мне в отцы (Маша, дочь А.А., немного меня моложе), он был вполне бодр и крепок. Он играл в теннис, охотился, не пропускал ни одного стоящего концерта в Консерватории, выписывал кучу газет, в том числе «64», потому что был любителем шахмат. Он знал и любил тогдашних молодых поэтов, выделяя Беллу Ахмадулину — для него Беллочку, чаровницу, соседку по даче в Красной Пахре. Он любил и знал русские церковные песнопения, которые в то время не исполнялись практически нигде. Оперу, а в особенности русскую оперную сцену, какой он ее застал в юности, он

знал профессионально. Моя студентка, которой еще нет и двадцати, прочитав мою книгу мемуаров «О нас — наискосок» (1997), где Реформатскому посвящен отдельный очерк, задала любопытный вопрос: «Что Реформатский и люди его круга (куда она включает и меня как его ученицу) говорили тогда (т.е. в 1958 году) о романе Пастернака «Доктор Живаго»?» Бесмысленность любых разъяснений тотчас мне стала очевидна: для моей собеседницы 1958 год так же ни к чему толком не привязан, как для меня — 1858-й.

В конце 50-х Реформатский не стал бы обсуждать со мной какой бы то ни было текст, вышедший в «тамиздате» или «самиздате». В особенности текст, имевший для него личный смысл. Он испытал достаточно, чтобы стараться уберечь от естественных безрассудств нас, своих «*sujets*» («подданных»), которые были не столь смелы, сколь неразумны или беспечны. Поэтому я, например, не знаю, как он относился к стихам Бродского — они уже были известны в списках. Или к песням Галича. Равно как и ко многому другому, что не обсуждалось, хотя часто подразумевалось. А ведь я знала Реформатского близко в течение двадцати лет. И тем не менее, многое, о чем будет сказано далее, пребывает в диапазоне от правдоподобных предположений до чистых фантазий.

Сама я сегодня десятью годами старше, чем был Реформатский, когда Игорь Мельчук меня ему представил. Это позволяет мне надеяться на снисходительность читателя. В конце концов, все мы имеем право на свой образ не только прошлого, но и будущего.

Реформатский и власти

Н.И. Ильина, жена А.А., которую он в разговорах с нами всегда называл «писательница», поносила советскую власть, что называется, «в Бога, душу и мать», чему я много раз была свидетелем, едуци с ней в машине (заезжая за А.А. в Институт, она нередко подвозила домой и меня — мы жили рядом). А.А. о властях вслух не высказывался никогда, хотя и без слов было ясно, где он эту власть видел. Отстраненность от всего, что исходит «сверху», окружала его, как невидимый кокон. Только совсем молодые люди могут воображать, что после 1953 года вдруг наступила свобода и исчез страх. Что могла в те годы сделать власть с самыми независимыми, блестящими и сильными духом людьми, хорошо видно из недавно вышедшего полного издания переписки Ю.Г. Оксмана с М.К. Азадовским. Кто-то из наших лучших критиков (из поколения «сорокалетних») в короткой рецензии восхитился тем, что после восьми лет Колымы Оксман все так же поглощен пушкинистикой, а травимый, больной и — в конце книги — уже умирающий Азадовский пишет ему о своих архивных находках.

Я представила себе А.А., читающего сегодня этот роскошно оформленный том. Он бы расслышал в книге другое: это прежде всего памятник эпохи, когда доверенные обычной почте письма могли быть лишь разговорами людей с заткнутыми ртами. А.А., я уверена, не просто знал Оксмана: он знал его близко. Сопровождавший детство и юность моих ровесников «серенький» Пушкин — девятитомник издательства «Academia» на тончайшей, так называемой «библейской» бумаге — был издан с комментариями и под редакцией Оксмана и Цявловского. А на последнем развороте первого тома непарелью набрано следующее: «Редактор Ю.Г. Оксман. <...> Литер.-технич. наблюд. А.А. Реформатский. <...> Сдано в набор 25/IX 1934 г.». То есть до убийства Кирова. До начала большого террора. Оксмана арестуют через два года, в 1936-м, прежде всего из-за связей с «Academia», которое возглавлял Каменев. Но ведь и А.А. не «с улицы» пришел наблюдать за печатанием одного из самых значительных с точки зрения государства изданий! Оно было приурочено к столетию со дня гибели Пушкина — к 1937 году...

Переписка Оксмана и Азадовского блистательно откомментирована сыном одного из корреспондентов, известным филологом Константином Азадовским. Я вижу А.А., читающего эти комментарии как мариолог, как обвинительный акт властям и одновременно бесценный источник сведений. Книга показывается всем «русским девкам» (бывшим и нынешним сотрудницам Института русского языка), да и нам, грешным и малообразованным, — в назидание и для дела. А.А. любил факты и ценил историографические разыскания. Может быть, сегодня он бы рассказал в подробностях, как вместе с Оксманом он «наблюдал» за печатанием первого тома...

Реформатский и телевидение

Поскольку при жизни А.А. у меня самой телевизора не было, то никаких разговоров с А.А. о телевидении я не помню. (У Наталии Иосифовны телевизор был — он был ей нужен профессионально, но я не знаю, когда он появился.) По натуре Реформатский был человеком, как мы бы сегодня выразились, включенным в социальную жизнь. Если от той социальной и, в частности, академической жизни, которая нас окружала в 60-70-е годы, он часто нарочито отгораживался, то потому, что ценил свою свободу, свое право быть частным лицом прежде всего. При этом А.А. сочетал в себе редкие качества: с одной стороны, по поводу значимых проблем и событий у него всегда было собственное мнение, нередко противоположное общепринятому; с другой стороны, он был любопытен ко всему новому и открыт для диалога. Неудивительно, что своим Учителем его считали не просто разновозрастные люди, но и те, кто учился у него не фонологии и даже вообще не лингвистике, а чему-то куда более масштабному.

Поэтому я хорошо представляю себе, как А.А. по телевизору следит за событиями первых лет перестройки. Изображение, конечно, черно-белое. Съезды, митинги, Сахаров, которому буквально затыкают рот, и вот уже его похороны — события, захватывающие массы людей. Наплывают воспоминания о событиях 1917 года, которые А.А. видел «изнутри», а не «общим планом». Звонит мне, чтобы я не пропустила стоящие вещи — оперные спектакли Ковент-Гардена, ретроспективу студии «Межрабпом-Русь». О нашей опере отзывается скептически. К Гергиеву относится двойственно. Из «балетных» сразу оценил Ульяну Лопаткину. Когда на экране появляется погруженный, с нетвердой походкой Ельцин, А.А. со словами «тьфу!» выключает «ящик» и на чем свет стоит ругает телевидение как пакостного соглядатая: бесчеловечно выставлять на всеобщее обозрение тяжелого сердечника с астматическим дыханием. Из ведущих А.А. симпатизирует Мише Пономареву. (Я тоже, и это совпадение оценок мне приятно.) Что касается Светланы Сорокиной, то по ее поводу А.А. весьма саркастически цитирует стихи молодого Симонова: *«Я люблю тебя всю, а твой ласковый голос отдельно»*.

Реформатский и современные пластические искусства

Лет десять-двенадцать назад мы с Машей Реформатской и ее мужем Глебом Поспеловым (для меня он Глеб, потому что мы учились на одном курсе в Московском университете) встретились на большой выставке в Манеже. Собственно, в Манеж мы пришли не ради выставки, а чтобы посмотреть фильм Пети Поспелова — сына Маши и Глеба (о Пете речь пойдет ниже). Растерянно оглядываясь по сторонам, я недоуменно искала в зале что-либо, что можно было бы считать картиной. И тут Глеб (специалист по русскому авангарду и в особенности, если я не ошибаюсь, по объединению «Бубновый валет») не без раздражения заметил: «Ты рассчитываешь найти здесь живопись?»

А.А. много лет дружил с известным графиком Орестом Верейским, а еще раньше — с А.Д. Древиним, уникального дара живописцем, сгнувшимся в 30-е годы. Вкус у Реформатского был, что называется, «здоровый». В концептуализме и прочих штуковинах он бы живопись искать не стал. Одобрил бы вкус Пети, который в свое время (году в 1978-м) сорвал все, какие смог, афиши выставки Ильи Глазунова. Про церетелиевские поделки А.А. несомненно написал (бы) дивные матерные стишки. Строки, посвященные главному церетелиевскому уроду, оказались (бы) настолько «не пур для дам», что он передал (бы) мне их через Машу в запечатанном (!) конверте.

Реформатский и музыка

У А.А. с музыкой были очень глубокие, личные отношения. О Спивакове он сказал бы, что тому очень к лицу играть на придворных балах и променадных концертах для избранной публики. Ростроповичу бы досталось за театральность и отход от строгой формы. Наталия Гутман с Элисо Вирсаладзе — вот где музыка, уступающая одной любви. Здесь А.А. много чего мог мне сказать, как говорил в конце 50-х о Нейгаузе и Софроницком. А Шнитке? Я не знаю, можно ли любить музыку Шнитке, а если да, то для этого чувства нужен иной орган, нежели для любви к Шопену и Бетховену. Но нельзя было не любить самого Альфреда Шнитке и, будучи его современником, нельзя не проникаться его прозрениями, его ощущением трагизма жизни. А.А. уважал мои пристрастия — сам же он оставался современником Прокофьева.

Реформатский и его внук Петя Поспелов

Получив консерваторское образование, Петя пробовал себя в кино (о чем выше) и, видимо, много в чем еще, но об этом я просто не знаю. Я помню Петю за роялем, мальчиком лет пятнадцати. При отсутствии сходства внешнего, я тогда подумала о молодом Пастернаке и тех его отношениях с музыкой, которые описаны в «Охранной грамоте». Теперь Петя — постоянный музыкальный критик газеты «Известия», которую я выписываю. Профессионально писать о музыке и событиях в мире музыки — оперных премьерах, фестивалях и концертах, и при этом не только оставаться общепонятным, но еще и найти верный тон — это случается не часто.

По-моему, Петя пишет виртуозно — не так легко детально критиковать самого NN за небрежное управление группой медных или высоко оценить еще мало кому известную дебютантку заведомо в пику известной оперной диве. О музыке ничего похожего в газете «для всех» мне читать не случалось. Поэтому, если в номере есть статья Пети, я оставляю ее «на закуску» и думаю, как читал бы тот же текст его дед.

А.А. было свойственно замечательное чувство стиля. Если в одном из любимых нами устных рассказов он говорил: «Тут я пишу записку Шапире» (имелся в виду известный русист А.Б. Шапиро), — то можно было быть заранее уверенным, что в этой записке он упоминал чисто бытовую ситуацию, но никак не научную (и действительно, в записке была просьба одолжить три рубля, о чем повествовалось дальше). Я представляю А.А., который пополняет вырезанными из «Известий» статьями Пети одну из многочисленных папок, где хранит газетные вырезки за десятки лет. А.А.

гордится не столько эрудицией и вкусом внука (это подразумевается), сколько его умением находить нужный тон и меру и для меду, и для яду.

Реформатский и мы

Реформатский и интеллигенты его поколения были сделаны из особого теста. Я думаю, что А.А. — при том, что он безусловно был человеком, социально включенным, — был не просто внутренне независим, но в некотором глубинном смысле еще и самодостаточен. При всей открытости и всегдашней заинтересованности делами своих учеников, в том числе делами личными, А.А. все-таки был скорее человеком монолога, а не диалога.

С одной стороны, собеседники ему были нужны, и мне кажется, что без круга учеников, куда входили люди от двадцати трех до шестидесяти, он бы скучал. Он любил поспорить и подковырнуть, вспоминал подходящие к делу случаи, советовал поискать там-то и прочесть того-то, любил ткнуть собеседника в пассаж в каком-нибудь «канонизированном» тексте и показать, что там концы с концами не сходятся — в общем, учил нас вполне перипатетически. С другой стороны, я, например, чувствовала, что независимо от темы беседы дверь к Реформатскому не распахнута настежь, а лишь приоткрыта, и что за этой дверью скрывается нечто вроде большого и сложно устроенного дома, на крыльце которого мы только что с удовольствием вместе с ним посидели. Но на крыльце. Такой дом нельзя было переустроить, его обитателя нельзя было заставить жить по навязанным извне законам — его можно было лишь уничтожить вместе с домом. А.А. повезло: дом, который называется «Реформатский», уцелел. Я думаю, что и сегодня в этом доме мало что изменилось (бы). Потрясения, постигшие русскую интеллигенцию в период после 1987 года (англичане назвали документальный фильм об этих временах «Вторая русская революция»), не могли вовсе обойти дом Реформатского. Но этот дом пострадал (бы) куда меньше, чем дома многих моих ровесников. Причины этого многообразны. Упомяну лишь некоторые.

А.А. остро ощущал свою связь со многими знаменитыми людьми, современником которых ему довелось быть. Пользуясь выражением Герцена, я сказала бы, что они были его «сопластниками» в совершенно прямом смысле слова. «Пласт» этот существовал как неустраимая духовная реальность. Настолько прочная, что физический уход многих и многих если и приводил к истончению пласта, то это было сугубо временным состоянием, ибо сам пласт был так весом и значителен, что его естественно было считать неуничтожимым. И действительно: вместе с Реформатским в его личном духовном пространстве жили все, кого он

читал, слушал, любил. Анна Андреевна Ахматова, с которой А.А. был знаком; живший за границей Роман Jakobson, с которым он был знаком с молодости; рано умерший лингвист А.М. Сухотин (именно ему мы обязаны первым русским переводом «Курса» Соссюра) и вернувшийся из небытия колымских лагерей друг детства А.А. «Колюша» Тимофеев-Ресовский (известный многим по роману Гранина «Зубр»)...

Все они могли уйти в лучший мир, но удивительным образом продолжали быть рядом с А.А. Конечно, смерть Рихтера была (бы) для А.А. личной утратой — как, впрочем, и для многих из нас. Смерть Шнитке тоже. А вот смена всего ландшафта, прежде составлявшего среду обитания интеллигенции, для Реформатского, безусловно, не была бы так болезненна, как для многих из нас, «шестидесятников».

Мы любили жить в «карасе» (словечко Воннегута), не представляя себя вне сложного переплетения дружб и обязательств. В 90-х начался тотальный распад прежних связей, уходы во власть и в бизнес. Доминантой стало «коммерческое» отношение к науке, когда человек, не организующий свою жизнь вокруг добывания долларовых грантов и стипендий, рискует прослыть «городским сумасшедшим». Произошла смена самого этоса, специфичного для нашей гуманитарной науки 60-80-х годов: поиск денег стал более насущен, нежели поиск истины. Когда знаковые для прежней эпохи фигуры постоянно живут в Вене, Риме, Мюнхене или Лос-Анджелесе, а новые лица сопоставимого масштаба, которые жили бы на Никитской или в Ясенево, не появились, то вакансия «хранителей огня» остается пуста. Молодежь студенческого возраста это уже почувствовала.

Реформатский при всей своей общительности был воплощением «самости» и независимости от любых «средовых» факторов. Его духовный мир пополнялся из недоступных нам источников — но не в том смысле, что мы не знали об их существовании. Дабы поддерживать в жизни ту высоту, которую Пастернак называл «свет повседневности», надо было уметь из этих источников черпать. Мы не очень-то умели — а иногда и не стремились...

А.А. любил вспоминать и рассказывал об ушедших не только необычайно вкусно, но кроме того — как-то беспечно. Сейчас я лучше его понимаю — все, что по молодости мы полагали «прошлым», было для А.А. его «всегдашним». Замечательный врач и философ Виктор Франкль, осмысливший свой опыт выживания в гитлеровских лагерях смерти, сказал о прошлом: *«Прошедшее — это тоже вид бытия, и, быть может, самый надежный»*.

ЕВГЕНИЙ ГОРНЫЙ
ИГОРЬ ПИЛЬЩИКОВ

Лотман в воспоминаниях современника

Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. — М.: Новое литературное обозрение, 1999. (Научное приложение. Вып. XIX). — 384 с. ISBN 5-86793-070-X.

«Остается, следовательно, взглянуть и на историю личной жизни как на особую структуру и произвести расчленение в той системе форм, которая конституирует ее как исторический предмет sui generis.»

Г.О. Винокур, «Биография и культура», 1927.

I

Вот уже несколько недель новое исследование Б.Ф. Егорова занимает ключевые позиции на рейтинг-листах, помещаемых в литературно-критической периодике. Впрочем, сам по себе этот факт мало о чем говорит: то, что подобная книга вызовет у публики живой интерес, можно было с уверенностью предсказать заранее. Читатель держит в руках первую биографию Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993), известного литературоведа-семиотика, чья популярность, резко возросшая в последние годы жизни ученого и умело поддерживаемая постоянными републикациями его трудов, не убывает и по сей день.

Конечно, в этой ситуации труд Егорова был просто обречен стать бестселлером, тем более что это, по скромной характеристике автора, — «самая обстоятельная» (с. 242) книга о Лотмане, написанная его бли-

жайшим другом, которому *«Ю.М. Лотман всегда доверял все [выделено автором — Е.Г., И.П.]: свои идеи, замыслы, душевные тайны»* (с. 5).

И действительно, даже те, кто неплохо знал Лотмана, найдут здесь множество любопытных фактов из его «личной истории». Но сообщаются они в основном не впервые: Егоров опирается на целый ряд источников — это первый «Лотмановский сборник» (М., 1995), воспоминания участников тартуских летних школ (впервые опубликованные в газете «Alma Mater», а затем трижды перепечатанные — в «НЛО» и в двух сборниках, посвященных московско-тартуской школе), «лотмановский» выпуск «Вышгорода» (Таллин, 1998, № 3), собственные мемуары Егорова (уже знакомые нам по прежним публикациям), письма Лотмана (изданные все тем же Егоровым), неопубликованные дневники Ф.С. Сонкиной и проч. Документальных материалов в книге предостаточно — они занимают добрую треть в качестве приложений и щедро пересказываются в «основном тексте».

Таким образом, по большей части в книге воспроизводится уже известный материал «житейского характера». Оставшаяся часть посвящена дополнительным любопытным деталям лотмановской биографии и анализу его творческого наследия. Обилие небезынересных биографических подробностей (характеризующих не только Лотмана, но и научный быт той поры) — это основное и едва ли не единственное достоинство книги.

Ярко и выпукло Егоров живописует дух эпохи. Подчинение научного поиска партийным директивам. Изъятие статей из редакционных портфелей и уничтожение уже отпечатанных сборников. Всплеск антисемитизма в начале 50-х, благодаря которому ленинградец Лотман попал в Эстонию, где на пятую графу смотрели сквозь пальцы. Скучный быт, когда на всю семью — две тарелки и несколько чемоданов книг. Постоянная маскировка, с помощью которой можно разрабатывать интересные темы под маркой официальной науки (проблемы стилистики обсуждаются на материале статей Ленина, а вопросы семиотики и культурологии разрабатываются в рамках военно-космических исследований, цель которых — научить луноходы общаться между собой). Блат и кумовство: при прогрессивном ректоре Клементе дела кафедры шли хорошо, при ретрограде Коопе все стало плохо. И, конечно, *sine qua non* эпохи — вездесущий КГБ с перлюстрацией писем, слежкой и обысками.

Наверное, все с детства помнят рассказ известной в свое время советской писательницы: «Как Ленин жандармов обманул». Когда Ленин жил в ссылке в Шушенском, к нему нагрянули с обыском. Вся нелегальная литература хранилась у Ильича в одном месте — на нижней полке

книжного стеллажа. Незадачливых слуг царизма вождь мирового пролетариата легко обвел вокруг пальца, услужливо подставив табуретку главному жандарму. Тот на нее встал, начал просматривать полки сверху вниз, быстро утомился (книжек было много) и до нелегалщины так и не добрался. А вот как Егоров описывает обыск в квартире Лотмана (нелегалщина там, наоборот, «хранилась в углублении наверху высоченной печки»): *«Просматривать издания они начали с нижних полок (так удобнее), поначалу проверяя каждую книгу очень тщательно. Постепенно поднимались все выше... Можно себе представить, с какими чувствами наблюдал Юра [Ю.М. Лотман] за этим неуклонным подъемом... И вот, когда оставалось совсем немного... они напоследок «схалтурили» и самую последнюю полку просматривать не стали. Бывает же такое везение!»* (с. 162).

Примером Ульянова-Ленина не исчерпывается список прототипов, на которые Егоров проецирует образ Лотмана (или, выражаясь семиотически, набор культурных кодов, с помощью которых он конструирует этот образ).

Детство Лотмана, да и вся его жизнь, моделируется Егоровым в соответствии с агиографическим каноном. С первых лет Лотман живет только духовными интересами — чтение запоем, шахматы, музыкальные упражнения, походы в театры и в Эрмитаж, *«где однажды [Лотман] был задержан: служителю показалось подозрительным, что мальчик целых полчаса стоит перед „Кающейся Магдалиной“ Тициана»* (с. 13). Все это разнообразие увлечений было, в конечном счете, принесено в жертву одной страсти — науке. Служение Науке — прямой аналог служения Богу в житиях святых. Косвенно этим объясняется и последовательный атеизм Лотмана: в его жизни место Бога заняла Наука.

Еще одна черта, сближающая нарисованный Егоровым образ Лотмана с фигурой святого — это абсолютная моральная чистота героя книги. В любой ситуации он ведет себя безупречно и воспринимается другими как мерило нравственности и образец для подражания. Во время войны весь полк, в котором служил Лотман, *«отличался в Германии нравственным поведением, отвращением к грабегам и мародерству»* (с. 30). Учась в университете, Лотман *«бескорыстно помогал сокурсникам перед экзаменами овладеть обширнейшим кругом литературного материала, который он сам уже познал в совершенстве»* (с. 34). Свободная и творческая атмосфера семиотических «летних школ» 60-70-х годов в значительной мере определялась *«ролью Лотмана как нравственного критерия»* (с. 122). Сами «школы» в описании Егорова напоминают ашрам или монастырь: *«Могу горячо и уверенно заверить читателей, что подавляющее большинство участников «летних школ» уже и прибыло туда нравственно свободными, а если кто-то еще и не достиг*

душевного очищения, то обстановка школ способствовала человеческому возвышению» (с. 122). Значимость Лотмана как морального образца принималась, как рассказывает Егоров, всем научным сообществом. В этом отношении характерна приведенная в книге фраза историка литературы А.Л. Осповата, сказанная им после смерти Лотмана: *«Нам стало некого стыдиться»*.

С другой стороны, Лотман в изображении Егорова воплощает архетип русского интеллигента. На этот образ «работают» те же самые качества, но без «сакральных» обертонов. Неудавшаяся попытка побега в революционную Испанию, предпринятая юным Лотманом, до боли напоминает интеллигентных чеховских мальчиков. Юношеская любознательность осмысливается как типическая черта конкретной социокультурной группы: *«Пафос науки, пафос знаний вообще был характерен для интеллигентной молодежи тридцатых годов»* (с. 17). Лотману были присущи едва ли не все качества истинного интеллигента: доброта, щедрость, открытость, совесть, деликатность, рыцарственность, храбрость...

Обе линии («сакральная» и «социальная») сходятся в одной точке: Лотман — Великий Ученый, принесший всего себя на алтарь Науки. Еще в студенческие годы Лотман *«научился спать по четыре часа в сутки. Конечно, это было сжигание организма, похлеще алкогольного изматывания, и оно потом очень-очень пагубно отразилось на здоровье уже почтенного ученого, но и тогда тревожные симптомы не остановили бессонных творческих занятий»* (с. 20). Жанр «жизни замечательных людей» выдержан у Егорова безукоризненно и очищен от всего «лишнего» и «случайного». Перед нами не столько «Жизнь и творчество», сколько «Житие и подвиг».

II

Миф об Ученом и Интеллигенте, нашедший предельное выражение в монографии Б.Ф. Егорова, был сотворен самим Лотманом. Употребляя слово *миф*, мы, конечно, не ходим сказать, что Лотман не был ни ученым, ни интеллигентом. Речь идет о намеренном и последовательном выстраивании собственного образа — о «жизнетворческой установке» и моделировании своего поведения в соответствии с некими предзаданными образцами. Не случайно, что как раз в этих терминах Лотман описывал жизненный путь многих деятелей русской культуры — в частности, Карамзина и Пушкина.

Книге Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя» (1981) Б.Ф. Егоров уделяет особое внимание: ей посвящено девять

страниц исследования (почти половина главы «Труды о Пушкине»), тогда как, например, комментарий к «Евгению Онегину» (1980) отдано всего две страницы. В лотмановской концепции пушкинского жизне творчества Егоров не без основания усматривает автобиографические проекции: *«Лотмана всегда интересовало „жизнестроительство“... В принципиальных жизненных установках Радищева... в сознательной и трудной борьбе Карамзина за свою независимость ученый видел образцы для подражания; его трактовка Пушкина в значительной мере навеяна примерами Карамзина и Радищева, да и собственный жизненный путь он [Лотман — Е.Г., И.П.] стремился строить по высоким нравственным идеалам»* (с. 182-183). Наверное, Ю.М. согласился бы с этим суждением — недаром он с одобрением вспоминал замечание академика А.С. Орлова о том, что *«исследователи невольно передают изучаемым им писателям глубинные черты собственного характера»* (с. 335).

В своей нашумевшей статье «Тартуская школа 60-х годов как семиотический объект» (1989) Б.М. Гаспаров объявил «жизнестроительство» отличительной чертой «тартуской школы» в целом, но при этом сделал существенную оговорку: *«...отличие семиологического жизнестроительства от, скажем, символистического состояло в том, что его предметом были не столько жизненные „тексты“ как таковые, сколько язык»*. «Неточно», — поправил его тогда Б.Ф. Егоров: то же самое можно сказать и «относительно бытового поведения» тартусцев вообще и Лотмана в частности («Полдюжины поправок [к статье Б.М. Гаспарова]», 1991). Отказывая в «жизнестроительстве» Пушкину («автор этих строк принадлежит к противникам названной идеи» — с. 177), Егоров, как видим, допускает, что подобное отношение к жизни было свойственно Лотману. Тем не менее, Егорову-биографу ближе другой взгляд на «место человека во вселенной»: *«...биография каждого человека, в том числе и гения, складывается из такой тьмы случайностей, что они далеко не всегда оставляют место для „творчества“ жизни, тут очень часто вступает в силу социально-природное ядро личности как решающий регулятор поведения, вне сознательного или бессознательного замысла»* (с.177; выделено нами — Е.Г., И.П.). По мысли Егорова, жизнь — это не следование «выработанной программе», а разностороннее раскрытие изначально данных качеств. Вот почему егоровское повествование не сюжетно, а орнаментально, не динамично, а статично.

В какой мере автор книги передал своему герою «глубинные черты собственного характера» — судить не беремся. Но ясно, что *«личность как особый исторический предмет не есть центральный пункт внимания биографа»*: «для биографа личность интересна не как константное и определившееся, а непременно как динамическое», причем как динами-

ческое целое в историческом контексте (Г.О. Винокур, «Биография и культура»; выделено автором — *Е.Г., И.П.*). Для того чтобы построить биографию ученого, нужно рассмотреть историю его духовной жизни и историю научного быта в их взаимосвязи и взаимном влиянии. Похоже, что такая постановка вопроса до сих пор остается недостижимым идеалом биографического исследования, и к решению этой задачи книга Егорова нас вряд ли приблизит: быт в ней «подается» отдельно, а наука (научное творчество) — отдельно. То обстоятельство, что «бытовые» и «научные» главы идут вперемешку, лишь затрудняет восприятие текста.

Историко-научную составляющую монографии Егорова трудно признать удачной. На протяжении всей книги автор по преимуществу говорит не о методах и подходах, а о разнообразных исследовательских темах, к которым обращался Лотман, и об исключительной интенсивности его ученых занятий. И все же определенная картина развития теоретических воззрений Лотмана в работе вырисовывается.

Марксизм и гегельянство, усвоенные Лотманом через официальную университетскую философию, «плавно соединились» в его ранних работах с позитивизмом, перенятым у Ю.Г. Оксмана через Н.И. Мордовченко (в семинаре последнего Лотман учился). К «позитивистским чертам» лотмановского подхода биограф причисляет «культ науки» и «индуктивный метод» (движение от фактов к обобщениям в противовес гегельянскому восхождению от абстрактного к конкретному). К элементам гегельянства и марксизма Егоров относит «целостность анализа», «историзм» (узко понимаемый как «связь изучаемых художественных методов с социально-политическими реалиями»), диалектику и «пафос закономерностей общественного и культурного развития» (с. 42-43). Каким образом позитивистский индуктивизм может «плавно соединяться» с гегелевской дедукцией, Егоров не объясняет. «Эволюцию [раннего] Лотмана» он описывает как выход за «рамки марксистских классовых определений» и постепенное освобождение «от общественно-политического схематизма понятий» (с. 55, 59). Однако, читая книгу Егорова, нам так и не удалось выяснить, почему от позитивизма культурно-исторической школы и марксистского социологического литературоведения Лотман перешел именно к семиотике и структуральной поэтике.

Глава «Структурализм и семиотика» — несомненно, самая слабая во всей монографии. Прежде всего, Егоров не дифференцирует семиотику (общую теорию знаков), структуральную поэтику (анализ художественных текстов при помощи методов структурной лингвистики) и структурализм как научное направление в лингвистике и ли-

тературоведении. Конечно, изучение языка как знаковой системы предполагает применение к нему и структурных, и семиотических методов, но из этого отнюдь не следует, что «структурализм — это часть семиотики» (с. 94). Знакома читателя с азами структурно-семиотического подхода, автор настолько увлекается, что перестает обращать внимание на частные несообразности и общую сумбурность изложения: «Знак в современной семиотике входит в треугольник „знак — значение — денотат“, где денотатом называется обозначаемое знаком явление, а значением — смысл, вкладываемый в знак его получателем. В зависимости же от связей элементов этого треугольника создаются три науки, три раздела семиотики: *семантика*, изучающая взаимоотношения знака и значения (с учетом денотата), *прагматика*, посвященная связям знака с получателем информации, *синтактика*, изучающая структуры самих знаковых систем» (с. 94).

Легко видеть, что три раздела семиотики соотносятся не с треугольником «имя — сигнификат — денотат», а с триадой «объект — знак — пользователь». Человека, пользующегося знаками (Чарльз У. Моррис называл его «интерпретатором»), Егоров дважды именует «получателем информации», совсем забыв об «отправителе». Разные ученые по-разному понимают термины *структура* и *система*, но о «структуре системы» до Б.Ф. Егорова, кажется, не говорил никто...

Такая же путаница вышла с концептами метаязыка (то есть языка, описывающего другой язык) и метатекста, по поводу которых автор сообщает буквально следующее: «[Существует два вида метаописаний:] *метаязык*, когда создается логический язык „*deskриптивного*“ типа [?], и *метатекст*, способствующий изоморфизму между его [?] языком и языком описывающим, это [?] область мифологических текстов и метатекстов» (с. 205-206). Окончательно обезкураживает дополнительное «пояснение» касательно того, что «*Лотман и сам не только декларировал дефиниции, но и широко пользовался метаязыками*» (с. 206).

Возникает закономерный вопрос: на какую аудиторию рассчитаны такие разборы и пересказы? Для тех, кто знаком с предметом, они ни к чему, а неспециалиста они скорее оттолкнут, чем приохотят к новой теме. Аннотация хранит на сей счет гробовое молчание (очевидно, издатели полагают, что биография Лотмана интересна всем и каждому). Глухой намек на адресата содержится только в предисловии: «*Когда китайские коллеги предложили мне подготовить книгу о Лотмане, я воспринял это с честью и радостью: кому, как не мне, создать такую книгу?!*» Но поскольку ни до, ни после восточные коллеги на страницах книги не объявляются, в голову пытливого читателя невольно закрадывается крамольная мысль о *китайской грамоте*.

III

В книге Б.Ф. Егорова поражает полное отсутствие рефлексии. Автор ничего не ставит под сомнение, не делает ни малейшей попытки взглянуть на вещи критически. Вот как он заключает свой труд: *«Триумф Лотмана, несомненно, — громадный, непоколебимый, радостно прочный»* (с. 241). Такой апологетический тон скорее уместен в надгробной речи, чем в академическом исследовании. Читаешь и поневоле задумываешься: не подменяется ли дружескими чувствами биографа к покойному подлинно научная объективность?

Свидетельством жизнеспособности лотмановских идей является, по мнению Егорова, посмертная судьба творческого наследия ученого. Действительно, ей можно только позавидовать. Труды Лотмана издаются и переиздаются, так что *«можно говорить о существовании в разных вариантах почти полного собрания его сочинений»* (с. 238). «Индекс цитируемости» Лотмана высок как никогда: сегодня редкая работа по истории русской культуры обходится без ссылок на его труды. Пришло официальное признание: *«в вузовских студенческих учебных [sic!] программах обязательны труды Лотмана»* (с. 239). И, наконец, самое главное: везде — *«от академических монографий до телевизионной публицистики — звучат похвальные, возвышенные отзывы о деятельности и личности тартуского профессора»* (с. 239).

За какие заслуги хвалят Лотмана журналисты и академики? В эти «ненужные» подробности Егоров не вдается. Получается так: раз хвалят — значит, есть за что, зря ведь не похвалят. Критические голоса, уверяет нас Егоров, почти не слышны. Любые отрицательные отзывы о работах Лотмана просто «анекдотичны» (впрочем, приведенный в качестве примера отрывок из книги В.Н. Турбина и вправду анекдотичен). Учение Лотмана всесильно, потому что верно: лотмановские обобщения не могут быть опровергнуты никакими фактами, *«и исключения, даже количественно весомые, не колеблют концепции в целом»* (с. 240). Откуда же вообще у Лотмана взялись какие-то злонамеренные хулители? А все дело в том, что Лотману, как и всякому *«большому ученому, наверное, положено иметь хотя бы несколько „зоилов“... Как римскому триумфатору, при колеснице которого полагалось иметь бегущего и орущего клеветника»* (с. 241). Вот так — не больше и не меньше.

Такое отношение к оппонентам всегда было характерно для тартуской школы, чьей «центральной фигурой» «не только научно, но и человечески» был Лотман (с. 21). К официальной критике представители школы, понятное дело, не прислушивались, а неофициальной критики просто не было слышно. Эта ситуация определялась особым положени-

ем Тарту в культурном пространстве Советского Союза. Тартуская школа, по замечанию ее бывшего адепта Б.М. Гаспарова, являлась обособленным и замкнутым социокультурным образованием, отгородившимся от официозной советской науки и, в силу тогдашних условий, оторванным от мирового научного сообщества. Внешней критической инстанции для школы не существовало.

Так, Егоров пишет, что *«поток оригинальных семиотических трудов Лотмана вызвал в целом положительные отклики научной общественности, если не считать... критических замечаний М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева»* (с. 148). Замечаниям Лосева Егоров посвящает всего один абзац (с.141-142), а бахтинской критике — отдельную статью (Приложение 1: «Бахтин и Лотман»), суть которой сводится к тому, что «весьма деликатные замечания Бахтина» были-таки учтены поздним Лотманом (с. 244 и др.). Между тем, указаний на недочеты и прямые ошибки в работах Лотмана и его школы было гораздо больше. Более того, острой критике подвергались не только частные аспекты, но и методологические основы тартуско-московской семиотики и культурологии. Достаточно вспомнить сокрушительную критику лотмановского «Анализа поэтического текста», прозвучавшую со стороны известного литературоведа-эмигранта Владимира Вейдле («Новый журнал», 1974, с. 115-116; то же в его книге: «Эмбриология поэзии: введение в фоносемантику поэтической речи», Париж, 1980), или скептическую оценку тартуских работ по семиотике и типологии культур, высказанную крупным американским антропологом Деллом Хаймсом («New Literary History», 1978, vol. 9, no. 2). Характерно, что эти авторы в книге Б.Ф. Егорова даже не упомянуты.

Это далеко не единственный пример замалчивания тех или иных фактов, которые не укладываются в принятую Егоровым схему. Например, у него ни слова не сказано о непростых отношениях Лотмана с некоторыми коллегами, порой переходивших в открытые конфликты. Ничего не говорится в книге и об излишней снисходительности профессора к его «любимцам», чья деятельность отнюдь не всегда шла на пользу научной и учебной деятельности кафедры. Речь, разумеется, идет о кафедре русской литературы Тартуского университета, которой Лотман отдал почти сорок лет своей жизни и которую считал «самым дорогим своим трудом». Лишь мимоходом поминает Егоров о распаде кафедры на два отделения — семиотики и русской литературы — и об их болезненном размежевании после смерти Учителя. Очень скоро стало очевидно, что, по сути, единство «школы» держалось только на энергии и харизме ее лидера. Тартуская семиотика, организационно оформив свою самостоятельность, тут же отрелась от своих историче-

ских корней. Последний выпуск основанных Лотманом «Трудов по знаковым системам» демонстративно открывается редакторским предисловием, написанном на двух языках — эстонском и английском. О русском забыли.

Коротко о формальной стороне издания. Как отмечают многие читатели, книга написана неуклюжим казенным языком, коряво, как будто в спешке (видать, «китайские коллеги» торопили). Неприятно поражает чудовищное количество повторов: Егоров щедро цитирует самого себя, по три-четыре раза переписывая с незначительными изменениями одни и те же пассажи. У книги нет ответственного редактора (это, можно сказать, фирменный знак «Научных приложений» к «Новому литературному обозрению»). Именной указатель составлен безалаберно: десятки фамилий пропущены, другие учтены не полностью, ссылки перепутаны. В довершение всего, чужие материалы, помещенные в приложениях, перепечатаны без ведома авторов и составителей первых изданий. Многие из них с удивлением узнали о самом факте републикации своих работ из нашей рецензии.

Б.Ф. Егоров, как бы оговорившись, выражает надежду, что его книга *«будет в XXI веке продолжена серьезными и глубокими исследованиями»* (с. 242). Хочется верить, что так оно и случится. А пока поблагодарим Б.Ф. Егорова за его самоотверженный труд: *fecit quod potuit?*

Опубликовано по частям 25 ноября, 2 декабря, 16 декабря 1999 года

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

Бродский. Олимпийская игра

Принципиальный индивидуалист Иосиф Бродский, сравнивший свою судьбу с участью одинокого ястреба, умер и вскоре стал кумиром широкой публики. Есть во всякой массовой экзальтации что-то ненастоящее. Кроме того, трезвеющая публика имеет обыкновение рано или поздно бросаться в другую крайность, и здесь неизбежна несправедливость, сопутствующая всякому ухудшению отношений. Всеобщая и обязательная любовь интеллигенции к Хемингуэю с последующим мстительным разочарованием — тому подтверждение. Будет очень жаль, если настанет время, когда читательское похмелье и фамильярность газетчиков не пощадят поэтических и человеческих заслуг Иосифа Бродского. Мне известно только одно средство избежать этой неприятности: не славословить за компанию, разобраться в собственных чувствах.

Последние двести приблизительно лет поэты напрямую вторгаются в свои произведения на правах главного героя. Творчество уподобляется автопортрету. Романтизм и предполагает такое вмешательство художника в собственное изделие. В читательском восприятии лирический герой и автор — одно. Отход от этого единства требует особых авторских оговорок:

*Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.*

Жесткое требование жить «как пишешь» и писать «как живешь» налагает на автора обязательство соблюдать подвижное равновесие между собой-прототипом и собственным запечатленным образом. «Отсюда следует, что прием переносится в жизнь, что развивается не мастерство, а душа, что, в конце концов, это одно и то же» (И. Бродский). Автор старается ве-

сти себя так, чтобы не бросать тень на лирического героя, а тот, в свою очередь, оставляет автору хотя бы теоретическую возможность отождествиться с вымыслом. В этих драматических взаимоотношениях сочинителя и сочинения — особая прелесть романтической поэзии: кто кого?

Искусство поведения становится самостоятельной артистической дисциплиной. Публика оценивает романтического поэта по своеобразному двоеборью: жизнь плюс поэзия; и современники, случается, отдают предпочтение жизни, а потомки, утрачивая биографическое измерение, — поэзии.

Иосиф Бродский являет собой совершенный — под стать Байрону — образец романтической соразмерности автора лирическому герою. Свидетели юности Бродского вспоминают, что уже тогда его присутствие наэлектризовывало атмосферу товарищеского круга. Не оставляет впечатление, что для многих из них знакомство с Бродским стало едва ли не главным событием жизни: так, вероятно, ведут себя очевидцы чуда.

Мужественной верой в свою звезду можно объяснить нерасчетливые до отваги поступки молодого Бродского (брошенную в одночасье школу, работу в экспедициях, знаменитую отсылку к Божьему промыслу в советском нарсуде). Поэтам последующих поколений подобная самостоятельность давалась меньшей ценой: уже был уклад асоциального поведения, традиция отщепенства. Порывавший с одним обществом вскоре примыкал к другому, немногочисленному, но сплоченному. В пятидесятые годы, насколько мне известно, поведение Бродского было новостью и требовало большей решительности.

Чувство поэтической правоты, ощущение избранности, воля к величию, скорее всего, укрепились после знакомства с Анной Ахматовой.

Случайно уцелевшая в терроре, Ахматова воспринималась ближайшим окружением как хранительница очага классической культуры. Порывистый, наделенный «каким-то вечным детством» Пастернак не подходил для этой почетной и торжественной обязанности. Другое дело — царственная Ахматова. За Ахматовой записывали, ей внимали и в большом («*В наше время нужны лишь пепельница и плевательница*»), и в малом: как правильно, без тенорской ужимки, дать автограф. Ахматова предстала, помимо всего прочего, жрицей культурного ритуала. Недавно в печати отмечался удивительный факт: книги об Ахматовой пользуются бóльшим спросом, чем книги самой Ахматовой — Ахматова легендарна. Известно, что и Бродский в первую очередь ценил Ахматову-личность.

Ахматову отличала скульптурная статья и скульптурные бытовые реакции. «*Какую биографию делают нашему рыжему!*» — это не отклик старой женщины на несчастье, случившееся с молодым человеком, а отзыв опытного олимпийца на событие в жизни олимпийца начинающего.

Так или иначе, Бродский смолоду получил «прививку „классической розы“, которой <...> сознательно подвергал себя на протяжении большей час-

ти <...> жизни» (И. Бродский). Кажется, эта триумфальная жизнь насмеялась над людскими представлениями о возможном и невозможном. Недюжинный талант, «величие замысла», решимость «взять на полтона выше» позволили Бродскому чуть ли не вертикальный взлет из неоконченного восьмого класса в классики. Такая убедительная жизненная победа впечатляет. Но установка на шедевр, на классичность, «знание ответа» вызывают сомнения в творческой, и только творческой, природе этих устремлений.

Бог (Бог!), возводя мироздание, не знал ответа, не был уверен в результате, счел свои деяния удавшимися только задним числом, о чем и написано в Библии: Господь сперва создает свет, а *после* видит, «что он хорош». Сперва творит землю, моря, растения, животных и *лишь потом* убеждается, «что *это* хорошо». В таком не вяжущемся с представлениями о Божьем всемогуществу запоздывании оценок слышится прямо-таки художнический вздох облегчения. Спустя много тысячелетий Пушкин ровно в той же божественной последовательности, правда, на свой лад, откликнулся на собственное творение — «Бориса Годунова»: перечел написанное и бил в ладони, приговаривая: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — увидел, «что *это* хорошо». Ни о каком «взять на полтона выше» речи не было. Творчество, и только творчество, слишком поглощено самим собой, чтобы еще иметь в виду побивание чьих-то рекордов или соответствие высоким образцам. Но и это не все.

Честертон обращает внимание на одну удивительную особенность, почти закономерность: культурные начинания с расчетом на бессмертие, как правило, отличает недолговечность; и наоборот: искусство, вроде бы, несерьезное, чуть ли не на злобу дня, часто переживает автора и доходит до отдаленных потомков. «Дон Кихот» создавался всего лишь как пародия на рыцарский роман, а «Посмертные записки Пиквикского клуба» изначально были подписями к журнальным рисункам.

Бродский как раз имел в виду литературное бессмертие, не прочь был встретиться с ним еще при жизни. Слава его — совершенно по заслугам, а триумфальная судьба — редкий пример чуть ли не сказочного торжества справедливости. Такая справедливость не в порядке вещей, чувствуется режиссура. Проще всего объяснить эту блистательную биографию огромным, соразмерным масштабу дарования, честолюбием. Не могу знать. Но думаю, что была и более глубокая причина.

Честолюбие Бродского — внешнее проявление отчаянной мужской попытки основательно подготовиться к небытию, встретить его во всеоружии самообладания. Иосифу Бродскому, прирожденному победителю, мысль о неизбежном человеческом поражении была, полагаю, особенно нестерпима и унизительна. Чтобы не оказаться застигнутым смертью врасплох, приходилось заживо становиться своим в небытии, упражняться в неодоушвленности, учиться отсутствовать. Молва и слава помогали овла-

девать этим противоестественным искусством, были как бы посмертным взглядом на себя же со стороны — как на памятник, вещь, объект.

Поэтому Бродский присягнул на верность классике, решительно вступил в круг великих, пробовал и заживо быть в настоящем каменным гостем из вечности. Но платить за эту олимпийскую игру приходилось высокую цену — периодически утрачивая естественность и непосредственность, обрекая себя на монументальную скованность, позу. Ведь жизнь и поэзия романтика сообщаются почти напрямую. Бродский сам сказал о мастерстве и душе поэта: *«в конце концов, это одно и то же»*.

Олимпийство в поэтике Бродского — особая тема. Первое, что приходит в голову, — уникальная ритмика; грандиозное, под стать инженерному, изобретение, позволяющее и шедеврам, и стихотворениям на холостом ходу производить в читателе почти одинаковую, прямо-таки физиологическую вибрацию. При такой инерционной мощи стиха страсть, заинтересованность можно убавить, как звук, или даже вовсе свести на нет — величественная значительность интонации обеспечивается сама собой. В подобных случаях стихотворение перенимает неодушевленность у предметов — частых героев лирики Бродского. И кажется, что автор на всю длину произведения запер дыхание, чтобы слиться с миром неживой природы, и перед читателем не настоящие стихи, а только видимость, манекен. Пульс некоторых стихотворений едва прослушивается, они не бодрствуют, а пребывают в летаргии — отсюда длинноты. Привкус классической абсолютности высказываниям Бродского придает прежде всего афористичность; но классичность, ставшая сверхзадачей, в избытке плодит псевдоафоризмы, нередко темные или претенциозные.

Набору слов, чтобы ожить и превратиться в стихотворение, необходимо высвободить энергию, обзавестись температурой — нужны разнозаряженные полюса, конфликт. Предлог для поэтического разряда может быть даже формальным — Пастернак называл это «супом из топора», — лишь бы слова пришли в движение, вступили во взаимодействие. Для Бродского, по моему мнению, таким живительным затруднением стало классицистическое противоречие между долгом и чувством. Когда олимпийская выдержка изменяет Бродскому и поэт уступает наиболее распространенной человеческой слабости — любви, он не знает себе равных. Большинство творческих удач Бродского, на мой взгляд, связаны с изменой присяге, с дезертирством из рядов небожителей. Более того, такой мучительно пробивающийся из-под спуда бесстрастия пафос и действует сильнее, чем эмоциональность с полоборота какого-нибудь завязанного лирика. Не будь строгой до изуверства самодисциплины Бродского, не было бы и «срывов» — шедевров любовной лирики и «Осеннего крика ястреба».

Стихи стихами, но от поэта остается еще и манера авторского поведения. И здесь, думаю, Бродский оказал поэтическому цеху большую услу-

гу. Олимпийство сковывало, но оно же и освободило от старинных тягостных обязательств.

Поэты «золотого» века в жизни прежде всего были мужами — недаром им и сановниками случалось бывать. «Творческое горение», «одержимость» поэзией считались не очень приличными для мужчины и светского человека. Литературные занятия подавались любопытствующим как частное дело, причуда, плод праздности. У этой поэты была одна бесспорно сильная сторона: раз поэзия — в соответствии с цеховым этикетом — дело несерьезное, то поэт не имеет права *требовать* от общества участия, внимания, заботы. Как отзовется слово, предугадать не дано, хвалу и клевету принимать следует равнодушно, писать для себя — печатать для денег. Все это вместе взятое — не что иное, как *манифест независимости*. Позже эту симпатичную и целомудренную приватность изрядно потеснила идея общественного служения, обязанности быть гражданином. Поэзия становилась ответственным громоздким делом.

XX век — «серебряный» — увлекся поэтом-дервишем, поэтом, пророчествующим, блаженным и бесноватым одновременно. Сохранить личину несерьезного отношения к поэзии при наличии провидческой сверхзадачи, понятное дело, не удалось. А раз поэт не повеса, не чиновник, не помещик — словом, не дилетант, а жрец — он просто обязан быть в центре общественного внимания. Он вещает — общество внимает. Завышенная самооценка, благоговение публики исподволь привели к закабалению поэта, чему поэт и не противился: сознание собственной значимости лестно. (Революция себе во благо попользуется новой влиятельностью поэта, взяв его в оборот.) Парадоксальным образом поэт-любитель был независим, а поэт-вещун попал в зависимость и привык к ней. Поэтому отлучение от общества воспринималось как трагедия и ущерб. И реагировали поэты на кару отлучения в меру своего темперамента по-разному, но всегда болезненно. А свое уныние осуждали как ропот малодушия, предательство славных идеалов: *«Не хныкать — для того ли разночинцы // Рассохлые топтали сапоги?..»*

Бродский вел себя в культуре прямо противоположным образом. Ему было дорого его принципиальное и абсолютное отщепенство. Отверженность воспринималась им не как трагедия, а как трагическая норма бытия. Он сказал: *«Одиночество есть человек в квадрате»*, — и оставил за каждым из нас, и поэтов и непоэтов, право на исключительность такого рода. Его авторитетный пример возвращает отечественному поэту утраченный им было статус частного лица. А равнение на Олимп — дело темперамента и вкуса; и чревато оно только модой, а не идеологией.

Ноябрь 1997 года

Опубликовано 13 февраля 1998 года

ВИКТОР КРИВУЛИН

Завещание в занавешенном зеркале

К третьей годовщине смерти Иосифа Бродского

«Письмо Горацию», сборник из одиннадцати эссе, недавно выпущенный издательством «Наш дом» (слабое московское эхо прославленного парижского «L'Âge d'Homme»), — последняя книга Иосифа Бродского. Последняя — для него самого, потому что вышла по-английски (как «Greif and Reason», NY) в конце 1995 года, за полтора месяца до смерти *«лауреата Нобелевской премии и поэта-лауреата США»* (фраза с форзаца книги). Незадолго до 28 января 1999 года, то есть накануне третьей годовщины с того дня, как И.Б. покинул нас, его «Письмо Горацию» непонятным образом пришло в мой дом, хотя было адресовано вовсе не мне. И вот я, то ли поэт, достигший постыдного для поэта пятидесятичетырехлетнего возраста, то ли эссеист, которому никакой возраст не позор, посреди на редкость теплого и промозглого январского Санкт-Петербурга захлеб читаю о том, как всемирно известный пятидесятичетырехлетний поэт-лауреат читает в своем холодном (как-никак февраль-месяц) массачусетском коттеджике оды Горация в русском переводе. Читает — и пишет давно умершему древнеримскому коллеге довольно-таки пространное письмо. Письмо с описанием одного интимного, статуарно эротического, на грани археологии и кинематографа, сна (или не сна — поэт сам не уверен, хотя его весьма детализированное повествование исполнено исключительно в теплых сепиевых тонах, и единственное, что заставляет сомневаться в нере-

альности происходящего, — отсутствие книг и зеркала в комнате, где два человеческих торса, сливаясь, превращаются в одно — в руку, предназначенную для того, чтобы писать, писать, очевидно, по латыни для удобства адресата).

Впрочем, ежели по правде, то реальный И.Б. пишет, естественно, по-английски — с тем чтобы через три года после собственной смерти быть переведенным обратно на русский и вернуться на родину в виде слов, первоначально предназначенных не столько искусственному гарвардскому или йельскому читателю, сколько римлянину с тысячелетней репутацией придворного льстеца. Поэт-изгнанник обращается не к провидцу, не к пророку, но к «уравновешенному» (эпитет, отысканный самим Бродским), а стало быть, наиболее гармоничному певцу классической Империи, который и не подозревал о наличии американского континента, а тем более — о возможности возникновения новых великих империй с их русским и английским языками.

«Тебе было почти пятьдесят семь, если не ошибаюсь, когда ты умер в 8 году до Р.Х., — сообщает, обращаясь к Горацию, И.Б., натужно переводимый некой г-жой Е. Касаткиной, — хотя ты не подозревал ни о самом Х., ни о грядущем новом тысячелетии. Что до меня, мне сейчас пятьдесят четыре, моему тысячелетию тоже осталось всего несколько лет...» Последние слова, выловленные мною при начале года, которым завершается «наш» век, «наше» тысячелетие, может быть, вся «наша эра», наводят на мысль о завещании. О завещании человека, сознающего, что навсегда останется в «том» времени, в «том» столетии и в «том» тысячелетии. Для нас оно продолжает еще быть «этим» временем. Но не так для Бродского. Он и свое-то собственное время изначально чувствовал как «то», чужое, заведомо отмершее и отошедшее. А чужие, тем более, мертвые, в завещаниях не нуждаются.

И все-таки «Письмо Горацию», завершающее одноименную книгу, — действительно, подлинное литературное завещание поэта Иосифа Бродского, причем сфера юрисдикции этого документа простирается гораздо дальше, нежели американские законы, охраняющие права автора в любой точке земного шара. Или неподзаконные никакому законодательству, одичалые пространства нынешней России. Этот документ, ограниченный исключительно языком, вернее, тремя языками (два по горизонтали, на плоскости, и третий — латынь — как бы свеху, наподобие крыши, во времени), обращен вовсе не к нам, современникам поэта, физически пережившим его на территории нынешних США или бывшего СССР. Адресат послания расположен так высоко (или низко) во времени, что оно не имеет никакой власти над словами и географическими картами. Парадокс лишь в том, что настоящим

предметом завещания Бродского являются именно слова, единственное добро, каким располагает любой поэт.

Если язык — это реальное достояние поэта, то его нельзя завещать ни современникам, ни потомкам, иначе сам поэт становится достоянием, а точнее «заложным покойником» языка, переживающего все превратности исторической имперской судьбы, как это ныне происходит с русским языком. Мы все еще ощущаем наш «великий и могучий» как что-то огромное, властно охватывающее «шестую часть суши», но сами-то мы уже не жильцы в давно прошедшей империи языка. Для жизни «здесь» не хватает средиземноморской влаги, для жизни «там» латинского шрифта, песка и неба, а для того, чтобы сказать об этом вслух, недостает смелости, безумия или той пресловутой «уравновешенности», какая достигается разве только с помощью иссушенной тысячелетним солнцем поэзии. Поэзии, звучащей на мертвых языках. Она и впрямь достойна завещания. А мы... Что может завещать нам поэт, сделавший сухость в горле своей профессией и потому всю жизнь предпочитавший обретаться в приморских городах — Ленинграде, Ялте, Венеции, Стокгольме, Нью-Йорке — с их подчеркнуто влажными, простуженными голосами?

Одно только свое античное отражение, туго сохраняемое как некий эталонный образец в сновидческой комнате без книг и зеркал, однако за пределами этого помещения неверно мерцающее в бесчисленных и туманных словесных зеркалах, частью совсем скрытых от нашего здешнего обезьязыченного зрения, частью плохо и превратно видимых по причине фатальной нашей отгороженности от того, что принято именовать «мировым культурным контекстом». То же, думаю, касается и американских читателей Бродского, но у них остается хоть иллюзорное преимущество в виде несокрушимых (пока?) имперских амбиций английского языка. Кому-то должно льстить, что последний в XX веке русский владетель нобелевки все свои эссе писал на языке победителей в третьей мировой, по-английски. На очень хорошем, говорят, английском, настолько хорошем, что приближается по степени совершенства к горацианской латыни, а это вызывает новые трудности при переводе на родной для поэта русский.

Его языковые ошибки и погрешности, вряд ли спровоцированные только лагунами школьного образования, воспроизводятся переводчиками с тщательностью, достойной работы с драгоценным латинским оригиналом. «Письмо Горацию» пестрит запретными для правильной русской речи языковыми формами. Попробуй кто-нибудь у нас написать: «*Она самое решила...*» — засмеют, ибо, как известно, устаревшая форма «самое» употребляется только с родительным падежом («ее самое за-

ставили это делать...»). Мы уже привыкли то и дело спотыкаться о частое до назойливости употребление автором «Шествия» глагола-связки «суть» в единственном числе (например, *«Его поражение в пространстве суть победа над временем»*), тогда как любой учебник по русской грамматике предостерегает именно от такой ошибки, поскольку «суть» — форма исключительно множественного числа от глагола «быть». В единственном числе по-русски мы обязаны говорить «есть» (помните, *«Жизнь есть способ существования белковых тел...»*).

Но в том-то и фокус, что ненормативная «суть» Бродского лучше, нежели правильное «есть», соответствует его представлению о собственной личности как о некоей цельной множественности, дробящейся в зеркалах чужих текстов и чужих языков. То, что для русского школьника — ошибка, для русского поэта, пишущего по-английски о латинском, итальянском, немецком или греческом собрате по перу, — единственно допустимая норма аккомодации речи. Иначе как же изо всех разноязыких зеркал Бродский, напрягая глаза и голосовые связки, смог бы безошибочно вылущить свой чеканный профиль (правильней сказать — тень своей руки, предназначенной писать огнем на стенах вавилонских приснопамятное трехсловье, однако манкирующей этим предназначением и выводящей трогательные подростковые каракули почти что сортирного свойства). В русских сортирах, однако, зеркала не предусмотрены, а вот «Мене-Такел-Фаресы» (в местной транслитерации) прямо-таки прыщут со всех сторон, аж с потолка сыплются. Зеркала — они всегда не «здесь», а «там», в заграничном зазеркалье, их там пруд пруди, и они там разной формы, яркости, различной степени сохранности. Вот оно где истинное богатство, нам сейчас и тут недоступное, не нам завещанное. Богатство теней и отражений.

Богатством не делятся, но — чтобы оно работало — его демонстрируют на плавающих и путешествующих выставках. Посетители таких экспозиций смотрят на «чужое», как на «свое», ибо стеклянные гробики витрин, где покоится привозное заокеанское добро, взяты, как правило, в аренду у местных нищих музейщиков (им-то ведь тоже как-то жить надо) и принадлежат не столько миру, сколько городу. «Письмо Горацию» — из разряда подобных выставок. Смыслы этой книги профессионально упакованы в русские слова, причем использованы самые эксклюзивные и редкие из футляров — те, что хранятся в запасниках (ключ только у завхоза), их достают исключительно после письменного приказа директора и лишь по генеральским поводам. У них резные дубовые ножки, наборные боковины красного дерева и зеркальные граненые стекла. Экспонаты, числом десять штук, разложены по персональным саркофагам, но тематически едины — все это «я» Иосифа Бродского. Оно причудливо и изло-

манно (да простит мне русский спеллер Winword'a-97 зияющее обилие гласных на стыке предыдущих слов, имитацию светопреломления на гранях стекла) преломляется в десяти зазеркаленных портретах, составляющих «Письмо Горацию». Одиннадцатая (в книжке она поставлена первой) глава — не в счет, это дверь, тамбур, сени, где нам на ушко сообщают, как себя должно вести в том помещении, куда сейчас запустят нас, может быть, из милосердия, а скорее — из корысти. Иными словами, лучше читать поэзию, чем прозу, и предпочтительней покупать хорошие книги, чем плохие. Так что мы попадаем во внутреннее пространство данной конкретной книги вроде бы подготовленными надлежащим образом. Но, оказывается, подготовленными вовсе не к тому, что нам предстоит.

В ожидании, что речь пойдет о поэзии, мы разглядываем десяток фотографий, вывешенных перед входом в основной текст, — плохо пропечатанные, крохотные, каждая с почтовую марку. Помните, Набоков мечтал поселиться в стране, где портрет президента не превышает размером почтовой марки. Ему повезло — он умер в Швейцарии. Но, вглядываясь в мизерные, еле различимые лица поэтов, о которых писал Бродский, я обнаружил нечто полярное набоковскому протесту против мегаломании власти. Я почувствовал утрированную, почти пародийную значительность и серьезность каждого из лиц. От каждого изображения исходил импульс власти, но власти, какой-то обессилевшей, обращенной не вовне, а вглубь себя самой. И в каждом лице — что-то от И.Б.

Там были: англоязычные Уистан Оден, Деррек Уолкотт, Марк Стрэнд и Роберт Фрост, немец Рильке, итальянец Монтале, грек Кавафис, русские Цветаева и Мандельштам и, наконец, римлянин Гораций. Так выглядело оглавление, напоминавшее конверт с наскоро прилепленными марками. Письмо, готовое к отправке или, наоборот, только что полученное, хотя и нераспечатанное. Письмо от самого себя к себе самому же, но другому себе. Это письмо, должно быть, и есть поэзия, и поэзия может быть удивительно телесной, если тело ее покоится в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого — адрес, начертанный кириллицей, и марка, напоминающая о некоем совершенно неразличимом юбилее, кажется, пушкинском... Но главное — чтобы обратный адрес был обозначен не внизу лицевой стороны, не в сыром полуподвале, а на обороте, на тыльной стороне конверта, по верхнему краю (чердак? мансарда?) и обязательно латинскими буквами. Нельзя, к слову, обойти еще одно существенное различие между здешним и тамошним способами адресации: у них — сперва имя адресата, потом дом, улица, город, страна; у нас — то же самое, но в обратном порядке.

1. *«Обожаю читать чужие письма»*, — говаривала покойная мисс Марпл у Агаты Кристи.

2. «*Время обожествляет язык*» — строчка Одена, поразившая Бродского в архангельской деревне, куда он был сослан за тунеядство.

Две выше приведенные фразы образуют словесное уравнение, решив которое, мы получаем обескураживающий результат.

3. Вот он: обожествление чужого письма есть (суть) возможность по-иному, чем принято, выстроить отношения между временем и языком. Если нет «своего» времени и нет «своего» языка, мы оказываемся в положении мисс Марпл. Мы, вечномолодые поэты и всегда стареющие филологи-русисты, приспосабливаемся обожать поэта И.Б., но втайне даем волю дедуктивному методу, словно с завистью расследуем обстоятельства преступления, каковое могли бы совершить сами, будь у нас достаточно таланта и самоуверенности. Но его совершил Бродский, а) в силу обстоятельств поставленный перед необходимостью сначала ценой своей свободы утвердить право называться поэтом и б) сумевший, вырвав всемирное признание, внутренне отказаться от стихоговорения, убить в себе лирического стихотворца, поскольку ритмически осмысленное говорение о себе и о своем на английском языке сделалось для него возможным лишь в одной форме — в форме прозаического эссе, построенного как отчужденное, как «*чье-то неважно чье*» письмо.

Эссе Бродского построены как послания в никуда или куда-то мимо нас. Иногда их читать неловко, как чужие письма, от них горят уши, ибо привычное в русских стихах сочетание высокопарного, отвлеченно учительского тона с интимными откровениями вызывает, если перед нами так называемая проза, да еще англоязычная, чувство нашей собственной, читательской неуместности. Какой-нибудь писатель, беллетрист, да, имеет право кувыркаться в комнате с огромными зеркалами, и тогда наше настоящее место — снаружи, с той стороны зеркальной амальгамы, откуда отлично видны позы и положения любовников, убежденных, будто их никто, кроме зеркал, не видит. Им комфортно, нам, по-своему, тоже... Если же мы знаем, что в зеркальную комнату помещен поэт, то это уже совсем другая музыка: неудобно должно быть только ему, потому что нас в его ситуации просто-напросто не существует. У нас нет никаких оснований считать себя наблюдателями. И мы не в праве удивляться, когда выяснится (ближе к концу), что адресат Бродского, римский поэт Гораций Флакк, предпочитал совершать половые акты в спальне, увешанной зеркалами, «*чтобы любоваться соитием в разных ракурсах*». Сочинитель «Письма Горацию», впрочем, подвергает сомнению достоверность столь прямой биографической детали или, по крайней мере, склоняется к тому, чтобы воспринимать ее как метафору, ибо зеркала, где отражается он сам, способны уловить нечто более существенное, нежели шевеление плоти.

Если верить поэту Бродскому, а не историку Светонию, распространившему сплетни о Горации, поэзия есть поэзия при одном лишь условии — когда она любовь, надкушенная смертью, разрушением, тлением и, в первую очередь, разрушением империи, чьи словесные зеркала помутились и потрескались. Самое время об этом распространяться в России. В помещении современного русского языка, как в бане, себя хорошенько не разглядишь. Только выйдя на свежий воздух и глянув извне, может, что-то и усмотришь, но тогда приготовься к тому, что вокруг — ни любви, ни поэзии. Сплошные «мороз и солнце», и от них нет защиты. «Защита Бродского» так же самоубийственна, как «защита Лужина», в конце концов, оба эмигранты, пережившие смену дома как смену жанра. Остается делать вид, что ты утверждаешь свое внутреннее пространство как некую зеркальную комнату, обнимающую весь мир, — что и делает (до сих пор «делает», настоящее время здесь не ошибка, а подарок судьбы!) Иосиф Бродский, говоря о других поэтах так, как если бы он сам продолжал писать стихи.

Писать и за них, и за себя. За русских и за американцев. Да и за читателя, которому не до стихов, не до поэтов, но который с упорством маньяка ждал и ждет от известного американского эссеиста новых протуберанцев русского поэтического вдохновения, еще и еще крепко зарифмованных текстов.

Он, читатель этот, и сегодня убежден, будто любит Бродского. Любит настолько, что даже рискнет — в качестве, разумеется, довеска к поэтическому корпусу Нобелевского лауреата — приобрести недурно изданную книжку статей с трогательными собственноручными рисунками автора и легендарным котом Миссисипи на супере. Ничего особенного, нормальный подарок на год Желтого Кота. Спасибо и на том.

1 февраля 1999 года

ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ

Лианозовская группа Лианозовская школа

1958–1988 + 1988–1998. Вот так.

Может быть, все дело в том, что у Рабина в Лианозово в 58-м были: жена, детей двое, свои картины, каких не было ни у кого, — и **не было телефона**. Почему и пришлось ему с самого начала вести себя необычно определенно — пускать смотреть эти картины по воскресеньям всех желающих, помнится, не отправляя назад в Москву никогда никого ни при каком гриппе. Не то бы кто и поехал, кто бы что там и увидел. А видеть там было что. И Лианозово **не скрывалось**: помещение, фактически объявленное открытым для посещения.

Потому там было без игр. Без игр и затей с начальством, в которых так навострились те же Евтушенко-Вознесенский (1), и без других затей — без конспирации и без организации. На чем специализировались поздней другие люди — сплошь и рядом, впрочем, не в пример прочим, сами-то по себе люди доблестные. Но в нашем деле все-таки дело не в самой по себе доблестности, а в нашем деле, как всегда, дело в деле.

Я туда попал в 59-м, не с самого начала (58-й), и не могу сказать — на чужом или на собственном опыте убедился Рабин, что затевать каждый раз насчет каждого посещения какие-то переговоры через кого-то — вязко, муторно и несерьезно. Целиком всякий раз от этого кого-то зависеть, а в конечном счете, всегда зависеть все от того же ГБ. Телефон легче контролировать, чем Савеловскую дорогу, хоть были и такие поползновения. А подходы к бараку — берите на здоровье под контроль и

наблюдение. Я художник, показываю свои картины. А что, нельзя? Тогда так и скажите — **определенно**.

Лет через 10-15 как раз за такую определенность и пойдут на посадку люди диссидентской волны — чаще даже за одну возможность выкрикнуть, выступить, подписать, потребовать определенности. С определенностью потребовать, наконец, определенности и от властей — это определенность поведения, героическая, демонстративная, жертвенная. С отчаянным расчетом — самим сесть, но лганье советское, наконец, достать, припереть, загнать в угол и заставить выставиться на общее обозрение.

Упаси Боже задеть как-то наших диссидентов — в принципе диссиденты = герои и диссиденты = художники, корифеи русского национального искусства XX века — политарта, политического концептуализма — это когда концепция идет впереди реализации изначально, по самой постановке вопроса, а демократический вождь масс идет впереди масс при очевидном и заведомом масс отсутствию, имея единственной реальной целью заявить свою позицию, голый концепт. Заявить вообще и конкретно — гебушке. Это и называется идти на посадку. Подразумевается: на взлет.

И хихикать тут не приходится. Не говоря, что не приходится хихикать автору, терпеть не могущему ничего элитарного и тоталитарного, автору=читателю по натуре и воспитанию (2), автору=читателю на самообслуживании, при с очевидным успехом организуемом отсутствии читателей у этого автора... Но важнее то, что хихикать тут не приходится никому. Во-первых, взлет он и есть взлет, какие бы ни имели место в дальнейшем маневры и приземления, а взлет остался... А во-вторых, мы уже, кажется, иногда забываем, что остался этот взлет и в другом смысле, простом, конкретном: в смысле — реально подействовал.

И если уж говорить о драме диссидентского движения, то такая драма отнюдь не в какой-то якобы оторванности-беспочвенности, фантазерстве и прожектерстве. Да наоборот же: просто трудно подобрать пример, где, когда подобное движение дало бы такой ясный, скорый и успешный результат.

И если говорить об успехе диссидентского движения, то... то о нем и говорить странно: успех вот он. Он и в том, что мы говорим и пишем, а главное — в том, что ходим мы пока по земле заодно с теми, кто ярится на нас и на то, что мы говорим-пишем; ходим, а не гнием в бункере и не пошли прахом заодно с ними всеми, кто на это ярится, а заодно и со всеми остальными на всей земной поверхности — в последнем и решительном бою великой битвы величайшей борьбы против человечества, в которой вскармливали-растили нас 70 лет. Как-никак.

Если же говорить о стремительном извращении результата, то с одной стороны, разговор это долгий, все тот же, а с другой стороны, по-

чему бы и не считать именно этот вот данный текст одним из эпизодов именно такого разговора?..

Было когда-то в шахматной литературе такое техническое выражение: избыточная защита. «Избыточная» в значении полезная. А то и необходимая. Когда фигура, поле защищены больше одного раза. Тогда у них другое самочувствие и другое значение. Диссидентам сочувствовало множество народа, только диссиденты выступали, а другие — нет. Мы же мало сказать сочувствовали диссидентской позиции — вполне, думаю, можно сказать, что у нас была такая же позиция, только выражалась она по-другому: мы не выступали, а мы стояли на своем. И на чем стоять, это свое у нас было. Дело в этом. Нашего реального результата не надо было дожидаться тридцать лет, сорок лет. Какой-никакой, он уже был наработан нами же тогда, сейчас и здесь.

(И извратить его — и сейчас все еще проблема. Решаемая с непрерывным успехом — но все-таки все как-то не до конца. Лонжюмо в составе Вознесенского и Кедрова устраивает себе Лианозово в телевизоре — свое Лианозово, в составе Холина-Сапгира без Сатуновского и Некрасова — устраивает себе такое Лианозово, которое устраивает Лонжюмо. Но устраивает себе его не окончательно: Лианозово опять где-то возникает... Не лонжюмовое Лианозово, а нормальное-реальное. Конечно, не в телевизоре. На то оно и Лонжюмо, со всеми его лонжюможностями. Но. Что должно быть Лонжюмо — это Лонжюмо усвоило прочно. Недоусвоив: лонжюмо должно быть тотально. А то какой смысл?)

И у нас, могу сказать, была таки эта необходимая избыточная защита. И поле, и фигура на поле. Была не только сама эта позиция протеста и независимости как таковая, но было и что-то, стоявшее в этой позиции и, в свою очередь, позицию подкреплявшее. Больше того: такое что-то, для чего, собственно, и позиция. *«Пусть выступит и скажет за себя тобой сделанное»* — это написано уже достаточно давно. Потому сами мы, действительно, не выступали, не беспокоили власти лично — власти же, тем не менее, беспокоили лично нас — такое бывало, поскольку бывало, что власти так или иначе беспокоило что-то, нами пишущееся, — что, собственно, мы в виду и имели. Отчасти.

Я писал уже — может, это и не мы молодцы. Может быть, это нам повезло, но как бы ни было, а насколько я знаю, нигде никто из лианозовских не уступал давлению, не каялся и от написанного не отрекался. Возможно, слабовато давили. Не спорю. Но слабо, но давили — это уж точно. Сами власти, таким образом, держали-таки нас за диссидентов — хоть и не самых крутых. Хотя диссиденты и диссидентки профи в этом вопросе с властями совпадали и не всегда. Смотря по обстоятельствам.

И хочешь не хочешь, а тут-то и придется, видно, коснуться этой самой драмы и того самого извращения-перерождения — поскольку и она-оно-они поневоле касались и касаются нас. Выражаясь нежно. Как и все такие, наверно, перерождения, было оно не то что стремительное, а просто изначальное. Искусство непрерывно своей практикой приглядывает за собой, ищет и находит само свои равновесия. Скажем, точку, за которой нонконформизм свалится в конформизм нонконформизма. А то ведь и свалится: не получится искусство — и все. С деятельностью же, и с самой благородной, — по-разному. Противостояние власти рождало вкус к власти, а приглядывать за собой желало не очень и не всегда. Грех бывал тут самый простой и извечный — нелады с заповедью: не делать другим, чего себе не желаешь.

И нонконформисты-профессионалы, борцы с командованием фактами в глобальном масштабе, для разрядки нервов, что ли, непрочь бывали такими же фактами и явлениями попробовать распорядиться слегка тут, где мы. Отдохнуть как бы на досуге. На игровом как бы поле, как им казалось.

Нет, ну смех же брал от козых морд, какие иной раз с самым торжественным видом строились нам в знак недоодобрения нашей недо-возвышенности и неклассичности. Да я от бабушки ушел, СОВфы ВЛАСовны, ушел внутри своего стиха — думаешь, это так просто мне было? И ушел раньше тебя — так от тебя, лодырь-бездарь ты, извини, в моем деле, как-нибудь да уйду. А то тебя пошлю. Мандельштамовский *почем-нынче-фунт-слоновьеого мяса*, стремглав тяжелея и дешевея, примерялся к масштабам континента. Нашелся же гусь, грозивший с укоризной из Парижа пальчиком каким-то тут мальчиком: балуются тут, вишь, стихом — свобода есть свобода есть свобода есть свобода есть свобода есть свобода есть свобода есть свобода... И, что характерно, в этом месте в этом своем жесте, считай, совпадая с тутошними тогдашними соколами, — только пальчики тут другого калибра.

И все драмы-беды, все подмены-извращения-перерождения движения крылись уже, увы, в самой ситуации, когда для противостояния системе требуется система, когда вышибают клин клином, власть властью, конформизм конформизмом и организацию организацией же. Не мы тут первые, навряд ли мы и последние. Еще нам, можно считать, и повезло — конечно, при всех наших бедах, спасибо этому нашему диссидентству, что все-таки хватило у него ума на главное. Недавно явно не хватило его какому-то борзому, и он размахнулся шапкой: «*К убийству Хрущева было все готово*» — про Эдуарда Кузнецова с приятелями — готово все, и больше того: стащили трое ребят винтовочку и договорились, что хотят из нее убить Хрущева...

Представить можно, как потешил автор материала, повеселил, разгрузил на минутку психику серьезных людей, нынешних заказных душегубов, если читает кто из них прессу... Действительно, куда готовей. Ильин, вон, поготовее был, не вышло и у него — и слава Богу. Ей-богу, беда стране с тысячелетним советским-протосоветским законом: ножик взял? Стало, замыслил что. Замыслил же — замыслил, стало, на Государя. Не иначе. Государево, стало, слово и дело. И ни-ни, никто послушаться Закона не может. Просто один так слушается, а другой — по-другому... И всякое у нас тут, стало, слово и дело — Государево. Искони у нас так: все Государственное...

К «убийству Хрущева» готово-то было вряд ли, а вообще к убийству, к крови, к террору — это пожалуйста. Всегда готовы. Как всем давно прекрасно известно. Найдутся — и как там, так и там. От настоящего провокаторства, революционерства, классической бесовщины Октября и всего длительного предоктября наше диссидентство упаслось уже одним к этому Октябрю омерзением. Но от всего того же самого в рабочем порядке в техническом смысле на бытовом уровне в повседневной практике и в обиходе — вот от этого спасти-застраховать никто-ничто не могло и не может. Это можно только изживать.

А можно — наживать. От нас зависит, какие мы. И так мы и живем — с одной стороны, конечно, будь наша эта смена власти еще и с какими-то эксцессами-приключениями, нынешняя вся муть новой системности, продажности, воровства и блата усилилась бы и еще десятикратно. С другой стороны, она и так усиливается, спокойно и уверенно, как бы ходом вещей. Так уж тому и быть, вроде. Словно бы и везде так. Как будто мы вот такие и есть.

Что же — что такой **живности**, как Герцен некогда выразился, такого вида, как **советский человек**, не выводилось никогда и нигде — такое мнение известно. Да хоть бы и тот же товарищ Сталин, небось, знал, что говорил. Что, понятно, просто не может не сказываться и через много-много времени после. С другой же стороны, все-таки не всегда же, не везде мы были такие. И тем и запомнилось и врезалось так всем Лианозово, что там вдруг оказались словно бы какие-то не такие. Нет уж, не святые отнюдь. Может, чем-то и неприятные. Да наверняка. Но вот не советские. При том, что и не антисоветские тоже. То есть — **по профессии**...

Помню, посчастливилось мне взять в Лианозово компанию, в которой был и один из якобы готовых к убийству (правда, в очерке его не хвалили). У него был трюк — он нацепил на ширинку медаль и то и дело распахивал полы — на вокзале и в электричке, в дороге, и когда приехали. Но успеха не имел совершенно: Рабина смотреть было интересней, причем всем без исключения. Лет через пять тип этот отличится

вдруг по мандату ЦК ВЛКСМ припадком комнацбредятины с симуляциями каких-то своих прозрений и покаяний в прегрешениях, и все вылезет совсем уж наружу. А тогда я просто застал момент, кухню и пшик на кухне провокашек таких прегрешений ради приготовлений к таким покаяниям и т.п. Пшик маленький, как говорили когда-то, но вонючий. Мелочь, а приятно (вспомнить). Пройдет двадцать лет, и...

И не хочу хвалиться, но чем-кем оборотится Эдичка — это я изложил тогда же издателю Эдички Бокову почти в точности. Подумаешь, действительно, бином лимона — национал-большевизм.

В Лианозово не проходили провокации, потому что в Лианозово не было конспирации. И что вы себе думаете: кругом была, а тут ее не было... Как субботы у Ицика под телегой. Конспирация-организация — субстанция, ужасно липучая, заразительная и обволакивающая, — именно популярная, домашне-обиходная конспирация с массой мелких жестов и телодвижений, кивков в сторону, потом в другую, подмигиваний, недомолвок, претензий и недоразумений. Признаться, какой Рабин молодец-умница — это толком стал я понимать уже чуть позднее, когда, с одной стороны, у самого чаще стали заводится дела, которым не нужна была тогда реклама, — какие-то публикации. Главное же, когда разок-другой сам побывал и в шкуре заподозренного, и в позе подозреваемого — так, в основном, в силу собственного плохого настроения. И последнее вспоминать особенно тошно. С тех пор крепко усвоил: лучше недозаподозрить, чем перезаподозрить. Хоть, конечно, легко рассуждать, когда и подозревать особо не в чем, и опасаться не за что...

Так или иначе, Лианозово была территория, свободная внутренне как от советской, так и от антисоветской власти, если даже признать такую власть правомерной и печально необходимой. А когда Лианозово кончилось, пыль с этой свободной территории каждый унес на подошвах. Нет, ни про какой диссидентский антисоветский террор ничего я не знаю. Никакого такого террора, слава Богу, повторяю, и не было.

Да и сами-то, собственно, диссидентские структуры и даже слово **диссиденты** — все это стало появляться позже, после процесса Синявского-Даниэля, а их арестовали как раз в последний лианозовский — 65-й год. Но само диссидентство, повадки, нравы — это, конечно, стало обозначаться раньше. О терроре и разговора нету. Другое дело, что наше дело такое — чувствительное и к напору. И к напорчику, если он изнутри или совсем близко, от тех, кто рядышком или по соседству. И я хочу только сказать, что никакие манеры властительности, никакое начальство нипочем не признавались ни в Лианозово, ни в Долгопрудном. Ни к каким борцам не чувствовалось там никакой излишней поч-

тельности. Мы, в общем-то, ощущали себя такими же, и если сегодня загребли кого-то, а с нами провели куда-то беседу, то это и значит, что никто не забыт, и кто знает, что будет завтра.

И с нами тогда, надо сказать, борцы, в общем, считались. Возможно, без особой охоты — и поздней считавшиеся с нами тогда, случалось, не упускали иногда шанса хоть чуть с кем-то из нас да посчитаться. Думаю, не очень Лианозову везет (3) еще и от этого. Не обожает начальство независимости — всякое — и то начальство тогда, и потом это, оказавшись у власти, оказываются, как видим, едины в решениях. Едино-душны. Ну не любят они такого: когда кто существует независимо от системы — органически, вплоть и до независимости от системы стихосложения...

Но и независимость не склонна давать спуску начальству — верней, давать спуску начальственности. Всякой. Любой. Но именно данную вот сейчас и здесь начальственность и подчиненность системе тыкать и тыкать рылом в ее бездарность-безрадостность и злобредность — это вполне может работать как мотор; отправляться от противного — законный путь рождения художественного метода. Начальство ее не обожает, а искусство без нее не живет, просто не бывает — без независимости. Если только оно не искусство социалистического реализма.

Что и требовалось доказать Лианозову. Что Лианозовым и доказалось. А в общем, нет-нет, да и подумается, что будь в бараке Рабина (при мне, впрочем, уже в бараке с канализацией и газом) телефон, как у многих из посетителей, не будь твердо установленного, воскресного, хоть ты тресни, дня посещений — не было бы и того Лианозова. Было бы хоть чуть-чуть, да не то. Была бы та же смутная полуконспирация, что и вокруг, а позиция была бы уже не та. Хоть чуть. А **хоть чуть** — кто помнит — это и был принцип всякой советской редакции. Чтобы был хоть чуть, да не ты — этого достаточно. Вот то самое чуть-чуть, которое в практике искусства, как известно, все всегда и решает. Все правильно: и практика с-реализма известное правило целиком подтвердила — с обратным знаком. Подтвердил главный практик с-реализма: совредактор. Может быть, лучший пример, на что способен тов. Чуть-чуть — как раз Глазков, издавший десятка полтора сборников и оставшийся, считайте, читателю неизвестным. Невоспринятым, по крайней мере. (Кстати, кто прочел «Предысторию» в № 1 «пушкина» — прошу еще раз прощения: познакомивший со стихами Глазкова А. Русанов на снимке — слева; с ошибкой оказались и подпись, и моя поправка.)

Некая из знаменитых фигур оппозиционного совискусства шутила: расхождения ее с властью не политические, а стилистические. Кто-то мог бы сказать и наоборот. Хотя бы Ахматова.

Лианозово как раз и было место, где вполне отчетливое расхождение шло по обеим линиям сразу, изначально и неразрывно — получалось, собственно, одно расхождение. Оно публике и предлагалось. Искусство, последовательно стоявшее поперек властям в искусстве. 1. По «форме». 2. По «содержанию». И поскольку по пункту первому, постольку и по второму. Или наоборот. 3. А отсюда и по поведению, манере с властями держаться. А тем самым (пункты 2 и 3), стало быть, стоявшее поперек властям уже не только в искусстве. Одно вытекало из другого и вело к третьему. Получалась позиция. Хочешь-нет...

Примеры авторов с подобной позицией — скажем, Г. Айги или Краснопевцев. Но это будут именно, скорей, отдельные авторы, а Лианозово тем и **Лианозово**, что жило и действовало как творческое сообщество. Друг у дружки так или иначе учились: налицо была, как в аквариуме, та точка концентрации, когда жизнь может уже развиваться и без внешней подкормки — только светом и кислородом. Все всеми питаются, и все и всё всем тут на пользу. Это уже, кажется, в-пятых, и это, с одной стороны, опять-таки давало резон и опору лианозовской школе, а с другой — дополнительно ставило под возможный удар, добавляло риск. И окончательно делало Лианозово **Лианозовым**.

ГБ любила **группы**. Как дичь. Но Лианозово не было группой, в смысле — каким-то сговором: просто несколько знакомых между собой художников пользовались рабинскими воскресными показами картин и везли работы сами — кому удобней, ближе доехать до станции Лианозово. Дело житейское. (*«Лианозовская группа состоит из моей дочки Вали, моей внучки Кати, внука Саши и его отца Оскара Рабина, которые живут в Лианозово...»* — знаменитая объяснительная Е.Л. Кропивницкого МОСХу по поводу создания лианозовской группы.)

С поэтами, в общем, то же самое. При мне один жил в Дубровках, другой на Петровке, третий, вообще, приезжал из Электростали. Близко (сравнительно) жили двое, но так или иначе никакого оформления — условий, манифестов, программ — все равно не было. Не было самого вкуса, охоты самим себя обзывать, числить какой-то группой и школой. Зато был серьезнейший интерес (за свой-то ручаюсь) — а что там делают остальные? Так лианозовская группа, которой не было, и формировала лианозовскую школу, которой не было, но которая что дальше, то больше ощущается ого какой школой.

И первым делом, считаю, формировал ее Рабин. Позиция Рабина и поэзия Рабина — картин Рабина. Насчет меня — просто я это знаю. Я писал уже не раз, как ошарашился, глазами увидав вот ту самую поэзию, какой жил и писать которую тогда учился. Что-то такое про себя говорил мне и Сатуновский, попав в Лианозово лет в

пятьдесят, уже сложившимся автором. Думаю, и другие не без того, так или иначе, хоть о Е.Л. Кропивницком, патриархе-родоначальнике, разговор, конечно, особый. (По давню, наверно, о Потаповой — да, конечно, и Немухин-Мастеркова, и Вечтомов, и Кропивницкий Лев, и полулианозовец Свешников — любой из них заслуживает и давно ждет отдельного разговора.)

Получалось единство, выраженность, определенность позиции и поэзии, поэзии и поэтики. Почему самоопределение, выявление тогда было так важно? (Просьба не путать со свежими тогда дискуссиями в «Литературной газете» о самовыражении. Там — о беспредельном самовыражении поистине неисчерпаемого народного достоинства — всех недр внутреннего мира советского писателя. Что-то вроде обогатительной индустрии. Тут — просто о выявлении явления. Т.е. исследовании — компоненте искусства, с совписательством несовместимом.)

1. Потому что это всегда так важно.

2. Потому что тогда это было так важно, как никогда. Искусство совсистемы, советское искусство всячески заявляло себя единственным возможным, истинным, настоящим искусством. Прочее по существу наперед, априорно объявлялось эпигонством — подражанием либо Западу, либо 10-20-м годам — то есть не настоящим. После черной сталинской дыры, принудительного провала памяти лет в 25-30 искусство по-маленьку только могло приходить в себя, собирать косточки. А с этим-то и вели идейную борьбу.

Ты вне системы = ты никто. Так разом и прорвать это *никтожество*. Заявиться определенно: не советское, независимое от советского искусства, искусство есть. Оно возможно. Бывает. Оно — вот оно. Определиться и заявиться — естественно извечно насущная задача каждого автора — для нас насущна была вдвое — для каждого из нас за себя как автора и за свое наше искусство. Которое, думаю, было все-таки больше, чем групповое искусство — потому-то, наверно, как групповое и не понималось, не осознавало, просто не ощущало себя. Нам, каждому — мне, по крайней мере, — было необходимо то, что делаем мы все. Нам было бы достаточно этого — как в том самом аквариуме. Мне — хватило бы: сужу по памяtnому резкому контрасту ощущения голода и насыщения до Лианозова и потом. Но это не значит, что никому не было интересно ничто другое — нет, конечно. Евушенко, Вознесенский, скажем, — небезынтересны, хоть сильно относительно: временами-местами. И никак не ихней «позицией». В бо-ольших кавычках. Окуджава, Глазков, Мартынов интересны безотносительно. Может быть, не всем. Но мне — безусловно. Без колебаний, в отличие хоть от Слуцкого. Рож-

дественский, Ахмадулина так же безотносительно-безусловно безынтересны — как тогда, так и потом и по настоящее время.

Есть такое ходовое выражение: определенность черт. Обычно пишут как-нибудь так: черты обретали определенность. Это не про Лианозово — там именно что с этой определенности черт и начинали (4). Во всяком случае, самые лианозовские из лианозовцев — Рабин, Холин с Сапгиром.

Дамба, клумба, облезлая липа.

Здание барачного типа.

Коридор. 18 квартир.

На стене лозунг:

«Миру — мир»... (Холин, 58-й)

...Лишь на стенке черный рупор

В нем гремит народный хор...

Дотянулся дернул шнур... (Сапгир, 59-й)

Сапгировские диссонансные и разноударные рифмы, холинские словагири-утоги. Резче, еще резче! Увесистей. Можно даже так: подчеркнутость черт, да еще и неоднократная. У Рабина — в простом, буквальном смысле. Почти ташистское включение — но Хартунг ли, Сулаж, сажа ли, битум, а первый широченный черный, откровенно массивированный контур, какого нет ни у Щукина, ни у Шагала, разом означил, выявил первый рабинский дом, город-пригород, весь рабинский мир и самого Рабина как художника.

Сразу надо сказать — рабинский черный цвет, мазанный иногда, кажется, кистью в кулаке, на самом деле живой, нажит-прожит и куда как живописен, несет образ и состояние. По-моему, этот черный-копченый контур как раз и явился средостением, живой тканью, заживлявшей разрыв между графичностью и живописностью как разрыв между насильственной всей нашей остальностью от опыта мировой живописи и острейшей из-за этого тогда необходимостью, просто жаждой современного искусства. (Похоже, думаю, вышло и с немухинской предметной абстракцией (5).)

И унылые каламбуры (первым отличился Генисаретский еще в 86-м насчет лианозовской чернухи), которые контур этот не может не провоцировать, и всегда-то звучали казенной бездарью, а уж в наши дни, да с нашим-то опытом всяческой приготы, группы ЕПС, некрореализма, экскрементальной группы Бреннера-Кулика и т.д. и т.п. — эти все «чернухи», «очернительства» смешно вспоминать. В наши дни. И однако. И ну и где в эти наши дни Рабин?.. А тогда — а чьи это дни — эти наши дни? Александра Шилова? Дни Ильи Глазунова? Так же, как и те дни. Так?

Вообще, если ночь с огнями — чернуха, тогда и Рабин — чернуха; чернота черт-контуров с самого начала была для особого по-рабински решительного конструирования плоскости сразу читаемыми, гнутыми и шевеленными линиями — разом и плоскостного, и активно перспективного, — ради четкого и чуткого жеста оживающих построек, мимики кусков неба, земли и своего горизонта. Для острой отчеркнутости, пика выявленности образа, состояния: удара тишины и непогожего электричества. Рабин — лирик, как никто другой. Как Окуджава. Чем, как и Окуджава, категорически оспаривает так называемые традиции советского искусства и литературы в самой-самой середине: они ведь без усталости долбили, что их искусство отличается чем — душевностью, сердечностью-человечностью...

Но. Пусть лирика и сердцевина искусства, но к лирике искусство сводится вряд ли. Да по-разному лирика может и пониматься. Стихи Я.А. Сатуновского сначала, пожалуй, и не показались мне таким бронейно-бронированным фактом, как холинские или сапгировские, — хоть заинтересовали не меньше. Уж очень были они **речевые**. Наконец-то больше речевые — и принципиально по-иному речевые, — чем стихи Маяковского. И как речевые стихи даже принципиальнее: **речевее**.

Выдумал тоже: Лелька Шувалова, Лелька Шувалова...

Кто же из нас не бормочет подобного в себе где-то, и не слыша себя. Но надо же было догадаться автору, что это стихи. Да ведь какие...

Максимальная как бы лианозовская заостренность-определенность-выраженность черт — фактичность — в стихе Сатуновского переходит в иную ипостась — в максимум бесспорности самого качества этой речи, когда речь определенно становится поэзией по качеству, внешне оставаясь совершенно неотличимой от речевого фона по формальным признакам — либо прикидывая те или иные атрибуты, знаки-признаки стихотворной техники как бы для смеху, отстраненно и номинально — так что сами эти атрибуты могут вызывать что-то даже вроде досады... В этом, собственно, и метод стиха, секрет техники: стихи работают как стихи, цепляются за память вообще без видимых признаков стиха — речь и речь. Наша, общая. Тут же становящаяся **моей** речью. А значит, являющаяся, в сущности, лирикой. Так я понимаю.

В принципе мне кажется глубоко сродни между собой и одинаково как читателя удивляет хотя бы

*Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня.*

и

*Люблю стихи Бориса Слуцкого,
Толковые суждения
Прямого харьковского хлопца,
Как говорит Овсей,
Веские доказательства недоказуемого.*

Но с Окуджавой все же видней: эмоция рождает интонацию, та — вибрацию и мелодию. У Сатуновского же налицо и самая очевидная, и самая непонятная определенность: вот стихи, а вот — нет. Не стихи. А там и там — речь. И только. Конец школярству-системности и много чему. Блату. Идеоложеству. Слово практике и интуиции, опыту и добросовестности. Поэзии.

Поэзия как она есть. Которая, наконец, сама себе стих (ведь признаки стихосложения и у Окуджавы — даже не для формы, а для проформы: просто это тоже речь такая, какой ей надо быть — не речь по стиху, а стих и мелодия по речи). Но у Сатуновского-то вообще нет стиха, никакого, может не быть никаких его видимых рудиментов, вроде, скажем, моей паронимии (так точно-тонко разобранный Дж. Янечком, но которая, к слову, сама-то по себе не сказать предмет гордости автора; скорей, предмет зависти — это как стих Сатуновского обходится и без нее. Или позже иногда стих, скажем, Ахметьева) — просто автор/читатель один на один лицом к лицу с фактом: вот этот участок речи — стих. На вид такой же неуклюжий, как любой другой, но отнюдь не любой другой неуклюжий — стих. А этот — да, стих, речевая стихия, природа, что проверяется хотя бы тем, что он запоминается — остается в памяти помимо воли.

Проверяется — еще понятно. А вот как находится?.. А это спросите у автора. Спросите, он ответит. Делом: еще таким же стихом... А ответь он иначе, опиши досконально технику — нам ответь так или самому себе — и — все. Это уже не стих, а это уже — индустриальное производство. Не в ямбе дело, а в этом. Стих — это что? Достижения стихосложения или ожившее слово? Этот-то сверхобостренный слух автора на конкретный речевой факт, несомненно выделяющийся из общего речевого фона, шума при видимом отсутствии внешних признаков только качеством речи, ее природностью-стихийностью, умение кристаллизовать из речевой плазмы такой **стих без стиха** и кажется пиком, высшей точкой лианозовской школы — школы фактичности. Фактического искусства. Попробуем сказать так. Искусства, которое на самом деле, в противоположность советскому и отгалкиванием от него. То, что значит слог ри у обэриутов — **реальное искусство**. Исходя из реаль-

ности, из факта, словить, поймать себя на факте речи как реальности внутренней: на поэзии = на случае стиха. Чего еще надо?

Вот же она: тайна стиха, стихосложением не маскируемая = не профанируемая. Уж если на то пошло... Воочию реальная тайна.

Март 1998 года

Примечания:

1 И давайте не забудем. Давайте не будем. Лонжюмо не забудем, не забудем Б-скую ГЭС. «...Считайте меня коммунистом!» — ну как же, как не уважить просьбу мэтра (этим словом Евтушенко недавно обозвали «Известия»), мэтра старого молодого кадра, высказанную печатно году в 60-м, во вполне сознательном возрасте, — не будем, наконец, наводить тень на плетень, а вот считать — считать давайте уже так и будем.

2 *я чего хочу сказать
чукча
читатель
хочет чукча читать
чего хочет чукча
и чего только нет
а такого нет
чувствую что хочу
думаю что могу
хочется почитать
и приходится
что
написать
это*

3 И поразительно, как же заразительно бывает Лианозово, и особенно этим качеством невезучести. Владислава Кулакова, единственного упорно пишущего о Лианозовской школе поэзии, в упор не желают видеть наши грантометры. Охотно, однако, замечал охотничий зоркий взор Немзера из вчерашнего «Сегодня»...

4 Вечный сюжет оттепельных-послеоттепельных агиток лет на 30: вот ты, мальчик, ерепенишься, возникаешь, свобод тебе каких-то еще. Ну. И для чего тебе этих, говоришь ты, свобод? Для искусства?.. Ну покажи-покажи... Вот это?.. Это и есть твое свободное искусство?.. Три ха-ха — ну, мы же говорили...

Советский режим, тоталитарная система в литературе-искусстве вопрос для не своих ставили ребром, как бы приглашая тех же лианозовцев начать прямо с результата — либо уж и не возникать... Прямо с другого конца — с факта. Факта речи, беря его там, где видишь. Это, думаю, и ощутила Л. Уйвари, со-

поставившая нас с немецкоязычными конкретистами. Факт может быть и фактом твоего производства. Главное — это должен быть факт твой — не то он и не факт, не результат... Цитата — но собственного изделия. Уже цитата... Представить как бы, как бы текст мог быть обкатан традицией. Употреблением. Как бы представить текст уже где-то там — в букварях. А что: там ему и быть, если он правда на самом деле.

И в общем, думаю, у лианозовцев это получилось. Вышло — прямо результат. Возможно, не бесплатно вышло. Наверно. Не без каких-то оговорок. Может, и потерь — на каком-то этапе. Скорей, именно что для начала: в силу такой вот постановки вопроса. Зато превзошел результат ожидания и опасения, то-то этот результат — искусство Лианозова — так долго, дружно и успешно замалчивается и постсоветской системой, нынешними своими, большинство которых, впрочем, попросту те же, что раньше. Зато уж и возникли, так возникли — тем самым, как никто тогда, думаю, доказав-показав самую возможность жизни в изображении и в стихе, жизни, изначально и по природе независимой от тоталитарной системы со всей ее идеологией, — вышло независимо от системы и вопреки ей. Последовательно.

Но дело не в том, что я думаю. Или кто-то. Дело в том, что делают, что творят. Сапгир — это хорошо. Но Сапгир — не все Лианозово и не первый в Лианозово. Первый, бесспорно, Рабин. Выставленный в Москве персонально единственный раз — в 91-м в Литмузее на Петровке — и замолчанный тогда целиком. Наглухо. Заодно с еще двумя выставками, сорока авторами и всей программой на два месяца — программой «Лианозово-Москва»... И в чем дело тут — не хочется вам разобраться? Попытаться? В чем-ком... ? Не интересно? Нет? Нет — и не говорите тогда: «Лианозово»...

5 Об этом «Абстракционизм без мягкого знака» // Пакет. — М., 1996.

Моему Я — грош цена

Интервью Елены Ознобкиной

с Валерием Подорогой

Елена Ознобкина: В поле вашего исследовательского интереса попадали различные фигуры. Их много. Это Пруст, Кафка, Кьеркегор, Ницше, Платонов, Флоренский, Достоевский, Лейбниц, Розанов, Хармс, Хайдеггер, Беккет. Что это за блуждание зрочка? Но, может быть, это «блуждание» не столь случайно, а подчинено какому-то закону или следует определенной интуиции?

Валерий Подорога: Почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь? Трудно ответить. Конечно, я исследую не известные имена, биографии, но скорее процессы и «движения» мысли в современном философском опыте. Хотя понятно, что я не могу избежать и магии имени, ибо значение той или иной фигуры, ее «вес», если угодно, уже предписан культуре, в которой я временно обитаю как исследователь...

Е.О.: Вопрос, который я задала, — все же не так прост. Он связан для меня с тем, что, например, у М. Мамардашвили (Вашего учителя) немногочисленные фигуры мировой мысли, с которыми он работал, — Декарт, Кант, Пруст, Данте — неразличимы в своих различиях, почти фантомальны и почти сливаются в одну фигуру. А в какой-то момент начинаешь подозревать, что эта последняя фигура — сам Мераб Мамардашвили... Все время и в разных текстах он говорит одно и то же, маниакально вводя новые вариации и повторяя известный ряд своих идей. У вас же исследуемые фигуры западной и отечественной мысли различны и различимы. Это, должно быть, связано с какой-то внутренней, глубинной исследовательской установкой...

В.П.: Тут два момента. Первый — это вопрос об избираемой технике философского анализа, а другой — вопрос о личности самого мыслящего, ее масштабе и свободе. Техника анализа, которую я предлагаю и которой придерживаюсь в своих исследованиях, определяется прежде всего уникальностью объекта анализа, «превосходством объекта». Я пытаюсь понять и тем самым продлить существование философского объекта в «своем» времени мысли. Когда же мы говорим о М. Мамардашвили; то должны напомнить себе о классическом образе философствования: философ — тот мудрец, кто управляет миром и кто т о л ь к о благодаря мысли, выставляя ряд трансцендентальных аргументов, которые он все время оттачивает, добивается — вполне им заслуженной — свободы от мира. Философ-мудрец — тот, кому сужено время, чтобы думать за весь мир. Вот эту классическую позицию М.М. я никак не могу разделить...

Е.О.: Присвоить...

В.П.: Да, и присвоить... М.М. человек совершенно иного масштаба, чем я, он обладал высокой свободой мысли, но мыслил в пределах классически предзаданной позиции, которая и воплощала для него смысл философского дела. Поэтому, например, говорить: «Сократ, Платон, Кант, Мамардашвили» — вполне нормально. Во всяком случае можно пытаться так говорить.

М.М. философствовал из *недостатка*, не из *избытка*, и в этом — объяснение его экзистенциального, сартристского стиля мысли. «Сделать себя, построить, собрать...», «найти начальную опору, точку, чтобы стать собой...» — все это симптоматика «недостатка»: мне всегда недостает того, что позволило бы мне стать тем, чем я являюсь. Непрерывное восполнение мыслью недостатка свободы. Мыслить, исходя из того, что сама мысль и будет восполнением этого экзистенциального недостатка.

«Свобода», «сознание», «усилие (напряжение)» — термины классического философского опыта, относимые к долженствованию, к тому, что должно, но не к тому, что есть. Не познание вообще, а *познание ради* чего-то более высокого, ради всеобщего Блага или Свободы. Сама же свобода, однако, поддается определению только в контексте экзистенциального выбора. Но в таком случае философствование становится одной из форм подготовки личного спасения, и спасти саму мысль можно не актом мысли, а только веровательным актом, несомненно предполагающим выход из мысли. В этом, возможно, наиболее острое противоречие мысли М.М. Ведь с одной стороны, свобода есть то, чего мы добиваемся (с помощью мысли), но с другой стороны, если мысль несвободна изначально, то мы не сможем добиться с ее помощью свобо-

ды. И это фундаментальное противоречие может быть снято лишь признанием за философским актом функции личного спасения.

Е.О.: Иначе говоря, усилие М.М. было прежде всего личностным. Сравнить «характер» Вас как исследователя с характером Мераба Мамардашвили я могу попробовать в других словах. М.М. в его текстах — много. Когда я читаю Вас, то на первый (возможно, поверхностный) взгляд, Вас там просто нет.

В.П.: ...Я не столько отвергаю подобную этику усилия («мыслить из недостатка»), сколько не пытаюсь противопоставить саму мысль — чему-либо, тем более приписать ей врожденное стремление к свободе. Свобода — не цель, а состояние жизни, и наверное, мы мыслим не к ней, а **внутри** нее. Приняв это, можно представить себе мышление, которое озабочено только собой, не чем-то Внешним ему и чем ему, якобы, необходимо стать... А это значит, что, когда я размышляю, я не только не присваиваю себе собственную мысль, но мысль остается единственной возможностью быть-в-мире, быть в том, что является тебе Внешним.

Мыслить — это как бы пытаться высвободиться от себя как экзистенциального субъекта. Можно мыслить из полноты бытия, а не из недостатка, ущерба, травмы и предполагать вместе с Декартом (Лейбницем или Спинозой) неизменное превосходство объекта над мыслью... Я лишь обрисовываю тенденцию, на основе которой складывается ряд постулатов моей аналитической работы...

М.М. желал формы, призывал и даже воцелел к ней (в частности, полагал, что установление культа мыслительной формы будет истинным ответом на аморфность, бесформенность и безответственность традиций отечественной философии). Я не желаю формы, я, скорее, анализирую формы мысли (процессы, ведущие к форме), предполагая, что она *всегда дана*. Форма или уже дана, или не существует.

Е.О.: Это Ваша исследовательская установка, учитывающая, в том числе, и «неудачу» М.М.?

В.П.: Живой всегда кажется нам (живым) удачливее, чем уже мертвый. Как будто у него много шансов что-то изменить, завершить, исправить ошибку и т.п. Но я думаю, что, находясь в своем времени, я не могу себе представить время М.М. (хотя и был его современником и даже «учеником»). Я и не претендую на это. И я знаю, что в моем времени мысль М.М. может находиться лишь благодаря тому, что теперь я должен общаться с ней и тем самым обогащать собственное время. Может быть, мое размышление — это и не лучшая форма существования для

мысли М.М., но если он больше не в силах говорить из своего времени, то другое время узурпирует право его речи...

Пока мыслитель жив, он и велик, и он есть то, что есть. Неверно, что лишь после смерти автора — когда наступает время отдания почестей, запоздалых наград, создания культа и фондов, появления собрания сочинений, «серьезного» изучения его наследия — наступает время его «подлинной жизни».

Однако я боюсь, что время признания М.М. постепенно проходит или еще не пришло, так как отношение к нему не может уже складываться через его собственное отношение к собственному же философствованию. Признание?.. Когда от автора ничего не осталось, ничего «живого», кроме этой груды бумаги... Но это признание ничего не стоит... автор этого автора мертв, и он больше не участвует в организации собственной жизни и жизни других... Мне кажется, М.М. имел наибольшее признание при жизни.

Е.О.: Не хотите ли Вы сказать (это моя внутренняя экстраполяция выраженной Вами сейчас позиции), что живой действующий автор не нуждается в признании (научном, общественном или политическом)?

В.П.: Естественно, что нуждается, но в определенных границах, соразмерных его возможностям жить-мыслить-быть. Однако он не должен быть заложником чужого внимания к себе, — но по мере сил должен уклоняться от него, таиться и даже исчезать... Должно быть не только признание, но и доверие автора к признанию. Вот почему следует различать сегодня возможность письма (мысли) и авторски-личное, биографическое отношение к себе как живому.

Сегодняшнее признание полностью контролируется СМИ, но в советское время институт признания «работал» иным образом. М.М. был одним из первых, кто сказал открыто: «Я думаю...» Можно улыбнуться, и даже снисходительно. Но сказать «я думаю» — это значит нарушить два жестких правила: правило научности и академизма (тоталитарно понимаемых) и правило безличности дела мысли (думает система, не отдельный субъект, а общий или совокупный). Я как знак обособленности, выпадения из коллектива было всегда под подозрением. М.М. говорил от собственного имени, и не просто говорил, а мыслил, строил перед нами, его первыми слушателями конца 60-х, свою философию. И вот открытие того, что есть тот, кто берет на себя смелость сказать нечто, за что он сам будет отвечать, — и было для меня самым поразительным и сокрушающим событием. Не то, что он говорил, но то, что он вообще так это говорил. Как это так, что некто берет на себя риск и смелость говорить о фи-

лософии, которую тут же на глазах и создает? Это был вызов советской системе со стороны философской мысли, философского дела. Это противостояние М.М. системе и стало его признанием, вероятно, сегодня уже невозможным в такой степени.

Е.О.: Сделаем тогда еще один шаг, чтобы приблизиться к пониманию Вашей позиции...

В.П.: Эскизно ее можно описать следующим образом. Я полагаю, что каждая отдельная задача, которая решается тем или иным философом, с которым я вступаю в со-общение, не ограничивается признанием его вклада в универсальную ментальную матрицу (в которую каждый, подобно пчеле, несет свою толику замечательного ментального вещества, наполняющего соты мировой мысли), злополучным «приращением знания» (как недавно говорили). Мне представляется, что любая законченная мысль, и прежде всего это относится к философской классике, не может сегодня пониматься из ее собственного времени и той картины мира, какую она признавала в качестве истинного образа или «мировой картины». Я не могу делать вид, что я там, в той мысли и в том образе ушедшего мира мысли, и поэтому, благодаря этой странной способности быть там, я и понимаю то, что было...

Говорят, что философ всегда бьется над решением неразрешенных проблем, которые он наследует. Но это полный нонсенс. В философии нет неразрешимых проблем. Раз философ сформулировал проблему — то и решил. Решение есть возможность решения, но совсем не результат.

Никакое философское произведение не существует, то есть оно не может быть выражено суммой идей, понятий, и его нет даже в строго разработанной системе категорий (как у Канта, например). Философское произведение — не книга, и даже не «тайная» книга, оно лишь возможно, виртуально. Декарт наш современник в том смысле, в каком мы можем мыслить возможность картезианской системы, которая так и не сложилась. И тем не менее, есть мир картезианской философии, который равен возможному произведению Декарта...

Мне интересен Декарт как возможность некоего направления мысли. Я не говорю: «Декарт по этому поводу мог бы сказать следующее, а потому...» Я признаю молчание Декарта. Я знаю, что путь Декарта к произведению не мог быть завершен...

Е.О.: Вы хотите помочь Декарту пройти не пройденный им путь... Большая претензия...

В.П.: Наверное, Вы правы. Однако, замечу, лишь в том случае, если бы я претендовал на право мыслить от имени Декарта в собственной культуре (был бы «картезианцем», как есть «гуссерлианцы» или «фрейдисты»). Декарт для меня не имя, а *случай* (в психиатрии болезнь Декарта могла бы быть описана как небывалый случай увлечения философией).

Декарт — не имя, он — не мой современник, не учитель, имя Декарта — это знак, указывающий на возможность существования в моем времени некоего философского произведения *cogito*. Другими словами, *cogito* — это возможность мысли понять себя как другую мысль. *Cogito* — скорее симптоматика этого случая, нежели открыто поставленная проблема, оно скорее указывает на «точку» картезианской мании, чем отвечает всем условиям собственной непротиворечивости и достоверности. Само высказывание «Я мыслю (следовательно) я существую» — плацдарм *cogito* — опровергалось столько раз, сколько может только пригрестись... Мне кажется, пора остановить этот поток опровержений и наконец-то признать, что в виде чисто логического основания субъективности *cogito* не может вступить в наше время мысли...

Е.О.: *Вот Вы странствуете по этим мирам, выясняете возможности их существования, изучаете их мельчайшие детали, колебания, нарушения, разрывы и т.п. Даете шанс состояться виртуальным произведениям... Но как Вы относитесь к себе, как опознаете, и опознаете ли себя в этих странствиях в качестве автора собственной мысли?*

В.П.: Конечно, нет. Автором-собственником я себя не опознаю (ни политически, ни юридически). Я хотел бы обладать правом интеллектуальной собственности, но, к сожалению, это пока неосуществимая мечта.

Может быть, это и странствия — как от-странения собственной мысли в качестве чужой... Странствию противостоит *близость-к-себе*. Моему Я — грош цена. Я, вообще, думаю, что ценность самопознания, которую некогда возвысили с идеологически-религиозными и просветительскими целями, сильно преувеличена.

Самопознание — это род контроля, который может быть даже тотальным, но он никогда не открывает нам нас самих, ибо сами мы существуем лишь за счет психосоматических, «телесных» автоматизмов, а они не предполагают постоянной остановки и переделки. Наше Я — множественный конструкт. И всякое живое Я, поскольку оно живое, не допускает включения в свою систему жизнедеятельности абсолютной инстанции контроля и остановки.

Когда вы читаете дневники Кафки или письма Пруста, то можете видеть, насколько их Я остается вне внимания и насколько, напротив,

силы, формирующие Я персонажа, всегда интересны и притягивают их пристальное внимание.

Сегодня десубъективированы не только переживания толпы, но и остроумие «умников», «извращенцев», «харизматиков». Десубъективация стала социально значимым актом выживания общества.

Исходить из позиций, которых мы не завоевали, — вот к чему я призываю. Человек, который рассказывает о собственной истории жизни, — это случай, выслушать полностью подобную историю можно только за деньги. Я хочу сказать, что сегодня Я — симптоматика невроза, и даже тот, кто еще надеется на силу первичного нарциссизма (впрочем, мы все отчасти на это еще надеемся), прекрасно знает, что его Я — это лишь прикрытие и за ним нет никакой истории. Разве можно нам превзойти августианскую «Исповедь» или «Исповедь» Руссо, или Толстого... Известный тип автобиографии как самопознания состоялся раз и навсегда, и там действительно сохранялась иллюзия присвоения собственного Я, иллюзия самопознания...

Е.О.: Вы хотите сказать, что Вас никакой личный невроз, никакая травма не беспокоит?

В.П.: Именно. И поэтому нет никаких проблем самопознания. У себя мне нечего познавать. Хотя я и веду ежедневные записи по всякому поводу, из них не выстраивается линия близости к собственному Я, это не дневник «души». Вероятно, этого Я, «моего», и не существует, или, точнее, оно существует для Вас, спрашивающей, но не для меня, отвечающего... Вы знаете, очевидно, что невроз особенно незаметен тогда, когда он признан нормой.

Е.О.: А с чем, скажем, связан Ваш интерес к такой фигуре, как Мишель Фуко? Его мышление — не в последнюю очередь — мне представляется как раз выражением позиции социального активизма...

В.П.: У меня есть одна странная идея: написать одновременно две книги, но как одно исследование, которое будет посвящено Фуко-Эйзенштейну (если угодно, Эйзенштейну-Фуко). Я не пишу только о Фуко и не пишу только об Эйзенштейне, я пишу словно об этом дефисном значке, который позволил мне их соединить в одну фигуру.

Здесь много пересечений и центрации на одной точке... Их биографии, их слава, их взаимоотношения с властью, их страдания и болезни, их революционный пафос, уже труднопредставимый сегодня. Но самое интересное для меня — их разные пути отрицания (ликвидации)

собственного биографического Я, причем по разным, возможно даже, противостоящим друг другу, причинам.

Е.О.: Не пугает ли Вас и не кажется ли Вам иногда, что Ваш читатель не существует, не знаю уже или еще...

В.П.: Нет, не пугает. Поскольку у меня нет читателей — есть слушатели, и я их даже знаю в лицо. Теоретически я предполагаю, что у меня есть и читатели, но только теоретически, поскольку представить себе, что меня кто-то читает или читает книгу, опубликованную под моим именем, мне кажется невероятным. Я говорю это, не лукавя... Зачем читать чужую книгу, когда надо писать свою... Действительно, зачем? Читатель каких-либо философских текстов сегодня редок, очень редок; может быть, впервые количество читателей философской книги приближается к количеству авторов.

Е.О.: То есть Вы пишете — даже ввиду предполагаемого отсутствия читателей?

В.П.: Знаете, когда так много пишешь (даже неважно, часто ли публикуешься), возникает вопрос: не графоман ли?

Можно сказать: что за беспокойство — раз не публикуешься, то и не графоман. А если публикуешься, и много... — тогда что? Графоман?

Желаешь писать — пиши! Но помни, что теперь это желание писать стало общенародным достоянием, способностью каждого грамотного и не очень. Как писать, что писать, о чем писать — не имеет никакого смысла, важно писать вообще, если ты, конечно, нуждаешься в той публичной сфере, где писательство есть одно из условий выживания.

Я бы ввел различие между *графоманией поневоле*, *графоманией по случаю* и *графоманией как задачей* (все другие образцы графомании я считаю неинтересными и слишком явно клиническими).

Многие сегодня стали графоманами не по своей воле. Их читатель рассеялся, с трудом находим — а они все пишут, романы пишут, словно письма в прошлое. Графомания поневоле...

Советский литератор сегодня — это графоман, но, возможно, осознав себя как представителя жанра, он вновь станет писателем... Когда тебя вынуждают использовать письмо как знак твоей социальной и личной идентичности (Ленин и Гайдар, мне кажется, относятся сюда) — это и есть графомания по случаю.

Последний вид — графомания как задача — наиболее сложен, но очень интересен. Сюда отчасти (но только отчасти) я отношу и себя. Со-

циальный и политический (академический) контроль за письмом утрачен. Поэтому так интересен феномен поэта-графомана, философа-графомана, романиста-графомана...

Думать и писать, казалось бы, разные вещи. Концептуальный роман и поэзия (Пригов, Рубинштейн, Сорокин и др.) вполне отражают современный успех графомании, но они же и предупреждают нас, что графомания не столь плоский феномен (а графоман — уже не оскорбление). Недостаточно назвать человека, страдающего всепоглощающим влечением (манией) к писательству, графоманом.

Графоману в высшем смысле всегда недостает объекта, и он страдает от этого биографически-телесно, он должен вернуть себе объект. Но именно такого объекта и не существует (по разным причинам, даже по перестроечно-политическим). Исчезновение объекта и стало предметом развития графомании в наше время. Графоман (в стиле «концепта») имитирует присутствие объекта, но и постоянно показывает, что это не тот объект, который может быть присвоен, то есть не тот объект, который в силах остановить это вечное писательство.

Письмо само по себе становится единственным объектом удовольствия, и именно тем, что присваивается и позволяет жить и выживать. Отправление письма и создает меня в качестве собственного объекта. А это, как я полагаю, очень хороший признак, который указывает на то, что восстанавливается слой первичного нарциссизма.

Графоман — персонаж современной культурной ситуации, который не нуждается в знании (шире — в размышлении), зато он достигает определенного искусства в непрерывном копировании своей страсти к письму, ибо именно по свидетельствам этой страсти он и признает себя существующим.

Ты можешь еще что-то создать, если отнесешься к писательскому делу как графоман. Отсюда и появляется, на мой взгляд, жанр «фэнтази» (кислотный), сменяющий жанр «концепта» (садистский), — этакий переходный мостик в системе распространения образов от Интернета к СМИ и обратно. Завершается период разрушения одной образной системы и ее смены на другую. Виртуальность объекта признается качеством его существования. Это стили, отражающие условия и момент наступления социального (и «личного», конечно) оргазма. Жанр и специфика современного детектива или любовного романа примыкают к вышеуказанным жанрам, все различие — лишь в адресате. И это замечательно! Литературы больше нет, так как нет универсального читателя, а раз так, то движение литератора сегодня не может ограничиваться одной (хотя и любимой) «площадкой», литератор должен найти для себя более универсальные выразительные средства, то есть прекратить существовать.

Е.О.: Что же все-таки произошло? Почему графомания стала как бы символом современного творческого усилия?

В.П.: Не просто символом. Это и есть творческое усилие сегодня. Монетарный принцип вместо производственного. Труд над образцом поменялся на праздность и радость копирования. Сегодня возможно то, что ранее было невозможно и недопустимо по этическим и другим соображениям, — это уровень «первичного нарциссизма». Прежде всего, появились какие-никакие, но СМИ, а это родина современной графомании. В системе современной культуры СМИ начинают занимать невиданное место — фактически конструировать все социально, культурно и эстетически значимые образы общества. Тотальное зеркало.

Естественно, что разрушились старые иерархии письма, социальная и академическая ценность знания, образования и прочее, что ранее находилось под контролем государства (цензурой в широком смысле). Теперь производятся не знания и способы их усвоения, а образы знания, а точнее — образы, которые могут быть *образами неважно чего...*

Если ранее, например, плохо или хорошо, но подтверждался престиж знания, образованности, автономии и личной ответственности (на общем психологическом фоне «духовного сопротивления» существующему режиму власти), то сейчас это не играет столь значимой роли. СМИ — громадная фабрика образов неважно чего, и смысл имеет только быстрота, с какой производится манипуляция откопированными образами других образов, их воспроизведение на экране массового сознания.

СМИ — это та область фантазматической жизни нашего общества, которая сегодня плохо поддается анализу или совсем не изучается. Общество не имеет пока сил для контроля за собственными фантазиями, оно слишком *порнографично...* Массовая культура, наконец-то, обретает свои ясные очертания. Теперь знание распространяется лишь в виде образов, а само распространение и будет копированием уже скопированного, от образа к образу через образ. И это нормально. Ненормально лишь то, что создается миф о непредвзятости и подлинности СМИ как выразителей народного образа мечты. Но СМИ ничего не производят — лишь копируют откопированное. Это просто вечный праздник дураков... «Праздник дураков» — это выражение я использую именно в том смысле, в каком когда-то Ницше назвал журналистов дураками культуры... По-моему, это не обидно: ведь знание уже несущественно, а существенно то, что мы с ним делаем, когда отбрасываем в сторону условия, при которых оно может потребляться. Изготавливается и образ, и его потребитель.

Естественно, что гуманитарное знание начинает испытывать сильнейшее давление со стороны СМИ, поскольку они пытаются перерабо-

тать знание в образные технологии и рассматривать знание как род еще не освоенных образов. Так, например, главный персонаж СМИ, которого условно можно назвать Ведущим, обретает значение, совершенно несопоставимое с его функцией технического ретранслятора не им порожденных образов и высказываний (признаем, что других высказываний и не существует). Плагиаты, компроматы, копирайты... Кража интеллектуальной собственности... Все это и есть условия существования сегодняшних СМИ.

Ведущий — подлинный Суверен массовой культуры. Сегодня он, пожалуй, единственный, кто имеет прямой выход в сферу потребления и возможность ее создавать, кто создает **события**... и их продает.

Е.О.: Вашему описанию не откажешь в злой иронии. Но что за ней? Ностальгия? Утопия? И хочется, не убоявшись анахронизма вопроса, спросить — а что делать?.. Как Вы решаете это для себя?

В.П.: Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли, а это значит — признали за мной право на позицию, которая кажется на первый взгляд слишком деструктивной, если не анахронизмом... Как это так — отрицать СМИ? Как это так — ставить под сомнение достижения прозы Сорокина или Пелевина («Ведь для вас у нас нет других писателей (как и других философов)!») и в то же время не славить Битова или Аксенова? Как это так?..

Разве возможна сегодня какая-либо радикальная критика общества, если она не ведет и не подталкивает общество к новой революционной ситуации, конфронтации и даже новой крови? Разве есть что-то третье?

Думаю, да. Существует возможность радикальной критики изнутри. Радикальной, но реформистской. И ее радикальность не должна слабеть из-за ее эволюционного характера. Я полагаю, что и сегодня должны обязательно существовать ниши, благодаря которым могла бы осуществляться критика общественных и государственных институтов, *критика знания*. К объектам такой критики можно отнести СМИ, но строить анализ, допустим, как критическую *теорию восприятия*...

Если мне говорят, что существует так называемая *четвертая власть*, и сами служители СМИ считают себя чем-то вроде более честных и знающих депутатов, — то это их дело... Нет никакой четвертой власти. Есть один из способов проявления власти, и это СМИ. О другой власти можно говорить лишь с точки зрения знания. Знание есть *другая власть*. Но было бы ошибочно приписывать этой власти функции, которые мы приписываем власти как таковой.

Власть, которая формируется прежде всего по отношению к функционально реальной, действующей власти и ее инструментам, ни в коей мере не определяется тем «местом», которое ей пытается навязать господствующий политический режим. Ницше говорит нам о *власти-воле*, Фуко — о *власти-знании*, Поль Вирилио — о *власти-скорости* — все это описания власти как таковой и одновременно род знания, который противостоит самой Власти, ибо знание не может не быть критичным. Поверьте, здесь дело не в интеллектуалах — «носителях знания», не об их борьбе за власть идет речь. Скорее, о другом: насколько общество допускает критику собственных институтов, требуя их постоянного совершенствования, а не отмены и разрушения, настолько оно будет всегда нуждаться в независимом знании.

Область гуманитарного знания, так или иначе, аккумулирует множество аналитических инструментов, процедур и объектов, которые служат цели этой непрерывной и всегда имманентной критики существующих институтов общества, и прежде всего — институтов власти. Должна существовать критическая инстанция, которая не нуждается в поощрении, но и не ставится под сомнение самим обществом.

Если во мне и можно признать сторонника утопии, то эта утопия будет утопией Университета, который, включая в себя все образовательные, воспитательные и познавательные функции, был бы отделен от государства. Если угодно, Церкви и Государству необходимо противопоставить Университет — форму не промежуточную и дополнительную, а социально автономную и независимую: вере и насилию противопоставить знание. Понимаю, что моя утопия вторична, понимаю также и слабости этого вынужденного утопизирования. Ведь утопия и возникает как защита от будущего, поэтому-то и нет позитивных утопий, все утопии негативны. Но возможно, что критика с точки зрения утопии познания (знания) более естественна, чем с точки зрения высшей утопии, ограничивающей наше существование в настоящем...

Е.О.: Насколько я понимаю, Вас уже более не вдохновляет перестроечный оптимизм начала 90-х годов, и в манифест группы «Ad Marginem» внесены серьезные поправки. В таком случае, какие для Вас наиболее значимы?

В.П.: Я не думаю, что проект «Ad Marginem» потерял свою интеллектуальную привлекательность; скорее, он так и не был реализован. Книжная коллекция «По краям» сыграла свою роль, и весьма существенную, в духовной ситуации того времени, да и сейчас она воспринимается как авангардная, то ли как постмодернистская, хотя выходят в свет уже иные книги, не столь заумные и вызывающие.

Произошло то, что произошло. Сегодня мы видим: процесс усвоения нового философского (шире — гуманитарного) языка оказался не революционным и совсем не «взрывным»... Необходимо время, неопределенно длительное время чтения-понимания, время для большой аналитической и переводческой работы. И это время достаточно двусмысленное. С одной стороны, оно необходимо, чтобы если не научиться использовать новые возможности мысли, то уж во всяком случае знать, что такие возможности предоставлены; с другой же стороны, совершенно очевидно, что отечественная культура подчиняется *своему* времени (несводимому ко времени культурного провала).

Иначе говоря, уже неважно то, что ты не успел осмыслить, важно лишь отношение к собственному времени. Первое время чрезвычайно *медленное*, в то время как другое — *быстрое*. Там мыслить, здесь просто воспринимать и реагировать. Теперь-то мы об этом знаем, хотя раньше все-таки казалось, что открывшаяся истина должна внезапно озарять, одаривать пониманием... Думалось, что стоит напрячься — и можно вспомнить все то знание, о котором мы не ведали. Мне кажется, что язык интеллектуальной тусовки и появляется из смешения этих двух времен, причем доминирующим выступает язык, реактивный, быстрый, графоманский и плагиаторский, он замещает медленные процессы усвоения культурой нового опыта, — быстротой реакции на него.

Сегодня же очевидно, что сочетать эти два времени невозможно, необходим выбор... Да он уже совершен.

Декабрь 1997 года

ЭЛИТЫ

ИВАН ДАВЫДОВ

Новое русское средневековье

Ни одно государство, какую бы степень свободы и демократии оно ни декларировало, не существует без идеологии. Это азбучная истина. Государственная идеология либо прямо излагается посредством специальных текстов, что характерно для тоталитарных государств, либо внедряется в массовое сознание иными, более завуалированными путями. В современной России, по крайней мере внешне, никто проблемами формирования государственной идеологии не озабочен. Однако это только видимость: есть как минимум одна организация, имеющая многовековой опыт идеологической работы и упорно стремящаяся заполнить пустующую нишу идеологообразующего механизма новой России. Я говорю о Русской православной церкви.

Представителей этой древней организации можно увидеть рядом с политиками всех мастей, руководителями всех рангов (будь то даже руководители, как пошутил недавно один московский журналист). Нет ни одного телеканала, на котором не шли бы соответствующие передачи, ни одной газеты без рубрики «Уголок священника» или чего-нибудь в этом роде. Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо, не пытаюсь проследить, насколько тесна связь православия и русской культуры, etc. Я просто констатирую факты.

Идеология формируется на уровне массового сознания. Рафинированные интеллектуалы в расчет не берутся, поскольку, во-первых, их все равно ни в чем не убедишь, а во-вторых, несмотря на иллюзию значимости, которую они сами себе создают, их так мало, что можно попросту игнорировать их существование. Умелый идеолог поэтому не

стал бы делиться с ними своими мыслями, но постарался бы воздействовать на умы наиболее многочисленной части общества, которая менее всего подготовлена к критическому восприятию чего-либо. Новые русские идеологи из Русской православной церкви действуют именно так. Российская идеология, как она видится православным деятелям, содержится не в классических трудах религиозных мыслителей, которые рассчитаны на подготовленную аудиторию и за публикацию которых Московскую патриархию с подчиненными ей организациями можно только благодарить. Она умело скрыта за незначительными на первый взгляд деталями текстов, предназначенных для самого непритязательного читателя, заведомо неспособного к их самостоятельному анализу, и выходящих в церковных издательствах грандиозными по нынешним временам тиражами. Идеино и литературно второсортные, тексты эти, как правило, не попадают в поле зрения образованного читателя. А жаль, ведь именно посредством такой литературы формируется мировоззрение, которое, быть может, завтра станет официальной идеологией нашего государства.

Нижеследующие заметки есть попытка анализа нескольких текстов подобного рода — то есть для анализа не предназначенных — именно с точки зрения их направленности на формирование идеологии. Предлагаемые к обсуждению вопросы — не вопросы веры. Вопрос веры есть сугубо личное дело человека. Они также не суть вопросы теологии, это как раз сфера приложения усилий церковных писателей. То, о чем хотелось бы поговорить, выходит за рамки обычной деятельности отдельной религиозной конфессии, пусть даже самой влиятельной в стране, и напрямую касается каждого, как бы пафосно это ни звучало.

Тенденции к интеграции во всех сферах современной жизни несомненны и, похоже, неизбежны. С 30-х годов XX века такие тенденции обозначились и в христианских церквях. Я говорю о так называемом экуменическом движении. Анализ его увел бы нас далеко за рамки темы, да и важно здесь другое, а именно: единственной значительной христианской конфессией, относящейся к экуменизму с агрессивным неприятием (которое было стилем мышления христианских церквей в прошлом и из-за которого, кстати, пролито немало крови), является Русская православная церковь. Существует книга архимандритов Серафима (Алексиева) и Сергия (Язаджиева) «Почему православному христианину нельзя быть экуменистом» (СПб., 1992; тираж 30 000 экз.). Тоталитарный стиль мышления современных христианских авторов, очевидный уже из названия, заслуживает того, чтобы стать предметом отдельного рассмотре-

ния, но не станем сейчас на этом останавливаться. Приведу только одну из причин, почему православному нельзя etc., на мой взгляд, довольно ясно характеризующую и книгу, и ее потенциальных читателей: *«Православный христианин не должен даже помышлять об участии в экуменическом движении... которое... вводит танцы и джаз в богослужение»* (с. 266). Все эти препирательства между церквями суть, конечно, их личное дело. Я же хочу обратить внимание именно на агрессивную замкнутость Русской православной церкви и на то, сколь жестко внедряются в сознание верующих мысли ее идеологов. Прочитанная книга показательна также как пример умелого манипулирования цитатами из самых разнообразных источников. Интересны и приемы критики потенциальных противников. Вот книга священника Родиона «Люди и демоны» (Калуга-Минск-Ново-Казачье, год не указан, но не ранее 1992-го; тираж 20 000 экз.), посвященная борьбе с астрологами, магами и прочими неприятными людьми того же плана. Читаем: *«И если, по некоторым данным, „Ом“ — основная индуистская мантра — является вибрацией самого сатаны, а мантра Бхагават-Гиты (1) „Хари Кришна“ в одном из переводов означает „черная благодать“, то вполне понятно, куда ведет этот путь»* (с. 45). Между прочим, это уже не только идейный спор между верованиями, но нечто более серьезное: даже я — человек, от религиозных споров далекий, — начинаю испытывать антипатию к людям, вибрирующим вместе с Сатаной. Что уж говорить об убежденных сторонниках православия.

Но и разговор об этих двух изданиях напрямую не относится к нашей теме, хотя дает определенное представление о качестве и методах православной пропаганды. Кстати, для более интеллигентной публики существует другая книга о вреде экуменизма — А. Кураев, «Все ли равно, как верить?» (Клин, 1994; тираж 35 000 экз.). Отец Андрей Кураев, как известно, читает лекции в Московском университете.

Теперь время перейти, наконец, к основному предмету нашего разговора. Это будет маленькая книжка «Православные чудеса в XX веке», впервые вышедшая в Москве в 1993 году тиражом 26 000 экземпляров и выдержавшая с тех пор, по моим сведениям, еще три издания. Книги, более умело нацеленной на формирование определенной идеологии, на выработку у читателя специфического отношения практически ко всем вопросам общественной, а значит, и государственной жизни, я, пожалуй, не встречал. Создатели небезызвестного манифеста о скитающемся по Европе призраке, что называется, отдыхают. Именно случайное знакомство с этой книгой, помимо странного удовольствия, которое спо-

собны иногда доставить удручающие в литературном отношении тексты, заставило меня впервые задуматься над тем, о чем я сейчас говорю. Литературные достоинства книги обсуждать не хотел, но все же не удержусь. Название одной из трогательных новелл «Четки — тоже телефон» (с. 258) так и хочется продолжить строкой безвестного гения: «только маленький совсем». Собственно, в этом плане замечательна вся книга, можно цитировать наугад... Но мы отвлеклись.

Содержание книги довольно утомительно и однообразно: мироточивые иконы, чудесные исцеления и прочая пища для бесед старушек у подъездов. Но, полагаю, не старушек ради собирались воедино эти «рассказы очевидцев» (кстати, то, что большая их часть если не написана, то серьезно обработана одним человеком, видно невооруженным глазом). Сочинение это, повторяю, есть эталонный пример формирования идеологии на уровне массового сознания.

Краеугольным камнем всякой идеологии является образ врага. Именно от того, с кем предстоит бороться, зависит весь строй жизни человека. Число врагов православного люда велико, вот их примерный список (не по степени важности, а по порядку упоминания на страницах книги): кино, театр (с. 21), евреи (с. 29), медицина, марксисты, пресса (с. 57), йоги, масонские ложи (с. 61), «внешне ученый человек, доктор, отступник Православия» (с. 75), армяне, «безбожные печать, радио и телевидение» (с. 120), «мирское богохульное учение» (с. 164), цейлонский факир, который, к слову, о православии едва ли слышал (с. 207), оккультист (с. 213), «бес в образе Льва Толстого», точнее говоря, сам граф (с. 235), секта баптистов (с. 374), «мнимый ученый» (с. 380). Из упомянутой уже книги «Почему православному христианину нельзя быть экуменистом» можно добавить также масонство и сионизм (с. 206). Список отчасти хаотичен и напоминает известный пассаж из Гофмана: *«Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины — словом, всевозможный народ, какой только существует на свете».* (2)

Но — шутки в сторону! — список легко разбить на несколько групп. Итак, врагами всякого православного человека являются: а) инородцы и инославные (прошу прощения за употребление терминологии, характерной для разбираемых текстов); б) наука; в) светская культура; г) средства массовой информации. Остановимся подробнее на выделенных пунктах.

Никакая идеология не строится на объяснении лозунгов. Ее средство — внушение. И если еще можно понять, чем насолили Русской православной церкви представители иных конфессий, то понять, за что страдают представители иных национальностей, не удастся. Тем не менее иностранцев предлагается считать за людей, только если они обра-

тились в православие. Обратимся к средствам, которыми создается образ врага. Вот «профессор еврей... Неймарк Израиль Исаевич», стремившийся «каким-либо путем умертвить» (с. 29) чудесно исцеленную женщину по имени Клава. Какие чувства, кроме ненависти, может вызвать у читателя этот врач-вредитель? А необходимость пояснять, что человек по имени Неймарк Израиль Исаевич — еврей (на протяжении рассказа это подчеркивается дважды), немало говорит о его, читателя, уровне.

От врача-вредителя перейдем к медицине и науке вообще. «Богу ученых не нужно», — говорится в одном из рассказов (с. 251). Ученые именуются мнимыми. В качестве главного объекта ненависти почему-то выступает медицина. (Интересно, что бы ответил на это Л. Войно-Ясенецкий?) О благочестивом человеке говорится, что он «...не лечился у врачей» (с. 271), а о самих врачах — немало гадостей вроде приведенной выше.

Культура и искусство также вызывают у авторов нескрываемое отвращение. Учитывая, что сборник анонимный — рассказы подписаны в основном именами без фамилий, — речь как бы идет от имени всех православных. Это лишний раз подчеркивает идеологическую направленность книги. Если на время отвлечься от анализируемого текста, можно вспомнить об интересном языковом феномене: мы почти привыкли отождествлять понятия «духовное искусство» и «церковное искусство», вольно или невольно соглашаясь с тезисом о бездуховности искусства светского, что, по счастью, не всегда истинно. Этот языковой сдвиг может считаться доказательством того, что церковные идеологи не зря едят свой хлеб. Вернемся к тексту. Вот сам Господь Бог беседует на небе с новопреставленной атеисткой: «Служила демону и жертвы ему творила: в кино, театр ходила». И брюзгливо добавляет: «В церковь Божию вы не ходите» (с. 21). Кто же после этого пойдет в театр или кино? Заметьте, речь идет не о конкретном фильме или спектакле, а о театре и кино вообще, причем говорящий наделен таким авторитетом, выше которого нет уже ничего. Дьявол, герой новеллы «Шествие разрушителя» (с. 38 и далее), которая, кстати, сильно отличается от прочих в составе сборника, неоднократно, обращаясь к бесам, называет светскую культуру «нашей». Вообще восхищает эта манера авторов говорить от имени Бога и дьявола, особенно с учетом того, что текст рассчитан на аудиторию, воспринимающую его как освященный непрерываемым авторитетом церкви. Театру, кино, музыке достается от авторов сборника постоянно. Литературу заделали лишь раз, но основательно: Лев Толстой объявлен бесом, «своим» в стане нечистой силы (с. 235, 237).

Что касается средств массовой информации, то здесь за примерами не стоит даже обращаться к тексту. Всем памятна эпопея с «Последним искушением Христа». Речь не идет о художественных достоинствах

фильма Скорсезе, здесь важно другое. На самом деле это первый прецедент демонстрации церковью своего общественного веса, а соответственно, и претензий на формирование государственной идеологии. Церковь могла запретить смотреть этот фильм верующим, раз уж тоталитарный стиль мышления для нее неизбежен (это, кстати, интересно обосновывается в упомянутой книге по экуменизму). Но она дважды успешно запретила смотреть его всей стране.

Стоит сказать несколько слов о методах донесения перечисленных выше истин до народных умов. Помимо создания омерзительных образов врагов церкви и человечества и обращения к самым разным непрекаемым в глазах верующего авторитетам, о которых я упомянул, это делается посредством тотального психологического террора: через традиционное запугивание муками ада. Страдания грешников живо и натуралистично описаны глазами очевидцев. В книжке таких дантов — человека четыре.

Из одной этой не особенно объемной книжки можно извлечь еще массу примеров подобного рода. *«Я не выписываю большего количества примеров только ввиду дороговизны бумаги и трудности книгопечатания»*, — как сказал (по другому поводу) один поэт, которого церковь, наверное, скоро запретит, как большую часть русской и всю нерусскую литературу (3). Сказанного уже достаточно для забавных выводов.

Итак, умело формируемая на уровне массового сознания идеология православия (потенциально — будущая идеология России) выглядит примерно так: православные должны отказаться от каких-либо контактов с иностранными государствами и представителями иных религий; право на существование имеет только церковное образование; наука и культура должны быть отданы под тотальный контроль церкви, а со временем упразднены; церковь должна заменить все прочие общественные институты. Я не утрирую — просто анализирую то, что не предназначено для анализа. То, что следует принимать на веру.

Я ни в коей мере не собирался умалять заслуги Русской православной церкви перед Отечеством, ее роль в русской культуре etc. Я, в отличие от ее представителей, допускаю, что могу ошибаться. Я не смею надеяться, что эти заметки заставят задуматься кого-либо из ее иерархов. Но та обработка умов, которой они сейчас заняты, не делает им чести. Стоит ли возвращать страну ко временам тоталитаризма — не советского даже, а средневекового? Я разговаривал на эту тему с одним своим приятелем, и он спросил: «А кто, кроме церкви, может сейчас претендовать на роль структуры, формирующей национальную идею?» Я не знаю — кто, не

знаю — как, но я знаю — как этого делать нельзя. И считаю своим долгом заметить, что организация, чей авторитет в глазах многих есть авторитет верховный, должна аккуратнее относиться к текстам, которые в силу этого авторитета воспринимаются как руководство к действию.

25 декабря 1997 года

Примечания:

- 1 Орфография оригинала сохранена (прим. ред.).
- 2 Серапионовы братья. — Минск, 1994. Т. 1. С. 195.
- 3 В. Шершеневич. Листы имажиниста. — Ярославль, 1997. С. 441.

ГЕНРИ АЛИСОН

Патент на любопытство

Мифология западной университетской жизни

«Я был слишком молод, чтобы понять: за цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию - одним словом, импотенция. Правда, воспринял я и малую толику сократической честности, полезной во все времена, - именно она стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого - это еще не все.»

Джон Фаулз. «Волхв».

Как говорил Вордсворт, мы слишком «от мира сего»: «впустую растрачиваем силы» в бесконечной круговерти — сначала заработали, потом потратили, и опять все сначала. Вордсворт считал, что человеку необходимо иметь возможность удалиться в тихое место, где можно было бы подумать и поразмышлять. В некотором смысле прозаической заменой того, о чем тоскует Вордсворт, является выходной день, когда можно отвлечься от повседневных проблем и задуматься о сути бытия.

Для общества таким тихим местом, хотя бы частично, являются университеты. Или должны бы являться. Однако это происходит не всегда, в особенности в области гуманитарных наук, где последствия новых моделей финансирования университетов приводят порой к катастрофе. Все труднее пробиваться гуманитарному образованию (liberal education).

Для британских университетов день «девятнадцатое декабря» стал черным вторником. В этот день были обнародованы итоги последней кампании по оценке исследовательской деятельности. В результате предложен вниманию общественности некий жесткий рейтинг университетов, которым и будут руководствоваться монстры-распредели-

тели — четыре британских совета по финансированию высшего образования (*funding councils*).

Что происходит? Финансовая стимуляция становится главным механизмом в формировании самой идеи и концепции высшего образования, в которую абсолютно не попадает его *raison d'être* — смысл и назначение. В результате университет стремительно теряет привилегии сосредоточенности воскресного отдыха и превращается... в автомобильную трассу часа пик в понедельник.

Чтобы лучше понять суть тихой катастрофы, вспомним-ка один давний текст кардинала Джона Генри Ньюмана, работу «*The Idea of a University*» (1873). Он считал, что в университетах надо не наукой заниматься, а преподавать и «свободно развивать ум». Те, кто дает деньги, заказывают другую музыку: вложения должны вернуться ощутимой отдачей. Уникальность университета — именно в сочетании поиска идей и науки.

Несколько коротких отступлений.

Самые первые средневековые университеты в Салерно, Болонье и Падуе были созданы для преподавания права, богословия и медицины. Папский престол, чтобы не допустить ереси и сохранить власть, жестко регулировал, какие структуры имеют право преподавать богословие. Одним из таких университетов был университет в Париже. Именно там начали активно заниматься метафизикой, именно там разгорались жесткие философские полемики между номиналистами и реалистами, которые, как пожар, охватили все университеты христианского мира, парализовав научный поиск и положив бесславный конец первому этапу истории высшего образования.

К концу эпохи Возрождения многие средневековые учебные заведения пришли в упадок. Те, что сохранились, превратились просто в школы. Джон Донн начал учиться в Оксфорде в возрасте двенадцати лет. А в XVIII веке экзамен по ивриту в этом университете состоял в единственном вопросе: «Что значит Голгофа?»

В XIX веке центром науки и научного прогресса в Великобритании были королевские научные общества. Интересно, что, вернувшись из путешествия на корабле «Бигль», Чарльз Дарвин о результатах поездки докладывал Королевскому геологическому обществу, а не университету. Университетским преподавателям не надо было непрерывно подтверждать свой научный статус. Достаточно было знать и грамотно объяснить несколько классических текстов — и жить безбедно.

Новый тип университета зародился в XVIII веке в Германии — сначала в Галле, затем в Берлине. К концу XIX века такие университеты появились в США, а в XX веке, наконец, в Великобритании. В них

удобно сочетались преподавание и научная работа, в особенности работа с аспирантами и докторантами. В Германии впервые появилась степень доктора философии (Ph.D.), которую с энтузиазмом переняли в Америке. Когда, к возмущению многих британских преподавателей, эта степень добралась до Англии, пошли анекдоты. Так, например, Витгенштейн в возрасте сорока лет представил в Кембриджский университет на степень Ph.D. свой «Логико-философский трактат». Эту работу «проверял» Джордж Эдуард Мур, который в своей рецензии написал следующее: *«Работа гениальна; в остальном она вполне соответствует требованиям, предъявляемым к работам на соискание степени доктора философии».*

Однако в ходе этого движения от школы до научно-исследовательского института практически истаяло представление Ньюмана об университете как месте для развития ума и интеллектуальных упражнений. Современному же Ньюману стоило бы обратить внимание на тот факт, что неадекватные принципы бухгалтерской оценки отрицательно сказываются на свободном научном поиске, на тех исследованиях, которые не могут иметь запланированных результатов. Сегодня это может быть просто восторг исследователя, а завтра — новая технологическая революция! Большая часть научных открытий в этом столетии была вызвана интеллектуальным любопытством, а не стремлением получить патент.

Однако Ньюман совершенно справедливо предупреждал об опасности утилитаризма для широкого общего образования. Такое образование — это прежде всего прерогатива гуманитарных наук. Теперь же научной работой обязаны заниматься все. Результаты предсказуемы: тысячи университетских преподавателей в сотнях научных журналов и монографий пишут на своем птичьем языке, совершенно недоступном для непосвященных, загадочные статьи исключительно для внутреннего потребления. (Кто без греха?)

Индустриализация академической жизни ведет к полному растлению академического сообщества, в котором ученые-гуманитарии практически стали враждебны интеллектуалам и превратились в отдельную научно-человеческую особь. Ведь если считать, что широкое гуманитарное образование в ньюмановском смысле по-прежнему остается одной из задач университета, то еще острее сохраняется потребность в ученых-интеллектуалах, таких же творческих, живых и талантливых, как «гражданские» интеллектуалы, которые занимаются литературой, искусством, журналистикой вне стен университета. Рейтинги создали новую биосферу; в ней ученые-интеллектуалы вымирают как вид.

ДМИТРИЙ РУЗАЕВ

Золотые наши старики

Золотой дождь

В те недавние, но такие далекие от нас времена, когда порожденный ветром перемен свободный полет стал уже обращаться в свободное падение; когда Академия наук сначала пренебрежительно не заметила сепаратистскую Российскую академию, ведающую естественными науками, а затем и сама сузила охват с одной шестой части Земли до одной седьмой; когда вдруг появились зарубежные поездки, а поездки на картошку куда-то пропали, а вместе с ними и сама картошка, да и не только картошка, но и еда вообще, так что талон на сахар стоил два сигаретных, — так вот, в те исторические времена наши ученые вдруг обнаружили, что им о-оч-ч-чень хочется кушать. Многие, из самых маститых, променяли советский паспорт на должность (точнее, position) американского профессора; другие пошли торговать на рынок и, изучив по ходу дела финансы и бухгалтер, достигли самых разных степеней в иерархии отечественной олигархии; прочим же оставалось лишь устремить взгляд к небу. И что же? Оттуда действительно пошел дождь, настоящий золотой дождь, то едва морозящий, то обрушивающийся бурным потоком, но, к счастью, так и не прекратившийся до сих пор.

Эти живительные струи назывались заморским термином «грант». В слове этом слышится что-то испанское, вроде гранда и граната. Между тем, источником золотого дождя служат не какие-то пиренейские бароны, а люди близкие, члены семьи, — но о них мы еще скажем. Впрочем, у чужих и просить неудобно, и все равно не дадут, как ни проси. Да, да, таков уж этот золотой дождь, что недостаточно поднять глаза к небу,

надо еще и просить, просить настойчиво, по сложному ритуалу, едва сохраняя собственное достоинство и едва не истощивая все свое нахальство. Таков уж характер у дарителей, двух наших пожилых родственников, которые стоят того, чтобы именовать их с большой буквы: Дедушка и Дядюшка.

Дедушка

Если вы не знаете, в стране грядет конституционная реформа. Ее требуют все — от правых и левых до западников и южан, но пока опубликован (в «Московских новостях» (1)) лишь один проект Конституции. Автор проекта — Виктор Шендерович. Первая статья гласит: «*Страной управляет Дедушка*».

Будучи вынесен на обсуждение, этот проект наберет не меньше сторонников, чем, скажем, идея отнять Крым у Украины. Все потому, что концепция жизненна. Ведь мы давно знаем, только все не решаемся написать, что на самом деле наши государственные субсидии и программы — крохи со стола эдакого сумасбродного, но горячо любящего нас скряги, а самые абсурдные его требования — всего лишь следы постоянной подозрительности и перманентного шизоидного состояния, вероятно, синдрома Кандинского-Клерамбо.

У Шендеровича сказано: «*У Дедушки есть Рома и Абрамыч, а также красная кнопка*». Стоит добавить, что еще у Дедушки есть два источника денег — РФФИ (правильно, Российский фонд, только не федерального имущества, а фундаментальных исследований (2)) и его младший брат РГНФ (соответственно, Гуманитарный научный фонд). Эти золотые источники могут забить перед вами по разным поводам. Скажем, Дедушка оплачивает внукам дорогу за границу. Конечно, его подозрительность не преминет вставить вам палки в колеса: нужно не только вернуть Дедушке авиабилет и предъявить загранпаспорт с отметками (а вдруг вы билет купили, а сами не поехали?!), но и привезти справку о том, что вам *там* не оплатили дорогу (а попросить такую справку на конференции, скажем, не всякий решится). Конечно, и скупость Дедушки дает себя знать: он хочет, чтобы летали вы только самолетами дедушкиного «Аэрофлота».

Главная идея Дедушки — просто давать деньги своим внукам. Это называется «индивидуальные» и «инициативные» (то есть групповые) научные проекты. В худших традициях иностранных правительственных фондов, дедушкины организации донельзя бюрократизированы. На это накладываются не только обычные дедушкины качества, о которых мы уже упоминали, но и безалаберность и необязательность его эмисса-

ров. С точки зрения здравого смысла ситуация выглядит абсурдно. Например, группа ученых обещает Дедушке затратив некоторую сумму решить такую-то научную проблему. Дедушка соглашается, подписываются соответствующие бумаги, а потом вдруг выделяемая сумма вдвое уменьшается. Спрашивается, на каком основании потом Дедушка требует отчет, если на эти деньги синхрофазотрон уже не построить и опрос не провести. Или, скажем, прошлогодняя ситуация с грантами РФФИ, когда 29 декабря пришли неожиданные деньги на командировки со строгим предупреждением, что 1 января следующего года все они сгорят...

Все встанет на свои места, если не втискивать наши с Дедушкой отношения в рамки контрактов и бизнес-планов. Главное, что руководит Дедушкой — горячая любовь к своим внукам. И сами внуки прекрасно понимают, что если поставленная проблема решена не будет, а будет совсем другая или даже никакая, то любящий Дедушка все простит и с радостью даст еще денег. Правда, Дедушка сделает это только в ответ на изъявления таких же теплых чувств. Для того чтобы их дожидаться, он устраивает конкурс заявок (то есть устраивает все так, чтобы примерно на треть заявок денег не хватило — а иначе кто будет стараться?). Впрочем, выиграть этот конкурс не слишком сложно. Во-первых, надо выглядеть достойно, то есть быть хотя бы кандидатом наук и иметь какие-нибудь публикации за последние годы. Во-вторых, надо помнить, что старик самолично не может прочитать все заявки и нанимает для этого специальных секретных людей — экспертов. Проще всего им понравится, если вы учились или работали в МГУ, РГГУ или ведущих академических институтах: тогда вы наверняка знаете их лично и можете просто спросить, каким должен быть проект. Но даже в этом случае за спинами ваших хороших знакомых стоит наш строгий предок, которому нужно и показать сыновнюю покорность и скромность, и себя похвалить, и заверить между строк, что из уважения к любимому Дедушке вы во что бы то ни стало откроете для него какую-нибудь новую и так необходимую ему истину. Ответственно заявляю: составление заявки — самая неприятная и тяжелая часть грантополучения. Вы начинаете писать ее за месяц до срока, а заканчиваете в самый последний день за час до закрытия фонда с осознанием своей ничтожности. И долгие месяцы ждете строгого вердикта главы семьи.

Когда вердикт последует и деньги наконец придут, ваша бухгалтерия нисколько не удивится. Они уже не один десяток лет получают такие деньги под именем хозяйственных договоров. Дедушка в чем-то ретроград и соблюдает правила, введенные еще, наверное, при Сталине. Например, зарплата по гранту РФФИ ни в коем случае не превысит вашего должностного оклада (впрочем, можно получить и больше, если

участвовать сразу в нескольких грантах). И если вам пришли деньги на транспортные расходы (о чем вы не просили), а на командировки не перечислено ни копейки (а ради них вы и затеяли просить грант), то уже никак невозможно купить на них билет за границу. Но ведь за эти милые чудачества мы и любим дорогого нашего Дедушку!

Дядюшка

Ваша тетя-миллионерша живет, вероятно, в Бразилии, где много диких обезьян. А вот Дядюшка, американский миллиардер, живет в Нью-Йорке. Это слово — «дядюшка» — зазвучало у его племянников, когда он вдруг ошарашил их программой под девизом «каждому ученому — по 500 долларов». Окончательно так стали называть Джорджа Сороса во времена «Трансформации гуманитарного образования в России», когда племянниками богатого американского дяди стали и руководители программы. Впрочем, не стоит так уж однозначно персонифицировать Дядюшку (как, конечно, и Дедушку): так, в один из соросовских фондов пожертвовал полтора миллиона долларов (на зарубежные поездки) член-корреспондент РАН Борис Абрамович Березовский.

Дядя внука — какое-никакое, а родство. Тем не менее, трудно найти двух таких непохожих людей, как Дядюшка и Дедушка. Дедушка строит капитализм, а Дядюшка пишет книгу «Финансовый крах капитализма». Дедушка — педантичный скряга, а Дядюшка разбрасывает деньги, довольствуясь в ответ справками без печатей и газетными статьями в качестве отчетов. Дедушка не прочь повоевать, а Дядюшка игнорирует тех своих племянников, которые разрабатывают что-нибудь военное и публикуются в закрытой печати. Однажды Дядюшка даже договорился с Дедушкой платить стипендии студентам и аспирантам пополам, но ничего из этого не вышло. Дедушка — известный скупердяй, и племянники, среди которых и автор, остались только с дядюшкиной половиной обещанного — нисколько, конечно, не обижаясь на стариков.

Дедушка любит своих внуков ровно, с оглядкой, следит, оправдывают ли они семейные ожидания. Дядюшка же щедр, но порывист, выбирает то одних, то других любимчиков, быстро остывая к тем, кого так жаловал еще в прошлом году. Поначалу любимчиками были ученые-естественники, а вместе с ними — профессора, учителя, аспиранты, студенты и даже школьники-естественники (чтобы выявить последних, Дядюшка проводит даже специальные олимпиады, похожие на обычные, только немного хуже). Вероятно, Дядюшка считал, что в России вообще нет гуманитарных наук, начисто игнорируя достижения наших логиков или лингвистов: об этом, вероятно, рассказал ему Сойфер,

известный бывший наш биолог, директор Соросовской образовательной программы. Легенда гласила тогда, что в этом выражается дядюшкина благодарность к тем десяткам физиков-теоретиков, которые днем и ночью вычисляли для него на своих суперкомпьютерах в стеклянном офисе где-то на Восточном побережье, как уронить английский фунт и когда продавать при этом марку. Дядюшка раздавал деньги щедро, не требуя никаких проектов или отчетов. Ученым, чтобы получить этот грант (а 500 долларов равнялись тогда двухлетней зарплате!), достаточно было предъявить несколько статей в известных журналах; студентам надо было иметь хоть какое-нибудь отличие — все пятерки в зачетке или тезисы на какой-нибудь конференции, или свидетельство благосклонности Дедушки, выраженное в том, что научный руководитель включил их в грант РФФИ. Я знаю многих, кого те дядюшкины гранты убедили не бросать это неблагодарное занятие — науку — и не менять спешно профессию.

К сожалению, подарки ученым прекратились почти сразу, а в прошлом году Дядюшка объявил о прекращении финансирования профессоров, учителей и студентов (раз уж эта идея не настолько понравилась Дедушке, чтобы тот разделил расходы). Зато теперь взор его обратился на гуманитариев, причем не только наших, а всей Восточной Европы (3): вероятно, здесь дело в том, что, по другой легенде, Дядюшка писал Ph.D. у Поппера. Теперь Дядюшкин характер уже несколько испортился, и он требует заполнять длинную, ужасно противную заявку на английском, присылать рекомендательные письма и отчеты, как настоящий серьезный фонд. Но сквозь сухие строки инструкций и предупреждений проглядывает беззаветная дядина любовь. Поддерживает он, в основном, молодых, не оперившихся еще чад, причем с особой охотой одаривает аспирантов, от которых не требуется вообще никаких достижений в избранной области. В инструкции по составлению заявки особо подчеркивается, что описание проекта должно быть кратким, а затем сказано: *«Вы должны понимать, что проект по краткому описанию почти невозможно оценить»*. Предполагается, что дядюшкины эксперты будут оценивать, в основном, методы, которыми племянник собирается пользоваться: знаешь, что будешь делать, — получи грант.

Интересно, что, как специально предупреждает дядюшкин фонд, эксперты оценивают не научную значимость проекта, а то, насколько он важен для приютившей племянника страны. Это еще одна *idée fixe* Дядюшки — строить у нас нечто, что называется Открытое Общество. Он даже развернул большую программу по улучшению школьного обучения. В этой программе (4), которая, меняя названия, была наиболее известна как «Трансформация гуманитарного образования в России» и почти уже почилла благополучно, Дядюшка впервые столкнулся с черной

неблагодарностью своих племянников. Дело в том, что тут ему пришлось в руководство программы назначить наших же людей, в том числе — известных учителей и даже одного бывшего министра. Программа выдержала три разных команды, и каждая кончала примерно одинаково: год работала, а затем Дядюшка привозил из Америки контролеров и аудиторов, и выяснялось, что многие оплаченные проекты не выдерживают критики, а дядюшкины миллионы лежат на каких-то счетах в никому неизвестных банках, и кому идут проценты — тоже неизвестно. Команда менялась, и все начиналось сначала.

Первым делом издавались учебники. Нет, не обычные школьные учебники, которых все время не хватает, а новые, которые специально написали любимые племянники. Были среди них и настоящие шедевры, но большинство, вероятно, было написано за полгода — от объявления конкурса до подачи заявки. Программа тогда называлась «Обновление гуманитарного образования в России», и учебники должны были быть гуманитарные — то есть, ввиду неясности этого термина, какие угодно. Был, например, школьный (точнее, гимназический) учебник геометрии: автора не помню, да и стоит ли укорять человека, который всего-то одолжился у своего богатого дяди? В учебнике пересказывались евклидовы «Начала», сопровождаемые (видимо, для пущей гуманитарности) анекдотами из древнегреческой истории, которыми часто пользуются опытные учительницы на уроках арифметики. Автору, вероятно, было неизвестно, что за последние сто лет появились новые аксиоматизации и методы изложения элементарной геометрии, проясняющие как раз греческую строгость этой дисциплины: именно они приняты во всех остальных учебниках геометрии. Сейчас «Начала», как и упомянутое пособие, кажутся слишком занудными и слишком бедными для самостоятельного размышления. Единственным утверждением, которое автор рискнул добавить к классику, стал оригинальный способ построения любого правильного многоугольника. Правда, доказательство не приводится, а оставлено ученикам в качестве задачи, что немудрено: ведь невозможность такого построения была доказана Гауссом еще лет двести назад! Так что правильно Дядюшка потом стал переиздавать и классические наши учебники — в них хотя бы ошибок поменьше.

Еще он давал деньги самым известным школам (которых набралось около десятка) и, главное, всяким посторонним и даже не оформленным юридически образовательным учреждениям, которые чем-нибудь занимались с детьми и написали в заявке, что проповедуют идеалы Открытого Общества (что было нетрудно: идеалы эти перечислены в объявлении о конкурсе). Затем требования Минобраз к оригинальным

школьным программам ужесточились, и «инновации в образовании» стали невозможны. Учебники, которые Дядюшка издавал и бесплатно раздавал библиотекам, библиотекари отказывались забирать, потому что за ними надо было ехать аж на другой конец города. В общем, Дядюшка стал понимать, что так просто наше общество открытым не станет, и теперь его образовательные программы медленно угасают.

Как просить деньги?

Тоненькую книжку под таким названием (5) я получил однажды, заглянув по делам «Трансформации» в дядюшкин московский офис (6). В ней даются советы по исполнению самой муторной и тяжелой повинности племянника или внука — составлению заявки на грант. Написанная экологами, она прежде всего имеет в виду проекты, общественная полезность которых очевидна, но и ученым может очень пригодиться. Конечно, от обязанности нескромно оценивать себя и обещать то, что, возможно, не сможете выполнить, никто вас не избавит, но все же легче делать это по уже проверенному кем-то плану.

Образцовая заявка, по мнению написавшего книжку Центра Охраны Дикой Природы, состоит из восьми главных частей: «Аннотация», «Введение», «Постановка проблемы», «Цели и задачи», «Методы», «Оценка и отчетность», «Дальнейшее финансирование», «Бюджет». Проще всего их проиллюстрировать на каком-нибудь абстрактном примере. Для краткости мы объединим «Аннотацию» и «Введение» в один раздел.

Проект

Хэппенинг с крокодилом

(абстрактный пример заявки)

Краткая аннотация и введение

Московский Центр Экологических Авантюр — одно из самых известных учреждений такого рода. Более половины всех скандальных публикаций в российских СМИ связано с деятельностью Центра. (Обязательно расскажите о вашей организации!)

Одной из важнейших экологических проблем России является растущее пренебрежительное отношение к крупным животным, даже к героям сказок и былин, не говоря о бездомных собаках и кошках. (Это о постановке проблемы.) Для коренного исправления положения в Проекте предполагается провести масштабную акцию, привлекающую внимание населения, телевидения и милиции, в рамках которой простые «люди с улиц» будут демонстрировать свою нежность или хотя бы участие к одному из самых отвратительных, но

мнению экспертов, хищных животных — кубинскому крокодилу. (Это суть проекта, главная часть «Введения».) Общая стоимость реализации проекта составляет \$298 995, из которых имеется \$2000. (Например, у Центра есть свое здание, и эти две тысячи он сэкономит на аренде помещения.)

Постановка проблемы

В последние годы отношение к крупным животным в российском обществе стало резко ухудшаться. Браконьерство, истребление волков и медведей, сверхэксплуатация ездовых оленей, шапки из котиков, поделки из моржового клыка и шашлыки из собачатины стали массовыми явлениями. В этих условиях одной из главнейших экологических проблем становится задача пробуждения сочувствия ко всем без исключения живым созданиям и восстановления исконной близости человека и почти истребленных им животных. (Проблему нужно формулировать как можно более глобально: это та область, в которой вы работаете.)

Цели и задачи проекта

Целью проекта является коренное изменение восприятия обществом крупных животных. (Цель формулируется как общее утверждение: в таком виде она, скорее всего, не будет достигнута.)

Основная задача проекта — развернуть в российских масс-медиа широкую кампанию по обсуждению проблемы нашего восприятия крупных животных и пробудить сочувствие даже к наиболее отвратительным из них — крокодилам. (Задача — то, что действительно предполагается сделать.)

Методы

Основной метод — организация хэппенинга, к которому будет привлечено внимание общества и прессы. Система организации таких мероприятий отработана Центром и является уникальной для России. (Стоит подчеркнуть уникальность — и вашу, и вашего метода.)

Иногда фонды, даже дядюшкины, требуют выписать поэтапный план. Если такого требования нет, план все равно стоит включить, хотя бы в раздел «Методы».

Проект реализуется в течение 6 месяцев. Предполагаются следующие этапы реализации проекта.

- 1. Организация социологического исследования (с помощью ВЦИОМ) об отношении среднего россиянина к крупным животным. Особым пунктом будет включен вопрос о крокодилах.*
- 2. Покупка и доставка в Москву кубинского крокодила.*
- 3. Реклама и проведение шествий крокодила по улицам Москвы с раздачей ценных призов и сувениров Центра тем из прохожих, которые поглядят,*

обнимут и покормят крокодила; шествия будут сопровождаться фейерверками, оркестрами и обнаженными девушками, раскрашенными в цвета крокодила. Создание на этих материалах видеофильма о нравственном отношении к крупным животным.

4. Проведение социологического опроса, аналогичного опросу из первого этапа.

5. Передача крокодила Московскому зоопарку.

Оценка результативности проекта

По оценкам Центра, количество москвичей, относящихся равнодушно и потребительски к крупным животным, снизится на 15%; количество тех, кто боится крупных животных, снизится на 25%. (Надо написать что-то конкретное, лучше какие-нибудь цифры.)

По результатам проекта будет снят видеофильм, появятся телерепортажи, газетные статьи, а также будет проведен социологический опрос об отношении к крокодилам до и после реализации проекта. (Вообще, результаты — это то, что фонд может проверить.)

Отчетность

По окончании реализации в Фонд будет предоставлен подробный отчет, включающий результаты социологических опросов, к которому будут приложены отснятый Центром видеофильм и газетные публикации о проекте. (Если фонд требует еще каких-то отчетов, это тоже стоит пообещать.)

Бюджет

Здесь надо указать все возможные траты, даже налоги, которые вы, возможно, обычно не платите. Не забудьте про свою зарплату!

Дальнейшее финансирование

(В принципе, этот пункт можно и не включать.) Дальнейшее финансирование деятельности Центра по проведению подобных акций будет осуществляться из средств, полученных от участия крокодила в рекламных роликах. Заботу о крокодиле по окончании реализации проекта возьмет на себя Московский зоопарк, о чем имеется предварительная договоренность.

Ну, вот и все. Заявка, написанная по такому плану, годится, в принципе, для любого фонда. Надеюсь, вы выиграете множество огромных грантов от Форда или Рокфеллера. Если же этого не произойдет, вспомните о нашей большой семье и отправьте свою заявку им, золотым нашим Дедушке и Дядюшке.

19 ноября 1999 года

Примечания:

- 1 Виктор Шендерович. Проект конституции Страны // «Московские новости», № 33 (1001), 1999.
- 2 Адрес РФФИ: <http://www.rfbr.ru>; физически Фонд находится в новом здании президиума РАН.
- 3 Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation <http://www.rss.cz>, <http://www.osi.ru>.
- 4 См. <http://www.osi.ru/VAD/ceu.nsf>.
- 5 «КАК ПРОСИТЬ ДЕНЬГИ на некоммерческие проекты у благотворительных фондов». — ПО «Радуга», 1994.
- 6 Ст. м. «Красные ворота», Большой Козловский пер., 13.

МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ

О временах, о нравах

С конца июня в Москве стал выходить новый журнал «Неприкосновенный запас» («НЗ») — дочернее предприятие уже не очень нового «Нового литературного обозрения». Главный редактор общий — Ирина Прохорова. Круг авторов не вполне общий, с некоторыми уже различиями. На этом сходство, пожалуй, кончается. У нового журнала другая специализация. Какие-то темы могли быть заявлены и на страницах «НЛО», но уже *круг тем* здесь явно иной, а гуманитарная рефлексия не ограничивается собственно филологией. Подзаголовок на обложке кратко сообщает о задачах издания: «Очерки нравов культурного сообщества». Слово «интеллигенция» редакторы не стали выносить на обложку, но ясно, что речь именно о ней. У большинства авторов журнала отношение к этому предмету не восторженное, но уж точно, что не глумливое, и комический призрак бородача с мессианскими позывами по страницам «НЗ» не бродит. *«Наша задача, — пишет И. Прохорова в предисловии-манифесте, — видится нам как попытка беспристрастного (насколько это возможно) самоанализа неприкосновенного запаса идей и представлений интеллектуалов о себе, до сих пор не проверяемых рассудком, убежденно принимаемых за аксиому».*

Писать рецензию на такую печатную продукцию приятно по многим причинам. Во-первых, сразу понимаешь, что здесь затевается игра «на интерес», и в ней учитываются интересы не абстрактного, «среднего», профессионального и т.п. читателя, а именно твои. Может быть, поэтому новый журнал легко прочитывается от первой до последней страницы, включая те материалы, в которые — из-за отсут-

ствия любопытства к предмету обсуждения — заглядываешь, понуждаемый одной лишь добросовестностью. В моем случае это «круглый стол», посвященный творчеству А. Марининой, с участием всех трех редакторов «НЗ»: И. Прохоровой, Г. Дашевского, А. Носова. Суждения этих и нескольких других умных людей вполне увлекательны, увлекательнее разбираемых романов. И от этого немного грустно — понятно почему. «НЗ» заботлив к читателю и как полиграфическое изделие. Хороший, чуть вытянутый формат, удачный макет. Журнал удобно лежит в ладони, гнется, но не кувыркается. Расположение материалов понятно сразу, без специального навыка. Изящный шрифт. Все это воспринимается как знаки внимания к *другому*, что и есть основа культуры, издательской в том числе.

Уместны и размеры статей: не безличные информационные заметки, но и не многостраничные исследования, для знакомства с которыми надо брать краткосрочный отпуск. Первый же материал номера — разбор «феномена Льва Гумилева», предпринятый С. Ивановым, — задает и направление, и уровень начинающегося разговора. Его сразу хочется поддержать и продолжить. Общая атмосфера интеллектуальной бодрости заразительна, намеченные подходы и выходы неожиданны. Такой разговор — еще и попытка освоения смежных специальностей. Например, публикуется «Манифест Комитета по встрече третьего тысячелетия», вполне невнятный текст за подписями трех десятков разноуважаемых людей. Но сопровождается он статьей-комментарием А. Зорина, чьи профессиональные навыки помогают убедительно прочесть это послание человечеству как заявку на легальную политико-финансовую авантюру — узнать льва по когтям.

Актуальность темы и внятный методологический урок делают эту статью (есть еще и другая) Зорина одним из ударных материалов номера. На его страницах, впрочем, встречаются не только «удар с ударами» и чередуются голоса очень разных весовых категорий. Разговор по большей части спокойный, доходчивый, с частыми примерами «из жизни». В каких-то случаях изложение становится даже чересчур ходким и облегченным (скорее газетным, чем журнальным), но и это имеет свои объяснения: не станешь же весомо описывать рок-клуб или полуслучайные впечатления последнего месяца. А статья Б. Дубина «Самопал» замечательна — кроме прочего — и тем, как варьируется в ней речевая скорость, как переход от частной темы (курьезная безграмотность новых переводов) к обобщению меняет смысловую наполненность высказывания, в данном случае — почти предельную. *«Проблема в том, что рядом с незнающими нет ни единого, кто знает и вместе с тем понимает необходимость, смысл подобного знания»*. Вывод о наступающем (наступив-

шем?) крахе гуманитарного знания звучит еще оглушительнее в речи, это знание демонстрирующей. Ясно, *что* именно мы теряем.

В сравнении с остальными материалами статья А. Гольдштейна (о существующих и намечающихся формах бытования русской литературы на израильской почве) поначалу ощущается тропическим лесом, где шагу не ступишь, пока не расплетишь какие-то словесные лианы. Есть и другие недоумения. Кажется, даже бывшие советские критики уже не делают литературу на метрополию и колонии, как это делает Гольдштейн, а наложение психологических обстоятельств первой русской эмиграции на сегодняшнюю картину выглядит неловким анахронизмом. Но больше всего поражает меланхолический перебор мифологем — в поисках подходящей — из числа имеющихся, то есть бывших в употреблении. Неготовность к жизни *впервые*. Впрочем, из этих замечаний не следует, что статья неинтересна, а к основному ее предложению («По всей вероятности, вновь пришло время встать на глыбе слова „МЫ“») так и тянет присоединиться — хотя бы ввиду его добротной утопичности.

Кстати, об утопичности. Некоторые статьи «НЗ» в основном интересны не как анализ какого-либо явления, но как само явление, компактно выявившее себя для возможного анализа. Так, статья С. Корнева «Выживание интеллектуала в эпоху массовой культуры» поначалу читается как развернутое самоочевидное суждение, убедительное даже в тезисном пересказе или характерной цитате: «*То, что происходит с интеллигенцией на наших глазах, есть как раз переход от конфуцианской модели к даосской*». Такая биполярная схема объясняет если не всё, то многое. Может быть, *слишком* многое. (Есть такие теории — «ложные друзья» аналитика.) Последующее развитие темы только усиливает подозрительность к моделированию на плоскости. Предписания грешат установочностью, а термины «общество потребления» и «массовая культура» не кажутся настолько прозрачными, чтобы так беззаботно ими манипулировать. Сомнительно описание идеальной «даосской» стратегии, которая, по мысли автора, обязана совмещать полумонашескую уединенность с культурным облегчением общества, осуществляемым из дальнего укрытия. Еще сомнительнее список тех, кому такая стратегия уже удалась: Курехин, Пелевин, Роб-Грийе, Тарантино. Когда же Корнев начинает описывать возможную будущую «касту брахманов», обретающую — по мере описания — характерные черты советской культурной элиты, становится совсем кисло.

Как видите, спокойный тон рецензента удержать невозможно, хочется поскорее ввязаться в спор. Каждая из этих статей могла бы появиться и в каком-то другом (не любом, разумеется) журнале. Но своего рода инновацией стало их совместное появление, создающее принци-

пиально другой контекст — какое-то *центростремительное* смысловое пространство, собирающее голоса, рассеянные по периодике без надежды на встречу. Ясно, в каком направлении может — и, пожалуй, должен — развиваться такой журнал: к подхватыванию частных интуиций и все более последовательному полилогу.

Чтение «НЗ» сопровождается замечательное ощущение сбывшегося (ну хоть частично) ожидания: все-таки есть пусть не общность, но круг людей, способных удерживать в разговоре нормальный тон и расположенных к серьезному, непростому разговору. Причем — что крайне важно — к разговору на равных. Скромный тираж журнала и его избирательная направленность предполагают достаточно приватный характер беседы, доверительность, что ли. Другое расстояние между автором и читателем: не мегафон на площади, не трибуна и зал — скорее, большая комната. И сразу заметно, какая тональность речи в таком разговоре не только неуместна, но и разрушительна: интонации веской проработки и обращение к читателю как к общественному типу или персонифицированному социальному недугу. Так, человек, неспособный прямо и кратко ответить на вопрос: «Чего же ты хочешь, интеллигент?» — не обязательно ничтожество. Может быть, он просто не способен давать поверхностные ответы на плоские вопросы. (Чтобы это замечание не повисло в воздухе, поясню, к чьей статье оно относится: к статье уважаемой мною М. Чудаковой.)

И уж если речь зашла о больных вопросах, то, на мой взгляд, самым болезненным, острым, неотложным становится вопрос: «Что происходит?» Для частных, но некольких ответов на него, видимо, и создавался этот журнал.

1 сентября 1998 года

АМБИЦИИ

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

Поэтика суверенности

События, о которых нелишне сегодня напомнить, случились тридцать лет назад. Мало что их предвещало. Они начинались как бы исподволь, тихой сапой, и вряд ли кому тогда во Франции (да и в остальной Европе) могло прийти в голову, что в будущем весна 68-го окажется в фокусе неослабевающего внимания историков, социологов, политиков и философов.

Обратимся к 22 марта 1968 года.

В университете Нантера, небольшого городка под Парижем, восемь студентов занимают офис декана в знак протеста против ареста шести членов Национального вьетнамского комитета. Переговоры ничего не дают. Спустя шесть дней полиция окружает кампус, в котором остаются около пятисот студентов, приступивших к политическим дискуссиям.

2 апреля число их возрастает до тысячи двухсот. Программа действий отчетливо не артикулирована. Однако 22 апреля в зале Б1 вновь происходит митинг — под девизом *«Немедленно закрыть капиталистический, технократический университет!»*. Участвуют полторы тысячи человек. Администрация учебного заведения принимает решение призвать к ответу восьмерых зачинщиков. 3 мая они должны предстать перед дисциплинарной комиссией в Сорбонне (Париж). Четыре профессора вызываются их защищать.

3 мая. Площадь перед Сорбонной заполняет народ. Студенты из Нантера заключают союз с активистами из Сорбонны. Обсуждение событий привлекает все больше народа, в 16:00 Сорбонна уже окружена полицией и спецназом. Группу студентов арестовывают, инкриминируя «ношение» мотоциклетных шлемов (понятно, почему без них ни шагу). Новость о полицейской оккупации распространяется по Парижу. Со

всего города к Сорбонне стекаются толпы студентов. Драка начинается с попытки освободить арестованных и перерастает в настоящее сражение. Власти решают закрыть университет — второй раз за 700 лет (первый — во время гитлеровской оккупации). Национальный студенческий союз и Союз преподавателей немедленно объявляют всеобщую забастовку, а в понедельник 6 мая восемь студентов из Нантера, распевая «Интернационал», проходят через кордон полиции в здание университета. Они намерены выступить перед дисциплинарным советом. Студенческие союзы начинают марш протеста через Париж. По возвращении в Латинский квартал демонстрация жесточайшим образом атакуется полицией. Этот день входит в историю как «кровавый понедельник».

Далее — кинохроника, свидетельства очевидцев, кровь, трусость коммунистов, не преминувших, впрочем, использовать ситуацию в своих интересах, баррикады, вывороченные мостовые, огонь.

Так началось то, что сегодня именуется французской *революцией мая 1968 года*, относительно причин которой до сих пор нет определенности и единства мнений.

Лозунг «*Мир не будет спасен, покада последний капиталист не будет повешен на кишках последнего бюрократа*» (что-то он нам удивительно напоминает, не правда ли?) перекликается с настенными формулами «*Запрещено запрещать*», «*Разрешено все*» или «*Долой общество потребления*». Мы смутно осознаем, что до советского танкового дивертисмента в Праге остается два месяца длинного лета. Впрочем, время в нашем случае представляется скорее служебной грамматической фигурой, нежели логикой исторического повествования, и стоит ли — вполне правомерный вопрос! — пририсовывать змее несуществующие ноги?

* * *

В своей работе «Критика и кризис» Пол де Ман настаивает, что «*литература находится всюду. То, что называется антропологией, лингвистикой, структурализмом, психоанализом, есть не что иное, как литература, возникающая, подобно голове Гидры, в местах, где, казалось, от нее избавились навсегда*».

Не покажется ли диким предположение, что именно «литература» залагает неким стягивающим векторы понимания подземным горизонтом упомянутых выше событий?

При всем том следовало бы прояснить, *что* мы имеем в виду, говоря о «литературе». Вавилоны книг? Обрамленные розами сентенции? Портреты? И не содержится ли часть ответа в словах Александра Кожева: «*Основание и источник объективной реальности и эмпирическо-*

го существования человека (Dasein) есть ничто, которое проявляет себя как негативное и творческое Действие, свободное и сознающее себя?»

Насущность подобных вопросов и, следовательно, сомнения в «литературе с большой буквы», литературе как неуязвимой служебной функции работы общественного института, с наибольшей откровенностью обнаружила себя в начале века.

Русские поэты, философы и исследователи — Вагинов, Хлебников, Введенский, Шпет, Друскин, Шкловский, Тынянов, Якобсон, а еще раньше Лотреамон и Малларме во Франции, а потом уже, позже, в 50-е, и Ролан Барт в их числе — открыли парадоксальные отношения между концепцией литературы (как идеологической/эстетической репрезентационной системы) и растущим ощущением разрыва в возможности языка быть медиатором, инструментом представления.

В принципе, пусть завуалированно, вопрос ставился об истинности. Впрочем, двойственность исполняла, казалось бы, и эту, достаточно несложную на первый взгляд функцию: спрашивается, истинности чего?

Истинности трансляции, «передачи»? Или же истинности «передаваемого»? Либо опять-таки истинности того, что предстоит/отстоит опосредующей материи языка?

Шахматной игре безразлично, *как* или *из чего* сделаны фигуры. Важна система ходов (кодов), правил. Король на доске является сфокусированным пучком возможностей связей с другими фигурами. Упав же на пол, он превращается в некое изделие из дерева или пластика, обладающее иной ценой, подобно тому как значение денежной купюры на необитаемом острове сводится к нулю.

Дело заключалось даже не в том, что отмеченная еще Фердинандом Соссюром произвольность отношений *референта* и *означающего* изменяла само представление о языке как об изначально совершенной субстанции, дарованной пользователю свыше или же произведенной в бездонных и необозримых недрах истории. Этим затрагивалось наиболее *сокровенное* или *изначальное языка* — сама структура *знака* (или *настоящего*). Что в итоге очевидно предопределяло различные подходы к пониманию «литературы», которое, исходя из логики отношений и связей, образующих ее элементарные частицы (слово, знак и т.д.), развертывало иные модусы производства *значения* в предложении, превращая литературу из прозрачного инструмента пассивной передачи информации, извечных идей в сцену перманентного кризиса. И не только языка, но и его субъекта, производимого им/из него/в нем «Я» — то есть того, «кто говорит».

Не тождество, но различие. *Не накопление, но циркуляция и трата.* Тема Отца, «скупого рыцаря», и Сына, расточителя, в этом контексте приобретает иные оттенки содержательности.

* * *

Так в 60-е в обиход входит слово *l'écriture, writing*, то есть словесная *практика, действие*, главным предметом которого становится исчезновение, смерть самой **Литературы** как привилегированной системы установления, присвоения и передачи отстоящих ее ценностей, включая «первопоэтический» язык сюрреалистов или же «райский» язык Велимира Хлебникова.

Позднее Жак Деррида в работе «От экономии ограниченной к всеобщей экономии» отметит: «*Поэтика суверенности возмущается в тот момент, когда поэзия отказывается от темы и от смысла*». Акт раскрепощения, означающего мятеж против идеалистической репрессии различия и желания во имя *закона и тождества*, — именно это явилось главной темой большей части теоретических исследований, публикаций, выступлений во Франции 60-х. Это позволяет сказать, что теоретические предпосылки *освобождения языка* легли в основу программы изменений структуры общества той поры и, по сути, стали предпосылками самой что ни на есть первой *поэтической революции 1968-го*.

1 июня 1998 года

МАРК ПЕЧЕРСКИЙ

Американский 1968-й

Два эпицентра 1968-го — район Haight-Ashbury и Telegraph Avenue в Сан-Франциско — находятся, соответственно, в двадцати минутах на автобусе и получасе на метро от моего дома; в десяти минутах ходьбы — Noe Valley, поселение постаревших, остепенившихся и преуспевших бывших хиппи; в часе езды на машине — Volinas, где с выбившимися в постиндустриальную номенклатуру comrades мирно соседствуют преданные идеалам революции «старые большевики». Трудно пересечься с несвоей историей, и может, мы бы разминулись, если б не автобусная пересадка по дороге с работы именно на историческом перекрестке Haight-Ashbury. Время ушло. Но пространство осталось.

Хиппи я уже не застал. Так, дюжина-другая ветеранов, брезгливо оглядывающих с парапетных бивуаков пришедшую ей на смену бродячую шпану. После некоторого опыта вы легко начинаете их различать: «старики», если не в кайфе, читают что-то бхагавадгитное или по-хозяйски радеют вокруг нехитрого скарба; шпанка постоянно в движении — шныр на охоту за жратвой, шныр стрелнуть курева... Шпана свободно заходит в супермаркет на углу в надежде что-нибудь слямзить. Старые хиппи — почти никогда, они стоят у входа и высматривают, у кого можно похристарадничать, а кого без заслона пропустить к машине.

* * *

Когда я слышу завистливые панегирики «протестантской этике», в памяти всегда всплывает эпоха Второй Контрреформации (как я со временем стал ее про себя называть) — восстание американцев 1968-1969-го против протестантской Америки Отцов-Основателей.

Та Америка была сытнее и устроенней большинства европейских стран. Старая добрая дошестидесятническая Америка за вычетом пары-другой больших городов оставалась вполне деревенской по жизненному укладу и строю мыслей. Обзаводились семьями, домами, автомобилями, работали до упаду, ужинали, слушали радио, смотрели телевизор, спали и опять до упаду работали. Честная, правильная и чудовищно душная жизнь. Отдыхали по воскресеньям — утром в церкви пели гимны, а вечером дома в чуланах мастурбировали на утренние впечатления.

Вечером жизнь устремлялась на юг, к «европейской» части города. В восточной жили евреи (тоже люди, но странные), ирландцы (упаси боже!) и некоторое число негров (полезные бытовые предметы). Западная граничила с Китайским городом, где среди крыс жили нехристи, существа, которые, слышала, этих крыс едят — представьте, Дженни!

Каждый знал свою делянку и за ее пределы не шастал. Работали сообща — жили врозь.

* * *

Кинотеатр «Red Victorian» — известный пятак конца шестидесятых, где за полтора десятилетия до нас мальчики и девочки из Висконсина и Техаса впервые приобщались к Висконти, Годару, Пазолини. Когда-то уникальный репертуаром, к моему появлению в Сан-Франциско он оставался знаменитым дешевыми билетами и диванами вместо кресел. Не знаю, существовал ли где-либо еще кинотеатр, в котором зрители возлежали бы на широких диванах (мы с женой вполне умещались!), как древние римляне, ели, пили, курили (и затягивались!), болтали, сновали, жили, словно на дальних берегах возродились старые театральные обычаи фривольного восемнадцатого века.

Бог весть, сколько из нынешних солидных тридцатилетних родителей, выгуливающих свою буржуазную поросль в местных парках — энергичных менеджеров, принявших на себя бремя перекачивания фунтов в иены и страхование искусственных грудей, — было зачато на широких плюшах «Red Victorian». Лет десять назад его искусно перенесли — как мощи — на новое место в соседний квартал. В нем всегда один и тот же виденный-перевиденный антикварный репертуар. Но эстетика поколения, искавшего bliss на каждый день недели триста шестьдесят пять дней в году, умерла вместе с эпохой. Раскованные персонажи, отвергающие труд ради звездного билета, они сегодня выглядят комично, как многозначительно немые дураки Тарковского.

* * *

Haight Street была дальней, бедной и дешевой окраиной — собственно, это и определило ее историческую судьбу, когда богемная молодежь бит-

нической эпохи начала переключиваться туда из северной части города в поисках дешевого жилья.

«Рояль», некогда самое большое кафе на Haight, был наиболее близким аналогом парижского кафе времен Хемингуэя, какой можно представить по легендам. Здесь постоянно ошивалось, читало, играло толпище; очередь в туалет приходилось занимать чуть ли не одновременно с заказом кофе. Здесь посреди залы стоял всамделишный прекрасно настроенный рояль, на котором мог играть любой желающий. Публика появлялась разная, пестрая и с виду обманчивая. Какой-нибудь долдон, только что давивший вшей окурком, мог подойти к роялю и сыграть шопеновскую мазурку; играли в нарды, шахматы, китайское го — во все, кроме карт! Несколькими годами тому решительная хозяйка, которая в основном надзирала и вышибала, объявила, что «закрывает главу истории»: ей надоело отмывать в туалете блевотину и выметать ежедневно ящики шприцов. *The new people don't have manners*, новые не умеют себя вести, — жаловалась она.

На месте «Рояля» теперь фешенебельный китайский ресторан, сменивший не менее фешенебельный итальянский. Для человека старой закалки видеть на месте «Рояля» ресторан равноценно поруганию святого места. Но, честно говоря, итальянские и китайские рестораны стали продолжением революции, а если крепко подумать — закономерным.

Из прежнего гнездовища хиппи принесли в революцию привычку к дешевой итальянской еде, а тысячи мальчиков и девочек со всех концов страны, совершавшие паломничество в только что созданную Мекку Свободы и оседавшие на месяц-другой, а кто и насовсем, ее подхватили. Они были первым асоциальным и этнически неангажированным населением города, к 1968 году они стали уже «самым большим меньшинством» — и бизнес пошел на поклон к революции. На месте сапожных и сырных лавок их хозяева открывали ресторанчики, куда по северному склону все чаще стали спускаться с аристократических холмов приличные люди. До того, не уверен, были ли дороги по северному склону...

* * *

Магазин непальской (тибетской? сиккимской?) одежды. Он здесь с тех самых времен; длинные, до пят, юбки из легкой пестрой ткани, мониста, амулеты, цветастые наплечные сумки. Как же, как же, я еще застал эту униформу — похожих на близнецов плоских белобрысых девочек, подметающих подолами мусор с Haight Street, столь же равномерно борода-то-патлатых юношей с сумками по щиколотку и кисетами в этих сумках. Да и само зелье я впервые увидел на концерте Альдемеолы, когда в нара-

стающем грохоте первого аккорда весь зал в едином порыве, как кавалеристы Чапаева по команде «шашки наголо!», выхватили кисеты и вверх поднялись клубы странно сладкого, неприятного запаха марихуаны...

Магазин этот был одним из немногих дешевых мест в городе, где я никогда ничего не купил для посылки в Союз — ни одна из тамошних знакомиц ни за что в жизни не надела бы гималайский жилет на подкладке из меха яка. Выжил курилка, выжил, там же, с теми же юбками, жилетами, амулетами — только по ценам Елисейских полей! Проходя мимо, заглядываю в витрину — пусто, никто не тусуется, не прячется от постороннего глаза в юбочных рядах, меняя честную мастырку на честную понюшку. Истеблишмент!

* * *

По сей день о 1968-м спорят: был это бунт, недолгий и разрушительный, или революция, раз и навсегда изменившая природу американской цивилизации. Ответ всегда зависит от отвечающего; общий знаменатель — однозначность. Десять лет назад, во времена рейгановского президентства, контрконтрреформации 60-х, мнения определились: бунт! Теперь, когда и в Белом доме, и в Голливуде, и в университетах на самом верху именно представители поколения 1968-го, эпоха подернулась ностальгическим флером — папы доверительно сообщают детям, что «вдыхали» (но не затягивались!); мамы наставляют дочек о пользе добрачной интимности, умалчивая о «по кругу на полянке» (чего греха таить, было, но — ни-ни!).

Если вы спросите меня — человека, набредшего на тлеющие угли чужого костра, — я склоняюсь к термину «революция»: по недоумению, растерянности, которые продолжают вызывать повсюду и во всем окружающие меня последствия этого события. Созидательных бунтов не бывает.

* * *

...На месте «Пикадилли», где хозяин-инвалид, фанатичный англофил, лавируя на коляске меж книжных полок, наставлял меня в различии между английской литературой и «мусором» вроде Фолкнера и Фитцджеральда (треть магазина составляли издания Джойса), — книжный же магазин, простенький: с полкой «французов», «испанским» уголком, словом, обычный.

Книжных на Naight было много, каждый со своей причудой. В одном книги разрешали уносить в кафе, и усаый, гренадерского сложения хозяин никогда ничего не записывал; но я частенько выстаивал в очереди возвращающих книги перед закрытием... В другом, чтобы пробрать-

ся к полкам, приходилось перешагивать через лежащих на полу и читающих вечер напролет какие-нибудь исследования по движению Мау-Мау посетителей; в третьем полускрытый в дымах воскурений хозяин восседал на высоком помосте между алтарем вуду и каким-то попури из Ганеша, Иисуса и африканских масок, выкрикивая какие-то слова и каждому, кто готов был выслушать проповедь о Haight Street — Новом Иерусалиме, готов был отдать книги задаром. Впрочем, покупали много, книжная торговля на улице была из самых бойких. Сегодня из ветеранов выжил только (превосходный!) магазин анархической литературы. На места бывших книжных пришли новые, большие корпоративные и маленькие букинистические. Ни в тех, ни в других нет и тени прежней экзотики, зато обыденный перечень включает такой спектр мировой литературы, какой в прежней Америке был уделом двух-трех культурных гетто на всю страну.

Шестидесятники раскупорили интеллектуальный горизонт Америки. И когда, выходя из современных книжных на Haight Street, я вижу на обочине соломенную шляпу с оборванными полями поодаль от давно не мытой, не бритой седовласой рвани, я выгребая из кармана всю мелочь. Это мой налог на наследство.

1 июня 1998 года

МИХАИЛ ВЕРБИЦКИЙ

Helter skelter-68

Хелен Келлер — 1968

Что такое 1968-й?

В 1968 году умерла Хелен Келлер, знаменитая глухонемая. Были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Потребление общественного согласия, в первый раз за десятки лет, превысило производство. Общественная ткань начала рваться, обнажая подернутый плесенью каркас.

«А в это время...» — Бунюэль, Дали, «L'âge d'or»

В это время в Париже умирал режим Шарля де Голля. Первый раз за историю страны в дополнение к красному знамени рабочие несли черное знамя — знамя анархии, знамя Нестора Махно. Профсоюзы не хотели иметь с революцией ничего общего, и организацией забастовки занялись студенты.

Единственный член Политбюро Компартии, осмелившийся поддержать выступления (Роже Гароди), был немедленно исключен. Коммунисты считали, что победят на ближайших выборах, и не хотели волнений.

Вершиной революции было 24 мая, когда сожгли биржу.

В тот же день троцкисты распустили своих последователей по домам, а социалисты стали саботировать захват министерств. 27 мая революция завершилась десятипроцентным ростом зарплаты по всей стране. Армия разогнала демонстрации и пикеты. К началу июня во Франции было спокойно.

Коммуны и кружки в Калифорнии и Нью-Йорке организовали из себя свободную инфраструктуру политического действия по имени YIP — Youth International Party. Йиппи. Под руководством йиппи десятки тысяч партизан смещенного сознания собрались в глубокой медитации вокруг Пентагона с целью поднять Пентагон. Все видели, как гигантское здание поднялось в воздух. Испуганное правительство отменило ЛСД.

Другой акцией йиппи было выдвижение в президенты наиболее адекватного этой должности кандидата — молодой свиньи мужеска пола по имени Наполеон. Но это было потом, когда надежды на демократическое решение проблем уже не было. Весной же им удалось уговорить выдвинуть свою кандидатуру Роберта Кеннеди, антивоенного активиста из умеренных и брата JFK.

Роберт Кеннеди прекрасно знал, что его убьют, если он выдвинет свою кандидатуру. Другие кандидаты (республиканцы и демократы) были за войну до победного конца. У Кеннеди хватило мужества выступить кандидатом и быть убитым после решающей победы в «primaries» — предвыборных состязаниях кандидатов от его партии. Раскол в демократической партии стал неизбежен. Президентский кандидат от демократов, с набоковскими инициалами ХХХ (Хьюберт Хамфри), не формулировал четкой позиции, да и вообще не собирался победить на выборах. Америка была отдана на откуп милитаристам.

Последней акцией гражданского протеста в американской истории была конвенция демократов 1968 года в Чикаго, городе скотобоен. У кандидата, пообещавшего остановить войну, имелись шансы победить на выборах. Был провозглашен клич — активистам всей Америки явиться на конвенцию и добиться выдвижения демократа-пацифиста.

Это была бойня: дубинки и слезоточивый газ. Под крики «бей негра!» полиция устремлялась в толпу демонстрантов, а демонстранты в ответ увечили полицейских камнями и железками. В дополнение ко всему ходил слух, что хиппи отравили воду ЛСД, так что к ирреальности происходящего присовокуплялась боязнь за рассудок. Начиная с продажного мэра и кончая расистами-полицейскими, Чикаго оправдал свою репутацию столицы мафии на все сто.

После 1968-го лидеры YIP потеряли общий язык. Пол Краснер стал конспирологом и редактором знаменитого Хастлера. Абби Хоффман ушел в андеграунд и сделал пластическую операцию. До конца 1980-х он скрывался от полиции. Потом преследования прекратились, и он скоро покончил с собой. Джерри Рубин решил, что деньги важнее революции, и изобрел термин «уирри». Когда его задавила машина, этого никто не заметил. Многие оказались в тюрьме; другие попали в конгрессмены.

Америка 70-х была полна замечательно красивых актов террора и головотяпства (что стоит покушение Лайнетты Фромм на президента Форда с незаряженным пистолетом, или похищение террористами Symbionese Liberation Army наследницы миллиардера Патти Херст, с последующим обращением наследницы в терроризм). Но радикалы и головотяпы не были больше фокусом национального внимания. С глаз долой, из сердца вон — начиная с конца 1970-х и вплоть до появления ополчений правых радикалов Америкой владел тотальный конформизм.

Между ополчениями и радикалами-хиппи нет никакой связи. Что ж, радикальная традиция исчезла? Нет, переродилась. Умами владеет синтетическая конструкция, составленная из индивидуализма хиппи и экономического либерализма калифорнийских промышленников-технократов и замешанная на возможности легкого обогащения и неограниченной власти через контроль над технологиями.

Думать дада

Чтобы понять 1968-й, надо думать дада. Французская революция (или, как ее скромно называют сейчас, «события мая 1968-го») вдохновлялась словами Сен-Жюста: «Счастье — новое слово в Европе», — фраза, и по сей день звенящая тихо призывом к оружию. Недаром при попытке искать в «Альтависте» +«Happiness» +«new word» +«Еurore» первым номером выходит «Magick in Theory and Practice» Алистера Кроули. Интернационал ситуационистов, пустивший в обиход эту цитату, ориентировался на призывы дада: *«Дадаизм требует... постепенного введения безработицы через посредство механизации всех видов труда. Только безработица может позволить индивидууму достичь уверенности в истинности существования и свыкнуться с опытом»* (Ричард Хьюльзенбек и Рауль Хаусман, из манифеста «Что такое дадаизм и какие цели он ставит в Германии»).

Об этом же писал Тристан Тцара: *«Я убежден, что Америка должна ответить за постыдное клеймо нашей эпохи: фетишизацию труда, идиотскую идеологию, основанную на стремлении к материальному прогрессу и презрению к утопии, к поэзии, ко всему, стремящемуся к усовершенствованию человеческой души... Я должен и буду противостоять этому влиянию... самым насильственным рынком вперед — идеей и самой творческой работой — бездельем».*

К 1930-м годам Тцара присоединился к сюрреалистам, которые мало-помалу перешли на позиции ортодоксального сталинизма. Борьбой с опровергшим себя сюрреализмом начали свою деятельность леттристы, в 1953-м организовавшие Интернационал леттристов. Леттристы занимались тем, что сейчас называется «сакральная география»; они называли это психогеография — серия магических упражнений, направленных на ис-

следование географии городов и одновременно — на радикальную деконструкцию образа жизни городского человека. География, переведенная в экзистенциальную плоскость. Экзистенция леттризма: «...Любая работа есть не более чем выполнение полицейских функций. Мы утверждаем, что существующие идеи и формы взглядов абсолютно ни на чем не основаны. Современное общество разделяется на леттристов и стукачей — полицейских осведомителей. Нет никаких нигилистов, есть только импотенты. Растление малолетних и злоупотребление наркотиками есть часть наших усилий по преодолению пустоты. Многие из наших товарищей — в тюрьме за воровство. Мы протестуем против кары, постигшей тех, кто наконец осознал абсолютную ненужность труда. Никаких разговоров об этом быть не может. Человеческие отношения должны быть основаны на страсти, если не на страхе» (Манифест Интернационала леттристов, 1953 год, Париж).

Экономическая программа леттристов была основана на постепенной механизации и замене труда игрой, а экономики — страстью. Они приводили пример индейцев Америки, известных обычаем под названием потлач — обмен ценными подарками от деревни к деревне, где каждая деревня была обязана правилами игры отдарить больший подарок, чем получен, — эскалация подарков приводила к тому, что деревня, не сумевшая отдарить подаренное, сжигала свое жилье, в этом символическом акте отдавая все имущество. Другим примером была знаменитая колонна Дурутти времен гражданской войны, ходившая по Каталонии и сжигавшая все деревни на своем пути с целью построения нового быта.

Главный журнал леттристов назывался «Потлач».

Искусство леттристов состояло в окончательной деструкции традиционных форм — стихи из отдельных букв, кино из чистых белых и черных экранов и постоянные скандалы в солидных местах.

В 1958-м Интернационал леттристов мутировал в Интернационал ситуационистов (объединение работников культурного авангарда), несущий ответственность за «события мая 1968 года».

Важна параллель между утопизмом ситуационистов и утопизмом хиппи.

Тезисы о дадаизме в Германии требуют двух разных вещей: повсеместной безработицы и осознания истинности существования. Ситуационисты соотносили себя с первым требованием, хиппи — со вторым. Идеология хиппи была построена на попытке прорыва в мир неограниченной духовности через свободный секс, религию, наркотики и непротивление злу насилем; к политической борьбе они были не готовы, да и не интересовались ею вообще. События августа 1968-го в Чикаго были избиением невооруженной, неорганизованной и не готовой к насилию толпы. И в полном соответствии с учением Интернационала ситуационистов движение хиппи было

впоследствии коммерциализовано, дезориентировано рекламой и промыванием мозгов и вынуждено покупать свою же собственную культурную продукцию выхолощенной и завернутой в целлофан. Так будет со всяким.

В противоположность этому ситуационисты построили стройную политическую теорию, не уступающую по верности и всесильности Марксу. Но по крайней духовной аскетичности их программы они безжалостно исключали из канона любой мистицизм и подавляли красоту и искусство. Для лидеров ситуационистов, с многолетним опытом работы в искусстве и беспорядочной половой жизнью, богемные ценности были самоочевидны, и отказ от их пролиферации следует отнести к стыдливости и фрейдистскому нежеланию смешивать разные стороны бытия. Это привело к политическим ошибкам, погубившим революцию. К 1968-му Интернационал ситуационистов (SI) полностью сменил классовую и культурную ориентацию — в 1958 году Дебор писал, что SI есть союз работников авангарда культуры, а в 1968 году ориентация на пролетариат сделалась догмой. Другой догмой оставался примат счастья над красотой и искусством. И когда пролетариат почувствовал себя счастливым в связи с десятипроцентным повышением зарплаты, возразить было уже нечего.

Интернационал ситуационистов был распущен в 1972-м.

Ублюдок-1968

В отличие от ситуационистов, политикой идеологов американских 1960-х было признание тотальной благости свободных СМИ, в особенности электронных медиа. Отчасти это было связано с минимально скорректированным изображением вьетнамской войны в начале кампании, когда ежедневно самосжигающихся буддийских монахов в желтом показывали по телевидению с такой же пугающей ежедневностью. Это скоро прекратилось, но эйфория не прошла. Отношение шестидесятников к медиа выразил Маршалл Маклюэн: «*The media is the message*». Один из светлейших умов поколения, Норман Спинрад, написал однажды толстый роман о том, как террористы захватывают ТВ-центр и перевоспитываются самим фактом показа по ТВ.

Абсолютная недооценка феномена естественного промывания мозгов, о котором писал Дебор, привела к распространению безумных конспирологических идей о вживлении ЦРУ приборов контроля над поведением. Практически все хиппи прошли через стадию конспирологии в 1970-х, но большинство в ней не задержалось, а перешло к сотрудничеству с медиа. Единственным злом виделось государство.

Утопией поколения стал одинокий ковбой, раскрывающий глаза народа на злоупотребления правительства. Но начиная с разоблачения

Никсона, роль государства в американской жизни постепенно свелась к нулю. И получилось так, что никаких разногласий между индивидуалистом-капиталистом и капиталистом-бывшим хиппи больше нет: их спаяла вера в саморегуляцию экономики и абсолютную общественную пользу ничем не стесненной конкуренции (так называемый *laissez-faire capitalism*). К этому присовокупилось то, что на бывших хиппи пролился золотой дождь в виде доходов от продажи интеллектуальной собственности, которая неожиданно стала основным продуктом производства. Единственным камнем преткновения были ценности американского либерализма — так называемые «права человека», а также равенство возможностей, во имя которых тысячи американских правозащитников 1960-х устраивали голодовки, а зачастую жертвовали жизнью. Но оказалось, что права человека — не более чем формальность, не требующая ничего, кроме продуманной политики *public relations*. И к середине 1980-х «права человека» стали фетишем традиционных капиталистов (таких как Рейган) в той же степени, в какой они были фетишем для хиппи.

Соединение *laissez-faire* и воли к власти через контроль над медиа и рынком интеллектуальной собственности с эгалитарными ценностями американского либерализма называется «калифорнийская идеология», и на данный момент она — идейная программа американской элиты.

Большинство хиппи успокоились, пройдя дисциплинарный санаторий 1970-х, и влились в американский мейнстрим. Немногие задержались в стадии конфронтации, вдохновленной недолгими волнениями 1968-го и последующей волной арестов и политических убийств. Позднейшая конфронтационная версия «калифорнийской идеологии» называется киберпанк. Киберпанк не имеет никакого отношения к панку (арт-террористическому движению, основателями которого были те же ситуационисты). Киберпанк есть калифорнийская идеология, замаскированная под футуризм. Конфронтация между индивидом и злокозненным правительством превратилась у киберпанков в конфронтацию между индивидом и злокозненными корпорациями, заменившими правительство. Никакого структурного анализа злокозненности не ведется — злокозненные, и всё. Оружием киберпанка являются все те же навязшие на зубах «*media is the message*» — на сей раз каналы официальных компьютеризованных медиа, которые киберпанк взламывает ради борьбы со злокозненностью и чтобы украсть у корпораций что им не положено. Соответственно, интересы «киберпанков» сводятся к сохранению информации (секретности) и разработки секретных техник, как эту информацию воровать.

Следует признать, что 1968-й мертв.

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Интеллигенция как художественный проект

1.0. Поскольку данная статья заказным образом соприкасается с фактом сборника «Вехи», то он и используется в качестве источника основных цитат и для сверки положений.

2.0. На что обращаешь внимание в первую очередь при чтении «Вех»? Разумеется, именно на то, что заставляет возвращаться к этому своду интеллигентского контента. Сама сохранность его — удивительна, причем осознается она не столько рассудочно, сколько физиологически. Конечно, после очевидного узнавания следует этап рассудочного анализа, который немедленно усиливает интуитивно осознанное физиологическое ощущение.

В самом деле: *«Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, что от нее ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичными. Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы, и как будто бы в сонном царстве. Все опять в ней застыло неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая необычайным ростом преступности и общим огрублением нравов, пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии и сенсационных изданий. Есть отчего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России»* (Сергий Булгаков).

Св. Антонию (впоследствии, то есть после изложенной ниже истории, — Великому) Господь в ответ на подобные же сетования сказал однажды: «Антоний! О себе радей!» Полагаю, что в этом расхождении кроется нечто существенное.

2.1. Впрочем, что до сетований отца Сергия в нынешнем контексте. Их очевидная не просто применимость, а натуральная свежесть свидетельствует о том факте, что, несмотря на прошедшие 90 лет, продолжает существовать все тот же тип сознания. Вот именно тот, который употребляет для описания окружающей действительности весьма неопределенную — именно настолько неопределенную, чтобы быть вечно истинной — оценку. Не сказать, что тип этот — сознание бытовое: бытовое хотя бы отчасти допускает конструктивность. Вневременность же употребленных позиций и система скорбей, уместных всегда, заставляют понять, что ни о прагматике, ни о здравом смысле речь тут не идет.

2.2. Св. Антоний упомянут тут не столько в качестве примера для русской интеллигенции, сколько в качестве представителя логики, весьма соответствующей национальному образу мысли. В нашей культуре есть штука страшной силы: православная апофатика. Не о наличии этой вещи в нынешнем церковном обиходе речь — тот сейчас слишком теплый, чтобы постоянно помнить об этой вещи. Но апофатика, ушедшая примерно в лимфатическую систему души, и подсвечивает, верно, все бытовые варианты: становясь косвенным и жестоким методом точной оценки меры неправды, содержащейся в любом мессидже или явлении. Конечно, всё и все тут всегда будут под подозрением: вот именно поэтому. Не человеческое потому что это дело — объяснять. Откуда, соответственно, и возникает подозрительное и непочтительное отношение к любой форме позитивного высказывания.

2.2.1. Откуда следует, что все, что не руководствуется апофатическим отношением к жизни в России, всегда тяготеет к сектантству. Это понятно: степень обольщения своей прагматической правдой — пусть даже в мистическом варианте — неминуемо требует болезненного забвения и субъективного обольщения.

2.2.2. Из того, что секты предполагают некоторый мистический прорыв, немедленно следует, что все они обыкновенно локальны во времени — поскольку даже легкая сменяемость коллектива способна оказаться мощным препятствием мистическому прорыву во взыскиваемое.

2.2.3. Таким образом, несмотря на внешнее сходство с сектантством, понятно, что — по причине исторически длительного существования в полностью сформировавшемся состоянии — к сектантству как к таковому интеллигенция отношения не имеет. При этом она и в самом деле схожа с этим распространенным опытом наличием некой постоян-

ной иррациональной программы, чаще всего употребляющей эпитеты эмоциональные, связанные с болью, стыдом, негодованием. Очевидно, что все они применительно к интеллигентскому пути существования имеют чувственный характер и вовсе не требуют активного прагматического действия. Например, интеллигентский поэт Некрасов, «рыцарь на час»: *«Не рыдай так безумно над ним: // хорошо умереть молодым! // Беспощадная пошлость ни тени // Положить не успела на нем!»*

2.3. Из соотнесения двух этих зон становится ясным, что интеллигенция, являясь в самом деле внутренне позитивной по настрою (у нее, несомненно, наличествует некая идеальная программа), в то же время свободна от мистического фактора, что и позволяет ей продолжать попытки реализовать идеал на протяжении столетия. Что это может быть? Ответ, пожалуй, единственный — интеллигенция является художественным проектом. Учитывая его долговременный характер — традиционной художественной институцией России, носящей ярко выраженные национальные черты (хотя бы в силу той же традиционной борьбы русского духовного склада со всеми попытками неапофатического поведения).

2.3.1. Приняв эту точку зрения, легко перевести привычные данной группе населения обыкновения в ранг жанровых приемов: монологи, отсылки к заведомо не отвечающим объектам и употребление понятий, не имеющих смысла вне данных монологов — заря свободы какая-нибудь, Конституция, страдающий народ. Очевидно, что совокупность данных приемов определяет романтико-героический жанр, который вне представления об интеллигенции как о художественном проекте кажется стыдным и абсурдным — если вообще производимым на трезвую голову: *«Подъем героизма в действительности доступен лишь избранным натурам и притом в исключительные моменты истории, между тем, жизнь складывается из повседневности, а интеллигенция состоит не из одних только героических натур»*, — уловил все тот же Сергей Булгаков. Но — это же искусство, а не Аркольский мост. Здесь очевидно отсутствует необходимость результата.

2.3.2. Если попытаться найти аналогию этой художественной институции чисто фактурно, то, пожалуй, результат очевиден — это просто-напросто Императорский балет, а канонический текст любого отдельно взятого интеллигента — балет «Лебединое озеро». Видимо, сказывается и либретто — являющееся вполне адекватным кодом интеллигентского самосознания; что уж говорить об истории с путчем 1991 года, равно как и о традициях просмотра «Лебединого озера» представителями власти: легко понятный и вполне естественный российский — вполне апофатический — парадокс.

2.4. Чтобы доказать ошибочность приведенного выше мнения, обратим внимание на шаблоны-противопоставления, обыкновенно помогающие интеллигенции оформиться в качестве очередного художественного акта. Шаблоны эти мировоззренческого характера: западники — славянофилы, вера — материализм, интеллигенция — народ. Шаблоны эти, легко увидеть, практически не изменились за сто лет — но даже «Лебединое озеро» за это время изменилось настолько, что возникает речь о восстановлении первой постановки. Скорее, мы имеем дело с российской разновидностью театра кабуки.

2.5. Маски, повторяемость сюжетов, слов, жестов и сценических положений, которым всегда соответствует любой номер года за стенами театра. И склонность публики воспринимать представление всякий раз как премьеру. Психофизика лишний раз доказывает свое энергетическое преимущество над внешними формами телесной деятельности. Интеллигенция как художественный проект оказывается в непосредственной близости к русской тантре, кабы та существовала, то есть — в силу ее отсутствия — ее замещает (ряд идиоматических выражений эту версию подтверждает). Разумеется, любая предлагаемая — особенно в художественной форме — сублимация всегда является обслуживанием власти, получающей возможность косвенно контролировать чувства части подданных.

2.5.1. Так что, возможно, она все же «Лебединое озеро». Особенно — адажио из оного.

4 апреля 2000 года

ПСОЙ КОРОЛЕНКО

Кот внутри

Уильям С. Берроуз. Кот внутри. — Тверь: «Митин журнал» и Kolonna Publications, 1999. — ISBN 5-88653-017-7.

«Церемония посвящения нацистов в высшие слои СС: вырвать глаз домашней кошки после того, как ты кормил и ухаживал за ней месяц. Это упражнение было придумано, чтобы уничтожить все следы слюнтяйства и сформировать идеального Übermensch. Здесь заключен вполне отчетливый магический постулат: подопытный достигает статуса сверхчеловека, совершая жестокий, отвратительный, нечеловеческий поступок. В Марокко маги обретали силу, поедая собственные экскременты. Но вырвать глаза Руски? Запускать взятки в радиоактивное небо? Какая от этого польза? Я не могу поселиться в теле, способном вырвать глаза Руски. Так кому же достанется весь мир? Не мне. Любая сделка, предусматривающая обмен качественных ценностей, таких как животная любовь, на количественную прибыль, не только бесчестна, не правильна по самой сути, но и просто глупа. Потому что ты ничего не получаешь. Ты продал свое я».

Надо же. «Руски». Это потому что порода — blue Russian. А интересно, что у нас в России собачьи типичные имена иностранные — Джульбарс, Рекс, Мухтар, а кошки русские — Мурка, Вася, Барсик. Вася — у меня уже третий кот. Это о нем зашла речь, когда я в Праге сидел, дочитывал Берроуза «Cat Inside» в русском переводе Мити Волчека. На словах «Я просто не могу вынести, что мои кошки голодны» — позвонили из Москвы, что три дня некому было прийти и покормить Васю, он сидит в квартире один. Я сразу позвонил Мите и сказал, что думал: «Это работает».

Но по-настоящему я узнал, как оно работает, лишь десять дней спустя. Когда вернулся в Москву и позвонил в «фулбрайтровский» офис узнать, в какую конкретно «Америку» посылают меня. Было три догадки — или Оклахома (специально для охломонов), или Небраска (дешевая, неброская), или Айова (почему-то, просто не знаю). И я почти попал, мне вышло местечко. Но — *curiouser and curiouser*. Все спрашивали, «why Lawtence...» Почему оставил свой «бункер» в Нью-Йорке? За 16 лет до смерти приехал в местечко, сел на чистяк, написал свою лучшую книгу: «Кот внутри». Приход в Ясной Поляне. «Cat Inside».

Книга о кошках. Кошачья шарада. По-другому, чем Митя, ее и нельзя было перевести. Митя ценен не только интонационной и стилистической близостью подлиннику, но и экзистенциальной, глубинно-психологической сопричастностью (или, по крайней мере, не чуждостью) собственно берроузовскому личностному и творческому опыту. Наверное, поэтому нет у Мити ни культуртрегерского молодежно-филологического пафоса, ни инфантильно-инфернальных восторгов неопита-телемита, ни «цехового» снобизма и манерности. В голове порядок и ясность, уважение к контексту, внутреннее понимание того, о чем эта книга.

Жаль, на обложке реклама про то, что Берроуз ненавидел женщин и собак, но любил юношей и кошек. Мол, аллегория, коты — это геи, собаки — стрейты/бабы. Не думаю. Это ж не басня. Собак он ненавидел не самих, а какими их сделали люди. Там про это много. Линчевателей и прочих направляют кукловоды, злоба пса — не его собственная. Женщин не ненавидел, на этот счет я предпочитаю доверять Патриции Мервин-Эллиот. Она говорит, что мизогиния его была шуткой. И третье: он же сам сказал, кто такие коты. Это не аллегория геев. Это воспоминания.

Они одолевают его, наверное, по дороге в «Дилланс». Только в Лоуренсе понимаешь, что такое «Дилланс». Универсам по-нашему. «Грошери стор». Особая любовь к «Диллансу». «Дилланс» — магазин. Всю жизнь он порочил «грошерииз», хаял всю жизнь консьюмерство, конформизм серых «штатников», противных теток в магазине, противную жратву. А тут полюбил «Дилланс» — за что? За то, что можно купить еду для своих котов. Как обыватель, беседовал с бабульками в «Диллансе», будут ли коты есть то, это. В Лоуренсе сразу начинаешь представлять себе старенького Берроуза, бредущего потихонечку в «грошери стор» на своем «каре».

Мама в богадельне «Четейнс». Четыре года ни разу не навестил, слал какие-то открытки голимые. Джоан: все, больше не буду тебя обижать, ни за что, никогда. Старый папа в Сент-Луисе. Все о'кей, *дэд?* Давно не видел! Молчание. Белокурый мальчик ждет под утро во сне у входа старой спальни в родительском доме на Першинг авеню. «Ты, Билли?» Я, папа... «Я кто угодно, для кого угодно, кто меня любит». Милый дружок,

Кики. Тогда зачем-то его ударил, он сидел плакал, как было и с котом Руски, потом все, уехал в Мадрид, наркотики, зарезали в номере. И еще кто-то, очень-очень важный и близкий, но кто? «Не скажу».

«Хай скул» в Лос-Аламосе, где учитель пристрелил веселого, доброго барсука, который просто пришел поиграть, пристрелил с трех дюймов, из 45-го калибра. А потом там сделали атомную бомбу и «не могли дожидаться, чтобы сбросить ее на „Желтую Жемчужину“», — и все можно. «Человек — скверное животное», — сказал тогда (или не тогда) Брайан Гайсин, придумавший катапы.

Детство, прогулка с братом в Сент-Луисском заповеднике, встреча с маленьким зеленым оленем, величиной с кошку. Этот олененок будет всегда, его нельзя убить, это та же магическая вселенная, ангелы, Единорог, снежный человек, сон о ребенке с глазами на стебельках, котенок-альбинос, «одно из самых красивых существ», песчаная лисица, маленький скунсик, гибнущее семейство морских котиков на плавучей льдине, странная зеленая жидкость, мальчишки-рыбы.

И коты, коты. Любимый кот — Руски. Нервный срыв, когда потерялся Руски, Берроуз поехал искать его в «отстойник», где их отправляют на смерть. Дикие законы — если кот вышел за пределы дома, то он бродячий. Его ждет «белобрый полицейский наглец» и «лагерь смерти, полный горьких, отчаянных криков пропавших кошек, ждущих, когда их усыпят». Что это, что я слышу? Не знаю, но он их сделал. Он смог это, с помощью «Дэвида Ола» (вообще-то Оули, но не важно) вызволил бедного Руски из этого страшного места.

Раньше он и сам ведь, когда наширятся, так любил мучить кошек, обвязывать их проволокой, например, и бросать в ванну. Ну, вот вам и «раньше и сейчас». Жаль тех котов, жаль измученных при его поддержке людей (рекламировал кроссовки «NIKE» по Американскому телевизору), жаль Шесть Миллионов, и все это не только «смутное чувство вины», как повторяет исповедь постаревшего «джанки». Это гораздо более важное сообщение, и я знаю какое, у меня был Кот.

У меня был кот Митя, он прожил чуть меньше двадцати лет. Когда его «подобрали» (в Фирсановке), я ходил в первый класс. А когда «усыпили», я был уже доктором философии. Собак он целых три пережил в доме моих родителей. Да что собаки, у меня к тому времени уже друзья были Митинога возраста или даже моложе его. Митя был серый, с белыми лапками и черными узорами на спине, в принципе обыкновенный кот подмосковный, но что-то было в его улыбке, интонациях, может быть «вчитанное» нами.

Он любил сидеть на табуретке у окна в «человеческой» позе, положив лапы на батарею. Любил сидеть в позе сфинкса, смешно надуваясь,

дыша. Так он часами мог сидеть где-нибудь на кухне, а потом входил в комнату через открытую дверь, вразвалочку. Ел только сырое мясо, мелко нарезанное и смоченное в воде, — с самого начала от всего остального отказывался. Митя пил воду из крана. Он любил сидеть со мной и просто смотреть мне в глаза. Казалось, что он все знает. Митя был больше чем «кот».

Помню, как я был маленьким мальчиком, как мама учила меня обращаться с Митей. Хочешь любить, гладь медленно, потихонечку. Митя не любит, когда его против шерсти. Делай, как ему нравится, а не как тебе. И смотри, не сделай ему больно. А этого-то как раз очень хотелось. Наверное, я его так любил, и даже еще тогда не понимал, что такое. А что делать, когда любишь такое странное существо? *«Маленькое, не больше кошки. Это не ребенок и не животное. Что-то другое. Это наполовину человек, наполовину еще что-то»*. Я тогда еще не знал про Берроуза.

Не знал и про мрачного таинственного поэта, Элистера Кроули, про которого Митя рассказывал мне летом в Праге: «А правда, что „мастер Терцион“ каждый месяц собственноручно приносит в жертву по одному живому младенцу?» — «Не верь всему, что тебе скажут о Кроули. Всего-то он за свою жизнь убил двух котов. Одного и правда для какого-то ритуала, а другого просто в молодости, хотел посмотреть, что внутри. Да лучше бы уж младенцев. Я ему этих двух котов до сих пор простить не могу».

Когда Митя состарился, я изредка заходил к родителям, чтобы с ним повидаться. В последние дни жизни он был очень плох. Его парализовало, он не мог ходить, сидел и тихо мяукал. В один из таких дней мама по телефону сказала мне, что приезжал ветврач и Митю пришлось «усыпить». Теперь я знаю — Берроуз был против эвтаназии для животных, но за кастрацию. А по-английски кота кастрировать называют «to fix» («починять», стало быть, — немножечко doublespeak), а эвтаназию для животных — так же, как и у нас, «to put to sleep», «усыпить».

И надо было как следует похоронить Митю. В Фирсановке. А они непонятно где в Москве, где-то на улице, «около мебельного магазина». Что это? *«Анекдот для читателей „Нью-Йоркера“*. *Теперь уже не кажется смешным... Худая бродячая кошка выброшена вместе с мусором*». И я пожалел, что не остался у родителей ночевать накануне. Я бы не отдал Митю укокошить ветеринару. А когда бы он сам умер, то я бы его в Фирсановку отвез похоронить, туда, откуда он взялся. Про Фирсановку я бы много вам рассказал. А может, и нет. Есть подозрение, что я нарочно отсиделся дома в те дни, потому что в глубине души побоялся вида мертвого Мити. Плюс, наверно, какое-то чувство вины, понятное в контексте уже сделанных мной признаний.

И у меня уже был к тому времени другой кот. Его имени вам, пожалуй, знать не нужно. Это был сиамский кот, черно-белый, с красивыми голубыми глазами. И это совсем другие отношения. В каком-то смысле я был как Митя, а тот был как я. Трудно любить так, чтобы совсем не было больно. *«Чувствую, как у него звенит в ушах от удара. Я в буквальном смысле причинил боль самому себе и не знал этого»*. И знал это! Правильно пишет, трудно, не могу рассказать вам всех обстоятельств, это и долго, и тяжело. В общем, он пришел, царапался, кусал меня за ноги, я рассердился и резко крикнул: «Иди отсюда, убью тебя!» — он отбежал, сел в угол комнаты. *«Потом сон: ребенок показывает мне кровоточащий палец, а я негодуяще вопрошаю, кто это сделал. Ребенок заводит меня в темную комнату и указывает окровавленным пальцем на меня, и я просыпаюсь с криком: „Нет! Нет!“»*

Я сказал: «Ну ладно, прости меня». Казалось, что этим что-то можно исправить. Но только на пять минут. А потом он прыгнул из своего угла и впился мне в морду когтями всех четырех лап, не по-кошачьи глухо крича. Я долго не мог отодрать его от себя, он рвал мое тело, царапался и кусался. Пол был в крови. Глаза у кота были мрачные, поведенные. Я запер его в ванной и вызвал врачей с ветстанции. В общем, в конце концов его «усыпили», потому что он как будто «сошел с ума» и теперь всегда будет так. А что было на самом деле? Не знаю, может быть, переезд. *«Не думаю, что кто-то способен написать абсолютно честную автобиографию. И никто, я уверен, не будет в силах прочесть ее»*.

Есть выход из этого порочного круга? Если долго вслушиваться в лоуренсовское пение Берроуза, что мы услышим? Wizard of Oz? William S. Burroughs? Местечко? «Дилланс»? Фирсановка? Meet me in Saint Louis, Louis? Приход в Ясной Поляне? Да, и это все, но и это еще не все, до тех пор пока он не хочет открыть нам, кто ж такой на самом деле есть Кот. *«Знаю, но не скажу»*. А кто скажет? Льюис? Толкиен? Баум? Да все вокруг да около. Я кот внутри. Как кот, я себя не знаю. У меня глазки умные, но я прозрачен внутри. Все всегда может случиться. В любой момент — что угодно. Я все могу. Даже не я. Те силы, которые движутся. Но это и больно. Рвут пополам, очень давит. Не буду понимать, что делаю. Вот я и кот. Да. Но так же, независимо, за мной и придут. Люди (если я кот). They'll fix me. They'll put me to sleep. И не узнаю за что, как коты не узнали. Пришли люди, и все тут. Значит, было за что.

«Мы — коты внутри. Мы коты, которые не могут гулять сами по себе, и у нас есть только одно пристанище».

Да. Одно.

ВЛАДИМИР ТУЧКОВ

Яркевич и интеллигенция

Читать рассказы Яркевича интересно до двадцатой страницы. Потом нещадно эксплуатируемый автором прием сравнения дерьма с конфеткой начинает утомлять своей монотонностью. Невольно спрашиваешь себя: зачем он нужен, этот Яркевич, когда уже изобретен текстовый процессор? Вполне хватило бы какой-нибудь старенькой 386-й модели IBM PC.

Публицистические опусы Яркевича интересно читать как раз с двадцатой страницы, когда несколько стихает авторский зубовой скрежет. С этого момента в его творениях начинают появляться свежие оригинальные образы. Разве это не здорово, например, высказать идею о трансформации толстых литературных журналов в алкогольные напитки? Водка «Знамя», коньяк «Новый мир», портвейн «Октябрь», пиво «Дружба народов»... И ведь как интонационно тонко автор названия журналов связал с типом продукта! Ведь может же, когда захочет! А то все: «Я и Окуджава», «Я и Солженицын»... Я бы на его месте склеивал первые половинки рассказов со вторыми половинками статей, цены бы таким произведениям не было.

До сих пор речь шла о форме, которая на нынешнем этапе развития литературы гораздо интереснее содержания. Но коль статья публицистическая, то придется, переборов в себе эстетские рефлексy, поговорить и о нем.

С этой точки зрения Игорь Яркевич предстает как крупнейший мистик и метафизик современности. В его противопоставлении «литература — интеллигенция» в понятие «литература» я более-менее врубаюсь. Но что такое «интеллигенция», сейчас, в конце XX века, навряд ли

ответит хоть один из живущих на земле мудрецов. То ли это тайный рыцарский орден, то ли внедрившиеся в русскую действительность гуманоиды, то ли фантазия галлюцинирующего от шаманских грибов сознания, то ли сон Веры Павловны, записанный на языке психоанализа, то ли летучая эманация... Никто не знает — Яркевич знает.

Даже духовный учитель Яркевича Виктор Ерофеев не возьмется интеллигенцию пером описать. Когда-то Ерофеев, будучи все-таки литературоведом, то есть человеком, уважительно относящимся к терминологии, напечатал разгромную статью в «Литературной газете». Времена были горячие, «Литературку» еще с раскрытыми ртами читали, публикация, как и предполагалось, наделала много шума, а Виктор Ерофеев стал еще более знаменит. В той статье он обрушился с уничтожительной критикой на всю советскую литературу, и в частности — на ее либеральное шестидесятническое крыло. Про интеллигенцию же Ерофеев промолчал, поскольку это прозвучало бы слишком антинаучно. А так все понятно, и ясно, кто такие шестидесятники, поскольку названы конкретные фамилии. Но ежели Яркевич, скажем, начнет на конституционном суде давать показания против нынешней интеллигенции, то большой конфуз произойдет. В протоколе вместо фамилий и адресов будет записано: «Те, которые Белинского читают».

Поэтому отнесемся к той части яркевического текста, где речь об интеллигенции, как к темному месту рукописи, которое, быть может, в грядущих веках истолкует народившийся гений нового типа о трех полушариях головного мозга. Существует, конечно, правительственная формула, согласно которой интеллигенция — это те, кто в указанное сверху время встречаются с президентом страны. То бишь шестидесятники. А потому сосредоточимся на литературе шестидесятников и их толстых журналах и на современной актуальной литературе и ее тонюсеньких альманахах.

Введем для удобства два определения. «Старая литература» — это то, что написано и пишется литераторами шестидесятнической либеральной формации, которые вели себя по отношению к советским властям с абстрактно-человеческой точки зрения вполне достойно. «Новая литература» — это литература современная, актуальная, не привлекающая внимание читателя к этической стороне мира. Действительно, пусть этикой милиция занимается.

Трудно спорить с автором, когда он констатирует смерть старой литературы. Поставленные в ней в свое время вопросы и найденные на них ответы нынче звучат как китайская речь на митинге патриотических сил. Понятно, что когда-то читатели тащились от намеков на то, что второй секретарь горкома — козел, а Шариков олицетворяет революционный класс. Но как и куда применить теперь эти знания, добытые потом и кро-

вью в боях с цензорами и редакторами? Можно, конечно, попытаться второго секретаря перелицевать в председателя думского комитета, а Шарикова — в нового русского. Ну и что? Про то в газетах куда более литературно пишут. Так что критическая функция старой литературы пересохла и отпала, как картофельная ботва поздней осенью.

Говорить о ее воспитательной функции и вообще как-то стыдно, причем стыдиться надо в первую очередь не мне, не Яркевичу, а тем самым воспитателям-шестидесятникам. Однако они не только говорят, но и горячо доказывают, что когда толстые журналы, в которых они людей к свету звали, выходили большими тиражами, то и морально-нравственный климат в стране был лучше, чем сейчас. Причем эти речи о прежней нравственности и нынешней безнравственности они очень гармонично сочетают с несением пошлейшей ахинеи на всевозможных телешоу. Оно и понятно, против телережиссера не попрешь — он вдыхает рекламную жизнь в умершее тело.

Именно поэтому, как справедливо замечает господин Яркевич, интеллигенции шестидесятники видятся главными героями сегодняшнего дня. Но поскольку нам абсолютно непонятно, кто же такая интеллигенция — миф или галлюцинация, то из этого следует вывод, что коль видит шестидесятников главными героями трансцендентная субстанция, то нам, людям нормальным, имеющим имена и профессии, шестидесятники в таком обличье невидимы. Мы же способны видеть их такими, каковы они на самом деле: несчастными, внутренне растерянными людьми, которые вынуждены теперь служить черт его знает кому. Если же господин Яркевич утверждает противоположное, то, значит, он обладает сверхъестественным зрением. И, возможно, сам является этой самой интеллигенцией. Но об этом потом.

А вот то, что он сын родной шестидесятников, я заявляю с полной уверенностью. Во-первых, он, как и завещал великий Фрейд, намерен обрушить всеокрушающий топор на голову отца родного со всей мощью сыновней ненависти. Тут, замечу, сокрыт прекрасный материал для диссертации.

Во-вторых, хоть автор гневной отповеди и перечислил все ненавистные ему толстые журналы, про один он сказать забыл. Думается, умышленно, поскольку не только активно в нем публикуется, но и регулярно получает из рук главного редактора Александра Глезера премии за творческие заслуги. Называется журнал «Стрелец». В нем печатается преимущественно шестидесятническая проза, как отечественная, так и эмигрантская, проза, бичующая идиотизм прошлой жизни и неприглядные стороны настоящего. Одним словом, дидактики там предостаточно. Довольно часто звучат и вопросы «что делать?» и «кто виноват?». Одна-

ко ничего, печатается Яркевич под одной обложкой со Львом Аннинским, хотя круче шестидесятника отыскать сложно. И никакой биологической несовместимости.

В-третьих, хоть он и до смерти боится Евтушенко, но очень похож на него своей очаровательной жадой сказать про себя что-нибудь такое, чтобы у читателя челюсть отвисла. Этаким безотчетный нарциссизм. Старший товарищ говорит: *«Сидим мы как-то с Джоном Кеннеди, все уже выпито, консьержку будить не решаемся, и тут я ему говорю: „Джон!..“»* Младший товарищ примерно с той же целью вторит старшему: *«В интервью „Нью-Йорк Таймс“ я сказал...»* Кого же из них надо бояться больше — Евтушенко или Яркевича? Наверное, более молодого и мускулистого.

И тут возникает вполне законный вопрос: зачем же он их ругает, топором размахивает? Не только ведь чтобы почтить таким образом память великого Фрейда. Не только и не столько. Сверхзадача Яркевича заключается в том, чтобы, как и учитель Виктор Ерофеев, на шуметь-наскандалить и стать знаменитым. Учитель шестидесятников приложил, ученик решил мифической гидре интеллигенции головы рубить. Однако поезд уже давно ушел и все это напоминает махание кулаками вослед красным хвостовым огням. Нынче положение в обществе таково, что борьба антиинтеллигентов с интеллигентами никого не интересует. Когда Ерофеев гневом изволили разразиться, то шестидесятническая литература еще пользовалась популярностью и заменяла людям церковь, публичный дом и библиотеку. Нынче народные интересы расплзлись, словно нефть по воде. Кому давай политику, кому бизнес, кому мыльные оперы, кто от футбола по-прежнему балдеет, кто — в детектив с головой, кто на рыбалку, кто за чтение современных французских интеллектуалов... Кто-то даже Яркевича читает. Короче, сформировалось вполне горизонтальное общество, где верх и низ определяет лишь Уголовный кодекс, а не мнение Игоря Яркевича, Владимира Тучкова, Бориса Ельцина или какого-либо иного индивидуума.

Кстати, свое место под солнцем нашла и современная литература. Хоть Букеровская премия и консервативна, но ее все-таки получили Андрей Сергеев, Сергей Гандлевский, Виктор Пелевин. Это радует. Причем последних двух выдвигали на премию пресловутые толстые журналы. А Андрея Сергеева — «Новое литературное обозрение», которое интересуется именно актуальной литературой, а не героями вчерашних дней.

У читателя возникает вполне резонный вопрос: «А что же такое современная актуальная литература? То ли, что о ней рассказал Яркевич?» Навряд ли. Он утверждает, что интеллигенция не может показать обществу половой член, а современный писатель может. Коль мы пришли к то-

му, что интеллигенция — сверхъестественная субстанция, то неизвестно, что у нее есть, а чего нет. Так что и обвинять ее в неспособности репрезентации чего-либо некорректно. Точно так же некорректно вменять в обязанность каждому современному писателю публичный эксгибиционизм. Ну нравится Яркевичу — так это его частное дело. Думается, водораздел проходит не по линии полового члена, а в сфере мышления и чувствования. Есть многое на свете, друг Горацио, достойное репрезентации. Если это не так, то прошу не считать меня актуальным и современным.

Но Яркевич настаивает на члене. И это ему выгодно, поскольку вымиравший где-нибудь в «Литературке» критик-шестидесятник, прочтя у Яркевича нечто новенькое, радостно хватается за перо, чтобы выплеснуть на бумагу самые дорогие для себя слова: исчадие ада, ниспровергатель устоев, литературный выродок и т.д. Все это очень забавно. Потому что именно этот самый критик и сделал Яркевичу имя. Яркевичу без него никак нельзя, тут своего рода литературный симбиоз. Игорь Яркевич был бы крайне удручен, исчезни в одночасье все толстые журналы и туповатые критики.

И тут наш автор не одинок и, что самое печальное, не нов. Подобную стратегию внедрения в коллективное сознание через средства массовой информации используют многие современные художники. Художникам тут проще, поскольку именно они придумали жанр перформанса. В последнее время эпатирующие перформансы в большом ходу. Скажем, Александр Бренер приходит в Пушкинский музей и гадит, в физиологическом смысле этого слова, перед картиной Рембрандта. Или он же при огромном скоплении публики мастурбирует на прыжковой вышке бассейна. Последний его перформанс все-таки подпал под статью уголовного кодекса: в Амстердамском музее он нарисовал аэрозольной краской знак доллара на «Сером квадрате» Малевича. Посадили на десять месяцев.

Куда более осмысленны и отважны действия Олега Кулика, который буквально рискует собственным телом. Например, в Берлине он проводил акцию «Собака Павлова». Целый месяц жил в вольере нагишом, передвигался на четвереньках, ел из миски собачьи концентраты, не пользуясь для этого ни только ложкой, но и руками, справлял нужду, лишь когда его выгуливали. При этом некая «ассистентка» постоянно исследовала его при помощи медицинских приборов и заносила данные эксперимента в лабораторный журнал. Апофеозом акции была встреча Кулика с дюжиной полицейских собак. Причем он сам спровоцировал неравный бой. Бедные дойч-собаки, видя ЭТО в первый и, хочется верить, в последний раз, с места двинуться не могли от страха и лишь защищались, закрывая головы лапами. А Кулик в ярости кусал, кусал, кусал, периодически сплевывая шерсть.

Подобные поступки деятелей современного изобразительного искусства очень привлекательны для СМИ: телевизионщики с большой радостью снимают их, газетчики фотографируют и пишут статьи для разделов курьезов либо светской жизни. Более серьезные издания анализируют подобные действия, выискивают в них подтексты и мифологемы и публикуют серьезные статьи. При этом организуется максимальная шумиха, и имена художников запоминаются, неважно в каком контексте.

Что могут противопоставить вербальный Яркевич и близкие ему по устремлениям писатели такому размаху, такой мощи художественного экстремального жеста? Раз двадцать пять использовать в рассказе слово «хуй»? А потом, в знак протеста против замены оногo точками, наблевать на стол редактора? Или разразиться гневной статьей о том, что не только толстые, но и глянцевоe журналы никак не могут избавиться от ярма духовности. Увы, статья эта произведет впечатление не разорвавшейся бомбы, а лопнувшего воздушного шарика. Да, вербальность в нашей стране всегда отступала перед визуальностью, и читатели предпочитали книжку с картинками книжке без оных.

Сердитые литераторы заведомо проигрывают сердитым художникам, поскольку они работают с разными материалами. Можно описать половой член словами, однако изображенный маслом на холсте он будет гораздо внушительней. А ежели взять ненавистную моему оппоненту душу, то ее кистью запечатлеть не удастся, а лишь только при помощи слов. И в этом состоит трагедия актуальной русской литературы, как ее представляет Игорь Яркевич.

Однако существуют и другие ее формы, с которыми работают, например, Николай Байтов, Виктор Пелевин, Андрей Сергеев, Лев Рубинштейн, Нина Садур, Всеволод Некрасов, Генрих Сапгир, Игорь Холин... Покойные Евгений Харитонов, Венедикт Ерофеев... Да-да, именно Ерофеев, хоть Яркевич в порыве тотального уничтожения окружающего пространства, антагонистичного себе любимому, и низвел его до состояния люмпен-шестидесятника и соц-артиста.

Тут он передергивает. Не следовало бы забывать, что шестидесятник — это не возрастная категория. И ни в коем случае нельзя сваливать в одну кучу всех тех, кто родился в 30-е годы, стал активно писать в 60-е и кому сейчас шестьдесят с хвостиком. Шестидесятник — это тот, чье поле деятельности лежало в зазоре между постановлениями ЦК КПСС в идеологической сфере и собственными представлениями автора о свободе творчества. Как правило, свобода эта принимала уродливые формы и сводилась к кукишу, показываемому в кармане власть предержащим, от которых зависело, сумеет ли тот или иной писатель нормально функци-

онировать в союзписательской машине, публиковаться, ездить «в заграничку», жить в Переделкино, отдыхать в Коктебеле, пить в ресторане ЦДЛ, пользоваться литфондовой поликлиникой. В общем и целом деятельность шестидесятников можно охарактеризовать как «пропагандирование советских духовных ценностей и критику отдельных недостатков, тормозящих претворение в жизнь исторических решений XX и XXII съездов КПСС». Несмотря на закавычивание, тут нет никакой иронии. Потом, когда советская власть впала в маразм, шестидесятники на нее смертельно обиделись и начали выражать свой протест не при помощи слов, а мимикой и многозначительными вздохами. Что же касается их видения мира, то оно постулирует прямую, можно сказать — линейную, зависимость человеческого счастья от социального устройства общества. Яркевич совершенно прав в том, что шестидесятники интеллектуально находятся на уровне развития XIX века. Однако за это их не расстреливать надо, а по-человечески пожалеть.

Но есть и другие шестидесятилетние пишущие люди, которых отнести к шестидесятникам никак нельзя. Я имею в виду не диссидентов, а выходцев из андеграунда, где в свое время зародилась современная актуальная литература. (Не с Яркевича она пошла и не с «его» поколения — это уж точно.) Тут можно назвать множество имен тех, кому в отношениях с СМИ повезло меньше, чем новым сердитым. Чертков, Красовицкий, Сатуновский, Некрасов... Так вот Венедикт Ерофеев отнюдь не люмпен-шестидесятник, хоть и работал кабельщиком, и не последователь поп-арта, а именно представитель современной литературы. Но в его прозе есть не только телесность, но и пророчество: предсказание собственной мучительной кончины. У одних есть связь с... как бы это выразиться понепафосней... с мировым информационным банком. У других эта способность атрофировалась, отчего они начинают злиться на Ерофеева, хватать в дворницкой топор и бежать к старухе-процентщице. Но при помощи подобной хирургической операции себя не переделаешь, из шкуры твари дрожащей не выберешься.

Однако такие много бед могут натворить. Вместо того чтобы построить свой телеграф, свою почту, свои вокзалы, зарятся на чужие, захватывают их и не знают потом, как ими распорядиться. Именно так относятся новые сердитые литераторы и к толстым журналам, и к глянцевым. Выкинуть оттуда прогневших шестидесятников к чертовой матери и взять журналы в свои прогрессивные руки! Запретить печататься Евтушенко и Войновичу! Издать полное собрание сочинений Константина Вагинова тиражом 100 000 000 экземпляров!..

Навряд ли этого прекрасного писателя прочтут и сто тысяч. Прискорбно, конечно, но актуальная литература никогда не сравнится в по-

пулярности ни с «розовым» романом, ни с детективом, ни с триллером. Ну а когда новые сердитые начнут печатать в толстых журналах себя любимых, то их тираж падет, как поголовье крупного рогатого скота во время эпидемии сибирской язвы... Упаси нас Господи от очередного передела мира, пусть даже и в литературной сфере. Просто надо строить свои почту и телеграф, создавать свои альманахи, журналы и специальные газеты. Как, например, это делает Дмитрий Кузьмин, основавший союз молодых литераторов «Вавилон». И завоевывать своих читателей. Если писатель не чурбан безмозглый и бесчувственный, то они у него появятся в достаточном количестве, несмотря на происки злобных шестидесятников.

И последнее наблюдение, порожденное сравнением стилистики критического письма Игоря Яркевича и Виссариона Белинского. Построение придаточных предложений, обилие глаголов повелительного наклонения, сатирические пассажи, неоправданное количество риторических вопросов — все это у двух авторов очень похоже. Ну а стилистика, как известно, — зеркало мышления. А значит, можно сделать вполне объективный вывод, что Яркевич — это Белинский сегодня, а Белинский — Яркевич вчера.

С другой стороны, ничего не зная об интеллигенции конца XX века, мы имеем достаточно сведений об интеллигенции века прошлого, к которой принадлежал Белинский. Следовательно, Игорь Яркевич является полномочным представителем интеллигенции прошлого века в современной России. Получается, что он борется сам с собой. А это отнюдь не самокритика, а стремление вытеснить собственные комплексы, характерное, кстати, и для всей его прозы.

1 июня 1998 года

ЕЛЕНА МУЛЯРОВА

Из хиппи в яппи

Мы выросли, разбогатели и научились пользоваться пакетами для мусора. Это произошло не сразу. Необходимо было преодолеть некоторый внутренний барьер, чтобы купить тугой шуршащий рулон непрозрачного пластика. Кажется, первыми на это решились те, кто побывал за границей. Потом те, у кого в детстве была обязанность выносить мусорное ведро с мерзкой, мокрой, прилипшей к побитой эмали газетой.

Пакеты для мусора — это как тампоны «Тампакс». Вроде бы какая-то гадость внутри и в то же время как бы ее и нет. Мусор сквозь дымчатый пластик аккуратно завязанного, готового на вынос пакета выглядит пристойно, почти красиво, как концептуальный натюрморт.

Заглянем внутрь. Жестяная банка из-под оливок, выращенных в Греции. В Грецию уехал Юра по кличке Грек, грек же по национальности, родом из Сухуми, худой, пугливый, боящийся менгрелов, ищущий жену-гречанку. Впрочем, ее он так и не нашел на своей новой родине. Зато на «съекономленные» деньги купил в Афинах квартиру и открыл свою туристическую фирму. Поехали, он по старой дружбе сделает льготный тур.

Другая банка — из-под чистящего порошка «Comet». Его регулярно предлагает нам Инна Ульянова, гениальная актриса, «женщина с лисой» из «Семнадцати мгновений весны». «Пойди черкни пару формул», — советует ей Вячеслав Тихонов. А сам ежеутренне между рекламой и сериалом пополняет нашу домашнюю библиотеку всякой ерундой. Как они постарели! И, главное, незаметно. Зато мы наконец-то стали взрослыми людьми. Нам расти, им умаляться.

Стаканчики из-под йогуртов. Ну вот и вы перестали быть предметом роскоши. Едим каждое утро и каждый вечер, даже стаканчики не

храним, не сажаем в них кактусы, не подсовываем детям для игр в песочницах. Дети, впрочем, тоже выросли, не помнят, как смотрели кино про Ленина, как родители утаскивали для них из богатых гостей один банан на всех, как ели по полторы конфеты в день. Жрите теперь свои бананы, свои йогурты, свои чипсы, свои конфеты. Играйте на своих компьютерах. Мажьте свои прыщи салфетками «ОХУ». А у нас свои игры, мы еще не наигрались.

Там много чего еще, в этом пакете, все больше пластиковое, с иностранными буквами. Впрочем, попадается иногда что-то из той жизни. Удачно реанимированное после десяти лет небытия. Блестящая обертка глазированного сырка. Красно-золотая шуршащая бумажка от соевого батончика. **Вкус, знакомый с детства.**

Однажды дворник из рассказа Довлатова признался, что может по мусору определить его владельца. Теперь бы дворник не справился. У нас у всех одинаковый мусор. Мы — средний класс, яппи.

Яппи — американское слово, и значение его лучше всего искать в американском словаре с до смешного американским названием «Americana». Yuppie — young urban professional — молодой человек (часто среди них встречаются и дамы), обычно горожанин, преуспевающий и амбициозный, принадлежащий к социальной категории профессионалов, способный к быстрому продвижению по служебной лестнице, следящий за своим здоровьем и внешним видом.

Яппи с поправкой на отечественные реалии похож на наркомана из анекдота, который собрался заняться бегом, потому что и о здоровье надо подумать. Амбициозность тщательно скрывается, но всем видна. Профессионализм присутствует, хотя откуда берется, непонятно. Множество моих знакомых успешно работают вопреки полученному образованию. Так, химик трудится на ниве рекламы, историк пишет в рубрику «советы сексопатолога» дамского журнала, киноинженер успешно торгует недвижимостью, филолог служит диджеем на модной радиостанции. Впрочем, есть и те, кто работает по специальности, но эти случаи так редки, что кажутся счастливыми совпадениями.

Редкий нынешний яппи, особенно если это житель крупного города, а не энергичный провинциал, не был когда-то хиппи. За какие-нибудь семь-восемь лет мы сменили не только гардероб, но и образ жизни и систему ценностей. Хотелось бы знать — как?

Путь из хиппи в яппи лежит через вовлеченность в активность. Активность, собственно, может быть любая. Например, электробытовая или компьютернопокупательная, или средиземноморско-отдыхательная, или дачестроительная. Какая разница! Главное — вовлечься, а там пошло-поехало...

Вот я, еще молодая, но уже красивая, нарядная, только что от косметолога & парикмахера, появляюсь в офисе, где меня ждут, любят, встречают такие же, поят меня ненавистным мне мартини, перечисляют гонорары на пластиковую карточку... От всего этого я прихожу в возбуждение, гораздо более сильное, чем когда слышу голос любимого человека. В подобное состояние меня приводит ощущение контраста между тем, что было, что должно было быть по логике вещей, и тем, что вопреки этой логике стало.

Если я приносила из школы плохие отметки, мама пугала меня карьерой приемщицы химчистки. Я опустила еще ниже — работала уборщицей в зале Чайковского. В том числе протирала табличку справа от служебного входа. Она до сих пор, кстати, там висит. Пробиралась в поезд без билета, ездила автостопом, носила тельняшку и гимнастерку маленького размера, редко причесывалась, питалась ништяками (объедками — для тех, кто не знает), прятала от обыска книги, которые сейчас стала бы читать разве что под дулом пистолета. Убиралась в чужой квартире. Воровала мясо у собаки хозяина. А потом начала получать больше 1000 долларов в месяц. Причем как-то так сразу. Перехода совсем не помню.

Приходишь в гости к человеку, с которым давно не виделись: «Привет, пойдем я познакомлю тебя со своей стиральной машиной» — «Привет, стиральная машина, привет, „Indesit“». Надеюсь, ты прослужишь долго, хотя вряд ли дольше, чем раздолбанная „Эврика“, прыгающая по кухне, словно сумасшедший слонopotам». Я выкинула ее на помойку еще живую, правда, написала на крышке мелом: «Машина работает». Через десять минут ее уже не было, утащили те, кому меньше повезло.

Недавно была с приятелем в ресторане. Там очень мило, все выдержано в ностальгических тонах. Музыка 80-х, мебель, правда, отчасти 90-х, зато прошлого века. Посидели, поели, попили, вышли на улицу, и тут началось... Я принялась кричать, что мы проели месячную зарплату шахтеров Кузбасса, которую им к тому же не платят. «Ну что ты хочешь, Лена, — успокаивал меня мой спутник, — у нас свои игры, у шахтеров — свои».

Никак не наиграюсь. Недавно купила мобильный телефон. В предвкушении радовалась, как в раннем детстве под Новый год. Хотя тут я была сама себе и Дед Мороз, и Снегурочка, и добрые родители, и счастливое дитя. Сам же мобильный — ну что про него сказать? Это как молодой любовник. Часто хлопотно, часто нервно и накладно, иногда удобно, изредка приятно. Почти всегда престижно, бодрит, не стыдно выйти на люди.

В конце концов, имею право! Заслужила. Хочу быть женщиной, а не андрогином из андеграунда. Хочу выйти из церкви в сказочном пла-

тье под руку с красавцем в смокинге, хочу, чтобы толпа хорошо одетых людей посыпала нас рисом «Uncle Ben's» или хотя бы йодосодержащим кормом для попугаев «Trill». Хочу, чтобы мой перевязанный атласной лентой букет поймала небрежно одетая и кое-как причесанная женщина с голодными глазами.

Все хорошо, все обошлось, мы не сторчались, не променяли родину, не заработали туберкулез в тюрьме, у нас не снесло крышу от Карлоса Кастанеды, мы не застряли в ортодоксальном православии. Мы давно уже выбрали безопасный секс. Мы выросли, и у наших детей все есть. Даже наши соевые батончики. Воспоминание почти что детства.

Лохматая девочка в заплатанных джинсах и свитере с дырой, прожженной на костре, наконец собралась вынести ведро. Она нехотя выходит в коридор. Комсомольский значок на полу, как золотой таракан лапками кверху. Побитая эмаль ведра, мокрая, дурно пахнущая газета. Красно-золотой фантик.

Коротко стриженная женщина со злыми глазами, окутанная холодным запахом духов, стоит в прихожей. Она надевает норковую шубу, она собирается на улицу. Около двери пластиковый пакет с мусором. Женщина в шубе заходит на кухню, возвращается, на ходу разворачивает соевый батончик. Красно-золотой фантик, вкус, знакомый с детства.

1 сентября 1998 года

Навѣть наверхусли слъози

Читатели обсуждают статью Елены Муляровой

Есть на ладони линия жизни. У кого-то она длиннее, у кого-то короче. Я завидую и тем и другим, потому что ни одна гадалка не разглядит на моих руках этих линий. Моя жизнь отражается не на руке, а в моей памяти. А может быть, это и не моя жизнь? Отложения памяти похожи на что угодно, но только не на линию. Если кому-то так милы линии, то память можно было бы сравнить с клубком спутанных нитей разной длины.

Я дергаю за одну из них и оказываюсь в начале 80-х годов в сарае, именуемом дачей, недалеко от шведско-русско-финского и наконец полностью русского города Выборга, что на Карельском перешейке. Сарай и есть сарай, и вспоминать его было бы незачем, если бы не одна достопримечательность. В этом сарае стоял телевизор. Вернее, и телевизор не Бог весть что, хотя и свидетельствует о некоторой электрифицированности означенного жилья. Однако и телевизор этот, «Рекорд-304», был как бы приставкой к другому устройству, возвышавшемуся, как я сказала бы в детстве, до неба. И называлось это устройство почти женским именем «антенна». Короче, антенна эта позволяла принимать две финские программы, которые при нехитрой наладке телика даже и звучали.

Больше всего в этих программах меня поражала реклама. Особо запомнилось назойливое навязывание разнообразной еды, которой не было и в закрытых распределителях. Я тогда поняла, что даже при всем желании нашим тогдашним номенклатурщикам ой как далеко до простого финна.

Вот я тащу за другую ниточку из клубочка памяти и оказываюсь в Австралии в конце 90-х годов. Спокойная, размеренная и до глубокой старости обеспеченная жизнь. Интересная работа. Не та, которой можно выучиться из-за необходимости сводить концы с концами в новых «рыноч-

ных» условиях, а та, о которой мечтала еще в школе; та, по которой есть советский диплом и советская ученая степень. Та работа, которую безуспешно пыталась найти в России. Совсем удивительно то, что за эту работу, которой по-русски и названия нет, платят такие деньги, что их без труда хватает на аренду хорошей квартиры, выплату кредита за новую машину, пользование всевозможными услугами сотовой связи и Интернета. Про еду вообще говорить не приходится, потому что в структуре расходов она занимает одно из последних мест при том, что в еде себе никто не отказывает. Кроме этого, раз в полгода я могу позволить себе провести две недели в России, в родном Санкт-Петербурге. Что я и делаю. И смотрю я в России на людей с сотовыми телефонами, разъезжающих в мерседесах и покупающих то, что раньше называлось дефицитом, и понимаю, что я опять смотрю тот самый телевизор, только теперь уже с другой стороны экрана. Люди в моем родном городе играют в никогда не виденную или виденную мельком жизнь. И я понимаю, что как и тогда вот эта женщина в норковой шубе, выносящая мусор в полиэтиленовом пакете, никогда не сможет угнаться за простой австралийской, канадской или американской служащей. Потому что то, что для австралийки — обычная жизнь, для россиянки — понты. И весь этот понт вмиг слетает от одного грубого слова в каком-нибудь супермаркете в Петербурге. И не надо для этого впридачу быть еще и обманутой вкладчицей. Ибо тебя и кинут, и уроят, и еще унижат сотней разных способов, чтобы ты не путала разные стороны телевизора. Такое вот кино.

13.08.98. 06:40. Маша Даль.

Грустно. Справедливо и грустно. Словно потеряли что-то, что ли. Ориентиры, наверное. Идем потому, что шли в этом направлении раньше. «Надо хорошо учиться, работать...» Выучились. Работаем. Хорошо ли? Наверное. Раз платят. И не выгоняют. А дальше что?

13.08.98. 11:17. Pilgrim. Москва, Россия.

Я не был хиппи, но лично знал некоторых волосатиков. В 1982-м я познакомился с Вадимом Певзнером (этот бард уехал в Израиль еще до перестройки), который выразил хипповую концепцию ИМНО точнее других: «Нас учили не править, но плыть по волне многоликого дзена: „Харе Кришна!“ , „Спасибо, измена!“ , „То, что есть, тому стоило быть!“ То, что есть, тому стоило быть. То, что есть, тому стоило быть. То, что будет, приемлет нирвана. „Эй, Харон, помоги переплыть за последнюю медь из кармана!“»

Кто бы мог подумать, что сейчас, если нужна машина, то просто пишется e-mail с subject «Заявка на Мерседес», где в Exel'овском файле

просто ставится требуемое время. Через четверть часа получаешь e-mail из одного слова «Ок» и все. Даже не надо никому звонить. ;-))) Вообще, это странная манера складывать зарплату, зная, что в этом месяце она не понадобится, ее тут никак не истратишь, ну и т.д., понимаете ли вы меня? Или для этого надо побыть хотя бы три месяца нищим, как летом 1994 года я сидел без зарплаты и писал программу, высвистывающую на динамике компьютера французскую мелодию, на которую впоследствии я написал собственные стихи про то, что омрачает любовь. А может, надо купить белый костюм? ;-)) Хотя на популярность в секс-конференции это не повлияет, да и вообще я мало изменился, а белый костюм — это как «Старый пиджак» Окуджавы. ;-)

13.08.98. 11:23. Андрей Травин, не совсем от хиппи к не совсем яппи. Москва, Россия.

Да.... Я тоже, хотя мне не так много лет, с благодарностью вспоминаю некоторые моменты «Старого мира»... Но мне кажется, что дело даже не совсем в новомодных приобретениях нашей страны (товарах, которыми много лет уже пользуется весь «цивилизованный» мир), а в том, что слишком резко на нас свалились все эти памперсы-тампаксы, слишком много уделено всему этому времени — как телевизионного, так и личного. Каждый (почти) старается приобрести что-то, что позволило бы ему войти в некий слой общества (когда-то это был «Cosmopolitan», теперь сотовый и т.п.). Люди в погоне за деньгами теряют себя. Или просто не успевают найти. Стали меньше читать, думать, наконец. Потерян внутренний мир, мир ценностей очень переменялся. ...Вот и мне, несмотря на эти рассуждения, пора идти и работать, чтобы были деньги на эти самые «блага жизни» — так я изменяю себе. :-))))))

13.08.98. 11:45. Маша.

Путь к яппи не так прост. Я тоже когда-то хипповал, но этот образ жизни привел меня к другому. И сейчас, когда втыкаешь иглу от инсулинки в центряк и с вожделением ищешь контроль, не думаешь о том, как же приятно быть яппи. Это потом, словив приход, можно задуматься о бренности существования, посмотреть на мир другими, подобревше-узкими зрчками.

13.08.98. 12:23. АК. Москва.

Хорошая статья. Просто супер. Многие, как мы видим, готовы под ней подписаться.

Я имею на это, может быть, даже большее право, поскольку, насколько я понимаю, мы с вами коллеги. То есть получаем «гонорары на карточку», а не зарплату или прибыль. Мы типа зарабатываем тем, что пишем.

Тут есть одна тонкость, не особо отмеченная Вами, Лена. Она заключается даже не в том, что — по большому счету — это занятие вполне относилось и в давние времена к числу «разрешенных» и морально непредосудительных. (Мы же не врем с Вами, так ведь? Я бы, даже если бы захотел, не смог бы, — что я, буду хвалить не понравившийся мне фильм? Мне за это Спилберг ведь денег не заплатит.)

Тонкость немного в другом. Ведь написанная Вами статья — часть Вашей профессиональной жизни. То есть жест яппи, а не хиппи. Даже если она пойдет только на Сеть и вы получите не *** долларов за строчку, а в три раза меньше. Все равно.

По-моему, это наблюдение придает еще более щемящий оттенок всему написанному Вами. Специфика наших игр заключается не в суммах, которые мы тратим в ресторанах, и не в том, что мы покупаем в магазинах, а в том, что наша профессиональная жизнь понемногу съедает нас самих. И съедает чуть-чуть иначе, чем наших сверстников, работающих с недвижимостью или в банках.

Зато нас не убьют бандиты, конечно.

Еще раз спасибо.

Ваш Сережа.

P.S. А вы помните, что название вашей статьи «Из хиппи в яппи» — название текста Тимоти Лири, обосновывающего этот переход? Русский перевод доступен в «Журнале.Ру», во втором, что ли, номере.

13.08.98. 13:33. Сергей Кузнецов, «Монокль». Москва, Россия.

Авторка насамперед висловлює думки, співзвучні нашому часові. Переконана, що багато людей відчують те ж саме. Навіть навернулися сльози. Дякую.

13.08.98. 14:35. Іна. Київ, Україна.

Лена? да? Лена, все, что я тут прочитал, это, безусловно, неплохо в смысле того, *как* написано. Мне кажется, я тоже так смогу, но получать гонорары на карточку этим, на мой взгляд, мне еще рано. Но о том, **ПРО ЧТО** написано — это вопрос спорный. Неплохие мысли, спорить не буду. Но то, что пришло к Вам, так же быстро уйдет. **МЫ** порвем вас — молодые, которые даже не застали хиппи (кстати, совсем не восемь лет назад). Мы лучше, так должно быть, и то, что читается у Вас, — это *очень* похоже на тот же совок. Увы! Но похоже! Вы — другие. Вы уйдете еще с *тем* пониманием. Чтобы жить по-новому, надо быть другими. Придет (очень скоро, как всегда) наше время, уйдет ваше. Вы будете на обочине... как потом мы? Нет! Мы другие! И это не заблуждение.

13.08.98. 15:09. Леша. Москва, Россия *есно*.

Fantastic! I've been feeling the same way for a while.

13.08.98. 18:38. Dmitri Riz. Washington, USA.

Все это, конечно, хорошо, мило так написано, но вот что означает — свалиться в ортодоксальное православие?

Там, где кончается любовь, — начинается ложь и унижение.

Неверие яппи, как и хиппи, — еще две тысячи лет назад стало причиной того inferнального томления, от которого никакой мерседес и квартира не спасут. Эта жизнь приносит счастье только крепким духом, закаленным.

Жаль, если мы не такие.

13.08.98. 20:19. Игорь.

Заметим (с помощью Ctrl-F), что в эссе слово «мы» употребляется чаще, чем «я» (14 против 11).

Гипнотическая сила этого ужасного слова еще велика... (Почему, собственно, «еще»? Разве его в России отменили вместе с Советской властью?) Потому-то, наверное, и щемит сердце у читателя: «мы-ы-ы...» Я-то, «я!» — это полет! Я — это мир, и в этом мире даже шороха нет от того, что какие-то «мы» что-то где-то облагополучились и т.д.

14.08.98. 21:43. Барсик. Бостон.

Не подскажите ли, где купить пакеты для мусора? Или хоть где искать: в магазинах, на вещевых рынках?

14.08.98. 21:52. Деловой Человек. Москва, Россия.

Деловому человеку: А зачем вам специальный пакет? У нас в продовольственных магазинах впридачу к покупке всегда дают полиэтиленовую сумку — на мой взгляд, переход к другой жизни состоялся, когда я, а затем весь дом, стал в этих красивых пакетиках мусор выбрасывать, а не мыть-хранить.

Маше: а с сотовиками у нас, несмотря на невысокий уровень жизни — 270 долларов в месяц среднестатистически — детишки кругом бегают, причем отнюдь не «новые-новые».

16.08.98. 18:51. Serge.

Ну вот. Временами думаю о себе «последний советский человек». Хотя, конечно, не последний. :-s Много нас таких. С комплексами от сникерсов.

Но это неправда, что хипповская жизнь совсем уж кончилась. Она кончилась только для тех, которые на самом верху своей профессии. Но для таких — это не болезнь сегодняшнего времени. Но воркоголики бы-

ли всегда. А так — днем он продажный менеджер, а вечером — размахивает деревянным мечом в Нескучном. Те же хиппы, только вид сбоку. Кому-то кажется — жизнь переломилась, вступила в новую фазу... Ни фига подобного. Все продолжается, как и было.

Леше: Все там будем. На обочине. Еще лет через десять Вы поймете, что это не так уж плохо.

17.08.98. 00:45. Сонный.

Не понимаю. Если убрать из Вашей статьи все, что связано с предметами, производящими обертки, — то что останется? И где будет разница между яппи и хиппи, если поменяться штанами? Это и есть мещанство, не сердитесь. Продиктованное страхом. Ну как можно? И ни одного отзыва о чем-нибудь другом. Обезумевший совок. Надеть норковую шубу — и поехать в отпуск за новой машиной, — а потом гнать ее по немецким банам обратно, питаюсь фастфудом. А старую продать с выгодой. Яппи... Мать его. Боже мой, как стыдно.

17.08.98. 03:45. Маша.

Разница между хиппи и яппи — не деньги, а агрессия. Лена или Сережа перегрызут горло кому угодно. За доминацию в конкретных условиях. Со ду ай, хиппи, какими мы были. Были вялыми и слабыми. Научные сотрудники вроде Маши такими и остались. Выкинь ее на берег — она и сдуется. А мы теперь — мы не пропадем.

17.08.98. 11:50. Зигфрид.

Хиппи я, к сожалению, не был. И до сотового еще не дорос (и не хочу, что характерно). Но наблюдать за процессом интересно. Что ж, так, видимо, вырисовываются основные черты российской (или русской?) интеллигенции XXI века — более раскованной, более обеспеченной, может, чуть более конформистской (потому что более аполитичной), но в основном — с теми же проблемами и, самое главное, комплексами. Ну не будет Углич Москвой, не будет! И российская провинция всегда будет от Москвы отличаться. И мещанство будет всегда! И понятию этому, похоже, смерть не грозит, что приятно... Так что нормальными людьми мы все-таки станем, но не до той степени, какой хотелось бы автору, — и слава Богу!

17.08.98. 12:14. Валентин А. Катрановский. Москва, Россия.

Находившийся здесь отзыв был удален за нецензурные выражения и излишнюю агрессию. :-(

Приносим автору наши извинения.

17.08.98. 18:37. Редакция РЖ.

Извините, Елена, это не предполагалось — так. Это мой отзыв стерли. Некоторая порода людей вызывает у меня отвращение. И агрессию. Ваша статья — ни при чем, хоть мне и не понравилась. Первая — из Ваших, которая не понравилась.

17.08.98. 19:03. Маша. Москва, Россия.

Маша! Во-первых, продублирую, пожалуйста, свой цензуренный ответ в какую-нибудь из лояльных GB, например, в www.zhurnal.ru/nepogoda/d.verbook.htm. Я тебя очень прошу. Я это дело тоже туда суну, на всякий случай, а то тоже цензурят.

Во-вторых, статья Муляровой, конечно, омерзительная. Но тут надо понимать, что Мулярова — человек неприятный, но вместе с тем убогий и жалкий. Она делает каторжную, идиотскую работу, пишет какие-то дурацкие женские романы, это не лучше, чем работать в банке. При этом, конечно, ее уровень жизни не лучше, чем у аспиранта в Гарварде на нищенскую стипендию, я хорошо могу понять, как такая бедная жизнь может привести ко всяким комплексам и просто (как мы видим) размягчению мозгов. С другой стороны, аспирант или другой нищий — человек свободной профессии — имеет какое-то убежище, в смысле он может чувствовать себя не совсем неполноценным, у него есть надежда стать профессором, выиграть Букера, а жизнь автора женских романов (или колумниста в ОМ) — совершенно безысходная. Тут размягчение мозгов не просто маячит где-то на горизонте, оно уже здесь, оно гарантировано. И люди придумывают себе убежище, целиком фиктивный мир. Одно из таких убежищ — популярный в Москве миф о яппи. Я, простите, жил в Америке и там с этими яппи общался. Это люди в постоянной депрессии, без малейшей надежды на творческую жизнь, как и их московские подражатели, читатели «Столицы» и идейно близкие к ним (Кузнецов и Мулярова, из тех, кто здесь светились). Но, простите, американские яппи платят в свой гольф-клуб больше денег, чем все эти читатели «Столицы» видели и увидят за свою короткую, отравленную никотином жизнь (которая закончится в лучшем случае от нацбольшевистской пули, а в худшем — от тривиального цирроза или рака легких). То есть американские яппи — это нечто реально влияющее на события, у них есть власть, и мегатонны прозака, которые они потребляют, им представляются честной платой за такой образ жизни. Конечно, никакая власть не стоит загубленной жизни — но Мулярова с компанией губят свою жизнь ни за что.

Это первый миф: что жизнь яппи чем-то хороша. Жизнь яппи на самом деле — ужасающая, это самые несчастные люди в мире. Они тратят на психоаналитика столько же, сколько на гольф-клуб, и все

поголовно страдают депрессией и жрут прозак, который рубит на корню половое влечение и оставляет страсть работать, работать, работать, как у робота.

А второй миф — что яппи якобы имеют что-то генетически общее с хиппи. Здесь Мулярова провралась, впрочем, эта мифология в Москве — самое общее место (как и вся ее статья). Действительно, ренегат Джерри Рубин, который изобрел этот термин, был йиппи, но ни один другой йиппи к Рубину не примкнул, да и тот вскорости помер под колесами (ренегат — карма плохая). Никто его не пожалел. А настоящие яппи — никогда не были хиппи, контркультуру и не нюхали, а унаследовали кругленькие суммы от родителей и учились в Гарварде или Йейле. В Нью-Йорке есть клуб выпускников Гарварда, они мне присылают свои программки — что да то да, это самый крутой яппи-клуб. То есть 90% выпускников Гарварда становятся яппи, а хиппи там просто нет, и эту субкультуру обеспеченные американцы благополучно игнорируют. Аноним пишет: *«Были вялыми и слабыми. Научные сотрудники вроде Маши такими и остались. Выкинь ее на берег — она и сдуется. А мы теперь — мы не пропадем».*

Вообще-то попасть в банк/индустрию (т.е. стать яппи) человеку с научным дипломом считается большой неудачей. С гарвардским дипломом (Ph.D. in math), 100-150 тысяч в год на Wall-street человек имеет в первый же год, а через три-четыре года имеет как минимум 300 тысяч (и больше часто). Так что это яппи. Я с такими общался. Они считают себя неудачниками, страшно стремятся, а народ с Ph.D. ломом ломится в академию (на зарплату в 40 тысяч долларов в год) вместо гораздо более доступной карьеры в индустрии. Соответственно, народ из крупных коммерческих компаний весь Гарвард оклеил призывами идти к ним на работу с фантастическими условиями (для научных Ph.D.). Так что это яппи — вялые и слабые неудачники. В принципе самый завалящий профессор, сисадмин или маргинал живет более насыщенной жизнью, чем яппи с их спорт-феррари и гольф-клубами. Но к русским «яппи» из журнала «Столица» это не имеет отношения — их качество жизни сравнимо с тем, как живут даже не профессора, а студенты или аспиранты, то есть, по сути, так живут подавалы в «Макдональдсе». В общем, утопия Муляровой — это чечевичная похлебка из памперсов и дешевых турпоездов, доступная любому человеку со средним достатком на Западе и считающаяся на Западе нормой. Они в обмен на это отдают не просто творческую жизнь, а самую возможность творческой жизни, то есть по сути совершают медленное и нечистоплотное самоубийство.

17.08.98. 21:00. Misha Verbitsky, END OF THE WORLD NEWS. Moscow, USSR.

Миша!

1. Прошу заметить, что это не статья Муляровой омерзительна, а твой отзыв к ней.

Ты ведь даже с ней не знаком, какого черта оскорбляешь? Или облить автора грязью — это лучший аргумент (по-вербицки)?

2. Из статьи ты ни черта и не понял. При чем тут Америка и американские яппи? Чего ты взелся и за слова цепляешься? Демонстрируешь свои «глубокие познания» американского образа жизни? Тогда тебе не сюда, здесь другую жизнь обсуждают...

Без уважения.

17.08.98. 21:55. П.Р. Москва.

Боже мой, Миша — как мне тебя не хватало. Утертый отзыв был не Лене. Лене — отзыв ниже. Мне просто было стыдно, безумно, читать такую статью, рабскую — но зачем же я стану оскорблять женщину, занятую поденным литературным трудом. Невозможно читать этот обмен мнениями — вы не понимаете сами, на какое ничтожное, беспросветное рабство себя обрекаете — сознательно, бессознательно, из страха — рекондиционируя себя, подпихивая под нехитрую, тупую машину. Проституция. Такая — за буханку хлеба. Отзыв был Зигфриду — я надеюсь, очень скоро другие «агрессивные» найдут ваши, Зигфрид, белокурые яйца, возьмутся за них — и проверят, так ли хорошо они держатся за ваш организм, как может показаться. Или вы, может, это тоже утрете? Выработаете свой «политикалли коррект» — чтобы иметь друг друга, как консенсус велит? Вы не то утираете, боже мой...

Однажды — когда мои друзья попали в первый раз за границу, это был Лондон — их там принимали двое людей, тоже наших близких друзей, шотландец-аспирант и бритт из Лондона, музыкальный продюсер. После обедов и шатаний — дама захотела в туалет, а уличных туалетов не случилось. И они зашли в паб. «Только мы тут должны что-нибудь купить, — предупредил шотландец, — а то не положено». И мои друзья, которые хотели писать, а не пить, — сделали попытку купить пива. Но лондонер их остановил и сказал: «Идите писать». На следующий день друзья мои вернулись к этой истории — им было интересно. И на вопрос «Так был ли шотландец прав?» — лондонер пожал плечами и презрительно ответил: «Three hundredth years of wages!» Кому непонятно — переводу: «Триста лет жалованья — получаемого из рук хозяина». Имелись в виду и шотландец, и его предки. Триста! Рабская психология. Шотландец этот — теперь консультантом в совместной компании, хорошо сидит — лучше, чем вы. Яппи себя не считает. Друзья мои занимаются рекламой и ТВ. Я их очень люблю. Они считают себя — не яппи, но профессионалами. Умные люди. Про яппи — Миша написал. Лучше меня. Отзыв Зигфриду продублиро-

вать не в состоянии. Требуется настроение. Так что вы мне, Зигфрид, еще что-нибудь напишите. Нужен стимул.

17.08.98. 22:04. Маша.

Iz-za cego sir bor?

Predlagaju skinutsia po pare zelenih avtoru statji i zakazat jei statju, v kotoroi gerojem bil hippy, kotorij polival bi griazju jappi. Takim obrazom ustanovim status quo i vse spokojno smogut razoitis po domam.

17.08.98. 22:28. Sergej. Athens, USA.

Mulyarovoi — Stalinskuyu premiyu. «Kubanskiye kazaki» segodnya ili «s chego nachinaetsya rodina». Masha.XOR.Misha = AI? Chego vy zlye-to takie? Mozhet vam tozhe PROZAKa nado, hot vy i ne yappi na 300000(?)\$?

17.08.98. 22:58. Victor Wezeberg, US.

Маша, дорогая!

Все Вы правильно говорите... Но, боже мой, мне тоже «было стыдно, безумно, читать такую статью, рабскую», и я понимаю, что Вы и не думали «оскорблять женщину, занятую поденным литературным трудом...» Однако вдумайтесь, откуда такое сопереживание? Не от того ли, что мы сами когда-то испытывали те же чувства? Откуда такое отрешение от «этой женщины»? Не от того ли, что мы легко узнаем в ее словах целое поколение, поколение наших матерей и в какой-то степени нас самих? По-моему, достоинство статьи как раз и состоит в том, что Елена очень четко воспроизвела ощущения многих людей. Она создала картинку, узнаваемую... Что, собственно, и подтверждают все наши реакции, не так ли?

С уважением.

17.08.98. 23:12. П.П.

Миша. Боже мой. Вы ничего не поняли в этой статье. Ну хрен с ними, с яппи. Пусть их нет в Москве. Хоть горшком назови... Сильно бы изменились ощущения Лены, если бы она стала не «яппи», а преуспевающим заведующим мясным магазином? Не в ельцинском капитализме, а при постылой советской власти? Именно что чечевичная похлебка. Она универсальна во времени и пространстве. И путь из X в Я — он не для Гарварда Вашего типичен. Он здесь типичен. Особенно для тех, кто не хипповал, а «был сопричастным» — носил фенечки на руке и волосы неположенной длины.

18.08.98. 07:54. Сонный.

По-моему, статья Муляровой хорошая. В том единственном смысле, который тут применим: она показывает убедительно, что некоторого рода

отношение к жизни существует и как таковое закономерно. По той же причине я готов одобрить некоторые сочинения Вербицкого.

Рабского во всем этом мало, и американские яппи тут мало при чем. Хотя бы потому, что они не мечтают о соевых батончиках в красно-золотой обертке. Мечтают они, надо думать, о власти и славе или хотя бы о больших деньгах.

То, что Миша пишет про яппи, комментариев не заслуживает, ибо смысла лишено напрочь. Во-первых, к статье Муляровой никакого отношения не имеет. Во-вторых, и не является разумным предметом для дискуссии на русском сервере. В-третьих, никакой этой Америки вообще не существует.

Вкус, знакомый с детства... Я тоже люблю их, батончики. В Америке их нет, как нет давно, я думаю, и норковых шуб, и уж во всяком случае, яппи их не носят. Потому что борьба за права животных и прочая политкорректность.

Я несколько сомневаюсь, что фастфуд принадлежит к ряду, образуемому соевыми батончиками и шубами, — но в любом случае, что в нем плохого, кроме хорошего, я никогда не мог понять.

Путь из хиппи в яппи характерен для природы человеческой. Последние два абзаца статьи Муляровой совершенно замечательные и очень хорошо сей предмет иллюстрируют. Лохматая девочка в залатанных джинсах и свитере с дырой, прожженной на костре. Коротко стриженная женщина со злыми глазами, окутанная холодным запахом духов. Как из какого-нибудь, что ли, романтического кино.

Творческая жизнь заключается — если она вообще в чем-либо заключается — прежде всего в том, что каждый делает то, что хочет. Что-то я не думаю, что Миша бы обрадовался, если бы толпа народу, которая сейчас сидит в «Microsoft'e» и пишет «Windows 2000», или что там они пишут, бросилась бы писать аналогичного качества статьи про гиперкелеры многообразия в «Journal of Differential Geometry».

Да, это и есть мещанство, очень романтическое. (В смысле, шубы с батончиками, а не фастфуд.) Никакой агрессии в нем, конечно, нет, и это хорошо. Плохо то, что такие мечтания никогда не сбываются. Во-первых, разумеется, потому, что муляровский образ Норковой Шубы ничему в реальной жизни возможному не соответствует. Во-вторых, все мы слышали последние экономические новости из России.

18.08.98. 17:50. Леня Посицельский. Boston, USA.

Лена: «Я молодец, молодец, какая я молодец! Я не спилась, не сторчалась... Зарабатываю больше тысячи долларов в месяц, и все-то у меня есть: и норковая шубка (видите?), и пакетики полиэтиленовые, хоро-

шенькие, и духи с холодным запахом (прелесть!), и телефончик (смотрите, какой мобильный!). А некоторые вот не смогли, не вписались, жалко их, конечно, бедненьких... А еще: как приятно: я совсем-совсем взрослая, я — женщина с биографией, мне есть что вспомнить, и какие были тяжелые времена, но романтичные... Как приятно немножко погрустить о прошлом, такое приятное щемящее чувство, вот только поставлю музыку, Джо Дассена, и конфетку съем — соевый батончик...»

Маша: «Да разве ты молодец? Дунька ты и больше ничего! Вот я так действительно молодец! Живу в Австралии, поняли? Вы-то туда в жизнь не попадете, убогие, не возьмут вас. Яппи она, видишь ли, — смех да и только! Да ты из квартиры выйдешь, яппи несчастная, а там на лестнице бомж валяется, вонючий, в лифт войдешь — там нагажено, в магазин зайдешь (ой, не могу — тоже мне магазин! Вот у нас в Австралии — это магазины!) — тебя обхают, и так тебе и надо, раз не смогла уехать, свалить, отчалить вовремя. Сиди теперь, как глистеныш из анекдота: „Это же наша ро-одина-а...“»

Миша: «Да кто тут смеет вообще о яппи рассуждать?! Что вы о яппи-то знаете? Вот я так действительно их знаю — целых двух. Хреново живут. Никаких возможностей для самовыражения. И в депрессии все время. Так — клюшкой для гольфа помашут, потом на феррари покатаются и опять на Wall-street, деньги делать. Так хоть уж деньги-то стоящие, не то что у вас, неудачники, лузеры, ничего выше забора не видели и слаще морковки не едали!..»

18.08.98. 18:54. Багряшев. Москва, Россия.

Мулярова — лапушка. Жить будем хорошо, когда муляровы в президентах окажутся! Давайте регистрируем наш форум как общественное объединение и выдвинем ее в президенты. Ведь что получается у буржуинов — в президентах у них дитя drug-sex-rock'n'roll революции — травку курил (думаю — и сейчас потягивается), от коммунального траха никак не может отказаться да еще на саксе лабает. Типичный хиппи-яппи. А ведь живут при таком президенте — заебись (извиняюсь перед Ильницким и прочими цензорами) — Вербицкий не даст соврать, как бы он на Штаты ни наезжал!

18.08.98. 20:27. Родион Вережкин.

Ну, что сказать, ребята. Первое место по жлобству и глупости надо, конечно, отдать Мише Вербицкому. Тот факт, что он стал с ходу оскорблять незнакомую женщину, говорит прежде всего об уровне его воспитания и интеллекта, а вовсе не о качестве статьи Лены. У нее, видите ли, считает Миша, «размягчение мозгов». Не факт, что у Миши мозг вообще есть, а если и есть, то лишь спинной или, готов допустить, величиной с грецкий орех. Весь же остальной объем его головы занимает кость, по моим прикидкам, ее толщина — 7-8 см.

Косвенное тому доказательство — Мишины рефлексy на раздражитель (почти по Павлову), а именно — немотивированная агрессивность и остервенелый лай на безобидную статью Лены. Помимо того, он очень хочет всем показать свою ученость и искушенность (свойство слабых и недалеких людей, нуждающихся в поощрении), как же, аспирант в Гарварде, знаем, мы, мол, этих яппи. Не спорю, некоторые зачаточные способности он, возможно, и имеет (цирковые собачки тоже умеют считать до пяти), но фишку до конца явно не сечет. У меня были знакомые такого типа, тоже, кстати, в Бостоне. Один из них, программист, все мечтал прославиться, очень любил порассуждать на разные философские темы, меж тем как несколько лет сидел на жалких 40 тыс. в год (рассуждаю категориями, близкими Мише). Вот и Миша, судя по его заметкам, — существо такого же сорта, только вдобавок активное, злобное и весьма недалекое. Если у человека есть работа и он занят делом, то ему некогда висеть на разных форумах (ко мне это не относится — мне сейчас делать не хрен, вот и лазаю по сети). Аспирант, я так понимаю, должен грызть гранит науки, а не трепаться о всяких глупостях — яппи, хиппи и пр. Если все же допустить наличие интеллекта у Миши, тогда он прямо подпадает под ленинское определение интеллигенции — это не мозг нации, а ее говно. Теперь пару слов про яппи. По мне так те, кто считает себя яппи, — это просто жалкие глупцы, жизнь которых сконцентрирована на мишуре — карьера, мерседес-феррари, сотовый телефон и всякий прочий кал. Говорить здесь не о чем. Яппи в России — это полный кабздец, бред сивого мерина в лунную ночь. Ну откуда там им взяться. Есть жлобы — новые русские, есть миши вербицкие, а яппи — нет. В России сейчас спрос на спекулянтов, лавочников и бандитов — поэтому этого «добра» там и хватает. О себе — мне тридцать с небольшим, работаю инженером в США последние четыре года, имею дом, пару машин, катер, к мудакам-яппи себя никоим образом не причисляю. С пионерским приветом!

19.08.98. 04:47. Осовиахим Крюгер. Ленинград, СССР.

Подходит к Осовиахиму Крюгеру этакий молодой человек в хорошем костюме, москвич, в банке работает, и говорит: — Я вообще-то яппи... — Да ладно гнать-то! Нет в России яппи! И тебя нет. — Да я же работаю по 14 часов, карьера у меня, денег 90К в год... — Не смей меня! В России условий для такого нет. — Да я полгода в Москве, полгода в Нью-Йорке, полгода в Лондоне. В гольф опять же играю, пейнтбол там в выходные, «Volvo-960» у меня... — Да ты бандит, наверное? — Да нет, карьеру в большом банке делаю. — Ну, тогда тебя точно нет.

Инженер из США, Вы о том, что происходит в России, из новостей CNN узнаете?

19.08.98. 10:18. Топ. Москва, Россия.

Да нет, так не пойдет. Вы перечитайте Мишин отзыв, по-человечески. Конечно, есть яппи в Москве, как им не быть — отчего-то же стала она одним из самых дорогих городов в мире. И вся эта западная свора, которая там сидит, — они всегда чувствуют, где пахнет жареным. Это — понятно.

Миша говорил о том, что в жизни яппи — в западном варианте — ничего хорошего. Это — чистейшая правда. По психологическим нагрузкам — все равно что быть начальником военного цеха в сталинские времена. Они, конечно, кондиционированы так, но человеческая психика и физиология — нет. Несчастные люди, действительно, — может, и бывает короткий взлет — пока здоровья хватает, лет на десять. А потом начинается прозак, кокаинчик и героинчик. Потому что блядей они уже не хотят — ну, может, детей там иногда — трахнуть в смысле, а не иметь. Задавленное детство вылезает.

Вы же спорите не со мной и не с Мишей, а апеллируете к внутренним сомнениям, к московским разговорам. Но не к этой статье, вообще.

Миша, помнишь, как мы тогда столкнулись лбами — ты, я, Чернов и Юля, — и я призывала в свидетели Витгенштейна? Давно это было. Странно вспоминать. Я именно это и имела в виду — невозможность договориться, разница в дискурсе. Вот тебе — языковые игры, имеющие локальную принадлежность и применимость. Но мы с ЕОВН — договорились — в силу ряда причин и в силу общего опыта. А здесь — глухо. Они не понимают.

19.08.98. 13:14. Маша. Перт, Австралия.

Мой сравнительно небольшой опыт сетевых наблюдений показывает, что почти всякая дискуссия с появлением Вербицкого теряет свою направленность и превращается в обсуждение хамства и претенциозности. Каюсь, некоторое время назад, когда это имя мне ничего не говорило, я сам вступил в то, во что вступать было совершенно неразумно. Как я помню, в тот момент один из дискуссионщиков, явно опычнее меня в этом вопросе, дал хорошее определение стилю Вербицкого, который, *«как трактор, прокладывает себе дорогу прямехонько к социопатичности, проявляемой в карикатурной заносчивости, невероятной грубости и комической алогичности»*. Ну действительно, какая может быть дискуссия с субъектом, преисполненным безмерной гордости от того, что он Ph.D., и повесившим себе на грудь табличку с титулом «доктор математики», который несет околесицу, при этом обгаживая всех вокруг. (Я вообще попервоначально думал, что это какой-то его сетевой недруг такие корки пишет, подписываясь его именем.) Но я понимаю и, например, Багряшева — ну, грех удержаться от пародии, когда так подставляются.

Миша: «99,9% яппи, которых я лично знал — полные импотенты. А остальные — просто совершенные ничтожества. Я легко это могу показать математически. Я даже, по-моему, это опубликовал».

Маша: «Миша, как ты прав! Мне стыдно видеть ужимки этих немело затраченных рабов, которые двух косяков связать не могут. Ну ничего, скоро их возьмут за гениталии, и тогда посмотрим, кто получит большее удовольствие».

Теперь по сути дискуссии. Мне кажется, она может легко заехать в какой-нибудь малоинтересный тупик, потому что нет ясно очерченного вопроса для нее. Например: все-таки, кто подпадает под ярлык «яппи» в российском обществе? Россия — не Москва, так существуют ли яппи не в столицах, а в провинции? Суждено ли им быть такими же социально малозначимыми, какими были костромские хиппи в дни нашей юности? Было бы интересно увидеть мнения людей, уже размышлявших над этим.

19.08.98. 13:42. Владимир Векслер. Париж, Франция.

А вот и Векслер, здравствуйте. Ну что же, Миши нет — значит, я пока буду держать оборону. Я пишу статью сейчас — и мне нужно периодически избавляться от лишней агрессии — тяжелая статья.

Дискуссия, как я вижу, идет в нескольких направлениях: 1) Елена как яппи; 2) такие, как Елена, профессионалы — как яппи; 3) Зигфрид со злобными маленькими пульсами, как у инженера Корейко, — как хозяин жизни; 4) яппи — в их русском представлении; 5) яппи — в их западном представлении; 6) предметы, производящие обертки, — как жизненная инспирация; 7) эволюционная связь — или ее отсутствие — между яппи и хиппи. Я, без сомнения, что-то упустила. Какую из этих линий имеете в виду Вы?

Вам, без сомнения, не нравится манера Вербицкого. А его и меня (меня — не передать как) — раздражаете Вы. Но разница между Вами и нами — в том, что там, где появляемся мы, — дискуссия возникает. А там, где появляетесь Вы, — она дохнет. Хотите проверить? Давайте. Мы сейчас уйдем с Вербицким, — и Вы увидите, как Вы задохнетесь за полдня, с Вашими жалкими вопросами, — потому что Вам нечего предложить. Вербицкий, в отличие от Вас, — кроме парадоксального ума, интеллекта и внутренней свободы — отличается способностью к неожиданным параллелям, ассоциациям, отличным слогом и чувством юмора. Что и делает его видным ученым. Это у Вас просто советские мерки. И угол зрения — в пятнадцать градусов. Скучно.

19.08.98. 14:45. Маша. Перт, Австралия.

«Я именно это и имела в виду — невозможность договориться, разница в дискурсе. Вот тебе — языковые игры, имеющие локальную принадлежность и применимость. Но мы с ЕОВН — договорились — в силу ряда причин, и в силу общего опыта. А здесь — глухо. Они не понимают».

Понимание — категория весьма относительная. Оно зависит от контекста, в котором идет разговор. Маша, не обижайтесь. Но это Вы не понимаете, вкупе с Вербицким. Потому что Вы уже выпали из того контекста, в котором была написана статья Елены. Это выпадение ясно видно и из Ваших-то писем, а уж из Вербицкого так и прет. Ваши с ним письма — это письма людей уехавших. И уехавших не месяц назад, а достаточно давно. Вы уже думаете и чувствуете по-другому. В качестве доказательного примера могу привести идиотскую по своей сути полемику между Мишей/Юлей и Кузьминым, висевшую некоторое время назад на страницах «Zhurnal.Ru». Характерно, что едва ли не половина аргументации М/Ю сводилась к неким аллюзиям и отсылкам к американскому контексту, проблемам политкорректности и прочим вещам, которые московского аборигена в лучшем случае оставят равнодушным, а в худшем — вызовут раздражение. И здесь вопрос не в том даже, прав Вербицкий или не прав. Любая телега из тех, которыми тут обмениваются, несет не только фактологический, но и эмоциональный заряд. Для меня лично (но мне почему-то кажется, что для многих здесь присутствующих) чисто эмоционально выступления Вербицкого чужды. Когда я их читаю — я пытаюсь представить себе автора... Я вижу человека времен поздней перестройки (или раньше). Человека, для которого до сих пор актуален вопрос — а не облажался ли он, уехав (решив уехать) из страны. И все эти восторги от того, что зарубежная экзотика, недостижимая вчера, сегодня стала бытом, а быт — основанием для апломба. Для меня любимого. А те, кто остался, — те жизни не знают... За прошедшие годы я немало пообщался и лично и удаленно с эмигрантами, эмигрантами, вернувшимися на время, эмигрантами, вернувшимися навсегда, эмигрантами, вернувшимися навсегда и уезжающими обратно. Интонации эти, с которыми тут писалось про Гарвард, про яппи, про прозак... откровенно говоря, приелись. Пора бы уж их перерастить, закончить этот этап своей жизни. С Муляровой я чувствую себя более-менее синхронным. Хотя не испытываю ее проблем. Пусть в каком-то месте она и глупости, с моей точки зрения, пишет — мне не жаль времени, которое я потратил на ее статью. С Вами — синхронности уже нет. Но Вам мне еще интересно что-то написать, а тому же Вербицкому, выступления которого я видел в шестнадцати вариациях на одну и ту же тему, — и отвечать не очень-то хочется. Потому что он скучен, как может быть скучен человек, от-

ставший от тебя на пять или семь лет. И, как любой скучный человек, вызывает раздражение.

С уважением.

19.08.98. 15:55. Сонный.

Маша, здравствуйте! Если Вы мне сейчас отвечали. Я не апеллирую к внутренним сомнениям совершенно, и московских разговоров на такие темы я не помню. Про это П.Р. хорошо написал(а), однако.

Я одобряю не сантименты Муляровой, которые... что их обсуждать? — а ее статью, которая, по-моему, вполне симпатичная. Сантименты эти, должно быть, распространены, и хорошего в этом очень мало — но от Муляровой все это никак не зависит. Мулярова всего лишь хорошо написала о них, и ее статью интересно читать. Другими словами, лирический герой Муляровой не стремится к творчеству, но сама Мулярова им занята, как мы видим, в оставшееся от поденного литературного труда время.

Почитав г-на Крюгера, начинаешь понимать Вербицкого, как это всегда бывает. Вот в «Verbook» у нас тоже упоминались крюгеры, но там они в шкафу сидели и не высывались, так оно было лучше. Мы-таки запрем Вас когда-нибудь в шкаф, г-н Крюгер, и бросим Вам туда небольшой булыжник, — а Вы будете нам его грызть (за подобающую зарплату в 10 долларов кубический сантиметр), в порядке чисто научного эксперимента. В свободное от написания отзывов в гостевые книги время мы будем производить там над Вами различные измерения.

Что касается Миши, то его сочинения, не исключая и отзыв в этой гостевой книге, который я сейчас перечитал, — выражают другие сантименты, которые в целом, на мой взгляд, ничуть не лучше муляровских и едва ли намного интеллигентнее. Я бы сказал, что женщина, зарабатывающая поденщиной и мечтающая о Норковой Шубе, все-таки не так неприятна, как парень, живущий на Западе на стипендию за научные исследования и мечтающий стать Советником Фюрера СССР по Науке.

То есть Лена хорошо выражает свои сомнительные сантименты, а Миша хорошо выражает свои, которые не менее сомнительны, и обоих бывает интересно читать. Соответственно, каждый выдумывает и собственный образ Американских Яппи, которых на самом деле, как я уже замечал, не существует в природе, как и Америки вообще. Вот Машин образ Яппи даже очень хороший, но поскольку самих Яппи все равно не существует, то сравнить все эти образы с реальностью нам не удастся никогда. Не знаю насчет Русских Яппи.

Векслер, Вы бы катились отсюда подальше. Очень неудобно в Вашем присутствии разговаривать. Что касается Зигфрида, то его когда-

нибудь возьмут за гениталии его собственные приятели. Мы этим заниматься не будем, понятно. У нас другие заботы есть.

19.08.98. 16:15. Леня Посицельский. Boston, USA.

Но ведь и Вы — о том же, что и я, Сонный. Это — и есть разница в дискурсе. Это оттуда, из России, существуют категории «уехавший», «приехавший». Я, например, слова «эмигрант» вообще — не принимаю. Это — что? Я здесь работаю — в России негде. Это оттуда, от Вас, — все так стройно делится. Отсюда — больше нет. То, о чем говорим мы с Вербицким — это другой опыт, но мир — один. И этот Ваш взгляд изнутри, из России, на мой взгляд, — самая большая проблема — настолько он узок. Для меня, например, самым большим потрясением от жизни здесь был не западный взгляд на вещи, а открытие того, что, оказывается, по нашим, европоцентристским, меркам живет не более пяти процентов человечества. А Азия — вот, поджигает, а Африка — завтра взорвется, и Шопенгауэр, конечно, был прав. Мы — Миша и я — хотим поговорить. Разве Вы любите согласный хор? Один раз — пойдите по ссылкам, которые мы предлагаем. Один раз — посмотрите, что пишут на Западе о трагедии яппи — ведь не в Москве же это придумали, Вы ведь говорите о западных феноменах. В применении к русским условиям, но — западных. Хоть раз — посмотрите, с каким отвращением здесь относятся к ментальности среднего класса. А о моде быть альтернативным — Вы слышали? Вот же Вам — о чем поговорить — яппи, на кокаинчике, в строго андеграундных клубах, азиатских, танцую под совершенно некоммерческую музыку. На Западе — страх и неудержимое желание «бежать! бежать!»; отсюда и общий взрыв эскейпизма — любой ценой, замутиться, — вот вам яппи какие они есть. Это очень дорого стоит — эскейпизм. Страх конца тысячелетия, постурбанизм — это отсюда все. Что об этом здесь, в дискуссии? Ничего. Инженеры Корейки.

19.08.98. 16:30. Маша. Перт, Австралия.

Маша, не принимай слова «эмигрант» — нет такого. Есть «эмигрант» и «иммигрант».

«Я здесь работаю — в России негде».

Да почему же негде-то? Странно мне это... Я вот три года «здесь» и хочу опять туда, потому что «здесь» мне скучно и денег, которые платят, некуда потратить. Маша, тебе тоже «здесь», кажется, скучно. Поехали вместе. Жизнь — там.

Почему всех так волнуют эти яппи несчастные, объясните? Что они вам сделали? Пусть себе живут. Вы не хотите — как они, они не хо-

тят — как вы. Кому какое дело до них? Удивительно, какая пустая тема привлекла вдруг столько общественного внимания.

19.08.98. 17:09. НМ.

Маша, что же это Вы злая такая? У меня есть, правда, догадки, но не буду их здесь излагать, чтобы Вас не обижать.

А мне всегда казалось, что в Австралии все люди добрые и спокойные. Как коалы.

А к чему эти карикатурные угрозы? Вот, мол, мы с Мишей уйдем — вы задохнетесь. Ну не подставляйтесь Вы в очередной раз. Даже если Вам кажется, что Вы — отменный полемист. Используя излюбленную Вами систему координат, могу напомнить, что на всякую хитрую задницу может найтись сами знаете кто. К тому же Вы меня совсем не знаете, а сделали так много выводов обо мне. Вы в своей профессии тоже так поступаете?

Если Вам хочется поругаться со мной, давайте не будем делать этого здесь и засорять мозги уважаемой публике. В крайнем случае можно перейти с этой руганью куда-нибудь в другое место.

Если сюда заглянет Сергей Кузнецов, я хотел бы спросить у него, почему он считает, что его профессиональная жизнь съедает не так, как его сверстников, работающих в банках.

P.S. Леня Посищельский, я очень не люблю хамов. Даже сам не знаю почему. Причуда такая. Тем не менее я не призываю изгнать Вас отсюда. Так что и Вам придется беседовать, чувствуя мой нескромный взгляд.

19.08.98. 17:18. Владимир Векслер. Париж, Франция.

Милая Маша (надеюсь, Вы не обидитесь за фамильярность, но мне почему-то очень хочется написать именно так ;-), никакой взгляд, даже самый узкий, не может быть сам по себе проблемой. Он проблема — когда направлен не туда. Статья Муляровой имеет ценность прежде всего в московском, даже не в российском, контексте. А не в мировом. Потому что мы тут в Москве намного интересней для себя самих, чем для кого бы то ни было еще. Может, «трагедия яппи» и является сугубо западным явлением — так не повод же это тыкать в Елену пальцем и кричать «вот дура-то». Ну написала западными словами о местном феномене, ну не права была, может быть. Ну дальше-то что? Для меня западные яппи останутся всего лишь любопытным феноменом. А заработавшихся и совершенно обморозившихся этой долбаной работой людей я имею возможность наблюдать и здесь. Я уж не говорю о том, что нерды и яппи — две стороны одной медали. Может, и не взлетают в такие выси, как на Нью-Йоркшине... Да в конце концов, пусть даже

Вербицкий и прав на 110% — а все равно то, что он пишет, — немило. Потому что пишется с апломбом человека, вкусившего священных ананасов. Для просвещения невкусивших.

И эмиграция, о которой я писал, — это не место жительства. А как раз то состояние души, когда человек проводит черту между теми, которые остались здесь, и теми, которые — там.

А по моде быть альтернативным — так всю жизнь. ;-) И в строго некоммерческий клуб вот сейчас допишу и пойду слушать автора «Рас-таманских сказок», который проездом в Москве...

Хочется написать много и еще — о яппи, об Азии... Может, я это сделаю позднее.

19.08.98. 17:26. Сонный.

Простите, некоторые наблюдения новичка.

Складывается впечатление, что русскоязычный Интернет — место встреч и столкновений ностальгирующих эмигрантов, постоянно доказывающих всем остальным, оставшимся, что они-то сделали единственно правильный выбор.

Это иногда напоминает красных и белых, дать левóльверы и пойдет пальба...

Но разница в том, что белоэмигрантов выкинула гражданская война и террор, а новых — желание жить по американским стандартам, иметь две машины и бассейн с джакузи.

А поскольку компьютер с интернет-аккаунтом в России есть только у тысячной доли процента населения с доходом, по нашим меркам, гораздо выше среднего, они испытывают чувство вины пополам с тягой к американским стандартам и все время оправдываются перед жалкими эмигрантишками типа Маши и Миши.

До чего же это мелко и гнусно, слов нет...

19.08.98. 18:34. Игорь.

Да нет же, Векслер, not so bad. :-)))))) Какая же я злая? Ну и ну. Разговора не получается, и в этом дело. Я стараюсь Вас расшевелить, ну немного, ну хоть что-нибудь оригинальное услышать от Вас, хоть что-нибудь небанальное. И как-то слабо это у меня... Вы тут же переходите на странные перепалки. И по-прежнему — ничего, ни одной оригинальной мысли, ни рассказа — ничего. Голо. Чувствую, как обогреваю Вселенную. Вялое такое отстаивание чувства собственного достоинства у Вас, такое — бульдожье...

Ну, Бог с Вами...

19.08.98. 19:30. Маша. Перт, Австралия.

Сонный, здравствуйте.

Миша не проводит черту между теми, кто остался, и теми, кто уехал, — я думаю. Обе стороны, как видно, склонны думать, что те, кто уехал/остался, ничего не видели и не понимают, — очень естественно. Тех и других можно понять; те и другие неправы.

Правда же состоит, я бы предположил, в том, что даже те, кто все эти годы прожил в России — или, скажем, кто ездил каждый год месяца на три за границу — оптимальная, наверное, из всех возможных позиций и самая редкая, — все равно не понимают, что происходит.

Никто не понимает, что, где и почему происходит; в России в особенности. Апломб абсолютно неуместен.

Леня.

Векслер, а я, со своей стороны, очень не люблю читать и обсуждать банальности, — но Ваше появление, видимо, делает такое обсуждение неизбежным. Я вовсе не призывал кого бы то ни было отсюда изгонять, но лишь высказывал свое личное пожелание о том, чтобы Вы, если это возможно, избавили нас от своего участия. В порядке одолжения.

Дело сводится к тому, что мой, сравнительно небольшой, опыт сетевых наблюдений (исключительно в рамках данной гостевой книги) показывает, что Ваш собственный вклад в дискуссию целиком сводится к различным замечаниям о личностях других участников — неприятным, бессодержательным и совершенно не относящимся к теме.

Если что-либо вообще является здесь хамством, так это подобного рода выступления. «Используя излюбленную Вами систему координат», я бы просто сказал, что Вам, наверное, и впрямь не следует вступать в то, во что Вам вступать не следует, — ибо разумную дискуссию о русских, американцах, эмигрантах, неэмигрантах, хиппи, яппи и проч., в которую внесли свой вклад Вербицкий и Маша и другие, Вы зачем-то пытаетесь перевести в русло бессмысленных личных выпадов.

Подобных Вам персонажей, которые приходят для того, чтобы читать другим участникам нотации, я видел на сети довольно много, и все они примерно одинаковы. Спорить по разумным вопросам в присутствии такого рода авторов всегда несколько неловко, но мы, я думаю, постепенно адаптируемся и просто перестанем всех вас замечать. На Юзнете Вербицкий выругался бы по Вашему поводу так, что духу Вашего больше не слышно было бы поблизости, я думаю, — но здесь это не принято.

19.08.98. 19:43. Леня Посицельский. Boston, USA.

Здравствуйте, друзья! Только что прочла всю дискуссию от начала до конца, поэтому, извините, не запомнила поименно, кто что сказал. Но я

тоже принадлежу к эмигрантам, поэтому позвольте сказать кое-что по поводу. Однажды в автомастерской один рабочий, эмигрант с Ямайки, не имеющий особого образования, может быть, вообще его не имеющий, мне сказал: «Мы все любим свою мать, но приходит время, и мы уходим от нее к другой женщине, не переставая при этом любить свою мать». Характерно то, что ни один народ в мире не относится к эмиграции и своим уехавшим согражданам так ревностно, как русский. Почему это? Я склонна считать, что это отрывка нашего советского воспитания, когда каждый уехавший считался предателем социалистического Отечества. На самом деле у каждого народа есть такие лица, которые хотят попробовать что-то новое, испытать себя в других обстоятельствах, рискнуть, дерзнуть, увидеть новую жизнь, в конце концов. Другим народам позволено иметь таковых, русским — нет? Эмиграция — это даже не свободный выбор, а судьба. Значит, вся жизнь этого отдельного человека складывалась так, чтобы подвести его, в конце концов, к этому порогу. Безусловно, попадая в другую страну, человек обогащается новым знанием — неважно с каким знаком. Точно так же, как обогащается житель одного города, переезжая в другой. Таким образом, уехавшие, несомненно, обогатились новым знанием по сравнению с оставшимися. Оставшиеся обязательно возразят: Россия изменилась и т.д., — назовут нас «отставшими». Отставшими от чего? От российских реалий? Возможно. Однако одновременно с тем, мы — опередившие. Судьба схватила нас и бросила в такую реальность, в такой мир, в такую систему отношений, к которым Россия еще только поворачивается. И мы каждый по-своему кувыркаемся в этом мире, с разной степенью успеха осваивая его. При этом мы не можем и не хотим «перестать любить свою мать». Когда-то Зинаида Гиппиус сказала: *«Мы не в изгнание — мы в послание»*. Вот и мы «в послание»: несем миру свою русскость и несем в Россию иное, масштабное, видение мира. С этой точки зрения — дискуссии, подобные настоящей, чрезвычайно полезны. В России не стоит думать, что эмигранты ищут оправдания своему отъезду, — это миф. Возвращаясь к образу, с которого начала, — никто не ищет оправдания тому, что ушел от матери к другой женщине. Не стоит думать и о том, что мы здесь торжествуем, злорадуем, обжираемся — что там еще? Просто у нас оказалась такая судьба — вот и все. Она не отменяет возможность (и необходимость!) нашего диалога. Давайте говорить по существу, СЛУШАТЬ и стараться ПОНИМАТЬ друг друга.

19.08.98. 20:49. Васильева Наталья. Нью-Йорк, США.

Ответы на разные мысли дискуссантов. Написано из чувства долга, мне неинтересно отвечать — не обессудьте. Анонимные дискуссанты все

время переходят на детали моей биографии и личной жизни, причем в глупости непотребной реконструируют ее (жизнь-биографию) с точностью до наоборот. Ненавижу анонимов, убивал бы всех.

Дискуссия о яппи прошла в этом марте в EOWN, см. URL <http://www.nagual.pp.ru/~verbit/EOWN/eown6/soros.html>, и там все уже сказано, причем в качестве Муляровой выступала уважаемая всеми нами (и гораздо более адекватная) Аполлилария.

В частности, Дима Каледин написал там: *«А чего тут не понимать? Есть распространенная идея о том, что заработать много денег — трудно, для этого надо быть умным, а зато, заработав, можно делать много всякого интересного. Миша объясняет на примерах, что умным быть необязательно, наоборот, требуется некоторое количество глупости, если у тебя ее было мало, тебе в процессе зарабатывания добавляют, а те, кто заработал, жрут прозак и не способны не только делать всякое и интересное, а вообще уже ни на что не способны. Я с Мишей согласен — опять же на примерах. Чем больше у человека денег, тем более регламентирована, скучна и несвободна его жизнь. Более того, все разделы мозга, не связанные непосредственно с дальнейшим обогащением, атрофируются необычайно быстро. Из тех, кто ушел из математики на пару лет „заработать на квартиру“, не вернулся никто».*

Теперь ответы. Леня Посицельский пишет: *«Миша не проводит черту между теми, кто остались, и теми, кто уехали, — я думаю».*

Угу. Я сам не понимаю, остался ли я (в России) или таки уехал. По большому счету, это безразлично, потому что человек в Чите или Владивостоке дальше (по стоимости транспортировки и по ментальности) от москвича, чем Russian-speaker из Бостона. Конечно, только в России можно заниматься агитацией за нацреволюцию, но если кто не собирается заниматься агитацией, то ему все равно, где жить. России, кажется, не все равно, где живут люди (скажем, вот если все математики уедут в Бостон, в России не будет математиков лет сто, пока новые не самозародятся, — традиция штука хрупкая), но это дело совершенно другое. И не факт, что в России будут (или нужны) математики хоть когда-нибудь, в любом случае, так что, может, и России по фигу, где кто живет. В ближайшие 15 лет население России сократится на 30 миллионов, если не будет революции, так какое кому дело до математики, когда народ просто-напросто вымирает?

«Живущий на Западе на стипендию за научные исследования и мечтающий стать Советником Фюрера СССР по Науке».

Леня, ты что? Я в Москве живу. Через тернии к звездам. А нацреволюция это не мечта, это реальность. We take our desires for reality because we believe in reality of our desires.

Маша: «Какая же я злая?»

Знаешь, что сказано: если кто не горяч и не холоден, изблюю его из уст моих. Тексты, где нет эмоционального напряжения, никому не интересны. Значит, нужно напряжение, то есть элементы дихотомии LOVE/НАТЕ, любовь/ненависть. Чернов тут сказал бы, что эти вещи, как части любой дихотомии, неслитны-нераздельны, и с этим спорить никак нельзя. Есть еще такая прекрасная картинка Винни Иуды Лужина в начале EOWN № 5. Вот только непонятно, как (и нужно ли) писать статьи в состоянии влюбленности — я предпочитаю в таком состоянии стихи писать, а НЕНАВИСТЬ сообщать в виде связного текста. Потому что рации и любовь не сильно совмещаются, рации — вещь слишком примитивная. Не следует стыдиться агрессии, ненависти, агрессия — это хорошо, потому что агрессия — это модус операнди для выживания, а ненависть — вообще прекрасно: единственно по-настоящему революционная сила — это ненависть.

Дальше много анонимов. Я вообще-то анонимам не отвечаю, потому что за людей их считать отказываюсь. Данным анонимам я из чувства долга отвечу, но впредь, если они хотят, чтоб я с ними переписывался, пусть подписываются, low-lifes.

Аноним по кличке «Игорь»: *«А поскольку компьютер с интернет-аккаунтом в России есть только у тысячной доли процента населения с доходом, по нашим меркам, гораздо выше среднего, они испытывают чувство вины пополам с тягой к американским стандартам и все время оправдываются перед жалкими эмигрантишками типа Маши и Миши».*

Игорь этот — вообще идиот, читать не умеет — я же ясно написал, что живу в Москве. А Интернет у меня халявный, из академического института, чего и вам желаю.

Другой аноним, по кличке НМ: *«Маша: „Я здесь работаю — в России негде“. Да почему же негде-то? Странно мне это... Я [...]».* В России за науку денег не платят. Я здесь живу на деньги Евросоюза. Но даже на западную стипендию (а эта стипендия — вообще-то, редкость, в России я ее один получаю, а по всему миру — человек тридцать, математиков и физиков) заниматься наукой здесь трудно (не факт, что вообще возможно), потому что все приличные люди уехали, нет библиотек, инфраструктуры, семинаров, интернета нормального и никто наукой не интересуется — народ преисполнился ценностей Муляровой и хочет работать в банке или на Западе. А у химиков с биологами и прочими экспериментаторами ситуация вообще глухая, потому что нужно эксперименты делать, а с гитлером и чубайсами в правительстве финансирование на эксперименты — ноль.

Еще один аноним пишет: *«Но это Вы не понимаете вкупе с Вербицким. Потому что Вы уже выпали из того контекста, в котором была написана статья Елены. Это выпадение ясно видно и из Ваших-то писем, а уж из Вербицкого так и прет. Ваши с ним письма — это письма людей уехавших. И уехавших не месяц назад, а достаточно давно. Вы уже думаете и чувствуете по-другому».*

Аноним, разница между мной (Машей, прочими неидиотами) и совками, считающими Гайдука (и Лаэртского, надо думать) крутым андеграундом, не в том, что вы остались в Совке, а мы уехали. Я, например, с весны 1996 года живу в России с нерегулярными визитами на Запад для заработка денег. Разница в том, что вы остались в Совке глухих 70-х (Гайдук... хе), а мы живем в современности. Причем Простоспичкин, не выезжающий из Германии, абсолютно синхронен с Черновым, который не выезжает из Москвы, — неважно, где человек живет, информация везде одна и та же (Интернет).

«Для меня лично (но мне почему-то кажется, что для многих здесь присутствующих) чисто эмоционально выступления Вербицкого чужды. Когда я их читаю — я пытаюсь представить себе автора... я вижу человека времен поздней перестройки (или раньше). Человека, для которого до сих пор актуален вопрос — а не облажался ли он, уехав (решив уехать) из страны».

Идиот, однако. Читать не умеет. Вся биографическая информация выложена на моей страничке, есть еще отдельная страничка с биографией в «Журнале.Ру» для тех, кто по-английски не читает. Я живу в России, ты неумный человек, аноним low-life.

Багряшеву: Хорошо написал, спасибо. Адекватно дискуссии.

Danke schön. Миша.

Onnow: Lacrimosa, 'Ich bin der brennende Komet'.

20.08.98. 02:13.

Misha Verbitsky,

END OF THE WORLD NEWS.

Moscow, USSR.

Миша, Вы занудны донельзя. Почему Вы думаете, что я должен рыскать по интернету в поисках Вашей биографии? Что касается Гайдука и ваших отъездов — мне по фиг, по большому счету, кто куда уехал и как часто он бывает в Москве физически. Просто — факт. Этот так называемый «совок глухих», если Вы до сих пор не поняли, не статичен. Он живет своею жизнью и развивается отдельно от Вас. Если Вы с него соскочили, как с иглы, — Вы можете быть сколь угодно прогрессивны, но Вы перестаете в него въезжать. Информация во всем

мире «одна и та же» только для тех, для кого Интернет застит окружающую реальность.

Что касается Вашей эмиграции — читать не умеете Вы. Я ясно написал, что речь идет о тех, кто эмигрировал морально, а физически человек может и вернуться сюда хоть на всю жизнь. Отмазываться от того, что ты эмигрант, и одновременно считать себя гражданином мира, как это писала Маша, — по крайней мере неумно.

А Ваши наезды по поводу моей анонимности вообще смешны. В Интернете мы все одинаково анонимны. Откуда я знаю, может, Вы — еще один робот Сергей Дацюк?

Со скукой.

20.08.98. 08:51. Сонный.

Маша! Немедленно перестаньте брать в голову! Идиотов будет еще больше — так что же — плакать? Улыбнитесь — и я Вам дам попробовать на прочность все, что пожелаете.

Вот чего Вы с Мишей не понимаете и не поймете никогда — вы живете в советском прошлом, вы реликты-диссиденты. Возможно, лет двадцать назад иначе сильным людям было и нельзя. Сейчас все не так. У вас откуда-то железная и нелепая уверенность в том, что бизнес заставляет человека лизать чьи-то пятки. Это неправда. Это не бизнес. В вашей же академической среде наверняка водятся такие любители ползать. И вы каким-то, надеюсь, приемлемым образом от этого процесса уклоняетесь. Именно уклоняетесь, потому что вот бороться с кем-то в жизни вы совершенно не способны. Вы — замечательные, храбрые, гордые оранжерейные цветы. Мулярова же — просто глупая баба. Разница есть. Что касается меня, я живу в мире, где в любой момент меня пытаются опустить некоторое количество сущностей. Стоит мне чуть дольше почесывать свои белокурые яйца, как я теряю лидерство, попадаю в неприятности, терплю, скажем так, некоторую боль. Боль финансовых потерь. Я не застрахован от финансовых потерь, но я застрахован от унижений. Как я застрахован? Вот этого вы понять и не можете. Вам непонятно, как это можно жить с этим и не подпасть, как можно быть в компании, скажем, овечек и не быть съеденным. Это вполне возможно, уверяю вас. Более того, можно при особом везении даже съесть этих овечек. Вы слабы в этом, вы негодуете, дети системы. Что делать? Каждому свое.

20.08.98. 18:55. Зигфрид.

Поразительно, но Зигфрид пишет про себя истинную правду: «Я не застрахован от финансовых потерь, но я застрахован от унижений».

Бычок мясной породы не застрахован от финансовых потерь — если другие бычки поздоровее оттеснят его от кормушки, он потеряет в весе, — но от унижений бычок действительно вполне застрахован. Бычок может издохнуть от обжорства или от недоедания, но как раз унижение — из всех вещей — ему решительно не грозит. Когда бычка отправят на бойню, никто не назовет это унижением, что да — то да. Зато вот это полная ахинея: *«У вас откуда-то железная и нелепая уверенность в том, что бизнес заставляет человека лизать чьи-то пятки».*

Кому может прийти в голову заставлять сельскохозяйственное животное лизать кому-то пятки? Ваши пресловутые гениталии, Зигфрид, подадут в соусе на стол какому-нибудь «агрессору» следующего уровня, — а потом и его гениталии, в свою очередь... Как мало нужно иному клиенту для счастья — вот данный экземпляр весь исходит самодовольством по поводу того факта, что стоит в пищевой цепочке ступенькой выше каких-то и вовсе неведомых нам «овечек».

Елена Мулярова, конечно, умнее этого клиента на несколько порядков. Зря вы на нее оба так набросились, Миша и Маша. Она хорошая, по-моему, и ей можно только посочувствовать.

20.08.98. 21:28. Леня Посицельский. Boston, USA.

Зигфриду: Как-то не очень сильно меня раздражает то, что Вы написали сейчас. Поэтому особенной агрессии и нет. Что скажется на количестве нецензурных слов. При чем тут диссиденты, мать ...? Это у Вас — совковое качество загонять вещи в понятные категории. Ну и на образование, видимо, денег тратить не хотите. А главное — воображение, оскорбленное простым отношением к жизни. Так что яйца, не яйца, а перформенс не впечатляет. Вы ведь знаете, что в этом действии воображение — это главное? Разница между мною и Вами — в том, что Вы играете в атмосфере всеобщего опускания, но на своей территории и по правилам, которые сами создаете. Я же — играю на чужой территории всеобщего опускания, имея гандикап чужого, и правила изучаю по ходу дела. Попробуйте разжать зажатую до предела пружину, если нет точки опоры. Это — реальность здесь, мы все через нее проходим. А оскорбить меня нельзя по той простой причине (и унижить нельзя по той же), что я не чувствую себя ни униженной, ни оскорбленной. Главное же отличие в том, что я живу в этой обстановке выяснения, кто станет спать возле параша, с отвращением это наблюдая. Вы — от этого зрелища получаете удовольствие. Не вставляет меня человеческая природа, и агрессия — такого рода — тоже не вставляет. Так — быкуют люди, без особенных причин, от дурноты характера и жадности. Меня — интересуют другие вещи. Говорите — да-

дите попробовать на крепкость, можно ли сломать? Давайте. Я попробую. Может, это — и есть Ваша слабая точка?

20.08.98. 22:48. Маша. Перт, Австралия.

Маше из Австралии: Вам ли обижаться на агрессию после того, что Вы тут наговорили? Вам ли упрекать других, что они пользуются старыми категориями? Именно Вы с Вербицким и навязываете всем надоевшие старые категории. Для Вербицкого все люди делятся на две категории: немногие приближенные и «враги», «тупое быдло», которое нужно посадить в концлагерь, отравить наркотиками, кастрировать. Вот Вы про тюрьму и парашу рассуждаете, а Вербицкий как раз и живет по лагерным законам, по законам насилия и агрессии, и всюду, куда он пролез, стремится эти законы навязывать всем остальным. Вербицкий — злобный совок образца 37-го года, и этим все сказано.

21.08.98. 03:34. Психопатолог.

Меня агрессия не обижает. Она мне неинтересна — если она находится на рефлекторном уровне, не отягощенном лишними соображениями. Из человеческих проявлений меня как раз интересуют эти лишние соображения, потому что они являются плодом сверхусилий, а неотягощенная агрессия — пережитком палеолита в сознании, не требующим никаких специальных усилий. Рефлекторное выделение дерьма, во сне. Поллюция. В смысле — окружающей среды. Такие люди имеют тенденцию быстро наворотить дерьма вокруг, а потом бегут спасаться — в область нерелекторного, созданную не ими, либо существующую независимо от чьей-нибудь воли. И там — тоже наворачивают, потому что рефлекторное генерирование дерьма — это их основная функция. Так мы и бегаем друг от друга.

*Все было сумрачно и серо,
и мир стоял, как неживой,
и только гиря говномера
качала тихо головой.
Не все пропало в этом мире,
хотя и грош ему цена,
не все пропало в этом мире —
покуда существуют гири
и виден уровень говна.*

Конечно же — люди делятся на сверхличностей и на андерменшев. Что тут Вас смущает? Это единственное, что меня утешает, например. Всегда — есть шанс.

21.08.98. 05:04. Маша. Перт, Австралия.

Леня, скажите, Вас еще мучает юношеский комплекс Гамлета? Вы еще думаете, не кончить ли жизнь самоубийством, раз все равно умирать? Знаете такой фильм «DIE HARD»? Там были замечательные, белокурые, кстати, террористы. Хороший фильм, сделать бы римейк — обреченные бестии дорого продают свою жизнь жирному менту в майке. Чуть-чуть сместить акценты. Буквально пару сцен переснять. Понятно, что я имею в виду?

О чем Вы еще? О свободе воли? У Вас, как видно, масса проблем с вечными вопросами. Ножницы отрезают нити жизни, ах, какая досада. Как может этот отвратительный демиург определять наши судьбы. У Пелевина есть всего один хороший рассказ, называется «Затворник и Шестипалый». Там про птицеферму, но я думаю, это Вас устроит. Настоящий английский джентльмен, как известно, остается таковым в любых условиях. Случись мне инкарнировать в бычка, я бы с тем же упорством продолжал бриться каждый день, смешной старый чудак. Ну и все, больше я не вижу, на что тут отвечать, Леня.

21.08.98. 09:28. Яйца Зигфрида.

Маша, знаете, почему Вы оказались на чужом поле? И почему я — на своем? Думаете, нас неправильно расставили проказники пастушки? Тут разница принципиальная, Маша. Я всегда окажусь на своем поле. Именно об этом и речь. Слово «совок» выдает Вас с головой. Знаете, оно уже давно не употребляется в России. Это слово из перестройки и диаспоры. Ругательством оно может быть только для Вулиса и для вас с Мишей. Почему оно актуально для вас? А для нас нет? Очень просто. Вы остались там, в СССР. Это, конечно, ваша беда, а не вина. Так сложились обстоятельства. Оказались на чужом поле, опять же.

Я даже не ругаю вас совками, хотя если к кому этот термин и применим, так это к вам. Ну поймите же, это все равно как если бы Вы назвали меня вредителем. Это говорит гораздо больше о Вас, чем обо мне.

Я предпочитаю называть вас детьми системы. Есть система, надо с ней бороться, надо ей не поддаваться. Это все — типичное диссидентство. Богораз. Кухонные разговоры, сила духа, они вокруг нас. Ничего противней этих аристократов духа я не знаю. Каждый живет в том мире, которого заслуживает. Лена заслужила себе спокойное счастье с мешками для мусора. Вы — вечную борьбу с системой. Для меня система в вашем понимании — я не обрезаю смыслы, поверьте, власть масс и прочее, что-то вроде КГБ. Вы боитесь КГБ? Может быть, обороняетесь?

Хиппи, борцы против системы, создали свою систему. Разве это не смешно? Это так же смешно, как турнир по шашкам в Грозном. Глава федерации шашек и шахмат чеченской республики — Шамиль Басаев.

Хиппи — и вы — жили и живете внутри системы. Вот и вся разница между вами и мной. А я живу по ту сторону изгороди. :)

21.08.98. 09:50. Искренне Ваш, Зигги Стардаст.

Знаете, Вы в чем-то правы, конечно. Я — говорю на том русском языке, на котором говорила в 93-м, когда уезжала. Что же касается всего остального — диссиденты, кухня, хиппи, — то для меня это звучит так же архаично — как и для Вас. Просто — в силу возраста. Когда я уезжала — меня интересовала моя музыка (на тот момент — постпанк), мои друзья (которые тогда начинали заниматься шоу-бизнесом), любовь и привычка выстраивать в голове разные веселые схемы, подкрепляемая любовью к психотропным веществам. Здесь к этому прибавилась профессия: я занимаюсь разработкой нанотехнологий. В музыке я переехала на техно, ну и наркотики сменились, соответственно. Чего тут диссидентского? Я — веселый конформист, на самом деле. Пока разговор не переходит на уровень пупковой чакры — и не наступает херовая тоска. Кстати, то, что вы подписались Зигги Стардаст — это Вас характеризует. Вот уж — архаика.

А по поводу языка — нечего поделаться — я очень люблю читать фидошников, но ведь «Language is a virus» распространяется в узком кругу — и мне так не заговорить. Жаль, конечно. Но я совсем не говорю по-русски сейчас. Не с кем. А тех, кто есть, — избегаю. Они меня так же раздражают, как и вас.

И я не победитель, конечно, не победитель. Другой характер. Но и дожать меня — тоже нельзя.

21.08.98. 10:32. Маша. Перт, Австралия.

Маша, Вы замечательная девушка. И агрессия Ваша мне нравится. Это хорошо, что она в Вас есть. Канализируйте ее.

Я вижу, Вас что-то не устраивает. Направьте свои силы, свою злость, упорство и прочее на то, чтобы переломать мир по-своему. Решайтесь на крайние меры. Не давайте ни малейшей поблажки себе. Не идите ни на какие компромиссы. Идите на все компромиссы, которые приведут Вас к цели. Да, самое главное — цель может быть любая. Откуда Вам действительно знать, что для Вас хорошо? Поймете в процессе. Через человеческую мясорубку — к сожалению — придется идти. Но ведь опять же — как ни неприятно это признавать — мы испражняемся и выделяем урину. Можно делать вид, что этого не происходит, но толку от этого мало. Все фигня. Прорветесь.

:) По поводу Зигги всегда можно впасть в заблуждение. А ну как я знаю почти столько, сколько Вы.

21.08.98. 11:00. Искренне Ваш, Майкл Парадинас.

Канализаторы вы наши! Затрахаили — второй день про говно и урину, — некуда деться... -)))

Только что получила письмо от одного из авторов «Русс.Ру» — веселого человека — и пришла в чувство. Матерных выражений там было — гораздо больше, чем в моей утертой записи, — и очень весело. -)))) Лав.

Может, мы завяжем с дискуссией? А то если вы мне станете отвечать, то я и не прервусь, потому что я в эти дни пишу статью, дома, и так меня от этого носит — не передать, так что я ищу оправданий не писать. А писать, мать его, — надо, потому что мне диссер без этого не сабмитнуть. А если не сабмитнуть, то и не поеду я на вахту золото и никель мерять в пустыню. Красная пустыня, середина Австралии, город Калгурли — самый старый бордель в Австралии для золотовиков и стригалей, которые в буше вообще-то обходятся овцами.

А теперь скажите, зачем кандидату наук — в пустыню? А я вам отвечаю, мля, как говорит мой редактор: денег заработать, чтобы весной в вашу траханую Москву приехать, где, ваша правда, есть еще люди.

И вот представлю я себя — среди мужиков (а это тут не те мужики, что в Москве, они тут — как в Магадане) — и мне весело, посреди пустыни, плюс 50 градусов и нулевая влажность. Без дураков. Честное слово, весело, потому что есть в этом что-то очень смешное. Чем-то меня это вдохновляет. А от Академии меня тошнит, да, — но это ненадолго. Уже тошнило.

Яппи эти — там тоже мелькают, в Калгурли этом. Золото и алмазы. Что вы хотите. Конец мира. Вендерс здесь свой фильм снимал про конец мира. Тошнит его от того же, от чего и меня.

21.08.98. 11:53. Маша.

Странен весь этот крик по поводу Вербицкого. Во-первых, он пи...т по поводу 300 штук и объяв. Ph.D. в математике, преподающий в универе — как в американской мещанской системе ценностей, так и вообще по жизни (в том числе и по собственному ощущению) — попросту говно. Ну, ничего сверхъестественного, просто постоянная внутренняя необходимость эпатировать, каждой дырке представиться ее интеллектуальной затычкой. Не поймите меня неправильно, я очень люблю читать Вербицкого (правда, до Лимонова ему далеко все же), но воспринимать это всерьез? Я бы даже сказал, что прежде чем отвечать на филиппики Миши о young urban professionals и об их несчастной прозаковой жизни, следовало бы задуматься, а имеет ли подзащитный хоть малейшее понятие о предмете?

Каким-то странным образом обсуждение сфокусировалось на мифических Ph.D., вернее, вообще ушло куда-то на хрен на Вербицкого. Вербиц-

кий, по моему глубокому убеждению, должен быть оцениваем эстетически (где он прекрасен :)), но придавать ему смысл в области разума — чушь.

А исходная статья мне понравилась, зацепила, засентименталила. Люблю Мулярову, дайте телефон.

23.08.98. 14:02. Const Okrainets hmmm. San Jose, CA.

Константин, Вы в Америке живете, кажется, год или два. За это время у Вас никак не было возможности ознакомиться с местной жизнью. Насчет 300 разных объявлений с приглашениями в крупные финансовые корпорации — я примерно столько их видел за те несколько лет, когда учился в Гарварде. Своими глазами. Их каждую неделю новые наклеивают, а еще периодически приезжают люди агитировать за устройство в их компанию на Wall street — у меня масса знакомых там оказалась (их жалеют).

Насчет общественного статуса Ph.D. по математике, преподающего в университете, — опять у Вас промах. Университетов и колледжей в Штатах около тысячи, из них к академии относятся только те, что имеют программу Ph.D. (по математике — около 200). Остальные 800 — это вроде ПТУ, и Ph.D., там преподающий, имеет статус, близкий к завучу ПТУ в России (завуч — потому что там людей с Ph.D. почти нет). Из 200 академических колледжей и институтов верхние 50 (где наука, собственно, и концентрируется) имеют очень приличный статус и, соответственно, оклад жалования (в особых случаях профессор получает 250 тысяч в год без консалтинга — я такие случаи знаю, а бывает, до 2-3 миллионов дополнительно за консалтинг). В среднем профессору этих верхних 50 университетов платят около 80 тысяч в год плюс примерно столько же с книг, грантов и консалтинга. Социальный статус профессора Гарварда или Йейлы высок до предела, то есть ничего выше, по сути, нет, это как в совке академик (гарвардские профессора математики, кстати, почти все академики). Конечно, Университет Вайоминга, или где Вы там живете, организация не уважаемая, но университет университету рознь.

Еще по поводу статуса Ph.D. по математике: Дима Вулис любит рассказывать, как его друзья Ph.D. из CUNY, NYU и Columbia получают до миллиона в год консалтингом. Причем консультант, разумеется, на работу не ходит и ничего не делает — фактически происходит оплата его высокого социального статуса. Доходит до смешного — вот филдсовский лауреат 1984 (кажется) года Фридман, тополог, никогда не занимавшийся квантовым компьютером, приглашен консультировать квантовые вычисления в «Микрософт» на что-то вроде 300 тысяч в год, причем ему ничего делать и даже присутствовать в «Микрософте» чаще, чем раз в неделю, на фиг не надо — деньги ему платят за его статус. Конечно, профессионал такого же уровня в индустрию не пойдет, но для

математика, работающего в банке математиком, 300 тысяч в год — это предел, и ему приходится помногу работать, а профессор имеет не сильно меньше при очень непыльной (и часто интересной) работе, с которой его, кроме того, никак нельзя уволить (в отличие от банка).

24.08.98. 01:09. Misha Verbitsky, END OF THE WORLD NEWS. Moscow, USSR.

Правильно Игорь сказал — а дискутирует кто? У кого есть под рукой интернетный матюгальник? Узок их круг, и от народа далеки. Ан масс, значить, эмигранты и жители столиц, почти мозг нации, в ленинских терминах. И что точно всех объединяет, так это даже не Россия — а Старый мир. В единственном числе. А нового мира нет, есть новые миры. Старый мир кончился, империя лопнула, и бывшие товарищи империалисты разлетелись в калейдоскопе ее обломков. А потом, укоренившись в новых условиях и имея в наличии свободное (от снискания хлеба насущного) время, они вступают в сети там и сям в дискуссии о времени и о себе. И сколько сарказма и презрения вылито в этих дискуссиях! А почему, собственно говоря? А потому, мне кажется, что Старый мир, утратив плоть, еще очень силен духом. И в этом духе был не только запах милых соевых батончиков и костра у реки, но и сладкий аромат причастности и посвященности. Причастности к тому, что на излете старых дней стали называть тусовкой и что находится в натянутых отношениях с тем, что называют личной свободой. В самом деле, надо выбирать. Или ты поешь то, что знают избранные и что доступно не каждому, и ты с нами и не такой, как все. Или все, мужик, сразу свободен. Иного не дано.

Но в Старом мире монолитное единство советского народа изготовило самую большую тусовку, где шкалы ценностей были более или менее понятны всем, кто об этом задумывался. Эта большая тусовка гармонично сочеталась с тусовками меньших калибров (диссиденты, андеграунд, сталинисты, карьеристы, педерасты). Например, почти все подтусовки могли положительно оценить обкомовскую икру, докторскую степень, паркет палат Четвертого управления или выпивку в компании с Высоцким.

Все изменилось после бархатного Большого взрыва. Точка отсчета, обеспечивавшая приемлемую гармонию тусовок, скукожилась. Исчезла мера всех вещей, многие ценности переоценились. И Интернет стал отражать беспокойства человека тусовочного, несвободного, особенно молодого, — ну я же не такой, как все эти совки, космополиты, рабы, мещане, жлобы, унтерменши, нувориши, неудачники, далее везде. Ну мы же не такие. У нас все другое — язык, кино, любовь, музыка, страсти. У нас ценности, мы их выстрадали, а для всей остальной шатии это малодостижимые понты! И это надо доказать всем во что бы то ни стало!

Вот, во время перепалки между эмигрантами и оставшимися пишет москвич — сколько вы там заколачиваете в Сан-Франциско? 45К? И из-за этих грошей стоило бросать Родину? Да вы знаете, сколько я делаю здесь, в Москве? Ну, понятен ответ — да уж конечно, не из-за твоих говенных денег мы здесь.

Другая дискуссия — да что ты вообще о России знаешь? Да посмотрите на его язык — ну кто сейчас «совок» говорит? Ты еще Окуджаву запой! (Ну это как в клешах выйти в конце 70-х. Но тогда-то всем было ясно, что к чему.) Ты Кастанедой-то не прикрывайся, из тебя Солженицын так и прет.

Третья — о, эти норковые шубы, Канны — мечта, ставшая реальностью. Как же от всего этого тошнит! Ну когда кончится эта попсовость? Ну можем же мы красиво жить без этого, здесь, в Техасе.

Из четвертого угла слышим — ну где ваша ненависть, недоумки, кабысдохи? Задавить бы вас всех, да руки пачкать не хочется. Задавим, конечно, попозже вас, идиотов, не сейчас, сейчас у нас другие задачи неотложные. Жаль, что команданте с нами нет, погиб команданте. Этот вот нашего замеса был человек. Но и мы постоянно форму держим, в «DOOM'е» до двадцатого уровня без труда доходим. Так ты говоришь, что наш? А агрессия где? Покажи злость! Да это разве злость? Ну вот сейчас — ничего.

Или вот Маша пишет. Я сначала не разобрался, но теперь вижу — действительно, Маша — прелесть, хоть она меня и не любит. Едет мерить золото в пустыню. И никель еще, он тоже блестит. Ну разве вялый затраханый функционер, каждый вечер спешащий к своей недотраханной жене, может бросить все и поехать мерить золото в пустыню? Туда, где жизнью правят белокурые в некоторых местах юлы бриннеры, и места эти надежны — не оторвешь. А статистами там — крутые мужики, балдеют не то что от женщин — от своих овец, пасущихся в золотоносных краях, — вот где золотое руно. Не наши сибирские алконавты, а настоящие аргонавты. И как хорошо зябким утром (это днем в пустыне плюс 50, а ночью-то нуль морозный) выйти к ним, ощущая гусиной кожей на груди шершавую ткань ковбойки. И сказать весело — ну, что, ептыть, мужики! Еще ... не отморозили? А то чем золото-то будем мерить?

Да разве они поймут весь замечательный подтекст русского мата? Щас! Поднимут свои ясонные морды да и проблеют — мо-о-о-онинг. Тьфу! Но все равно, золото в пустыне — круто, гагарам недоступно.

(Ладно, Маша, не сердитесь на меня. Это шутка. :-))))

Я не хочу сказать, что таких новых тусовщиков много. Но в Интернете они заметны. Так вот, мне хочется сказать: ребята, будьте проще и свободнее. Не бойтесь показаться не столь крутыми. Ну что вы тащите этот дух Старого мира дальше? Отряхнем его прах с наших ног.

24.08.98. 12:14. Владимир Векслер. Париж, Франция.

Толпы яппи стоят у банкоматов «СБС-АГРО».

24.08.98. 18:37. Проезжая мимо.

Вот что происходит, когда дискуссия становится длинной и начинает обрастать личными деталями. Получила письмо от веселого человека: «Кстати, с дальнейшим твоим текстом было очень смешно. Я его читал — как почти все — по диагонали, и получилось следующее: „Красная пустыня, середина Австралии, город Калгурли — самый старый бордель в Австралии для золотовиков и стригалей, которые в буше вообще-то обходятся овцами. А теперь скажите, зачем кандидату наук — в пустыню? А я вам отвечу, мля, как говорит мой редактор: денег заработать, чтобы весной в вашу траханую Москву приехать, где, ваша правда, есть еще люди. И вот представляю я себя — среди мужиков (а это тут не те мужики, что в Москве, они тут — как в Магадане) — и мне весело, посреди пустыни, плюс 50 градусов и нулевая влажность. Без дураков“.

Боже мой, подумал я, неужели Маша зарабатывает себе денег на поездку в Москву в самом старом борделе Австралии среди мужиков, как в Магадане, — и ей еще при этом весело? Врет, наверно. Ну, потом перечитал остальное и несколько успокоился».

Страшно развлекалась — Вам, Векслер, это должно понравиться. А главное — совершенно бесполезно себя лишней раз контролировать, чтобы чего не произошло. Обязательно произойдет. И ... с ним.

Интернет — он как, порождение нового мира или старого? Замучили меня сомнения по поводу дискуссий. Бесед с незнакомыми людьми и выражения своего мнения, которое, в общем, никто не спрашивает ведь.

На глазах из Сети уходят люди — за те только полгода, что я могу это наблюдать. Мои веселые корреспонденты убеждают меня бросить это занятие — и они, конечно, правы, есть в этом что-то «ан-кул». С другой стороны, если я уйду из этих соображений, карма моя сильно потяжелееет.

Совершенно ясная нота звучит в советах покинуть Интернет: Это сравнимо с сидением перед ящиком и возражениями президенту вслух под банку пива или радио «ток-шоу» для домохозяек — в моей лаборатории девочки работают молча, в наушниках, и у каждой в ушах свой различимый «б-з-з-з-...». Бобок такой...

Беда в том, что советы бросить Сеть все исходят из России. А Сеть саму придумали на Западе, и развивалась она, чтобы заполнить некую нишу, которая уже зияла ощутимо... Алиенация.

И вот — что делать? Отношение у меня к Сети — отечественное, ну почти. А образ жизни — как ни крути — западный. Ну и ясонные морды вокруг, это да... Непонятно.

25.08.98. 04:06. Маша. Перт, Австралия.

Стремление выставить себя напоказ мне вполне понятно. Это так поженски. Для умницы ничего лучше сети не придумаешь — на все-то вопросы у нее есть ответы и резоны.

Вот собрались незаметные почитатели в кружок, да и важные персоны шлют удивительно смешные письма. Приятное чувство отдачи тоже играет важную роль. Ощущение наполненности, да? Отговаривать пустой кувшин черпать воду — неблагодарное занятие. Изучив внимательно предмет из любопытства сексуального характера, я вижу без надежды и без малейшего удовольствия, что между Муляровой и Машей разница только косметическая.

Наталья Медведева писала в одном из своих романов: «*Мы разговаривали с ним о Борхесе, Сартре, Кафке, Кастанеде, Хемингуэе и много еблись*».

25.08.98. 12:18. Зигфрид.

У меня в «СБС-АГРО» зависло 130 тысяч, суки!

25.08.98. 12:21. Яппи.

Не успела я удрать. Зато еще раз с наслаждением убедилась, что своим инстинктам бегства надо доверять. Но кто не успел, тот опоздал. А теперь мне Заратустра не велит. Так что перейдем к Вашим яйцам, Зигфрид.

Так, а в чем проблемы — с кружком почитателей? Что Вы тут странного увидели? Хули, спрашиваю, — увидели странного? Мне понятно, например. Ну со мною — ладно, мне — пиздец, потому что Вы — только первый, — а теперь начнется. Говорю — не успела убежать... В точности этого я и ожидала — даже смешно.

О чем я? Да. О яйцах. Со мною — опять говорю — все понятно, а хули вы здесь делаете? Зачем ходите? Женские колени раздвигать, как кусты? И что Вы там хотели увидеть? Хули, спрашиваю, ищите? Что увидеть-то хотели? Яйца?

Удивительно мне это. Конечно — ни у кого поперек... А сюда зачем ходить — в реальности, что ли, не показывают?

Говорю — не понять Вам про здешнюю жизнь.

А ведь сотрут же... Говорю — не то утираете.

25.08.98. 14:25. Маша. Австралия.

У глупой женщины мозги, как у курицы. У умной — как у двух.

25.08.98. 14:40. Хазарат Шалиль, из боевого дна.

Исчезновение предмета дискуссии не является поводом к ее прекращению.

25.08.98. 16:48. Зануда.

ПОД СЕТЬЮ

ДМИТРИЙ РУЗАЕВ

Квантовая голова

Психологические проблемы виртуальной личности

Как ее только ни называли: и продажной девкой, и основанием будущего мира; о трех законах робототехники издавали больше романов, чем о Доне Хуане, даже Раймонда Луллия вспомнили, а на первое апреля сочиняли извлеченный якобы из недр ацтекский компьютер на узлах, рабах и канатах. Теперь как-то поутихло все, что ли, и франкенштейнов ждут все с тем же экстатическим сладчайшим ужасом не от инженеров, а от генетиков. Автор этих строк — ретроград и Фома неверующий, он (оно?) если и надеется вырасти когда-нибудь из псевдонима, лейбла в заголовке файла, в настоящую виртуальную личность, киберпанка и героя, то только вместе с ней, которую одну и обнаруживает ценным добавком в биосфере уходящего века. Этот текст, или, в духе предмета, пучок электронных импульсов на дисплее, — о кибернетике. О том ее направлении, которое одно дает мне надежду на жизнь.

Когда компьютеры только появились, стали стремительно уменьшаться в размерах и ускорять переработку перфокарт, все, казалось, шло к искусственному интеллекту. Ведь в голове у тебя, дорогой читатель, десять миллиардов маленьких компьютеров, нейронов, соединенных в твой собственный Интернет тонкими лапками серого вещества. Запускай станок — и готов человек.

Конечно, десять миллиардов компьютеров для современной техники не проблема: в этом оптимисты оказались правы. Да только компьютеры не те. Искусственные компьютеры — просто большие счеты (1): по

сути дела, они передвигают по проволоке деревянные костяшки, вправо и влево. Напротив, нейроны — большие молекулы и взаимодействуют друг с другом как квантовые мельчайшие частицы: каждый мелкий импульс мгновенно порождает у них реакцию сложную и во многом непредсказуемую. Ваш современный компьютер, чтобы представить в своей памяти хотя бы несколько нейронов, работает неделю, и существенно улучшить этот рекорд принципиально невозможно. Мне, виртуальному нечто, никогда не переселиться из серого вещества в лабиринты кремниевых кристаллов — просто потому, что это уже не вещество, а всего лишь примитивное устройство с проволочками и костяшками.

Костяшки состоят из частиц, каждая из которых, говорят, заключает в себе вселенную, однако наши устройства обращаются с ними как с единым целым, игнорируя многообразие. Детали компьютеров с каждым годом все миниатюрнее, и, по прогнозам, через несколько лет их частицы станут различимыми. Эти новые костяшки потребуют более бережного обращения, но и возможности их станут неизмеримо больше. Это будет совершенно новое устройство, которое называется *квантовый компьютер*.

Счеты

Изобретая эту штуку (квантовый компьютер), физики вряд ли заботятся о проблемах виртуальных личностей. Дело в том, что у обычных компьютеров есть принципиальные недостатки, не позволяющие применять их ко многим очень практическим задачам. Есть задачи простые, например, перевод технического текста: если компьютер перевел, скажем, сто страниц за минуту, то за две минуты тот же компьютер (или два таких компьютера за одну минуту) переведет двести страниц, за десять минут — тысячу... Но есть и сложные задачи: к ним относится и моделирование человеческого мышления.

Что это такое, лучше объяснить на другом примере. Вот, скажем, классическая задача Коммивояжера, которому надо объехать несколько городов и вернуться назад. Известны расстояния (или стоимости проезда) между городами, и задача состоит в том, чтобы найти самый короткий или самый дешевый маршрут. Никакого способа, существенно лучшего, чем просто перебрать все возможные маршруты, не придумано и, по-видимому, придумано не будет. Это означает, что если городов двадцать, то найти наилучший путь для коммивояжера современный компьютер сможет, скажем, за секунду. Если городов тридцать, на это уже потребуется год. Через миллиарды лет, когда Солнце угаснет, все объединенные компьютеры в мире решат задачу для сорока городов. До пятидесяти городов они не доберутся никогда.

На этом принципе построена, например, вся современная криптография (2). Если расшифровать секретный код, длиной, скажем, 20 цифр, стоит один доллар, то для тридцатизначного кода эта сумма возрастет до тысяч, а для сороказначного — до миллионов. Стозначный код уже невозможно расшифровать за разумное время с использованием современных алгоритмов. Поэтому достаточно банкомату кодировать информацию таким кодом, и вы можете быть уверены, что здесь уж ваши деньги не украдут.

Мечты и гипотезы

Идея возникла лет двадцать назад. Элементарные частицы, как известно (3), одновременно пребывают в бесконечном множестве различных состояний, иногда «материализуясь» в каком-нибудь из них. Если научиться как-то управлять этим процессом, можно получить вычислительное устройство, в котором в каждый момент меняется бесконечно много состояний, то есть совершается бесконечно много операций.

Как и традиционная кибернетика, которая начиналась с совершенно абстрактной вычислительной машины Лейбница, квантовая кибернетика родилась как математическая абстракция. Требовалось придумать какое-нибудь устройство, пусть даже состоящее из совершенно фантастических частиц, которое бы вычисляло хотя бы то же, что и обычные счеты, и при этом не противоречило никаким законам природы. С первой такой модели (Пол Бенев, 1980) и начались квантовые компьютеры (4). Препятствий даже на этом, первом, этапе было множество. Достаточно сказать, что закон сохранения энергии на квантовом уровне превращается в закон сохранения информации, который не соблюдается на счетах: сложив два и два и получив четыре, мы уже не сможем по результату восстановить исходные «два и два»!

Тем не менее, модель построена и даже приближена к возможностям физиков. Правда, оказалось, что удобнее пока все же иметь дело с частицами, у которых всего два состояния, однако уже несколько таких частиц могут, взаимодействуя, описать огромное множество комбинаций. Тогда идея увлекла математиков, и появились первые программы для квантовых компьютеров, обгоняющие классические программы.

Начнем с самой простой задачи. Предположим, что справочник содержит, например, миллион телефонов и нужно найти, кому принадлежит данный номер. Если справочник в памяти обычного компьютера, то для этого придется, в худшем случае, миллион раз читать телефон из справочника и сравнивать с искомым. Квантовому компьютеру, однако, достаточно заглянуть в справочник тысячу раз (Гровер, 1997), то

есть заведомо прочитать *не все* телефоны! В каком-то смысле, львиную долю работы берут на себя сами частицы, кодирующие телефоны.

А вот самая дорогая проблема. Квантовые компьютеры обещают крах современной криптографии. Расшифровка современных кодов сводится к разложению очень больших чисел на множители, и Питер Шор (1994) придумал, как это можно сделать быстро на квантовом компьютере. Если квантовый компьютер Шора будет построен, в тот же миг все существующие коды — и банковские, и военные — станут ненадежными. Впрочем, теория квантовых компьютеров и здесь предлагает выход: для шифрования тогда можно будет применить другой квантовый компьютер, код которого уже нельзя будет раскрыть за приемлемое время.

Наконец, у физиков появился еще один мощный стимул к созданию квантовых компьютеров, который выдвинул сам Фейнман еще в 1982 году. Квантовые компьютеры, состоящие из элементарных частиц, являются наилучшим инструментом для изучения и расчета самих этих частиц! Пожалуй, для физиков этот аргумент перевешивает все остальные, да и мне именно он подает самую большую надежду. Надеюсь, что в этих поисках новых моделей компьютеров физики наткнутся наконец на какую-нибудь среду обитания для меня, более подходящую, чем серые клеточки примата, чьи ногти мелькают сейчас над клавиатурой...

Успехи

Пока, однако, успехи физиков довольно скромны. Гипотетический квантовый компьютер, чтобы быть полезным для криптографии, должен хранить хотя бы несколько десятков квантовых единиц информации (кубитов). Пока же построены только компьютеры из двух кубитов, и обсуждаются разные способы добавить еще хоть немного. Впрочем, для самих физиков полезен будет даже компьютер из трех кубитов (они хотят на нем исследовать какой-то «квантовый хаос»), так что до первого практического применения новой кибернетики ждать осталось уже немного. Впрочем, вероятно, здесь произойдет что-то вроде истории с «холодным термоядом»: сколько говорили, что атомные электростанции, для которых и урана осталось на какой-то миллион лет, надо заменять на термоядерные, сколько денег на это потратили, а теперь на строительство первой термоядерной станции в Калифорнии никто и внимания не обращает!

Впрочем, уж одно-то фундаментальное открытие, связанное с квантовыми компьютерами, уже сделано. Когда Бор в довоенном Геттингене только придумал квантовую механику, Эйнштейн, утверждав-

ший, что «Господь не играет в кости», и потому не доверявший новой теории, выдвинул множество возражений, некоторые из которых так и оставались до недавних пор непроверенными. Одно из «противоречий» новой теории состояло в том, что она позволяет передавать информацию от частицы к частице абсолютно мгновенно, не взирая ни на какую скорость света. Этот эффект (телепортация — термин, вероятно, физики взяли из «Doom'a») недавно был экспериментально подтвержден; и теперь считается, что он будет заменять в будущих квантовых компьютерах провода. Телепортация, в принципе, могла бы позволить мгновенно переносить на любые расстояния и крупные тела, даже твое, дорогой читатель, собственное тело. Как тебе перспектива оказаться через миг у далекой звезды, проскользнув по серым лапкам огромного квантового Окомпьютера?

А я бы в то время жил в этих огромных лапках везде и нигде одновременно жизнью, полной, как положено, страстей... Впрочем, надежда — уже страсть, ибо она побуждает меня к действию, такому, к примеру, как написание этого текста. Быть может, он хоть на йоту или другую какую букву приблизит миг, когда живое существо, родившееся не тенью даже, но знаком тени, обретет мир, для которого создано.

Прогноз: от раннего Барта до позднего Юнга

Если история кибернетики будет написана, то получится один из тех остросюжетных романов, в которых развязка второго тома угадывается в конце первого. Несколько семантических рядов, возникающих на первых страницах и мерцающих и сплетающихся до сих пор, указывают на развязку единственную и неминуемую: квантовый компьютер будет создан. Один из этих сюжетов — миниатюризация, которая заставит инженеров учитывать квантовые эффекты. Другой — требования математиков, которые настолько увлеклись уже квантовыми вычислениями, что вписали в историю множество гипотез об их необходимости. Наконец, самый важный сюжет, глубинный архетип *deus ex machina*, архетип Голема и Франкенштейна, который вызывает в вас умиление при виде диких зверей в телехрониках и завораживает конуэвской игрой в Жизнь. Этот же сюжет, ряд искусственного интеллекта, сублимируя до надвидовых высот ваш инстинкт размножения, с некоторой нежностью, вероятно, следит сейчас вместе с вами за рассуждениями не родившегося еще гомункулуса, у которого одна лишь цель — попасть когда-нибудь в пробирку.

Примечания:

1 Строгая формулировка и математическое доказательство: J.Lambek. How to program an infinite abacus. *Canad. Math. Bull.*, 4 (1961). P. 295-302; по-русски: Дж. Буллос, Р. Джеффери. Вычислимость и логика. — М.: Мир, 1994.

2 Элементарно о современной криптографии: С.А. Дориченко, В.В. Яценко. 25 этюдов о шифрах. — М.: Теис, 1994.

3 Тем читателям, которые успели получить образование в развитом государстве, это, вероятно, известно из школы. Тем же, кто всю сознательную жизнь прожил в развивающемся государстве (видимо, это студенты), остается мне поверить.

4 Мой основной источник по квантовым компьютерам — первая на русском языке книжка на эту тему: Квантовые вычисления: за и против. Часть I. — Ижевск: Удмуртский университет, 1999. Предисловие к этому сборнику переводов подписано В.А. Садовничим — ректором МГУ и лидером московского отделения «Отечества». Книги с предисловием этого автора не задерживаются обычно в издательствах, так что, надо полагать, будут и последующие части.

Еще я видел (но не читал пока) учебник Вялого и Шеня, где под одной обложкой собраны главы о классических и квантовых вычислениях. Высокая репутация авторов позволяет рекомендовать эту книгу, не читая.

Наконец, было интервью с тем же Мишей Вялым в «КомпьюТерре».

На этом, видимо, русская библиография исчерпывается. Английской очень много, ее легко найти в Интернете.

ПАУЛЬ ТРЕАНОР

Интернет как гиперлиберализм

От переводчика: Все мы читали много статей, где Интернет хвалят. Информационная супермагистраль, глобальная деревня, виртуальное сообщество, всемирная библиотека, цивилизация Сознания — все эти идеологемы (немножко уже, правда, подзатасканные) окрашены положительно и тают, как халва во рту. Противников Интернета не так уж много: фээсбешники, убежденные, что Сеть придумали американцы, чтобы воровать наши научно-военные секреты; экологические активисты (или активные экологисты?), твердящие о вреде излучений и ужасе компьютерной аддикции; да фрики, вроде Клиффорда Столла и Мирзы Бабаева, которые Интернетом пользуются на всю катушку, невзирая на собственные обличения и нравования. А концептуальной критики как-то вот маловато. Автор публикуемой ниже статьи рассматривает Сеть в контексте политэкономии и геополитики и считает ее безусловным злом (во всяком случае, для Европы). Конечно, в нашей странной стране его неприятие либерализма и демократии многих смутит. Но в последовательности ему не откажешь, и аргументы его надо выслушать. А прав он или нет — давайте обсудим вместе.

Об авторе: Пауль Треанор — частное лицо, не связан ни с какими университетами, институтами и политическими организациями. Живет в Амстердаме.

Политическая этика и структура Интернета либеральны. Интернет, по сути, проясняет дефекты либерализма — с ним можно и нужно покончить.

Резюме: Либерализм, будучи этикой максимизации взаимодействия, породил ряд структур, включая свободный рынок. Интернет, будучи «рынком идей», отчетливо проявляет черты либеральных структур и их усиливает. Тем не менее, он подвержен действию лингвистических и культурных барьеров, а не создает глобального сообщества. На более глубоком уровне либеральные структуры контринновативны, а структура Сети, в действительности, демонстрирует технологический консерватизм. Сеть — понятие скорее политическое и этическое, нежели технологическое. Она угрожает навязать себя миру. Сеть дурна сама по себе: свобода от цензуры и равные возможности доступа не сделают ее хорошей. Вывод прост: Сеть следует обрушить, и Европа — место, где это должно начаться.

* * *

Спустя тридцать лет после «Конца идеологии» Дэниэля Белла идеологии продолжают возникать. Одна из них — сетизм, агрессивная пропаганда Интернета (киберпространства, миров интерактивных СМИ и т.д.). Эта идеология не есть нечто новое: ее основные черты либеральны, а ее модель будущего Интернета/киберпространства — гиперлиберальна. О Сети (как она есть) следует судить по этой идеологии и по ее притязаниям, а не по внутренним проблемам «интернетовского сообщества». Политико-этический вопрос состоит не в том, как это сообщество должно защищать своих членов и регулировать их деятельность, а в том, кто защитит остальную часть мира от Сети, сетистов и киберлиберализма.

Это выходит за рамки вопроса «чей Интернет?». Неравенство в доступе к Интернету сомнению не подлежит: пользователями становятся наиболее образованные и наиболее оплачиваемые два процента населения мира и их дети-студенты. Чтобы пользоваться Сетью, вам нужны деньги, терминал, умение с ним обращаться, умение читать по-английски или, по крайней мере, в транслитерации. Прецедент с телефоном говорит о том, что до всеобщего доступа — несколько поколений. И даже если он получит распространение, вполне возможно, что он останется под контролем все тех же двух процентов. Таким образом, существует реальная проблема доступа. Но идеология Сети предполагает наличие неограниченного доступа. Мой тезис состоит в том, что Сеть порочна даже в отношении этого предположения. Важно проводить различие между реально существующим Интернетом с его самоочевидными изъянами, такими как неравный доступ, и Сетью, как ее рисует идеология — вселенским электронным сообществом. Для защитников Интернета идеал будущего оправдывает сегодняшнюю реальность. Для меня же именно потенциальный Интернет обесценивает все попытки его создания.

Сегодняшняя реальность Сети — это, конечно, вовсе не глобальное сообщество, не даже приближение к таковому. Ибо для того, чтобы оно имело место, потребен либо универсальный второй язык, либо автоматический перевод: ни то, ни другое нам не грозит. Сейчас у Сети примерно такой же статус, как у CNN в начальный период. Тогда люди думали, что возникло глобальное телевидение. С тех пор уровень затрат снизился, и за CNN последовали, среди прочих, французский, британский, немецкий и арабский глобальные каналы. В ретроспективе CNN был (и остается) национальным каналом США с глобальным охватом — та же черта, по сути, которая свойственна так называемым «мультинациональным» компаниям. Нынешнее доминирование в Интернете английского языка — скорее всего, явление временное. Когда возрастет использование национальных языков, возрастет и национальное использование Сети; одновременно с этим относительно сократится ее международное использование и продолжится внутреннее использование в США. И опять-таки, сетевая идеология исходит из всеобщности коммуникации, что само по себе ложно. Реальная проблема возникла бы, если бы глобальное сообщество действительно образовалось.

Что же именно не так с Интернетом?

Во-первых, существование и последствия *сетизма*, достаточно реально-го интернетовского лобби. Это лобби или движение выразилось впервые в таких группах, как Electronic Frontier Foundation, и таких официальных комиссиях, как комиссия Мартина Бангеманна, которая первой сформулировала основные положения политики Европейского Союза. Не существует какого-либо официального или исчерпывающего утверждения сетизма как идеологии, но два документа подходят к этому близко: «Киберпространство и Американская мечта: Великая хартия вольностей для Века знания», написанный при участии Элвина Тоффлера, и «Люди и общество в Киберпространстве» Дж. А. Кейворта из Фонда прогресса и свободы. В этих документах представлена начальная фаза киберлиберальной идеологии.

Сетизм плох в силу своего насильственного экспансионизма. Не существует никакого имманентного или неизбежного технического или исторического движения к единой коммуникационной сети. Напротив — никогда раньше в истории не было технически возможным существование такого количества разрозненных сетей. Связывание всех сетей воедино — это сознательный выбор некоторых людей; выбор, который затем навязывается другим. Логика та же, что у колониальных правительств, которые принуждали крестьян к рынку, облагая их денежным налогом.

(Чтобы платить налог, крестьянам приходилось продавать произведенный продукт — например, сахар — за деньги.) Эта логика, по сути, говорит: «Никто не свободен от свободного рынка». Сегодня не только правительство, но и бизнесмены, общественные движения, интеллектуалы и художники — все хотят обложить нас Сетью. Очевидно, что это широкое движение не сводится к поиску прибыли (хотя дурна и бесприбыльная Сеть). Это навязывание себя, универсализм, экспансионизм, принудительность, основополагающая несвобода выхода — вот что делает либеральные структуры дурными. Сказанное приложимо к свободному рынку и — сущностно — к Интернету.

Основополагающая модель Сети взята из классического либерализма: это электронный свободный рынок, основанный на принципах «laissez-faire, laissez-aller». Сетевые активисты в США прямо ссылаются на англо-американскую либеральную традицию — смотри любой выпуск «Wired», самого влиятельного периодического издания в мире новых СМИ. Эта традиция определяет свое отношение к государству: государство мыслится как ночной сторож в электронной форме, регуляция — минимальна. (Классические проблемы либеральных обществ, такие как конфликт между сексуальной моралью и «секс-продуктом», вновь возникают в киберпространстве.) С точки зрения этики, вся эта модель — ниже всякой критики. Сеть воздействует на других людей, не только на своих пользователей, поэтому пользователи не имеют права сами устанавливать правила. Никакое внутреннее регулирование (или его отсутствие) в качестве замены внешнего регулирования не может быть оправдано а priori. Пользователи Интернета не могут принять решение лишить государство (или кого-то еще) регулирующих функций лишь на том основании, что им это регулирование не нравится. Помимо пользователей Интернета существуют также другие люди и другие проблемы, требующие рассмотрения.

Полезно теперь кратко охарактеризовать черты и цели либерализма. Он стремится: а) увеличить взаимодействие; б) увеличить число взаимодействующих; в) увеличить число затронутых каждым взаимодействием и г) увеличить область, в которой взаимодействие происходит. Создавая цепочки взаимодействий, он транслирует причину и следствие — коллективизирует действие. Конкретный пример: этика глобального распределения богатства и дохода. Вы (как индивидуум) не можете исправить глобальное неравенство, купив одну пачку кофе, — даже если вы стараетесь избегать поощрения торгового неравенства в конкретном акте покупки.

Вы не можете, например, улучшить условия жизни крестьянской бедноты в Эфиопии своей индивидуальной стратегией покупок. Вы не

обладаете индивидуальным контролем над экономикой, в которой вы живете, и следовательно, индивидуальным контролем над своей жизнью. Подобным образом вы не имеете индивидуального контроля над Интернетом, и следовательно, не можете принимать моральных решений относительно него. Это то, что делает либерализм и его структуры неэтичными: они уничтожают моральную автономию субъекта. Если можно доказать, что Сеть — либеральна, можно доказать, что она неэтична.

Для кибер-идеологии, однако, величайшим преимуществом Интернета является то, что он извлекается из либеральных моделей. Либералы рассматривают идеи и мнения в качестве предметов обмена: если у либерала есть какое-то мнение, он (или она) непременно хочет «выразить его» и обменяться им с другими. Приоритет диалога и общения в неолиберальных теориях (таких как этика коммуникации) параллелен приоритету рыночного обмена в классическом либерализме. (В этом смысле этика коммуникации и этика диалога уже установили политические рамки для киберпространства.) Информационное общество является либеральным обществом гиперобмена: граждане передают, принимают и перенаправляют поток идей и мнений, как некий Ник Лисон — коммуникации. Бесспорно, что только Интернет (или что-то подобное ему) может сделать это возможным, что, однако, не обеспечивает его моральной или политической правоты.

Этика коммуникации

В чем состоит фундаментальная порочность коммуникации и диалога? Почему обмениваться идеями плохо? Ответ — потому что ложны исходные предпосылки. Либеральная модель диалога и коммуникации исходит, прежде всего, из установки, что все идеи одинаковы (одна идея по способам обращения с ней подобна любой другой); во-вторых, она предполагает, что от обмена идеи получают пользу. Но идеи не являются какими-то единицами, наподобие кирпичей, и они не получают пользу от того, что передаются. Чтобы понять, в чем ошибка, нужно просто подразделить идеи на две простые категории: планы и аргументы (в споре). «Планы» являются предложениями по изменению; аргументы суть идеи, предлагаемые, чтобы воспрепятствовать осуществлению планов. Обмен идеями приносит пользу аргументам (и консерватизму); обособление идей приносит пользу планам (и изменениям). Нет необходимости исследовать здесь «истинную природу идей»: эти две категории корректно описывают, по крайней мере, некоторую политическую реальность. Почти любая газета и любые телевизионные новости покажут нам, как тот или иной политик приводит аргументы против иннова-

ций. Участие в диалоге как универсальное моральное предписание — неэтично. Не всякое общение благотворно и, возможно, большая его часть вредна. Вредна, разумеется, для изменений. Наилучшая стратегия изменений, как правило, обособлена от политического давления; но либеральное общество устроено так, чтобы затруднить это обособление. Интернет усиливает это консервативное «преимущество».

Стандартный ответ либерализма (а теперь и сетизма) — утверждение, что они якобы гарантируют: а) политическую нейтральность и б) равенство участников. Типичный либеральный аргумент, что формальное равенство (то есть гражданство) оправдывает любое другое неравенство, приложим и к Сети. Утверждается, что формальное равенство (относительно доступа и коммуникации) оправдывает Сеть — если даже такое относится к будущему. На деле, как и в ситуации со свободным рынком, обычно именно те, кто находится в самых слабых начальных условиях, более всего страдают от неограниченного взаимодействия. Нет никакого сомнения, что свободный рынок за короткий срок увеличивает социальное неравенство. Его защитники заявляют, что в долгосрочной перспективе это перевешивается улучшением (ситуации) для всех, и прибегают к аргументам типа «капля камень точит», ссылаясь на принцип допустимых неравенств Роуля. Способность рынка увеличивать неравенство, по счастью, ограничивалась в прошлом физическими пределами обмена товарами. Но за последние три века стало очевидно, что неограниченные спекуляции на бирже и торговля спекулятивными товарами (например, луковицами тюльпанов) могут в короткий срок привести к крайнему неравенству. Интернет почти полностью ликвидирует физические ограничения на расширение рынка, допуская стремительный рост согласно диодному или триодному эффекту. (Другими словами: увеличение неравенства обуславливается неравенством начальных позиций — диодный эффект — или же третьими факторами — триодный эффект.) Говоря менее теоретически, выигравшими от этого процесса почти наверняка окажутся все те же лучше образованные и лучше оплачиваемые элиты, которые были первыми в использовании Интернета. Хуже, что проигравшими окажутся инновативные меньшинства.

Единство и монополия

И тогда вступает в действие другой принцип либерализма, связывающий его с другими идеологиями. В либеральных обществах инновативные меньшинства теряют свои преимущества. Однако никто не может уйти, даже если страдает от всего этого интенсивного взаимодействия. Никто не может покинуть «арену взаимодействия» — рынок, либераль-

ную демократию, глобальную экономику, Интернет. «Арена» — метафора для описания этой ситуации: это слово намекает на то, что люди принуждаются к взаимодействию помимо их воли. Даже если некоторые люди (которых, в действительности, довольно много) вступают на эти арены добровольно, это не означает, что они имеют право тащить за собой других. Метафора Сети сама по себе еще лучше: «сеть» и «паутина» используются для того, чтобы ловить жертву.

Если жертва просто-напросто сбегает, либерализм заканчивается: без участников нет рынка, нет либеральной демократии и нет Интернета. Все тексты об Интернете объединяет одно: слово «Интернет» всегда пишется в единственном числе. Так же, как почти всегда — слово «киберпространство». Объединить все коммуникационные сети, все коммуникации — намерение, обычно высказываемое в явном виде. В терминах экономики Интернет есть монополия по определению.

Монополия, если она хочет оставаться монополией, не должна допускать альтернатив и не должна делиться. Монополия подразумевает единство и предельную экспансию. Не может быть двух глобальных экономик. Быть глобальным — значит быть одним целым и не иметь конкурентов. Это относится не только к экономике. Как в западной, так и в не западной мысли существует долгая история Единства как значимого принципа, Единства как конца всех вещей. Его современные варианты (философские предшественники идеи киберпространства) часто основываются на трудах Тейяра де Шардена. Эти эволюционно-холистические идеи пропитывают все нью-эйджевские движения; через эти движения они оказывают влияние на холистические видения киберпространства и, особенно, на идею глобального мозга.

Другой старый (уже менее абстрактный) принцип — это принцип политического единства. Он тоже связан с претензией либерализма на монополию. Именно здесь становятся очевидными такие понятия, как дигитальное гражданство, дигитальная демократия и дигитальный полис. Ясно также, почему политическая элита в Европе хочет пропагандировать эти идеи, которые, на первый взгляд, направлены против элиты. (Информированием об этой политике и ее координацией занимается офис проекта «Информационное общество Европейского Союза»). De facto, единством, формирующим арену либерального свободного рынка, является национальное государство. Начиная с XIX века либерализм и национализм — близнецы-братья.

Рынок усиливает нации: взаимодействуя, граждане влияют друг на друга, и это благоприятствует процессу конвергенции. Хорошо известна роль продуктов массового потребления и средств массовой информации в деле образования европейских наций в XIX веке. Увеличение объема

взаимодействий интенсифицирует этот процесс — и это то, что так ценит сетизм. Интенсификация конвергентного политического участия ведет к усилению положения элит. Поэтому в среде защитников Сети мы находим смешение таких форм либеральной мысли, как органицизм, пан-органицизм и различные формы ультракоммуитаризма. Общим для всех этих идеологий является упор на единство, на невозможность выхода и невозможность отсоединения: один глобальный рынок, одно (глобальное) сообщество, один глобальный мозг, ведущий к одному космическому сознанию.

Практическое осуществление таких абстрактных понятий сталкивается с проблемами. Неолиберальные проповедники Сети превозносят ее, к примеру, за то, что она преодолевает барьеры; однако размывание барьеров вокруг их частной собственности на повестку дня не ставится. Кибер-идеологи непоследовательны. Они восхваляют единое сообщество киберпространства, единую информационную экономику, единое глобальное общество; но отнюдь не единую собственность (и, конечно, не коммунизм). Эта непоследовательность, возможно, является банальным фактом политической жизни, но она подчеркивает политическое использование языка. Цели могут формулироваться на разных идеологических «языках»: на привычном языке прав или на языке обязательств — или же выступать под маской альтернативных путей будущего развития вселенной. Такие понятия, как «космическое сознание», можно использовать для доказательства чего угодно.

Несмотря на все эти космические перспективы, в ближайшем будущем мы увидим, как уже говорилось, усиление существующих национальных культур. В существующем Интернете (который сейчас большей частью является американским) появится много национальных вариантов. Скоро перед экспериментами с цифровой демократией встанут те же проблемы границ, что и перед либерализмом свободной торговли. Единство как принцип допускает некоторое сосуществование уровней единства, но с нарастанием взаимодействия — все в меньшей и меньшей степени. В современной политике США, к примеру, происходит конфликт между двумя видами либералов-защитников свободного рынка: теми, кто рассматривает этот рынок, главным образом, как модель внутренней национальной экономики, и теми, кто стремится к свободной торговле в глобальном масштабе. Первая группа — это протекционисты, вторая — экспансионисты.

Представляется, что игнорирование защитниками цифровой демократии этой скрытой проблемы непоследовательности само по себе является частью сетевой идеологии. Рассуждая логически, никто не может сначала доказывать, что Сеть объединяет мир, а затем призвать к

электронному голосованию в каждом национальном государстве. Тем не менее, в текстах кибер-идеологов эти противоречивые взгляды стоят бок о бок. Выбор, который делают сетисты сейчас, достаточно ясен: в реальности киберлибералы, как и прочие либералы, выбирают национальное государство. И на этом уровне Интернет прочно укоренен в XIX веке: осуществляясь на практике, гражданство и *polis* организуются по этнонациональному принципу. Никто из дигитальных демократов (во всяком случае, пока) не выдвинул идеи о том, чтобы позволить 600 миллионам африканцев выиграть референдум о миграционной политике у 250 миллионов граждан США.

Историческое вето

Таким образом, с точки зрения истории, пришествие Сети вовсе не является поворотным моментом. Это продолжение стародавних принципов, состоящих в том, что люди должны жить в сообществах (обществе) приклеенные друг к другу клеем самоотождествления и связанные друг с другом сетями взаимодействия, торговли, коммуникации и конкуренции. Эти структуры существовали задолго до возникновения либеральной идеологии, которая теперь их пропагандирует. Интернет их лишь интенсифицирует. Будучи структурой, Сеть грозит приравнять свободный рынок к социальному стабилизатору — по его охвату, интенсивности и результатам. Отказ от использования Сети, выход из киберпространства станут тогда такими же нереалистичными, каким был бы бойкот денег в современной Америке...

Исторически, выбор Сети — это выбор прошлого. Его никак нельзя обосновать историческими аргументами о развитии технологии. Лишь небольшая часть физической инфраструктуры Сети имеет отношение к связыванию удаленных точек между собой, что и превращает ее в Интернет. Если убрать эти связи, реальный технологический уровень остающейся инфраструктуры практически не изменится. Политика рассредоточения каналов («немультимплицирование») является настолько же осуществимой, как и единая глобальная Сеть. Это вопрос политики, а не технологии. Именно Интернет накладывает политическое и социальное ограничение — идеал единства — на коммуникационные технологии.

Сеть — это неизбежная монополия, это выбор прошлого — историческое вето. Никакая группа, элита, движение или идеология не имеют права налагать это вето на мир. Поэтому решение отключиться от Сети вполне законно в политическом и этическом смысле. Первый удар должен быть нанесен по межконтинентальному потоку данных: удар по атлантизму. Рассмотрим следующий сценарий: на первом этапе Европа

(европейские государства, не ЕС) перерубает связи с Северной Америкой, прежде всего с Соединенными Штатами. В терминах этики это может быть названо постинтерактивной политикой. Тогда появится свободный выбор, отрицаемый либерализмом и сетизмом, — выбор между Сетью и не-Сетью. Если нынешний ЕС желает внести лепту в это возможное будущее, он должен начать эмиграционную программу в Соединенные Штаты для всех, кто активно пропагандирует Сеть в Европе, для кибер-идеологов. Если на Земле должна существовать зона для тех, кто отказывается от перехода в постинтерактивный мир, США, будучи родиной Сети, кажется наиболее подходящим местом для этого. Физическая инфраструктура Сети все еще концентрируется именно там. Что еще более важно, сетевая культура в значительной степени остается американской: эмигранты волеются в культуру, которую они сами выбрали. Соединенные Штаты преданы свободному рынку и общим ценностям: в более широком смысле они уже являются консервативной родиной.

Весьма возможно, что сетисты в Европе отвергнут эту возможность, этот сценарий. В любом случае этот вариант будущего не очень вероятен. Суть в том, что сетизм — это универсалистская и экспансионистская идеология, и этот сценарий — хороший способ это доказать. Сетизм не желает выбора ; он желает Сеть, одну Сеть, одну глобальную Сеть, одну Сеть повсюду, одно универсальное киберпространство и больше ничего. Кажется, что так же, как с идеологией свободного рынка (и либерализмом в целом), с Сетью невозможно никакое сосуществование: ты либо за Сеть, либо против. Это усиление идеологического момента указывает на растущую возможность конфликта. В широкой перспективе сейчас мы наблюдаем интенсификацию идеологии, сравнимую с той, которая происходила в Европе между 1880-м и 1914-м. В этой ситуации представляется правильным размышлять над европейскими антиинтернетовскими стратегиями и теориями, а не оставлять все на произвол сетистов.

3 декабря 1998 года

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Человек с топором

Пауль Треанор. Интернет как гиперлиберализм
(перевод с английского Евгения Горного).

Хочется отнести к этой статье как бы не в лоб и, более того, немедленно перейдя на личности. Но это, по сути, именно то, что и предполагалось автором — поскольку данный документ является прекрасным образцом школьно устроенной демагогии. Это как если бы Макиавелли оказался переписанным мистером Карнеги. Но такой подход скорее веселит, нежели вызывает тошноту. А для того, чтобы в полной мере восхититься им, поступим в соответствии с привычным электронным способом: строчка — reply. Тема потому что соответствует. Разумеется, реакция будет встречного демагогического характера.

«Политическая этика и структура Интернета либеральны. Интернет, по сути, проясняет дефекты либерализма: с ним можно и нужно покончить».

Вот так вот сразу... Впрочем, и я начал с выводов.

«Сеть — понятие скорее политическое и этическое, нежели технологическое. Она угрожает навязать себя миру».

Конечно, обыкновенно наоборот — это политические и этические явления, как правило, хотят навязать миру нечто, но никогда в этом не преуспевают. А вот технология — наоборот. Хотя бы тот же паровоз. Но учтем и автора, который должен начать демагогическую конструкцию именно что с категорически вздорного утверждения: оно — поначалу — немедленно проглотится и усвоится, так что путь для дальнейших манипуляций с читателем открыт.

«Спустя тридцать лет после „Конца идеологии“ Дэниэля Белла идеологии продолжают возникать».

Такие названия всегда не более чем светская шутка, автору это отлично известно, но демагогия в начале текста требует энергичных подтасовок. Интересно — в самом ли деле эта книжка существует? Наверное...

«Одна из них — „сетизм“, агрессивная пропаганда Интернета (киберпространства, миров интерактивных СМИ и т.д.)».

Юзерам обыкновенно предлагаются не идеологии, а услуги. Трудно поверить, что употребление услуг будет способствовать прониканию идеологии в юзера. Если да — тогда это и в самом деле великая и единственно верная идеология, и с ней надо тут же смириться, радостно улыбаясь. С другой стороны, намеренное затягивание юзера в идеологию обыкновенно как-то предполагается не слишком, но если так — значит, существует несомненный заговор. И это — замечательно. И еще более замечательно — это возвеличивание (как бы мимоходом) Простого Юзера.

«Политико-этический вопрос состоит не в том, как «интернетовское сообщество» должно защищать своих членов и регулировать их деятельность, а в том, кто защитит остальную часть мира от Сети, сетистов и кибер-либерализма? Неравенство в доступе к Интернету сомнению не подлежит: пользователями становятся наиболее образованные и наиболее оплачиваемые два процента населения мира и их дети-студенты».

Имеет место милая и наглая нестыковка двух утверждений, стоящих рядышком: очевидно же, что в этом смысле защита остального мира происходит автоматически — в силу этих самых двух процентов.

«Но идеология Сети предполагает наличие неограниченного доступа».

Учитывая несравнимую ресурсами Сети и частного, пусть даже неограниченного времени доступа, это положение ложно. Тем более, опять же — откуда тогда всасывание всех подряд в сетевую идеологию? Тогда уж следует рассуждать о некоей www-иллюзии — хотя, разумеется, иллюзии тоже могут иметь либеральную или консервативную окраску.

«Сегодняшняя реальность Сети — это, конечно, вовсе не глобальное сообщество, ни даже приближение к таковому. Ибо для того, чтобы оно имело место, потребен либо универсальный второй язык, либо автоматический перевод: ни то, ни другое нам не грозит».

О, вот и автор про иллюзию. Но он пытается выставить ее, резко сменив слой рассуждений — уйдя от исходной философской проблемы к вопросу о языке. Если, конечно, это вообще вопрос о языке, поскольку с тем же успехом можно было рассуждать о грамотности. Но — если все-таки иллюзия, то о чем, собственно, идет речь? И это грамотный демагогический ход, придающий драйв изложению.

«Сейчас у Сети примерно такой же статус, что у CNN в начальный период. Тогда люди думали, что возникло глобальное телевидение».

Покажите, пожалуйста, этих людей. Назовите их имена, дайте ссылки, цитаты, домашние адреса.

«И опять-таки, сетевая идеология исходит из всеобщности коммуникации, что само по себе ложно. Реальная проблема возникла бы, если бы глобальное сообщество действительно образовалось».

Так о чем тогда, собственно, речь? Для демагога — очень серьезная ошибка. Кто-то из читающих мог еще не забыть, о чем весь базар.

«Что же именно не так с Интернетом?»

Да вот пишут о нем всякую ерунду кому не лень...

«Не существует какого-либо официального или исчерпывающего утверждения сетизма как идеологии, но два документа подходят к этому близко: „Киберпространство и Американская мечта: Великая хартия вольностей для Века знания“, написанный при участии Элвина Тоффлера (pff.org/position.html), и „Люди и общество в Киберпространстве“ (pff.org/tsot-1.html) Дж. А. Кейворта из Фонда прогресса и свободы. В этих документах представлена начальная фаза киберлиберальной идеологии».

В «Откровении от Иоанна» представлена даже ее окончательная фаза.

«Связывание всех сетей воедино — это сознательный выбор некоторых людей; выбор, который затем навязывается другим».

Интересно, кто-нибудь из юзеров видел своими глазами то, как сети связываются воедино, и ощутил ли своей кожей навязывание ему сего факта?

«Основополагающая модель Сети взята из классического либерализма: это электронный свободный рынок, основанный на принципах „laissez-faire, laissez-aller“».

С тем же успехом можно сказать, что соединение всех сетей в единое целое основано на принципах «папа-мама». Причем — оба принципа неплохи.

«Сеть воздействует на других людей, не только на своих пользователей, поэтому пользователи не имеют права сами устанавливать правила. Никакое внутреннее регулирование (или его отсутствие) в качестве замены внешнего регулирования не может быть оправдано a priori».

Погода тоже воздействует не только на метеорологов. И многие другие вещи ведут себя точно так же. Иными словами, в вину Интернету вменяется тот факт, что он рационально не описываем и не планируем. То ли это невращения, то ли приобретенный с помощью упорных тренировок невроз.

«Помимо пользователей Интернета существуют также другие люди и другие проблемы, требующие рассмотрения».

А чего тогда, собственно, про Интернет?

«Вы не можете, например, улучшить условия жизни крестьянской бедноты в Эфиопии своей индивидуальной стратегией покупок».

Разумеется, одной из важнейших составляющих демагогии является обращение к опыту народных страданий.

«Вы не обладаете индивидуальным контролем над экономикой, в которой вы живете и, следовательно, индивидуальным контролем над своей жизнью. Подобным образом вы не имеете индивидуального контроля над Интернетом и, следовательно, не можете принимать моральных решений относительно него. Это то, что делает либерализм и его структуры неэтичными: они уничтожают моральную автономию субъекта».

Данный абзац помогает понять некоторые психолого-психические проблемы автора: он, собственно, пытается идентифицировать свою жизнь в рамках некоторой внешней структуры, которая (решительно парадоксальным образом) должна полностью идентифицироваться с автором, который тем самым обретет как полный контроль над своей жизнью, так и следующую из такого контроля моральную автономию. Разумеется, подобного душевного комфорта индивидууму не могут предоставить даже секты. Это как бы про онанизм.

«Если можно доказать, что Сеть — либеральна, можно доказать, что она не этична».

А если доказать нельзя, то Сеть — этична. Что-то с образованием у автора не очень... Да и философически очень сомнительно: как же так, от удачи авторских рассуждений зависит некое свойство сущности, из автора непосредственно не выводимой?

«В чем состоит фундаментальная порочность коммуникации и диалога? Почему обмениваться идеями — плохо? Ответ: поскольку ложны исходные предпосылки».

Снова красивый пример демагогической техники: оттянуть ум читающего в состояние *ab ovo* — лучший способ полностью замутить воду, вытаскивая затем из нее именно тех зверушек-рыбок, которых туда подкидываешь сам. Но, опять же, ложные предпосылки — это ведь кайф, потому что с ними — все правда.

«Идеи не являются какими-то единицами наподобие кирпичей, и они не получают пользу от того, что передаются».

С тем же успехом можно сказать, что патронов жалеть не надо, потому что им не больно. Все уже окончательно переходит в фарс — весьма, впрочем, ловкий.

«Стандартный ответ либерализма, а сейчас и сетизма, — утверждение, что они якобы гарантируют: а) политическую нейтральность и б) равенство участников».

А стандартный ответ — чей? Где он лежит? Адресок бы...

«Типичный либеральный аргумент, что формальное равенство (то есть гражданство) оправдывает другое неравенство, приложим и к Сети».

Теория заговора продолжает продвигаться, окончательно становится понятным, что она — главная в данном сочинении.

«В либеральных обществах инновативные меньшинства теряют свои преимущества».

Подобное рассуждение и вывод находятся в прямой зависимости от решительно вздорного мнения, состоящего в том, что в условиях либерализма агрессивность и активность любых групп и физических лиц распределена совершенно равномерно.

«Однако никто не может уйти, даже если страдает от всего этого интенсивного взаимодействия».

Слезьми облиться и не жить.

«Никто не может покинуть «арены взаимодействия» — рынок, либеральную демократию, глобальную экономику, Интернет».

Ну, никто не выйдет отсюда живым.

«В терминах экономики Интернет есть монополия по определению».

Но разговор не начинался в терминах экономики, а в таком случае вряд ли корректно менять способ рассуждений: сначала они шли в совершенно других терминах (еще раз обращаю внимание на подмену терминологии как на крайне конструктивный в демагогическом смысле ход).

«Монополия, если она хочет оставаться монополией, не должна допускать альтернатив и не должна делиться. Монополия подразумевает единство и предельную экспансию. Не может быть двух глобальных экономик. Быть глобальным — значит быть одним целым и не иметь конкурентов. Это относится не только к экономике».

Да уж, конечно. Например, возникает ощущение, что автор заговаривает самого себя — с тем, чтобы не допустить развития раздвоения личности: ты глобален, ты должен быть глобален, если ты будешь глобален, тогда ты станешь цельным и у тебя не будет конкурентов во владении самим собой.

«С точки зрения истории, таким образом, пришествие Сети вовсе не является поворотным моментом. Это продолжение стародавних принципов, состоящих в том, что люди должны жить в сообществах (обществе), приклеенные друг к другу клеем самоотожествления и связанные друг с другом сетями взаимодействия, торговли, коммуникации и конкуренции. Эти структуры существовали задолго до возникновения либеральной идеологии, которая теперь их пропагандирует. Интернет их лишь интенсифицирует».

Ну вот, автор практически сознался в том, о чем я говорил выше — в желании самоидентификации лишь с самим собой, но — с неким выс-

шим и глобальным собой. Как если бы он исповедовал индуизм: в самом деле, в статье выстраивается индуистская модель с неким Атманом, преподносимая в качестве продвинутой альтернативы христианскому либерализму.

«Сеть — это неизбежная монополия, это выбор прошлого — историческое вето. Никакая группа, элита, движение или идеология не имеют права налагать это вето на мир. Поэтому решение отключиться от Сети вполне законно в политическом и этическом смысле».

Перетягивание речи совсем уже в геополитическую область неминуемо заставляет подумать, что читателя сейчас будут окончательно дурить. Опять все та же нехитрая демагогия, но отчего же столь негармонично устроено мироздание, что столь примитивные ходы неизбежно имеют успех? По сравнению со столь прискорбным багом мироздания ведь и любой монополизм есть едва различимое зло. При этом — непосредственно следующее из указанного бага.

«Рассмотрим следующий сценарий: на первом этапе Европа (европейские государства, не ЕС) перерубает связи с Северной Америкой, прежде всего с Соединенными Штатами...»

Ну — дождались! Конечно, тот, кто все время оперирует возможностью различных заговоров, просто обязан сам предложить что-нибудь такое же.

«Суть в том, что сетизм — это универсалистская и экспансионистская идеология, и этот сценарий — хороший способ это доказать. Сетизм не желает выбора, он желает Сеть, одну Сеть, одну глобальную Сеть, одну Сеть повсюду, одно универсальное киберпространство и больше ничего. Кажется, что так же как с идеологией свободного рынка (и либерализмом в целом), с Сетью невозможно никакое сосуществование: ты либо за Сеть, либо являешься ее врагом. Это усиление идеологического момента указывает на растущую возможность конфликта».

И вот здесь автор окончательно проговаривается, некоторые словечки: «сценарий», «конфликт» — дают понять, к какому роду, виду и жанру относится его сочинение. Конечно, это художественный текст, при этом — сетевой художественный текст.

Настаиваю на том, что в данном случае мы имеем дело с достаточно продвинутым и именно сетевым художественным произведением. Вот приметы этого: соединение взаимно не стыкующихся понятий; естественное для любого сетевика убеждение, что любые две фактуры, размещенные рядом, непременно срastутся; меняющаяся по ходу развития мысли логика рассуждений, да и оттенков этой самой мысли; явно выраженное желание абсолютной уникальности и неклонированности — что это, как не искусство?

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ

Это, по сути, пьеса для одного актера (он же и автор), причем пьеса — сетевая, а то, что такой моноспектакль возможен и в полном отсутствии всех технологических сетевых элементов, лишь доказывает, что сетевая идеология, сетевой образ мысли и ощущений уже существуют и вне собственно электронной среды.

И как ловко и естественно в пьесу входят методы легкого сворачивания мозгов юзеров и не слишком гуманитаризированных профессионалов, а также профессионалов гуманитаризированных на незнакомой для них поляне, насколько незаметно проходят спекуляции на экзистенциальной стороне дела...

Ну, а окончательный художественный вывод автора, состоящий в необходимости отрубания Америки от нормального европейского человечества, вызывает искреннее одобрение — в художественном, понятное дело, смысле, что лишний раз подтверждает реальную силу данного акта творчества.

8 декабря 1998 года

ДЖОН ПЕРРИ БАРЛОУ

Продажа вина без бутылок: экономика сознания в глобальной Сети

«Если природа создала нечто, чем ты не можешь обладать в большей степени, нежели другие, то это благодаря воздействию мыслительной силы, именуемой идеей, каковая принадлежит человеку лишь до тех пор, пока он хранит ее при себе; но стоит только ее огласить, как она становится всеобщим достоянием, и тот, кому она достанется, уже не может отделять себя от нее. Особенность ее заключается также в том, что каждый обладает не какой-то ее частью, но владеет ею целиком. И тот, кому досталась от меня моя идея, воспринимает ее сам, не умаляя при этом меня; не тень, но отблеск света отбрасывает он на меня. Идеи должны беспрепятственно передаваться от одного к другому по всему земному шару для морального и взаимного наставления человека и улучшения его состояния. Кажется, было нарочито благосклонно задумано природой, когда она сделала их распространяющимися, подобно огню, по всему пространству без уменьшения их плотности в любой точке, и подобно воздуху, в котором мы дышим, двигаемся и имеем свое физическое существование и который не может быть ограничен или составлять исключительную собственность. Таким образом, изобретения по самой своей природе не могут быть предметом собственности.»

Томас Джефферсон.

С тех пор, как я начал прощупывать киберпространство, в нем неизменно присутствует грандиозная головоломка, которая, как представляется, лежит в основании почти любых правовых, моральных и социальных неурядиц, какие только можно найти в Виртуальном Мире. Я имею в виду проблему оцифрованной собственности.

Загадка такова: если вашу собственность можно бесконечно воспроизводить и мгновенно распространять по всей планете бесплатно и

не ставя вас в известность об этом, и даже не предпринимая усилий для того, чтобы собственность перестала быть вашей, то как мы можем эту собственность защищать? Как мы собираемся получить плату за ту работу, которую мы делаем головой? И если нам не платят, то что же обеспечивает непрерывность творчества и распространения его плодов?

Поскольку у нас нет готового решения для этой принципиально новой проблемы и мы с очевидностью не способны сдержать стремительную оцифровку всего, что не является безысходно материальным, мы плывем в будущее на тонущем корабле.

Это судно, сиречь совокупный канон авторского права и патентного законодательства, было построено для транспортировки форм и методов выражения, сущностно отличающихся от того эфемерного груза, которым его нагружают сейчас. Оно имеет течь как изнутри, так и снаружи.

Юридические усилия удержать на плаву старый корабль проявляются трояким образом: как лихорадочная перестановка стульев на палубе; как строгие предупреждения пассажирам, что если корабль пойдет ко дну, то им грозит суровое уголовное наказание; и как невозмутимое отрицание происходящего.

Закон об интеллектуальной собственности можно подлатать, заузить или расширить, чтобы он удерживал газы оцифрованного выражения, не более, нежели можно пересмотреть закон о земельной собственности так, чтобы он покрывал вопросы распределения радиочастот. (Что на самом деле довольно сильно напоминает попытки, предпринимаемые в настоящей статье.) Нам придется разработать совершенно новый набор методов, соответствующих этому совершенно новому набору обстоятельств.

Большинство людей, реально создающих «софтовую» собственность, — программисты, хакеры, путешественники по Сети — уже знают это. К несчастью, ни компании, на которые они работают, ни юристы, которых нанимают эти компании, не имеют достаточного опыта в области нематериальных товаров, чтобы понимать, почему эти товары причиняют столько хлопот. Они поступают так, словно можно каким-то образом заставить работать старые законы, то предлагая расширительное до абсурда их толкование, то уповая на силу. Они не правы.

Происхождение этой головоломки настолько же очевидно, насколько не очевидно ее решение. Благодаря цифровой технологии, информация отрывается от материального плана, где всегда находили свое определение законы о собственности всех видов.

Все время, что существуют авторские права и патенты, суждения мыслителей о собственности фокусировались не на идеях, но на выражении этих идей. Сами по себе идеи так же, как и факты, относящиеся к явлениям мира, считались коллективной собственностью человечества.

Когда речь шла об авторском праве, человек мог иметь франшизу на конкретное построение фразы, которая использовалась для передачи определенной мысли, или же на порядок, в каком были представлены факты.

Введение этой франшизы стало возможным в тот момент, когда «слово стало плотью», отделившись от ума ее породившего и войдя в определенный материальный объект, будь то книга или техническое приспособление. Появление в дальнейшем других коммерческих сред, отличных от книг, не изменило юридического значения этого момента. Закон защищал выражение и, за немногочисленными (и недавними) исключениями, «выразить» означало «сделать материальным».

Защита материальной формы имела на своей стороне силу удобства. Авторское право работало хорошо в силу того, что, несмотря на Гутенберга, сделать книгу было непросто. Более того, книги замораживали свое содержание до состояния, которое одинаково трудно было как изменить, так и воспроизвести. Изготовление и распространение поддельных экземпляров не проходили незамеченными; виновных в этом достаточно просто было поймать на месте преступления. Наконец, в отличие от несвязных слов и изображений, книги имели материальные поверхности, на которые можно было прикреплять уведомления об авторских правах, отметки издателей и ценники.

Превращение ментального в физическое для патента значило еще больше. Патент, до недавнего времени, был либо описанием формы, которую надо придать материалам для выполнения определенной задачи, либо описанием процесса придания формы. В любом случае концептуальным сердцем патента был материальный результат. Если из-за неподатливости материала произвести вещь, годную к употреблению, оказывалось невозможным, то патент не выдавался. Ни бутылка Клейна, ни шелковая лопата не могли быть запатентованы. Для патентования нужна вещь, и вещь, которая работает.

Таким образом, права на изобретение и авторство относились к деятельности в материальном мире. Платили не за идеи, но за способность перевести их в реальность. В практическом плане, ценность заключалась в передаче, а не в передаваемой мысли.

Иными словами, защищалась бутылка, а не вино.

Теперь, когда информация выходит в киберпространство, родной дом Сознания, необходимость в этих бутылках отпадает. С приходом оцифровывания стало возможным заменить все предыдущие формы хранения информации одной мета-бутылкой: сложными — и в высшей степени текучими — моделями из нулей и единиц.

Даже привычные нам физические/цифровые бутылки — дискеты, компакт-диски и другие дискретные уплотняемые и обертываемые упа-

ковки битов исчезнут, когда все компьютеры подключатся к глобальной Сети. Хотя Интернет, возможно, никогда не будет охватывать все процессоры на планете, число его пользователей более чем удваивается каждый год, и можно ожидать, что он станет основной, если даже и не единственной, средой передачи информации.

Когда это случится, все товары Информационного Века — все выражения, когда-то содержавшиеся в книгах, на пленках, пластинках или в информационных бюллетенях — будут существовать или как чистая мысль, или как что-то очень похожее на мысль: электрическое напряжение, мчащееся по Сети со скоростью света, в условиях, при которых можно действительно наблюдать светящиеся пиксели или передающиеся звуки, но нельзя потрогать или претендовать на «обладание» в старом смысле этого слова.

Кто-нибудь может возразить, что информации все-таки нужно какое-то физическое проявление — такое, как магнитное существование на громадных жестких дисках удаленных серверов, однако эти бутылки не имеют макроскопически дискретной или лично значимой формы.

Кто-нибудь может возразить также, что мы имели дело с «безбутылочным» выражением с момента появления радио, и они будут правы. Но на протяжении большей части истории вещания не существовало удобного способа захвата «мягких» товаров из электромагнитного эфира и их воспроизводства в чем-либо с качеством, присущим коммерческим упаковкам. Это положение изменилось лишь недавно, и мало что было сделано для юридического и технического рассмотрения этого изменения.

Как правило, вопрос об оплате продуктов вещания потребителем не имел смысла. Продуктом были сами потребители. Средства радиовещания находили поддержку либо путем продажи внимания своей аудитории рекламодателям (с использованием правительства для оценки отдачи через налоги), либо путем жалобного попрошайничества ежегодных кампаний по сбору средств.

Все модели поддержки вещания дефектны. Поддержка государства или рекламодателей почти неизбежно пятнала чистоту поставляемого товара. Кроме того, прямой маркетинг в любом случае постепенно убивает модель поддержки за счет рекламодателя.

Средства вещания давали нам другой метод оплаты виртуального продукта — гонорары, которые радиокomпании платят авторам песен через такие организации, как ASCAP (1) или BMI (2). Но, как член ASCAP, я могу вас заверить, что это не та модель, которой нам следует подражать. Методы мониторинга крайне приблизительны. Не существует параллельной системы учета потоков отдачи. Это на самом деле не работает. Честно.

В любом случае, без наших старых методов физического определения выражения идей и при отсутствии успешных новых моделей нефизических взаимодействий, мы просто не знаем, как обеспечить реальную оплату умственного труда. Чтобы сгустить краски, скажу, что это происходит в то время, когда человеческий ум заменяет солнечный свет и месторождения минерального сырья в качестве основного источника нового благосостояния.

Более того, возрастающая сложность реализации на практике существующих законов в области патентов и авторского права уже сейчас подвергает опасности главный источник интеллектуальной собственности — свободный обмен идеями.

То есть в то время, когда первичные предметы коммерции в обществе так напоминают речь, что становятся неотличимыми от нее, и когда традиционные методы их защиты становятся недействительными, попытка решить проблему более широкими и решительными мерами принуждения будет неизбежно угрожать свободе слова.

Самое значимое ограничение ваших будущих свобод может произойти не из-за правительства, а из-за юридических отделов корпораций, работающих над тем, чтобы защитить силой то, что более не может быть защищено практической эффективностью или общим социальным согласием.

Далее, когда Джефферсон и его собратья по Просвещению создавали систему, которая стала Американским законом по авторскому праву, главной целью было обеспечение широкого распространения мысли, а не выгода. Выгода была тем топливом, которое должно было нести идеи в библиотеки и умы их новой республики. Библиотеки должны были покупать книги, тем самым вознаграждая авторов за их работу по собиранию идей, которые, будучи «не способны к ограничению» иным образом, становились бесплатно доступными для публики. Но какова роль библиотек, если в них нет книг? Как теперь общество заплатит за распространение идей, кроме как взимая плату за сами идеи?

Положение дел еще более усугубляет тот факт, что наряду с физическими бутылками, в которых пребывала интеллектуальная собственность, цифровая технология уничтожает также и законодательные юрисдикции физического мира, заменяя их на безграничные и, возможно, вечно незаконные моря киберпространства.

В киберпространстве нет не только национальных или местных границ для локализации преступления и определения метода его расследования, нет в нем и ясных культурных соглашений по поводу того, в чем именно преступление состоит. Неразрешенные и фундаментальные различия между европейскими и азиатскими культурными допу-

щениями по поводу интеллектуальной собственности могут лишь обостриться в области, где сделки происходят в обоих полушариях и, тем самым, ни в одном из них.

Даже в самых локальных цифровых условиях трудно оценить юрисдикцию и ответственность. Группа музыкальных издателей подала иск против «CompuServe» за то, что «CompuServe» разрешила своим пользователям загружать музыкальные произведения в те области, откуда другие пользователи могли их взять. Однако, поскольку «CompuServe» практически не в состоянии осуществлять контроль над потоком байтов, текущим между ее подписчиками, вероятно, она не должна нести ответственность за незаконную «публикацию» этих работ.

Понятия собственности, ценности, владения и природы богатства претерпевают сейчас более фундаментальные изменения, чем в любое время с тех пор, как шумеры впервые выдавили клинописные знаки в мокрой глине и назвали их запасенным зерном. Лишь очень небольшое число людей осознает грандиозность этого сдвига, а из них еще меньшее число является юристами или государственными чиновниками.

Те, кто видит эти изменения, должны готовиться чем-то ответить на юридические и общественные беспорядки, которые будут разражаться по мере того, как усилия защитить новые формы собственности старыми методами будут становиться все более явно безрезультатными и, следовательно, все более непреклонными.

От мечей к повесткам, а от них — к битам

Человечество сейчас, по всей видимости, склоняется к созданию мировой экономики, преимущественно основанной на товарах, которые не имеют никакой материальной формы. Таким образом, может исчезнуть всякая предсказуемая связь между творцами и вознаграждением за ту пользу или удовольствие, которые другие могут отыскать в их творениях.

Пока мы не примем исчезновение этой связи и не окажемся способны на фундаментальное изменение в сознании, чтобы переварить эту потерю, мы будем строить наше будущее на неразберихе, судебных тяжбах и узаконенном уклонении от оплаты, исключая случаи уступок давлению грубой силы. Так мы можем вернуться к Плохим Старым Временам собственности.

В более мрачные времена человеческой истории владение собственностью и ее распределение были по преимуществу военным вопросом. «Владение» было гарантировано для тех, у кого имелись самые гнусные инструменты, будь то кулаки или армия, и наибольшая решимость их использовать. Собственность была божественным правом бандитов.

На рубеже первого тысячелетия нашей эры возникновение купеческого сословия и землевладельческого дворянства привело к развитию этических представлений, с помощью которых стало возможным улаживать имущественные споры. В конце Средних веков просвещенные правители наподобие Генриха II Английского начали кодифицировать это неписаное «обычное право» в письменные каноны. Эти законы были местными, но это не играло большой роли, поскольку они были в основном направлены на земельную (реальную) собственность, ту форму собственности, которая является местной по самому своему определению. И которая, как подразумевает само название (*real estate*), была очень реальной.

Так продолжалось в течение всего того времени, пока источником богатства было сельское хозяйство, но с рассветом промышленной революции человечество начало уделять такое же внимание средствам, как и целям. Орудия обрели новую социальную ценность, и, благодаря их собственному развитию, их стало возможным дублировать и распределять в больших количествах.

Чтобы поощрить их изобретение в большинстве западных стран были созданы законы о патентах и авторском праве. Эти законы были посвящены деликатной задаче переноса творений ума в мир, где они могли использоваться (и входить в умы других) так, чтобы изобретатели получали компенсацию за ценность их использования. При этом, как уже было сказано, системы закона и практики, которые разрослись вокруг этой задачи, основывались на материальном выражении.

Поскольку в наши дни для того, чтобы передавать идеи из одного ума в другой, вовсе не требуется их материальное воплощение, мы претендуем на владение самими идеями, а не только формой их выражения. И поскольку сейчас можно точно так же создавать полезные инструменты, которые никогда не обретут материальную форму, мы начали патентовать абстракции, последовательности виртуальных событий и математические формулы — наиболее нереальную собственность, какую только можно себе представить.

Это обстоятельство приводит к тому, что в некоторых областях права владения оказываются в столь двусмысленном положении, что собственность снова принадлежит тем, кто может собирать самые большие армии. Вся разница в том, что теперь армии состоят из юристов.

Угрожая оппонентам бесконечным чистилищем судебных разбирательств, по сравнению с которыми даже смерть может показаться предпочтительнее, они притязают на любую мысль, которая пришла в какую-то другую голову, принадлежащую коллективному телу корпорации, которой они служат. Они ведут себя так, как будто эти идеи появи-

лись в блистательной оторванности от всего предшествующего человеческого мышления. И делают вид, что замысел изделия ничем не отличается от его производства, распространения и продажи.

То, что ранее рассматривалось как общий для всего человечества ресурс, распределенный по умам и библиотекам мира так же, как и любые явления самой природы, ныне обносится заборами и передается по акту. Выглядит это так, будто возник новый класс предприятий, претендующий на владение воздухом и водой.

Что должно быть сделано? Хотя можно получить мрачное удовольствие от танцев на могиле авторского и патентного права, вряд ли это поможет решению проблемы, поскольку лишь немногие готовы признать, что обитатель этой могилы безнадежно мертв, и пытаются силой поднять на ноги то, что общественное согласие поддерживать более не в состоянии.

Законники, впавшие в отчаяние от того, что власть ускользает из их рук, изо всех сил пытаются ее расширить. Действительно, Соединенные Штаты и другие сторонники ГАТТ (3) ставят для стран условием членства в мировом рынке приверженность нашим умирающим системам защиты интеллектуальной собственности. Например, Китаю не будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования в торговле, пока это государство не согласится принять набор чуждых ему в культурном отношении принципов, которые более не могут разумно применяться даже в стране своего происхождения.

Будь мир более совершенен, нам достало бы мудрости, чтобы провозгласить мораторий на судебные разбирательства, законодательство и международные договоры в этой области до тех пор, пока мы не начнем лучше понимать формы и условия предпринимательской деятельности в киберпространстве. В идеальном случае законы закрепляют уже сложившееся общественное согласие. Они являют собой не столько Общественный договор, сколько ряд соглашений, выражающих коллективное намерение, выросшее из многих миллионов взаимодействий между людьми.

Люди населили киберпространство не так давно и в недостаточном разнообразии, чтобы разработать Общественный договор, согласующийся с новыми, непривычными условиями этого мира. Законы, разработанные прежде чем достигнуто общественное согласие, служат, как правило, лишь избранному меньшинству, которое способно их провести, а не обществу в целом.

В той степени, в какой в этой сфере существуют либо закон, либо устоявшаяся социальная практика, они вступают в опасное противоречие. Законы, касающиеся нелицензированного воспроизводства коммерче-

ского ПО, ясны, жестки и... редко соблюдаемы. Законы о программном пиратстве настолько не воплотимы на практике, а их нарушение стало настолько социально приемлемо, что, похоже, лишь считанные единицы вынуждены, руководствуясь страхом или сознательностью, им подчиняться.

Я иногда выступаю на эту тему и всегда спрашиваю, сколько человек в аудитории могут честно заявить, что не имеют нелегального ПО на своих жестких дисках. Я никогда не видел, чтобы число поднявших руки превышало десять процентов.

Всегда, когда существует такое глубокое расхождение между законом и социальной практикой, приспосабливается к этому отнюдь не общество. И несмотря на быстрое распространение обычая, нынешняя практика производителей ПО устраивать показательные процессы настолько очевидно произвольна, что лишь еще более подрывает уважение к закону.

Широко распространенное пренебрежение к авторским правам на коммерческое ПО в некоторой степени проистекает из непонимания законодателями условий среды, в которую эти авторские права внедряются. Предположение, что система законов, основанная на явлениях материального мира, будет обслуживать столь радикально отличную среду, как киберпространство, — это безумие, за которое всякий занимающийся бизнесом в будущем будет расплачиваться.

Как будет сказано в следующем разделе, неограниченная интеллектуальная собственность сильно отличается от материальной собственности и не может более защищаться так, как если бы этих отличий не существовало. Например, если мы и впредь будем думать, что ценность основана на редкой встречаемости, как это происходит с материальными объектами, мы создадим законы, прямо противоречащие природе информации, которая во многих случаях возрастает в цене по мере распространения.

Большие организации, страхующие себя от рисков легальными способами, скорее всего, будут играть по старым правилам и пострадают за свою законопослушность. Чем больше юристов, пистолетов и денег они будут инвестировать либо в защиту собственных прав, либо в подрыв прав оппонентов, тем больше торговая конкуренция будет походить на обряд потлача у индейцев племени квакиутль, в котором соперники соревнуются в разбазаривании своего имущества. Они просто утратят способность производить новые технологии, поскольку каждый шаг, который они делают, затягивает их все глубже в трясину судебной войны.

Вера в закон не будет действенной стратегией для компаний, работающих в сфере высоких технологий. Закон изменяется путем постепенного приращения и со скоростью, уступающей лишь геологическим процессам с их церемониальной степенностью. Технология развивается

резкими рывками, напоминающими гротескно убыстренные скачки биологической эволюции. Условия реального мира будут и далее изменяться с головокружительной быстротой, и закон все более будет отставать от них, и хаос будет расти. Это несоответствие неизменно.

Перспективные экономики, основанные на чисто цифровых продуктах, либо будут парализованными от рождения, как, видимо, происходит с мультимедиа, либо будут развиваться при решительном и добровольном отказе собственников от всякой игры в собственность вообще.

В Соединенных Штатах уже можно наблюдать развитие параллельной экономики, в основном среди малых и подвижных предприятий, которые защищают свои идеи тем, что выходят с ними на рынок быстрее, чем их более крупные конкуренты, основывающие свою защиту на устрашении и судебных тяжбах.

Скорее всего, те, кто представляет интересы проблемы, просто-напросто погрязнут в судебных дрязгах; те же, кто представляет интересы решения, создадут новое общество, основанное поначалу на пиратстве и грабеже. Очень может быть, что когда рухнет нынешняя система законов об интеллектуальной собственности (а это представляется неизбежным), на ее месте не возникнет никакой новой юридической структуры.

Но что-то должно произойти. В конце концов, люди все равно делают дело. Когда деньги теряют смысл, бизнес делается посредством бартера. Когда общества развиваются вне закона, они создают свои неписанные правила, практики и этические системы. Когда технология отменяет закон, технология же предлагает методы восстановления прав на творчество.

Таксономия информации

Мне кажется, что самое плодотворное сейчас — внимательно рассмотреть истинную природу того, что мы пытаемся защитить. Что именно мы знаем об информации и ее естественном поведении?

Каковы существенные характеристики не ограниченного никакими рамками творчества? Чем оно отличается от предшествующих форм собственности? Какие из наших предположений по поводу информации на самом деле имели отношение скорее к ее вместилищам, чем к ее загадочному содержанию? Каковы ее различные виды и как каждый из них дает себя контролировать? Какие технологии будут полезны для создания новых виртуальных бутылок чтобы заменить старые материальные?

Конечно, информация по природе своей такова, что ее нельзя потрогать и трудно определить. Подобно таким фундаментальным явлениям, как свет и материя, она служит естественным обиталищем парадоксов. И в той же мере, в какой полезно понимать, что свет — это одновременно и волна, и частица, понимание того, чем является информация, может возникнуть в абстрактном соотнесении нескольких ее качеств, которые можно описать следующими тремя утверждениями:

- информация есть деятельность,
- информация есть форма жизни,
- информация есть отношение.

В следующем разделе я рассмотрю каждое из этих утверждений.

I. Информация есть деятельность

Информация есть Глагол, а не Существительное

Высвобожденная из своих вместилищ, информация с очевидностью не есть вещь. В действительности, она есть нечто, что случается в сфере взаимодействия между умами или объектами или другими частями информации.

Грегори Бэйтсон, развивая теорию информации Клода Шеннона, сказал: *«Информация есть различие, которое создает различие»*. Таким образом, информация реально существует только в Δ . Создание такого различия есть деятельность внутри отношения. Информация есть действие, которое занимает время, а не состояние бытия, которое занимает физическое пространство, как в случае материальных предметов. Это подача, а не мяч, танец, а не танцор.

Информацию переживают, а не владеют ею

Даже когда она заключена в какую-то статическую форму вроде книги или жесткого диска, информация все-таки остается чем-то, что случается с вами в то время, как вы мысленно разархивируете ее из того кода, в котором она хранится. Но, независимо от того, измеряется ли она гигабитами в секунду или словами в минуту, реальное раскодирование является процессом, который происходит в уме и при помощи ума, процессом, протекающим во времени.

В бюллетене ученых-атомщиков несколько лет назад была карикатура, прекрасно иллюстрирующая эту мысль. На рисунке налетчик наставляет пистолет на парня в очках, который, ясное дело, имеет много

информации в своей голове. «Быстро, — приказывает бандит, — отдай мне все свои идеи».

Информация должна двигаться

Говорят, что акулы умирают от удушья, если перестают двигаться. Практически то же самое можно сказать об информации. Информация, которая не движется, существует только потенциально. По крайней мере, до тех пор пока ей снова не разрешат двигаться. По этой причине сокрытие информации, свойственное бюрократии, является специфическим порождением ложно направленных систем ценностей, основанных на законах материального мира.

Информация разносится, а не распределяется

Способ, которым распространяется информация, принципиально отличается от распределения материальных товаров. Она движется скорее как нечто природное, а не как нечто сделанное. Она может сцепляться, подобно падающим костяшкам домино, или расти, как фрактальная решетка, как морозные узоры на оконном стекле, однако она не может развозиться, как разные хреновины, кроме как в той степени, в какой она в них содержится. Она не просто движется. Она повсюду оставляет за собой след.

Центральное экономическое разграничение между информацией и материальной собственностью состоит в способности информации быть передаваемой без отчуждения от исходного владельца. Если я продам вам свою лошадь, я не смогу на ней ездить. Если я продам вам то, что я знаю, мы оба будем знать.

II. Информация есть форма жизни

Информация хочет быть свободной

Стюарту Бренду обычно приписывают эту изящную констатацию очевидного, в которой признается и естественное желание секретов быть рассказанными, а также тот факт, что они могут обладать чем-то вроде «желания».

Английский биолог и философ Ричард Доукинс предложил идею «самостей» («memes») — самовоспроизводящихся информационных структур, которые размножаются в экосистемах ума, — говоря, что они подобны формам жизни.

Я верю, что они и есть формы жизни во всех отношениях, за исключением отсутствия у них углеродной основы. Они самовоспроизво-

дятся, взаимодействуют с окружением и приспосабливаются к нему, мутируют и выживают. Подобно любой другой форме жизни, они эволюционируют, заполняя ниши в своих экосистемах, каковыми являются в данном случае окружающие их системы верований и культуры их хозяев, то есть нас.

Действительно, социобиологи, вроде Доукинса, вполне допускают, что формы жизни на углеродной основе тоже являются информацией, то есть курица является способом яйца сделать другое яйцо, и весь спектакль биологической жизни есть те средства, которыми молекула ДНК тиражирует строки информации, в точности подобные ей самой.

Информация самовоспроизводится в трещинах возможности

Подобно завиткам спирали ДНК, идеи — безжалостные экспансионисты, всегда ищущие новые возможности для расширения своего Lebensraum [жизненного пространства]. Подобно тому, как это происходит с природными формами на углеродной основе, более выносливые организмы чрезвычайно искусны в нахождении новых мест обитания. Точно так же, как обычная домашняя муха незаметно пробралась практически во все экосистемы планеты, самость «жизнь после смерти» нашла нишу в большинстве умов или психоэкологий.

Чем более широкий резонанс вызывают идея, образ или песня, тем в большее число умов они войдут и там останутся. Остановить распространение действительно жизнеспособной информации ничуть не легче, чем удержать пчел-убийц на Южных Границах. Эта штука просачивается повсюду.

Информация желает изменяться

Если идеи и другие интерактивные структуры информации действительно являются формами жизни, можно предположить, что они будут постоянно эволюционировать в те формы, которые более совершенным образом приспособлены к своему окружению. И, как мы видим, они все время это делают.

Однако на протяжении долгого времени наши статические среды, будь то надписи, вырезанные на камне, чернила на бумаге или краска на целлулоиде, упорно сопротивлялись эволюционному импульсу, что вело к возвеличиванию способности автора определять конечный результат своего труда. Однако, как и в устной традиции, оцифрованная информация не имеет «последнего дубля».

Цифровая информация, не стесненная упаковкой, является непрерывным процессом, более похожим на доисторические мифы о метаморфозах, чем на то, что легко заворачивать и хранить. От неолита до

Гутенберга информация передавалась из уст в уста, изменяясь при каждом пере-сказе (пере-певе). Истории, которые сформировали наше представление о мире, не имеют авторитетных версий. Они приспособивались к каждой из культур, в контексте которых рассказывались.

Поскольку эти рассказы никогда не застывали в печатном виде, так называемое «моральное право» сказителей считать эти истории своими не только не защищалось, но не признавалось. Рассказ просто переходил от рассказчика к рассказчику, всякий раз видоизменяясь. По мере того, как мы возвращаемся к текучей информации, мы можем ожидать, что значение авторства уменьшится. Творческим людям, возможно, придется возобновить знакомство со смирением.

Но наше законодательство по авторскому праву совершенно не приспособлено для высказываний, которые никогда не получают фиксированной формы, и для тех явлений культуры, у которых нет определенного автора или изобретателя.

Джазовые импровизации, комические скетчи, пантомима, импровизированные монологи, «прямой эфир» — все это не удовлетворяет конституционному требованию о «письменной фиксации». Не фиксируясь посредством публикации, эти текучие произведения будущего будут скорее напоминать эти непрерывно приспособляющиеся и изменяющиеся формы и существовать тем самым вне сферы авторского права.

Эксперт по авторскому праву Памела Самуэльсон рассказывает о состоявшейся в прошлом году конференции, которая была посвящена обсуждению того факта, что западные страны могут на законных основаниях присваивать музыку, орнаменты и знахарский фольклор аборигенов без выплаты компенсации их родному племени на том основании, что племя не является «автором» или «изобретателем».

Но скоро большая часть информации будет производиться совместно племенами населяющих киберпространство кибер-охотников-и-собирателей. Юридическое высокомерие, с каким мы отрицаем права «дикарей», скоро не раз нам аукнется.

Информация подвержена гибели

За исключением редких классических образцов, большая часть информации подобна сельхозпродуктам. Ее качество быстро ухудшается со временем и по мере удаления от места, где она была произведена. Но даже здесь ценность — понятие очень субъективное и условное. Вчерашние газеты вполне сохраняют ценность для историка. Более того, их ценность со временем только возрастает. С другой стороны, для брокера новости о событии часовой давности теряют всю свою значимость.

III. Информация есть отношение

Значение имеет ценность, и оно уникально в каждом конкретном случае

Как правило, ценность информации мы определяем, исходя из ее содержательности. Место, где обитает информация, священный миг перехода передачи в прием — это область со множеством переменных характеристик и ароматов, которые зависят от отношения между отправителем и получателем и от глубины их взаимодействия.

Каждое такое отношение уникально. Даже в тех случаях, когда отправитель — вещательная среда, и обратная связь отсутствует, получатель навряд ли пассивен. Получение информации зачастую является столь же творческим актом, как и ее порождение.

Ценность того, что отправляется, целиком зависит от меры, в какой каждый отдельный получатель владеет средствами приема (общей терминологией, вниманием, интересом, языком, парадигмой и т.п.), необходимыми для того, чтобы сделать полученное содержательным.

Понимание является ключевым элементом, который все чаще упускается из виду при попытках превратить информацию в товар. Данные могут представлять из себя любой набор сведений, полезных или нет, понятных или непонятных, дельных или пустых. Компьютер может извергать новые данные круглые сутки без человеческой помощи, и результаты можно пустить в продажу как информацию. Они могут быть, а могут и не быть таковой. Только человек может распознать значение, которое отделяет информацию от данных.

Действительно, информация, в экономическом значении этого слова, состоит из данных, которые прошли через конкретное человеческое сознание и были признаны имеющими смысл в контексте данного сознания. То, что для одного — информация, для другого — всего лишь данные. Если вы антрополог, детальные схемы родства у племени тасадэй могут оказаться для вас ключевой информацией. А если вы банкир из Гонконга, они могут показаться просто данными.

Привычное более ценно, чем редкое

Что касается материальных товаров, то имеется прямое соотношение между их нехваткой и ценностью. Золото ценится больше пшеницы, даже несмотря на то, что его нельзя есть. Но с информацией, как правило, все наоборот. Ценность большинства «мягких» товаров возрастает, когда они становятся более распространенными. Привычность — важное достоинство в мире информации. Часто случается так, что луч-

шее, что можно сделать для поднятия спроса на товар, — это просто отдать его даром.

Хотя этот принцип не всегда срабатывает с условно-бесплатными программами, можно доказать, что существует связь между количеством пиратских копий коммерческого ПО и объемом его продаж. Программы, воруемые чаще всего, например, «Lotus 1-2-3» или «WordPerfect», становятся образцовыми, и Закон Увеличения Прибыли, основывающийся на привычке, приносит им только пользу.

Что касается моего «мягкого» продукта, рок-н-рольных песен, нет никакого сомнения, что группа, для которой я их пишу, «Grateful Dead», невероятно увеличила свою популярность, раздавая свои песни направо и налево. Еще в начале семидесятых мы разрешили людям записывать наши концерты, но вместо падения спроса на наш продукт сейчас мы собираем самые большие аудитории в Америке — факт, который, хотя бы отчасти, можно отнести за счет популярности, порожденной этими записями.

Правда, я не получил ни цента за миллионы копий моих песен, записанных на концертах, но я не вижу причин жаловаться. Дело в том, что никто, кроме «Grateful Dead», не может исполнить песню «Grateful Dead», поэтому если вам нужно переживание, а не его бледная копия, вам придется купить билет у нас. Другими словами, защита нашей интеллектуальной собственности исходит из того, что мы — единственный ее источник в реальном времени.

Исключительность обладает ценностью

Модель, которая ставит с ног на голову физическое соотношение нехватки и ценности, порождает ту проблему, что иногда ценность информации в значительной степени основывается на ее нехватке. Исключительное обладание определенными фактами увеличивает их полезность. Если все будут знать, как взвинтить цены на бирже, эта информация не будет стоить ровным счетом ничего.

Но, опять-таки, решающий фактор обычно — это время. В конечном счете, не имеет значения, становится ли подобная информация общедоступной. Что важно — так это быть среди тех, кто первым завладевает ею и пускает в ход. Хотя все тайное обычно становится явным, тем не менее тайна остается тайной достаточно долго для того, чтобы ее хранители воспользовались своим преимуществом.

Точка зрения и авторитет обладают ценностью

В мире зыбких реальностей и противоречащих друг другу карт вознаграждены будут те пророки, чьи карты лучше опишут местность и смогут обеспечить предсказуемые результаты тем, кто ими пользуется.

Что же касается эстетической информации, будь то поэзия или рок-н-ролл, люди готовы купить новое произведение художника, еще не виданное ими, потому что они получили удовольствие от предыдущих его работ.

Реальность есть редактирование. Люди готовы платить за авторитет тех редакторов, чья фильтрующая точка зрения кажется наиболее адекватной. И опять-таки, точка зрения является тем имуществом, которое нельзя украсть или воспроизвести. Никто кроме Эстер Дайсон не видит мир так, как она, и изрядная цена, которую она просит за свои бюллетени, является в действительности платой за привилегию смотреть на мир ее неповторимым взглядом.

Время заменяет пространство

В материальном мире ценность в значительной степени опирается на обладание или пространственную близость к объекту обладания. Допустим, некто обладает материалом, который находится в определенных пространственных рамках, а также способностью непосредственно и единолично на него воздействовать. Когда он налагает свою волю на то, что заключено в этих рамках, это и является преимущественным правом владения. Отношение между ценностью и нехваткой здесь, разумеется, присутствует — это пространственная ограниченность.

В виртуальном мире ценность определяется близостью во времени. Информационный продукт, как правило, тем ценнее, чем ближе покупатель может поместить себя к моменту его производства, и ограничения здесь временные. Многие виды информации стремительно обесцениваются либо с течением времени, либо при воспроизводстве. Их применимость ослабевает с изменением территории, которую они картографируют. По мере удаления от точки, где информация была произведена, [в канале передачи] усиливается шум, а диапазон [сигнала] сужается.

Таким образом, переживания от прослушивания «Grateful Dead» в записи — едва ли те же самые, что от посещения концерта «Grateful Dead». Чем ближе ты оказываешься к истокам (4) информационного потока, тем выше у тебя шансы отыскать в нем верную картину реальности. В эпоху, когда все легко воспроизводимо, информационные абстракции пользующихся спросом переживаний будут разноситься из своего источника в считанные минуты, доходя до каждого, кто в этом заинтересован. Однако круг участников, получающих доступ к настоящему переживанию (будь то нокаутующий удар или гитарный аккорд), легко ограничить теми, кто готов за это платить.

Защита исполнения

В провинциальном городке, откуда я родом, люди не склонны верить вам только из-за того, что у вас есть идеи. Вас судят по тому, что вы с ними можете сделать. Поскольку жизнь продолжает ускоряться, мне кажется, что всем нам очевидно, что исполнение — наилучшая защита тех замыслов, которые становятся материальными продуктами. Или, как однажды выразился Стив Джобс: «Настоящие художники — поставщики». Побеждает обычно тот, кто выходит на рынок первым (и обладает достаточной организационной силой, чтобы удерживать лидерство).

Но, когда мы заикливаемся на информационной коммерции, многие из нас, похоже, начинают считать, что при надлежащих юридических гарантиях достаточно одной оригинальности, для того чтобы за производимую нами ценность, нам платили стабильную зарплату. На самом деле, лучший способ защитить интеллектуальную собственность — пустить ее в дело. Мало изобрести и запатентовать, надо еще постоянно придумывать что-нибудь новое. Кто-то заявляет, что запатентовал микропроцессор до «Интела». Может, это и так. Но если бы он начал *поставлять* микропроцессоры до «Интела», его заявление казалось бы намного более весомым.

Информация — сама себе награда

Говорить о том, что деньги — это информация, в настоящее время стало общим местом. За исключением крюгерандов (5), мятых бумажек, которые мы суем таксисту, да содержимого чемоданов, которые, как говорят, таскают с собой наркобароны, большинство денег в информатизированном мире имеет вид единиц и нулей. Глобальные деньги, текущие, как магма, смазывают механизм Сети. Кроме того, как уже отмечалось, информация в наше время играет такую же роль в создании богатства, как некогда земля и солнечный свет.

Что менее очевидно, так это степень, в какой информация приобретает собственную ценность не как средство приобретения, но как приобретаемый объект. Я полагаю, что так было всегда, но не в столь явной форме. В политике и академических кругах власть и информация всегда были тесно связаны.

Однако по мере того как мы все больше и больше покупаем информацию за деньги, мы начинаем понимать, что покупка информации за другую информацию есть простой экономический обмен без необходимости конвертировать продукт в валюту и обратно. Это бросает вызов тем, кто любит точную бухгалтерию, поскольку, даже если мы пренебрежем теорией информации, курс обмена информации слишком плавает, для того чтобы вести расчеты с точностью до десятых.

Тем не менее, большая часть того, что покупает средний американец, не является товарами первой необходимости. Мы покупаем красоту, престиж, опыт, образование и прочие смутные радости обладания. Многие из этих вещей могут не только быть выражены в нематериальных терминах, но и приобретены нематериальными способами.

Кроме того, существуют необъяснимые удовольствия от информации как таковой: радость учиться, знать и учить. Странное приятное чувство от информации, которая в тебя входит и выходит. Игра с идеями является развлечением, за которое люди должны быть готовы раскошелиться, что и создает рынок для книг и предвыборных собраний. Вероятно, мы тратили бы еще больше денег на эти удовольствия, если бы не было так много возможностей платить за идеи идеями.

Это объясняет большую часть коллективной «волонтерской» работы, плоды которой наполняют архивы, группы новостей и базы данных в Интернете. Его обитатели работают не за просто так, как это принято считать. Скорее, они получают плату не деньгами, а чем-то другим. Это экономика, которая состоит почти полностью из информации.

Это может стать преобладающей формой человеческих торговых отношений, и если мы будем упорно строить экономику на чисто монетаристской основе, мы можем основательно сбиться с пути.

Оплата труда в киберпространстве

Какое отношение все вышесказанное имеет к разрешению кризиса интеллектуальной собственности? Я едва только начал кружить мыслью в поисках ответа. Свежий взгляд на информацию в определенной степени сдвигает парадигму — он позволяет увидеть, насколько она не похожа на чугунные чушки и свиные брюшки, и представить себе, как спотыкающиеся карикатуры на прецедентное право станут громоздиться друг на друга, если мы и впредь будем юридически трактовать ее так, словно она и в самом деле является этими чушками и брюшками.

Как я уже говорил, я убежден, что эти горы макулатуры превратятся в горстку пепла уже в ближайшее десятилетие, и нам, рудокопам ума, придется бросить жребий, чтобы избрать какую-то новую, работающую систему.

На самом деле, я гляжу на наши перспективы вовсе не так мрачно, как могут подумать читатели этой иеремиады. Решения появятся. Природа не терпит пустоты, и коммерция тоже.

Действительно, одна из характеристик электронного фронта, которая мне всегда казалась самой привлекательной — отчего Митч Капор и я воспользовались этим выражением для названия нашего фонда (6), — это то, насколько он похож на Дикий Запад XIX века, с его естественным

предпочтением социальных устройств, возникающих из местных условий, тем, которые навязываются извне.

До того как Запад был полностью заселен и «цивилизован» в этом столетии, порядок устанавливался в соответствии с неписанным Кодексом Запада, для которого была свойственна скорее изменчивость этикета, нежели жесткость закона. Этика была важнее правил. Предпочтение отдавалось здравому смыслу, а не законам, которым и так не особенно следовали.

Я убежден, что закон, как мы его понимаем, был направлен на защиту интересов, порожденных двумя экономическими «волнами», которые Олвин Тоффлер так точно описал в своей книге «Третья волна». «Первая волна» опиралась на сельское хозяйство, и ей требовался закон, упорядочивающий собственность на основной источник производства — землю. Во «второй волне» главной пружиной стало промышленное производство, и структура современного закона росла вокруг централизованных институтов, которые нуждались в защите своих резервов капитала, рабочей силы и средств производства.

Обе эти экономические системы требовали стабильности. Присущие им законы были направлены на то, чтобы не допускать перемен и обеспечивать некоторую равномерность распределения в весьма статичных социальных структурах. Рамки допустимого были сужены настолько, чтобы сохранять предсказуемость, необходимую как для землевладения, так и для накопления капитала.

В «третьей волне», в которую мы вступили, землю, капитал и средства производства в значительной степени заменяются информацией, и, как я подробно описывал это в предыдущем разделе, она чувствует себя как дома в гораздо более текучей и изменчивой среде. «Третья волна», вероятно, кардинально изменит цели и средства закона, и ее воздействие отнюдь не ограничится лишь законодательными актами, регулирующими сферу интеллектуальной собственности.

Само по себе «поле действия» — архитектура Сети — может служить множеству целей, осуществление которых в прошлом было возможно только благодаря юридическому вмешательству. Например, можно вполне обойтись без конституционных гарантий свободы слова в среде, которая, как сказал мой друг-соучредитель EFF Джон Гилмор, «относится к цензуре как к неисправности» и направляет объявленные вне закона идеи в обход ее.

Подобные естественные механизмы уравнивания могут возникнуть и для уменьшения раздробленности внутри общества, что прежде не могло осуществляться без посредства законов. В Сети эти различия, скорее всего, образуют непрерывный спектр, который в той же мере соединяет, что и разделяет.

Компании, торгующие информацией, несмотря на свою жесткую привязанность к старой юридической системе, скорее всего, обнаружат, что при растущей неспособности судей понимать технологические проблемы результаты судебных процессов будут настолько непредсказуемы, что никакое долгосрочное предприятие не сможет на них основываться. Каждая тяжба становится похожей на игру в русскую рулетку, поскольку ее исход зависит от масштаба некомпетентности председателя суда.

Некодифицированный или подстраивающийся под обстоятельства «закон», столь же ненадежный, как и прочие становящиеся формы, может породить на этом этапе своеобразное правосудие. В самом деле, можно уже наблюдать становление новых практик, приспособленных к условиям виртуальной коммерции. Жизнеформы информации суть способы защиты безостановочного воспроизводства самих себя.

Например, хотя надписи, которые печатают мелким шрифтом на конвертах, содержащих дискеты с коммерческими программами, требуют от вскрывающего эти конверты соблюдения множества требований, лишь очень немногие, как я уже говорил, читают эти условия, не говоря уж о том, чтобы им следовать. Тем не менее, разработка ПО остается вполне здоровым сектором американской экономики.

Почему так происходит? Потому что люди в конечном счете покупают программы, которыми действительно пользуются. Как только программа становится ключевой для вашей работы, вы хотите иметь ее последнюю версию, наилучшую техподдержку, современные руководства, а также все привилегии, которые дает законное владение. При отсутствии работающего закона эти практические соображения будут играть все более и более важную роль для получения платы за то, что намного легче достать бесплатно.

Я действительно считаю, что некоторые программы покупаются из этических соображений или из абстрактного осознания того, что отказ от покупки приведет к прекращению разработки этих программ, однако эти мотивы я оставляю в стороне. Хотя я убежден, что если закон не срабатывает, это почти наверняка компенсируется возникновением этики как нормы, регулирующей жизнь общества, здесь не место отстаивать это убеждение.

Кроме того, я полагаю, что, как и в случае, рассмотренном выше, компенсация за «мягкие» продукты будет основываться прежде всего на практических соображениях, которые согласуются с действительными свойствами цифровой информации, определяя ее ценность, а также то, каким образом мы можем ею оперировать и защищать ее с помощью технологии.

Хотя головоломка так и остается головоломкой, я начинаю видеть пути, на которых могут возникнуть решения, основанные частично на расширении тех практических решений, которые уже применяются на практике.

Отношение и его инструменты

Я считаю, что ключевым для понимания текущей коммерции является следующее положение: ввиду отсутствия вещей информационная экономика будет основываться более на отношениях, чем на владении.

Одна из уже существующих моделей для передачи интеллектуальной собственности в будущем — это исполнение в режиме реального времени, средство, в настоящее время используемое лишь в театре, музыке, лекциях, эстрадных импровизациях и педагогике. Я убежден, что понятие исполнения расширится и охватит большую часть информационной экономики, от многосерийных мыльных опер до биржевого анализа. Коммерческий обмен в этих случаях будет похож скорее на продажу билетов на непрерывное шоу, чем на покупку отдельных упакованных частей этого шоу.

Другая модель — это, разумеется, обслуживание. Представители целого ряда профессий — врачи, юристы, консультанты, архитекторы и т.д. — уже сейчас получают плату непосредственно за свою интеллектуальную собственность. Зачем вам авторские права, если вам платят гонорар?

Эта модель вплоть до конца XVIII века охватывала в действительности большую часть того, что теперь охраняется авторским правом. До индустриализации творчества писатели, композиторы, художники и т.п. производили свои продукты, состоя на частной службе у своего покровителя. Когда не станет вещей, пригодных для массового распространения на рынке, творческие люди вернуться к чему-то вроде этого, только служить они будут не одному покровителю, а многим.

Уже можно видеть, как возникают компании, существующие скорее за счет оказания технической поддержки и улучшения производимой ими «мягкой» собственности, чем за счет ее поштучной продажи в «коробочном» виде или встраивания ее во что-то еще.

Новая компания Трипа Хокинса, занимающаяся разработкой и лицензированием мультимедийных инструментов, 3DO является одним из примеров того, о чем я говорю. 3DO не намеревается производить какое-либо коммерческое ПО или какие-то устройства для потребителей. Вместо этого она действует как некая частная организация, устанавливающая стандарты, и выступая в роли посредника между разработчиками программ и устройств, которым она и выдает лицензии. Она пред-

ставляет собой точку, в которой пересекаются отношения между широким спектром юридических лиц.

В любом случае, считаете ли вы себя поставителем услуг или исполнителем, защита вашей интеллектуальной собственности в будущем будет зависеть от вашей способности контролировать свои отношения с рынком, отношения, которые, скорее всего, будут жить и развиваться.

Ценность этих отношений будет зависеть от качества исполнения, уникальности вашей точки зрения, степени вашей компетентности, применимости на рынке и, главное, в возможности для этого рынка получить доступ к вашим творческим услугам быстро, удобно и в интерактивном режиме.

Интерактивность и защита

Прямая интерактивность в значительной степени обеспечит в будущем защиту интеллектуальной собственности, что, собственно говоря, уже и происходит. Никто не знает, сколько компьютерных пиратов купило легальные копии программ после того, как они обратились к разработчикам за технической поддержкой, а их попросили как-то подтвердить факт покупки, но я полагаю, что число это очень велико.

Тем же способом можно проконтролировать отношения по типу «вопрос-ответ» между властями (или художниками) и теми, кто нуждается в их экспертной оценке. Бюллетени, журналы и книги будут предоставлять подписчикам дополнительную возможность напрямую задавать вопросы авторам.

Интерактивность будет хорошо оплачиваться даже при отсутствии авторства. По мере того как люди будут переселяться в Сеть и получать все больше информации прямо от ее производителей — информации, не отфильтрованной централизованными медиа, они будут пытаться использовать эту возможность интерактивности для зондирования реальности, что раньше достигалось только непосредственным переживанием. Живой доступ к этим удаленным «глазам и ушам» блокировать будет намного проще, чем доступ к неподвижным грудам складированной, но легко воспроизводимой информации.

В большинстве случаев контроль будет основываться на ограничении доступа к самой свежей, самой необходимой информации. На этом будут строиться определения билета, места действия, исполнителя и личности обладателя билета; определения, которые, как я считаю, обретут свои формы благодаря технологии, а не закону.

В большинстве случаев определяющей технологией будет криптография.

Криптобутилирование

Криптография, как я говорил, — возможно, слишком часто есть тот «материал», из которого будут создаваться стены, границы и «бутылки» киберпространства.

Конечно, с криптографией, как и с любым другим чисто техническим методом защиты собственности, существуют свои проблемы. Мне всегда казалось, что чем больше вы охраняете свои товары, тем большим соблазном они становятся для других. Приехав из мест, где люди оставляют ключи в машинах и не имеют ключей от собственного дома, я по-прежнему убежден, что лучшим препятствием для преступности является общество с неиспорченной моралью.

Хотя я признаю, что это вовсе не то общество, в котором живет большинство из нас, я, тем не менее, убежден в том, что излишняя приверженность людей защищаться с помощью баррикад, а не путем [апелляции к] совести, в конечном счете, ведет к угасанию последней, превращая вторжение и воровство скорее в спорт, чем в преступление. Этот процесс происходит уже и в цифровом мире, что очевидно из деятельности компьютерных взломщиков.

Более того, я бы сказал, что изначальные усилия по охране цифрового авторского права путем защиты от копирования внесли лепту в текущее положение дел, когда большинство вполне порядочных в других отношениях пользователей, похоже, не испытывает никаких угрызений совести от того, что владеют краденными программами.

Вместо того, чтобы прививать компьютерным новичкам чувство уважения к работе своих собратьев, привычный расчет на защиту от копирования привел к формированию подсознательного представления о том, что, взламывая программный пакет, человек «зарабатывает» право им пользоваться. Как только ограничивающим фактором стала не совесть, а [нехватка] технических навыков, многие почувствовали, что свободны делать все, что им заблагорассудится. Такова потенциальная опасность шифрования в цифровой коммерции.

Кроме того, полезно напомнить, что защита от копирования была отвергнута рынком в большинстве областей. Значительную часть будущих попыток использовать схемы защиты, основанные на криптографии, скорее всего, постигнет та же участь. Люди не склонны смириться с тем, что усложняет их работу с компьютером, да еще и безо всякой для них выгоды.

Тем не менее, шифрование показало, что от него есть некоторая польза. Так, число подписчиков на разнообразные услуги коммерческого спутникового телевидения сразу же взмыло вверх после введения более мощной криптозащиты передач. И это — несмотря на про-

цветающую подпольную торговлю палеными декодерными платами, которой занимаются ребята, коим больше к лицу гнать самогон, а не взламывать коды.

Другая очевидная проблема с криптографированием в качестве универсального решения состоит в том, что как только что-то дешифруется лицензированным пользователем, сразу же открывается широкая возможность для его массового воспроизводства.

В некоторых случаях воспроизводство, следующее за расшифровкой, может и не являться проблемой. Многие программные продукты со временем быстро обесцениваются. Возможно, что действительный интерес к некоторым из этих продуктов будут проявлять лишь те, кто приобретает ключ к их немедленному использованию.

Далее, по мере того, как программы будут становиться все более модульными, а распространение переместится в Сеть, оно станет преобразовываться и примет вид непосредственного взаимодействия с пользовательской базой. Спорадическое обновление [программного обеспечения] сгладится, превратившись в непрерывный процесс пошагового улучшения и приспособления; отчасти это будет происходить при посредстве человека, а отчасти — благодаря [действию] неких генетических алгоритмов [заложенных в самих программах]. Пиратские копии программ могут оказаться слишком статичными, для того чтобы представлять для кого-либо особую ценность.

Даже в случае графических изображений, когда предполагается, что информация остается фиксированной, в расшифрованный файл может по-прежнему вплетаться код, способный осуществлять защиту этого файла самыми разнообразными средствами.

В большинстве схем, какие я способен себе представить, файл будет «жить» с некоторой накрепко внедренной в него программой, которая может «чувствовать» окружающие условия и взаимодействовать с ними. Например, файл может содержать код, который будет в состоянии обнаружить процесс копирования и спровоцировать саморазрушение файла.

Другие методы могут наделить файл способностью «звонить домой» по Сети своему исходному владельцу. Для поддержания своей целостности некоторые файлы могут требовать, чтобы их периодически подкармливали цифровыми деньгами с хоста [где они находятся], которые будут затем пересылаться их создателям.

Конечно, файлы, обладающие способностью передавать информацию помимо вашей воли, выглядят неприятно, как Интернетовский Червь Морриса (7). «Живые» файлы явно обладают определенными «вирусными» свойствами. Если каждый компьютер будет напичкан цифро-

выми шпионами, возникнут серьезные проблемы с правом на неприкосновенность.

Но главное здесь то, что криптография породит множество технологий защиты, которые будут стремительно развиваться в условиях жесткой конкуренции, всегда существующей между изготовителями замков и взломщиками.

Однако, криптографию будут использовать не только для того, чтобы делать замки. Она также лежит в основе как цифровых подписей, так и цифровых денег, о которых шла речь выше, и, как я считаю, обе эти технологии станут центральными в защите интеллектуальной собственности в будущем.

Я убежден, что существование модели условно бесплатного (shareware) распространения программного обеспечения в меньшей степени связано с нечестностью, чем с простым неудобством платить за условно бесплатные программы. Я полагаю, что если бы процесс оплаты можно было автоматизировать, то создатели программных продуктов стяжали бы намного большую прибыль с того хлеба, который они отпускают по водам киберпространства.

Помимо того, они избавят себя от большей части накладных расходов, которые в настоящее время связаны с маркетингом, изготовлением, продажей и распространением информационных продуктов, будь то программы, книги, компакт-диски или кинофильмы. Это позволит снизить цены и увеличит вероятность того, что люди станут платить безо всякого принуждения.

Но, разумеется, система, посредством технологии принуждающая платить каждый раз за доступ к конкретной форме выражения, порождает фундаментальную проблему. Такая система уничтожает изначальную цель, как ее понимал Джефферсон, сделать идеи доступными каждому, независимо от его экономического положения. Мне неприятна модель, ограничивающая круг исследователей одними лишь богатыми.

Экономика глаголов

То, какими именно станут в будущем формы интеллектуальной собственности и способы их защиты, скрыто густым туманом, стоящим на входе в Виртуальный Век. Тем не менее, я могу сделать (или повторить) несколько простых утверждений, с искренней верой в то, что они не будут выглядеть слишком глупо через пятьдесят лет.

- При отсутствии старых вместилищ почти все, что мы думаем и знаем об интеллектуальной собственности, является ложным. Нам придется переучиваться. Нам придется научиться смотреть на информацию так, как будто мы никогда не видели ничего подобного.

- Те виды защиты, которые мы разработаем, будут в гораздо большей степени основываться на технологии и этике, чем на законе.
- Криптография будет технической основой для большей части способов защиты интеллектуальной собственности. (По этой, как и по другим причинам, она должна стать намного более широко доступной.)
- Экономика будущего будет основываться скорее на отношении, чем на владении. Она будет скорее непрерывной, чем последовательной.
- И, наконец, в ближайшие годы обмен между людьми станет по преимуществу виртуальным, а не физическим, состоящим не из материи, а из того вещества, из которого сделаны сны. Наш бизнес будет вестись в мире, сделанном более из глаголов, нежели из существительных.

Ojo Caliente, New Mexico, October 1, 1992

New York, New York, November 6, 1992

Brookline, Massachusetts, November 8, 1992

New York, New York, November 15, 1993

San Francisco, California, November 20, 1993

Pinedale, Wyoming, November 24-30, 1993

New York, New York, December 13-14, 1993

Идеи, выраженные здесь, жили и развивались в течение того времени и в тех местах, которые обозначены выше. Несмотря на то что здесь они приняли вид печатной публикации, я надеюсь, что они в текучей форме будут развиваться дальше и, возможно, не один еще год.

Эти мысли принадлежат не мне одному; они возникли в поле взаимодействия между мною и многими другими людьми, которым я приношу свою благодарность. В особенности она относится к Памеле Самуэльсон, Кевину Келли, Митчу Кейпору, Майку Годвину, Стюарту Бренду, Майку Холдерсону, Мириам Барлоу, Дэнни Хиллису, Трипу Хокинсу и Олвину Тоффлеру.

Однако должен честно признаться: когда «Wired» пришлет мне чек за временную «фиксацию» всего этого на своих страницах, я обналичу его один...

Перевод с английского Владимира Литвинова.

Под редакцией Евгения Горного и Андрея Мадисона.

26 марта 1999 года

Примечания:

- 1 ASCAP — American Society of Composers, Authors and Publishers — Американская ассоциация композиторов, авторов и издателей.
- 2 Broadcast Music, Inc.
- 3 GATT — General Agreement on Tariffs and Trade — Генеральное соглашение о тарифах и торговле.
- 4 В оригинале непереводаемая игра слов: истоки именуются headwaters — «штаб-воды», по аналогии с «headquarters» — «штаб-квартирой».
- 5 Крюгеранд — южноафриканская золотая монета, названная в честь президента Трансвааля Поля Крюгера (1825–1904).
- 6 Electronic Frontier Foudation.
- 7 Интернетовский Червь Морриса (Morris Internet Worm) — саморазмножающаяся программа-вирус, созданная двадцатитрехлетним студентом Корнельского университета Робертом Т. Моррисом; Червь, запущенный им в Сеть 2 ноября 1988 года, привел к выходу из строя около шести тысяч подключенных к Сети компьютеров.

ИГОРЬ ПИЛЬЩИКОВ

Кибер-коммунизм как виртуальная реальность, или «Барбрук в поход собрался...»

1

6 сентября 1999 года в списке рассылки «Nettime» был опубликован трактат-манифест Ричарда Барбрука «Кибер-коммунизм: как американцы отменяют капитализм в кибер-пространстве» («Cyber-Communism: how the Americans are superseding capitalism in cyberspace», части 1, 2, 3, 4). И заглавие, и все содержание трактата не оставляют у читателя ни малейших сомнений в идеологических симпатиях автора. Марксов тезис в эпиграфе (*«на определенной стадии развития материальные производительные силы вступают в конфликт с существующими производственными отношениями»*) и знаменитый Призрак из «Манифеста коммунистической партии» 1848 года, возникающий в начальных строках манифеста Барбрука, явно призваны пощекотать нервы либералам и настроить на боевой лад тех, кто предпочитает толпиться у левого фланга. Нужно сразу оговориться, что автор трактата — не какой-нибудь подпольный маргинал, а почтенный социолог из Университета Вестминстера. Факт, впрочем, неудивительный: быть хотя бы немножко левым у британских «академиков» в моде, ну а быть коммунистом — это, наверное, почти дендизм.

2

Первая главка этого примечательного сочинения названа «Привидения в машине».

«Призрак бродит по Сети: призрак коммунизма... Этот призрак принимает две различных формы — форму теоретического присвоения сталинского коммунизма и форму каждодневной практики кибер-коммунизма. Вне зависимости от разделяемых ими политических убеждений, все пользователи Сети с энтузиазмом участвуют в этом возрождении левых сил. Каждый из них, в теории или на практике, стремится к цифровому выходу за рамки капитализма».

«Как, и я тоже?» — удивится неподготовленный читатель. Ответ заготовлен заранее: «И Вы, мой дорогой (или дорогая), и Вы». Это излюбленный аргумент марксистов: делая одно, мы в действительности («объективно») делаем что-то совсем иное. Так буржуазия, стремясь к самообогащению, растила и укрепляла своего могильщика — пролетариат. Но послушаем дальше: «И в то же время даже самые преданные поборники левого движения больше не верят в коммунизм. После падения Берлинской стены и распада Советского Союза эта идеология себя полностью дискредитировала... Перестав символизировать будущее, коммунизм, судя по всему, стал реликтом прошлого».

«Помимо прочего, оказалось, что Советский Союз не способен произвести информационную революцию. Для создания новой технологической парадигмы политические и экономические структуры сталинского коммунизма были слишком неповоротливыми и непроницаемыми... Даже бывшие приверженцы Советского Союза признали, что эта страна служит примером самых отвратительных недостатков, присущих фордизму, — авторитарности, конформизма и экологической деградации».

Барбрук делает закономерный вывод: *«Только гораздо более открытое и спонтанное общество могло разработать Сеть».* Так оно и случилось, но дорога к технологическим свершениям не была легка: над головами беспечных путников кружили идеологические ястребы.

«В течение вот уже почти трех десятилетий идеологи американского неолиберализма предсказывают, что новые технологии скоро создадут утопическую цивилизацию — информационное общество. К примеру, Тоффлер и ему подобные давно были убеждены, что сращение электронно-вычислительной техники, телекоммуникаций и средств массовой информации освободит индивидуума от тисков крупного капитала и сильного правительства... Несмотря на радикалистскую риторику, консервативные мудрецы прежде всего хотели доказать, что информационные технологии будут стимулировать приватизацию и дерегулирование всей экономической деятельности... По мере того, как Сеть будет распространяться по миру, материальные и духовные ценности американского неолиберализма будут в конечном счете навязаны всему человечеству».

По примеру Маркса и Энгельса, окрестивших взгляды своих оппонентов «немецкой идеологией», Барбрук называет «калифорнийской идеологией» воззрения сетевых консерваторов-неолибералов. Критике этих воззрений посвящена его предыдущая статья, написанная в соавторстве с Энди Кэмероном, «The Californian Ideology» (имеется русский перевод, сделанный М. Немцовым). Ее основные положения воспроизведены (подчас дословно) в киберкоммунистическом манифесте, вторая глава которого называется «Култ дигерати». Это слово, наверное, потребует пояснений. Неологизм *digerati* составлен из произвольно взятых (то есть морфологически несамостоятельных) частей прилагательного *digital* «цифровой» и *literati* «образованные люди». Русским аналогом для этого довольно неуклюжего композита могло бы послужить столь же несуразное словечко компьютергенция (компьютерная + интеллигенция). Вот что пишет о ней Барбрук: *«В нарциссизме калифорнийской идеологии отразилась самоуверенность нации-победителя. После победы в холодной войне у США больше не осталось серьезных военных или идеологических соперников... Кроме того, США господствуют на переднем крае технологических инноваций — в Сети. Воплощая американскую мечту, немногие счастливицы делают огромные состояния, запустив на Уолл Стрит акции своих компаний по производству высоких технологий».*

Остальные по мере сил вкладывают в эти акции деньги. Но капиталистическая идиллия не может продолжаться вечно.

«Хотя экономический рост необходим для выживания капитализма, социальные последствия этого роста всегда пугали правых. С течением времени непрерывная индустриализация медленно подтачивает классовые привилегии... Поэтому одно за другим поколения консерваторов сталкивались с дилеммой: как примирить экономическое развитие с социальной стабильностью. При всех глубоких идеологических различиях, консерваторы всегда предлагали одно и то же решение: формирование высокотехнологической (hi-tech) аристократии».

«В самых ранних версиях этой реакционной фантазии упор был сделан на иерархическое разделение труда... При фордизме инженеры, бюрократы, преподаватели и другие профессионалы образовали промежуточный уровень между администрацией и промышленными рабочими... Некоторые профессионалы, боявшиеся потерять свои ограниченные привилегии, стали пылкими сторонниками реакционного модернизма. Вместо того, чтобы бороться за социальное равенство, они мечтали о создании новой аристократии — технократии».

Под воздействием идей Маршалла Маклюэна правые интеллектуалы начали искать союзников среди разработчиков новых информаци-

онных технологий. *«Консервативные гуру предсказывали и предсказывают, что новый правящий класс составят предприниматели, работающие с рискованным капиталом, ученые-новаторы, гении хакерского дела, медиазвезды, а также идеологи нео-либерализма».* Это и есть «дигерати» — «новая технократия Сети», призванная *«преобразовать фордистские ограничения в свободы информационного общества».*

4

В соответствии с догмами калифорнийской идеологии, автократия избранных необходима для освобождения многих. Рассмотрению этого вопроса отведена главка «The Liberating Minority» («Меньшинство-освободители»).

Барбрук верно подмечает, что «вера в руководящую роль просвещенного меньшинства» была характерна для всех сторонников революционных социальных преобразований, начиная, по крайней мере, с якобинцев, полагавших, что путь к демократической республике лежит через диктатуру, призванную подавить сопротивление косных слоев общества. К середине XIX столетия идея революционной диктатуры, необходимой для политической и культурной эмансипации, была дополнена тезисом о роли экономического прогресса. Сен-Симон объяснял, что власть аристократии и духовенства зиждется на сельском хозяйстве. При модернизации экономики богатство и власть неизбежно перейдут к представителям новых индустриальных профессий. По мысли Сен-Симона, историческая роль этой новой социальной группы заключается в освобождении остальных сограждан из пут нищеты и невежества.

От классического сен-симонизма его марксистская версия отличается, согласно Барбруку, выдвиганием на первый план того факта, что индустриальный рост ведет к распространению коллективных форм социальной организации. Развитие производительных сил, считали Маркс и Энгельс, должно неминуемо привести к демократизации производственных отношений.

В 1917 году все эти идеи были поставлены на службу тоталитарному большевистскому режиму. При Ленине «передовая» партия (активное «просвещенное» меньшинство) установила «диктатуру пролетариата» (то есть собственную диктатуру от имени рабочего класса) с целью построения нового общества посредством индустриализации российской экономики. При Сталине экономический рост социалистического государства стал самоцелью, снимающей вопрос о политических свободах и повышении уровня жизни населения.

После второй мировой войны сталинская версия коммунизма (тоталитарное государство обеспечивает быстрое и успешное экономическое развитие страны) оттеснила на культурную и политическую периферию все прочие разновидности левой идеологии, считает Барбрук. Русскому коммунизму смог противостоять лишь американский капитализм. Только СССР и США продолжали претендовать на звание «государства будущего».

По мнению Барбрука, общим теоретическим источником для апологетов обеих свехдержав был все тот же Сен-Симон. Американские пропагандисты подражали сталинской риторике. Дальнейший экономический рост, заявляли они, позволит решить насущные общественные проблемы, и потому власть капиталистического меньшинства в конечном счете приведет к процветанию всего населения.

Нетрудно заметить, что эти же схемы лежат в основе калифорнийской идеологии, утверждает Барбрук. «Просвещенным меньшинством» становятся дигерати; «прекрасный новый мир», на построение которого брошены их лучшие силы — это «информационное общество»; технологическая революция приходит на смену индустриальной. Но по своей сущности новые правые остаются реакционными модернистами: их цель — совместить технологический прогресс с идеалом неизменных общественных установлений.

5

Казалось бы, история развития Интернета с 1960-х годов по нынешнее время подтверждает чаяния неолибералов. Информационное общество по-прежнему управляется иерархиями рынка и государства.

Однако «полный потенциал современных технологических и социальных достижений не может быть реализован в пределах традиционных иерархий капитализма». «В киберпространстве люди склоняются к более демократическим методам совместной работы». В самом передовом капиталистическом государстве — США — все большее количество людей стало получать возможность пользования компьютерными технологиями, первоначально доступными лишь избранным. Таким образом, заключает Барбрук, в США *«в настоящее время наличествуют все предпосылки для реализации пророчества Сен-Симона»*. Если правые идеологи исповедуют обновленную и принорованную к современным капиталистическим реалиям версию сталинского коммунизма, то американская нация на всех парах мчится к новой общественно-экономической формации:

«Со времени появления фордизма массовое производство зависит от наличия рабочих и служащих, имеющих достаточные ресурсы и досуг для

массового потребления. Получая доход, остающийся после выплаты налогов, и располагая свободным временем, многие рабочие и служащие в государствах-метрополиях теперь имеют возможность трудиться над своими собственными проектами. Только в этот конкретно-исторический момент технические и социальные условия достаточно развились для рождения кибер-коммунизма».

Здесь, как мне представляется, марксистская диалектика Барбрука дает сбой. Действительно, благосостояние американского общества достаточно велико для того, чтобы многие его члены имели обеспеченный досуг и отдавали все больше времени Интернету. Отношения между людьми онлайн и оффлайн отличаются разительно, но значит ли это, что сетевое сообщество переделывает «несетевой» мир? С таким же успехом можно утверждать, что новая стадия общественного развития формируется в недрах любительских спортивных клубов или на сеансах групповой психотерапии.

6

На следующем этапе (главка «The Academic Gift Economy») Барбрук (со ссылкой на статью: E. Raymond, «Homesteading the Noosphere», 1998) вводит понятие «экономики дарения» (gift economy). Такая экономика возникает в обществе материального изобилия, когда человеческая деятельность регулируется не материальными и денежными стимулами, а спонтанным взаимодействием разнонаправленных усилий в рамках свободного сотрудничества.

«Хотя Сеть была изобретена по заказу американских военных, ее создатели скоро начали пользоваться ею в своих собственных целях. При этом ученые исходили из того, что вся информация должна распределяться в новой системе связи бесплатно. В отличие от большинства других производственных секторов, в университетах основным методом организации труда уже давно стала „экономика дарения“. Когда Сеть вышла за рамки академических сообществ, то „экономика дарения“ прочно укоренилась в сетевых общественных нравах... Пользователи Сети по-прежнему предпочитают кооперироваться без прямого посредничества денег».

Барбрук считает, что университетская система существенно отличается от товарного рынка: наука финансируется государством или частными спонсорами, но ученые свободно обмениваются результатами своего труда на конференциях и на страницах академических журналов. По этой логике, ученые получают деньги не за производство конечного продукта, а за свой социальный статус. В устах социолога-марксиста такой тезис звучит обескураживающе наивно. Во-первых, западная наука

потому и базируется на учебных заведениях, что от нее ожидают немедленной практической отдачи — подготовки новых специалистов. Университеты существуют, пока есть спрос на образование, и финансовое состояние того или иного учебного учреждения напрямую зависит от его популярности среди абитуриентов. Университеты поддерживают исследовательские проекты, выходящие за рамки учебных программ, поскольку академические достижения повышают авторитет учреждения и помогают привлечь новых студентов и новые спонсорские инвестиции. Нужно ли говорить, что и спонсорская деятельность имеет свои финансово-экономические и политические мотивы?

7

Дальнейший ход барбруковской мысли напомним русскому читателю «теорию разумного эгоизма», которую исповедовали герои романа Чернышевского «Что делать?»:

«Есть даже чисто эгоистические резоны для принятия кибер-коммунизма. Самим своим присутствием [в Сети] каждый пользователь привносит что-то в коллективное знание, которое становится доступным онлайн. Взамен каждый индивидум получает потенциальный доступ ко всей информации, предоставляемой в Сети другими. При рыночной экономике покупатели и продавцы обычно обмениваются равноценными товарами, тогда как при высокотехнологической „экономике дарения“ каждый получает от других пользователей гораздо больше, чем может дать любой индивидум. Неудивительно, что... даже наиболее догматические неолибералы благополучно участвуют в практике кибер-коммунизма».

Особенно уязвим тезис о том, что «даровой» обмен информацией «более выгоден», чем купля-продажа: мол, на рынке вы меняете равное на равное, а в Сети — меньшее на большее. Дело в том, что в условиях рыночной экономики происходит обмен качественно разными товарами: грубо говоря, при посредстве денежного эквивалента вы меняете написанную вами книгу на автомобиль, костюм или бутерброд. При кибер-коммунизме вы меняете информацию на информацию, а одной информацией, как говорится, сыт не будешь. В такой ситуации Интернет ни для кого не сможет стать профессией — он всегда будет оставаться хобби.

8

Призывая отменить «буржуазное» отношение к информации как к товару, охраняемому правом собственности, Барбрук не мог не посягнуть на Святая

Святых «калифорнийской идеологии» — копирайт. Соответствующая глава так и называется «The Eclipse of Copyright» («Закат авторского права»).

Этот раздел трактата должен стать ценнейшей находкой для сторонников концепции Сепира-Уорфа, утверждающей обусловленность национальных культур структурами естественных языков. В полном соответствии с внутренней формой английского слова «copyright» («право на [изготовление] копий»), Барбрук трактует авторское право не как право автора распоряжаться собственным произведением, а как право издателей тиражировать новые экземпляры:

«Создавая систему связи для собственного пользования, ученые инкорпорировали свои рабочие методы в технологию Сети... Это изобретение зиждется на непрерывном и беспрепятственном воспроизведении информации. В онлайн-режиме каждое подключение подразумевает копирование материала с одного компьютера на другой. Как только первая копия... размещается в Сети, стоимость изготовления каждой следующей копии становится практически равной нулю... Техническое устройство Сети предполагает, что вся информация — это дар».

«При капитализме большая часть продуктов и услуг производится как товар (commodity)... Но коммодификация интеллектуального труда [то есть превращение его в товар] всегда вызывала затруднения. Если преподавание и [индустрия] развлечений ничем не отличаются от других видов услуг, то публикации существенно отличаются от других продуктов производства. Большая часть работы по созданию информационного продукта тратится на изготовление первого экземпляра».

Даже на самых первых стадиях развития книгопечатания републикация чужого текста требовала меньших затрат труда, чем создание оригинального произведения.

«Первые капиталистические страны быстро нашли прагматическое решение этой экономической проблемы: копирайт. Хотя каждый мог покупать культурные артефакты, право репродукции было ограничено законом».

К концу XX века мало что изменилось: функционирование информационных продуктов по-прежнему регулируется авторским правом. По мнению «калифорнийских идеологов», «интеллектуальный труд в киберпространстве, как и в других отраслях культуры, должен быть включен в число информационных товаров». Но для абсолютного большинства пользователей Сети циркуляция бесплатной информации предпочтительнее, чем товарообмен. «Скудость авторского права не может конкурировать с изобилием даров». «Сеть на практике оправдывает старый хакерский девиз: „information wants to be free“ (информация хочет быть свободной/бесплатной)».

Одним из преимуществ свободного обмена информацией, считает Барбрук вслед за Тимом Бернерсом-Ли (Т. Berners-Lee, «Realising the Full

Potential of the Web», 1998), становится «интерактивная креативность», приходящая на смену пассивному потреблению готовых информационных продуктов и закладывающая основу для новой специфичной формы социальной организации — «сетевого сообщества» (the network community).

Барбрук почему-то полагает, что присутствие в Сети непременно носит креативный характер. Между тем, в своем подавляющем большинстве пользователи являются не создателями полезной информации, а лишь ее потребителями. Нельзя же всерьез считать «приращением знания» сетевые разговоры типа «Ну, как ты? — Я в порядке, а ты?» или отзывы вроде «Ну и ... весь этот ваш проект!». Сам Барбрук признает, что *«результаты „интерактивной креативности“ внутри сетевых сообществ часто тривиальны»*. Но всегда живет надежда, что в массе «джанка» нетнет, да и появится жемчужное зерно настоящего открытия. Может, оно и так, только не стоит называть «высокопродуктивным» производственный процесс, допускающий в качестве нормы 90% брака.

В чем Барбрук прав — так это в том, что существующие конвенции об авторских правах оказались не готовы к появлению Интернета. Сеть устроена таким образом, что отследить в ней все незаконные случаи использования информации просто невозможно. Кроме того, новые формы аккумуляции текстов (такие, как электронная публикация, электронный журнал, список рассылки, «домашняя страничка» etc.) не имеют прецедентов в законодательной практике предшествующего времени. Иначе говоря, их трудно категоризировать, для того чтобы применить к ним ту или иную статью действующего закона. Чем, например, является homepage — средством массовой информации, малотиражным изданием или интимным дневником, оставленным на скамейке в парке?

Это действительно серьезная проблема, к решению которой мы за последние годы не приблизились ни на йоту. Предложение разрубить Гордиев узел (отменить авторское право) — конечно, не выход из затруднительной ситуации. Для сравнения: как бы вы отнеслись к предложению милиции отменить право частной собственности на том основании, что воров слишком много и справиться с ними нет никакой возможности?

9

В заключение следует заметить, что кибер-коммунизм в редакции Барбрука не имеет никакого отношения к коммунизму как системе политических взглядов. В сущности, это не «кибер-коммунизм», а кибернетический постмодернизм. Достаточно взглянуть на выстраиваемые в статье оппозиции, характеризующие кибер-пространство: «откры-

тость — закрытость», «процесс — продукт», «новейшая копия — устаревший оригинал», «соавторство — пассивное восприятие» и т.д. Все это — типические формулы эстетики постмодерна.

Обращает на себя внимание и то, с каким упорством Барбрук стремится урезать права автора текста в пользу неограниченных прав реципиента — читателя, слушателя или зрителя. Творческая активность личности подменяется «интерактивной креативностью» массы, эстетика оригинального — эстетикой банального, этика создателя — этикой потребителя. Перед нами очередной постмодернистский симулякр: это отчасти социологический трактат, отчасти политический манифест, отчасти публицистическая статья, а по сути — ни то, ни другое и ни третье. В общем, «хэв фан энд инджой йоселф» — вот вам плоды «свободного и обеспеченного» досуга типичного представителя западного академического истеблишмента.

24 ноября 1999 года

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Татуировки на мозге

При подсаживании за чужой компьютер неминуем момент легкой неловкости. Нет, речь не идет о том, чтобы читать без спроса хозяйские тексты или рыться в чужой почте. И без того количество интимных эманаций явно превышает нормы открытости, принятые в оффлайне. Каждый комп индивидуален, начиная с настроек, и может рассказать о своем хозяине гораздо больше, чем тому хотелось бы.

Возьмем, к примеру, закладки (bookmarks). Не на всех же агрегатах стоят нетоскопы с «профилями». Что такое закладки, как не конкретные штучки, сообщающие о подкорке человека ничуть не меньше, чем анализы мочи или крови о состоянии его тушки? Зачем, скажем, у него, такого интеллектуального, в букмарках есть ссылка на кулинарный сайт или на руководство по правильному ковырянию в носу?

Набор закладок опишет подсознание человека куда точнее, чем любые психологические тесты, интервью или допросы. Все эти добровольные ответы, постоянные отождествленьица, закладки производятся в момент эгоцентрического — как бы даже эгофильского — экстаза. Человек делает закладку, повинувшись мгновенному ощущению некоего временного совпадения себя в этот момент времени с тем, что он видит на экране. Как правило — совершенно безотчетно, и тут же нажатием на мышку вляпывает себя в известняк, не хуже какого-нибудь трилобита. Делает новую наколку на своем мозгу.

Где, собственно, мы оказались, и что с нами будет в результате всех этих технологий?

Понятно, что незаметно меняется представление о том, что есть интимность. Примерно так же коллеги по болезни деловито обсуждают

возле дверей врача или по телефону особенности своих какашек. Ну а после долгого и активного ползания по сайтам в сумме получают уже далеко не анализы выделений организма, но нечто, вполне сравнимое с конкретной томографией мозга человека (или уж где там находится все то, что мы помним и чем думаем).

Вдобавок закладки формируют и сообщают о человеке, их сделавшем, некоему общему сетевому предполагаемому всезнанию — если даже и не конкретно всем, кто мог бы на них взглянуть. Незаметность процесса тихонько ломает в человеке некую целку: где букмарки — там и списки линков, а там и просто личные странички. Новая откровенность становится эксгибиционизмом, выходит на публику. См. сайты пользователей «России-Он-Лайн» или «Мафию».

Ужас рубрик

Но пространство, размеченное букмарками, — вещь двойная, как реверс-аверс: происходит взаимообустройство человека и окружающей среды, она обминается в соответствии с особенностями изгибов его астрального тельца, то есть становится решительно уникальной, принадлежащей во всем мире только ему. И непонятно, что делать с такой прорвой частных вариантов пространства. У каждого получается своя схема московского метро, и никому никогда не встретиться.

Разумеется, разработчики всяческих искалок пытаются свести общую неорганизованность всего сущего в привычные расчерченные рамки рубрик. Видимо — по доброте душевной. Разумеется, попытки упорядочить мир как бы по школьным предметам («История», «Литература», «Пение») наивны. Никто, разумеется, не упрекнет фирму в зомбировании «чайников», эти попытки и так встречают отклик у людей, испытывающих приязнь к формам жизни упорядоченного, вполне невинного детства — именно по части наличия четких разделений жизни. А так, на хрена, скажем, кому-то надо знать предпочтения некоего человека из Саратова по фамилии Мраморнов, и чем тому самому от этого лучше? Конечно, ему хорошо потому, что он нашел, чем заполнить полагающиеся рубрики, как анкету, и теперь его как бы куда-то допустили.

То есть внешняя рубрикация объективно является родом психотерапевтической попытки уберечь человека от того, чтобы через какое-то время, взглянув на свои закладки, он вдруг осознал, что именно он из себя представляет. И — относительно восстановив во времени часть своих реакций — не ужаснулся бы непоследовательности и неустойчивости своих чувств. Ручаюсь, по названиям своих букмарков никто не вспом-

нит из них больше половины. Так что на халяву кастанедовские «перепросмотры» и гурджиевские «вспоминания» не проходят.

Но и внешняя рубрикация не проходит: имеющееся ныне распределение рубрик по «Рамблеру» или по другим аналогичным устройствам явно промахивается мимо каких-то основных сетевых свойств и нравов. Заглянув в любой подраздел любого рубрикатора, понятно, что искусство там не является искусством, политика — хорошо если наполовину политика, масс-медиа — тоже, не говоря уже об истории, о которой сказать просто нечего, так что поглядите сами.

Правильно разрезать сетевое пространство на ломтики явно не получается. Для рубрикации и для тех же закладок, по сути, требуется некая принципиально иная картография — что-то вроде перехода от плоскостных карт к глобусу с наклепленными на него горками, в крайнем случае — к проекции Меркатора. Но ее в сети — нет. Зато есть хорошее издевательство над рубрикаторами — у Лялиной в истории Анны Карениной.

Но есть свой пафос и в примитиве рубрикаторов: пространство нарезается ломтиками, как колбаса. Страна — Россия. Дерево — береза. Птица — воробей. Анализировать пересечение этих нарезок у разных людей можно, да незачем — одинаковы они все, раз уж нарезаны. Что является основанием — если покрасивее выразиться — экзистенциального ужаса Сети. Человек, нарезавший себя на кусочки в соответствии с предложенной схемой разделки, конкретно и активно предоставляет некоему непонятному обществу всего самого себя — надо предполагать, этот человек нечто ожидает в ответ. От кого?

Утрата невинности

Вернемся к моменту потери этой самой невинности. Процесс разбрасывания человеком своих меток в пространстве крайне полезен с точки зрения, скажем, любого мага-колдуна: набор меток является описанием, достаточным для хорошего манипулирования этим человеком — точно так же, как им (магам) куда легче работать, зная время рождения клиента.

Такая степень открытости имеет два странных, взаимоисключающих следствия — открытые части тела становятся со временем огрубевшими и теряют чувствительность. Или — все это оказывается уже и не важно, признаваясь в собственных пристрастиях, человек выкидывает их на помойку. Он полностью открылся некоему существующему миру, и это — ничего практически в нем не изменило. То есть все его откровенности и тайные страстишки не стоили ровнешенько ничего. Пусть даже ему и кажется обратное, как некоему Берни или столь же некоему Федоткину, — у Дженис Райт хотя бы поучились по части организации похорон себя любимых...

Проекция набора закладок разных людей на реальное пространство Сети даст набор множеств, описание взаимоотношений которых требует накрученной математики дифтопологического характера. Отчего любой персонаж конкретно обнаруживает свою неповторимость, отчего, соответственно, плачет от одиночества.

Мы оказываемся в некотором странном месте, где все время обнаруживаешь что-то на что-то похожее, а на самом-то деле — вовлеченное в совершенно иные связи: сходство слов не означает их реального сходства, из того, что вы знаете температуру воздуха в Нью-Йорке и она равна московской, следует просто совпадение циферок. Никакого пространства ассоциаций, наводящих мостки между понятиями и людьми, не оказывается — есть только случайный резонанс, эхо, сходство отдельных кусочков, входящих в разные сгустки. Гипертекста, собственно, и не существует никакого, есть только иллюзия его существования для невротичного читателя-пользователя.

И лишнее, конечно, говорить о том, что сетевое обнародование себя смертельно опасно для каждого отдельно взятого индивидуума: он рискует ничего не получить взамен.

Где защита?

Если имеет место любитель, обнародовавший свои страсти, то пусть себе висит и самовыражается. Если же человек профессионально пашет в Сети — история совсем другая и психотехника безопасности предполагает весьма изощренные мероприятия. Организовать публичное предьявление себя и своей подкорки, одновременно оберегая какую-то условную иголку, как Кашей, — это несомненное искусство, требующее не технологичности, но именно самого настоящего артистизма.

Роль его, в первом приближении, сводится к тому, чтобы устранить, сделать невозможным, запретить прямую проекцию себя виртуального на себя живого: придуриваться, короче, надо. Например, производить виртуальных персонажей — которые, на деле, вредят своим авторам: именно-то они и осуществляют косвенным путем эту прямую проекцию, чреватую и смертью (см. историю Кати Деткиной), ну а это и их авторам на пользу не идет. То есть свидетельствует о недостаточности прямого придуривания. Впрочем, количество виртуалов свидетельствует о понимании наличия проблемы.

Видимо, этот совершенно необходимый для выживания в столь открытом для действия любой магии пространстве опыт естественно искать у сетевых художников, которые, раз уж они сетевые, используют все качества среды — в том числе и опасные — для работы с нею. И пер-

вое, что тут приходит в голову, — это то, что любая артистическая художественная работа со средой с необходимостью влечет за собой ее (среды) деструкцию. Конечно, именно умение, возможность сломать среду и означает ее реальное знание — ну, я не о хакерах.

Речь, в конце концов, идет о проживании времени в среде, пусть с непривычки и непривычно устроенной, но — коль скоро в ней можно прожить время — реальной. Причем именно ее деформирование и означает это проживание. Рефлексия деформации не производит. Как бы каталог подобных вариантов находится в виде списка линков у Сандры Фауконе (указано А. Шульгиным, он же сказал, что Фауконе в свое время написала первую в мире диссертацию по сетевому искусству). И попробуйте-ка найти на ее сайте ее имя... Нет, оно там стоит, но — только в почтовом адресе.

Мораль

Словом, с первого букмарка сетевые дела приводят к конкретному напрягу отношений интимной части человека и общеобиходной. Имеет место некая весьма апофатическая по своей сути или, если угодно, йогическая или дзенская процедура отшелушивания от себя оболочек.

Понятно, что именно искушает конкретный риск возможного уничтожения как личности: Сеть — это жизнь в ожидании message. То есть не писем, конечно, но — некоего сообщения, которое является таковым только для одного человека: того, кто воспримет его в этом качестве. Мессидж — то, что возникло ниоткуда и не обращено ни к кому, он только для тебя, и ты это поймешь, когда его обнаружишь. Главное тогда — удержаться и не нажать на левую половинку мыши, увеличив свой жизненный опыт еще на одну закладку.

5 августа 1998 года

Интернет убьет кино, вино и домино

Интервью Ильи Овчинникова

с Максимом Мошковым

Что такое библиотека в Интернете? Как повлияет развитие Интернета на литературный процесс? Сможет ли Интернет заменить бумажную книгу?

На эти и многие другие вопросы отвечает Максим Мошков — живой классик русского Интернета, составитель самого крупного собрания русскоязычных художественных текстов в Сети. Три года существования «Библиотеки Максима Мошкова» — это сотни читателей ежедневно, 325 мегабайт информации, почти 10 тысяч литературных произведений, доступных каждому пользователю Интернета. Каждую неделю Максим Мошков добавляет к коллекции тысячи страниц текста. Сегодня в библиотеке примерно 300 русских и зарубежных авторов — от Владимира Набокова и Венедикта Ерофеева до Франца Кафки и Туве Янссон.

1. С чего все началось

Илья Овчинников: Максим, как ты познакомился с Интернетом?

Максим Мошков: Это была середина 1992 года, когда создавался Российский фонд фундаментальных исследований. Меня бросили на подмогу в отделение математики Президиума Академии наук. Там есть издательско-публикационный сектор, которому дали задание сделать базу

данных. Я в одиночку трудился над ней полгода — придумывал, делал, эксплуатировал. Тогда же в нашем секторе появился первый «SUN», который быстро подключили к электронной почте, а затем к Интернету.

И.О.: А какой вид тогда имел Интернет?

М.М.: Не было WWW, а было FTP. Еще были Gopher и Archie-поиск. Можно было скачать программы, найти их исходные тексты и побродить по Сети. И уже был IRC, позволяющий поговорить. А его наследники — «кроватьки», «диванчики» и прочие безобразия — до сих пор есть.

И.О.: Тёма Лебедев назвал их изощренной формой лоботомии...

М.М.: А я согласен с ним. Как же еще это назвать, когда люди сидят там часами и пишут друг другу... Да еще так много народу этим занимается... Еще тогда капитальный источник информации был — новости, конференции. Месяца два я убил на то, что читал их: приходил на работу, читал новости до двух... Немного работал, потом опять читал. И немного на IRC общался. А WWW возникла чуть позже.

2. Библиотека Максима Мошкова

И.О.: В интервью на Куличках ты говорил, что библиотека возникла спонтанно — ты просто клал туда все, что тебе самому нравилось или было нужно...

М.М.: Так и было.

И.О.: А каким образом это приобрело столь оформленный вид?

М.М.: Библиотека как таковая у меня уже была, когда никакого Интернета не было. В моем текстовом редакторе это изначально выглядело как гипертекст — так же, как теперь на WWW. И сейчас вся библиотека, которой я реально пользуюсь, — вот в этом компьютере. В Интернете ее копия, которую я периодически обновляю, чтобы и другие могли почитать.

И.О.: Как тебе еще не надоело всем этим заниматься? «Положение обязывает», некуда деться? Или надоело, но нет сил бросить?

М.М.: Моей жене надоело почти сразу; а я — человек крепкий и ленивый. И если за что-то берусь, то бросать мне обычно тоже лень.

Проект запущен, я его поддерживаю, это не требует слишком фантастических усилий.

И.О.: *А его поддерживаешь только ты, то есть это дело абсолютно бескорыстное?*

М.М.: Ну... никто мне не платит и никто не помогает. Впрочем, нет, помогают. Раньше, когда я только собирал информацию, я сгреб все литературные произведения из российского Интернета — он еще маленьким был, мне не составило труда весь его обшарить. Тогда встречались тексты, забитые в компьютер еще в 70-х годах, сплошь заглавными буквами... Мне было не лень написать программу, которая бы правильно расставляла большие и маленькие буквы. Тексты собирались по кусочкам. Сейчас все стало по-другому. Наверное, читателям библиотеки стыдно просто ею пользоваться — и им не лениво разыскивать новые тексты и посылать их мне. Обычно я сразу кладу их в коллекцию, это дело достаточно быстрое. На хорошо оформленную книгу уходит 5-10 минут. Правда, если энтузиаст присылает 20 толстых книжек — приходится напрягаться. Так что теперь основной источник «новых поступлений» — самотёк.

И.О.: *Является ли составление виртуальной библиотеки в некотором роде уходом от реальной жизни?*

М.М.: Ни в коей мере. Подумай сам: когда ты покупаешь книжки и рассовываешь их по книжным полкам, ты из реальной жизни не уходишь и не чувствуешь себя книжным червем, оторванным от мира. Составление библиотеки — это коллекционирование, как собирание марок и т.п. А что до виртуальности — я человек не виртуальный.

И.О.: *Составляя библиотеку, представляешь ли ты себе некоего усредненного или отдельно взятого читателя?*

М.М.: А мою библиотеку сейчас читатели и составляют. Сам я настолько обленился, что не лазаю по Интернету и книжек не ищу.

И.О.: *Как часто ты обновляешь библиотеку?*

М.М.: Дома — ежедневно, по заявкам и по тому, что присылают. А в Интернет заливаю с работы, не реже раза в неделю. 15 сентября пришлось положить в большом количестве Стивена Кинга, потому что накануне количество пожеланий превысило критическую массу в три заявки.

3. Другие электронные библиотеки

И.О.: Твоя библиотека — это коллекция. Что ты думаешь о других русскоязычных библиотеках? Они тоже составляются как коллекции — или с расчетом на то, что кто-то прочтет? Но кто станет читать в Интернете «Евгения Онегина»?

М.М.: Если пересчитать все электронные библиотеки, то их, наверное, наберется не очень много. Есть проект «Гутенберг» — американские энтузиасты тоже собирают электронные книги. Но это — жалкое подобие того, что существует в России. Либо они не такие энтузиасты, либо слабо работают. В их коллекции около тысячи книг, и это за десять лет. Они собирают только книги, вышедшие из-под закона о копирайте. У нас же до всякого Интернета по сетям ФИДО была собрана коллекция книг на порядок больше, тысяч шесть. Правда, советских сканировщиков вопросы авторских прав не волновали.

И.О.: Американские энтузиасты тоже поступают как коллекционеры или они все же думают о своем читателе?

М.М.: Думаю, ими движет та же идея: книга должна быть доступна. От ее электронного будущего никуда не денешься. В России самые крупные библиотеки — на фидошных серверах, их тоже энтузиасты собирали. Все, что есть в Интернете, просачивается оттуда.

Существует текстовая коллекция Игоря Загуменнова. Этот человек провел колоссальную работу. Он собрал примерно треть из всех существующих текстов — часть из них он сам отсканировал и забил в компьютер, другие — объединил. Это и есть самая полная в России электронная библиотека. Если у меня просят Кинга, я беру тексты из нее; хотя чего-то и там нет. Почти все мои материалы — третьи копии его предыдущих версий. Лишь 20% не оттуда, их я сам собрал. Рядом с этой коллекцией любой «Гутенберг» просто отдыхает.

4. Копирайт и самиздат

И.О.: Как в твоей библиотеке обстоит дело с копирайтом?

М.М.: Очень по-разному. Есть 10-15 авторов, с которыми у меня договоренность. А всего их там штук триста... Часть из них покойники, часть — американцы. Добыть право на распространение — пока не са-

мый главный для меня вопрос. Я им пока не занимаюсь и надеюсь, что он постепенно решится. Чтобы установить контакт с автором, надо, чтобы он как-то возник. Я не знаю, есть ли у Стивена Kinga электронная почта.

У российских авторов только теперь начинают появляться и почта, и доступ к Интернету... Теперь с ними можно вести переговоры. А спрашивать разрешения по телефону у незнакомого человека, если он не работает с Интернетом, — глупо. Подождем. Те, с кем я пообщался, как правило, спокойно воспринимают то, что их книги лежат в виде файлов не только у меня, но и в других электронных библиотеках. Резко возражал только один человек. Пришлось из моей библиотеки срочно его книгу убрать. А это не так просто, она имеет по всему миру семь зеркал. Убрал — вопрос исчерпан. Можно ожидать и в дальнейшем подобных наездов, но это будет процентов пять от общей массы.

И.О.: Бытует такое мнение, что библиотеки вроде твоей — это большой электронный самиздат, поизмельчавший по сравнению с самиздатом 70-х...

М.М.: В том числе. Ведь Интернет — это вообще все! У меня даже есть рубрика «Самиздат»; разница только в том, что раньше издавался один из тысячи, а теперь — каждый пятый.

И.О.: Да, но самиздат по определению отличается от нормального издания; что же будет дальше? Опять же, нерешенный вопрос с копирайтом...

М.М.: Обычно в самиздате вопрос об авторских правах не возникает. Самиздатчик хочет любым способом опубликовать свой текст. А копирайт — это некие ограничения, которые запрещают использовать текст без разрешения автора.

5. Заменит ли Интернет бумажную книгу?

И.О.: Допустим, через сколько-то лет не станет ни книжек, ни проигрывателей — только компьютеры, где каждый сможет найти все, что ему угодно. Будут ли тогда читать книжки, имеющиеся в Сети? Например, видя в твоей библиотеке «Процесс», «Роман с кокаином» или «Муми-троллей», я радуюсь знакомым произведениям. Но незнакомые, пусть и любимых авторов, читать с экрана не буду; все-таки я привык к бумажной книге. Да и не очень приятно прокручивать на экране длинный текст. И вот вопрос: если человек с детства видел книги только в Интернете — станет ли он читать печатные?

М.М.: Если человек просто любит читать, он будет это делать всю жизнь. Я слабо себе представляю, как можно с экрана читать литературные произведения: слишком тяжело для глаз и для головы. И мне кажется, 95% компьютерных жителей думают так же. Человек в любом случае должен читать бумажную книжку. Сам посмотри — идешь сейчас по улице, продаются книги... И не только Маринина, книг много разных — какие я себе куплю? Нельзя же купить все. Я выбираю только то, что действительно хочу прочесть. Из Интернета я узнаю, что есть такая-то книжка, что ее хвалят. Иногда там же можно найти ее текст, просмотреть его и тогда уже бежать на книжный рынок. Я прочту книгу, поставлю на полку, она пойдет по рукам — читать, короче, люди не перестанут. И Интернет может помочь выбрать книжку, но никоим образом ее не заменит.

А если помечтать, то когда-нибудь с экрана читать будет можно... Тогда, вероятно, сделают книжку электронную. Представь себе модифицированный «ноутбук» — открываешь папку с толстыми страницами, и на них буквы высвечиваются. Ты же не переживаешь, что исчезли грамплоны, проигрыватели. Скоро и компакт-диски погибнут, потому что есть CD-ROM. И бумажная книга пропадет, если электронная окажется столь же удобной. Если она будет похожа на печатную, если ее тоже можно будет держать в руках. Это просто техническая проблема.

И.О.: У «Русского Журнала» есть дружественный проект «Литература». Там, в частности, лежит заметка одного из идеологов сайта «Интернет: дематериализация текста». Речь идет о грядущей «третьей волне электронной революции», которая изменит и процесс творчества, и процесс чтения — то есть Интернет откроет новые литературные дали. Что ты думаешь об этом?

М.М.: А тебе самому не смешно это слышать? Люди ведь много чего пишут. Все мы учились в школе, учились писать буквы. А писать их можно и карандашом, и шариковой ручкой; можно на камне выбить или нажать клавишу на клавиатуре. Писателю, который всю жизнь писал рукой, за машинку пересест будет тяжело. Тактильное ощущение письма...

И.О.: Об исчезновении которого как раз пишет Марат Гельман в «Русском Журнале»...

М.М.: ...для меня связано именно с клавиатурой. И книга в компьютере для меня не отличается от обычной. Это текст, который ты обдумываешь и сначала произносишь для себя. Люди забывают о том, что текст и в компьютере не перестает быть текстом. А вообще можно всяких стра-

стей напридумывать. Можно ожидать, что новым видом литературы станет гипертекст... Писать такие книжки легко, но их все равно никто не прочтет. Человек способен осилить линейную книгу, которая читается от начала до конца.

И.О.: Написал же Остер «Сказку с подробностями» — гипертекст чистой воды.

М.М.: Самый яркий образчик гипертекста — энциклопедия. Британника, Большая Советская... А кому придет в голову читать их целиком? Гипертекст — это будущее справочных изданий, а не обычной, обращенной к людям литературы. Можно освоить компьютер вместо ручки, но вряд ли человек будущего научится читать гипертекстовые романы.

И.О.: Если пометать, то можно представить себе, что со временем исчезнут и книги, и газеты, и все прочие носители информации, кроме ПК. Тогда Интернет станет единым культурным пространством — об этом как раз пишет Новиков в статье «Ненавижу Интернет!». За компьютером он, правда, никогда в жизни не сидел, но Интернет как идею осознает довольно правильно.

М.М.: А он правда никогда не сидел за ПК?

И.О.: Правда. В статье, висящей в Интернете, он пишет: «Мне, автору самиздата, нет места в Интернете».

М.М.: И висит его статья в некотором смысле в виде самиздата... Это только придает остроту всей ситуации, потому что идеи Новиков высказывает очень здравые. Я согласен почти со всем, а я в Интернете болтаюсь года четыре. Он проанализировал теперешнее его состояние, возможности технического прогресса — и нигде не облажался. Все в его тексте — по делу. Я и сам бы мог сказать: «Ненавижу Интернет», — ведь я сейчас по нему почти не хожу.

И.О.: Главная идея Новикова в том, что Интернет убьет газету и книжку. Как ты думаешь, случится ли это? И насколько этот процесс естественен?

М.М.: Это совершенно естественный процесс. Ведь телевизор и видео в каком-то смысле убили кино в кинотеатрах. Но кино от этого не перестало существовать, оно пришло в каждый дом в виде видека. Интернет подключает любого человека к любому источнику информа-

ции. Раньше тебе надо было идти в библиотеку, в кино, в театр, в кассе стоять за билетами...

И.О.: Да, но это же сама жизнь. Переживания: купишь билет — не купишь... Ожидание новой книжки, газеты, которая еще пахнет типографской краской... Собираешься на концерт, предвкушаешь, едешь...

М.М.: ...долго едешь, в метро соседи толкаются. А сейчас нажал на <http://www.thedj.com> кнопочку, включилась музыка. Ненужную песню пропускаешь, что — плохо, неудобно?

И.О.: Не плохо. Но не то.

М.М.: Как же не то? Человек любит удобства. Один из способов продвижения к этому — Интернет, и он позволит тебе все. Со своего стола ты получишь доступ и к газовой плите, и к ТВ-программе на завтра, и к книжке. Все эти объекты не перестанут существовать, просто слегка размажутся, но у тебя будет более удобный к ним доступ. Меня не пугает, что книги и газеты плавно перетекут сюда. Мне нет дела до способа их доставки. И это эволюция в правильном направлении — так мне проще и удобнее. Но можно, конечно, и перейти на язык кликуш, тогда — Интернет убьет кино, вино и домино. И все остальное.

6. Русский Интернет: сайты живые и мертвые

И.О.: Хорошо, поговорим теперь о русском Интернете. Там есть что-нибудь интересное для тебя, или все надоело?

М.М.: У меня интерес к нему вспыхивает изредка. Тогда я капитально погружаюсь, как обычный web-surfer. Начинаю читать наших обозревателей, новости... Голова потом так трещит, что на недельку успокаиваешься. Это вещь заразная, но я заболевание контролирую. А вообще в русском Интернете есть что поглядеть.

Есть много мертвых сайтов; либо они не развиваются, либо их делают из-под палки, не по правилам и редко. Если их отместить, то живых, активных окажется не так много. Это, конечно, обозреватели; несколько сетевых журналов, которые делаются в промышленных масштабах; есть еще монстры à la «Инфоарт» и другие, которые вовсю что-то строят и перестраивают. Но их мало. Остальное пока мертво.

И.О.: Насколько реальна происходящая в русском Интернете жизнь? Ведь обозреватели часто не знакомы между собой и при этом порядком ругаются, обижаются друг на друга, хотя иногда как реальные люди они и не существуют. И происходит все это только в Сети.

М.М.: Раньше, когда существовало 100 русских web-серверов, все было проще. Я мог их все обойти и понять, что нигде ничего интересного нет; а если и есть, то я это к себе уже забрал — и у меня все равно больше. Сейчас таких web-серверов 5 тысяч, и многие из них грабить бесполезно. Если идет непрерывная работа, если где-то сидит человек и это дело достраивает — к таким людям я хожу регулярно. Если возникает интересный вопрос, человек должен его строить в Интернете сам — в надежде потом собрать тусовку единомышленников. Строить по-взрослому и не бросать на «under construction» — это гораздо интереснее, чем быть просто пассивным читателем. А что до обозревателей, которые друг друга «не любят», то у меня впечатление, что пиво друг с другом они пьют за милую душу.

И.О.: Широкий резонанс вызвала статья А. Аникеева «Чужой среди чужих» в первом номере журнала «Интернет». Там речь идет о том, что русский Интернет делается как минимум на тридцать процентов за рубежом; автор расценивает данный факт как заговор. Мол, и «Кулички» в Америке, и «Дядя Великий» — в Израиле... К топору Аникеев не призывает, он лишь цитирует Хрущева: «Цели ясны. Задачи поставлены. За работу, товарищи!» Что ты думаешь на этот счет?

М.М.: Я боюсь, что таких сайтов, которые кипят и бурлят, — не больше сотни. И то, что многие из них — за границей, меня не удивляет. Учти, что раньше, когда о сотне еще речь не шла, таких «заграничных» было не тридцать процентов, а девяносто. Когда число юзеров утроится и живых сайтов станет триста, то и процент заграничников упадет. Пока жаловаться не на что. А вообще... я живу в Москве и готов бороться против заграницы за светлое будущее русского Интернета. Но если я виртуально знаю этих людей — мне все равно, где они проживают.

7. Персонажи русской Сети

И.О.: А каким образом те или иные личности становятся в Сети культовыми персонажами? Ведь некоторых из них, возможно, и в природе не существует.

М.М.: Антон Носик в природе существует. Он в Интернете был раньше многих. Я его заметил очень давно, и общались мы не раз. С виртуальными людьми и контакт обычно виртуальный, постоянной переписки я ни с кем из них не веду. Живьем я общался только с Лебедевым и Якубовым из «Журнала.Ру»; с остальными — полушапочное знакомство на уровне имен и фамилий. Хотя я сомневаюсь, что они постоянно конфликтуют друг с другом. Вряд ли это одна тусовка, но очень многие знакомы.

И.О.: *Это понятно. Но почему, например, дню рождения Ромы Воронежского в одном из обзоров Носика посвящен целый абзац, т.е. почему Рома — культовая личность и имя его должно говорить само за себя? Он же все-таки не Носик с его обзорами и большим гестбуком.*

М.М.: А он был культовым персонажем еще когда Носика не было в наших кругах... и краях. Он всегда в конференции писал очень активно. Я его сразу заметил, когда в Интернет попал. Он поставил свой сайт уже давно; все только что прибежали, а он уже тут — и ссылки на него кругом. Потому что было пустое место и пришло, грубо говоря, десять золотоискателей. Каждый что-то построил. Затем прибегают новые; сначала бегают между этими десятью, потом начинают строить сами. И ставят ссылки назад, на стариков.

Пока просто мало кого бы то ни было; достаточно появиться и делать что-то заметное. Через полгода ты уже в культовых и в стариках. Думаю, что фамилия Житинский в Интернете что-то значит. Раньше он был просто писателем, без Интернета. Я застал его первый выход в Интернет; потому что он, естественно, попал в мою библиотеку и даже написал пару писем. И вот не прошло и полгода, как он уже и здесь, и там, и везде.

И.О.: *Ощущаешь ли ты себя культовым человеком, влияющим на значительную часть русской Сети?*

М.М.: Нет. Как только я выхожу на улицу, я перестаю быть культовым человеком — там нет Интернета. Автографов у меня не просят и не попросят никогда. Впрочем, есть место, где я действительно культовый человек. Это московская водно-плавающая тусовка. Там я — первый по сбору информации о водном туризме. А по всем остальным вопросам, которые я веду, у меня много конкурентов. С любым из них мне тяжело тягаться. Почти по любому разделу, кроме водного туризма, есть сайты круче меня. Не считая суммарного объема. Для меня известность проявляется в большом потоке писем по делу и не по делу. И я пока даже на

все письма отвечаю. За два года — три с половиной тысячи ответов написал... писем было тысяч пять. Вот новая почта пришла, 16 килобайт.

Короче, культовость сейчас — это просто. Выбор невелик, и все, кто проявит минимальную инициативу, имеют шанс. А если подождать еще пару лет, то придется расталкивать локтями тысячи две конкурентов. Так что торопитесь те, кто хочет успеть с минимальными усилиями.

Любому сайту нужно иметь что-нибудь, чего нет нигде. Это может быть что угодно — то, ради чего туда ходят. Иначе это будет вялотекущее существование. Если не получишь постоянных посетителей, то все без толку. А изюминку придумать сложно. Так что думайте, у вас для этого куда больше возможностей, чем у меня. У редакции в любом случае связи с авторами гораздо шире. И сил больше.

И.О.: Твои пожелания «Русскому Журналу»?

М.М.: Виртуальному журналу от неvirtуального человека: не скончаться бы подольше. То есть если уж вы начали что-то делать в Интернете, то нельзя останавливаться. Надо решать все новые задачи, бежать вперед. Не стойте — держитесь хотя бы на прежнем уровне.

И.О.: Спасибо.

8 декабря 1997 года

РОМАН ЛЕЙБОВ

1545 слов о фантиках

Предлагаемый читателю текст писался в условиях полного прекращения связи наших компьютеров с внешним миром. Это привело к некоторой абстрактности и тезисности изложения. Первоначально предполагалось, что в текст будут включены примеры. Положительным следствием, однако, явилась компактность изложения, отраженная нами в заглавии.

1. Баннер (далее иногда — «фантик», термин, кажется, М.И. Мухина) как семиотический объект, несомненно, включается в ряд визуальной рекламной продукции. Тексты этого рода трехсоставны — изобразительный компонент дополняется здесь двумя другими: словесным и индексальным, представляющим указание на торговую марку (этот компонент может быть, в свою очередь, представлен внутри словесного или изобразительного ряда — прямым названием в слогане и/или демонстрацией торговой марки на картинке).

Обязательным является индексальный компонент. Два других (слоган и изображение, развертывающее сюжет) могут редуцироваться. Радикальным случаем будут рекламные щиты, где представлен один логотип (конечно, визуальность и словесность здесь не исчезают, но сокращаются до чисто декоративной роли).

Прагматика графической рекламы (неважно, уличный это щит или полоса в газете) лежит за пределами пространства, в котором реклама существует (улицы или газеты). Для того, чтобы выполнить программу, заложенную в рекламе, реципиент должен закрыть газету и отправиться в магазин, пойти на почту и подписаться на газету, позвонить по некото-

рому телефону и заказать электромассажер на солнечных батареях — так или иначе, он должен сменить характер деятельности: перестать читать, гулять без толку или нажимать на газ. Визуальная реклама, таким образом, апеллирует к параллельным реальностям, где нынешний «пешеход» становится «читателем», «читатель» — «потребителем одеколона».

Я остановился на этом пункте так подробно, поскольку именно прагматический аспект радикально отличает фантики от собратьев по жанру. Баннер, скорее, сродни вывеске магазина или витрине — для перехода нам не нужно прерывать движение, смена ролей («фланера» на «покупателя») происходит в едином континууме. Вещь в витрине — одновременно вещь, продающаяся в магазине, и знак этой вещи. Витрина говорит прохожему: «Сделай несколько шагов, и ты сможешь купить вот это». Баннер ближе к магазинной, чем к товарной рекламе, он рекламирует *место*, а не *вещь*. И, в отличие от газетной рекламы, рекламирует место, находящееся в той же среде — Повсеместно Протянутой Паутине. При этом сложная игра состоит тут именно в квазиконтинуальности *www*, оборачивающейся на деле дискретностью «страниц».

Фантик, таким образом, является знаком с более прямой связью «знак-денотат». Процессы восприятия рекламы и реализации заложенной в ней программы по времени практически совпадают — между ними лежит один *click*. «Click me!», — призывает фантик, как пирожок в «Алисе». Но в отличие от более или менее честных витрин с их ценниками и образцами, фантик не перестает быть визуальной рекламой со всеми вытекающими последствиями.

(Интересно было бы попробовать организовать баннерную кампанию, не связанную с механизмом *click me now*. Какие-нибудь номера телефонов или подписные индексы. Второе бы, конечно, провалилось с треском, а вот первое в Москве могло бы иметь определенный эффект. Попробовать, что ли?.. Поместить там, конечно, голую красотку и дать телефон, скажем, Комитета Госдумы по геополитике...)

Любая реклама лжет (если подходить с радикальной позиции). Сколько ты ни пей кофе «Оптима», не будет у тебя ни такой чистой и солнцем залитой кухни, ни такого осмысленного выражения лица поутру. Но ложь обычной щитовой рекламы мы воспринимаем спокойно, как ложь эстетическую. Над вымыслом обливаемся слезами и спешим по своим делам, запомнив несознательно марку кофе (чего от нас и добивались).

Баннеры врут нахально, поскольку проверка осуществляется тут же на месте.

И тут опять важна прагматика знака. Если обычная реклама будет максимально успешной при том условии, что реципиент предпочтет в

магазине «Оптиму» какому-нибудь кофе «ТБМ», то единицей измерения успешности баннерной рекламы является этот самый мистический *click*. То есть важна не какая-то там экономика-купля-продажа, а интенциональность в чистом виде. Фантик, таким образом, оказывается весьма специфически относящимся к сайту-денотату. Странно будет, если, придя в магазин, вы узнаете, что никакого кофе «Оптима» в природе не существует, а целью рекламы было выманить вас из дому под морозящий дождь. Но именно так очень часто обстоит дело с баннерной рекламой — фантики врут нагло и откровенно. Обязательный компонент графической рекламы — торговая марка — часто здесь полностью игнорируется. И эта ложь тоже может стать объектом эстетического переосмысления.

2. Переходя от прагматики к семантике и синтактике баннера, зададим вопрос: как именно нас заставляют ткнуть в фантик? Есть несколько способов, достаточно бесхитростных (еще раз подчеркнем: речь идет не о реальном содержании сайта, к которому баннер отсылает, а о содержимом «витрины»). В этих «магазинах» зачастую прилавки к витринам никакого отношения не имеют. Важен лишь *click*, звяканье дверного колокольчика).

а) **Апелляция к «массам».** Обещание бесплатных наслаждений. Голые и просто особы женского пола, коллекции анекдотов, бесплатные программные продукты и прочая. В таких фантиках может доминировать изобразительный ряд (порнография, впрочем, обязательно должна быть снабжена волшебным словом «free»), может — словесный (недавняя новация в русском фантикоробстве — включение в баннеры «отрывков» из «монологов пользователей», заставляющих фантик говорить не от имени поставщика услуг — адресата, но как бы от имени адресанта-«юзера»). Это — фантик «демократический».

б) **Апелляция к «избранным».** «Аристократический» фантик, ориентированный на специальные интересы.

Недавняя совершенно дикая и бессмысленная в своей масштабности кампания вокруг Cisco (я не знаю, что это такое, но понимаю, что мне это совершенно не нужно, как и абсолютному большинству сетевого народца) оперировала двумя разными типами баннеров. Первый заставлял поверить, что Cisco — это что-то вроде Viagra или Acid, модное нечто и с наворотами. Как тут не кликнуть (тип 1)? Вторая честно ориентировалась на тех, кто знает, что это за зверь и зачем он на ловца бежит (тип 2). На этих баннерах, как правило, слов было больше, а картинок меньше.

в) **Апелляция к «идиотам».** Для тех, кто еще не привык к баннерной рекламе, устраиваются особые аттракционы. Основным приемом

здесь является имитация интерфейсов Windows и программ-браузеров. Такие фантики — чистое надувательство, знак здесь имитирует знаки чужого языка, размывая границу между текстом и окружающей его средой. Тыкаешь ты на как бы кнопку «cancel», желая от картинке избавиться. Ан это не кансел никакой, а просто часть той же самой картинке. Алле-оп, баннерная сеть регистрирует очередной click. (Ближайшей аналогией таких фантиков являются живописные «обманки». Рассматривающий акварель Федора Толстого профан точно так же пытался стереть с картинке нарисованную капельку воды или согнать любовно выписанную муху.)

3. Задача привлечения наибольшего внимания обуславливает и поэтику композиций. В отличие от других типов визуальной рекламы, для фантика обязателен словесный элемент, желателен элемент изобразительно-фигуративный и необлигаторен элемент, обязательный в других типах, — торговая марка. (В этом отношении к фантикам ближе всего «малая газетная» и «малая уличная» рекламные стратегии — частные объявления и карточки жриц Венеры в телефонных будках.)

Почему не прижились баннеры вертикальные? Именно потому, что словесный элемент обязателен, а графика европейская горизонтальна. (Хотелось бы посмотреть, как дела обстоят в Японии, но связь упала напрочь.) Кроме того, необходимо исходить из технических ограничений, и хотя существующие баннерные стандарты дают достаточно широкий набор возможностей, прижилась именно длинная горизонтальная полоска, удобно размещающаяся по центру страницы.

Горизонтальность баннера имеет важные следствия. Канон изображения человека в европейской культуре — вертикальный. В баннере изображение становится поневоле метонимичным. Глаза вместо лица, головы вместо фигур, некоторые органы крупным планом (впрочем, в этом жанре как раз горизонтальные композиции вполне уместны, так что тут полно примеров «полнофигурных» и даже «многофигурных» композиций). Вообще говоря, горизонтальность характерна скорее для пейзажной панорамной живописи. Из такой ситуации есть несколько выходов: можно отказаться от «антропоцентричности» фантика, сделав его героем не «потребителя», а сам «продукт». Это диктует акцент на словесном компоненте. В центре таких фантиков — слоган (так любит работать Арт. Лебедев). Изобразительный ряд здесь может быть сведен к нефигуративному (фон) и визуально-вербальному (шрифт и расположение слов) или представлен набором аллегорических предметов, связанных со слоганом. Если слоган прямо не включает название/описание сайта, то мы получаем фантик-загадку.

Другой вариант — дробление и без того небольшого пространства фантика на некоторые подпространства, организованные уже по вертикали. Как правило, границей между такими визуальными субтекстами служит данный крупным шрифтом слоган. Недостатком тут будет, конечно, фрагментация текста, распадение его на субтексты. Однако таких примеров довольно много.

Наконец, можно действительно перейти к «пейзажным» («интерьерным») композициям, вводя персонажей общим планом или вообще отказываясь от них.

4. Конкретное исследование поэтики баннеров должно идти по нескольким направлениям:

а) выделение типов по соотношению вербального и визуального компонентов (ориентироваться можно на объем словесного текста и/или его формат);

б) выделение типов визуального изображения — от «декоративных» до «сюжетных»;

в) выделение типов персонажей: «персонажи-продукты» (люди в порнофантиках, вещи в других типах), «персонажи-продавцы», «персонажи-потребители»;

г) выделение типов соотношения «сюжетного» визуального ряда с рядом словесным («реплики персонажей», «комментарии адресанта», «диалог с адресатом», отождествляющимся с одним из персонажей);

д) описание пространственной композиции визуального ряда (перспектива/отсутствие глубины, фрагментарность/целостность);

е) описание словесного компонента (фантики с центральным слоганом и без такового, типы слоганов, стилистическая окраска);

ж) классификация «обманок»;

з) типы анимированных фантиков (которые, видимо, необходимо рассматривать, опираясь на языки мультипликации и динамической визуальной рекламы);

и) введение диахронической оси в рассмотрение проблемы — динамика типов, поколения баннеров;

к) сравнительный аспект: русские фантики на фоне зарубежных собратьев (самый для меня интересный момент в исследовании);

л) соотнесение полученных картин с прагматикой: сопоставление типов баннеров и типов рекламируемых сайтов, «успешности» (click ratio) разных типов баннеров;

м) рецептивный аспект: исследование истории отношения сетян к фантикам и «антибаннерной» риторики (фантикоборы о враге — уже и по-русски кое-что накопилось на эту тему); автометаописательный аспект — фантикоробы о своем ремесле;

н) баннеры и другие типы визуальной рекламы: внесетевые традиции, проникновение баннерной эстетики в полиграфию (здесь пионером был, как водится, «Журнал.Ру»).

На этой счастливой цифре мы и остановимся пока, отметив в заключение, что как это часто бывает в культуре, вполне утилитарная вещь может стать основой для нового жанра уже не рекламного, а просто искусства. В минимальности фантика есть что-то сродни поэтике хайку и других традиционных поэтических твердых форм. Эстетизации может подвергаться и априорно вполне утилитарная ссылка, прикрученная к картинке. Так что еще не известно, кто кого задушит — коммерция утопию или же совсем наоборот.

22 октября 1998 года

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Изнасилованный глаз

Заметки о сетевой рекламе

«Баннер (banner, в просторечии фантик) — значение термина запоминается с помощью легкого мнемонического правила: баннер — это когда вас „парят“. Это гиперссылка в виде графического элемента, вроде небольшого плаката. По степени „напаривания“ чайников баннеры бывают двух типов: 1) дубовые; 2) липовые...»

«Нетликбез».

Уровень 1. Животноводство

Призрак бродит по Рунету, призрак тети Аси. Вот уже и фестивали устраивают под лозунгом «Как нам коммерциализовать Интернет». Что было раньше «спам», то будет теперь «прямой маркетинг». Хочется схватиться за спасительную и всеобъясняющую формулу «раньше было лучше», да и она как-то паршиво работает в последнее время. Раньше работала лучше.

Нет, если отдельное явление взять, то можно еще ностальгировать. Скажем, электрички. Как-то я посчитал, что провел в них почти три месяца своей жизни. Чего только там не делал! Когда маленький был — сосредоточенно учил что-то, читал. Когда большой — смотрел часами в окно, сидя спиной по направлению движения поезда. Хорошее было время. А потом началось: «Извините за беспокойство! Вас приветствует рекламно-торговая компания!!!» Кремы от мозолей и швейные иглы, бритвы с лазерной заточкой и абсолютно непромокаемые плащи, а также сексуальная жизнь дочери жены Киркорова и мужа дочери жены Киркорова.

Бывало, если особо громкий торговец начинал орать прямо над ухом, я пихал его хорошенько кулаком и добавлял немного вербально. И что удивляло — нет, не сам факт такой вот крикливости торгаша, но реакция иных соседей по вагону, которые говорили мне, распоясавшемуся: «Чего мешаешь человеку, он же работает!» На что я отвечал, что и вор-карманник тоже работает, так что же мне теперь — руки за голову и лицом к стене? Соседи не понимали этой параллели, но затихали в задумчивости.

Так вот, если на это отдельно глядеть, можно свалить все на «раньше было лучше», на особые категории непонятливого населения или даже отдельных товарищей. Увы, не выходит, так и лезут сравнения и сопоставления. А уж отражение этих явлений в Интернете — ну просто наглядное пособие.

В конце прошлого года один из моих рассказов был опубликован в сетевом дайджесте «Перекресток». Через некоторое время, взглянув снова на страничку с рассказом, я обнаружил, что она буквально нафарширована рекламными баннерами: помимо фантиков в начале и в конце рассказа, несколько штук были равномерно раскиданы по всему тексту. Так, после одной из фраз героя шло замечание: «За такое надо стерилизовать на месте». Это был, конечно же, баннер.

История того скандала описана А. Шерманом в статье «Мистика коммерциализированной утопии». И так же, как в разборках с надоедливými рекламщиками в электричках, меня поразило тогда не само стремление «обаннерить» все и вся, но реакция публики: «А что, собственно, такого?» Тот факт, что литературное произведение было изгажено дебильными рекламными вставками без ведома автора, никого особенно не удивил. Это, видимо, нормально. Принудительное кормление рекламой прекрасно наложилось на русскую ментальность, привыкшую к принудительному кормлению идеологией.

О дивный новый мир, поменявший такой простой черно-белый расклад социалистической морали на гору разноцветных фантиков! Попробуй-ка выбери любимый цвет — он наверняка окажется цветом какого-нибудь «Сперминта с хулидолом». Больше того — изнасилование чужого взгляда и слуха становится уважаемым бизнесом. Человек, стреляющий у меня на улице сигарету, говорит «извините» и «спасибо». Человек, укравший время и внимание миллионов людей, не только не говорит «извините», нет, он еще и сообщает о своих достижениях с гордостью!

«Широко известная баннерная сеть „ИнтерРеклама“ первой преодолела рубеж в 1 миллион показов баннеров в сутки, показав 1 037 453 баннеров за 1 день!» — эдак восклицательно, словно о рекордном надое молока, сообщает на своем сайте вышеуказанная сеть. А в ближайших планах «ИнтерРекламы» — составление персонального «медиа-плана» для каж-

дой коровы... — ох, извините, заговорился! — для «каждого индивидуального потребителя рекламы»...

Ах, конечно, кто-то уже решил, что «изнасилование» и «принудительное кормление» я здесь использую как поэт, чисто для красного словца. Ничуть, товарищи «потребители рекламы». Как бы вы отнеслись к человеку, который подбегает к вам на улице и ловким движением руки выдавливает вам в рот полтюбика пасты «Бленд-а-мед»? Или приставляет вам к ушам колонки и врубает на всю мощь какой-нибудь «индастриал»? Баннеры делают то же самое, только с глазами. Модель «не нравится — не смотри» здесь не работает. Баннер не пропустишь, как рекламную страницу в журнале или ролик по телевизору. Баннер хватается ваш взгляд сразу, куда бы вы ни пришли. Будь то «Кроватька» для прыщавых юнцов или «Бессрочная ссылка» для тонких ценителей словесности — везде вам придется съесть свой кусочек дерьма, свою «норму», называемую по-современному «баннером». И говорить об этом не принято.

Уровень 2. Машина шизофрении и помеченные деревья

О мифах сетевой рекламы писали неоднократно: Д. Манин в «Zhurnal.Ru», А. Морейнис в «Internet», да и другие. Тем не менее, машинка крутится. Можно было бы, конечно, представить дело так: с миру по нитке — глядишь, кое-что и оседет в карманах рекламодателей и владельцев сетей баннерного обмена. Пусть их — меньшинство, а их системы просеивают через баннерное сито глаза миллионов. Но какая-то все же польза. Коров ведь для пользы дела кормят — может, и принудительное разбрасывание рекламных бревен в глаза пользователей как-то способствует общественному процветанию?

Для начала — кто «кликает»? Это явно не тот, кто что-то ищет. Для поиска существуют искалки, тематические каталоги и еще уйма средств, поддерживающих организованную информацию. Именно организованность и помогает быстро найти в Сети то, что нужно. Кроме того, отдельные сайты ссылаются на другие, близкие по тематике, авторы группируются вокруг журналов, любители дискуссий — вокруг гостевых книг и досок обсуждений. Специалисты со сходным видом деятельности собираются в коллективы — такие как, например, содружество онлайн-выходных периодических изданий «Ezhe». В Сети возникает самоорганизующаяся система с пониженным уровнем энтропии, нечто вроде огромной ассоциативной памяти или супербиблиотеки. Можно вспомнить и «Книгу Книг», и «Вавилонскую башню».

Системы баннерного обмена образуют по отношению к этим системам «суперпамяти» нечто прямо противоположное. Это раковая опухоль Сети. Мозг шизофреника, устанавливающий совершенно случайные связи между сайтами, не имеющими никакого отношения друг к другу. Более того, огромное число баннеров не несет никакой информации о рекламируемых сайтах — скорее, они оформлены с расчетом на то, чтобы затащить человека на сайт любыми способами. Например, вышеупомянутый баннер «За такое нужно стерилизовать на месте» отсылал нажавших на него к сайту литературного конкурса «Арт-Тенета-97». Жаль, что никто до сих пор не провел исследования на тему того, к каким слоям населения принадлежали любители стерилизации, купившиеся на этот фантик. И сколько процентов из них действительно заинтересовалось литературным конкурсом. Но ясно одно: на баннеры нажимают те, кто позволяет случайным стимулам управлять собой. Человек управляемый. А не думающий и не ищущий.

Теперь посмотрим на чертову машинку со стороны тех, кто ее крутит. Во-первых: много ли фирм, которым такая сетевая реклама помогла сделать деньги? Попробуйте встряхнуть из сетевых маркетологов (если вообще хоть одного такого найдете!) какие-нибудь цифры, примеры. Возможно, вам в очередной раз расскажут про «Amazon Bookstore», упомянут еще пару крупных западных фирм, которые действительно успешно торгуют через Сеть. Но это крупные фирмы, их единицы. И не в России, а там, где есть гибкие системы электронных платежей. Или хотя бы есть чековая книжка в кармане пользователя и нормально работающая почта в его стране.

Русским же бизнесменам от Сети остается уповать на загадочное «число посещений», трафик или на еще более загадочное «число показов», ставшие своего рода сетевой валютой. «В 1997 году крупнейшие мировые рекламные сети осуществили более одного миллиарда показов баннеров», — повествует «ИнтерРеклама» тоном дикторов первых пятилеток. И что это за миллиард такой? Рекламу «Бленд-а-меда» я тоже видел много раз — а зубы чищу «Лесной». Чего уж говорить о сетевых показах!

Наблюдая траффическую лихорадку и связанные с ней баннерные крутилки, я все больше убеждаюсь в том, что эти феномены держатся на совершенно иррациональных мотивах. Да, баннерная реклама не приносит особого дохода небольшим фирмам и частным лицам. Но ведь и стоит она копейки, а то и вовсе ничего не стоит! Почему бы не покрутить свои фантики, не покидать их в глаза другим? Авань... А по большому счету, в этом «авось» — старое как мир стремление заявить о себе. Пометить мочой как можно больше деревьев в округе. Раньше это желание называлось «чтобы обо мне написали в газетах», потом — «чтобы меня по-

казали в телевизоре». Теперь тысячи кричащих «я есть, посмотрите на меня!» получили в свое распоряжение Сеть. Кто кричит от своего имени, кто от имени своей фирмы — один хрен, доктор Фрейд. Даже в разговорах людей, которые ничего в Сети не продают, нет-нет да и промелькнет эта зацикленная установка, больше подходящая испорченному роботу: заманить к себе побольше посетителей, чтобы показать им побольше чужих баннеров, чтобы они показали побольше моих, чтобы заманить к себе побольше посетителей, чтобы...

Тут и приходят на помощь услужливые компании баннерного обмена, с помощью которых вы можете пометить самые разнообразные деревья в самых разнообразных местах. В зависимости, конечно, от размеров вашего мочевого... — эх, опять сбился! — от размеров вашего кошелька. Впрочем, как было уже сказано, дело это экстремально дешевое, а на халяву или в обмен и попачкать приятно.

Уровень 3. Деконструкция: постмодернизм, азартные игры и гадание на внутренностях животных

Итак, дьявольский калейдоскоп фантиков крутится и крутится перед нами, как сумасшедшее дитя от брака человека с машиной, и в поведении этого странного гибрида сложно уже разглядеть человеческий рационал. «Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу?» — безнадежно и как бы уже риторически вопрошаем мы, получив очередную стробоскопическую очередь по глазам. Есть, однако, люди, находящие в себе силы обманывать бесовскую игрушку и показывающие нам, смирившимся, окольные пути к свету.

Они словно те рыбаки, которые давно поняли, что из прокладок «Always» выходят отличные стельки для сапог.

Но начнем с путей прямых и грубых, чтобы уж был полный комплект. Очевидно, что если машинка раскидывает картинки, машинка же может их и удалять. Можно установить себе (а то и целому провайдеру) программу «Internet Junkbuster Proху», которая будет отгрызать фантики от web-страниц перед тем, как показывать вам эти страницы. Остается надеяться, что скоро появятся программы, которые будут не только откусывать фантики, но и выплевывать их строго в обратном направлении, то есть в сторону баннерообменной системы. С припиской: «Ешьте сами с волосами!»

Грубость другого способа — не столько техническая, сколько моральная, по принципу «надувай надувающего». Вы вешаете себе на web-страницу баннерное окошечко (желательно даже несколько, от разных баннерных систем), а затем тем или иным способом симулируете высо-

кую посещаемость страницы (и, соответственно, количество показов). Вот вам, к примеру, сайт, где рассказывают, как накручивать счетчики: <http://people.weekend.ru/notna/best/menu.htm>. Тем, кто считает, что такая накрутка является жульничеством, можно ответить, что сам показ баннеров — жульничество еще похуже. Человек идет по адресу, где должна находиться поэзия, а его встречает баннер с голой бабой или с Черномырдиным. Ну разве это не надувательство?

Однако же есть среди нас и люди интеллигентные, то есть такие, кто не способен разобраться с настройками Junkbuster'a и не хочет заниматься жульничеством в ответ на жульничество. Они еще могут поддерживать основанное Шелли движение «БФ-3», или «Баннер Фри Зоун», то есть не вешать баннеры у себя. Но воевать с чужими?... Для таких пацифистов — пути окольные, более высококультурные.

Первым проектом такого в Рунете являются, безусловно, «Фантики без конфеток» Мая Ивановича Мухина. По условиям, для участия в проекте фантики должны быть лишены всякого следа утилитарности, они должны быть красивыми и тешить душу глядящего на них.

С другой стороны, вышеупомянутая Мэри Шелли в своей небезызвестной работе «Внутренняя Хиппония» предлагает применять «бесконфетный подход» ко всем видам рекламы. И, в частности, ко всем баннерам (а не только к специальным). Мэри пропагандирует отрыв рекламного образа (текста) от непосредственной торговой марки, с которой этот образ (текст) связывают рекламщики. В случае баннерной рекламы метод Мэри означает просто игнорирование гипертекстовой природы баннера:

«Баннер — маленький юркий плакатик, размещаемый на web-страницах, — это новое средство передвижения тонких образов. На рекламных плакатах частенько выделяется яркий лозунг; имя фирмы помельче, в сторонке. А на фантиках-баннерах бирка хозяина зачастую и вовсе отсутствует! Он-то думает — баннер, мол, ссылка: раз картинка кому-то понравилась, то нажмут на нее скорее и пойдут на его страницу, там и имя его сразу узнают. Право, логика идиота! Вот я прихожу в галерею, вот вижу милую глазу картину — да разве буду я в нее пальцем тыкать?! Разве буду смотреть, что за рамой?! Разве брошусь на шею зрителю зала со словами „какой ты крутой!“? Так и с баннером — что я, дура? Я же знаю, что это писал-рисовал отдельный художник, а вернее — ты, сестрица, рукой его грязной водила... Так зачем нажимать на ссылку, лучше просто нажать на print, для себя письмо твоё распечатать,

и из меня сделают

много хороших

вещей: миску, бубен, палочку для еды...

(чей-то баннер)».

Отталкиваясь от идеи Мэри, можно предложить и другую точку зрения на баннеры, при которой они также служат целям эстетическим. Можно ведь не рвать гиперссылку, а наоборот — связывать баннер с новым контекстом. Такое связывание, на самом деле, и происходит само по себе на многих сайтах: сочетание баннера с собственно содержанием сайта дает замечательные образцы современного мультимедийного искусства. Знаете, как по телевизору бывает: идет фильм про наркомана, который никак не может достать новую дозу, и тут же следует рекламный ролик: «Каждый раз во время еды во рту образуется кислота!» После истории, случившейся с моим текстом на «Перекрестке», я проглядел другие рассказы, опубликованные там же и тоже нашпигованные баннерами. И помимо «стерилизации на месте», эффектно украсившей мою сказку, нашел еще несколько примеров такой «гиперпоэзии». В «Сказке о прекрасной принцессе Атиль и ее безобразном шуте» Евгения Кривченко есть абзац, где шут-карлик неожиданно хватается за краски и кисточки приезжего Художника и забивается с ними в угол, никого к себе не подпуская.

«Король хохотал до слез и, отсмеявшись, приказал подать еще красок, и карлу оставили в покое.» И вслед за этим баннер: *«Береги время и деньги — правильно выбирай провайдера.»*

Замечательный в этом смысле проект придумал то ли Гагин, то ли Паравозов. Это «Цитатник», где стоят две кругилки — одна выкидывает цитаты, другая баннеры. К примеру, цитата: *«У Любви с большой буквы есть только одно значение — это Вселенская Мечта об Эдеме. Эдем-то уже видится, его флюиды доносятся, но на пути лежит выгребная яма, в которую отважные смело ныряют. Впрочем, большинство не выплывает.»* Баннер: *«Там Интернет почти бесплатный!!!»*

Другой мой виртуальный знакомый (проблема деконструкции волнует почему-то исключительно виртуалов!) Пегас Пооралилипипидов предложил еще более радикальный подход. Пегас вообще известен как опытный игрок в сетевые азартные игры. Так, он несколько раз безошибочно предсказывал цвет обложки очередного номера журнала «Internet» и сделал на этих предсказаниях большие деньги. ПП уверял меня, что существует секретная последовательность цветов, однажды начав которую, уже не выйти за ее рамки — что и произошло с «Internet». Во время нашей беседы зашел разговор и о баннерах, которые ПП также предложил рассматривать как некие последовательности. Придуманная Пегасом игра «Баня» напоминает «Монопольку». Вы с приятелями выбираете общую «стартовую» страницу, где показывают баннеры, и нажимаете по очереди на баннеры в своих окнах. Попав на следующую страницу (каждый — на свою!), вы во время вашего хода нажимаете на баннер, находящийся на этой странице. И так

далее. Содержание страниц вас при этом волновать не должно. Последнее, как правило, достигается само собой благодаря удобному дизайну, при котором фантик находится обычно вверху страницы. Фантикам приписывается различная «цена». Например, попал на баннер с голой бабой — пропускаешь семь ходов. Попал на баннер с цифрами — это твоя прибыль. Попал на страницу, где баннеров нету — банкрот. И так далее.

Пегас сообщил мне по секрету, что огромное количество его знакомых уже играют в эту игру целыми днями, подрывая все статистические теории об отношении посещаемости сайта и продаваемости продукции, которую сайт рекламирует.

Поскольку человек я замкнутый и у меня не часто есть партнер для игры в «Баню», я приспособил идею Пегаса для гадания. Подобно тому, как иной африканский колдун читает будущее по фигурам из разбросанных внутренностей животных, я открываю окно браузера и использую случайные последовательности из 3-5 баннеров для предсказания будущего всем желающим за скромную плату. А недавно один юный поэт ушел от меня плачущим, когда я показал ему, что моя гадательная машина пишет стихи лучше, чем он. В этом может убедиться любой, кто проникнется идеей «пегасовых последовательностей» и выстроит все встреченные на гипердороге баннеры в одну фразу. Вот что выпало мне:

*Примаков,
хочешь бесплатную ночь?
Это стоит того!
Весь Петербург подключается!
Не забыл презерватив? Почистил зубы?
Шприц у тебя одноразовый?
Нажми на газ!*

Так что, в конце концов, мы все равно выкрутимся и защитим свое личное визуальное пространство от засорения. Мы деконструируем и переопределим бесовские картинки, мы абстрагируемся от их основного предназначения и сделаем их бессмысленными, превратив в чистое искусство. И будем даже с ними жить спокойно... в наших сумасшедших домах. Потому что весь наш постмодернизм, вся эта рафинированная шизофрения конца XX века — это наша последняя беспомощная попытка противостоять новому порядку. Потому что на смену нам уже идут новые люди, которым не нужно хитрить и абстрагироваться. Люди с гибким сознанием, не страдающие от мгновенного переключения с авиакатастрофы на зубную пасту. Люди, легко управляемые последовательностями картинок и счастливые при этом.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ

Как индейцы, следовавшие пейотным видениям. Как гомеровские греки, внимавшие советам самых разнообразных богов. Короче, сильные люди и нам не чета.

А какие игры с баннерами можете предложить вы?

22 октября 1998 года

МИРЗА БАБАЕВ

Религия в киберпространстве

Если принять традиционную этимологию слова «религия» (от religio — «связываю»), то Интернет, Сеть сетей, — alter ego религии или, по крайней мере, ее ближайший родственник. В какой степени и как именно соотносятся между собой два эти типа связывания?

На поверхности все просто. Интернет — универсальный медиум, средство распространения любой информации, включая религиозную.

Еще в 1982 году в Сети была опубликована книга «Как найти Бога в Интернете» («Finding God on the Internet»), представлявшая собой путеводитель по интернетовским религиозным ресурсам. Ресурсов было много уже тогда, сейчас их гораздо больше. Зайдите хотя бы в отдел религии на «Yahoo». Впечатляет, не правда ли? Большая часть (не все!) русскоязычных религиозных сайтов проиндексирована в «Рамблере» и «Ау!».

Что это за ресурсы? Прежде всего, конечно, священные тексты и разного рода комментарии к ним. Тут вам и Библия, и Коран, и Упанишады, и полн. собр. соч. Кастанеды, и стихи Марии Деви Христос. Поражает количество сект и разного рода мистических организаций. Некоторые предлагают стать пожизненным членом их кружка, для чего требуется всего лишь отправить заявку по э-почте и 1 доллар наличными в конверте. Виртуальные церкви, онлайн-овые проповеди, сетевые кладбища и комнаты для медитаций... У христиан есть даже свой собственный бесплатный софт и обмен баннерами. Плюс, конечно же, «интерактив» — гостевые книги, каналы IRC, списки рассылки... Плюс — специализированные индексы: Интернет для католиков, мормонов, буддистов, сатанистов и проч.

Такое изобилие наталкивает на мысль, что обитатели Сети — люди, в массе своей религиозные. Исследования это подтверждают. Согласно результатам опроса пользователей Интернета, проводящегося с 1995 года на сайте *survey.net*, 65,7% опрошенных верят в Высшее существо и 55,8% — в реальность рая и ада в той или иной форме. Более 40% считают себя христианами, доля других вероисповеданий гораздо меньше, но их разнообразие весьма впечатляет. 36,7% респондентов считают религию своим личным делом, 46,1% полагают, что со временем их религиозность усилилась, и почти 70% — что религия оказывает созидательное влияние на общество. Опрос выявил также характерную черту сетевого сознания — терпимость: 85,1% опрошенных в качестве своего идеала и принципа назвали «уважение к тем, кто верит иначе».

Таким образом, развитие информационных технологий вовсе не уничтожает религиозные верования. Интересней другое: новые возможности коммуникации (которые открывает, в частности, Интернет) трансформируют традиционные религиозные практики и самый институт религии.

Дэвид Е. Гордон в дипломном сочинении на тему «Религия и Интернет» отмечает, что открытый доступ к религиозной информации способствует развитию религий, в основании которых лежит не догма, а личностное отношение к божественному. Поиск информации в Сети приравнивается им к поиску истины: «дай»-протокол (термин Дмитрия Манина), обозначающий тип коммуникации, когда связь инициируется получателем информации, а не ее отправителем) становится доминирующим не только в сфере сетевой коммуникации, но и в области духовного поиска.

Очевидно, что несмотря на неизбежные контрдвижения, основанные на антитехнологическом пафосе (традиционализм и религиозный изоляционизм), большинство религиозных движений будет трансформироваться в гармонии с принципами Интернета — открытость, обратная связь, возможность личного выбора. Характерный пример — позиция православной церкви: с одной стороны, брошюры, утверждающие дьявольскую природу телевидения и Интернета, с другой — создание серверов и обращения патриарха Алексия II к «братьям и сестрам во Христе, пользователям Интернета».

Разнообразие представленных в Сети религиозных учений и свобода выбора между ними может иметь двоякий эффект. С одной стороны, признание такого разнообразия нормой («Сколько людей — столько и путей к Богу»). С другой стороны, оно может вести к ослаблению и полному уничтожению религиозного чувства («Если истин так много — значит, нет вообще никакой истины, все относительно, иллюзорно и все

позволено»), к вырождению религии в симуляцию и игру (кибология и церковь эвтаназии — яркие тому примеры).

В любом случае очевидно, что природа Сети благоприятствует больше синтетическим, а не фундаменталистским религиозным движениям, мистицизму, а не церковности. Расхожая фраза, что религии объединяют людей, а Интернет их объединяет, верна лишь отчасти. Если религии связывают людей с божественным, то Интернет связывает их между собой. Бог, как кажется, от этого только выигрывает.

1 апреля 1998 года

МИХАИЛ ВЕРБИЦКИЙ

Кибология — религия эпохи Интернета

A Frequently Asked Question about Kibology:

— *What isn't Kibology?*

— *Nothing isn't Kibology.*

Познай кибологию и вслушайся в свет!

Религия — опиум для народа. Или другой какой наркотик. Кибология — это гашиш в сковороде со вчерашней курицей.

Из религиозных конференций Юзнета `alt.religion.kibology` — самая популярная. Религия эпохи Интернета требует своего мессии. Компьютерный мессия — Джеймс Кайбо Парри.

Как любая современная религия, кибология определяется набором священных текстов. Канон кибологиста — шестьдесят мегабайтов статей в священную конференцию `alt.religion.kibology`. Священное писание — сборник рассказов Кайбо о собачке по имени Спот. Ядром, основанием доктрины, ее Нагорной проповедью и Книгой Закона служит Кибологист — программа, написанная на языке Лисп, программа, призванная отвечать на вопросы о доктрине, исправлять заблудшего и вразумлять нечестивого. Правдивая история кибологии изложена Эндью Булхаком — кибология как учение, интерпретирующее результаты работы Кибологиста.

Кибологист — генератор коанов; ему вторит знаменитая Элиза — интегральная часть культуры искусственного интеллекта, автоматический психотерапевт. Лед и пламя, сера и ртуть — бурлящему интеллекту Кибологиста противопоставляется укорененный в почве Психотерапевт.

Элиза: Я психотерапевт. Расскажите мне о Ваших проблемах.

Кибологист: Сделаем жизнь приятной с рождения!

Элиза: Почему Вы сказали «сделаем жизнь приятной с рождения»?

Кибологист: Поддержим идею слов! Повсюду множественные реальности! Да! Нет!

Элиза: В Вашей компании принято говорить, что повсюду множественные реальности? Да? Нет?

Кибологист: Почему не жить в полноте сил? Эмоции — это не мысли Кайбо.

Элиза: Что привело Вас к мысли, что эмоции — это не мысли Кайбо?

Кибологист: Ла, ла, ла... Долой писания Кайбо!

Элиза: Наверное, это входит в Ваши планы.

Кибологист: Они зачастую могут убить секс.

Элиза: Вы боитесь секса?

Кибологист: Смерть повсюду! Можно почуять, если попытаться вступить в контакт.

Элиза: Что случится, если я попытаюсь вступить в контакт?

Кибологист: Протяни свою ауру и почувствуй ею Пустоту. Радуйся многим обманам!

Элиза: Это из-за Вашей половой жизни Вы говорите «радуйся многим обманам»?

Кибологист: Кибология — это не шутка.

Почему кибология?

Предыдущий абзац был создан, от начала и до конца, компьютером с помощью законов грамматики, словаря и таблицы случайных чисел. В каждой фразе диалога Кибологиста с Психотерапевтом есть не меньше смысла, чем в каждой фразе Нагорной проповеди. Парадокс? Нигилизм? Ничуть. Кибология учит, что правильной интерпретацией можно придать духовность любому элементу мироздания: от куска плесневелого сыра до прошлогодних показов мыльной оперы, до надписей на бутылках новейших фруктовых напитков, до рекламы конфет Ментоса the freshmaker'a. Особенно freshmaker'a. Сага о фрэшмэйкере, сочиненная кибологистами, занимает не одну сотню печатных листов. Сеть полна гигантских сайтов, посвященных Ментосу. Во всем этом видно влияние Кибологии.

Впрочем, Церковь Ментоса (the freshmaker'a), конкурирующая организация, тоже существует. Америка — страна тысячи конфессий.

Восхитительно bestолковые рекламы Ментоса (the freshmaker'a) доступны и в России. Их часто показывают по телевидению.

Сам Кайбо приложил руку к созданию ментосологического канона в коротком эссе об убийце, возвращенном к свободе принятием фрешмэйкера.

Получается, что кибологисты только и делают, что обсуждают ментос и фруктовые напитки? Ничуть.

Кибология есть субкультура Юзнета в ее наиболее чистой форме. Вот пример. Программы, отвечающие за почту и Юзнет, умеют добавлять в конец каждого письма и статьи подпись — файл по имени .signature. И так вышло, что .signature стала одним из родимых пятен Юзнета — авторы из числа тех, кто никогда не напишет больше строчки, повадились выпускать письма с десятистрочными подписями. Подписи эти были структурно анализированы — оказалось, что основным формообразующим элементом подписи являются двадцать эквивалентных электронных адресов автора, кривое изображение меча в буквочках, к которым добавлена цитата из группы Rush и почему-то карта Австралии. Образовалась конференция, посвященная пародиям и структурному анализу гадких подписей, — alt.fan.warlord.

Но мастерским ударом была подпись Кайбо. Этой подписи посвящена отдельная категория в «Yahoo». В этой подписи есть оглавление, составленное Стивом Берлином (одним из основателей «Yahoo»). Отдельно от подписи существует файл «Кто есть кто в подписи Кайбо». Этот файл не вошел в подпись — не хватило места.

В подписи Кайбо 860 строчек.

В подписи Кайбо есть все.

Там есть автограф У.С. Берроуза (с. 527-533). Там есть карты Австралии, Луны и Массачусетса. Карт Луны даже две (с. 442-473 и с. 748-771). Там есть изображение меча по имени «*Xcaliber the Decapiter!!!!*» (с. 692-709). Там есть портрет Терминатора, клоуна Бозо и мерзкого кролика Энерджайзера как жертвы атомной бомбежки. Там есть любимая тяжелая металлическая группа Кайбо, любимый художник, писатель, научно-фантастический рассказ и любимый фильм (два раза). В подписи Кайбо есть предложение выбрать Никсона в президенты в 1992-м. Что довольно иронично, потому что в 1992 году Кайбо стал кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Партии Интернета. Он получил очень приличное количество голосов, а материалы предвыборной кампании потом попали на <http://www.whitehouse.gov/> (вместе с республиканцами и демократами) и долго там лежали, пока начальник либертарианской партии не возмутился, что его партия больше кибологической, а на www.whitehouse.gov одни республиканцы, демократы да кибологисты. Конечно, либертарианских материалов туда не положили, зато тексты и картинки Кайбо убрали, и больше их не найти.

Газированный асфальт

Размещать в равной пропорции Ф.К. Дика, Церковь Субгения и нарочито плохие научно-фантастические фильмы 1960-х про марсиан, укрывших Санта-Клауса, и замороженные мозги Гитлера, стремящиеся к власти над миром. Будет кибология? Как бы не так. К этим элементам Кайбо и последователи добавляют неутолимое внимание к слову и чувство стиля — то, чего так не хватает так называемым «сетераторам» и всем самодеятельным постмодернистам. Знаменитая подпись Кайбо состоит наполовину из опечаток, но каждая из этих опечаток построена из совмещения идиом, культурных напластований и дополнительных смыслов — получается текст, сотканный из разговаривающих друг с другом аллюзий и переливающийся цветами наподобие хамелеона.

Статья в alt.religion.kibology состоит наполовину из аллюзий к предыдущим статьям — шутки перебрасываются от автора к автору, а когда наконец перестают быть смешными сами по себе, становятся смешными оттого, что их столько времени повторяют. Это называется «кибологический юмор»; простому человеку этого не понять. Разумеется, жертвою шуток обыкновенно и служит этот самый несчастный «простой человек». Для этого кибологи выработали специальную методику, наподобие дзеновских ритуальных побоев. Называется этот спектакль-побоище «trolling». А делается это так: выбирается какая-нибудь конференция-группа, где много дураков. При этом надо, чтобы дураки были без чувства юмора и считали себя умниками. Как показал опыт, лучше всего подходит ges.org.mensa — конференция для членов общества MENSA, куда принимают только лиц с высоким умственным коэффициентом. В организации MENSA раздают специальные особо сложные кроссворды, поскольку простые кроссворды людям с высоким умственным коэффициентом неинтересны.

Кибологист надевает маску новичка-простака и заявляется в ges.org.mensa с невинным, но ошибочным заявлением. Желательно, чтобы это заявление было частью шуток, которыми много лет обмениваются кибологи. Например, есть очень плохая (невероятно считаемая в узком кругу) писательница Эйн Рэнд (русского происхождения). Грамотные американцы делятся на 95%, которые не знают, кто это такая, 4,9% тех, кто знают и молятся на писательницу, и 0,1% тех, кто ее читал и считает, что она дура. При этом эти несчастные 4,9% не встречали (по крайней мере вне организации MENSA) никого, кто бы слышал про Рэнд, и уж тем более не думают, что кто-то ее может знать и не любить. Кибологист пишет в ges.org.mensa статью, в которой упоминает Эйн Рэнд, но ошибается в правописании (например, называет

ее Энн Рэнд — это правописание зафиксировано в подписи Кайбо, где Энн Рэнд именуется любимой писательницей наряду с Дерридой и Стивеном Кингом).

Остальные киботологисты наблюдают это явление и держатся за животики, потому что знают, что последует. Хороший штрих — приписать «Энн Рэнд» какое-нибудь сочинение Энн Райс — такой же культовой и бездарной писательницы про вампиров. (Эйн Рэнд писала не про вампиров, а против коммунистов, но хрен редьки не слаще. Она была членом маккартиевской комиссии по борьбе с антиамериканской деятельностью.)

Но я отвлекся.

Итак, киботологист пишет в res.org.mensa письмо, где упоминает «Энн Рэнд» и ее книги «Interview with the vampire», «Moon is a Harsh Mistress» и «The Fountain Pen». Неискушенные жители res.org.mensa отвечают на это — в основном в раздраженно-параноидальном тоне, свойственном и бичу международного коммунизма. Или начинают поучать. На что им отвечают про вампиров и говорят: вы, наверное, не читали гениальной книги Энн Рэнд «Интервью с вампиром». Так можно довольно долго. Аналогичной процедуре следует подвергать сайентологистов (надо сказать, что в Знаменитой Подписи Кайбо основатель сайентологии, научный фантаст Л. Рон Хаббард упомянут как самый великий автор рассказов, и при этом его фамилия тоже написана неправильно).

Занимательная игра с реалиями американской культуры. От Энди Уорхола и Эйнштейна до собачки Спот, сетевого террориста Димы Вулеса и сетевого сумасшедшего Архимедеса Плутония — их образы, как в калейдоскопе, переливаются и переливаются в сумасшедшей реторте киботологистов. Выращенный в пробирке Лиспа дзен, призывающий протянуть Ауру и ощутить Пустоту, на глазах ощутимо приобретает кровь и плоть, укорененный в культуре и почве...

1 апреля 1998 года

ЕВГЕНИЙ ГОРНЫЙ

Интернет для журналистов

0. Предупреждение

Этот текст был написан для нового проекта в качестве вступления к Интернет-разделу. Поскольку работы над проектом приостановились, я решил опубликовать его в «Net-культуре» с целью предварительного текстирования, выявления возможных ошибок и лакун в изложении материала. Несмотря на то, что целевая аудитория данного текста — работники информационной сферы, использующие (или собирающиеся использовать) Интернет в качестве профессионального инструмента, представляется, что излагаемый материал может оказаться полезным и более широкой аудитории. Буду признателен за любые поправки, замечания и вопросы по теме.

1. Зачем журналисту Интернет

В наши дни журналист, не умеющий использовать Интернет в своей работе, — такой же анахронизм, как домохозяйка, не умеющая пользоваться газовой плитой.

Журналист работает с фактами, событиями и мнениями, которые он упорядочивает, осмысляет, истолковывает и представляет в виде некоей истории. В том, как он излагает факты или рассматривает проблему, всегда проявляется его индивидуальная (субъективная) позиция, однако он всегда опирается на документальные (объективные) свидетельства. В своей работе журналисту приходится использовать множество различных источников информации. В наши дни одним из таких источников является всемирная компьютерная сеть Интернет.

Значение Интернета для журналиста трудно переоценить. Во-первых, как уже было сказано, это источник разнообразной информации, которая может быть использована как для мониторинга новостей, так и для написания аналитических материалов и проведения журналистских расследований.

Более того, Интернет все в большей степени становится *мета-источником*, включающим в себя все мыслимые типы источников, — универсальной информационной средой. Благодаря галопирующей оцифровке всего, что может быть оцифровано, и возможности немедленного доступа к оцифрованной информации из любой точки планеты, частные информационные среды (такие как книги, пресса, радио, телевидение, кино, устное и письменное общение и т.п.) постепенно утрачивают свою специфику, сливаясь в едином информационном пространстве. Сеть в настоящее время — наиболее яркое и последовательное выражение этого процесса.

Во-вторых, Интернет позволяет легко осуществлять поиск необходимых сведений, начиная от справочной информации (статьи в словарях и энциклопедиях, статистические данные, библиографии, карты, адреса, сведения о компаниях и организациях и т.п.) и заканчивая мнениями людей по всевозможным поводам, высказываемыми в различных формах сетевого общения (телеконференции, форумы, гостевые книги и проч.). Интернет, таким образом, это одновременно и океан информации, и сеть, чтобы вылавливать из этого океана нужное.

В-третьих, Интернет — это эффективное средство коммуникации, во многих отношениях превосходящее телефон, факс и другие привычные способы связи.

Наконец, в-четвертых, Интернет во многих своих проявлениях сам по себе является громадным медийным пространством, в котором происходит бурное становление СМИ нового типа. Электронные СМИ теснят на рынке СМИ традиционные, нередко опережая последние как в плане оперативности, так и по качеству разработки информации. Гипертекстовые и мультимедийные возможности электронных СМИ привлекают к ним как читателей, число которых стремительно растет, так и рекламодателей. В Сети формируется новый класс журналистов; развивается сетевая (онлайновая) журналистика со своими особыми приемами и методами; возникают свои профсоюзы и «звезды»; репортеры и обозреватели из традиционных СМИ постепенно перетекают в онлайн.

Очевидно, что независимо от конкретной медийной сферы, в которой работает журналист (пресса, радио, телевидение и т.п.), Интернет является для него (или — по крайней мере — должен являться) важнейшим орудием труда. Как, впрочем, и для всякого человека, профессионально работающего с информацией.

2. Сеть как орудие

С любым орудием надо уметь обращаться. Чтобы правильно использовать лопату, надо сперва научиться, как правильно ее держать, как ставить ногу, как распределять вес тела в процессе копания и т.д. Иначе и яму не выкопаешь, и настроение себе испортишь, да еще, не дай Бог, и поранишься.

То же и с Интернетом. До сих пор можно иногда услышать невежественные и просто мракобесные утверждения о Сети, исходящие от вроде бы образованных и даже интеллигентных в других отношениях людей. Например, существует расхожее мнение, что в Интернете нет никакой полезной информации, а только порнография, хакеры и маньяки. Или что хотя полезная информация там в определенных количествах имеется, найти ее очень трудно, поскольку Интернет переполнен «информационным мусором», а поисковые системы на конкретный запрос выдают так много ссылок, что в них невозможно разобраться. Первое утверждение свидетельствует, что человек говорит о том, чего не знает; второе — о том, что он не научился держать в руках лопату перед тем, как копать.

Не вдаваясь в критику распространенных заблуждений о природе Сети, приведу лишь одну цитату: *«Согласно недавнему исследованию, проведенному „Reuters“, Интернет помогает преодолеть глобальную перегруженность информацией, а отнюдь не способствует ее увеличению».*

Как научиться эффективно пользоваться Интернетом? Механизмы научения здесь те же самые, что в овладении такими достижениями цивилизации, как вилка, утюг или библиотека. Нужно перенимать опыт у тех, кто этому уже научился (читать учебники, задавать вопросы), и стараться применить его на практике. Постепенно у вас выработаются необходимые навыки, и вы сами станете специалистом, который может применять инструмент для решения соответствующих ему задач и помогать в этом другим.

3. Обустройство рабочего места

Интернет — очень большой. Говорят даже, что он является специфической формой бесконечности (если только у бесконечности может быть форма). Его нельзя объять. Им невозможно оперировать как единой вещью.

Для того чтобы Интернет осмысленно использовать в своей работе, его нужно прежде «настроить под себя». Точно так же, как вы устанавливаете на свой компьютер не вообще все программы, какие только существуют на свете, а лишь те, которые вам действительно необходи-

мы, в Сети вы можете выбрать именно те ресурсы и службы, которые вам нужны, и постоянно «держать их под рукой». Прочие же просто «иметь в виду» и обращаться к ним по мере надобности.

Таким образом, профессиональная работа с Интернетом должна начинаться с обустройства своего виртуального рабочего места. Здесь нет никаких жестких правил. Главное — добиться того, чтобы у вас были все нужные инструменты и чтобы ими было удобно пользоваться. По счастью, Сеть предоставляет для этого почти неограниченные возможности.

Важнейшим элементом в конструировании виртуального рабочего места являются «закладки» — упорядоченные ссылки на нужные нам сетевые ресурсы и сервисы. Каждый может сконфигурировать их по своему вкусу и сохранить результаты своего труда либо в виде HTML-страницы, либо в виде «закладок» в собственном браузере (в «Netscape Navigator» они называются «bookmarks», а в «Internet Explorer» — «favorites»).

Посмотрите, к примеру, как решил эту задачу Боб Драдж (не путать с Мэттом Драджем), который так свой сайт и назвал — «My Virtual Refernce Desk». Человек просто организовал свои закладки. И как это часто бывает не только в Сети, но и в жизни, то, что он делал «для себя», оказалось интересным и полезным для многих других людей. В 1998 году «Виртуальная справочная» Драджа была признана лучшим сайтом года.

4. Типы ресурсов

Рассмотрим основные типы сетевых ресурсов, которые могут пригодиться журналисту в его работе и послужить материалом для его персональных «закладок». Чтобы не навязывать своих личных предпочтений и не загромождать текст подробностями, я просто перечислю эти типы ресурсов и дам ссылки на некоторые метаресурсы, которые либо включают сразу множество ресурсов определенного типа, либо представляют собою их перечень.

Электронные издания

Сюда относятся как электронные версии существующих периодических печатных изданий, так и чисто электронная периодика, не имеющая печатных аналогов.

«EZines» — огромная база данных по электронным журналам во всем мире.

«Electronic Journals Access» — алфавитный и тематический указатели электронных журналов.

Газеты и журналы в каталоге Алекса Фарбера.

Каталог СМИ государств экс-СССР.

Сетевые медиа — список НИП.

Интернет-радиостанции

Вещают в реальном времени и/или в записи; некоторые являются интернетовскими дублями обычных радиостанций, другие существуют только в Сети.

«Vtuner» — путеводитель по Интернет-радиостанциям во всем мире, вещающих в реальном времени; с возможностью выбора станций по типу транслируемого содержания и по их местонахождению.

«The MIT List of Radio Stations on the Internet» — более 8000 радиостанций.

«Радио на русском языке в Internet» — список Константина Гусева.

«Радио и ТВ в России и заграничные станции в московском эфире» — список Григория Белонучкина.

Онлайновые базы данных

Платные, бесплатные и бесплатные в некоторой своей части; крупные коммерческие базы данных обычно предоставляют доступ к значительному количеству более мелких баз данных.

«Lexis-Nexis» — пожалуй, самая большая и известная коммерческая база данных; разделы: новости, финансы, патенты, индустрия, законы, медицина и др.

«Questel-Orbit» — крупнейшая БД в области патентов и торговых марок.

«DialogueWeb» — объединяет более 450 БД по разным отраслям знания.

«The Internet Movie Database» — крупнейшая БД по фильмам; изначально создавалась читателями-волонтерами; затем была куплена компанией «Amazon.com».

«Интегрум-Техно» — оператор крупнейшей в России службы баз данных (полный список здесь — <http://www.integrum.ru/win/bases/fullist.htm>).

«Kodex-Karelia» — право и экономика для всех.

Словари, энциклопедии, справочные материалы

Как выражаются библиотекари, «литература универсального содержания» — то, что может потребоваться в любой момент.

Раздел «Reference» в каталоге «Yahoo!».

«Все словари, все языки» — этим все сказано.

«Biography.com» — краткие биографии более 20 тысяч людей.

«Reference.com» — предоставляет возможность поиска, просмотра и участия более чем в 150 тысячах телеконференций, списков рассылки веб-форумов.

«Знания обо всем» — мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий».

Электронные библиотеки

Наиболее известной из западных э-библиотек является проект «Гутенберг», действующий с 1991 года и включающий около 2 тысяч художественных произведений на английском языке; из русских — «Библиотека Мошкова», действующая с 1994 года и включающая 12 тысяч текстовых файлов. Отмечу, что э-библиотеки вовсе не обязательно посвящены художественным текстам; здесь возможна самая разнообразная специализация.

«The On-Line Book Page».

«Digital Library Resources».

«DigitalLibrary.net».

«Новости электронных библиотек» — анонсы новых поступлений в русские электронные библиотеки.

См. также статьи о проблемах электронных библиотек в «Русском Журнале»:

Саша Шерман, «Гутенберг будет Федоров?»;

Евсей Вайнер, «НБ — наши библиотеки».

Списки рассылки (mailing lists)

Один из наиболее простых и действенных способов получения информации по интересующим темам непосредственно в свой почтовый ящик.

«Listz» — каталог списков рассылки (более 90 тысяч списков рассылки).

Служба рассылок на сервере «Городской Кот» — около 200 списков рассылки и около 100 тысяч подписчиков; каталог рассылок; статистика подписок на рассылки.

Каталоги и поисковые системы

Наиболее популярными зарубежными поисковыми системами являются «AltaVista» и «Yahoo!», а российскими — «Rambler» и «Яндекс». Существует, однако, громадное количество других поисковых систем для специализированного поиска информации, знать о которых совсем не вредно.

«AllSearch Engines.com» — наиболее полный перечень поисковых систем, включая тематические и экзотические.

«SurfFast.com» — поисковые системы и другие сетевые сервисы в одном флаконе.

Поисковые системы стран бывшего СССР.

Повторю еще раз. Точно так же, как мы не можем прочитать все книги, которые только существуют на свете, или перепробовать все блюда мировой кухни, мы даже теоретически не в состоянии воспользоваться всеми информационными ресурсами Сети. Да и нет такого человека, которому они все понадобились бы. А бесцельно блуждать по Сети, растрачивая время своей жизни, — занятие недостойное, тем более — для профессионала. В Интернете мы с особой остротой сталкиваемся с проблемой выбора. И каждому приходится решать эту проблему на свой страх и риск.

5. Специальные ресурсы для журналистов

Помимо ресурсов «общего пользования» в Сети существуют места, представляющие для журналистов непосредственный профессиональный интерес. К сожалению, русский Интернет пока мало чем может здесь похвастаться. На неразвитость «журналистского» сегмента русской Сети Мирза Бабаев сетовал еще в 1996 году. С тех пор мало что изменилось, но я надеюсь, что приводимый ниже список в скором времени станет возможным пополнить.

Каталоги ресурсов по журналистике

«Yahoo: News and Media/Journalism».

«Guide to Electronic and Print Resources for Journalists».

«Journalistic Resource Page».

Ссылки на ресурсы по журналистике на сайте «Интерньюс Россия».

«Журналистика: вчера, сегодня, завтра».

Информационные агентства

Службы новостей в «Yahoo!».

«Associated Press».

CNN.

«Reuters».

«Рейтер СНГ».

«Национальная служба новостей».

ИТАР-ТАСС.

РИА «Новости».

«Интерфакс».

Организации и службы

«International Federation of Journalists».

«FACSNET» — онлайн-овая бесплатная служба для журналистов (требуется регистрация).

«Internet Press Guide».

«Scholastic Journalism».

«The Pulitzer Prizes».

«Национальный институт прессы».

Перечень российских журналистских организаций на сайте НИП.

Статьи

Р. Апджон, Х. Раффин, «Интернет для журналистов» — русский перевод книги, написанной в 1995 году. Многие устарело, но почитать полезно.

Мирза Бабаев, «Журналистика и Интернет».

Саша Шерман, «И-зин против Магазина, или Искусство быть плохим».

Наталья Хайтина, «Интернет для журналистов или журналисты для Интернета» // «Мир Интернет», 1998, № 4.

6. Интернет и закон

Сняв многие из существовавших ранее ограничений на производство, распространение и воспроизводство информационных продуктов, Интернет поставил перед юристами проблему поиска адекватных законодательных решений, приложимых к новым условиям существования информации. Речь идет прежде всего о способах защиты интеллектуальной собственности и авторского права в цифровой среде.

Существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Регулирование Сети предполагается осуществлять либо «по закону» (государственное регулирование), либо «по совести» (сетевое самоуправление в духе «Декларации независимости киберпространства»). И тот, и другой подход страдают рядом очевидных недостатков. Поскольку Интернет — явление планетарного порядка, его регулирование не может осуществляться в рамках отдельного государства или государств. Необходимы международные соглашения по поводу Интернета, а это дело туманного будущего. С другой стороны, очевидно, что далеко не во всех случаях «неписанные законы» сетевого сообщества способны разрешить возникающие в Сети проблемы. По всей видимости, оптимальное решение лежит где-то посередине: необходимо разделение юрисдикций. Какие-то вопросы вполне могут решаться

сетевым сообществом и его «органами»; для решения других понадобится, видимо, прояснить существующие законы относительно авторского права и приспособить их к условиям сетевой среды. Адекватных решений пока не найдено.

Вопрос об особом «сетевом праве» остается открытым. Вот что пишут об этом эксперты.

«Пока преждевременно говорить о сетевом праве (англоязычные синонимы — cyberlaw, weblaw, Internetlaw) как об отдельной отрасли права, так как оно не обладает ни собственным предметом, ни методом правового регулирования. <...>

Сетевое право возникнет лишь тогда, когда законодатель предпримет определенные усилия по закреплению организационно-правовых форм всех тех отношений, которые сейчас уже реализуются через Сеть, — это будет комплексная отрасль права, для которой будут характерны признаки как гражданского, так и административного права» (Александр Ивлев, «Право и Интернет»).

«Какого-то особого механизма защиты авторских прав в Сети в настоящий момент не существует» (там же).

«Интернет с самого начала был задуман и реализован как средство свободного распространения информации. <...>

Вопрос о регулировании Интернета рано или поздно приобретет остроту, сравнимую с вопросом об отношении к абортam. И решится он, по-видимому, очень похожим образом. Большинство рано или поздно смирится с фактом, что прямо не задевающие его интересы поступки отдельных людей — это личное дело тех, кто их совершает, как бы мало это ни нравилось большинству. Консервативные политики будут размахивать флагами подобающих случаю цветов, пытаясь привлечь под свои знамена недовольных, но тщетно: к свободе, как к „крэку“, привыкают после первого употребления...» (Николай Чувахин, «Право и Интернет: а есть ли пересечение?»).

Как показал Джон Перри Барлоу в своей работе «Продажа вина без бутылок: экономика сознания в глобальной Сети», традиционное законодательство относительно интеллектуальной собственности не приспособлено для защиты «текучих» информационных продуктов и требует коренного пересмотра своих базовых принципов. В заключительной части своего труда он намечает основные направления этого пересмотра.

«В отсутствие старых вместилищ почти все, что мы думаем и знаем об интеллектуальной собственности, является ложным. Нам придется переучиваться. Нам придется научиться смотреть на информацию так, как будто мы никогда не видели ничего подобного.

Те виды защиты, которые мы разработаем, будут в гораздо большей степени основываться на технологии и этике, чем на законе.

Криптография будет технической основой для большей части способов защиты интеллектуальной собственности. (По этой, как и по другим причинам, она должна стать намного более широко доступной.)

Экономика будущего будет основываться скорее на отношении, чем на владении. Она будет скорее непрерывной, чем последовательной.

И наконец, в ближайшие годы обмен между людьми станет по преимуществу виртуальным, а не физическим, состоящим не из материи, а из того вещества, из которого сделаны сны. Наш бизнес будет вестись в мире, сделанном более из глаголов, нежели из существительных».

В России ситуация с «сетевым правом» и защитой цифровых продуктов остается крайне смутной. Как пишет один из авторитетов в этой области, «в РФ судебных прецедентов, связанных с использованием Сети, нет. Как, впрочем, нет и специализированного законодательства, имеющего предметом своего регулирования Сеть. Очень трудно предсказать, как пойдет правоприменение в РФ. Тем не менее, чем активнее будет использоваться в стране Интернет, тем больше будет конфликтов относительно использования объектов авторских прав в Сети (а на настоящий момент таковых уже насчитывается немало) и тем скорее все будет доходить до судебных разбирательств, которые, создав правоприменительную практику, позволят более уверенно чувствовать себя правообладателям в сети Интернет, так как будет выяснен предел осуществления защиты авторских прав» (Виктор Наумов, «Проблемы реализации авторских прав в сети Интернет»).

Пока этот предел не выяснен, русское сетевое сообщество пытается решить проблему защиты своих авторских прав самостоятельно. Так, в рамках Содружества русских онлайн-периодических изданий «Еже» создан специальный орган, призванный защитить производителей сетевого содержания, — так называемая «Доска позора», на которую помещается информация о нарушителях авторских прав в русской Сети. Регламент этого органа определяет свою функцию следующим образом: «„Доска позора“, или „Hall of Shame“ (в дальнейшем ДП), защищает права автора на его интеллектуальную собственность в пределах сети Интернет. <...> Решают, кого помещать на ДП, подписчики ЕЖЕвого мэйл-листа — неофициальная гильдия онлайн-периодических изданий, объединяющая около сотни видных деятелей Рунета».

Случаи нарушения авторских прав в Сети рассматриваются в списке рассылки «Ezhe»; во многих случаях конфликтные ситуации удается уладить, не доходя до обнародования имен нарушителей на «Доске позора». Выяснилось, однако, что этот механизм хорошо рабо-

тает лишь во внутрисетевых рамках. В большинстве случаев, когда в деле оказываются замешаны традиционные СМИ, ворующие материалы из сетевых изданий (что, как известно, является довольно распространенной практикой), попытки восстановить справедливость, не прибегая к «внешним» мерам воздействия (обращение в суд и т.п.), оказываются неэффективными.

7. Журналистская этика и Netiquette

Проблема авторского права, затронутая выше, применительно к журналистской деятельности, в ходе которой используются сетевые источники, является, по сути, надуманной. Нарушение авторских прав производителей сетевого содержания, столь часто осуществляемое представителями традиционных СМИ, свидетельствует лишь об их непрофессионализме. Здесь нет никакой сетевой специфики, есть элементарное невежество и несоблюдение профессиональных этических принципов.

Пункт 8 «Кодекса профессиональной этики российского журналиста», в частности, гласит: *«Журналист уважает и заставляет уважать авторские права, вытекающие из любой творческой деятельности. Плагиат недопустим. Используя каким-либо образом работу своего коллеги, журналист ссылается на имя автора».*

Загадочным образом даже солидные издания забывают об этом элементарном правиле, горстями черпая информацию из сетевых источников.

«Я могу сегодня, читая любое бумажное московское издание, посвященное международной или компьютерной тематике, слушая радиопередачу или смотря телепрограмму, безошибочно определить, откуда в Интернете постоянно черпают информацию ее создатели. Однако за единственным (и отпадным) исключением рубрики „Save As...“ в еженедельном журнале „Итоги“, я не могу назвать ни одного издания, радиопередачи или телепрограммы, редактор которой потрудился бы честно указывать в выходных данных: „информация взята из „Вечернего Интернета“, „Паравозов-Ньюс“, „Национальной службы новостей“, конференции fido7.ru.internet.provider, перепечатана с сервера <http://www.anekdot.ru/>, вычитана из путеводителя Аси Патрышевой“, — каждый раз, когда соответствующие источники используются... Ссылаться на агентство „Reuters“, CNN или „Associated Press“ все уже научились. А как доходит дело до Интернета — воцаряется гробовая тишина, наводящая на мысль о том, что информация, которую ты уже читал в Сети две-три недели назад, самозародилась в данном конкретном СМИ самым что ни на есть волшебным образом» (Антон Носик, «Давайте ссылаться на Сеть»).

В большинстве таких случаев источник либо вообще не указывается, либо имеет место прямой плагиат — взятая из Сети статья или иной материал подвергается минимальной правке и публикуется под чужим именем. Ссылки типа «по материалам Интернета» также нельзя признать удовлетворительным решением проблемы. По своей нелепости и цинизму такая манера ссылаться ничем не отличается от ссылок наподобие «как пишут газеты», «по телевизору сказали» или «запись по трансляции».

Вовсе не обязательно усматривать здесь какой-то заговор традиционных СМИ, которые умышленно замалчивают Интернет, поскольку видят в нем опасного конкурента. Обычно причина гораздо тривиальнее: авторы и редакторы традиционных СМИ просто не привыкли работать с Интернетом — он по-прежнему кажется им экзотическим фруктом, который непонятно, как готовить и с какой стороны откусывать. Они никак не могут поверить, что Сеть — это полноценная медийная среда, ничуть не менее мощная, чем бумажная пресса, радио и ТВ.

И среда эта вовсе не анонимна. Это не «Солярис» и не «Акаша-хроника», где все просто существует или само собой возникает неизвестно как и откуда. В этой среде есть издания, у которых есть названия, и авторы, у которых есть имена и фамилии (или, по крайней мере, псевдонимы). Если журналистам удастся, наконец, осознать этот факт, то множество проблем отпадут сами собой. Чтобы решить проблему защиты интеллектуальной собственности в Сети, не нужно выдумывать никаких новых правил, нужно просто применить существующие.

Первое правило таково: **если вы используете материалы, опубликованные в Интернете (будь то тексты, фотографии, дизайн, статистические данные и т.п.), — ссылайтесь на источник.** Следует указывать название сетевого издания или сайта, а также имя автора и название использованного материала. Кроме того, если вы пишете для печатного или сетевого издания, уместно указать URL — адресную ссылку на источник. (Применительно к телевидению и — особенно — к радио это не всегда просто, тем более, если адрес длинный.)

Второе правило: **если вы хотите опубликовать сетевой текст или его перевод полностью — свяжитесь с автором и попросите у него разрешения.** Как правило, любые подписанные материалы в Интернете содержат адрес электронной почты автора — воспользуйтесь этим преимуществом сетевой среды. В своем запросе представьтесь, вежливо изложите свою просьбу, сообщите о предполагаемых сроках и условиях публикации. Помните: *«использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами*

только с согласия правообладателя» (ГК РФ, статья 138). Публикуя сетевые материалы без согласия автора, вы нарушаете как закон, так и элементарные правила этики.

Третье правило: **при наличии копирайтной информации на сайте или странице внимательно ознакомьтесь с условиями использования материала и следуйте этим условиям.** Как правило, они сводятся всего лишь к требованию сослаться на источник при воспроизведении или цитировании.

Упомяну о некоторых других важных моментах, относящихся к профессиональной этике журналиста, которые приложимы к Сети так же, как и любой другой сфере.

Точность — поиск истины, нераспространение ложной информации, проверка сообщаемых фактов, использование нескольких независимых источников.

Объективность — разделение фактов и мнений; соблюдение принципа нейтральности при наличии собственного взгляда на вещи.

Достоверность — исправление ошибок и принесение извинений через свой орган печати в случае публикации ложных или искаженных сведений, независимость и неподкупность (не принимать вознаграждение или гонорар от третьих лиц за публикации материалов и мнений любого характера), недопустимость смешения журналистской и рекламной деятельности.

Защита общества — уважение достоинства и чести людей, которые становятся объектами профессионального внимания журналиста, презумпция невиновности, рассмотрение клеветы и злонамеренного искажения фактов как тяжких профессиональных преступлений.

Свобода мнений — соблюдение конфиденциальности и права личности на частную жизнь.

Помимо этого, работая в Сети, журналист неизбежно вступает в прямое или косвенное взаимодействие с большим количеством людей, становясь тем самым членом сетевого сообщества.

Как и в любой социальной среде, в Сети (которая, возможно, является сейчас самой широкой из всех социальных сред) существуют свои неписанные законы и правила, регулирующие поведение членов сообщества и позволяющие Сети поддерживать собственное существование, не прибегая к внешнему силовому вмешательству. Эти правила получили название *Netiquette* (сетикет или сетевой этикет).

Некоторые люди попытались зафиксировать эти неписанные правила в письменном виде для того, чтобы «чайникам» — новичкам, попадающим в Сеть, — было легче сориентироваться и не попасть впросак, совершая по неведению поступки, совершать которые здесь не принято. Например, заниматься массовой рассылкой коммерческих предложе-

ний, без разрешения копировать тексты и графику с чужих сайтов на свои страницы, вступать в дискуссию, не разобравшись, о чем идет речь, и не зная ее участников и т.п.

Исторически принципы сетикета были сформулированы применительно к переписке по электронной почте и дискуссиям в юзнетовских группах новостей (телеконференциях), но с течением времени распространились и на другие формы активности в Сети.

8. Эксперты

Для все большего количества людей Сеть становится не просто вспомогательным инструментом для получения информации, общения и развлечения, а основной сферой деятельности. Сеть для них — основное место работы, источник заработка и жизненная среда. Естественно, что уровень их компетенции в вопросах, связанных с Интернетом, выше, чем у обычных пользователей. Профессионалов в области Интернета, заслуживших общественное признание благодаря своей деятельности, называют латинским словом *«digerati»*, а также сетевой, или кибер-, элитой. Этим людям полезно знать. Если у вас возникнет потребность получить профессиональную консультацию по тем или иным сетевым вопросам, лучше всего обращаться именно к ним. Мне уже приходилось писать о том, как образуется киберэлита и кто туда входит, поэтому просто отошлю к уже написанным статьям. Замечу также, что вовсе не обязательно быть причисленным к элите, чтобы разбираться в своей профессии. Иногда проще обратиться за советом или консультацией к знакомому программисту или просто пользователю со стажем.

9. Сетевая журналистика

Не так уж важно, какие именно ресурсы в Интернете мы будем считать «настоящими» СМИ, а какие нет. Формальные критерии тиража, периодичности или регистрации в Министерстве печати и информации РФ здесь работают плохо. Сетевая среда ускользает от бюрократического регулирования и большинство законодательных решений оказываются здесь просто неприменимыми. Что действительно важно, так это то, что многие сетевые образования являются *de facto* медийными структурами, поставляющими информацию громадной аудитории.

Активно развивается сетевая (онлайновая) журналистика со своими особыми приемами и способами подачи материала. Большая часть так называемых сетевых деятелей является в той или иной степени сетевыми журналистами.

Основные особенности « сетевого текста » — сжатость, членение на части, нелинейные расширения за счет использования гипертекстовых ссылок и мультимедии и т.д. — определяются спецификой Сети как медийной среды и особенностями восприятия информации с экрана монитора.

Возможность незамедлительной публикации материалов по мере их поступления приводит к тому, что зачастую сетевые издания оказываются оперативнее газет и телевидения.

Доступ к архивам издания и внешним электронным ресурсам делает возможным «объемное» видение темы и проведение самостоятельных журналистских исследований.

Различные формы обратной связи позволяют читателю активно участвовать в производстве информационного продукта и размывают грань между автором и читателем.

Относительно малая себестоимость сетевых проектов и отсутствие централизации благоприятствует расцвету узкоспециальных, маргинальных и личных электронных колонок, газет и журналов. Тем самым обеспечивается гарантированная конституцией свобода слова и самовыражения.

Конечно, существует здесь и своя темная сторона. Легкость публикации при возможности сохранения анонимности может вести к злоупотреблениям. Дезинформация, плагиат, экстремизм, порнография, мошенничество, воровство, непрошенная реклама — все это тоже реалии Сети. На это не нужно закрывать глаза, но и впадать в панику тоже не стоит. В конечном счете, Сеть — зеркало жизни, и отрицательных моментов в ней ничуть не больше, чем в «реальном мире». Чтобы защитить себя от них, следует соблюдать правила «информационной безопасности» и просто следовать здравому смыслу. А главное — самому вести себя достойно и «помнить лицо своего отца».

10. Интеграция СМИ

Формы взаимодействия между традиционными и сетевыми СМИ многообразны: ссылки, цитирование, рефлексия, самоперевод в параллельные медийные среды.

Сегодня невозможно представить себе ни одного крупного СМИ, будь то информационное агентство, газета, радиостанция или телевизионный канал, без своего представительства в Интернете. При зрелом подходе владельцев такое представительство очень скоро перерастает функции «информационного сайта», содержащего лишь общие сведения об СМИ и образцы производимой им инфопродукции, и становит-

ся самоценным информационным ресурсом, в некоторых отношениях превосходящим «оригинал».

Однако взаимодействие медийных сред в настоящее время неравномерно. Сетевые СМИ охотно используют прессу и вещательные средства в качестве источника и объекта анализа. Традиционные же СМИ охотно презентуют себя в Интернете, но при этом склонны рассматривать последний как анонимную среду, которая хотя и порождает время от времени события, достойные упоминания, однако сама по себе не обладает реальным медийным статусом.

В ближайшем будущем можно ожидать более тесного взаимодействия и взаимопроникновения сетевых и традиционных СМИ. Они выполняют одну и ту же функцию, и их значимость в общественном сознании неуклонно сближается. Не за горами то время, когда в телевизионных обзорах прессы, следующих за программой новостей, сетевые публикации будут обсуждаться на равных с публикациями бумажной прессы. При этом что сами эти телевизионные передачи можно будет запросто смотреть через Сеть.

27 мая 1999 года

ЮЛЯ ФРИДМАН

Дмитрий Вулис, Ph.D., и Пользователь Красная Шапочка

«Волк (Canis lupus) — хищное млекопитающее сем. псовых (Canidae). Дл. тела 105-160 см; вес — 35-50 кг, как редкое исключение — до 76 кг. Распространен в Европе, Азии и Сев. Америке; в СССР отсутствует лишь на Соловецких о-вах, в юж. части Крыма и на нек-рых о-вах Д. Востока и Полярного бассейна. Наиболее многочислен в степи, особенно в районах вольного выпаса скота; часто встречается в пустыне, но в сплошной тайге редок. Окраска серая; тундровые В. более светлой окраски, пустынные — серовато-рыжей. Питается преим. животной пищей: дикими и домашними копытными, собаками, зайцами, мелкими грызунами. В период размножения В. живут парами, поздней осенью и в начале зимы иногда собираются в стаи до 10-12 зверей. [...] В. наносит вред животноводству и охотничьему х-ву; уничтожение В. разрешено по всей территории СССР в любое время года.

Волк (лат. Lupus) — созвездие Юж. полушария неба. Самая яркая звезда 2.3 визуальной звездной величины. Наиболее благоприятные условия видимости в апреле-мае. Видно в юж. районах СССР. См. Звездное небо.»

Большая Советская Энциклопедия. Третье издание.

1. Вступление о вирусах

*«Уважаемый автор „Вечернего Интернета“,
отправляю Вам
открытое письмо, смысл которого ясен
из его содержания.»*

Из записей в гостевой книге.

Язык, как известно, — не что иное, как вирус из космического пространства.

Единожды проникнув во вселенную, вирус постепенно заполняет ее, встраиваясь в чужие структуры, необузданно размножаясь путем механического самовоспроизведения... Возможно ли остановить или хотя бы задержать роковой процесс?

Как, наконец, проследить движение, развитие и естественные мутации того или иного вируса, например, в Интернете?

На эти вопросы наука не дает прямого ответа. Однако молва стоит в воздухе: вирус «хуз», попавший к нам из Киева, заразил двух известных вирусологов — А. Чернова и Е. Простоспичкина. Эти отважные ученые, открывшие новый опасный вирус, назвали его «робот дацюк» по традиции, сложившейся внутри этой области. Несмотря на все предосторожности, вирус будто бы вышел из-под контроля, так что усилия естествоиспытателей лишь способствовали появлению новой, заметно эволюционировавшей версии первичного организма.

Опасности подстерегают пользователя Интернета на каждом перекрестке. Следуя известному идеологу постмодернизма, итальянскому писателю Умберто Эко, можно уподобить Интернет Дремучему Лесу, в котором блуждает, беспечно перебирая клавишами, юзер Красная Шапочка. Она давно покинула Дом и идет к Бабушке долгой дорогой, порой оскользаясь на поворотах. И вот, наблюдая, как она собирает цветы, древний и матерый, из первых обитателей Леса, *Волк* выходит к ней на дорогу для разговора.

Дмитрий *Вулис* — легендарная фигура международной сети конференций, в том числе, конечно, и русскоязычного Юзнета. Принято называть страничку анекдотов Вернера как первое заметное русское сетевое «явление международного значения» — но Вулис был раньше. В «Yahoo» Дмитрию Вулису посвящена целая директория.

Чем же он известен и чем славен этот сетевой персонаж на просторах русскоязычного Интернета и за его пределами? Воображаемая анкета среди населения нашей Сети дала бы, думается, весьма и весьма неоднозначные результаты. Попробуем привести несколько возможных ответов в беспорядочной нумерации.

1 Старожил Юзнета, из числа так называемых «зубров», основатель и участников первых русскоязычных конференций. Свидетель первых дней творения, живая легенда. Как все представители этой расы, виртуоз обценного дискурса.

2 Рыцарь Свободы Слова в Сети, член ордена Freedom Knights, самоотверженных бойцов с Тайной Кликой Системных Администраторов, претендующих на власть надо всем и вся в Интернете. Орден защищает свободу всякого слова, в том числе и так называемого «электронного

спама», от посягательств всевозможных цензоров и модераторов. Принадлежность Дм. Вулиса к данному Ордену, впрочем, иногда публично оспаривается, ведь она не может быть подтверждена документально.

3 Опасный социопат, клеветник и клязник.

4 Гроза клязников и социопатов в Сети. Сторонник истребления врагов их же собственными методами. Духовный расист: американских иммигрантов, носителей советской (тж. «совковой») ментальности призывает «депортировать железной метлой».

5 Американский иммигрант из бывшего СССР. Программист, в последние годы — доктор (Ph.D.) математических наук. Типичный носитель советской (тж. «совковой») ментальности.

6 Поборник Справедливости в ортодоксально иудейском понимании термина: глаз за глаз, ухо за ухо. Ср. Клятву Молодогвардейца и Торжественное Обещание Юного Пионера.

7 Сионист, гроза юдофобов на Интернетe. Заодно пугает и русофобов. Махровый антисемит.

8 Глава клики лгунов и клязников, подделывающих чужие статьи в разнообразные конференции. Злой гений русскоязычного Интернетa, находящий удовольствие в чужих страданиях. Неизлечимый мизантроп.

9 Дмитрий Вулис взломал мой account. Он, в частности, читает мою почту, пишет письма и статьи от моего имени, стирает и создает файлы в моих директориях. Не так давно он научился говорить моим голосом и подделывать телефонные разговоры.

10 Дмитрий Вулис — коллективный псевдоним группы взбунтовавшихся пациентов психиатрической клиники.

11 [Реальный ответ действующего программиста.] *«Кто такой Дмитрий Вулис? Знаю, знаю. Составитель таблицы переносов для русского TEX'a! А вы мне его E-mail случайно не скажете?»*

12 Черт с хвостом и рогами. Притворяется искусственным интеллектом.

Разумеется, всех возможных ответов не исчерпать. К тому же, некоторые из приведенных выше пунктов сами по себе требуют разъяснения. В последующих параграфах мы и постараемся его предоставить. А пока — последний на это Вступление пункт номер...

13 Дмитрий Вулис — санитар Дремучего Леса! Смотри в оба, юзер Красная Шапочка, и ты, юзер Бабушка, будь начеку.

2. Вопросы альтернативной истории

*«Я взяла свою Мутлу
И поставила в углу.
Если в дом войдет чуждой,
Прогоню его Мутлой!»*
Народное.

В начале девяностых турецкая государственность подчинила искусственный интеллект своим интересам. Это важное политическое событие мощной волной так называемых «кросспостов» и «фоллоу-апов» обрушилось на плечи не подготовленных поначалу обитателей Юзнета. Иных затопило, прочие отделались сравнительно тяжелыми душевными травмами — но вдумчивые наблюдатели, залегшие в пещерах, встали неповрежденными и вынесли из всего этого для себя хороший урок.

Мутлу, Сердар Аржик, другие товарищи, чьими именами называли роботов — пропагандистов турецкой политической мысли, постепенно стали народными героями Юзнета. Их воспевали поименно и совокупно, о них распевали частушки, с ними сравнивали, на них равнялись. Мучительно непостижимые, как драконы, они подвергались атакам деятельных витязей, защитников прямолинейного исторического времени. Драконов в их логове застроили стеной киллфайлов, отгородившись от их опасных испарений, — и те же стены погребли под собою незадачливых змеборцов.

Содержание заметок, а если судить по объему — солидных трудов, по альтернативной истории сводилось к следующему. «Как известно», в 1914–1915 годах армянские националисты устроили геноцид турецкого народа, причем скорбный список жертв этого жестокого преступления насчитывал до двух с половиной миллионов человек. Женщин и детей, в основном. Далее приводились фамилии главных палачей турецкого народа, иногда с биографическими подробностями, и красочное описание уникальных зверств. От армянского народа (вариант — правительства) в связи с вышеизложенным требовали: чистосердечного признания и денежной, равно как и территориальной, компенсации.

Однако роль собственно тезисов и даже обстоятельств, с какой они настойчиво подавались во всевозможные конференции международной Сети (вплоть до «групп новостей», целиком посвященных вопросам ухода за домашними животными!), — эти роли не следует переоценивать. Основная функция турецких патриотических роботов была сугубо интерактивной.

В Юзнете, подписавшись на ту или иную конференцию (newsgroup), читатель имеет возможность не только послать в нее собствен-

ное, независимое сообщение, но и ответить публичным письмом на затронувшую его по тем или иным причинам статью другого автора (follow-up). А также, если сочтет нужным, расширить «шапку» сообщения с тем, чтобы его письмо (возможно, с цитатами из предыдущего оратора) попало еще в какие-нибудь тематически причастные к обсуждению конференции (crossposting).

Программируемые драконы турецкой государственности, разумеется, эксплуатировали все эти опции. Поиском на ключевые слова («Turkish», «Turkey», «Armenian», «Mutlu», «Serdar Argic» etc.) находились подходящие статьи для подробного, развернутого «ответа» с цитатами — само собою, компьютерно генерированные. А вот по какому принципу в «шапку» добавлялись (дюжинами) новые группы, этого наука разгадать не смогла.

Ответы, как правило, получались недоброжелательные. Выше мы уже упоминали возмущенных борцов за справедливость: легко понять, что новичок, приходящий на Юзнет, мгновенно наткнулся на статьи искусственного турецкого патриота — они были рассеяны повсюду, их было много, избежать встречи при таких условиях невозможно. Его немедленная реакция психологически очевидна: новички всегда попадались на Сердара Аржика. И полемизировали с ним до тех пор, пока не распознавали в нем робота; некоторые, правда, не отступали и после. Но методом лобовой атаки здравомыслящему человеку не осилить машину: упорядоченный хаос и последовательный абсурд на ее стороне. Исполнок веку стихия, даже и гуляя в двоичных кодах, не интересуется логикой.

Но чаще всего робот сражался с невольными оппонентами. Последние, бывало, о том и не подозревали, ведь они давно обустроили свои киллфайлы (позволяющие отбрасывать статьи по исходному адресу или ключевым словам, не читая). Так, было замечено, что пик политической активности искусственного интеллекта приходится на День Благодарения — последний четверг ноября. В этот день в Америке принято подавать к праздничному столу индейку, которая по-английски называется «turkey», то есть не что иное, как отечество робота-патриота, написанное со строчной буквы. А программы поиска обыкновенно не различают прописные и строчные.

И вот невинный бытописатель, к слову упомянувший домашнюю птицу, жареную или запеченную, скажем, с яблоками, сей же момент подвергнулся тщательно разработанному нападению. Его фамилия при этом видоизменялась на армянский лад: Смит становился, например, Смитесяном; аккуратно цитируя рассуждения о том, как правильно готовить индейку, неумолимый обличитель обвинял их автора в леденящем душу цинизме, фашизме, национал-социализме, заново переска-

звал к слову содержание «исторических документов» пресловутого геноцида турецкого народа, к которому предки автора, «преступные бабушки и дедушки» (кровавый генерал Смитосян), оказывались непосредственно причастными.

Словом, массовые убийцы ни в чем не повинных индюков и индеек, не щадившие престарелых и инвалидов, получали по заслугам в тот день.

Дмитрий Вулис — в самом деле старожил Юзнета, один из участников и создателей первых русскоязычных конференций, — подружился с Сердаром Аржигом. Иногда он вступал с ним в вежливые переговоры, просто хвалил публично (по каким-то на удивление косвенным поводам), а то и указывал роботу на потенциальных жертв, и тот набрасывался на них с мстительным удовольствием не способной устать машины.

В целом нельзя не признать, что пропагандистский бред, разносимый во все части света вполне безответственными электронами, подавлял население Сети грандиозностью объема в килобайтах и кощунственной несообразностью содержания. И потому лишь немногие отмечали для себя его странную, извращенную привлекательность, таившуюся в эстетике (а для кого и мощной методологии) живого оксюморона, воинствующего абсурда. А ведь, что особенно поразительно, находились люди, на которых эта пропаганда *действовала*. Не русские, худо-бедно знающие историю сопредельных, но американцы, достаточно невежественные — и, как они сами о себе говорят, достаточно «орепмinded», чтобы прислушиваться к любой версии, от кого бы (или чего бы?) она ни исходила. Так, на роботов то и дело получались ответы вроде: «Ну, 2,5 миллиона — это что-то много... Я допускаю, что геноцид имел место, но жертв было не два с половиной миллиона, а, скажем, 800 тысяч. В любом случае нам всем есть о чем задуматься...» (Кое-кто подозревал поначалу, что программа научилась отвечать сама себе с аутентично американских адресов; строго говоря, вопрос этот так до конца и не разъяснился. Человека не всегда легко отличить от машины, это в обратную сторону проще.)

И здесь снова хочется задаться вопросом: может ли человек победить машину?.. И да, и нет. *Нет*, если попытается играть с нею по привычным, хотя и столь же не формулируемым человеческим правилам. И да — если сможет понять ее, больше того — построить ее в себе. Как некий доктор Strangelove, он усвоит, примет в свою кровь эстетику механизма, и за это его перестанут считать человеком. Если гуманистическая этика (как многие думают) имеет эстетические корни, то красота, как ее понимают машины, чужда всякой морали.

С некоторых пор доктор Вулис завел себе, среди прочих, «alias» AI (artificial intelligence) Simulation Daemon и, посылая статьи с этого адреса, автоматически указывал в подписи: *«Лучшие искусственный интеллект, чем никакого»*.

Новый Демон, помимо искусственного интеллекта, отличался вполне нечеловеческой фантазией. Он чрезвычайно изобретательно изрыгал непристойности в адрес оппонентов своего ученого хозяина, рассказывал истории из их биографии (весьма и весьма частного толка), которые затем пояснял аккуратно исполненными порнографическими картинками в ASCII-графике. Его известное — компьютерно генерированное, разумеется, если верить подписи — исследование «Откуда берутся Влады», посвященное Владу Р., старинному, как и Вулис, обитателю Юзнета, долгие годы тщетно вдохновляло последователей; никому, однако, не удалось превзойти, хоть бы и в одном только изяществе слога, основополагающий труд.

А собственно подпись, вместо имени и фамилии, была такая: *«This posting was generated by an artificial intelligence program»* («Эту статью сочинила программа искусственного интеллекта»).

Один человек победил машину, построив ее в себе. Сперва, однако, это событие в русскоязычной Сети прошло незамеченным. И лишь много позже, когда стали вскрываться последствия...

3. Кидание огнем, фискальное искусство и популярная психиатрия

1. *«Жили-были два крестьянина по соседству друг от друга. Они все время ссорились, дрались и никак не могли помириться, то и дело докучая бургомистру, пока того не взяла досада. Однажды вечером они снова явились к дому бургомистра, и один из них принялся яростно стучаться. На стук выбежала жена бургомистра, чтобы впустить стучавшего. Однако, увидев двух сварливых крестьян, она сказала: „Вы опять здесь, задиры! Как это так — вы, крестьяне, все время бесчинствуете, деретесь, злобствуете? Вот уж впрямь задиры!“ Тогда один крестьянин ответил: „Госпожа, а не шлюха ли Вы?“ Жена бургомистра набросилась на крестьянина с ругательствами: „Ты негодяй, ты мошенник, ты заплатишься за это, я тебе этого так не оставлю!“ Крестьянин ответил: „Вот так и мы, крестьяне, между собой цапаемся. Я ведь только спросил, не шлюха ли Вы“»*

Немецкие шванки и народные книги XVI века.

2. *«[...] И еще — в „Собрании бесед“ Сюй Инцю записано:*

„Безголовые люди плетут из травы туфли. Погибшие в сражениях возвращаются и [ведут себя] как живые. Жены и дети вводят пищу и питье им в горло. Если

они хотят есть, то пишут слово „голоден“, а если не хотят, то пишут „сыт“. Так они существуют еще лет двадцать, а потом умирают.

И еще: когда генерал Цзя Юн был обезглавлен, он вернулся, неся свою голову в руках. Встал перед лагерем и спросил:

— С головой красивее или без головы?

Люди в лагере ответили:

— С головой красивей.

— Невérно, — сказал Цзя Юн, — без головы тоже красиво.

Эти [примеры] тоже относятся к категории „наказанных небом“.

Юань Мэй. «Страна наказанных небом».

Третий эпиграф слишком длинный, так что придется внести его в основной текст. Это перевод отрывка из книги «The Black Arts» Ричарда Кавендиша (издание Caragon Books, NY., 1967, с. 34-37), любезно подобранного для наших целей Димой Калединым. Итак.

«В 1875 году, когда умер Винтрас, предводителем „Труда Милосердия“ стал католический священник-расстрига, аббат Булан. Это подготовило сцену для „великой магической битвы“ 1880-х и 90-х.

Булан родился в 1824 году. По принятии сана он сделался духовным наставником монахини по имени Адель Шевалье, слышавшей потусторонние голоса и утверждавшей, что сама Дева Мария однажды излечила ее от болезни. Булан и Адель Шевалье стали любовниками. В 1859 году они основали Общество Исцеления Душ. Общество это, вопреки высокопарному названию, посвятило свою деятельность сексуальной магии и (по крайней мере, один такой случай известен) ритуальному убийству. 8 декабря 1860 года в ходе богослужения Булан предал торжественному заклятию младенца, которого родила ему Адель Шевалье. В углу левого глаза (так как левая сторона принадлежит злу) Булан велел нанести себе татуировку в виде пентаграммы и служил Мессу в одеяниях, узорно расшитых изображением перевернутого распятия. Своей специализацией он считал экзорцизм — изгнание злых духов. Монахиням, которые жаловались на то, что их мучают черти, он рекомендовал употреблять вовнутрь освященный хлеб причастия, перемешанный с фекалиями (так как последние, будучи удобрением, содержат мощный запас жизненных сил). Помимо этого он обучал их искусству самовнушения: ученицам надлежало представлять себе в живых подробностях, как они совокупляются с Христом и святыми, — и объяснял им, как осуществлять соития с его собственным телом в астрале.

В 1875 году Булан объявил себя реинкарнацией Иоанна Крестителя и новым вождем „Труда Милосердия“. Некоторые члены секты отказались его признать, но в Лионе он собрал вокруг себя группу последователей. К

концу 1886 года их посетил молодой маркиз Станислас де Гэта (Guaita), давно уже пристрастившийся к морфию и впоследствии основавший каббалистический Орден Розы и Креста в Париже. Гэта годом раньше прочел Элифаса Леви и был тогда чрезвычайно увлечен изучением и практикой магического искусства. В Лионе он провел две недели и покинул его в возмущении. Булан полагал, что путь человечества к Богу лежит через половой акт. Он поощрял сношение с потусторонними существами, а также с другими смертными, и его группа устраивала церемониальные Воссоединения Жизни, или ритуальные совокупления. Гэта сказал, что непосредственным результатом булановского учения стали беспорядочный разврат, кровосмесительство, звероложество и рукоблудие, благоговейно практикуемые как формы истинного поклонения.

Месяцем позже последователь Булана по имени Освальд Вирт также не выдержал и сбежал из Лиона. Гэта и Вирт объединились против Булана. В мае 1887 года в письме к Булану они объявили, что судили его и признали виновным. Впоследствии они объясняли, что в их намерения входило всего лишь разоблачить Булана публично как негодяя, но сам Булан был убежден — быть может, не без оснований, — что они собирались уничтожить его посредством черной магии. Он принял меры, необходимые для самозащиты, и великая магическая битва началась.

Сейчас, читая историю этого колдовского противостояния, невозможно удержаться от смеха; однако же участники ее в те времена не находили в ней ничего забавного. Нельзя сказать наверное, прибежал ли Гэта с сообщниками к каким-либо магическим средствам, но факт, что Булан в этом не сомневался и, поскольку речь шла о его жизни и смерти, выбирал для ответного удара самые опасные чары и заклинания. Экономка Булана, Жюли Тибо, помогала ему в этом: она была ясновидящей. Один из сторонников Булана, Жюль Буа, описывая сцену в Лионе, рассказал, что Булан спросил у Жюли Тибо, видно ли ей, чем заняты коварные злоумышленники. Она ответила, что те кладут портрет Булана в гроб (с тем, чтобы убить его посредством симпатической магии). Затем она заявила, что они служат по нем Черную Мессу. Булан парировал церемонией под названием „Жертва Славы Мелхисидека“, в ходе которой „ритуал женского в союзе с ритуалом мужского, красное вино, смешанное с белым, производили... победоносный фермент, сметающий кощунственные алтари и карающий на месте первосвященников Сатанизма“. К несчастью, оказалось, что пресловутый фермент лишь на время вывел из строя сатанинских первосвященников. В какой-то момент, несколько позже, стали слышны таинственные звуки — словно кого-то поблизости бьют кулаком. На лице Булана возникли следы ударов; громко вскрикнув, он разорвал одежды, и все увидели у него на груди кровоточащую рану. [...]

Гюисманс (в этой битве сторонник Булана — Ю.Ф.) писал в письме: „Булан прыгает вокруг, как дикая кошка, сжимая в руке одно из своих причастий, призывая на помощь Св. Михаила и Вечных вершителей Вечного правосудия; затем взбирается на алтарь и кричит оттуда: „Повергни в прах Пеладана, s.d.P., s.d.P.“. И матушка Тибо, сложив руки на животе, оповещает вслух: „Сделано по сему“. (Пеладан — человек из группы Гэты.)“.

Гюисманс постепенно укрепился в уверенности, что Гэта и его преследует своим колдовством. Он ощущал вокруг себя присутствие невидимой силы; иной раз нечто холодное пробежало вдруг по его лицу. В ночную пору на него набрасывались, как он их называл, „флюидные кулаки“. Его кошка, по-видимому, страдала, как он, и от того же. Он обратился к Булану за помощью. Булан прислал ему меченное кровью причастие из коллекций Винтраса и особое масло, приготовленное из мирта, ладана, камфары и пряностей, чьи испарения усмиряют влияние злых сил; масло следовало жечь в камине. (Подобно соли, пряности имеют власть над демонами как вещества, предохраняющие от распада.) Однажды Булан предупредил Гюисманса, чтобы тот завтра не вздумал явиться на службу. Гюисманс остался дома, и в его отсутствие тяжелое зеркало, сорвавшись со стены, упало к нему на стол и разбилось вдребезги. Если бы за столом в тот момент кто-нибудь сидел, его, вероятно, убило бы на месте.

В начале 1893 года битва вошла в решающую фазу. 3 января Булан написал Гюисмансу, извещая его о том, что новый год несет в себе дурное предзнаменование: „Цифры 8-9-3 составляют сочетание, предвещающее плохие новости (возможно, потому, что $8 + 9 + 3 = 20$ и $2 + 0 = 2$, то есть число Дьявола). Прошлой ночью Жюли Тибо видела во сне Гэту, а под утро кричала черная птица смерти. Все это значит, что на нас готовится наступление“. Булан проснулся в три часа ночи и почувствовал, что задыхается. Он потерял сознание на полчаса, но к четырем пришел в себя и рассудил, что опасность миновала. Булан ошибался. Он умер на другой день, 4 января.

И Гюисманс, и Жюль Буа были убеждены, что Булан пал жертвою колдовства. После того как Буа опубликовал жестокие нападки на Гэту, обвиняя его в приверженности к черной магии, Буа и Гэта стрелялись на пистолетах. С приближением дня дуэли все явственней ощущалось, как самый воздух полнится со всех сторон отчаянными заклинаниями. По пути к условленному месту одна из лошадей в упряжке Буа вдруг остановилась, задрожала всем телом и начала спотыкаться, как если бы сам Дьявол преградил ей дорогу. Припадок необъяснимой дрожи продолжался с нею двадцать минут. На поединке каждый стрелял один раз, и оба остались невредимы. После обнаружилось, что в одном из пистолетов пуля застряла в стволе. Сторонники Буа уверяли, что они и заколдовали пистолет Гэты: оружие

выстрелило, но их магия задержала пулю внутри ствола. Три дня спустя Буа дрался на дуэли с одним из друзей Гэты, оккультистом, называвшим себя Папюсом, который написал одно из стандартных руководств по гада-нию на картах Таро. И снова по дороге к месту поединка Буа подвели лошади; надо думать, и здесь не обошлось без вмешательства потусторонних сил. Лошадь, впряженная в его коляску, пала замертво. Он взял было другую, но та, споткнувшись, перевернула коляску. Буа явился на дуэль потрепанный, с кровоточащими ссадинами. Дрались на мечах. Ни один из дуэлянтов не был ранен».

Сюжет, как некий вирус, передается во времени; фарс повторяется в виде фарса. В отрывке, приведенном выше, нам остается лишь изменить фамилии — получим нашумевшую историю из цикла «*Plane wars*», чьи отголоски и по сей день доносятся к нам из разных уголков Юзнета.

С персонификацией, впрочем, не все так просто. Так, Булан, аббат-расстрига, превращается в сумасшедшего адвоката Джона Грубора, изгнанного в свое время из святая святых американской юриспруденции, лишенного сана. Или лицензии. У него своя история: жена с приятелем писали на него жалобы (и его научили), испортили карьеру начинающему юристу, но неожиданно заболели и в один и тот же год оба скончались. Грубор видит в том — по настроению: когда свою личную заслугу, а когда и волю Провидения. Он, однако, не слишком владеет словом, часто повторяется и свои заклинания, или кляузы, составляет чересчур прямолинейно, чтобы быть услышанным в высших сферах.

Но Булан-маг, пролагающий экзистенциальные пути наперерез всем мыслимым нормам морали, Булан, собравший под крыло немало овец с дурными наклонностями и погибший, как истинный пастырь, спасая стадо, — это конечно же доктор Вулис.

Историю битвы *Dimitri Vulis & Co versus Peter Vorobieff & Co* конца 80-х — середины 90-х можно найти во многих публичных архивах Повсеместно Протянутой Паутины ((с) М.И. Мухин, начало 90-х). В конце 80-х, правда, «Со», группа будущих противников Вулиса, начала формироваться без Воробьева. В нее входил, например, уже поминавшийся выше Влад Рутенберг. Позже, в продолжение давней полемики, Вулис от имени искусственного интеллекта окрестил его, среди прочего, плодом не отслеженного вовремя анального зачатия и использовал сюжеты из жизни его семьи для упражнений в порнографическом жанре ASCII-графики. Применялась ли тогда, в самом начале, черная магия взаимных кляуз (а если да, то кто начал первым?), сейчас сказать с уверенностью невозможно.

Настоящий пожар разгорелся позже, с выходом на сцену Петра Воробьева. Воробьев учился в аспирантуре одного из американских

университетов и там занимался гидродинамикой. К моменту знакомства с Вулисом он давно уже пристрастился к компьютеру и прочел труды Лавкрафта, объявив себя адептом магических искусств. Он даже подписывался иногда именем Калмота Злоехидного, а уж по этому признаку можно судить без ошибки.

Вулис в то время (94-й год) занимался гигиенической обработкой конференции soc.culture.soviet. На заре своего существования это была чрезвычайно интересная «группа новостей»: философ Михаил Зеленый обсуждал в ней с научной точки зрения нравственную сторону гомосексуализма, знающие люди Прусс и Лещинер вели историко-лингвистические разговоры, филологи Николаев и Абалович разбирали чрезвычайно скользкую тему влияния Достоевского на Набокова, с попарным переходом на личности (непреложный закон течения юзнетовских дискуссий). Почти во всех этих обсуждениях Вулис принимал вполне компетентное участие. Но постепенно на конференцию стали сползаться обитатели IRC и зашевелили усами, распугивая мирно настроенных старожилов. Объем средней статьи уменьшился до пяти строк, а содержание сводилось в основном к тому, у кого длинней гениталии — у профессионального ли гитариста Захара Майского или у его присутствующих здесь же многочисленных друзей и подруг.

Дмитрий Вулис подошел к делу радикально. Он, со своей стороны, опубликовал в конференции серию непристойных картинок, объявив их портретами одной из участниц этого спора, видимо выбранной произвольно. Воробьев, присмотревшись, ушел было возмущенным, но девушка будто бы написала ему лично с просьбой вступить. И тогда Кальмот Злоехидный, объединивший усилия с давними оппонентами Вулиса, всерьез пустил в ход черную магию. На место учебы Дмитрия Вулиса, в университет CUNY, полетела коллективная жалоба.

В стандартной подписи Вулиса тех лет неизменно стояла фраза: «CUNY is full of GOWNO». На русский не переводится.

Последующие события показали: считая с открытия сезона черной магии фискального слова, Вулис жил в постоянном страхе и собирал силы для контратаки. В своей квартире он оборудовал комнату под архивы: копил компромат на (потенциальных) врагов и хранил его на дисках; иногда распечатывал и тогда аккуратно раскладывал в специальные папки. Был убежден, что за его спиной зреет заговор, который будет стоить ему свободы, а быть может, и жизни, если не нанести вовремя, и со всей осторожностью, продуманный ответный удар.

Между тем давно замечено, что неподготовленных адептов черная магия развращает. Ведь они зачастую прибегают к ней, сами того не подозревая — в особенности те из них, что действуя в интересах добра, не

разбирая дороги, без должной ответственности вступают на левый путь. Неосмотрительность на распутье берет дорогую цену.

Когда и при каких обстоятельствах Воробьев сделал свой неосторожный выбор, историческая наука умалчивает. Известно, что у него были сторонники и последователи; однако ж и врагов он нажил немало. Из числа последних наиболее колоритных персонажей вербовал в свою группу неутомимый Вулис. Глубоко в Лесу он оборудовал себе логово, в минуты жестокого голода по публичному слову совершая короткие вылазки. Подопечные его были весьма и весьма примечательные и в целом стоили дюжины диссертаций по психологии патологий.

Был, например, гражданин, который подписывался: Бегемот. Собравшись, во многом с подачи Вулиса, побороться с Воробьевым, он решил представиться обиженным ребенком четырнадцати лет и прокричать на всех углах Юзнета, что Воробьев его якобы изнасиловал во младенчестве. (Затея сама по себе вполне осуществимая: «On the Net, one never knows whether you are a dog», — гласит известная поговорка.) Бегемот писал об этом почему-то по-французски. С французским у него было не очень: среди прочего, он путал «ans» (мн. ч. от «год») и «anus» (анус). С тех пор как он опубликовал свою обличительную статью, к нему обращались не иначе как «Мальчик с четырнадцатью анусами».

Другого санитара Леса звали Вадиком, а фамилия у него была Полубог. Известно, что он не любил Воробьева и даже, когда магическая битва перешла в решающую стадию (середина 90-х), жаловался ему на работу. Но вот как ему это удалось — загадка для свидетелей. Печатать в конференцию он мог только два сообщения: 1) «Никакой России нет, и русских тоже нет, а есть „чурки“; чурки живут в Чуркии»; 2) «Ты [произвольно выбранный оппонент — Ю.Ф.] пидорас, тебе на зоне жопу порвали». ...Легко ли администрации разбирать подобные жалобы?

Был еще Алекс Яцковский, в прошлом (по его словам) директор завода, секретарь общества «Память», будто бы отсидевший срок за диссидентство. Многие авторы scs (soc.culture.soviet) помнят Алекса по первой его статье, в которой он ругал (и в самом деле отвратительную) нью-йоркскую газету «Новое русское слово». Среди прочего печатному этому органу вменялась в вину нерусскость авторов, лакейский язык и еще нечто вроде обилия «грамматических ошибок». Грамматика — обширная область, но одних только орфографических ошибок в тексте этого обличения было не сосчитать: они попадались буквально на каждой строчке.

На Юзнет Алекс пришел русофилом и юдофобом, но Дмитрий Вулис взял его под опеку и научил бороться с антисемитизмом: как умный пьяница ищет ключи под фонарем, где светлее, так и на Сети, особенно обитая в

Америке, с антисемитизмом бороться намного удобнее, чем, например, с русофобией. Возразит вам какой-нибудь Рабинович, а вы ему: «Shut up, you dandruff-ridden anti-semite!» («Заткнись, антисемит пархатый!»). Американская общественность вас поддержит: антисемиты ей ни к чему.

Правописанию Алекс так и не выучился, зато хорошо усвоил оксюмороничность новой риторики обличения, так что статьи его читались с тех пор как увлекательная поэзия поп-модерна. (Газета «Новое русское слово» между тем, как говорят, научилась пользоваться Word'овским корректором — но языка это им не исправило.)

Мы перечислили несколько сторонников Вулиса в великой сетевой фискальной битве конца 80-90-х. Но их было много, обо всех не расскажешь — и отнюдь не только русскоязычные. Так, роль ясновидицы Жюли Тибо играл американский автор украинского происхождения А. Терстон (Thurston) (aka Alexplore), известный, среди прочего, своими замечательными психологическими прозрениями. Терстон ненавидел иммигрантов из России. Как-то раз Вулис, по просьбе Терстона, отвел его на легендарный Брайтон-Бич, где говорят только по-русски с местечковым акцентом, чтобы тот мог увидеть все своими глазами. Всю дорогу Вулис был вынужден держать товарища под локоток: Алекс Терстон то и дело пытался вырваться и «показать им». Он хотел избить проходящих мимо «совков», мотивируя это тем, что они (проходящие) находятся теперь в цивилизованной стране, а значит, кто-то должен научить их элементарным правилам вежливости. Дома у Терстона жили девять боевых бульдогов. Один, правда, позже издох.

В роли мага и писателя Гюисманса конечно же выступал Сергей Визнюк, более известный под псевдонимом Dragon Fly — Стрекоза, Муха-Дракон. Визнюк окончил физтех, позднее учился в Америке, работал программистом, но на Юзнете занимался в основном этнологическими исследованиями. Так, он первым открыл нацию «турко-украинцев» и изобрел термин «purebred (чистопородный? — Ю.Ф.) sovok», эвфемизм, впоследствии не менее расхожий, чем «пархатый антисемит» Вулиса и Яцковского. (Однажды на scs и в самом деле пришел «PuReBrEd SoVoK», выступивший с рядом статей о духовном и физическом превосходстве своей расы на Юзнете.)

Наконец, Визнюк написал замечательное руководство о том, как вести полемику на Сети.

Итак, первая кульминационная волна магической битвы в Сети приходится на 1994-1995 годы. Вулис, убежденный в том, что враги продолжают исподтишка заклинать жалобами электронную атмосферу повсеместно протянутых проводов, от защиты перешел к нападению. Военные действия развернулись по всем фронтам.

Прежде всего был обнаружен домашний сайт так называемых Aryan Nations, содержащий бесконечное количество текстов расистской направленности. Вулис & Со завели account на ranix.com и нарекли его Петром Воробьевым. Поддельный Воробьев немедленно начал слать во все конференции выдержки из криминально (по американским меркам) расистских текстов с призывами к геноциду — только за своей подписью и без ссылки на затерянный бог весть в каких уголках Паутины фашистский сайт.

Сторонники Вулуса, в особенности Яцковский, поднаторевший в борьбе с сетевыми антисемитами, принялись обращать на происходящее внимание общественности. «Жалуйтесь! Смотрите, что публикуют на деньги американских налогоплательщиков!» — с негодованием требовали они, прилагая к каждому такому призыву подробный список адресов воробьевской администрации. И в самом деле, на работу к настоящему Воробьеву потекли жалобы на его радикально настроенного двойника...

Воробьев прослыл расистом, а также отчасти тунеядцем и стяжателем.

Чтобы уравновесить зло, коллективными усилиями группы Вулуса был создан еще один персонаж, также на ranix.com. Он получил имя Владимир Фомин. Володя Фомин говорил разными голосами и создавал общественное мнение, обличая своего двойника Воробьева (который, не имея собственного голоса, войну големов вскорости проиграл — администрация ranix.com отказала ему от дома, и он, лишившись крова, виртуально погиб), его сторонников и многих других заодно.

Фомин, как выяснилось, был не простой голем: он был, что называется, «undead», зомби, восставший из гроба. Кто-то нашел документальное свидетельство о его смерти: лейтенанту Владимиру Фомину оторвало голову взрывом артиллерийского снаряда в Афганистане. Когда этот документ был опубликован на Юзнете, Володя встретил его радостным восклицанием. Он признал, что событие это имело место в его биографии, и отдельно заверил, что голова ему решительно ни к чему.

Война тянулась месяцами; фронт распадался на мелкие участки, вплоть до «дуэлей» один на один. Фискальная магия делала свое дело, так что главные боевые действия оставались все-таки за пределами собственно Юзнета. Жертв было много: одни люди, случайно подхваченные мощным потоком кляуз, совершенно исчезли с Сети, другие в пылу битв потеряли остатки совести или соображения. Мало того, на месте прежнего свободного форума возникла целиком подцензурная конференция: сторонники Петра Воробьева стали в ней «модераторами», призванными отсеивать враждебную информацию.

При всем том в начале 96-го Воробьев, казалось, был побежден совершенно. Он ушел в подполье, в реальной жизни не принимал гостей

и, видимо, боялся выходить из квартиры. Но вот заговорила молва, и поднялся слух, который в конце концов подтвердился: группа сторонников Воробьева пошла на поклон к ФБР.

Между тем Минздрав СССР предупреждал и не раз: черная магия — не игрушка для романтического школяра. Если видишь лестницу, где на каждой ступеньке написано «Осторожно, грузины!» — неразумно наклоняться все ниже и ниже, увлекшись изучением надписей.

Итак, на Вулиса напустили ФБР. Что сказать?.. Упокой Сатана души падших товарищей; в его сетях и тенетах повстречают они немало себе подобных поборников морали и нравственности. Сейчас, в 1998 году, Дмитрия Вулиса следует считать виртуально погибшим. Поиск в Юзнет на его фамилию дает фальшивые статьи, которые торжествующие враги шлют от имени *его сына*, с просьбой жаловаться на его отца в американские комитеты по лишению родительских прав...

Проф. Визнюк, к счастью, живет и здравствует: магические дуэли не смогли ему повредить. Уже не первый год, по своему собственному свидетельству, он пребывает в туристической поездке на американской земле. Пользуясь случаем, мы желаем ему военных удач, аккуратности в обращении с магией и новых находок в области альтернативной этнологии.

Завершая этот параграф, вернемся еще раз к эпиграфу №1. Это немецкая шванка, и в сборнике ей дано такое название: «О двух сварливых крестьянах, один из которых спросил супругу бургомистра: „А не шлюха ли Вы?“». Всем, кто интересуется конференциями как явлением нет-культуры, настоятельно рекомендуем изучить этот документ и принять в самое сердце, что все без исключения ссоры, или «*flame wars*», в Юзнете начинаются именно так — точь-в-точь по-писаному. Время, возвращаясь на круги своя, движется все быстрее.

4. Еще о фискальном искусстве: как узнать руку мастера

Что бывает, когда говорят «бедный черт», и какова чертова благодарность

«Некто, добрый и простодушный, пришел однажды в церковь, где был Христов образ, умиленно писанный; добрый человек поставил ему свечку и помолился. Потом он обошел всю церковь, чтобы осмотреть ее, так как зашел туда впервые, и в темном углу увидел премерзейшую образину черта, писанного так, что богомалец сначала испугался, а потом, не дав себе труда подумать, сказал: „Ах ты, бедный черт, каково тебе торчать тут, несчастному. Я хочу тебе тоже поставить свечку“.

Немного времени спустя этому богомольцу привиделось во сне, будто в лесу ему встретился черт и сказал: „Дружище, ты мне только что поставил свечку, и, есте-

ственно, я тебя отблагодарю честь по чести. Пойдем со мной, я покажу тебе место, где зарыт богатый клад. Ты его выкопай и пользуйся им с моего согласия“. Черт привел его к высокому дереву и говорит: „Ступай домой и принеси кирку, лопату да заступ, чтобы было чем копать“. А доброму человеку почудилось во сне, будто он сказал: „Я же потом не найду этого дерева“. На это черт ответил: „А ты навали под ним, вот и найдешь по этой примете“. Человек послушался черта и думал, что навалил под деревом, но, проснувшись, увидел, что загадил свою постель и лежит в дерьме; уж и влетело же ему от жены, которой пришлось стирать простыню.

Тогда этот благодетель молвил: „Такова чертова благодарность!“ — и поведал жене, что ему попритчилось, а она подняла его на смех».

Немецкие шванки и народные книги XVI века.

В те времена, когда Дмитрий Вулис был еще виртуально жив и бродил матерым санитаром по Дремучему Лесу, не разбирая троп, любители двоичных схем, сговорившись вместе, увидели в нем воплощение Зла. Вулис не стал напрямую бороться с консенсусом, зная силу его механических челюстей, но принял предложенную роль. Сыграл он ее до того убедительно, что образ Злого Духа Юзнета, предводителя нечистого легиона, почти всеведущего и почти вездесущего, в глазах многих сросся с его именем совершенно.

В то же время у старожилов, чувствительных к слову, редко хватало духу всерьез ненавидеть Вулиса, стилиста, в своем роде не превзойденного. Образ монстра, ужасного зверя с раздвоенным языком ядовитой свиньи, был нарисован Вулисом на своем собственном «публичном лице» так хорошо и так живо, что не отдать должное мастерству художника мог только человек, совершенно глухой к языку и традициям Юзнета, или наивный новичок, не вникший с ходу в правила сложной игры. Но правила эти были рекурсивно-цикличны, и потому даже совершенное знание Закона иной раз не могло уберечь жертву от западни его перекрестных самоссылок.

Дмитрий Прусс, человек мирный и простодушный, хоть и сведущий во всевозможных областях человеческого знания, по профессии биолог, Вулиса не обижал никогда и даже несколько раз вступался за него в ссорах. Последнее, видимо, его и погубило: Вулис, как только общество признало его чудовищем, развил у себя весьма и весьма специальное чувство юмора. Постичь его с гуманистических позиций — то есть ощущая себя человеком — нечего и надеяться.

Прусс не слишком часто бывал в русскоязычных группах: сердитая обстановка так называемых «flame wars» (обмена инвективами) по врожденной мягкости характера его пугала. Как-то раз в soc.culture.baltics он беседовал со своим однокашником по МГУ Густавом Акком. Речь зашла о престарелых ветеранах Великой Отечественной из Эстонии. История

была нашумевшая: ветераны-евреи возмущались тем, что надпись на памятнике, установленном в годы перестройки и как будто посвященном их личной военной доблести, сделали на иврите и продублировали по-эстонски. Между тем их родной язык — русский, и они даже не могли ее прочесть! Густав Акк отпустил сомнительную шутку: евреи, дескать, капризные люди; убиваешь их без разбору, так им не по душе, ставишь памятник — опять не нравится. Прусс (еврей по национальности) не стал обижаться и отвечал ему в тон: «Ну, ты же знаешь: спроси трех евреев, в ответ получишь четыре мнения, причем как минимум три из них диаметрально противоположные. Если это тебя тревожит, что же, есть известный способ объединить их точки зрения — избавиться от всех разом. А там уж на выбор: строить монумент или оставить так».

Беседа эта попала на глаза доктору Вулису, и сей же час у него родился новый голем, причем назвали его Рабби Шломо Рутенберг. Рабби, едва появившись на свет, послал в две-три дюжины конференций возмущенно-обличительное письмо. Тема в заголовке была обозначена — «Soviet-Nazi anti-Semite in Nat. Inst. of Health paid for with your tax \$\$\$» (в вольном переводе: «Советско-нацистского антисемита из Национального института здоровья содержат на ваши деньги, налогоплательщики!»). Дмитрия Прусса, человека, позволим себе повториться, мирного и мягкосердечного, широко образованного интеллигента, отца троих детей, величали в письме «известным юдофобствующим панком из России», сообщали, что ему мало шести миллионов жертв еврейского геноцида, и призывали всякого добропорядочного еврея, который это прочтет, немедленно жаловаться по (приведенному здесь же) адресу пруссовской администрации.

И старательные американцы начали жаловаться. Здесь нельзя не отметить забавной подробности. Как Вулис, так и его неживые големы составляют письма-обличения (и собственно кляузы) в расчете на недетектируемую абсурдность человеческого восприятия. Так, слова Прусса о способах введения единомыслия среди евреев Рабби цитировал полностью — а ведь, даже вырванные из контекста, они, при внимательном прочтении, не годились на роль расистских призывов. Но в предисловии к ним сказано «расизм» — значит, расизм.

Публично утверждая, будто А требует истребления голубей и почтальонов, Вулис тут же приводит письмо А, в котором черным по белому заявлено, что голуби — любимые птицы А, а почтальоны совсем не упоминаются. Но Вулис выбирает для своего обвинения слог, каким пишут статьи в авторитетных газетах, с небольшим уклоном в сторону рекламных плакатов. Такой вводный текст зачаровывает читателя, и очевидное, даже белыми нитками не шитое противоречие между приводимым материалом и его характеристикой проходит мимо глаз незамеченным. Статьи Вулиса

всегда получают много откликов, и по ним можно судить о том, что подобные фокусы, в целом, ему удаются: большинство читателей оказываются обманутыми. Так, «хребий недаром слабейшему прочит беду» — санитар Леса находит и пожирает слепых животных.

...С работы Прусса не выгнали, но к Сети подходить запретили строго-настрого. А еще приставили к нему психотерапевта, прописавшего пациенту в графе «диагноз» почему-то — «фрустрация по поводу развала СССР». (По стечению обстоятельств, Прусс при советской власти был диссидентствующим интеллигентом и тотальной дружбы народов, в частности, отнюдь не приветствовал... После этой типично американской истории с насильной терапией и незаслуженными, но тем более эффективными жалобами на работу изменил ли он свои взгляды?)

Сочувствуя доброму, случайно попавшему на волчью тропу человеку, благодаря хитрости матерого зверя навлекшему на себя гнев глупых «охотников», мы тем не менее склонны видеть в его судьбе знак божественной необходимости. Каждый за себя, а Бог против всех; не забывай об этом, Юзер Красная Шапочка. А хищники знают и так.

5. Заключение, об авторской позиции: как ко всему этому следует относиться

Кто же такой все-таки Дмитрий Вулис? Что такое абсолютное зло, и где искать его воплощение? (Вот люди верующие, не испорченные государственной эрзацрелигией, финансируемой из средств межпланетного валютного фонда, на второй вопрос знают простой ответ: загляните в свою душу, на самое дно. Загляните и ужаснитесь.) Верно ли, что настоящий текст, между прочим — в пяти разделах и со ссылками на разнообразные архивы, написан в защиту общепризнанного социопата с огромным стажем?

Отвечаем на третий вопрос: конечно же не верно и не в защиту. Ведь апологетический вирус куда опаснее, чем даже хуз из Киева, от которого уже не уйти. Примеров тому масса, имя им Легион; стадо свиней, пораженное этим вирусом, бродит по Интернету, сметая все на своем пути. Правда, в последнее время наука нашла способ собирать и дрессировать такие стада — например, в сетевых литературных кружках, с обязательным соблюдением строжайшего карантина.

Что же до первого вопроса, с которого мы и начинали, — нам, пожалуй, ближе всего ответ № 13 из раздела «Вступление». Но, в целях борьбы с суевериями, приведем здесь последний (и, возможно, наиболее интересный) из полученных нами откликов на попытку опроса, не производившуюся никогда. Письмо Д. Каледина с разрешения автора цитируется целиком. Итак,

14 From: kaledin@balthi.dnttm.rssi.ru (Dmitry Kaledin)

«Привет, друзья!

Я только что проснулся, почитал Филиппа Дика, и мне по этому поводу было гипногогическое откровение: я понял, как оно все есть на самом деле. Интернет не просто расщепляет информационное пространство, дробит реальность и превращает замкнутую систему в открытую. Все это само по себе не так важно. Важно то, что это является мощнейшим фактором эволюции. Давление внешней среды снято; эволюция ускоряется невероятно, и ее результаты можно наблюдать за несколько месяцев.

В „реальной жизни“ биологическая разница между нами и, например, А. Андреевым почти не видна. На Интернете мы есть разные биологические виды. Наши системы восприятия так же не похожи друг на друга, как глаза млекопитающего и ракообразного. Многие вещи, для нас важные, Андреев просто не видит, и наоборот.

Антон Никитин — еще один биологический вид. Полина, судя по всему, — еще один. И так далее.

Важные деятели Рунета, типа Горного, отлично осознают этот эффект и поэтому сами на Сеть ничего не пишут, опасаясь за свою человеческую природу. Или пишут, как Носик, — старательно притворяясь, будто пишут в газету или журнал (что гениально продемонстрировал Почтовый Хряк).

Возникает вопрос: что происходит с человеком, который пишет на Сеть десять лет? Ответ: он эволюционирует так далеко, что вообще перестает восприниматься нами как человек. Вулис и Вижнюк, даже в самых гадких своих проявлениях, — не есть „абсолютное зло“. Они есть сущности, эволюционировавшие дальше отведенных пределов. Мы воспринимаем их действия как злокачественные в силу собственной ограниченности: в личном общении боги всегда злы, неприятны и враждебны для разумного человека. Такие дела.

Привет, Дима».

Наконец, хочется прибавить, что нумерация ответов здесь условна, а список неполон. Так, из Тарту передают, что «Вулис — наше все», по местным обычаям подкрепляя лозунг этимологией (Vulis = Vulva + Penis), на наш взгляд, более чем сомнительной. А уж соображения на этот счет, бытовавшие в свое время в юзнетовской иерархии soc.culture..., — и вовсе неудобно здесь приводить. Однако Dejanews хранит свои архивы; надо надеяться, что будущий исследователь великой эпохи зарождения и расцвета русскоязычного Юзнета, фольклорист по призванию и мистик по внутреннему строю души, соберет воедино запрятанные на глубине откровения, снабдив их доступным толкованием. А до тех пор звезда по имени Vulis ждет своего часа в чужом полушарии.

ЕВСЕЙ ВАЙНЕР

Баста, карапузики?

или Как закалялось оптоволокно

1

Однажды Антон Борисович Носик, сын Бориса Абрамовича Березовского, нашел в придорожной пыли русский Интернет. Нашел, сунул в карман и пошел себе дальше. А потом, выбрав подходящий случай, впарил Интернет папаше по сходной цене, да еще и сам остался в нем чуть ли не главным... этим... как это называется... сетевым деятелем. Одним из четырех. Остальные трое — Павловский, Лебедев и Мошков. Они поделили между собой (соответственно) информацию, политику, коммерцию и культуру, опутали Россию электронной сетью и стали зомбировать население с непонятной, но явно нехорошей целью, попутно выкачивая из нашего родного Интернетушки свехприбыли.

Так или примерно так история российского Интернета описывалась в малоизвестном журнале «Компания».

(Любопытно: Мирза Бабаев в личной беседе, узнав об этой публикации и видимо обидевшись, что авторы не внесли в список стратегических интересов сферу сновидений и измененных состояний сознания, которую, несомненно, в Рунете курирует Мирза, с легким презрением заметил: «Смешали в одну кучу слонов, мосек и непонятных чебурашек!» «И кто есть кто?» — движимый досужим любопытством, спросил я. «Думай сам», — ответил непреклонный Мирза. И я подумал: «Ну, Мосек, это еще понятно, Мосек — это, практически, фамилия». А слоны с непонятными чебурашками пусть сами разбираются.)

2

Однако покинем милых чебурашек. Поделила, значит, мафия наши сети, а уж мертвецов они и так через день таскают. Такие дела — как любит повторять робот-партизан Михаил Вербицкий. А мы-то думали, мы тут в игрушки играем: *«Данные строки написаны лишь с целью показать, что Русский Интернет — яркое подтверждение второй из названных версий, то есть своего рода сплошная Детсеть, отражающая естественное состояние русской детской души»*. Так вот, данные строки не так давно написал человек, отлично знающий, что собой представляет Русский Интернет. Автора, наверное, можно даже назвать патриархом этого самого Русского, хотя не знаю, не уверен. Иногда вообще складывается ощущение, что патриархов в русской части Сети больше, чем всех остальных. Наверное, это неправда, просто они самые шумные. Знаете, когда в вагон электрички входят две-три цыганки, немедленно создается ощущение, что их в вагоне подавляющее большинство. Простите, отвлекся. Хотя, возможно, и не отвлекся, поскольку патриархи будут еще неоднократно поминаться ниже, в отличие, к сожалению, от цыганок, которые, по-моему, гораздо симпатичнее.

Вернемся к нашей цитате. Все нижеследующее, в общем-то, посвящено ее опровержению, хотя на момент написания большей части текста я цитированной статьи не читал. Так уж вышло. А когда прочел, сильно разочаровался — ошибся патриарх. Или же, по традиции всех патриархов, игнорирует современность, выдавая прошлое за настоящее. Такая форма неосознанной ностальгии.

Дабы не уподобиться, позволю себе легкий приступ вполне осознанной ностальгии. В детстве была у меня книжка с изящным названием «Как игрушки пошли учиться». Обычный такой совковый прогон про то, что родину надо любить и работать на ее благо. Автора, к сожалению, не помню. Но весь дальнейший рассказ — из прелюдии к которому я наконец-то выбрался — вполне мог бы называться так же.

3

Главный критерий стремительного взросления русского Интернета — совсем не обнаружение малограмотным сочинителем мафии, поделившей сферы влияния. Это скорее симптом. Первым реальным признаком взросления — таким превращением нежного пушка над верхней губой в жесткую и несимпатичную поросль — стало появление памятного многим первого «Когтя».

Подросшая Сеть живо заинтересовалась происходящим. Подробности не стоит излагать, они общеизвестны. Неважно, в общем-то, что первый «конкретный слив» содержал агентурные справки собственного сочинения, интервью неизвестного солдата неизвестному журналу про то, что известный негодяй готовит убийства всех известных науке героев, и «расшифровки пейджерных лент» типа: «Еду обедать» или «Включи мобильный». Ценнейшая, короче, информация. Но шуму было!

В архивах многих политических форумов можно найти постинги, авторы которых слезно просили прислать им копии по почте. Все только «Коготь» и обсуждали. Причем ничего содержательного не было сказано (а что тут скажешь?), запомнился разве что мелькнувший в дискуссии «Полит.Ру» анекдот: «Продам записную книжку. Бартер и натуре не предлагать».

Представители «сетевой элиты», наверное, могли бы подумать, что все это затеяно для их удовольствия, ради того, чтобы дать им повод убедиться в своем безоговорочном превосходстве над элитой несетевой (скажем так, хотя я бы предпочел сказать «нормальной»).

Полно, господа. Цель не особенно профессиональных, заметим, компроматчиков была в скандале как таковом. И — в любом виде — в попадании его в оффлайн (в этом плане не менее интересна история с самоубийством ныне здравствующего губернатора Яковлева, но собранные по ней материалы хоть и забавны, да уж слишком обширны). И возможно, в проверке Интернета на зрелость. На способность воспринимать такие тексты. Сеть, видимо, оправдала ожидания заинтересованных лиц, как причастных к первому «Когтю», так и просто наблюдавших и делавших выводы. Не уверен, оправдано ли выражение «Когти стали расти, как грибы», но именно это и происходит в русской Сети после появления — или исчезновения — первого «Когтя» («Коготь-2», «Коготь-7», «Слухи»; наконец, неанонимное и процветающее АПН). Однако былого интереса новые «Когти» уже не вызывают. Хоть все и прогнозируют новый всплеск когтиности накануне выборов. Потому что ребенок растет и, соответственно, растут его потребности, которые уже не удовлетворить подглядыванием в замочную скважину.

Зачем такие подробности? — А из любви к отечественной истории, о которых (и любви, и истории) ниже.

(Самую нелепую из версий о публикации выдвинула небезызвестная группа «Кризис». Так вот, любопытно, что один из героев «Когтя», Юрий Скуратов или, по крайней мере, человек, очень на него похожий, повторил ее почти дословно в недавнем интервью телекомпании НТВ.)

4

Странно, что всерьез все началось только после «Когтя». Это, может быть, не очевидно людям, ощущающим себя членами *сетевого сообщества*. Но даже и само это словосочетание стало гораздо чаще звучать после «Когтя».

А ведь именно вслед за «Когтем», наверное, через дырку, проделанную им в покрывале скрытности и лжи, в Сеть потянулись политики и те, кто небесплатно привлекает к ним интерес (создает атмосферу, по меткому замечанию нашего златоуста Виктора Черномырдина). И сильно активизировались, прибавив в весе и траффике, те, кто проник в Интернет ранее.

Именно вслед за «Когтем» в Сети появился официальный сайт одного из наиболее известных литературных критиков, обрастающий постепенно текстами лучших из ныне здравствующих писателей — причем не отсканированных энтузиастами, а предоставленных самими авторами. Правда, пока известному критику приходится словом и ссылкой поддерживать известного сетевого графомана (соседи, как-никак) — но убежден, это явление временное. И привел критика в Сеть человек, первым ставший позиционировать себя в качестве Интернет-продюсера и даже получивший за это от *сетевого сообщества* какой-то приз.

И уже после «Когтя» сетевые деятели, вконец почувствовав себя бизнесменами, долго выясняли на одном из закрытых мейл-листов, кто же из них придумал слова «Интернет», «маркетинг», «папа» и «мама».

И появилась первая, если верить пресс-релизам, Интернет-газета, и потом пришел некий страшный ЮКОС и сказал, что всех купит. О чем газета немедленно написала.

5

Что же следует из всего этого? По-моему, как раз вещи, противоположные тем, о которых говорил патриарх. Детство кончилось. И *сетевое сообщество* в самое ближайшее время претерпит вместе со средой своего обитания существенные изменения. Потому что оффлайн поверил в способности Сети, и значит, просто не даст продолжать играть в игрушки тем, кто может приносить реальную пользу, которая выражается в долларах или, например, в голосах избирателей. Впрочем, в нашей стране одно имеет тенденцию плавно перетекать в другое.

Анализ культовых и любимых в разное время сетевым народом текстов обозревателей позволяет выявить следующую схему, плотно засевавшую в головах тех, кто сейчас (или пока еще) делает Сеть. Итак, Ин-

тернет — это среда посвященных (чем бы они ни занимались), по всем возможным показателям превосходящая оффлайн, среда свободы творчества и вообще — свободы.

Так вот, время этого абстрактного «вообще» прошло, как только потенциальные инвесторы осознали перспективность вложений в Сеть. Деньги делают детей взрослыми быстрее всего остального. Интернет — вопреки слогану известного журнала — это теперь уже не новый способ думать, а просто один из. И в самое ближайшее время мы станем свидетелями того, что Интернет перестанет мыслиться как оппозиция оффлайну. Эти два слова потеряют свой глобальный смысл и из метафизических понятий, описывающих, скорее, жизненные позиции, превратятся в рабочие функциональные термины. Сеть не сломает оффлайн, все будет наоборот.

Смотрите сами, как изменилась за довольно короткое время первая двадцатка категории СМИ в «Рамблере». И неизменно первая позиция «Газеты.Ру» в ней объясняется не только и не столько исключительной мудростью главного редактора, сколько тем, что делается она по образу и подобию обычных СМИ хорошего качества, а «многообразные возможности Сети» используются лишь в качестве удобного дополнения. А если вслед за вполне успешными «Московскими новостями» в Сеть придут другие газеты, не играющие в абсолютно бесперспективную подписку по и-мейлу, а целиком выкладывающие номера в Интернет, первая двадцатка изменится еще раз, просто потому, что ни одно из ныне популярных «чисто конкретно сетевых» изданий не способно конкурировать с такими оффлайновыми гигантами, как, например, НГ (кстати, по некоторым сведениям, ее очередной бросок в сетку не за горами).

Можно с уверенностью прогнозировать судьбу и нынешних сетевых знаменитостей, например журналистских. Те из них, кто представляет собой «сверхсетевую величину» (то есть мог бы печататься и/или печатается на бумаге — Левкин, не раз помянутый здесь Носик, да и многие другие), вполне приживутся в сетевой журналистике нового типа. Те же, источником популярности которых в Сети является отсутствие серьезных конкурентов, перейдут в разряд «хомепажных писателей, хостящихся на геоситях».

То же относится и к литераторам, и, видимо, к художникам. Ну, а собственно профессионалов, специализирующихся на выделке сайтов, перемены вряд ли затронут. Они будут нужны всегда — так же, как работники телекомпаний или типографий.

А первый — потому и примечательный — скандал с компроматом был (вернее, оказался) просто тестом на зрелость аудитории. Оттого и пристальное мое к нему внимание. Это все-таки веха. И дата его появле-

ния на weekend'е станет, быть может, в учебниках по истории датой превращения русской Сети из маргинального образования в один из общепризнанных информационных каналов. Может быть, в самый популярный со временем, но это не так уж важно. Важно, что оппозиция «Интернет — оффлайн» стремительно теряет смысл. Они еще научатся правильно воспроизводить URL'ы, а мы... Тоже научимся чему-нибудь. Например, не делить информационное пространство на «они» и «мы».

И простим несчастных авторов статьи, с краткого пересказа которой я начинал. Они угадали главное — Трест РУНЕТ существует, правда, пока как потенция, но ее реализация — дело ближайшего времени. Разве что в фамилиях они ошиблись. И то, полагаю, не сильно.

Потому что «баста, карапузики, кончились танцы». Потому что здесь теперь все всерьез. И видимо, надолго.

2 июля 1999 года

ПЕРЕМЕНЫ

ГЕОРГИЙ КНАБЕ

Европа. Рим. Мир

1. «Табунок»

У биологов, исследующих поведение живых существ, есть понятие «ориентировочный инстинкт». Проявляется этот инстинкт следующим образом. Если впустить подопытное животное или даже маленького ребенка в новое для него закрытое помещение, они обойдут его по периметру, обнюхивая, охлопывая или иным способом убеждаясь, что в этих новых для них условиях им не грозит никакая опасность. Ту роль, которую для подопытного играло помещение, для человека (взрослого) играет его общественное окружение, его мир или, точнее, — мирок. Человек тоже должен быть уверен, что ему не грозит никакая опасность, что окружение его спокойно, что он — свой среди своих.

Культурная, а проще говоря человеческая адекватность индивида той среде, к которой он принадлежит и в которой может нормально функционировать как разумное существо, образует коренное условие его бытия с бесконечно давних пор. Уже в верхнем палеолите выделяются самостоятельные мелкие группы со своим специфическим инвентарем, не смешивающиеся с другими. Они вступают с этими другими в определенные отношения, увеличиваются в размерах, но и в этом случае сохраняют свою специфику и очертания: свои среди своих.

Проходят тысячелетия, и то же положение, тот же критерий общественного существования становятся предметом рефлексии, культурного самосознания. Античный мир был многообразен и динамичен, тяготел к созданию обширных государственных образований вроде эллинистических царств или Римской империи, но основной его соци-

ально-политической, а главное — социально-психологической единицей, ценностью, живущей в душе каждого и придающей смысл существованию, остается маленькая, ограниченная, тесная гражданская община. Для греков то была, как утверждал один из их писателей, *«совокупность семей, территории, имуществ, способная сама обеспечить себе благую жизнь»*. *«Удобообозримой»* называл ее Аристотель. Слово *«удобообозримый»* здесь следует понимать не в метафорическом, а в буквальном смысле: нормальной гражданской общиной — по-гречески *«полисом»* — в древней Элладе признавалась такая община, где, вставши на возвышенность в центре поселения, можно было обозреть его границы.

Цицерон, верный ученик греков, развил их представления на римской почве — развил тем более естественно, что опирались эти представления на чувства, которые жили в душе каждого римлянина. Конечно, учил он, мы принадлежим государству во всем его размахе, во всей мощи — *«за него мы должны быть готовы умереть, ему полностью себя отдать, в него вложить и ему как бы посвятить все свое достояние»*. Но исходный импульс такого патриотического чувства, первый его росток — любовь к своей малой родине, к крохотной гражданской общине, которая произвела тебя на свет и навсегда окружила согражданами, земляками, друзьями; создала *«табунок»*, с которым — свой среди своих — ты будешь идти по жизни до конца. Соотношение этих общностей Цицерон описывает и на теоретическом уровне, сохраняя ту же теплоту и конкретность: *«В человеческом обществе есть много ступеней. Если оставить в стороне беспредельность человечества в целом, то ведь существует и более близкий нам вид сообщества, основанный на общности племени, народа, языка, объединяющий людей самым тесным образом. Еще более тесны узы, создаваемые принадлежностью к одной и той же общине. Ведь в ней у сограждан так много общего — форум, храмы, портики, улицы, законы, права, правосудие, голосование; кроме того — общение друг с другом и дружеские связи, а у многих и деловые отношения, установившиеся со многими людьми»*.

Ситуация сохраняется и в дальнейшем. Сельская община и ремесленный цех, тот относительно обособленный от окружающего мира околоток, который французы называют *раус*, а англичане *богough*, содружества и корпорации разного рода, церковные и соседские общины — всюду у человека та же потребность. Ощутить себя принадлежащим не только к макро-, но и к микрообщности, убедиться в том, что его отношения с окружением не исчерпываются формальными, безлично правовыми данными, но и несут в себе *чувство* принадлежности, *ощущение* привычности и относительной безопасности — всю ту опосредованную

историей и социокультурным опытом, но к ним не сводящуюся гамму переживаний, которую современные историки и социологи называют неуклюже звучащим, но точным словом **самоидентификация**.

Из сказанного следуют как минимум три вывода и вырисовывается по меньшей мере одна проблема.

Первый вывод состоит в том, что потребность ощутить себя в некотором *своем* пространстве, физическом и социальном, есть потребность в самоидентификации с социумом, где твоя жизнь, как и жизнь прочих, регулируется теми же нормами, теми же привычками. Такая потребность коренится в природе человеческого общества, в архаических глубинах истории и сохраняется на самых разных этапах общественного развития.

Второй вывод — в том, что античному миру, этой колыбели европейской цивилизации, указанная потребность была свойственна в высшей степени. Исходной и основной единицей общества Греции и Рима на протяжении всей тысячелетней его истории является город-государство — греческий *полис*, римская *цивитас*, где самоидентификация гражданина с общиной остается вплоть до предсмертного кризиса античного мира непреложным законом и основой мирочувствия.

Третий вывод: как только в античном мире подобная самоидентификация сделалась предметом теоретического осмысления — стала очевидной ее ступенчатая структура. У человека, живущего в развитом высокоорганизованном обществе, потребность в самоидентификации реализуется не только в рамках микроколлектива, непосредственного окружения — хотя этот инстинкт остается, по-видимому, самым сильным, — но и в границах более широкого множества. Самоидентификация последнего типа неотделима от первой.

И вот проблема, встающая перед людьми конца второго тысячелетия: если потребность в самоидентификации имманентна человеческому обществу, если она возникает на разных его этапах, какую же форму принимает она сегодня — повсюду и в Европе в частности? Если она была так капитально важна для греко-римского мира, то в какой мере Европа, из него вышедшая, продолжает эту традицию? Другими словами: есть ли основания у сегодняшнего рядового жителя какой-нибудь из европейских стран ощущать себя европейцем — не на паспортном уровне, а на уровне субъективно переживаемого культурного самосознания, и если да, рассматривает ли он такую принадлежность как ценность? Существует ли вообще сегодня реально на указанном уровне такое единство и такая культурно-историческая общность — Европа? Каковы параметры, ее определяющие, и выводы, отсюда следующие?

Есть многие и весомые основания отвечать на главные из этих вопросов отрицательно.

2. Новые люди?

Прежде всего европейский тип цивилизации, каким он выработался в ходе исторического развития и ныне распространен по всему миру, давно оторвался от географически очерченной части света Европа и в этом смысле не несет в себе ничего специфически «европейского». Австралия, Америка или Россия при всех очевидных различиях варьируют тот же тип цивилизации. Люди носят ту же одежду, проходят те же ступени образования, сходным образом организуют производство; разделение властей и парламентские формы управления (европейские по своему происхождению) едины для стран в самых разных частях света, товары одного типа и назначения, произведенные в Европе или за ее пределами, равно циркулируют по всему земному шару. Можно ли говорить в этих условиях о специфической самоидентификации именно Европы? На чем она может быть основана?

Если в разных районах относительно унифицированного мира произошла и происходит экспансия европейских (генетически) форм цивилизации, то в не меньшей мере очевиден и обратный процесс — экспансия огромных масс населения из стран третьего мира в страны, географически принадлежащие к европейскому континенту.

Процесс этот настолько общеизвестен, что вряд ли потребует много примеров или доказательств. В электричках, идущих из Парижа или Гамбурга к предместьям этих городов, вы едете в толпе, часто выглядящей так же, как в Пакистане или в Центральной Африке; в 1980 году каждое восьмое рабочее место в Дании было занято переселенцем из стран третьего мира; в 1994-м берлинская мусульманская община насчитывала 140 тысяч человек, гамбургская — 180 тысяч. Но если население Германии или Англии, Франции, Испании, Дании в значительной степени состоит ныне из людей, несущих в себе иные, не здесь сложившиеся культурные и исторические традиции, знающих другие привычки и ценности, то есть ли основания ждать от такого населения общей потребности в единой европейской самоидентификации?

Есть и еще одно обстоятельство (характерное для современного мира в целом, но особенно ясно выраженное в Европе), усиливающее сомнения в самой возможности европейской самоидентификации. Когда-то Маркс назвал это обстоятельство отчуждением, современные социологи называют его абстракцией, а писатели и журналисты — заброшенностью, одиночеством человека в обществе. Источники «абстракции» — это и соревновательный характер участия в производстве и доступа к его продуктам, и бюрократизация общественных связей, и скопление предельно разнородных индивидов и масс в огромных совре-

менных городах, и манипулирующие образом действительности — вплоть до полного размывания его реальности — средства массовой коммуникации (прежде всего телевидение). Суть «абстракции» описывается одним из крупнейших современных западных социологов так: *«На уровне конкретной социальной жизни абстракция означает ослабление (если не разрушение) малых компактных общностей, в которых люди всегда искали солидарность и жизненный смысл. На уровне сознания абстракция продуцирует такие формы мышления и образцы эмоциональности, которые глубоко враждебны (если хотите, „репрессивны“) по отношению к различным сферам человеческой жизни»* (1). Трудно говорить о самоидентификации с обществом, где ты вечно рискуешь быть обойденным, обманутым, отнесенным, причем, по словам историков, социологов и статистиков, рискуешь гораздо серьезнее, чем в прошлом!

Наконец, в сохранении желания самоидентифицироваться с Европой как определенным культурно-историческим целым заставляет усомниться специфическое умонастроение, распространившееся в этой части света и обозначаемое словом *мультикультурализм*. Смысл его таков: восприятие западной (и соответственно для каждой отдельной европейской страны — национальной) культурной традиции как ценности означает — де дискриминацию иных культурных традиций, сложившихся в остальных районах земного шара, а потому должно быть отвергнуто и заклеено как реакционное, имперское, едва ли не расистское. В наиболее откровенной и темпераментной форме умонастроение это представлено в США. *«В настоящее время стало очевидно, — говорится, например, в книге одного из известных профессоров Колумбийского университета, — что культура и империализм на Западе могут быть поняты как поддерживающие друг друга»* (2). Приверженность этим взглядам многих французских философов, особенно из так называемых «новых левых», пришедших в науку и литературу с майских баррикад 1968 года, демонстрируется весьма настойчиво и не могла не привлечь внимание каждого, кто хотя бы поверхностно ознакомился с их статьями и книгами.

Показательна кампания, прошедшая весной 1993-го в английской прессе. Государственный Совет, ведающий в Великобритании экзаменами и оценкой знаний школьников, опубликовал списки произведений, которые могли явиться темами экзаменационных сочинений, и тех критериев, по которым эти сочинения должны были оцениваться. В число произведений вошли тексты как современных авторов, так и английских классиков, в частности Чосера и Шекспира, а в число требований при оценке — правильность языка и его соответствие литературной норме. Поднялась буря!

«Мы отвергаем попытку использовать литературу как средство утверждения национального наследия, — написали в газету ныне здравствующие авторы книг, рекомендованных в инструкции, — поскольку труд писателя всегда возникал из мозаики международных традиций и форм» (3). Шум еще больше усилился, когда в поддержку инструкции выступил принц Чарльз, напомнивший о необходимости бережного отношения «к наследию, нам оставленному». Газеты проиллюстрировали выступление принца карикатурой: детские лица, во рту кляп, на кляпе надпись — «Шекспир». А призыв к охране литературных норм речи получил такое толкование: в результате выпускники школ *«перестанут понимать, почему люди вокруг них и в средствах массовой информации говорят так, как они говорят»*.

Не правда ли, сам собой напрашивается вывод, что в Европе не осталось ни реальной потребности населения в самоидентификации с западной культурно-исторической традицией, ни путей удовлетворения такой потребности, если бы она и была.

3. Переживаемое единство

Подобное впечатление было бы поверхностным и ошибочным. Оно основывается на определенных сторонах сегодняшней действительности, но не принимает во внимание другие — как кажется, более глубокие его стороны.

Инфильтрация в Европу несметных масс из третьего мира, из Восточной Европы, а в последнее время и из Латинской Америки характеризуется одной примечательной чертой: сами иммигранты остро ощущают свою чужеродность в европейской среде, но их дети и внуки все более полно принимают европейский стиль жизни и его ценности, стремятся самоидентифицироваться с ними — иногда весьма успешно. Когда в начале 1993 года во Франции правое правительство Баладюра попыталось ввести некую систему регистрации граждан иностранного происхождения ради последующего отделения их типа гражданства от гражданства коренных французов, сразу же выяснилась изначальная обреченность этой идеи. Я вспоминаю выступление по парижскому телевидению шестнадцатилетней девушки, дед и бабушка которой в 50-х годах переселились во Францию из Алжира. Она совершенно не могла понять, почему к ней прилагаются критерии, отличные от тех, что действительны для других подростков — среди которых она выросла и образ жизни которых ведет. Существуют специальные социально-психологические исследования, раскрывающие механизм подобной ассимиляции. Они показывают, что рост числа граждан европейских стран за счет массивной имми-

грации с течением времени практически не сказывается на взглядах и стремлениях, характерных для населения в целом. Там, где потребность в самоидентификации с европейской культурно-исторической традицией существует, она ищет себе удовлетворения независимо от этнического происхождения той или иной части этого населения.

На существование же этой потребности указывают по крайней мере две тенденции.

Первая состоит в настойчивом стремлении отдельных исторических областей добиться той или иной степени государственно-политической самостоятельности. Достаточно напомнить о Стране Басков, Каталонии, Ирландии, Фландрии, о «Падуанской республике», о последних реформах правительства Блэра в Шотландии и Уэльсе, о появлении на европейской карте Хорватии, Словении или Словакии. И речь идет не об отрицании европеизма каждой такой области, а, напротив, о насыщении его живым человеческим содержанием, которое было ослаблено или формализовано в условиях крупных государств, волевым, административным порядком объединивших в своем составе исторически разнородные районы. Налицо все та же тенденция к самоидентификации с культурно-исторической традицией Европы, но усилившаяся, нашедшая новый импульс к преодолению абстрактности, этой традиции угрожающей. Пережить свою Европу острее, «заземлив» ее, преломив в чувстве любви к своему небольшому краю, в доскональном, с детства, знании его, в особенной радости общения на диалекте, которым владеют только «свои».

Второе обстоятельство связано со все более интенсивным процессом политического объединения Европы. Было бы наивно не видеть его геополитических, экономических и военно-стратегических аспектов. Но не менее ошибочно полагать, будто в условиях реальной демократии они могут быть навязаны вопреки стремлениям населения, его представлениям об общественных ценностях, вопреки его культурно-историческому самосознанию. Объединение Европы — это не просто политика и не только расчет; оно было бы невозможно без **идеи Европы**.

На чем она основана? Почему, несмотря на трудности жизни в обществе конкуренции, несмотря на постоянно ощущаемую «абстракцию», на компрометацию идеи Европы в философской публицистике и левополитическом общественном мнении, идея эта владеет умами, привлекает сюда сотни тысяч людей, стремящихся не только здесь обосноваться, но и инкорпорироваться? Что толкает исконных и новых европейцев на преодоление искусственности и отчужденности путем регенерации микроочагов европейской жизни? Что обуславливает поддержку касающихся Европы глобальных политических решений большинством населения? Что притягивает несметные толпы туристов, не-

пременно желающих посмотреть никакого, казалось бы, к ним отношения не имеющие (согласно догме мультикультурализма) Колизей, Кельнский собор, Sagrada Familia и испытывающих странное счастье, стоя на улицах древних европейских городов — Флоренции или Амстердама, Севильи или Оксфорда?

Попробуем указать на несколько традиционных, исторически вызревших особенностей европейской действительности, в которых проступают ответы на эти вопросы.

4. Устои европейской идентичности

Перво-наперво это прочность и традиционность **правового** регулирования общественной и повседневной жизни.

«Англия велика и сносна, — писал Герцен, — только при полнейшем сохранении своих прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневековые платья и пуританские кафтаны, но допустивших жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической уверенности в законной почве» (4). При всех отличиях ту же роль играли и играют во Франции Наполеонов кодекс и вышедшие из него юридические акты. С классической формулировкой правового принципа самому автору пришлось однажды столкнуться в Германии. Когда я в маленьком городке пересек однажды абсолютно пустую улицу, меня остановил полицейский и сурово указал на установленное место перехода. *«Но ведь тут нет движения»*, — пытался возразить я и услышал ответ, достойный увековечения: *«Aber es macht doch nichts!»* («Это не имеет никакого значения!»). Закон, другими словами, должен соблюдаться независимо от обстоятельств. Как не вспомнить классическое произведение немецкой литературы — повесть Генриха Клейста «Михаэль-Кольхаас», герой которой выражает воплощенный в народном сознании принцип права в его столкновении с привилегиями аристократов!

Вполне очевидно, что в действительности все не так гладко. Законность и право знают изъятия и исключения, а в погоне за прибылью и среди весьма почтенных людей случаются сделки на грани правонарушения: знаменитый рассказ Белля «Как в дурных романах» отнюдь не утратил актуальности. Но нет, кажется, оснований сомневаться, что в целом европейскую атмосферу жизни определяет общее убеждение в неколебимости правовых норм. Правовая же норма понимается точно так же, как понимали ее некогда в Риме, то есть как сочетание *lex* — официального письменного закона — и *mos*, или *consuetudo*, — уклада, обычая. Ими питается уверенность человека в личной безопасности, пока он осуществляет свою свободу в рамках так понятого закона. Эту сторону

европейской реальности быстро уясняют себе иммигранты — и нередко ею злоупотребляют. Однако, нарушая подчас *consuetudo*, они страхуют себя от неприятностей соблюдением *lex*. В традиционном же европейском представлении оба нераздельны, и европеец вдруг становится не любезен, даже агрессивен, едва лишь догадывается, что человек, с которым он имеет дело, жульничает.

Другая сторона европейской действительности, облегчающая и стимулирующая потребность идентифицироваться с ней, связана со становлением государств с развитой системой социальной защиты, возвращающей непосредственному участнику производства немалую часть его результатов. Тяжелейший морально-психологический пресс — обреченность на участие в гонке производства и на борьбу за улучшение своего уровня жизни — ощутимо уравнивается материальными выгодами. Вся эта сфера была глубоко и убедительно исследована Юргеном Хабермасом. Позволим себе пространную цитату: *«Массовая демократия, присущая государству с развитой системой социальной защиты, является устройством, которое смягчает классовый антагонизм, по-прежнему содержащийся в недрах хозяйственной системы. Но это возможно лишь при условии, что капиталистическая динамика экономического развития, защищенная политикой государственного вмешательства, не ослабевает. <...> Только тогда появляется возможность так распределять <...> средства, удовлетворяя одновременно ролевые функции потребителя и клиента, что структуры отчужденного труда и отчужденного политического участия не проявляют своей взрывной силы» (5).*

Накоплению общественной комфортности и тем самым — стремлению к самоидентификации с европейской реальностью способствуют некоторые компенсаторные механизмы, призванные как минимум смягчить дискомфорт, заложенный в природе капиталистических обществ Западной Европы. Так, традиция учтивости призвана на повседневно бытовом уровне нейтрализовать деморализующую атмосферу соревновательности и отсева не преуспевших. К примеру, вы вышли из кабинета начальства, где вам сообщили о невозможности предоставить более высокую (и лучше оплачиваемую) должность, хотя абсолютно очевидно, что она полагалась бы именно вам... Небо кажется с овчинку, и мучительно хочется послать все к черту — только бы вычеркнуться из этого общества подвоха и вечной закулисной борьбы. И вот тут на редкость успокаивающе действует та атмосфера, в которой вы оказались на улице, в магазине, в кафе, в метро. Улыбка, просьба извинить, взаимная готовность мирно все разъяснить и уладить при случайном столкновении, привычка придержать автоматическую дверь, чтобы та вас не ударила, деловитая любезность, а нередко и добродушие продавца в магазине, го-

товность незнакомого человека, если вы обратились к нему с вопросом, понять и дать исчерпывающий ответ удивительным образом примиряют с происшедшим, с обществом и его традициями. «Учтивость — это так славно!» — говаривал Гарсия Лорка, меньше всего склонный недооценивать пороки ненавистного ему буржуазного общества (6).

Другой обычай, позволяющий справиться на этот раз уже не с современательностью европейского мира, а с его «абстракцией», порожден той многовековой особенностью, которую можно назвать **навыком микро-множественного бытия**. Церковный приход, содружество местной интеллигенции в деревне или крохотном городке, сообщества выпускников одной и той же школы или университета, тех, кто вместе служил в армии или на флоте, бесчисленные «общества», создаваемые по самым странным поводам и официально регистрируемые под самыми причудливыми названиями... А соседи, изо дня в день встречающиеся в местном кабаке, эта существеннейшая черта европейской жизни? Ни в коем случае нельзя ожидать, что во всех этих «сообществах» и «содружествах» царит искренняя привязанность или практическая готовность жертвовать личными интересами — близость и дружба здесь носят достаточно условный характер. Но именно они создают микросреду, помогающую психологически одолеть «отчуждение» и «абстракцию», порождая готовность самоидентифицироваться с окружающей действительностью (близкой, а через нее и более отдаленной), воспринять сложность Европы как ценность.

Явления и процессы, обосновывающие европейскую самоидентификацию и утверждающие ее основания, сосуществуют с названными ранее и Европе противопоставленными. Как соотносятся те и другие? И еще: ведь перечисленные традиции и формы жизни весьма широко распространены ныне по земному шару; есть ли основания связывать их именно с Европой, говорить об актуальности именно европейской самоидентификации? Ответ на оба вопроса — в антично-римском происхождении европейской цивилизации.

5. Римлянство, точнее, латинство

«Западную Европу по своему образу и подобию создал Рим» — и поэтому «Рим отмечен славою, которую никто не может у него оспорить: он и в наши дни остается тем же, чем был всегда — корнем западного мира» (7). Тютчев написал эти строки полтора века назад — и вердикт его по-прежнему неоспорим. Он больше, чем когда-либо прежде, содержит ключ к пониманию коренных процессов культурно-исторической действительности.

Одно необходимое уточнение. Под Римом как «корнем западного мира» понимается не только город на Тибре, не только и не столько да-

же само по себе римское государство, сколько тот синтез античной культуры и цивилизации, та сумма римского, греческого и провинциального духовного опыта, что воплотились в Pax Romana — умиротворенной после всех завоеваний грандиозной единой империи, в ее порядках и ее атмосфере. (Эта атмосфера прекрасно передана в романе Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана», дважды изданном за последние годы на русском языке.) Знаменитый во II веке ритор Элий Аристид, полугрек-полуримлянин, так обращался в своей «Римской речи» к Риму: *«То, что прежде было кругом земель, ты сделал единым городом»*. В этой-то Pax Romana закрепились, оформились, подытожились порядки, институты и ценности, что вызревали в античном мире на всем протяжении его тысячелетней истории. Именно их узнаешь в доньне действующих основаниях европейской самоидентификации.

Рим выработал систему права, которая, даже вступив во взаимодействие с так называемыми варварскими правовыми системами (прежде всего германцев), сохранила для последующих поколений сам принцип фиксированного права как незыблемый и главный регулятор общественных отношений. Jus — очерченное законами юридическое пространство, в пределах которого мне гарантированы определенные, пусть ограниченные, но твердые права; libertas — личная свобода действий в рамках закона.

Принцип социальной защиты, разрушенный в эпоху раннего и зрелого капитализма, ныне вновь смыкается со своим римским прообразом и в неузнаваемо новых условиях — ЕС как бы воссоздает его. Ведь гражданская солидарность и обусловленная ею практика социальной защиты были коренным законом жизни общины. Они лежали в основе судебной защиты, осуществлявшейся главой клана, дабы помочь члену клана, попавшему в беду. Они же — в основе арендных отношений, стимулом которых были не только деньги, но и помощь соседу; в основе отношений полководца и армии, которые сохранялись после окончания кампании и предполагали взаимность поддержки — воины голосовали за полководца при выборах, полководец помогал воинам материально. Психологический смысл и оправдание клиентальных отношений заключались именно в социальной защите клиента патроном.

Преемственность — или во всяком случае соответствие — обнаруживается также в микромножественной структуре общества и даже в феномене учтивости. Отношения гражданина с государством в Риме всегда опосредовались микроколлективом — коллегией (религиозной или профессиональной), землячеством, объединением жителей городского квартала, союзом избирателей, кабацким сообществом. Учтивость, изначально не свойственная гражданам Рима, постепенно

становилась признанной нормой городской жизни в отличие от сельской, ценностью и признаком цивилизованности. Овидий признавался в любви к своему времени, основанной на том именно, что *«народ обходительным стал и негрубым»* .

В культурно-историческом наследовании наследуется не реальная историческая действительность, а ее образ, живущий внутри заимствующей культуры. Универсальность права, гражданская солидарность, учтивость как выражение цивилизованности, как норма и окрашивающий действительность идеал, в практической жизни Рима, разумеется, постоянно нарушались. Однако Европа Нового времени востребовала именно это сочетание дисгармоничной реальности и гармонизирующей нормы, которая оказывает на эту реальность мощное обратное воздействие. Отсюда — весь многовековой арсенал европейской культуры. Латинский язык — как язык церкви, права, науки, культуры — в целом набрасывал на пестроту диалектов, говоров и наречий нарядный покров единого, вечного, не подверженного влиянию пространства и времени Языка. Опора на опыт первых римских принцев, создававших из бесчисленных городов и весей, завоеванных стран, племен и территорий единую Империю, придавала историческое величие и импозантность политике абсолютистских монархов Франции, Испании или Англии, направленной на создание централизованных государств. Классицизм как стиль архитектуры и литературы выстраивал рядом с трудной и неладной действительностью, в назидание ей, мир очищенных и возвышенных античных форм. Потребность в такой коррекции действительности и соответственно присутствие антично-римских теней в культуре, в политической терминологии, в традициях гимназического обучения сохранились и позже (8). Мы не всегда осознаем всю важность того, что и в XIX, и в первой половине XX века, войдя в кабинет директора банка или местного префекта, посетитель оказывался перед человеком с гимназическим образованием, то есть читавшим в подлиннике Горация и Цицерона!

Привычка к антично-римскому флеру культуры поддерживалась (и поддерживается) повсеместно разбросанными по пейзажу руинами амфитеатров и акведуков, римскими эпитафиями в каждом провинциальном музее, бесчисленными латинизмами в языке. В живом подсознании истории, в мерцающей из ее глубины генетической памяти культуры самоидентификация Европы есть самоидентификация с ее антично-римским истоком и с традицией, из него вышедшей. Недавно проанализировавший обсуждаемый нами здесь круг проблем французский исследователь Реми Браг (книга его уже есть и в русском переводе) так подвел итог своим наблюдениям: *«Европа в узком смысле слова отли-*

чается одной существенной чертой, на которую она одна может претендовать. Это римлянство или, точнее, латинство» (9).

6. Принцип диалога

Из трех проблем, обещанных в заглавии этой статьи, остается третья — «мир», на сегодня самая важная. Ключевыми для ее рассмотрения являются слова, выделенные нами в только что приведенной цитате. Если культурно-исторические основания для европейской самоидентификации коренятся в наследии Римской империи и сложились в ее пределах, **Европа в узком смысле слова — это территория западной Римской империи**, то есть пространство между Гибралтаром и междуруечьем Рейна и Эльбы, между Адриановым валом, отделяющим Шотландию от Англии, и Сицилией.

Распространение «римлянства» шло отсюда, и ощущение разницы между Европой в рамках Империи и Европой, примыкающей к ней извне, сохранилось до наших дней. Именно здесь языком общения осталась латынь, изменившаяся по областям и по времени, ставшая нынешними романскими языками (из германских языков единственный, в котором число словарных единиц латинского происхождения превосходит число собственно германских, — английский). Именно здесь наиболее плотно располагались города, где после распада Империи сохранилось и откуда распространялось римское право. На большей части именно этих земель в качестве господствующей религии сохранился католицизм с его острым ощущением преемственности по отношению к Риму первых веков нашей эры и с его традициями латинского богослужения. Наконец, именно здесь города и пейзаж, их разделяющий, насыщены памятниками римской старины — дорогами, акведуками, руинами терм и амфитеатров; за пределами этого района такие памятники встречаются уже редко.

Ощущение того, что земли вне Империи не принадлежат к собственно европейскому культурному и политическому пространству и потому должны быть приняты специальные меры, дабы им либо в это пространство войти, либо расширить его в качестве внеримской периферии Империи, обнаруживается уже очень рано — в коронации в Риме короля франков Карла Великого, в спорах об инвеституре, в создании и тысячелетнем существовании Священной Римской империи германской нации, во вражде с Римом и в примирении с ним политических и религиозных сил, вышедших из Реформации. В известной мере такое положение сохраняется и в XX веке — в рассуждениях Томаса Манна о южнороманском и нордически-германском двуединстве Европы или Эдмунда Гуссерля об античном корне собственно европейской культуры

и об основанном на этом происхождении качественном отличии последней от культуры всех других регионов мира. В США резиденции законодательных собраний носят название Капитолиев и сохраняют в своем облике римско-палладианские черты. Римские призраки как бы удостоверяют принадлежность к европейскому типу культуры, дают санкцию на самоидентификацию с ней.

Приобщиться к европейскому типу культуры, казалось бы, и нельзя, поскольку он предполагает антично-римское происхождение, огромной части земного шара несвойственное, и в то же время приобщиться к нему или вступить с ним во взаимодействие явно можно, поскольку такое приобщение и такое взаимодействие *de facto* происходило веками и идет сейчас во многих странах и регионах, исторически Римской империи внеположенных.

Сегодня, однако, этому наследию брошен вызов. Отчетливо проступает тенденция видеть в антично-римском происхождении Европы и тем самым в уникальности ее культурно-исторического типа — изъян, частность, отрицательную характеристику, а в признании этой уникальности и тем более в самоидентификации с самим типом — постыдный, морально недопустимый консерватизм. Конкретные формы такого восприятия были кратко описаны в начале этой статьи. Если их обобщить, то выясняется, что сводятся они к одному из двух основных умонастроений — внешне противоположных, но внутренне единых, — которые все активнее утверждаются в современном мире: фундаментализму или постмодерну.

Первый отвергает римско-европейскую традицию как якобы угрожающую незамутненной национально-почвенно-религиозной самобытности отдельной страны, изначально посторонней этой традиции. Второй — как устарелую, безнадежную попытку установить ценностные приоритеты и исторические обобщения, дабы навязать их миру, по природе своей не терпящему никаких приоритетов и обобщений и реальному лишь здесь и сейчас, в виде пучка несвязанных единичностей. Итак — либо идеал общественно-исторической целостности, исключающей свободу и самостоятельность составляющих ее частей и индивидуальностей, либо такая абсолютизация этой свободы и самостоятельности, при которой нет места ни для какого устойчивого единства.

Как бы ни наползали на общественную и культурную действительность эти два облака, какие бы ни были основания для критики прошлого и настоящего римско-европейской традиции (экспансия, отчуждение, безжалостная соревновательность, обреченность прогрессу и поклонение комфорту), как бы ни сложилось наше будущее — оглядываясь на два тысячелетия европейского развития, нельзя не видеть двух вещей.

Первая. Античное наследие — и само по себе, и преломленное в культурно-историческом опыте непосредственно продолжавшей его Европы — вошло в качестве слагаемого в духовную историю стран и народов, составлявших некогда греко-римскую периферию или примыкавших к этой периферии извне, став элементом их национальной культуры, частью ее привлекательности и обаяния. Нет национальной духовной истории Германии без Лессинга, Гете и Винкельмана, без Шиллера и Гегеля, а их самих — без «Лаокоона», без «Римских элегий» и «Истории искусства древности», без «Богов Греции» и античных разделов «Эстетики», без классицистических особняков, где они собирались, и той мебели со стилизованными «римскими» бронзовыми накладками, что заполняла их интерьеры. Нет ее и без Ницше, глубинные и универсальные связи которого с антично-римской традицией были недавно вскрыты немецкими исследователями (10), и без уставленного античными бюстами гимназического вестибюля, куда принесли умирать героя рассказа Белля «Путник, если ты придешь в Спа...».

Нет и национальной культуры России без исихазма XIV-XV веков, без Сергия и Андрея, в связи с которыми Флоренский сказал, что «вся Русь, в метафизической форме своей, сродни эллинству» (11), без двухсотлетней столицы — Санкт-Петербурга, который Петр задумал, а Екатерина и Александр отстроили так, чтобы был он «в метафизической форме своей сродни» Риму. Нет — без Пушкина, начавшего с переложения Ювенала, кончив поэтическим завещанием, открывающимся двумя строфами Горация. Нет — без Серебряного века, где так сгущены и просветлены тени классического пушкинского Петербурга, так яркок архитектурный неоклассицизм, так слышен голос Вячеслава Иванова:

*Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерний Ave, Roma.
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.*

А теперь вторая «вещь» — чем объяснить такую стойкость античной традиции? Почему сопричастность ей, встроенность ее классического наследия в национальную культуру объединяет в одно Европу, исторически вышедшую из Римской империи, и страны, образовавшие вместе с ней как бы *метафизическую* европейскую культурно-историческую ойкумену, разделившие в разной мере, в спорах и в противоречии с собой, ее самоидентификацию? И что такое «классический»? Тип искусства, характеризуемый этим прилагательным, предполагает прежде всего равное удаление как от чистой субъективности, освобождающей художника от ответственности перед канонами, перед тра-

дицией, перед гражданским коллективом, так и от чистой объективности, которая исчерпывает творчество каноном. Норма классического — равновесие, неуклонное изживание крайностей и их преодоление. В этом главном смысле «классический» есть характеристика не только искусства античного мира, но и самого этого мира в целом, его нравственного идеала и типа культуры, итог его исторического бытия и суть его наследия.

«*Мера — наилучшее*», — учил один из семи мудрецов Греции. В Риме в каждый данный момент или период, в каждой данной военной или политической ситуации принцип этот бесконечно попирался, однако, глядя сквозь века, видишь, как именно он нитью проходит сквозь времена, связывая их в единое целое. Рим начал с противостояния патрициев и плебеев — а кончил их фактическим слиянием, начал с противостояния свободных рабам — и в результате постоянного и массового отпуска рабов на волю уже Рим II века современники называли империей отпущенников. Превращение все новых завоеванных территорий в провинции и ограбление их в интересах Рима шло веками — а привело к уравниванию их в единой экономической и правовой системе Антониновой империи. Империя убила республику, но спасла ее институты.

Принцип диалога, живого, срывающегося, неустойчивого, но в исторической перспективе утверждающегося равновесия изначально противостоящих начал был в Риме осознан и положен в основу противопоставления античного мира миру варварства. Варварство — всегда «либо — либо»: либо безоговорочное господство целого над частью и личностью, либо его изнанка, ничем не сдерживаемое бесчинство частного интереса племени, клана, вождя, отдельного человека... *Barbarorum libertas*, «варварская свобода», — называл это состояние Тацит.

Есть основания утверждать, что так понятие наследие антично-римского мира образует корень и твердь европейской культурно-исторической традиции.

Есть основания думать, что указанное равновесие и помогает в конечном счете справляться с неизбывным противоречием между человеческой единицей и общественным целым и что именно этот путь его разрешения способствовал великим преимуществам Европы, содействуя распространению ее типа культуры и столь частому стремлению самоидентифицироваться с ней.

Есть, наконец, основания надеяться, что ценности, заложенные в этом наследии, может быть, не развеются в коловращении тысячелетий...

1 мая 1998 года

Примечания:

- 1 П. Бергер. Понимание современности. // Социологические исследования. 1990, № 7. С. 128.
- 2 Ed. W. Said. The Politics of Knowledge. Berman P. (ed.) Debating P.C. N.Y., 1992. P. 173.
- 3 «The Guardian» 14.05.1993. Приводимые далее цитаты и упоминаемый ниже рисунок — из публикаций этой газеты за февраль-май того же года.
- 4 А.И. Герцен. Соч. соч. в 30 тт., т. XI, с. 109.
- 5 J. Habermas. Theorie des kommunikativen Handelns. Bde I-II. Frankfurt a. M., 1981. Русский перевод ключевой главы второго тома: THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. Перевод В.И. Иванова. — Весна, 1993. Т. 1, вып. 2. С. 131.
- 6 Х. Гильен. Живой Федерико // Гарсия Лорка в воспоминаниях современников. — М., 1997. С. 321.
- 7 Ф.И. Тютчев. Полн. собр. соч. Под ред. П.В. Быкова. — СПб., 1912. С. 559, 563.
- 8 *«Бывшее в свое время в ходу изучение древних языков не только не приводило к пагубным результатам, но давало нам единственное средство достигнуть углубленного знания нашего собственного языка, от них происшедшего. Их изучение заставляло нас восходить к истокам, укрепляло в нашей исконной природе, не говоря уже о том, что оно как нельзя лучше отвечало способностям и потребностям ребенка, который прежде всего нуждается в подготовке инструмента его мысли — языка».* (Астольф де Кюстин. Россия в 1839 году. Т. 1. — М., 1996. С. 302.)
- 9 Европа. Римский путь. — Долгопрудный, 1995. С. 17. Мы позволили себе несколько отредактировать опубликованный перевод.
- 10 См.: W. Jens. Der Rhetor Friedrich Nietzsche // Walter Jens. Reden. Leipzig und Weimar, 1989. S. 297, 311.
- 11 П.А. Флоренский. Троице-Сергиева лавра и Россия. Жизнь и житие Сергия Радонежского. — 1991. С. 275.

АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ

Братва

Один из наиболее известных сюжетов гегелевской философии получил название «диалектика господина и раба». Вкратце суть его сводится к следующему.

Допустим, мы считаем волю к власти неустранимым мотивом человеческого бытия. Одни люди оказываются властвующими, прочие, соответственно, им подчиняются. Сразу же возникает вопрос: почему? Можно сослаться на то, что властвующие — это имущие, они обладают средствами производства, чем и обеспечивают себе господство. Такое объяснение предлагает, например, марксизм. Ясно, однако, что вопрос этим не решается: нас интересует, почему средства производства оказываются, скажем, у него, а не у меня? Можно заявить: «Властвует тот, кто сильнее». Но и этот ответ слишком расплывчатый: именно природа силы, благодаря которой господин господствует, и требует объяснения, ведь не о физической же силе идет речь.

Скорее, имеется в виду внутреннее качество как решающий признак власть имущего. Как раз об этом и говорит Аристотель в своей чеканной формуле: *«Одни люди по природе своей свободны, другие же рабы; и быть им рабами полезно и справедливо»*. Наконец, Гегель ставит точки над *i*: господин есть тот, кто готов поставить жизнь на кон. Тот, кто не отваживается на предельную ставку, обнаруживает тем самым свою природу слуги.

Богатство рано или поздно отнимут, если оно не подкреплено готовностью к смертельному риску. Традиция будет сметена, когда накопится отложенный соблазн. Следовательно, восхождение элиты опирается на вызов, брошенный смертью, на преодоленный страх потерять свое драгоценное существование.

Такие люди и берут бесхозную или едва удерживаемую власть в свои руки. А уж затем нетрудно получить и санкцию на власть: ее сформулируют специалисты по словам, если им заплатить или, например, грозно взглянуть на них. Далее история развивается по схеме, описанной итальянским философом Парето: сословие господ учреждает (или переучреждает) государство, понимаемое как механизм сохранения власти, положение в обществе на несколько поколений стабилизируется — господину достаточно лишь время от времени подтверждать свою готовность к смертельному риску.

Однако из-за редкого употребления эта способность постепенно утрачивается, и в какой-то момент очередное поколение власть имущих начинает держаться только на социальной инерции. Соответствующий пункт исторического развития Парето назвал «усталостью элиты»: теперь власть принадлежит не господину, а исполняющему обязанности господина. Понятно, что долго так продолжаться не может: подобно всякому временщику, и.о. господина пытается урвать побольше («на будущее»), подкупить тех, в ком распознает угрозу. Но дело его обречено: новая восходящая элита, хищная, ненасытная, легко бросающая на кон свои и чужие жизни, решительно забирает власть из дрожащих рук.

События, развернувшиеся в России за последнее десятилетие, при всем их противоречивом содержании, прежде всего знаменуют собой процесс смены элит. Одряхлевшая партноменклатура окончательно утратила хватку господина и была сметена политическим авангардом, состоявшим из обделенных специалистов по словам. Этот малочисленный авангард, в свою очередь, тут же рассеялся, поскольку, не обладая никаким навыком, подходящим для отбора в элиту, не тянул даже на и.о. Имя нового коллективного господина сегодня известно: «братва». Столь же хорошо известен его самый популярный, хотя и временный псевдоним — «новые русские». Господство еще не оформлено юридически, но фактически новая элита уже правит уверенной и твердой рукой. Вспомнимся в ее черты.

Качества, характеризующие «господина по природе своей», обнаруживаются без труда. Бандиты ставят жизнь на кон не задумываясь. Готовность к риску распространяется и на имущественный риск, чем восполняется один из самых тяжелых дефицитов российского общества — дефицит инициативы и предприимчивости. Имеется и еще один, редчайший в наших условиях, навык — способность к самостоятельному принятию решений и личной ответственности за их исполнение: братва связана принципом «отвечаешь за базар». Наконец, щедрость как неизменный атрибут властелина — она карикатурным образом воспета в анекдотах как расточительность новых русских.

Кстати, обилие анекдотов о новых русских на фоне почти полного отсутствия в отношении представителей политической власти является характерным симптомом: фольклорное сознание отнюдь не введено в заблуждение по поводу истинных хозяев жизни.

Впрочем, не стоит, пожалуй, сокрушаться в очередной раз о неисповедимых путях России. Стойкое бесстрашие, проявляемое на уровне инстинкта компактной социальной группой, есть всеобщее достояние нации, порой гораздо более важное, чем образованность или даже историческая память. Пресловутая английская сдержанность может ввести в заблуждение только при поверхностном взгляде: на самом деле она прикрывает отказ от «лишних движений», готовность мгновенно вступить за свои права. Достаточно вспомнить знаменитых английских футбольных болельщиков, наводящих ужас на всю Европу (тем же итальянским или аргентинским болельщикам, внешне гораздо более экспрессивным, не раз доставалось от английских фанов), чтобы понять, почему над Британской империей никогда не заходило солнце. Парни из Ливерпуля, готовые постоять за себя, подтверждают принадлежность к элите по главному критерию, и это отнюдь не мешает проявлению других, вторичных, качеств — той же сдержанности, склонности к индивидуализму, доходящему до чудачества.

Ясно также, что власть бандитов была бы невозможна в Ливерпуле. У них нет там шанса, поскольку есть твердая воля свободных людей, не утративших навыка господина. В России такой шанс имеется — более того, шанс можно назвать стопроцентным ввиду отсутствия сколько-нибудь достойных претендентов, хотя бы отдаленно напоминающих элиту. Но прежде чем говорить об этом, следует еще раз напомнить, что «преемственность закона» (равно как и другие составляющие демократического выбора) производна от наличия свободных людей, готовых при случае предъявить свое право принадлежности к «свободнорожденным» вплоть до высшей ставки на кону.

Философ и культуролог Михаил Петров пришел к выводу, что античные полисы, первые оплоты демократии, были основаны пиратами Эгейского моря: именно они обладали всеми качествами «господина по природе своей» и могли конвертировать важнейшие навыки властвования в любую целесообразную деятельность. Мы можем этому не верить, но вспомним, кем были фактически учреждены Северо-Американские Соединенные Штаты: вспомним покорителей Дикого Запада, отчаянных авантюристов с кольцом на ремне, быть может, не слишком образованных, но никому не собирающихся уступать свою свободу. Это их потомки теперь правят миром.

В длинном списке элит — пираты, викинги, рыцари, дворяне, казаки, бандиты, ковбои и т.д. — встречаются как имена, так и псевдонимы, но все они суть предтечи и гаранты демократии.

Теперь нетрудно понять, что же прежде всего потеряла Россия за семьдесят коммунистических лет — людей, обладающих навыками свободы и властвования. Партократия оказалась одной из самых безумных и кровожадных элит в истории. «Комиссары в пыльных шлемах» уничтожали друг друга намного быстрее, чем, например, французские дворяне XVII века или современные российские бандиты (хотя некоторая квота взаимоуничтожения необходима для предотвращения усталости элит). В результате уже к концу 40-х годов властный слой Советского Союза был представлен исключительно случайной подборкой из чиновничьего сословия, едва способной лишь к поддержанию социальной инерции.

Все четыре «ветви власти», существующие сегодня в России, носят это имя по недоразумению. Братве они не конкуренты, даже достойного сопротивления не видно: пресловутая «борьба за власть» больше похожа на попытку оговорить приемлемые условия для капитуляции. Следует, правда, заметить, что суд (система права) у российских властных элит всегда считалась делом второстепенным — не удивительно, что зависимость современного правосудия от воли нового коллективного господина (братвы) мало чем отличается от «независимости» советского правосудия 30-40-х годов. Не могут претендовать на роль реальной силы и толпы обиженных, стекающихся в ряды коммунистической оппозиции: простого количества отнюдь не достаточно для подкрепления властной претензии, а ни о какой «готовности к риску» не может идти даже и речи.

Таким образом, приход новой элиты, соответствующей всем исторически опробованным критериям, не только неизбежен, но и в известном смысле предоставляет обанкротившемуся обществу реальный шанс: появление устойчивого, динамичного, инициативного и знающего себе цену авангарда, будущих учредителей нового жизнеспособного государства. Пока братва как элита в первом поколении еще не обрела спокойной уверенности господина — но, впрочем, уже сейчас без помех «забывает стрелку» в Смольном.

18 марта 1999 года

СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Неудержимая власть

*Посвящается всем нам, включая авторов проекта
«Президентской повестки дня»*

Вопрос к вопросам

Вопросы, предложенные для «Президентской повестки дня», вызывают невольное уважение своим интеллектуализмом. Однако отвечать на них неинтересно. Что-то мешает всерьез отнестись к этой игре с властью в вопросы и ответы. Куда важнее было бы обсудить *неявные предпосылки, которые предопределили отбор вопросов в качестве «актуальных»* и их формулировку. По старинной русской традиции принято проглатывать оные предпосылки, не разжевывая, а еще лучше — игнорировать либо отрицать сам факт их существования.

Но есть основания сомневаться в основательности необсуждаемых оснований. Ведь если фундамент рухнет, воздвигнутые на нем «повестки» и «сценарии» мигом обратятся в пыль. Из какого материала надо изготавливать проволоку, для того чтобы обеспечить телефонную связь с Луной? Вопрос повисает в пустоте. Неявно (и от этого особенно назойливо) навязываемая «проволока» отвлекает от подлинной проблемы: разработки технологии беспроводной передачи данных.

Мне всегда хотелось искать ответы на подобные вопросы, которых никто не задает. Только едва ли они покажутся интересными власти. У нее — свои интересы.

Будущего президента (как и всех его предшественников) по-настоящему волнует единственный двуединый вопрос. Как завоевать власть? И как удержать власть? Все остальное интересно ровно в той ме-

ре, в какой имеет отношение к данным темам. Можно, конечно, озаботиться «геоглобалистикой» или «федерализмом», но недержание власти разом опускает высокие предметы на уровень пикейных жилетов.

Властедержец вся РФ

Ельцин заботился о «завоевании и удержании» постоянно. Лучшего блюстителя и попечителя, чем Борис Николаевич, власть российская вряд ли могла сыскать. Чистейший ум игрока, не замутненный никакими посторонними идеями, принципиально беспринципный, с врожденным властным рефлексом... Каждый раз в безвыходной (казалось бы) ситуации он чисто интуитивно, щелчком, моментально рушил любую комбинацию противников: гроссмейстер, политический Бобби Фишер!

А власть почему-то не удержал, отдал ее добровольно, ко всеобщему изумлению.

Начальник милостью Божьей, человек с даром, волей, музыкальным слухом к власти, Моцарт интриги и корифей подковерных схваток, воплощение власти как таковой, он сражался за нее, как лев, все девять лет своего президентства, не зная ни сна, ни отдыха.

Сражался — с кем?

Битва с тенью

Кто же этот всесильный Макиавелли, таинственный противник русского Иакова?

Генерал с пшеничными усами, обернувшийся кротким провинциальным губернатором?

Говорливый чеченский профессор?

20-процентный раствор коммунизма в сметане, обреченный проиграть во втором туре распоследнему жидомасону?

Путчисты гондурасского масштаба, для умирения коих потребны четыре танка и камера CNN?

Более фельетонной «оппозиции» невозможно вообразить.

Не считая коронарного шунтирования, у него не было достойных врагов. Он молотил руками и ногами воздух. Он был одинок на ринге, где за чередой нокаутов получил нокаут.

Власть, уходящая сама по себе

Если герой изо всех сил боролся и проиграл, а играть ему было решительно не с кем, остается предположить, что *он боролся не с кем-то, а с чем-то.*

Отсутствие персонифицированных врагов народа — еще не гарантия от неприятного хода вещей.

Власть уходила сама по себе. Первый президент самоотверженно боролся с тенденцией утечки власти. Неустрашимый боец, он справился бы с любой из существенных угроз, но исчезала сама среда существования. Какая-то гигантская дыра, воронка, возникла в море-окияне, где плескалась царь-рыба, оно превратилось в затхлый кремлевский пруд с пиявками, а затем сошло в лужу. Жабры власти продуло ветрами эпохи.

Основной вопрос революции

Динозавры вымерли не оттого, что их пожрали.

Вопрос вовсе не в том, как удержать власть в пост-ельцинской России, какие для этого сыскать византийские рецепты, где откопать распутинского пошиба народных целителей. Вот он, настоящий вопрос: *возможно ли в принципе удержать власть — здесь и сегодня?*

А ответ примитивен. **Власть в России более удерживать невозможно.** Никому, никоим образом и ни при каких обстоятельствах.

Власть — вымирающий уклад, все более маргинальный. Это архаический вид социальной материи, он распадается в постиндустриальную эпоху. И здесь, у нас, быстрее, чем где-либо в мире.

Сам вопрос, можно ли удержать власть, теряет смысл, он уже практически некорректен. Нельзя отнять то, чего не существует. Вопрос не в вещах, а в понятиях вещей. Происходящее здесь и теперь уже не может быть описано в привычных, но оттого ничуть не менее фиктивных терминах «власть», «государство», «президент» и т.п.

Власть не может быть сохранена. Для того чтобы президент смог усидеть в Кремле, то, что находится в Кремле, должно перестать быть «властью».

Оставьте рюкзак за канатами

«То есть как это — не удержать? Вы мне эту заумь бросьте! Вот же она, родимая! Сейчас только кликну генералов с министрами...»

Клик-клик. Программа совершила недопустимую ошибку. И будет закрыта.

Всем давно очевидно, что власть испаряется. Осталось догадаться, что она больше не сконденсируется.

Советская власть погибла от собственной бессодержательности. В модернизированной идеократии не оказалось места для идеи, в плановой системе — для методологии проектирования. Система выродилась в самодостаточную игру за властный ресурс. Чистый уклад воспроизводства власти не по глупости, а по определению выкидывает любое постороннее содержание. Там нет места для экспертного знания, для корпо-

ративной технологии принятия решений, для стратегических культурных инвариантов. Люди, которые приходят во власть, будучи нагружены такого рода вещами, там не удерживаются. Лишние навыки, мысли и книги мешают боксеру двигаться и улавливать финты противника. Тот, кто выходит на ринг с рюкзаком, получает по мозгам.

Безмозглый организм отторгает спасительную донорскую ткань, он рефлекторно предпочитает сдохнуть, сохранив политическую идентичность.

Совокупный михал-сергеич был стерилизованно пуст, как бутылка из-под дистиллированной воды. Голова есть, чтобы ею есть. Жаль только, есть стало нечего.

Думаете, не про нас?

Мытарства мытарей в виртуальную эпоху

Фараон призван собирать дань и жаловать надель. Распределительный механизм, та или иная технология отъема и раздачи благ является неотъемлемым атрибутом власти. Сборщик податей и кассирша в бухгалтерии олицетворяют ее для большинства населения.

Просвещенное крыло номенклатуры решило отдать дань прогрессу и перейти от планово-натурального метода сбора и раздач к денежному. Оно директивно раскрепостило госмердков и взащей вытолкало в отхожие бизнес-промыслы, даровав им налог вместо барщины. Распределение ресурсов, выпадающих налоговым дождем, мечталось осуществлять через шлюзы современной социальной политики.

Но реформаторам было невдомек, что рыночная технология перераспределения благ давно дышит на ладан. Тип хозяйственно-активного субъекта в постиндустриальном обществе (его еще зовут, кстати, «постэкономическим») радикально изменяется. *Предприниматели* больше не занимаются «бизнесом», они строят *схемы* из бизнесов. Предпринимательские схемы имеют надэкономическую, информационную природу. Они не нарушают экономическое законодательство, поскольку функционируют вне регулируемого им пространства. Предпринимательские доходы не являются «прибылью» по определению (что вовсе не означает, будто предпринимательством нельзя составить баснословного состояния). Речь не о том, что предприниматель — человек-невидимка и что его нельзя изловить с помощью ОМОНа или войсковой спецоперации. Просто «наружка», «прослушка» и «выемка» проходят совсем не по ведомству финансового аудита и сбора налогов.

Короче, для непонятливых: *постиндустриальных предпринимателей в принципе не возможно обложить налогами*, даже если они сами страстно того пожелают и добровольно сдадут валюту. По той же причине,

кстати, из-за которой невозможно взимать феодальный оброк с брокера фондовой биржи (при всем их созвучии) или изловить электронную транзакцию ковбойским лассо.

Родина слонов и предпринимателей

Там, на Западе, как и положено, все менялось плавно и постепенно. Там в недрах старого уклада (назовем его рыночным или экономическим) и старого типа хозяйствующих субъектов (назовем их бизнесменами) появился и уже дольше полувека разрастается сверх-, вне- или метарыночный уклад (постиндустриальный) и размножается новый субъект (предприниматель), пребывающий пока в меньшинстве.

Навстречу медленному прорастанию нового уклада эволюционирует государственное регулирование. Внутри системы государственных институтов проклевываются мета-, пост-, квазигосударственные. Отживающая форма «nation state» сосуществует и борется с транснациональными корпоративными формами.

В России все получилось, как всегда.

Во-первых, беда в том, что у нас предпринимателей как грибов (и немалая их часть — поганки). «Правильные» бизнесмены так редко встречаются среди хозяйственно-активных субъектов, что их впору в Красную книгу заносить, а не драть с бедолаг семь налоговых шкур. Государство же в лучшем случае в упор не видит предпринимательского большинства, в типичном — помогает иноязычным конкурентам мочить наших в оффшорных сортирах.

Во-вторых, большую часть РФ-государства давно приватизировали самые продвинутые из предпринимателей. Числясь госчиновниками, они используют казенные департаменты для частных постиндустриальных игр, для построения схем и увенчания оных госкрышами.

Короче, Склифосовский

Еще короче. Хотелось, сдав в утиль партийно-распределительную шаланду, выплыть на гребне макроэкономической волны в яхте, полной налогов и сборов. Но не смоглось. Вышло из этого одно глубокое, печальное заблуждение. И как выразился в сходных обстоятельствах Глеб Павловский, вы в этом вскоре убедитесь. Несмотря на титанические фискальные усилия, настоящих налогов в принципе можно добыть все меньше и меньше. Починка и Ко придется прикомандировать к ФСБ, а под видом новейших форм налогообложения воскресить древлекняжеское полюдые или позаимствовать методы отстежки на грев в гособшак. Сознательные предприниматели, устав играть в кошки-мышки, предпочтут добровольно перейти в ряды ловцов. Мышей от этого, кстати, не

прибавится. А несознательные — рванут за таможенные границы в мышеловки зарубежных спецслужб, финансируемых тамошними предпринимателями.

Прискорбно, что данный вполне либеральный ужастик не лечится никакими либеральными же рецептами. Левые кручинятся, правые отдыхают.

Власть умерла, да здравствует суверенитет

Национальное государство, такие его аспекты, как гражданство, границы, действующая армия, — все это атрибутика конкретной, исторически преходящей формы *суверенитета*. Данная форма, увы, изрядно попахивает, несмотря на отсутствие официального некролога. Придет черед и власти, нашего всего (не считая Пушкина). Но скорая кончина государства не означает конца суверенитета. Нет, весь он не умрет.

Первобытное племя, будучи в высшей степени суверенным, не имело «границ», не имело «власти».

Чистая власть Хаммурапи, суверенного помазанника божьего, не выигрывалась на выборах, не подлежала разделению, не содержала никаких сдержек с противовесами.

В России, невзирая на робкие попытки рационализации, все время сохранялось отношение к власти как к чему-то сакральному. Открытые претензии на нее и поныне здесь табуированы. Западная рационально-легитимная форма суверенитета у нас, едва возникнув, уже исчезает. Куда быстрее, кстати, чем на исторической родине. Но и там не избежит она своей участи. Это вполне «магистральный путь», расслабьтесь, патриоты.

А что потом?

Но об этом, собственно, никто не спрашивает.

Власть сидит в Кремле, ожидая повестки.

17 марта 2000 года

БОРИС ДУБИН

Литературная классика в идеологиях культуры и в массовом чтении

Вопреки распространенным иллюзиям носителей письменной (книжной) культуры, «классические авторы» — если брать новейшее время и выйти за пределы программного чтения школьников — никогда не преобладали в круге чтения каких бы то ни было читательских групп, равно как и в составе домашних книжных собраний, в структуре читаемого абонентами публичных библиотек. Напротив, индексом социальных перемен — и способности тех или иных групп к динамике — на протяжении как минимум двух последних веков всегда была литература, современная по проблематике и массовая по характеру обращения к читателю, по маршрутам и масштабам циркуляции в обществе.

Эта массовая словесность — литература нравоописательная и нравоучительная. Ее жанровая принадлежность жестко задана автором и безошибочно опознается читателями: в основе тут — динамичный сюжет и активный, показанный через события и поступки, главный герой. Она опирается на эстетику отражения-подражания, «реалистична» как по поэтике, так и по объекту внимания (среди ее предметов, если вообще не в центре действия, обязательно имеется социальная периферия или маргиналия: жизнь выпавших из нормы, непривилегированных групп, «дно» общества и «неприятные», запретные, «непубликуемые» стороны реальности — «ужасное», «уродливое», «грубое» или повышенно-экспрессивное, «трогательное», в том числе по языку). Она критична по социальной направленности, но моралистична по идейному заряду и оптимистична по проблемной развязке. Наконец, она — и в этом

еще одна ее связь с актуальным временем — нередко публикуется в регулярных выпусках серийного издания или в текущей периодике (и даже чаще не в идейно-ангажированном «толстом» журнале, а в бульварном «тонком» либо в популярной газете), а кроме того — доходит до читателя, минуя специализированные группы рецензентов, рекомендателей и интерпретаторов (литературную критику).

Так оно было в истории. Скажем, в антиклассицистической пуританской словесности в Англии или в литературной продукции пиетистских кругов в Германии, давших в совокупности мощный толчок развитию самого жанра нравоописательного и социально-критического романа — британского буржуазного novel, противостоящего аристократическому (придворному, салонному), костюмированно-историческому roman, немецкого Bildungsroman, французского roman-feuilleton типа произведений Эжена Сю, вместе с водевилем и мелодрамой повлиявшего на эпопею Бальзака и Золя. Так обстоит дело и сейчас.

По данным социологов Государственной библиотеки имени В.И. Ленина, изучавших домашние библиотеки начала — середины 1980-х годов, произведения дореволюционной литературы присутствовали, в лучшем случае, в одной из четырех тогдашних библиотек объемом более 100 книг (трех книжных полок), а суперклассические имена далекого прошлого (Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Гоголь, Лермонтов) лидировали только среди авторов, чьи собрания сочинений респонденты хотели бы (но, по условиям дефицита той поры, не имели возможности) купить. Иначе говоря, эти авторы и издания были авторитетны прежде всего для новых массовых книгособирателей 70-х — начала 80-х годов (а их книжные собрания составляли 70% имевшихся тогда в стране личных и семейных библиотек); еще одна группа «приверженцев» классики — учащиеся, то есть дети этих самых новых книгособирателей (1). В середине 90-х годов (данные общероссийских опросов ВЦИОМ 1993-1994 годов) в списке разрядов литературы, наиболее популярных у читателей, классика, которую чаще других жанров и разделов литературы читает, по их признанию, 11% опрошенных россиян и особенно — более образованные женщины старше среднего возраста, значительно уступает приключенческой литературе (16%), детективу, любовной прозе, историческим романам и мемуарам (по 27%). В списке «любимых писателей» (исследование ВЦИОМ в июле 1994 года; проценты к числу ответивших на вопрос, при том, что двое из каждых пяти опрошенных не дали на него ответа) Л.Н. Толстой стоит рядом с Д.Х. Чейзом (7 и 6%, соответственно), Пикюль — с Пушкиным (по 5%), а Дюма — с Солженицыным (4 и 3%).

В этих последних, относящихся к нынешнему времени случаях перед нами — один из общецивилизационных эффектов урбанизации

и социальной мобильности 1960-1980-х годов, городской, образовательной и жилищной «революций» этого времени (2). Классика тут, вместе с функционально близкими к ней поэзией и исторической литературой, — символ социальной полноценности, новой идентичности, символический пароль при вхождении индивида — но прежде всего семьи — в социальную структуру общества, в ее более высокие (городские, столичные) слои. В макросоциальном плане перед нами эффект массовизации образования, престижных символов культуры и т.п. при переходе страны к городскому образу жизни, на что указывает сам характер типового на тот момент книгопокупательского запроса (собрания сочинений и представительные двух-, трехтомники «проверенного временем» избранного — солидный, надежный и недорогой комплект книжной культуры, легко, кстати, различимый на фото- и телепортретах многих уже сегодняшних деятелей политической и социальной сцены). Имеется в виду советская модель государственно-централизованной, военно-промышленной и топливно-сырьевой урбанизации с ее резким разрывом между столицей и несколькими крупнейшими привилегированными городами, с одной стороны, и всей остальной «провинцией» («глушью», «глубинкой») — с другой.

В 1990-е годы социальный динамизм, получивший в России к этому времени известную возможность свободного, легального и публичного проявления, выражается, среди прочего, в поиске более инициативными группами общества соответствующих поведенческих моделей, символических образцов идентификации. В большой мере именно отсюда идет интерес молодых респондентов, с одной стороны, к литературным конструкциям, которые воплощают, продумывают, обсуждают, рационализируют образцы активного действия, успеха, жизненной состоятельности, нередко проецируя их на утопический фон (составляющий основу чтения мужчин наиболее активного возраста авантурный роман, детектив и боевик, научная фантастика с ведущим мужским героем), а с другой — к сюжетам и фигурам, представляющим возможности и коллизии взаимности, нерепрессивного по отношению к партнеру и не цензурируемого в индивидуальном и в социальном плане эмоционального переживания и выражения, которые оцивилизовывают «природную», «стихийную» чувственность («дамский», «любовный» или «розовый» роман).

Но и классика, демонстративно представляемая в нормативных поэтиках и традиционалистских манифестах обобщенным образом устойчивости в изменении, в новое и новейшее время лишена какой бы то ни было смысловой однозначности. Как ни парадоксально, именно она выступает импульсом и объектом самых разных интерпретаций, конку-

рирующих друг с другом в современности и постоянно сменяющих одна другую в диахронии. Больше того, к какому бы периоду новейшей истории и к какому бы из регионов западного мира ни обратился исследователь культуры, он фактически всегда имеет дело с несколькими разновидностями классики — с разными ее образами и функциональными трактовками в идейном и символическом обиходе различных групп.

Само понятие «классические авторы» (метафора социальной иерархии в ретроспективных оценках культуры) восходит к поздней античности. Эта семантическая конструкция «классического», в целом надолго сохраняя для европейских языков двойное значение «образцового» и «относящегося к античной культуре», претерпевает многообразные превращения на всем протяжении эпохи культурного традиционализма в Европе вплоть до XVIII века, а в отдельных регионах и до XIX столетия, когда общелитературный пассаизм сменяется — у европейских романтиков, позднее у Бодлера, Рембо и других «проклятых поэтов», у Ницше — конфликтующей и, вместе с тем, неразрывной с ним авангардистской идеологией современности, культурным проектом «модерности» (modernity) (3). Но полноту функционального смысла для автономизирующегося социального института светской и общедоступной литературы (этими чисто литературными аспектами темы здесь придется пожертвовать), равно как и для особого измерения жизни общества, программ его развития, получивших с этого времени универсальный титул «культуры», идея классики приобретает в рамках становления национальных государств в Европе XVII-XVIII веков. Понятие и проект появления, создания собственных — «новых» (по образцу античных «древних» и в соревновании с ними) и «национальных» (по образцу имперско-латинских и в отталкивании от них) — классических писателей, вместе с соответствующим набором лингвистических идей, программ выработки единого литературного языка, входят в круг символов и атрибутов национальной государственности и культурной идентичности нации.

Раньше других в Европе на этот путь вступает Франция. За ней и, во многом, в соперничестве и конфликте с ней, в борьбе с «галломанией» собственных высокопоставленных слоев, властных и элитных структур, с конца XVIII и на протяжении всего XIX веков следуют страны «запоздалой», «отсроченной» или «догоняющей» модернизации — Германия, Италия, Испания, Россия и весь восточноевропейский ареал. (От взаимодействия в этих движениях антично-классического, национально-языческого и — противостоящего им обоим как «новое» «древнему» — универсально-христианского, равно как от всего комплекса параллельных процессов секуляризации культуры и, напротив, явлений

религиозного фундаментализма в обществе, тут тоже приходится, при всей их значимости, отвлекаться.)

Понятие классики может — в качестве, например, заявки на титул полноценной нации — утопически проецироваться в будущее (мечта о «собственных Платонах» у М. Ломоносова), употребляться в императивной модальности (вроде заклинания *«Должны быть все-таки святыни // В любой значительной стране»* у Я. Смелякова) или консервативно-идеологически переноситься на прошлое (в духе «у нас была великая эпоха» Э. Лимонова); известный арабист Г. Э. фон Грюнебаум говорит по сходному поводу о «регрессивном» и «динамическом» классицизме (4). Это понятие может, опять-таки, отсылать к собственной истории или к «чужому» прошедшему (Грюнебаум именуется подобные случаи ортогенетическим и гетерогенетическим классицизмом). Но в любом случае идея классики относится к специфическому обиходу идеологически возбужденных и ангажированных групп, связанных с репродуктивными подсистемами общества (образование, культура, отчасти — средства массовой информации) и претендующих на высокий статус — просвещение власти и смягчение нравов «народа». Здесь можно в общем смысле говорить об «интеллигенции» (5).

Классика в таких случаях (точнее — национальная классика в ряду высших национальных достижений, в совокупности национального достояния в целом) входит в структуру конфронтирующих друг с другом групповых программ развития и доминантных символов национальной идентичности, целостности нации в ее динамике. Соответственно месту в социальной структуре общества и базовым ориентациям этих или иных конкретных групп они в обосновывающих свои притязания манифестах выдвигают различные истолкования подобных ключевых символов (разные идеологии культуры): почвеннически-традиционалистские, либерально-универсалистские, радикально-утопические. Тут можно говорить о месте классики в конкурентной борьбе разных групп за интерпретацию доминантных символов целого и идей (проектов) развития — сражениях за «нашего» Пушкина, Толстого, Достоевского и других по формуле «NN с нами» (а не с «ними»).

Иначе говоря, надо отличать место и функции классики *в идеологиях развития* и в ходе *цивилизации общества* (речь и в том, и в другом случае идет о процессах изменения, но они кардинально различаются по содержанию и масштабу, по группам инициаторов и рецепторов, типу их взаимодействия). В конечном счете и применительно к моему конкретному предмету, правомерно связывать саму интеллектуальную конструкцию «классики» и социальное бытование репрезентирующих ее образцов с особым, государственно и централизованно бюрократи-

чески управляемым характером модернизации в России, а значит, и с соответствующим социальным положением и траекториями движения образованных слоев общества. В первом, идеологическом, смысле «классика» — культурный капитал, символический ресурс и сфера интересов особого «сословия» идеологов, сообщества интерпретаторов и рецензентов культурной продукции эпохи, репертуара ее идей; во втором, цивилизационном, — достояние рутинных структур культурного воспроизводства, рецепции и трансформации, включая семью и повседневность. Соответственно, эти процессы развиваются в разном времени, а нередко и противостоят друг другу.

Фундаментальный для нашей темы факт состоит в том, что классика в России (по крайней мере, в советскую эпоху) — установление государственное. Поэтому, сколько бы ее значимость ни подчеркивалась в порядке инициативы тех или иных идеологических группировок, ни педалировалась нормоустанавливающими усилиями законодателей литературной или книжной культуры, войти в сколько-нибудь широкий читательский обиход литература, помеченная как «классическая», в наших условиях может, только если она получит институциональное утверждение и поддержку со стороны государства. Это относится прежде всего к определению корпуса образцовых авторов, *формы и тиражей* их издания, а стало быть — к степени важности и уровню доступности соответствующих литературных образцов для потенциальных читателей. Далее, это касается норм восприятия, дешифровки, усвоения данных символов и образцов тем или иным конкретным читателем, их смысловой нагрузки и функциональных трансформаций, модальных превращений во всех перечисленных процессах.

В самом общем смысле, траекторий здесь, как представляется, две. Во-первых, символический престиж классических авторов, значимость их имен могут проникать в обиход широких слоев через единую систему обязательной индоктринации в школе. Соответственно, эти имена будут демонстрироваться получившими образование людьми в тех провокационных ситуациях, когда так или иначе задевается общая типовая структура ключевых символов, «мы-образов» советского человека, и прежде всего — его принадлежность к великой державе со славным историческим прошлым. Как атрибуты державного величия и мемориальные свидетельства героической «старины», усвоенной населением модернизаторской легенды власти об историческом пути нации, имена Пушкина и Толстого, по данным социологических опросов, соседствуют в символической галерее с именами полководцев (Суворов, Кутузов), царей (Петр) и вождей (Ленин, Сталин, Горбачев), ученых (Менделеев) и пионеров космических полетов (Гагарин) (6).

Во-вторых, владение именами классиков нередко фигурирует в качестве самого общего признака культурности, образованности. Подобный смысл классика может, кроме прочего, иметь и в тех провокационных ситуациях, о которых только что говорилось. Однако здесь перед нами уже другая, цивилизационная траектория распространения авторитетности классических символов и образцов и, соответственно, другая их функциональная нагрузка. Символические имена фигурируют и демонстрируются в данном случае на правах общезначимого цивилизационного достояния, потерявшего прямой идеологический заряд и жесткую связь с ситуативными задачами и групповыми представлениями интеллигенции, с ее интерпретациями «наследия». В этом же качестве фигурируют и уже упоминавшиеся типовые собрания сочинений классиков в столь же типовых квартирах новых горожан 60-70-х годов. Значимость литературы, как, кстати, и самого образования, здесь воспринята как социально-притягательная черта образа жизни более высокостатусных, привилегированных («чистых») и влиятельных на тот период слоев общества — интеллигенции. Причем эта значимость и образования, и литературы, и книги дополнительно мотивирована отсылкой к будущему: необходимость учиться и читать вменяется детям (по логике: «А то будете, как родители, будете всю жизнь в грязи возиться»). «Собственные», купленные в дом, книги для этого слоя массовых читателей начинаются с «детской литературы» (не существующей как жанр для людей другой, потомственной, книжной культуры — скажем, для книголюбцев с детства вроде Марины Цветаевой): их приобретают впервые в расчете или со ссылкой на детей.

Однако интеллигентские требования постоянно перечитывать, «настоящему, глубоко понять», прочесть «новыми глазами» тех классиков, чей символический авторитет широкими слоями уже, с их точки зрения, усвоен, удостоверен знанием имен, даже приобретением книг и, в этом смысле, устойчив и неоспорим, вызывает со стороны широкого читателя только недоумение и раздражение. Он вполне чистосердечно не понимает, чего от него *еще* хотят. Ни в качестве объекта школьного дидактического анализа, ни в виде «живых» современников, ни на правах «старой» или «новой» идеологической иллюстрации (Пушкин или Гоголь, «имперский» и «революционный», «русский» и «всемирный», «языческий» и «христианский», «исторический» и «сегодняшний» и т.д.) классики для массового читателя не существуют: все это для него «чужое» и отделено соответствующим «барьером» неприступности и неприемлемости. Условия, на которых этот барьер может быть, в принципе, преодолен и классика, после соответствующих смысловых и модальных превращений, теми или иными своими фрагментами включается в широкий обиход, уже

перечислялись: это символический авторитет государства либо цивилизационный престиж более образованных и высокостатусных групп общества. Характерно, что в 1990-е годы, вместе с крахом монопольной системы государственного книгоиздания, распространения и пропаганды книги, кризисом и распадом системы школьного преподавания (как и разложением всей институциональной структуры советского общества), с одной стороны, и с потерей интеллигентскими слоями своего символического престижа и социальной роли — с другой (хотя оба эти процесса друг от друга неотрывны), место классики в массовой книгопокупке и чтении заметно уменьшается.

Если применить вкратце изложенный здесь социологический подход к истории, можно проследить, *как* в авторитете, смысловой нагрузке и функциях литературной классики в дореволюционные, советские и постсоветские годы соотносятся и переплетаются оба процесса — во-первых, изменения в характере, структуре и самопонимании интеллигентских групп, а во-вторых, макросоциальные сдвиги в уровне образования, типах расселения, образе жизни основных социальных слоев общества, его репродуктивных институтах.

К середине и во второй половине XIX века право репрезентировать национальное целое для письменно образованных и просвещенчески ориентированных слоев в России воплощали не монархия (монарх) и не православие (церковь), а национальная культура и прежде всего — литература (7). (Похожие ситуации дефицита национальных символов складываются в XIX веке в раздробленной и отсталой Германии, в Италии, Польше, отчасти — в Испании, хотя разрешаются во многом иначе.) Совместными усилиями западничества и славянофильства, радикально-демократической и «эстетической» критики 40-50-х, а далее 60-х годов, закладываются основы культа Пушкина и Гоголя, а затем — романистов, которые воплотили переломную ситуацию страны в поисках своей идентичности и выхода в современную эпоху («русский роман», по титулу этапной книги Вогюэ, решающим образом повлиявшей на образ и статус русской литературы как в Европе, так, ретроспективно, и в самой России) (8). Представление о галерее отечественных классиков к концу века устанавливается в критике, истории литературы, гимназических программах, издательской практике (9).

В ситуации рубежа веков (грамотными к концу столетия были официально признаны около 20% населения), при господствующей в образованных кругах идеологии просвещения, значимость национальной классики для различных слоев широкого читателя раскрывается по-разному. Для неграмотных и слабограмотных масс деревенского и слободского (мигрировавшего в город) населения это, в первую очередь, адап-

тация признанных классических авторов («книга для народа»), главные проблемы здесь — приобщение и доступность, доходчивость. Для средних образованных слоев в провинции классика — это скомплектованное из культурного центра («столицы») единое для всех, образцовое «ядро» крупнейших отечественных и зарубежных авторов (собрания сочинений в качестве бесплатных приложений к «Ниве»). Для идейно-ангажированной либеральной и радикально-демократической интеллигенции обеих столиц, для следующих за ней образованных городских рабочих литература и ее классические авторитеты вписываются в их версии истории освободительного движения в России (история литературы как история интеллигенции и борьбы ее различных фракций). Для ищущих эстетической автономии, культуротворческих групп наследие XIX и других предшествующих ему веков выступает предметом конкуренции за «свою», «живую», «позабытую» либо «недооцененную» классику, читаемую теперь как аллегория индивидуальной судьбы, драма личного самоосуществления либо, напротив, нигилистического опровержения, культурного «самоуничтожения» («пересмотренные» символистами Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Тютчев, Фет и другие «вечные спутники», программный неоклассицизм акмеистов, «бросание Пушкина с корабля современности» русскими футуристами).

В советский период выделяется несколько этапов в отношении к классике. Общая траектория здесь связана с последовательным включением литературы в государственные структуры советского общества, а различия — с характером групп, так или иначе входящих в этот процесс (от писателей-орденоносцев и бюрократических служащих государственных учреждений культуры и образования до позднейших диссидентов и «педагогов-новаторов») (10). В зависимости от конкретных задач можно схематически выделить противостоящие друг другу модели отношения к классике в рамках Пролеткульта и «Перевала»: идейно обоснованную Горьким и бывшими «формалистами» фазу инструментальной «учебы» у классиков в условиях массового «рабочего призыва» в литературу, «литературного ударничества» (учились даже не столько «приемам», скажем — толстовскому «стилю», сколько воплощенному в его стиле эпическому, «библейскому» видению истории и героя в панорамной перспективе единого целого, этого в своих романах пытались добиться не только Фадеев и Федин, но и Гроссман и Пастернак); период официальной классицизации культуры, обращения к национально-державной символике и риторике идеологического триумфа в середине и во второй половине 30-х годов («мы — победители» вкупе с «мы — наследники»); программный антиклассицизм («искренность», «правда жизни») интеллигенции периода «оттепели» и уже упоминавшийся па-

раллельный этому процесс массового комплектования отечественной и зарубежной классикой типовых квартир в городских новостройках хрущевских лет; реставрационные тенденции и процессы музеизации представлений о культуре в середине 70-х — начале 80-х годов.

В постсоветские годы проблема общезначимой классики остается компонентом самоопределения наиболее идеологически-ангажированных (и в этом смысле — эпигонских) групп интеллигенции (11). Она все чаще выливается в эмоциональный катастрофизм и патерналистские требования государственной поддержки изданиям классики, находит выражение в почвеннической метафорике наследия и традиционалистских императивах противостоять «массовой культуре» и «диктату рынка» (в публицистике, скажем, «Нового мира»). Либо же (в журналах либерального толка — «Знамя», «Октябрь», открывающих на своих страницах рубрики «Классики XX века», «Забывтые» или даже «Неизвестные классики» и т.п.) формулируется задача «держат планку» высокой культуры, как это делают Большой театр или Пушкинский музей. Явственно нарастающим в российской национально-государственной идеологии и атрибутике середины 90-х годов реставраторским тенденциям вторят усилия коммунистической и патриотической оппозиции в отстаивании «своих» классиков (Пушкин, Лермонтов, Достоевский в предвыборных призывах 1996 года у Виктора Анпилова). Любопытна на этом фоне тяга к острокритической, антиутопической линиям русской литературы XIX–XX веков, идейные поиски которой можно было бы назвать «патриотизмом от противного» или, в социологических терминах, «негативной идентификацией» (Гоголь, Салтыков-Щедрин и Платонов в литературных пристрастиях Александра Лебеда).

9 декабря 1999 года

Примечания:

- 1 Книга и чтение в зеркале социологии. — М., 1990. С. 51, 61, 64–65. О фондах публичных библиотек с точки зрения читательского спроса и в соотношении с библиотеками домашними см. там же, с. 40–45.
- 2 См.: Дубин Б.В. Книга и Дом (к социологии книгособирательства) // Что мы читаем? Какие мы? — СПб., 1993. С. 16–37; Дубин Б.В. Социальный статус, культурный капитал, ценностный выбор: межпоколенческая репродукция и разрыв поколений // «Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Информ.бюллетень». — 1995. № 1. С. 12–16.

- 3 Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом. — М., 1984. С. 40-82; Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный институт, Статьи по социологии литературы. — М., 1994. С. 27-38.
- 4 Там же, с.57-65.
- 5 См.: Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях. — М.-Харьков, 1995. 187 с.
- 6 Советский простой человек: черты социального портрета на рубеже 90-х годов. — М., 1993. С. 167-197; нем. издание — 1992-й, франц. издание — 1993-й.
- 7 См.: Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Понятие литературы у Тынянова и идеология литературы в России // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. — Рига, 1986. С. 208-226.
- 8 E.M. de Vogue. Le roman russe. P., 1886. 351 p.
- 9 См.: Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. — М., 1991. 221 с.
- 10 См.: Луначарский А.В. Об интеллигенции. — М., 1923. 53 с.; Ярославский Е. О роли интеллигенции в СССР. — М., 1939. 39 с.; анализ соответствующего материала см.: D. Bayrau. Intelligenz und Dissens. Guttingen, 1993.
- 11 См.: Cl. Lasorsa Siedma. La coscienza della propria identita nella publicistica rusa contemporanea // Istituziom e societa in Russia tra mutamento e conservazione. Milano, 1996. P. 120-135; A. Berelowitch, M. Wieviorka. Les Russes d'en bas: Enquête sur la Russie postcommuniste. P., 1996. P. 339-348, 372-376; а также: Дубин Б.В. Интеллигенция и профессионализация // «Свободная мысль». — 1995. № 10.

Беседа Владимира Альбрехта с Глебом Павловским

Владимир Альбрехт: Вы понимаете, настоящее непонятно, но прошлое нам известно. И мне этого достаточно вполне... В какой мере уже можно писать о том, что произошло в 83-м году? Понимаете, мое дело было безнадежно, как объяснил следователь, ведь он меня арестовал потому, что ему велели.

Глеб Павловский: Ну, это типично.

В.А.: Дело в том, что у меня был следователем кандидат наук. И он был процессуалист! Я не знаю, у Вас были такие следователи?

Г.П.: Нет, мой не был похож на процессуалиста.

В.А.: Но он был кандидат наук?

Г.П.: Кандидатом наук он тем более не был. В этом я уверен.

В.А.: Вы знаете, у меня был очень квалифицированный следователь, кандидат наук, но что он плохой человек — это бессмысленно говорить. Он прекрасно понимал, что дело безнадежно. И я понимал, что меня ждет. Именно потому, что мое дело безнадежно, меня будут колотить до тех пор, пока все что надо не выбьют. Будут мучать. Поэтому я признал себя виновным. Сразу, сходу. Я понимал, что это вообще чепуха. Но поскольку мы со следователем договорились, что я пойду ему навстречу, — я должен был говорить правду. А правда у меня была такая, что я невиновен! Я

и сказал ему, что я признаю себя виновным, поскольку у нас без вины не арестовывают, а тот факт, что я конкретно своей вины не знаю, еще не означает, что ее нет. Более того — это может даже служить отягчающим мою вину обстоятельством... На этом мы с ним разошлись, и я думал — на этом все закончится, они там сварганят свое дело, и будет порядок.

Но потом нас с ним вдвоем стал кто-то мучать. Я вынужден был пойти дальше и сказал так — да, я виновен; я верил в правосудие, и вот эту свою иллюзию я распространял. Но вот следователь считает, что эти мои иллюзии — клевета. Эта моя вера в правосудие, как мои иллюзии — максимум, что я мог из себя выжать для следствия. Но надо мной издевались до тех пор, пока я не сдался и не сказал, что я вообще... ладно — все, что ему надо, я во всем признаюсь. Всё! Я даю любые показания, во всем сознаюсь и так далее... Когда я вспоминаю этот случай, меня начинает трясти.

Шел восемьдесят третий год. Но в этот момент я уже зашел так далеко, эти уголовнички, которые со мной сидели, — они меня так уже раскочегарили, что я ничего ни говорить не мог, ни писать. Я вообще уже не спал дней десять. Они меня посадили в пресс-хату, никто не бил, но издевались методично, спать не давали, в общем. Вы примерно знаете, как это делается — это мелкие издевательства... Следователь поглядел — видит, ничего не получается, и меня сразу перевели в другую хату. Я спал три дня подряд, не вставая, — даже не ел. Поспал, пришел в себя — и погнал опять практически все то же самое. То есть я готов признаться, что распространял иллюзии — свою веру в правосудие...

Г.П.: И как кандидат наук отреагировал?

В.А.: Он написал 20 страниц рукописи так называемых «обвинительных причин», где сказал, что я из карьеристических соображений признал вину...

Г.П.: Из «карьеристических»?

В.А.: Да, из карьеристических. Что я — враг, написал учебник для преступников, что я и на следствии себя вел в соответствии со своими иезуитскими рекомендациями обманывать следствие. В общем, написал достаточно серьезный трактат о том, что Альбрехт — исчадие ада...

Г.П.: Все-таки квалификация ему помогла, да?

В.А.: Ну, конечно, он написал в духе Вышинского. Вообще произведение было уникальное. Он выдал мне характеристику, и с этой характеристи-

кой я пошел в зону. Я тогда не знал еще, что это значит, а это значило, что до тех пор, пока я действительно не расскаюсь, меня из зоны не выпустят.

Г.П.: Ваше раскаяние должно было теперь выглядеть не просто формальным?

В.А.: Да-да — и когда срок мой кончался, меня просто стали лупить! Приехал человек из МВД, он сказал мне, что если я не встану на путь исправления, то, значит, я отсюда не выйду. Я в это не поверил, дурак, но все-таки раскаяние я ему написал. Кроме прочего, благодаря тому, что я писал раскаяние, я не ходил на работу... Там не было даже слова «раскаяние» — я вообще это слово просто не понимаю! Мол, сожалею о тех своих ошибках, которые привели... Но тут меня стали бить.

Вначале меня пришел бить человек, который слабей меня. Был один порядочный человек, он меня в ШИЗО посадил, я улизнул от битья, а потом меня уже в ШИЗО не сажали и, что бы я ни делал, ждали — может, я чего совершу. И каждую, каждую ночь били, — а днем заставляли работать. Семь ночей я держался, пришел в ШИЗО, а они сказали, что силой меня отправят в отряд, где меня добьют. Делать было нечего, я пытался удрать — и разбил стекло. На следствии это было изображено так, будто бы я ударил начальника оперчасти в присутствии начальников режима. Дали мне три с половиной года за хулиганство, которого вообще не было.

Г.П.: Ходила версия, что Вы этого сами добивались. Для того чтобы уйти, перекинуться в другую зону.

В.А.: Нет, безнадежно — хоть я просился в другую зону, понимая, что убивают. И вообще — меня предупреждали, что дадут второй срок. Поэтому я все делал, чтобы не получить этот второй срок. Когда я разбил стекло, все думали, что дадут по части первой за разбитое стекло — ну, год. Так нет, ведь они придумали, что, мол, я ударил начальника ногой! Стекло я действительно разбивал — просто хотел удрать.

Г.П.: Классический случай. Ну, и о чем же мы будем говорить? Вообще вот начало Вашего рассказа подтверждает то, в общем, критическое отношение к Вашему трактату, которое у меня некогда было. Мне казалось, что ситуация диссидента настолько непроцедурна в принципе, что бессмысленно пытаться применять процедуры...

В.А.: Это неверно. Нет. Вот тут Вы ошибаетесь. Вы путаете две вещи — положение свидетеля и положение обвиняемого. Это совершенно раз-

ные ситуации! Свидетель — одно, обвиняемый — это совершенно другое. Дело в том, что как обвиняемый — вы арестованы, это уже решено, и вас будут держать... вы уже ничего не можете сделать. Свидетель может очень многое сделать. Ведь его показания идут в дело, они мешают хотя бы арестовать следующего человека. Вы понимаете? Свидетель — это человек, который либо помогает арестовать следующего человека, либо мешает арестовать следующего человека. Он, вообще, в данном процессе активно мешает! Вы поймите, если бы я был не прав в своей книге, меня бы никогда не посадили. Они сами мне сказали, что своими рекомендациями я сорвал им несколько процессов. Я мешал их работе: моя книга явилась «учебником для преступников». Как показал мой опыт там, моя книга оказалась совершенно правильной. Но, честно говоря, теперь она не имеет никакого смысла.

Г.П.: Почему?

В.А.: Потому что дело это кончилось всё. Теперь уже людей не сажают. Но теперь ее используют... кто угодно.

Г.П.: Кстати, а Ваша система безвредна при злоупотреблении ею?

В.А.: Абсолютно! Ею нельзя злоупотреблять. Она универсальна. А потом, Вы знаете, нелепо говорить, будто я ее выдумал — сама жизнь ее придумала. Моя система проста, она элементарна.

Г.П.: Учитывая, что большинство людей ее безусловно не читали и не прочтут, как бы Вы сформулировали ее максимум?

В.А.: Для этого я должен напомнить, в чем смысл моей книги. Вы приходите к следователю. Следователь задает вам некоторые вопросы, а те ответы, которые его устраивают, он себе записывает. Понимаете? Он записывает не то, что вы говорите, а то, что ему надо. И потом вас вынуждает это подписать. Его стиль работы очень прост — он получает ваши ответы и даже неизвестно, на какие вопросы: свои вопросы он не записывает, он записывает только ваши ответы. То есть каким способом он получил ваши ответы, неясно: угрозы ли это были или наводящие вопросы... ничего этого в протоколе нет. Он записывает ваши ответы таким образом, каким ему нужно. Он вас утомляет, и потом, когда напишет свой текст, он заставляет вас этот текст подписать.

Вы торопитесь, не очень внимательно все читаете, а там каждое слово имеет значение, понимаете? И вы оставили ему свою подпись! Ча-

сто это свидетель делает запросто — он волнуется, ему бы быстрее убеждать. Человек подписал — и все! На этом дальше судья строит все дело.

Моя система проста. Вам задает следователь вопрос — а вы ему отвечаете: запишите-ка ваш вопрос в протокол, и тогда я на него отвечу. Это очень просто! Что бы вас ни спросили, вы отвечаете: запишите вопрос в протокол, я на него отвечу. Пока он не записал вопрос в протокол, вы можете ничего не говорить! Понимаете? Это про-то-кол! Вот когда он записал вопрос в протокол, с этого момента уже начинается допрос. Вся эта беседа ненужная, вся эта давиловка на свидетеля — все уничтожается.

Вы поняли меня? Это же просто! «Запишите вопрос в протокол».

Г.П.: При одном только условии: что он согласится следовать Вашим правилам игры. Но Вы же сами только что описали ситуацию, в которой следователь Вас начинает бить.

В.А.: Да это когда я обвиняемый! Это разные вещи! Вот слушайте. Приходит еврейка, старушка-еврейка... У нее записаны четыре слова: «Протокол, Лично, Отношение к делу, Допустимость» — ПЛОД — это четыре слова. Я следователь и у нее спрашиваю: «Как Ваша фамилия?» — «А Вы таки запишите этот вопрос в протокол, и я на него отвечу». (А сама в бумажку глядит.) — «Вы мне морочите голову, — говорит он, — Вы что, не можете сказать Вашу фамилию?» — «А Вы сперва запишите!»

Она начинает с ним бодягу разводить, дура — ничего не поделаешь. Он не может же ее взять и по балде огреть! У нее записано это: «Протокол», — и что бы он ни сказал — она за свое. Наконец, они договариваются. Она говорит, что ее фамилия Рабинович, такая-то и такая-то, там-то проживает. — «В каких Вы отношениях с обвиняемым?» — «А почему Вы опять не пишете?» — она снова начинает базарить.

Вы понимаете, если человек говорит: «Я не буду Вам отвечать, пока Вы не записываете», — ни один следователь не сможет ничего сделать!

Г.П.: Володя, Вы сейчас напрасно горячитесь, потому что я читал Вашу книгу. В некотором смысле, система ПЛОД — верх изыщества. Я не рассматривал вопрос — почему этого не делал свидетель, — но фактом является то, что большинство так себя не вело. Вообще, значительная часть прочитавших Вашу книгу так себя не ведут. По тысяче соображений, личных и других — воспитания, страха, чего-нибудь еще, юридической культуры — люди так себя не ведут. Что Вы будете делать с этой ситуацией?

В.А.: Неправда!

Г.П.: Люди себя так не ведут.

В.А.: Неправда! Вот слушайте дальше, что с этой старухой. Наконец, он ей задает вопросы и действительно записывает это все в протокол. «Ваши отношения с обвиняемым?» — Ей деваться некуда, а она говорит: «А это имеет ко мне отношение лично». Он говорит: «Ну и что же?» — «А я Вам не скажу — это имеет отношение ко мне лично!»

В этот момент старушка перестала бояться. Она немножко скандалистка, всегда бранилась с кем-то... Это у нее чисто житейское. Она поняла, что с ним можно спорить, раз он ей уступил... Вот тут, когда он ей уступил и стал все писать в протокол, а прошло уже 40 минут, понимаете, и она видит, что он нервничает, а сделать с ней ничего не может — тут она уже осмелела и пошла внаглую. И Вы знаете — следовательно действительно ничего не может сделать!

Г.П.: Такое же озлобление вызывали у следствия люди, которые вообще отказывались давать какие бы то ни было показания.

В.А.: Нет-нет. Это как раз устраивало их, следовательно это очень удобно. Следователю что нужно сделать? Он идет к своему начальнику и говорит: «Видите, какое положение?» С этими людьми надо поступать круто — надо брать, и миндальничать с ними нечего. Это ведь не свидетели, они же — обвиняемые! А вот когда приходил человек, который начинал бодягу разводить и в результате писалась не та вещь, что «нужно», тут следователь ничего не мог поделывать. Он если и шел к начальству, говоря: «Видите, какой тут попался», — ему отвечали: «Работай, дорогой, работай». В отношении этих людей крутая мера не избиралась.

Дело в том, что суд — это, конечно, театр, но пьесы для этого театра пишет следователь. В соавторстве со свидетелем. И если они плохо напишут пьесу, театр не сможет ее сыграть! И, во всяком случае, суд больше у этого «драматурга» не возьмет его пьесу.

Г.П.: И это все, что Вы хотите рассказать, уезжая из СССР?!

В.А.: Видите ли, надо найти какой-то способ изложения в журнале всего того, что с нами произошло. Я заинтересован в публикации, которая бы рассказала о ситуации 83-го и так далее годов. Когда стало очень тяжело проходить следственную процедуру и страшно — сидеть в лагере. Это было существенней, чем в ваше время, потому что, в отличие от вас, нас уже не сажали в Лефортово (как сказал следователь — «Вам этого санатория не будет»). Лефортово — это было давно, да и Вы ведь уже в Бутырке сидели, да?

Г.П.: Да.

В.А.: А потом Вы получили ведь ссылку, а не лагерь.

Г.П.: Я почти сразу признал себя виновным и получил ссылку. Это была сделка.

В.А.: Я понимаю, да. Я ведь Вас не осуждаю за то, что Вы вступили с дьяволом в сделку. Я не сумел это сделать. Понимаете, я все хитрил чего-то, когда надо было четко: туды либо сюды, — но мне не в чем было раскаиваться. Я не мог ничего сказать — у меня было положение безнадежное.

Г.П.: Так, может быть, лучше бы было вовсе не вступать ни в какие сделки, а повести себя твердо?

В.А.: Да в том-то и дело, что тогда меня просто колотили бы. В тот момент уже колотить стали. Вот, например, Ходорович — его вообще уже били. А Ходорович был здоровей меня и сильней.

Г.П.: Ходорович вел себя более резко, чем Вы.

В.А.: Да Господи боже мой! Резко! Я-то знаю, как он себя резко вел, потому что у нас был один и тот же следователь.

Г.П.: А разве у Вас тоже был следователем Воробьев?

В.А.: Тоже Воробьев.

Г.П.: Он меня арестовывал. Так вот это кто!

В.А.: Конечно. Он меня вел. Так о чем же писать? Вот неплохо бы о Воробьеве. Может быть, его бы пригласить в качестве, так сказать, участника «круглого стола» с клиентами его? И поговорить.

Г.П.: Это небезопасно — он каратист.

В.А.: Ну при чем тут каратист? О чем Вы говорите, Глеб! Вы, конечно, пошутили...

Г.П.: В 83-м году действительно ситуация стала принципиально другой. В чем именно? Она потеряла даже видимость юридической. Стала невозможной та игра, которую некоторые позволяли себе вести до этого.

В.А.: Нет. Видите ли, Глеб, Вы ошибаетесь. Все-таки игра была. Да, судил меня Романов, который сейчас занимает вообще серьезный пост в московском городском... этом самом... совете. Он заведует теперь юридическим отделом... Воробьев мне всегда говорил, что, мол, Вы героем отсюда не выйдете. Но дело все в том, что я не хотел быть героем. Я же вообще абсолютно лишен чувства тщеславия... Клянусь Вам! И когда мне говорили: «Вы героем отсюда не выйдете», — я... Господи! Какой там героизм? Я об этом совершенно не думал. Но признать себя виновным — я не мог. Что я клеветал на Советский Союз — это глупо было. Все его примеры моей клеветы были настолько сухая чепуха и высосаны из пальца! Я с ним спорил на такую тему: у меня был стишок — «Пришла зима, настало лето, спасибо партии за это», — клевета на советский строй. Я говорю: «Тут же написано — „перевод с китайского“». «Ну, вот еще!.. Перевод с китайского! Это про КПСС, да?» — «Про КПСС. Так где ж тут клевета?» — я говорю. Он говорит: «Вы возбуждаете негативное отношение к тому, что позитивно, — к партии».

Я начинаю серьезно объяснять с помощью логики, что клеветы здесь нет, что есть такое понятие, как богоискательство, и это высмеивание такого отношения.

Г.П.: Сам этот диалог кажется теперь чем-то абсурдистским.

В.А.: Хорош абсурдист! Кандидат наук сосет палец и высасывает из него обвинение! Он уже пошел просто писать ложь. Например, в обвинении было такое утверждение: я «сравнивал советскую систему с чилийской хунтой». Всем известно, если человек сравнивает одно с другим, то тогда он должен сказать, что одно или лучше этого другого, или что это одно и то же. Понимаете? Но у меня не только нет такого сравнения, но и нет и никакого вывода! Само по себе сравнение там одного с другим — это же не криминально.

Г.П.: Игра слов, превращенная в пункт обвинения. Такое возможно только в русском языке.

В.А.: У Воробьева была тяжелейшая задача: он должен доказать, что книгу «Как быть свидетелем» написал я и что эта книга содержит клевету. Он не смог ни ту, ни другую задачу выполнить. У него не было никаких доказательств, что я написал эту книгу. А я таких доказательств ему не давал. Я сказал: да, я написал первоначальный экземпляр, но тот ходил по рукам, добавлялся разными людьми, редактировался... С моего согласия, без моего согласия. Я несу ответственность за возникновение этой книги, но не за каждую строчку, в ней написанную... Хотя эту кни-

гу клеветнической я не считаю. Он ничего не мог. Вы понимаете? Он ничего не мог! Дело было безнадежно априори.

Г.П.: Вы полагаете, что до Вашего дела безнадежных дел не было?

В.А.: Понимаете, какая штука: в 77-м году меня допрашивали по этой же книге. КГБ допрашивал. И мне прямо было сказано и записано в протоколе, что в моей книге, в моих лекциях ничего нет криминального. И тогда мне было сказано, следователь мне сказал: «Если тебя за эту книгу посадят, назовешь меня мудаком». Литвиновский это говорил. Мы все это написали в протоколе, я его подписал, и он это подписал. И уж позвольте мне знать, были ли безнадежные дела. Были — но всегда обвиняемый и свидетели помогали делать это дело «надежным».

Г.П.: Я Вам могу сказать: был ряд случаев, когда ничего подобного не было, и тем не менее — люди получали сроки.

В.А.: Это да, но они все немножко помогали в этом. Я просто хочу сказать, что мы всегда немножко следователю помогаем. Вы понимаете? И сделать так, чтобы мы ему не помогали... — это большое дело. Поэтому правовая культура не бесполезна. Я просто хочу сказать, что мы не зря сидели. Я считаю, что надо найти способ, Глеб, написать о нашем положении.

Г.П.: Мы можем, с моей точки зрения, рассказывать две вещи. Одна — это фактические подробности, и, ей-Богу, тут не нужны никакие размышления и выводы, — а простой рассказ о том, что и как было. Это вещь нужная и, видимо, становящаяся со дня на день все более возможной. Вторая вещь — это рассказ об опыте. Это сличение того, что происходило с идеями, которые мы имели в то время, когда это с нами происходило. Я от Вас допытывался скорее второго.

В.А.: Сличения той реальности, которую я имел, с каким-то опытом?

Г.П.: Да. Проверка Вашей философии, политической философии, с тем, что происходило. Выдержала она? Осталась в точности той же, что была до ареста?

В.А.: Трудно сказать. Вы знаете, я Вам скажу такую вещь. Ведь у меня концепция была какая? Это уважение закона. Я всегда чувствовал, что мои идеи имеют отношение к свидетелям, а не к обвиняемому. Поэтому мой прошлый опыт не имеет отношения к моему опыту обвиняемого.

Но должен вам сказать, Глеб, поскольку Вы, возможно, будете на эту тему все-таки писать, что упразднение статьи 190-прим или 70 и какое-то изменение уголовного кодекса — это лабуда. Потому что Вас и кого угодно можно осудить за хулиганство, и вообще — они научились варганить дела. Они найдут наркотики, и так далее.

Г.П.: Можно проще — кровью.

В.А.: Можно просто убить, да. Уголовщина есть уголовщина. А следователь может стать уголовником, Вы это прекрасно знаете. Если бы мы добились изменения процессуального законодательства, то вот это было бы очень ценно. То есть чтобы адвокат появился с момента предъявления обвинения или с момента ареста вашего. Вот это было бы великое дело. И пускай обвиняют в чем угодно, но если при этом есть адвокат, то у вас есть хоть крохотная надежда.

Г.П.: Меня интересует, как будут действовать процедуры здесь, в этих условиях.

В.А.: Что касается моего опыта, то я Вам говорю — я занимался вопросом в качестве свидетеля, а потом отсидивал в качестве обвиняемого. Дело в том, что свидетель отличается от обвиняемого очень серьезно. Свидетель остается в группе таких же свидетелей, как и он сам. Во-первых, свидетель всегда сочувствует обвиняемому и хочет ему помочь. Во-вторых, он любит все забывать. Сами знаете: не помню — куда дел, давал или не давал... Почти всякий свидетель, который идет на допрос, знает, что особенно-то припереть его нечем. Понимаете? Ну что ж, если у него на обыске что-то нашли, то кто дал? Дал Рабинович, а сам уехал в Израиль...

Вы поймите, хороший свидетель — он соображает, чем что-то может кончиться; он уже заранее побеспокоился, он знает, он предусмотрителен.

Плохой свидетель — это всегда будущий обвиняемый.

3 апреля 1987 года

Опубликовано 5 ноября 1997 года

ЮДОЛЬ

ДЕНИС БЫЧИХИН

В людях-2

Никогда не понимал этих прелестей, никогда: коридоры — сон Веры Павловны. Не сказочный, но похмельный. Тускло и тоскливо. Как на экскурсии по кишкам окаменевшего птеродактиля.

Стены в радикальных граффити — наполовину спартаковских, наполовину деконструктивистских (наиболее невменяемые цитаты из Делеза-Дерриды).

В двери явно стреляли картечью.

«Общага».

Оказавшись здесь впервые, я раз и навсегда понял полярников и контрреволюционное офицерство: тоска по Родине — это серьезно. Потом мне объяснили, что ностальгия — всего лишь желание повсюду быть дома. И я смирился.

Тогда передо мной открылись новые горизонты. Засияли. Теплым интимным светом социальной свободы.

В этом-то сиянии я и прожил шесть лет. Посему спешу поделиться опытом. И прежде всего, опытом знакомства с некоторыми нюансами неистребимой и многоликой, как Кришна, внутренней истории «общаг».

Главное в общежитии — дожить до вечера. Чтобы за окнами стемнело. Это самое приятное время. Оно одинаково потворствует и местным солипсистам от науки, и героям общежитской мифологии. Здешним «культовым личностям». Из тех, кого всегда встретишь на приступочке с неизменной сигаретой и эротическим журналом. Или затертым томиком, скажем, Гельдерлина, который, оказывается, «прикольно пишет».

Они-то и составляют основной источник информации, местные СМИ. Кроме того, по преимуществу, они же и фигурируют в этих новостях. Фома живописует Ерему, Ерема — Фому. Круговая порука внутри пантеона.

Плюс ко всему — именно они оказываются хранителями постоянно циркулирующей, обновляющейся мифологии студенческого общежития.

Большинство — старожилы, поэтому они способны часами травить байки о прежних временах, «мульках» и компаниях. Один из моих приятелей в очередные президентские выборы уговаривал меня голосовать за Зюганова. Мотивировка была очень простая — «при коммунистах», «в те еще времена» (на самом деле, имелись в виду первые послеперестроечные годы), жизнь в ДСВ (Дом студента на проспекте Вернадского) была куда интересней: *«В каждом коридоре, блин, сидели. Выпить, поговорить. За Хайдеггера, Батая. А теперь — где работаешь, сколько получаешь? И разбежались. Все! Раньше восемьдесят процентов страны были маргиналами...»*

Понятно, что следующие за таким вступлением истории имеют свою специфику в зависимости от факультета, на который занесло рассказчика, специализации вуза, его местоположения. Больше того, представители даже одного курса за пять лет успевают создать, отфильтровать и передать «хранителям» свой эксклюзивный корпус побасенок и персоналий. Однако нечто общее в этом наследии отыскать можно.

Начнем с того, что все эти истории носят эпический оттенок. Поэтому общая структура, как правило, четко соблюдается. В рассказах фигурируют и культурные герои (свои), и трикстеры (из тех, что «в семье не без урода», либо отщепенцы и прямые враги), и, соответственно, подвиги культурных героев.

Разумеется, портрет «звезды» дается в жесткой привязке к окружению. Если задуматься, всякий раз мы имеем дело именно с групповым портретом, с суммой приоритетных достоинств, равномерно распределенных между членами «звездной» команды, но в своей равнодействующей представляющих образ идеального героя. Как правило, наряду с «отмороженностью» и «безбашенностью» в этот набор входят и «начитанность вдрызг», и невероятная стойкость к восприятию алкоголя.

Важным условием фигурирования той или иной группы в новостях и архивах общежитий является ее способность производить «телеги» и «фишки». «Телега» — это развернутая, выкристаллизованная многократным пересказом и получившая худо-бедно системный вид «фишка». Жанры могут быть разнообразными — от эротических штудий на тему шумерского эпоса до совместного написания гимнов, поэм и фэнтези, главными героями которых оказываются все те же «культовые личности».

В одной из таких компаний был произведен некий собирательный образ — Полное Ведро Сущностей, виртуальный персонаж, от имени которого публиковались (распечатывались на машинке или — опять же — пересказывались посвященным) программные манифесты и интервью. Полное Ведро Сущностей был восточно-ориентированным мыслителем.

В частности, утверждал, что он «сын самого себя и предок пингвинов», в ответ же на наиболее каверзные вопросы выставлял на стол то самое полное ведро мужских сущностей и «недвусмысленно шурился».

В другой компании бытовала легенда о том, что под кроватью одного из ее активистов живут 53 грязных носка, которые воюют с местными тараканами и при этом бешено саморазмножаются.

Культурные герои всячески противостоят суровому миру. Как правило, их оружием оказывается та же суровость. Схватки у ларьков, участие в разборках этажа с этажом (например, историков с юристами), «прочные» отношения с местным отделением милиции — та стихия, в которой нарабатывается авторитетность. Почитаемая «стрелянность» культовых личностей.

Со «своими» они теплы и нежны. Крайним вариантом и наглядной иллюстрацией внутренних отношений такого рода могут служить «митьки».

Кроме внешнего (неместного), а стало быть, враждебного мира, роль «темных сил» выполняет вахта, коменданты и прочие административные органы. Обычно старожилы к тому моменту, как приобретают этот статус, оказываются по несколько раз отчисленными и восстановленными либо уже не принадлежат к данному учебному заведению. Поэтому проверки, «шмоны», ночевки в «обезьяннике» и связанные с ними казусы оказываются постоянной благодатной почвой для красочных повествований.

В целом же, можно сказать, что движущей силой и возникновения, и дальнейшего существования этих мифов является все та же ностальгия в уже упомянутой трактовке — как желание повсюду быть дома. И внешняя по отношению к общежитию, и внутренняя реальности обживаются, адаптируются через деятельность мифических персонажей или сопричастность ей в качестве «умного слушателя». И та, и другая реальности получают статус «своего» пространства. Это напоминает движение отряда через минное поле, разминированное авангардом.

По крайней мере, у первокурсника после получасовой беседы со старожилом появляется возможность соотносить свою адаптационную деятельность с уже имеющимся образцом. Скажем больше, учиться на чужих ошибках. Тем более, если они материализуются в таких активных и представимых формах, как побасенки старожила или же сам старожил — ковбой «Marlboro» в пузырящихся спортивных штанах, шелкающий подошвами вельветовых тапок.

В общем, как известно, «школа жизни — школа капитанов». Капитанами не рождаются, а становятся. Не в последнюю очередь — благодаря чтению книг. Или рассказам «морских волков». Становятся, с тем чтобы потом повторить эти рассказы, меняя, по сути, только детали.

АЛЕКСАНДР СКИДАН

О пользе и вреде Петербурга для жизни

Основав на окраине империи новую столицу и назвав ее на иностранный, а точнее будет сказать — на вавилонский манер смешения языков — Санкт-Петербург, Петр Первый произвел реформу слуха. Он роковым образом сместил и тем самым деформировал его центр. Отныне — таково одно из решающих последствий этой произведенной им де- или реформации — русский слух все больше и больше будет настраиваться на балтийскую, а затем и на средиземноморскую и на атлантическую волну.

Послушаем для начала француза: *«Калмыцкая орда, расположившаяся в кибитках у подножия античных храмов, греческий город, импровизированный для татар в качестве театральной декорации, великолепной, но безвкусовой, за которой скрывается подлинная и страшная драма, — вот что бросается в глаза при первом взгляде на Петербург»*. В этом пассаже Астольфа де Кюстина, посетившего российскую столицу в 1839 году, поразительно точно схвачено скрывающееся за внешней эклектичностью нечто архетипическое: азиатчина и греческий портик, театральность, декоративность, искусственность. А главное, из имени уже изъят «Санкт» — святость в католической огласовке. Тем самым городу как бы разом отказано в праве и на европейскость, и на святость. И за всем этим кроется некая таинственная и страшная драма. Драма чего?

Сценарий этой драмы можно попытаться прочесть в имени города.

Имена городов, как и имена собственные, вообще говоря, не подлежат переводу. «Лондон» не переводится на материковый, то есть материнский английский. «Париж» не переводится на французский, «Мадрид» — на испанский, «Рим» — на итальянский и т.д. Имя же

«Санкт-Петербург» не только прекрасно переводится на русский, но и предполагает по меньшей мере две версии перевода. Оно поразительно космополитично; в нем соединяются три языка: латинский («Санкт», святой), греческий («Петр», камень) и немецкий («Бург», твердыня, город). В результате мы имеем триаду языков, озвученную и транскрибируемую четвертым — русским. Случай в истории небывалый.

Разумеется, такая встроенность «иностранности» не могла не травмировать русское ухо, а стало быть, и оскорблять русский — если отождествлять его на тот исторический момент с Московским царством — пресловутый дух. Вполне, надо отдать ему должное, спертый. Спертый — то есть не только запертый в равнинных пространствах и отрезанный от морских торговых путей, но и заимствованный у Византии вместе с концепцией православия, о чем недвусмысленно свидетельствует идиома «Москва — Третий Рим». Стало быть, уже одним своим именем, отсылающим к апостолу Петру и непосредственно к папскому престолу в Риме, европейский Санкт-Петербург бросал вызов патриархальной Москве; иными словами, раскалывал национальную идентичность. Он претендовал на роль Четвертого Рима, которому, как известно из броского выражения одного московского религиозного деятеля, не бывать. И тем не менее.

Иноязычие, «иностранность», обосновавшиеся внутри материнского, материкового языка — это всегда угроза национальным корням. Не случайно поэтому Санкт-Петербург, находившийся к тому же под постоянной угрозой затопления, воспринимался как апокалипсический город, а Петр I ассоциировался с Антихристом. Тем более, что имя города, как я уже упоминал, подразумевало две версии перевода: город святого Петра или святой город Петра. Апостол Петр как бы накладывался на царя Петра, и эта двусмысленная, отчасти кошунственная фигура речи намекала на роль российского императора, закладывающего краеугольный камень в основание новой веры. Здесь, в этой двусмысленности, раздваивалась судьба России.

Имя Санкт-Петербург как герменевтический (генетический) код

Именно в этом городе, ставшем манифестацией новой политической воли, воли к Западу, так сказать, возникла особая порода людей, которые, продолжая физически находиться в России, в ее границах, мысленно как бы эмигрировали в Европу. Европейски образованные, они мыслили Россию, исходя из политических и философских концепций, рожденных на Западе. Согласно этим последним, Россия представляла

отсталой, неразвитой азиатской страной, что по большей части отвечало истинному положению вещей, по крайней мере в том, что касается политических и гражданских свобод, государственного устройства и экономики. Но самое ужасное заключалось в том, что в этих концепциях, таких как гегелевская, например, России вообще не находилось места в том, что немецкий философ называл развитием мирового духа. В геополитической и историософской перспективе она оказывалась за бортом мирового исторического процесса и того единого духовного пространства, которое принято именовать Европой.

Расколотое интеллигентское сознание, остро переживающее кризис, чтобы не сказать — крах, национальной идентичности, получило свое наиболее точное отражение в романах Достоевского, особенно в таком его петербургском типе, как Раскольников. Отождествляя себя с квазиевропейской и квазифилософской фигурой Наполеона, он раскалывает череп старухе, замещающей в его бессознательном фигуру матери. Следуя логике бессознательного и далее, мы можем сказать, что тем самым он стремится разрубить узел инцестуальных отношений, связывающих его с Родиной-матерью. Такая интерпретация не покажется натяжкой, если принять во внимание, с одной стороны, инфантильные черты героя, подчеркиваемые Достоевским, а с другой — политический, а точнее автобиографический подтекст «Преступления и наказания». Достоевский входил в революционный кружок петрашевцев, за что и подвергся наказанию смертной казнью, в последний момент замененной ссылкой в Сибирь. Любопытно отметить фантомное присутствие имени основателя города, а следовательно — и первоапостола, в названии кружка, каковое происходит от имени его организатора социалиста Петрашевского. От дворцовых переворотов XVIII века до убийства Павла I в начале XIX, через восстание декабристов в 1825 году, через петрашевцев 40-х, нигилистов и динамитчиков 60-х путеводная нить имени ведет нас к политическому террору и эстетическому подполью. Петербург, лишенный своего «Санкт», является родиной и того, и другого. Своего пароксизма эта линия — линия раскола — достигает в романе Андрея Белого «Петербург». На нем завершается классический петербургский миф и петербургский период истории. Дальнейшее — это окончательное оформление петербургского текста, постепенное превращение его в архив и последующая деконструкция петербургского мифа в романах Константина Вагинова и в «Комедии города Петербурга» Даниила Хармса.

Другая уникальная особенность Петербурга, его парадоксальное местоположение на умозрительной, если мы сподобимся начертить такую, карте, состоит в том, что он сразу же, с самого момента своего основания, возник как реминисценция. Вернее, псевдореминисценция, лож-

ное воспоминание, которое в чем-то сродни фантомной боли. Петербург являл собой некий собирательный фантастический образ европейской столицы вообще или, скажем так, «европейскости» в ее по-русски утрированном, размашистом, но при этом поверхностном понимании. Со временем в его каменных чертах проступило даже нечто египетское, нечто настолько древнее, что на фоне невероятной — по меркам других, «нормальных», европейских столиц — юности Санкт-Петербурга (ему и сейчас нет еще трехсот лет) подобная ранняя дряхлость не могла не производить гротескный эффект. Этот город словно бы прятался под чужими масками, масками других городов, театрально разыгрывая их топографию и архитектуру, памятники и достопримечательности, судьбы и имена, примеряя на себя все исторические эпохи разом. Как если бы Россия в его лице вознамерилась в один миг с удесятеренной скоростью наверстать упущенное: разом пережить и античность, и Ренессанс, и барокко, и Просвещение, припоминаемые смутно, точно во сне.

Реминисценция: прекрасное и в то же время пугающее своей ирреальностью воспоминание о чем-то небывалом, несбыточном, о чем-то таком, чего никогда не существовало и существовать не могло. Своим подчеркнuto иностранным обликом этот импортный *бург* напоминал то Венецию, то Амстердам, то Париж, то Афины, то Рим, но как-то фрагментарно, местами, точно уже заранее был превращен в руины историческим катаклизмом, которому еще только суждено произойти в будущем. Петербургский текст, несмотря на свою каноничность, постоянно опережает современность и предписываемый ею канон. Чтобы его прочесть, необходимо всякий раз изобретать новые правила чтения, а не следовать уже сложившимся образцам. В ложном воспоминании, в псевдореминисценции по имени Санкт-Петербург таился умопомрачительный, головокружительный риск. Это головокружение стояния над бездной получает дополнительный импульс на сломе исторических эпох, когда в результате цепной реакции, вызванной исторической катастрофой, выделяется колоссальная энергия, породившая такой трансэстетический феномен, как радикальная поэтика обэриутов, Вагинова, Андрея Николева, позднего Михаила Кузмина, а также полифоническую и карнавальную теорию близкого к ним Бахтина. Здесь же нельзя не упомянуть и такой шедевр деконструкции петербургского текста, как «Египетская марка» Осипа Мандельштама.

До сих пор мы говорили о прошлом, об истории, и в этом был свой резон. Тем более, что вы без труда, должно быть, распознали в названии этих заметок немецкий подстрочник. Это небольшая работа Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни», написанная в начале 70-х годов прошлого века. В ней он предупреждает об опасности избытка ис-

торического чувства, имеющего склонность вырождаться в антикварное, не критическое отношение к прошлому, каковое в свою очередь ведет подкоп под современность, обескровливает и, в конечном итоге, подрывает не только эту последнюю, но и будущее, точнее, саму возможность будущего: будущее как возможность. (Будущее как возможность здесь следует понимать в перспективе проекта, наброска, бесконечно превосходящего и тем самым продлевающего будущее в настоящем, настаивающем на нем.)

Санкт-Петербург в качестве новой столицы Российской империи был именем такого проекта, такого «броска на Запад». Я говорю — был, потому что этот проект оказался свернут, заброшен, и современное положение города как экс-столицы в целом обусловлено этой заброшенностью, этим «экс». Несмотря на ряд символических шагов, нацеленных на возвращение ему былого величия, среди которых и недавнее захоронение в Петропавловском соборе останков последнего русского императора, факт остается фактом: с переносом столицы обратно в Москву, осуществленным большевиками, все вернулось на круги своя, и политическая роль Петербурга как центра империи осталась далеко в прошлом. Сегодня ему отводится роль гробницы, усыпальницы, некрополя русской — читай: дореволюционной — культуры.

Как ни странно, но именно большевики, перенеся столицу в Москву и переименовав ставший к тому времени Петроградом город в Ленинград, контрреволюционным образом способствовали его превращению в подобный некрополь или, выражаясь менее высокопарно, музей. Они законсервировали прошлое, придав ему классически завершенный вид, знакомый нам по школьному образованию. Более того, они провоцировали специфическую советскую ностальгию. Новые названия улиц и площадей, дворцов и мостов хранили память о старых. Никакая советская риторика не могла тягаться с очарованием незримо проступающих под вывеской «Ленинград» мифологических черт блистательного Санкт-Петербурга. В той или иной форме этой ностальгической, антикварной болезнью были заражены все ленинградцы, имевшие то или иное отношение к культуре, от музейных работников до поэтов и филологов. Не избежали ее и представители неофициальной, так называемой второй культуры, которым не всегда хватало трезвости не следовать коду, предписанному символическим порядком и разделяемому образованным большинством.

Сегодня, после возвращения городу в 1991 году изначального полного имени, происходит, если воспользоваться терминологией Фрейда, нечто вроде возвращения вытесненного. В российских средствах массовой информации за Санкт-Петербургом прочно закрепляется титул сто-

лицы: «северной» и/или «культурной». Прилагательные при этом употребляются как взаимозаменяемые, по существу — синонимы, а иногда и вообще опускаются. Опускаются и оседают в коллективном бессознательном, где и разбухают до размеров фантазматического тождества с оттенком неизбежного «ретро». В результате контаминации традиционного для Петербурга тропа «Северная Пальмира» город, который фактически является областным центром, приобретает символическую стоимость столицы. Эта последняя превращается в прибавочную с той же легкостью, с какой национальная гордость становится отраслью индустрии туризма. С другой стороны, поскольку средства массовой информации сосредоточены преимущественно в Москве, не стоит большого труда догадаться, что в их устах риторическая фигура «северная столица» представляет собой еще и своего рода эвфемизм для компенсации, этакого запоздалого признания исторических и культурных заслуг бывшей имперской столицы. Знаком конца петербургского периода российской империи послужил перенос столицы и переезд правительства в Москву при большевиках, которые ввели для Ленинграда другой эвфемизм: «колыбель трех революций». Он носил ярко выраженный идеологический характер и апеллировал в первую очередь к сознанию пролетариата, этого могильщика буржуазии. Словосочетание «северная столица» на таком эсхатологическом фоне звучит вроде бы подчеркнуто нейтрально, как нечто деидеологизированное и лишенное политических коннотаций. Но для того, кто знаком с историософской и геополитической подоплекой взаимоотношений двух столиц, в формуле «северная столица» неизбежно проступает подтекст противостояния женственной, истинно русской Москвы и фаллического, прикидывающегося европейским Петербурга. В этом противостоянии Петербург потерпел поражение по всем статьям, за исключением той, что по ведомству Министерства культуры; таков скрытый смысл снисходительного признания за ним статуса «северной» и/или «культурной» столицы.

Стало быть, эта насаждаемая средствами массовой информации ретрофигура, призванная возвышать петербуржцев в собственных глазах, преследует политические цели и в целом вписывается в стратегию постсоветской игры в придание идеологии видимости чего-то «естественного», «само собой разумеющегося». В данном случае мы не в первый уже раз сталкиваемся с эффектом того, что Барт в свое время описал как похищенный язык, или — в терминологии Романа Якобсона — код. Этот код надстраивается и паразитирует на традиционном, историософском, «коде» Санкт-Петербурга, который сам требует дешифровки. Собственно, такой дешифровкой и занималась русская литература начиная с «Медного всадника» Пушкина и кончая «Петербургом» Андрея

Белого, образовав то, что получило потом известность как петербургский текст. Ирония, однако, заключается в том, что в литературе не бывает дешифровки в чистом виде. Литература скорее декодирует и перекодирует, нежели дешифрует. Одним из последних блестящих подтверждений этому является «Пушкинский Дом» Андрея Битова.

«Пушкинский Дом»: Институт русской литературы, ее архив и ее же музей в одном лице, под одним фасадом и под одним куполом. Колпаком. Насколько этот колпак шутовской, гоголевско-достоевский, говорят названия глав. Говорят о том, каково жить в литературе, ставшей музеем.

Санкт-Петербург: не имя ли это музеефикации под открытым небом?

Музеи приходят на смену храмам, их посещают по воскресеньям, как мессу, всей семьей. Последний рудиментарный ритуал в эпоху смерти Бога. Музей — это склеп, «милый Египет вещей», проникнутый вроде бы безопасным научным духом, духом классификации покойного прошлого. Вагинов первый почуял трупный запах покойной литературы. Его персонажи — это антиквары конца 20-х — начала 30-х годов, последние, опустившиеся на дно истории, в ее подвалы, собиратели сновидений, обрезков ногтей, непристойных литографий эпохи рококо, наклеек, конфетных фантиков, похабных граффити в общественных уборных. Одним словом, экскрементов люмпенизированной культуры. Эти люмпен-антиквары и сами чувствуют себя экспонатами, бабочками, припиленными булавками к красному комсомольскому сукну, суконному новоязу. Физиологически ощущаешь, как язык прозы мертвет, срастается с «советским дичком», задыхается, в нем уже невозможно индивидуальное высказывание, только какое-то анонимное жуткое бормотание, нашептывание. *«Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя»*, — уведомляет в предисловии автор. Его четверокнижие о гибели и превращении Петербурга в Ленинград — настоящая ладья мертвых, сегодня течением постистории прибитая к берегам Невы. Она совершила кругосветное плавание. Плавание через тот свет.

Как и в «Комедии города Петербурга» Даниила Хармса, этой драматической поэме, где наряду с историческими персонажами действуют герои русской литературы, где перемешиваются времена и коверкается язык и где в какой-то момент рождается чудовищный хронотоп, химерический и возвышенный одновременно: Петербург. Город Леты, забвения, город *литературы*.

Череда переименований расчленяет тело города в нескончаемом принесении в жертву, в ритуальном убийстве. На политический террор

литература отвечает идиотизмом, мычанием, афазией, расстройством уже не только всех чувств, как того желал, например, Рембо, но и синтаксиса и грамматики; отвечает поэтическим террором; они сплетаются в смертоносном объятии.

Музей — аквариум бессознательного, до краев налитый прошлым. Его базовый принцип означает запрет. Не в смысле таблички «руками не трогать», а более глубокий, конституирующий саму сущность музейности запрет на воспроизведение. Как продемонстрировал в отношении музеев современного изобразительного искусства Борис Гройс, если данная картина «уже была», значит *так* рисовать (писать, снимать, инсталлировать) больше нельзя. Музей ставит художника в положение вечного эпигона, последыша, вынужденного пускаться во все тяжкие, лишь бы не подражать уже созданным шедеврам. Но тем самым он попадает в ловушку, ибо на другом уровне все равно обречен подражать, то есть воспроизводить некий общий принцип, принцип образцовости, по которому эти произведения были признаны шедеврами и отобраны для музея. Перенесенный в городскую среду, тем более — в столь насыщенную литературными аллюзиями и историческим подтекстом, как петербургская, музейный принцип, выраженный в формуле «уже было», порождает тошнотворное ощущение бесконечного дежа вю. Прошлое буквально застит глаза. Парализует, превращает в призраков. Вот здесь жил Пушкин, здесь — Гоголь, здесь — Лермонтов, здесь — Достоевский, а здесь — целый выводок их литературных героев, а вот здесь — Блок, Ахматова и — о, ужас — Бродский. Самые недавние, казалось бы, события и тексты, тексты как события, консервируются, сдаются на наших глазах в архив. Это не означает, что они утрачивают свою актуальность. Это означает, что из разряда события они переходят в ранг реминисценции — пускай прекрасного, но воспоминания, то есть чего-то такого, что по определению принадлежит не живой традиции, а окаменевшим руинам. Каковыми и предстает нам сегодня история, распавшаяся на выставленные в музейной витрине фрагменты.

6 июля 1999 года

НИКОЛАЙ МАЛИНИН

Жизнь и смерть валютной проститутки

Вот и на нашей улице, улице Тверской, праздник. Сносят гостиницу «Интурист».

Сравниться с этим событием может только восстановление храма Христа Спасителя. По крайней мере, по фантастичности. Полвека у москвичей болело сердце о главной утрате, и тридцать лет — о главном «приобретении». И помыслить было невозможно, что сокровенные мечты когда-нибудь сбудутся.

Конечно, утрат слишком много: Сухарева башня, Красные ворота, церковь Успения на Покровке. И «приобретений» тоже хватает: Калининский проспект, Дворец съездов, гостиница «Россия». Но храм Христа Спасителя и «Интурист» были символами: в них концентрировались вся любовь и вся ненависть.

Наверное, мы должны быть счастливы: клич «долой», растянувшийся на тридцать лет и превратившийся под конец в тихий вой, достиг цели. Но это было бы подтасовкой: «Интурист» сносят вовсе не потому, что москвичи его дружно не любят. Сносят — как и пятиэтажки — в связи с банальным одряхлением. Отслужил свой срок, перестал отвечать запросам интуристов.

И это, честно говоря, утешает. Потому что, если бы «Интурист» сносили в соответствии с народными чаяниями, сразу бы закопошились подозрения в популизме, можно было бы рассматривать это как очередной хитроумный шаг в предвыборной программе мэра.

И тем не менее, это первый прецедент такого рода в исправлении облика города. Новое — строили, старое — восстанавливали, а вот так,

чтоб снести что-то режущее глаз... Ну, разве что памятники. Но сказать по правде, эта параллель отнюдь не в пользу лужковского решения. Снесли Дзержинского — и площадь рассыпалась. И понятно, что еще много лет пройдет, пока на этом месте появится что-нибудь равноценное.

Когда мы увидим то, что появится взамен «Интуриста», — не вздохнем ли с привычной присказкой: «Хотели как лучше, а вышло как всегда»?

Совершенно очевидно, что «рана», нанесенная этим сооружением городу, не позволит сделать здесь что-то интересное. Напуганные его судьбою, архитекторы наверняка будут жаться, стесняться и робеть. Прижмутся к земле, вывесят на фасад какие-нибудь карнизки «под старину», а то еще и башенку залудят, как водится. Все-таки Кремль напротив!

Я искренне сочувствую Андрею Дмитриевичу Меерсону — архитектору, чей проект пока рассматривается в качестве основного. Ко всем ограничениям, накладываемым местом и временем, прибавляется еще и «проклятие» предшественника. Московская, по крайней мере, история пока не знает такого случая, чтобы на костях чего-то старого возникало нечто гораздо более совершенное. И храм Христа Спасителя, вставший сначала взамен Алексеевского монастыря, а затем вместо бассейна, — самое печальное тому подтверждение.

«Память места» или «гений места» — довольно жесткая вещь. Даже если современный архитектор строит в сегодняшней Москве не «новое», а нечто новое — он обязательно скажет, что *«вот этот майоликовый фриз появился потому, что наличествовал у того дома, который был здесь раньше»* (только так можно объяснить появление этой приметы модерна в новом офисном здании на улице Чайнова). Среда, контекст — эти понятия сегодня обязательны. Но суммируя как географические, так и исторические окрестности «Интуриста», страшно себе представить, что может получиться. Старый «Националь» в обязательном порядке «диктует» модерн, театр Ермоловой — какую-нибудь псевдоисторическую лепнину, мордвиновские дома, напротив, — сталинский классицизм, Исторический музей с музеем Ленина — русский стиль, ну и так далее. Вплоть до «Интуриста» нынешнего, который совершенно необходимо «помянуть» чем-нибудь стеклянным.

Проект, конечно, еще долго будет утрясаться, пожелания заказчика — приводиться в соответствие с требованиями города, но ясно, что никакого «архитектурного события» здесь ждать не приходится. Событием, собственно, является только снос. И поэтому стоит задуматься: а что мы сносим?

А сносим мы архитектуру, которая, при всей своей непрезентабельности, уникальна как образец некой честности. Что особенно очевидно в сравнении с нынешним «историзмом», в котором причудливо

перемешиваются требования городских властей, согласующих инстанций, инерция перестроечной охранительской истерии, прагматизм заказчика (а то и еще хуже — его представления об искусстве). Архитектура как чистое искусство в Москве практически отсутствует. Надо сделать тысячу поправок, чтобы понять, как она могла бы выглядеть.

А «Интурист» — при всей его убогости — на редкость простодушен, честен и чист. Да, так тогда строили во всем мире. Такие же вот стекляшки, рвущиеся в небо. Началось все с Миса ван дер Роэ (жилой комплекс Лейк Шор Драйв в Чикаго, 1950 год), продолжилось — небоскребом фирмы братьев Левер в Нью-Йорке (Гордон Баншафт, 1951 год), в Лондоне — это Кэстрол-хауз (1960 год) или Виккерс-Тауэр (1963 год), короче, почти два десятилетия «интернациональный стиль» господствовал во всем мире.

До Москвы эта эпидемия добралась лишь в конце 60-х. И надо сказать, не так уж много по себе оставила: Гидропроект, «Белград», здание Госкомстандарта на Ленинском проспекте. И была эта прививка своего рода проверкой на космополитизм. Примет ли Москва суперсовременные здания и тем войдет в «цивилизованный мир» — или же отторгнет, пестуя свою самобытность и патриархальность.

Не приняла, отторгла. Принято объяснять это тем, что «Интурист» ворвался в сокровенный исторический центр, перекрыл панорамы, испакостил виды. Но какие, к черту, виды? К 1970 году ничего этого уже не было: Тверскую давно перелопатили, кварталы между Моховой и Александровским садом снесли, понастроили иных доминант (гостиница «Москва», Госплан), да и вообще трудно назвать историческую эпоху, в которую этот район выглядел бы гармоничным ансамблем.

Сегодня — после того что произошло с Манежной площадью — всякие рассуждения о планомерно претворяющихся градостроительных замыслах кажутся полным бредом. План только один: коммерческая выгода. Поэтому, если Лужкову вздумается когда-нибудь записать снос «Интуриста» на свой счет как градоспасательное деяние — не верьте. В конце концов, Гришин тоже «резанул» здание ТАСС, возмутившись его высотой.

И тут надо честно сказать о единственной ошибке архитекторов — об их компромиссности. Конечно, «Интурист» должен был быть выше. Или, по крайней мере, не так растянут вдоль улицы. Контраст, вроде бы, получился — но какой-то неплодотворный. Как-то все-таки господа архитекторы (Андрей Болтинов, Юрий Швердяев, Всеволод Воскресенский) пытались приладиться, приземлиться — при том, что надо было хладнокровно лететь в небо, не беря в голову земные брэнности.

В здании действительно нет ничего уникального, дающего повод гордиться хотя бы собственной эксцентричностью. Классический при-

мер перемены отношения к себе — Эйфелева башня — все же не в пример оригинальнее.

Но именно в этом смысле «Интурист» — блестящий пример соответствия времени. Вот уж действительно, памятник эпохе. Работа над проектом началась еще в 60-е, когда казалось, что все будет, что мы будем одним большим миром, и в этом мире — далеко не последними. Зря что ли в космос первыми улетели? А строилась гостиница уже после пражских событий, пошел откат, тоска, все стало затухать и заземляться.

И именно поэтому здание, пришедшее «оттуда» и предназначенное лишь для «них», не могло не вызывать раздражения. Мало того, что у себя живут хорошо, «они» еще и здесь сидят в самом центре и смотрят на нас сверху. Над гостиницей завитал образ валютной проститутки, навеянный не только ее местоположением у кромки Тверской.

И вот теперь, когда мы уже привыкли и к проституткам, и к гамбургерам, и даже стекляшка «Макдоналдса», что в двух шагах от «Интуриста», не режет наш глаз (хотя ее остекленелость не менее банальна) — нам вдруг решили сделать запоздалый подарок. Тендер выиграла французская компания «Superior Venture Limited», снос начнется в марте 2000-го, а еще через два года мы получим новый респектабельный отель в пять звезд. Как он будет называться — пока неизвестно.

20 октября 1999 года

ОЛЬГА КУШЛИНА

Полтора квадратных метра

Признаться, поначалу сюжет этой статьи был совершенно иным: детективным. Пишу для удовольствия — так сама Александра Маринина определяет свой изнурительный подневольный труд рабочего на конвейере. Но между строк ее сочинений прочитывается и другой побудительный мотив.

Во всем, выходящем из-под пера Марининой, виден болезненно острый личный интерес к жилищной проблеме. Подробного и пристрастного описания чужих домов и квартир, обстановки и быта всегда гораздо больше, чем требует фабула. В повести «Стилист», попав в роскошный, выстроенный по индивидуальному проекту коттедж преуспевающего литератора, Настя Каменская думает о том, что не нужна ей такая роскошь — в ее родной крошечной квартирке на окраине ей удобнее и спокойнее. И такая тоска в этих рассуждениях, что понимаешь: даже убогое собственное жилье — только мечта, для исполнения которой нужно еще работать и работать. Или, описывая семейные неурядицы майора Селуянова, в результате которых тот остался в мучительном одиночестве, Маринина неоднократно говорит об огромной трехкомнатной квартире в новостройке. Это до какого же состояния надо довести несчастного московского писателя, чтобы он стандартную трехкомнатную квартиру называл огромной! Можно привести бесчисленное множество других свидетельств — прямых и косвенных. Например, любимую мать — по сюжету — лучше сначала отселить в другой конец города, а потом вообще отправить подальше — в Швецию, и надолго. Читая это, нельзя не понять, что на самом деле мать — тут же, за стенкой, и невольно мешает дочери устроить свою личную жизнь.

Обезоруживающе откровенная проговорка в повести «Черный список» заставила меня просто развести руками. Героиня этой повести, следователь из Петербурга Татьяна Образцова, пишущая детективные романы под псевдонимом Татьяна Томилина, живет вместе с сестрой первого мужа Ирочкой — не просто домработницей или секретарем, но прямо таки ангелом-хранителем. Татьяна признается: *«Она за мной ходит не хуже няньки. Все свои гонорары за книги я откладываю, чтобы скопить на квартиру для Иры, если она решит отделиться от меня. Поэтому и пишу так много»*. Ирочка стоит на страже интересов писательницы Томилиной, бурно переживает ее успехи и неудачи, критику в прессе и выступления по телевизору, восхищается ее талантом и ополчается на всех, кто в этом таланте сомневается. И вот у писательницы похищают компьютер, а в нем — двести страниц нового произведения. Татьяна держится с редкой выдержкой, а Ирочка рыдает. Рассказчик замечает: *«...Я понимал, что она оплакивает не только компьютер, но и недописанную повесть»*. Ну еще бы! Кому не жалко второго тома «Мертвых душ» или десятой главы «Евгения Онегина»? Но продолжение этого рассуждения вызвало у меня, признаться, чувство неловкости. Ирочка расстроена, оказывается, совсем другим. Татьяна говорила, что за авторский лист ей платят в издательстве двести долларов. Повесть на пятнадцать авторских листов... принесла бы им три тысячи долларов. А это — еще три квадратных метра Ирочкиной квартиры. Может быть, кому-то эти три квадратных метра покажутся смешными, но только не Ирочке... которая теперь терпеливо складывает эти смешные метры, дожидаясь, пока они не вырастут до размеров отдельной квартиры. В конце концов, три квадратных метра — это ванная. Или три встроенных шкафа, что тоже немаловажно.

Мне, например, эти метры смешными не показались. Пересчитывать строчки художественной прозы даже не на деньги — на квадратные миллиметры площади — это не смешно, а грустно и страшно. Прямой голос автора прорывается сквозь рыдания героини: речь идет о покупке квартиры в Питере, а цены фигурируют московские. В Питере, пожалуй, за одну повесть можно не только ванную купить, но и сортир к ней пристроить. Как говорил М. Булгаков (точнее — Воланд, именно его цитирует писательница каждый раз, когда заходит речь о большой литературе), москвичи ведь тоже люди как люди, квартирный вопрос их только испортил.

В повести «Имя потерпевшего — никто» возникла тема квартирного обмена, продажи, маклерской мафии... У читателей забрезжила надежда: неужели получилось? Сдвинулось с мертвой точки? Мы так исправно помогали любимой писательнице все эти годы... (Почему-то вспоминается обращение на первой странице газеты «На дне»: *«Покупая эту газету, ты помогаешь бездомным»*.)

И вот, наконец, в двухтомнике «Мужские игры» появилась тема ремонта. Ура! Свершилось.

Надо ли говорить, что все мое детективное расследование потеряло смысл, когда в одном из номеров «Новой газеты» появилось чисто-сердечное признание — интервью с Александрой Марининой под заголовком «Я мечтала о собственной квартире двадцать лет...». Это, разумеется, не столько реклама ее книг, сколько реклама дизайнера, превратившего двухкомнатную хрущобку в настоящий дворец. К радости за любимую писательницу, в поте лица заработавшую крышу над головой, примешивалась обида: неужели же все наши многомиллионные старания позволили ей купить только такое убогое жилище у метро? Кто же тогда населяет краснокирпичные загородные особняки, просторные хоромы в центре? Надо думать, издатели. Или те, с кем писательница так успешно борется на своей основной службе в милиции. Такое впечатление, что нас обманули, показав, что беллетристика Марининой — все та же советская трущоба, прикидывающаяся дворцом.

Fast food

Книги сегодня мы выбираем не умом и даже не сердцем — скорее желудком. Перестроечная проза оказалась совершенно несъедобной, поскольку не ставила иной задачи, кроме как вызвать чувство тотального омерзения — к себе самим, к истории страны и истории литературы, к художественному тексту, к читателю. Она строилась на эстетике отвращения, и что теперь удивляться, если доведенный до рвотных спазмов читатель отвечает взаимностью и Виктору Ерофееву, и Владимиру Сорокину. Русская интеллигенция стыдится и своих детских привязанностей, потому цитировать без смущения М. Булгакова или, тем более, А. Грина может себе позволить разве что писательница разряда Марининой. Для нее Михаил Булгаков — недостижимый классик, та вершина, которая по-прежнему манит своими девственно чистыми снегами. Массовая литература обязана Булгакову, по крайней мере, главным уроком: читателя надо любить, ему надо угождать, не унижать, а делать комплименты; внутри текста читатель должен чувствовать себя так же комфортно и уютно, как на крошечном пространстве собственной кухни, где всё под рукой и при желании до всего легко можно дотянуться. Не поднимаясь со стула — заварить чай, сделать бутерброд и всласть почитать детективчик.

Детективы — это быстрое чтение, как бывает быстрая еда. Съел — и порядок. А на сытый желудок можно подумать и о душе. Если получится.

Маринина и ее любимые героини — сугубые материалистки, поэтому, по их мнению, в Бога верят только люди с больной психикой. Ве-

рующие непредсказуемы, как маньяки-убийцы; не случайно вокруг них и происходят убийства — они их, можно сказать, инспирируют.

С брезгливым ужасом Настя Каменская узнает об одной из подозреваемых, что та после смерти сына... крестилась.

— Она что, и в бессмертие души верит?

— Еще как верит, — отвечает ей коллега и рассказывает о том, как сын является матери после смерти и просит отомстить. Это и есть, оказывается, вера в загробную жизнь и бессмертие души.

Люди религиозные всегда внушают подозрение. Крестная мать фигурантки занимается поисками киллера и делает это в самом подходящем месте — возле церкви, в своем приходе.

В связи с этим хочется напомнить об одном человеке, который тоже еще как верил в бессмертие души, а также в воскресение и в неминуемость наказания за преступление — и был при этом далеко не полным идиотом. Это создатель первого настоящего русского детектива Федор Достоевский.

У детективного романа на русской почве были все основания для того, чтобы стать одним из полноценных, а не второсортных жанров литературы. Жаль, что этого не случилось. И никакие монологи Томилиной-Марининой положения не спасают: *«...У литературы не бывает сортности, так же как у осетрины не бывает степеней свежести... Литература не бывает первого, второго и пятого сорта. Это либо литература, либо нет, вот и все»*. Наглый тележурналист (повесть «Я умер вчера») сражен подобными доводами, но мы, читатели, пока еще не чувствуем себя проходными персонажами массовой литературы.

В мутных водах российской словесности нынче ловится не осетр, а разная другая рыбка помельче: и славная корюшка, и поганый минтай, способный выжить в любых экологических условиях и потому вредный для употребления в пищу. А на этом безрыбье русский читатель напоминает чеховскую кошку на огороде, которая с голодухи ест огурец и морщится. Впрочем, многие кошки, вопреки расхожему представлению, едят огурцы охотно. Говорят, что питерские кошки любят огурцы потому, что они пахнут корюшкой. Но это уже, кажется, к делу не относится.

4 марта 1999 года

ИЛЬЯ ОВЧИННИКОВ

Маятник Марининой

Зачем?

«Ах, если бы найти кого-нибудь, кто писал бы о Марининой!» — вздыхали в редакции журнала «пушкин» летом 1997 года. Никого, впрочем, не нашли (да и не искали), тем временем писательница завоевывала все новые и новые позиции: число ее книг удвоилось (не говоря уже о тиражах), о ней написали «Плейбой», «Неприкосновенный запас», «ТВ-Парк», «Эксперт» и «Огонек», в сети Интернет появились ее произведения, а месяц назад — и официальная страница. Решили почитать Маринину и мы.

Первая попытка была вызвана вполне понятным любопытством с оттенком презрения: «За что ее так любят?» Прочитанный за полдня роман «Светлый лик смерти» убедительно отвечал на вопрос: книги Марининой любят, как минимум, за то, что от них невозможно оторваться. Невозможно настолько, что мы испугались, решили больше глупостей не читать и взялись за «Маятник Фуко», чтобы быть подкованными к приезду профессора Эко в Москву. Сквозь «Маятник», однако, продаться было нелегко — на него ушел почти месяц; столь длительный мазохизм требовал реабилитационного периода, в котором нам помог роман «Мужские игры» (в 2-х томах). За ним последовали «Шестерки умирают первыми», «Стечение обстоятельств» и «Не мешайте палачу», приведшие нас в такой бурный восторг, что пришлось покаяться (или похвастаться?) двум приятелям:

— А я прочитал несколько романов Александры Марининой.

Оба спросили с искренним недоумением:

— Зачем?

Прятели ответили не сговариваясь, они не были даже знакомы между собой; впрочем, за плечами у обоих были гуманитарные факультеты МГУ и работа в информотделе «пушкина».

Игра на чужом поле

Здесь стоит вспомнить о «круглом столе» «На rendez-vous с Мариной», опубликованном в 1-м номере «Неприкосновенного запаса». По мнению М. Айзенберга, обсуждение получилось куда «увлекательнее разбираемых романов» — отчасти это верно. Увлекательно следить за тем, как пятеро представителей «культурного сообщества» (которому адресует себя «НЗ») пытаются «*всей совокупной интеллектуальной мощью осмыслить феномен грандиозного успеха романов Александры Мариной*» (слова Ирины Прохоровой), а им мешают несколько легко выявляемых факторов.

Первый и самый очевидный — плохое знание материала. Так, Сергей Козлов уверенно рассуждает о том, что «*публика обычно делит романы Мариной на романы „с Каменской“ и „без Каменской“: последние котируются заметно ниже*». Неизвестно, о какой именно публике речь: науке известен ровно один роман «без Каменской» — «Черный список». Страницей ниже Борис Дубин упоминает эту книгу как пример единственного у Мариной Ich-Erzählung — повествования от первого лица. А за что забыт роман «Я умер вчера» (в 2-х томах), вышедший за полгода до «круглого стола»? Высокая комиссия упрекает Маринину в отсутствии традиционной для детектива привязки к адресам — а как же «Щелковская», Измайловский парк, Петровка, Павелецкий вокзал, Житная, «Новокузнецкая», «Академическая», «Профсоюзная», далее везде?

Подобных неточностей на «круглом столе» немало, и они неслучайны: профессиональные филологи так и не смогли побороть брезгливость по отношению к бульварной литературе. Они справедливо говорят о том, что «массовый» и «образованный» читатели получают от книг Мариной удовольствие более-менее одинакового свойства, но сами никак не могут решить, *как* они читают Маринину: как *обычные люди* или как *интеллектуалы*? (В собственной «интеллектуальности» у них, похоже, сомнений нет.) С удовольствием или «через не хочу»? Для души (или, по меткому выражению Ольги Кушлиной, для желудка) или для головы?

Один из лейтмотивов «круглого стола» — коллективное чувство стыда (*как бы* скрытое, но в то же время явное). «*Я осилила только пять романов*», — почти что оправдывается Прохорова. Но нет ли здесь лукавства? Захоти «интеллектуал» действительно разобраться в причинах успеха Мариной — он прочтет, в меру бесстрастно и отстраненно, два

или три романа, сделает соответствующие выводы и вернется к более привычному чтению.

Правда, однако, состоит в том, что интеллектуалы, в большинстве своем, Маринину не читают (и, возможно, правильно делают). Тем, кто первым прочел «Маятник Фуко» и «Хазарский словарь», кто регулярно изучает «НЛО» и без иронии употребляет слово «дискурс», Маринина неинтересна, и их можно понять — они читают для головы, а не для отдыха головы. Поэтому попытка разобраться в успехе Марининой оказалась для высокой комиссии в большой степени игрой на чужом поле — не зря «круглый стол» в «НЗ» опубликован под рубрикой «я и Оно». И если он завершается более-менее разумными выводами, то это своего рода парадокс — взгляд на материал у носителей «совокупной интеллектуальной мощи» оказался слишком специфическим.

Мир, который не станет твоим

За месяц до «круглого стола» один из его участников, Григорий Дашевский, опубликовал в журнале «Эксперт» (№ 10, 1998) статью «Инструкции для лунных барышень». Основная ее мысль (повторенная уже хором в «НЗ») — принципиальная неприспособленность героев Марининой, и особенно Насти Каменской, к окружающему миру (эти же чувства, соответственно, должны передаваться и читателю, смотрящему на мир глазами героини): *«Ты живешь в чужом мире — он никогда не станет твоим»*. По Дашевскому, Насте свойственны *«страх перед собственным телом, импотенция, отношение к своему телу как к чужому»* (здесь начинаешь сомневаться, не спутал ли эксперт романы Марининой с «Невыносимой легкостью бытия»), она «не работает непосредственно с людьми» и совершенно неспособна покинуть свой «бледный аналитический мир».

С этой посылкой вряд ли можно согласиться; к своему телу Каменская в меру равнодушна, притом оно является для нее объектом творчества (умение «нарисовать» на своем лице любое другое, плюс скопировать чьи угодно голос, походку и манеры — один из главных Настиных талантов) и вдохновения (в процессе решения очередной криминальной задачи Настя с удовольствием ложится в постель к коллеге Захарову). Ей хорошо и с людьми — будь то родственники, товарищи по работе или «фигуранты»: она — любящая жена, сестра и дочь; она — пожизненная «жилетка» для коллег Короткова и Селуянова; она незаменима там, где нужно обаять и разговорить (а то и припугнуть) свидетеля — будь то полуслепой вундеркинд Артем, гинеколог-экспериментатор Волохов или генерал милиции Вакар, ставший убийцей во имя памяти погибшего сына.

При этом Каменская — отнюдь не воплощение всех достоинств: она действительно ленива, компьютер ей подчас милее любимого мужа, а распутать очередное преступление Насте куда интереснее, чем приодеться к собственной свадьбе. Но как раз в силу подобных деталей Настин образ представляется гораздо более цельным, чем образы Тихонова у братьев Вайнеров или Гурова у Николая Леонова. Вообще, в последних романах покойного ныне Леонова «суперменские» черты Гурова подчеркнуты еще более грубо, чем в ранних, почти классических, «Профессионалах» или «Выстреле в спину». Гуров теперь полковник, он каждое утро тратит не меньше часа на гимнастику, ездит на собственном «Пежо», надевает на службу свой лучший костюм, его боятся молодые оперы. *«Ну, пугать меня, Петр, не следует, — усмехнулся Гуров. — Рапорт я могу подать сегодня. И ты прекрасно знаешь, работу в Москве я найду дня через три»* (из романа «Стервятники», 1997 год). Подобную фразу невозможно представить в устах Каменской или любого из ее коллег (да и где они за три дня найдут работу).

При всех своих недостатках, Каменская способна оказать квалифицированную медицинскую помощь, договориться с мафией, успокоить маньяка, провести текстологический анализ и отличить Бернстайна от Стоковского. Настю, вслед за ее обвинителями из «НЗ», вполне можно назвать интеллектуалом: она знает пять языков, ориентируется во всех видах искусства, неплохо помнит высшую математику. Отождествить себя с Каменской будет лестно почти любому читателю (а главное, это желание возникает совершенно естественно). И если Бориса Дубина коробит Настина будто бы грубость (возмутительную фразу *«Ты мне лапшу на уши не вешай»* говорит она товарищу по работе), то остается лишь отослать его к телевизору, по которому премьер-министр восклицает: *«Ну не надо нам пудрить мозги!»*

Здесь, впрочем, участникам «круглого стола» можно переадресовать их же фразу **«Этот мир никогда не станет твоим»**. Так или иначе, признать своим мир Марининой им не хватает духу (хотя мы все в нем живем). Они справедливо утверждают, что *«самые широкие слои»* готовы признать реальностью то, что называет реальностью Маринина, но в то же время настаивают: создаваемый ею мир принципиально чужд и непонятен, странен и непригоден для жизни. В силу чего же тогда при чтении Марининой неизменно возникает (это отметили и за «круглым столом») ощущение спокойствия, семейственности, уюта?

Этому несколько причин, и первая заключается в полусказочной природе марининского дискурса (ха-ха). Как отмечает О. Кушлина, черты сквозных героев писательницы (Каменская любит кофе и постоянно мерзнет, у Короткова неладно с женой, а Селуянов тоскует по де-

тям от первого брака и притом отлично знает Москву) — сродни постоянным эпитетам в русских сказках (если петушок — то «золотой гребешок», если Баба-Яга — то «костяная нога»). Более того, как бы правдоподобны ни казались нам романы и персонажи Марининой, стоит признать: такие люди, как ее любимые герои, вряд ли живут и действуют *сегодня*. Они не столь приторны, как леоновский Гуров, но в значительной мере идеальны. Психологические мотивировки их поступков вполне убедительны, но временами нет-нет да и усомнишься: будет ли наша милиция так долго и дотошно разбираться в чем бы то ни было? Откажется ли она от возможности свалить вину на первого попавшегося «голубого» (тем более, если улики — налицо)? Способны ли два с половиной оперативника бороться с мафией?

Ответ очевиден, но Маринина хочет вернуть нам веру в чудеса. Поэтому в ее романах так мало явной чернухи (цитата наугад из «классика жанра» Леонова: *«Толик лично вынул из кармана бритву, морщась, отрезал голову... Две или три женщины из числа соседок заметили происходящее, и, видя беспокойство сотоварищей, Толик процедил сквозь губы: „Они теперь моют жопы в ванной, потому как обкакались...“»*) — даже если речь идет о съемках порнофильмов для богатых психов или о серийных убийцах-маньяках. (Более того, я и слова «*жопа*» у Марининой не упомяну.) Это касается как конкретных сюжетов и сцен, так и языка.

Участники «круглого стола» ссылаются на мнение коллег: *«Вы видели, каким языком это написано?»* Сами они высказываются о языке марининских романов чуть мягче: *«Элементарное среднестатистическое письмо... норма хорошего технического перевода...»* С этим, однако, трудно согласиться: Маринину читать легко и приятно, в первую очередь, в силу ее языка. Кому-то он, безусловно, может не понравиться, если сравнивать эти романы с рассказами Борхеса или с тем же журналом «НЛО». Но справедливее было бы сопоставить Маринину с другими авторами серий «Черная кошка» и «Русский бестселлер», будь то Леонов, Виктор Доценко, Полина Дашкова или прочие *безымянные герои*. (Легко ли отличить между собой романы «Подстава для лоха» Дмитрия Петрова и «Стукач» Дмитрия Стахова?) И разница здесь будет куда заметнее, чем можно предположить.

Признаемся честно: мы не смогли осилить ни вышеупомянутую «Подставу для лоха», ни романы Полины Дашковой, ни опусы члена Союза писателей Валерия Барабашова. Однако, листая их, встречаешь массу любопытного: *«Дверь открывает высокая блондинка с загорелыми стройными ногами. Ее интересное, удлиненное строгое лицо немного портит косящий в сторону правый глаз... Макс внимательно рассматривает своего счастливого предшественника в любви. Он силится увидеть то важ-*

ное, что отличает простого смертного, типа Макса, от выдающихся одухотворенных личностей». Это — роман «Новые русские» Михаила Рогожина; повествование в нем, для удобства читателей, от первой страницы до слова «ВСЕ» ведется в настоящем времени. А вот урка по прозвищу Дюбель, только что сбежавший из лагеря, соблазняет первую попавшуюся дачницу Лиду (через две страницы он задушит ее полотенцем): «Владик! Владюша! — страстно шептала Лида. — Да откуда же ты такой взялся? Ласковый мой, хороший! Я ведь когда тебя увидела, тоже что-то ёкнуло». Это из романа Барабашова «Золотой киллер». В его же книге «Изувер» описывается сцена любви между женщиной, женщиной и котом по кличке Спонсор — цитировать не рискуем. «Кот знал толк в этих делах!»

Спасибо Марининой, она добрее к своим героям и читателям. Как справедливо указывает все та же компания из журнала «НЗ», письмо у нее — позитивное, лишенное «безграмотности и бессмысленной навороченности», тяготеющее к максимально возможной простоте, которая, в то же время, не сильно уязвит читателя, знакомого и с лучшими образцами стиля: *«Настя вытянулась рядом с Димой на диване, обняла за шею и возбужденно зашептала: „Скорей бы утро! Тогда я смогу кое-что выяснить...“ „Замолчи, — одними губами произнес Дима, крепко прижимая ее к себе и целуя. — Хватит быть умницей. Побудь хоть немного просто женщиной“...»*. Высокая словесность? Вряд ли. Добротный киносценарий? Как минимум. За едой (равно как и в электричке) читается легко и иногда даже пробуждает добрые чувства. Нам представляется, что это немало. А на свежую голову (сытый желудок) можно почитать и «Маятник Фуко».

P.S.

Наш сосед и коллега Курицын уже не раз высказывал сожаление по поводу двух последних романов Марининой. В основном мы склонны с ним согласиться: «Реквием» и «Призрак музыки» написаны тем же почерком, что и «Убийца поневоле», но что-то изменилось. И дело даже не только в помпезных и почти одинаковых заглавиях — они редко удавались Марининой (попробуйте-ка не спутать «Смерть ради смерти» и «Светлый лик смерти»); не только в упрощении диалогов и усложнении авторских отступлений; не только в том, что Маринина превращается в морализатора и учителя жизни. Предыдущие ее книги были хороши именно как детективы — в лучших из них обычно разрабатывалось не менее трех сюжетных линий, которым удавалось к финалу сплестись самым причудливым образом. В последних двух романах — ровно по од-

ИЛЬЯ ОВЧИННИКОВ

ной линии; и даже самый недогадливый читатель вычислит убийцу примерно к середине книжки.

Однако остальные романы Марининой уже не станут от этого хуже. Мы настоятельно советуем вам прочитать хотя бы эти:

1. «Смерть и немного любви».
2. «Шестерки умирают первыми».
3. «Не мешайте палачу».
4. «Убийца поневоле».
5. «Иллюзия греха».
6. «Стилист».
7. «Игра на чужом поле».
8. «Украденный сон».

4 марта 1999 года

ТВЕРДЬ

МИХАИЛ ЯМПОЛЬСКИЙ

Дневник чтения

«В прозрачных дебрях ночи»

Вопрос о том, как и что мы читаем, конечно, для человека, косвенно причастного к филологии (каковым я себя неопределенно числю), — один из главных. Тут много придумано. Теории рецепции, теории интертекстуальности, теории misreading и проч. и проч. Вопрос, однако, насколько не проясняется. В книжке о Хармсе, которую кончил год назад, я пытался продемонстрировать один из способов «чтения». Но я так и не знаю, что это такое. В 20-е годы формалисты противопоставляли затрудненное чтение автоматизированному. Последнее представлялось им прозрачным, позволяющим, минуя способ выражения, непосредственно подступиться к смыслу, который давался читателю в формах узнавания. Затрудненное чтение якобы позволяло видеть и выводило язык на первый план (теория «поэтического языка»). Но, вообще говоря, активность моего видения не кажется мне прямо соотносимой с затрудненностью или легкостью чтения. Иногда самый простой и прозрачный текст вызывает у меня ощущение «непрозрачности», а затрудненный так скупен, что вообще ничего не вызывает. Может быть, мое личное чтение — как раз пример «патологического» чтения, но «правильного» чтения, как известно, не бывает. Любое reading — это misreading.

Чтобы хоть как-то разобраться в процессе чтения, я решил вести для себя дневник и постараться зарегистрировать в нем некоторые свои реакции. Дневник этот — не теория, это просто записи о чтении.

«В последнее время мало читаю беллетристики. Но и мои коллеги, филологи, признались мне один за другим, что почти не читают романов —

новых, во всяком случае. Роман теперь поглощается как пирожное — сладкое, жирное, вредное. Можно иногда себе позволить, а потом снова сесть на строгую овощную диету. Поэтому выбор книг (не для работы, а для себя) становится особенно ответственным делом. Что я читаю в таких обстоятельствах? Почему выбираю ту или иную книгу? С удивлением отдал себе отчет в том, что прочел с небольшими перерывами несколько романов Юнгера. Почему? Не знаю. Не то чтобы я особенно любил Юнгера, но... Месяц назад, когда уезжал на неделю из Нью-Йорка, взял с собой две книги fiction: обожаемого мной Агнона, каждая строчка которого — драгоценность, и роман Юнгера „Опасная встреча“. В итоге прочитал Юнгера, а не Агнона.

Я не могу даже сказать, что Юнгер интересен мне как личность, хотя, конечно, связи писателя играют в моем выборе на удивление существенную роль. Например, интерес к Агнону Бенямина и Шолема, несомненно, сыграл роль в его открытии. Может быть, я все еще под гипнозом связки Юнгер-Хайдеггер, двусмысленности „Мраморных скал“ и „Рабочего“, как-то по-своему освещающих двусмысленность политической позиции Хайдеггера? Но „Мраморные скалы“ мне скорее не понравились своим, столь характерным для некоторых вещей Юнгера, аллегоризмом и немецкой романтической „задумчивостью“ в духе невыносимого Гессе. То же самое и с „Гелиополисом“, публикация которого прошла настолько незамеченной в России, что вообще начинаешь задаваться вопросом: может ли сегодня в России хоть что-то из литературы быть замеченным?

Чем больше я думаю о Юнгере, тем больше убеждаюсь, что в интересе к нему лишь мизерную роль играют его необычная биография, наркотики, Шварцвальд в паре с Хайдеггером и прочее. „На мраморных скалах“ стал читать главным образом потому, что название ассоциировалось у меня с картиной Фридриха „Меловые скалы на Рюгене“, которая сама вписывалась в своеобразный ряд ассоциаций. Один из вариантов картины имеет по краям затемнение, подобное кинематографическому каше, и я давно прочитывал это затемнение как изображение век открытого глаза художника. Это дурацкое веко Фридриха вызывало в моем сознании рецензию Брентано на картину Фридриха „Монах на берегу моря“, где говорилось вроде того, что пейзаж этот увиден человеком, у которого срезаны веки (мотив легенды о Регуле, отраженный в известной картине Тернера).

Не знаю, почему меня занимали эти веки, но они были, несомненно, главным стимулом читать Юнгера, к которому никакого отношения не имели. От „Мраморных скал“ в сознании осталось мало, главным образом некоторые описания камней и растений, в которых Юнгер действительно великолепен. Пару лет назад я написал статью о видении и наркотиках, где цитировал описания Юнгера. Теперь мне кажется, что все мое внимание к

описанию скал определялось исключительно связью с Фридрихом и историей с веками.

Чем больше я думал о своем желании прочитать юнгеровских „Стеклянных пчел“, тем больше убеждался, что оно было связано с тем же. Тема стекла, прозрачности, транспарантов давно меня занимала. Даже в недавнюю книгу о Хармсе я вставил главу об окне, которая была отражением того же интереса. Взгляд без век — это был, конечно, взгляд без завесы, покрова, так или иначе связанный с темой стекла. Отсюда и страстное желание прочесть „Стеклянных пчел“, которых я жадно ухватил, когда налетел на них в книжном магазине. Но здесь примешался еще один навязчивый мотив — мандельштамовский. Я любил мандельштамовские „наливные рюмочки глаз“ — стеклянные глаза без век. Но главное, что, вероятно, зацепило меня — были пчелы.

Мандельштамовские пчелы дали большой поток интертекстуальных интерпретаций — мифология Персефоны, Вячеслав Иванов („Слышишь слова золотого вещей мед“), Гумилев („И, как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова“) и прочее. Все так, но я никогда не мог до конца поверить, что слово в поэзии может быть просто сгустком цитат. Мои любимые строки о пчелах были из „Возьми на радость из моих ладоней“:

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета...

Я любил фантазировать об этих строчках. Отчасти потому, что пчелы тут явно связаны с ночью, а ночь понимается как прозрачность, как стекло. В „Окнах“ Малларме была эта тема слепоты, связанная с ослеплением. Мне казалось, что мертвые пчелы, „мед превратившие в солнце“, парадоксально связывают солнце и ночь, вроде того как умирающий герой „Окон“ Малларме задыхается от переполняющего его света и нестерпимой прозрачности лазури. Во всяком случае, прозрачность ночи как-то укладывала вместе пчел и стекло.

Нильсон был первым, кто заметил странность помещения пчел на Тайгет, а не на Гимет — гору, известную своим медом. Эти строки про Тайгет (вызывавшие понятную смутную ассоциацию с тайгой) как-то тревожно дремали во мне, пока я не натолкнулся у Шабобриана в его „Путешествии из Парижа в Иерусалим“ на необыкновенное описание руин Спарты и строки, посвященные Тайгету. Тайгет тут описывался как занавес, как странная завеса, отделяющая руины от уходящего вглубь пространства. Описание было столь поразительным, что я стал искать фотографии Тайгета, откуда не нашел завороживший меня вид Тайгета в книге Винсента Скалли о греческой архитектуре и ландшафте. Это действительно была величественная завеса („...как эти покрывала мне постыли...“; „меж ним

и нами занавес лежит“). Тайгет — это „лежащий занавес“. Конечно, все эти мои совершенно частные ассоциации имели мало отношения к Мандельштаму, тем более — к Юнгеру. Но я не сомневаюсь, что они определили весь ритуал чтения „Стеклянных пчел“.

Я проскочил добрых две трети романа с большим равнодушием. Вперед меня гнало бессмысленное желание добраться до пчел. И наконец, я дошел до невероятного в своей странности их описания, напоминающего гюисмансовский „А Rebours“. Приведу несколько строк из описания пчел и улья, занимающего целую главу: „Их большой размер был менее поразительным, чем можно было бы предположить, потому что они были совершенно прозрачны. В действительности мое представление о них в основном порождено блеском их движений, видимым на солнце. Когда создание, за которым я сейчас следил, зависло перед цветком вьюна, чей венчик был пронзен языком в форме стеклянного хоботка, оно было почти невидимым“.

Прозрачность искусственных стеклянных пчел делает их практически невидимыми, заставляя догадываться об их облике по слепящему блеску движений на солнце. Иными словами, сам облик пчел дается нам через момент ослепления. Это ослепление — единственный знак видимого. Но Юнгер, в характерном для него ходе, подвешивает этот блеск рядом с цветком, снабженным тоже стеклянным хоботком. Невидимость пчелы удваивается прозрачностью иной формы, с которой она соотносена. Но стеклянный хоботок вьюна хорошо различим для наблюдателя, и Юнгер дает его точное описание (точность видения малейших деталей вообще характерна для него, натренировавшего свой глаз — как и Набоков — на занятиях ботаникой и энтомологией). Фокус, однако, в том, что наблюдатель видит стеклянный хоботок только потому, что рядом с ним сияет слепящий блик динамической неразличимости. Иными словами, невидимость пчелы делает видимым невидимый без нее хоботок.

Внимательное чтение и перечитывание юнгеровского описания было несомненной кульминацией моих отношений с романом. При этом невидимая пчела толкала меня все дальше и дальше от Юнгера. Я занялся досужими размышлениями о том, что вообще позволяет Юнгеру определить это странное и невидимое летающее создание как пчелу. Я подумал о гуссерлевской эйдети́ческой редукции, которая предполагает мыслимые эксперименты с объектом. Объект в такой редукции должен подвергаться самым радикальным и фантастическим деформациям, которые позволяют определить, до какого предела объект этот может сохранять свою идентичность. Не являлась ли юнгеровская стеклянная пчела как раз тем объектом, что существует на самом пределе той сущности, которую мы вообще можем обозначить словом „пчела“? И не является ли ее прозрачность, невидимость радикальным экспериментированием в духе эйдети́ческой редукции?

ДНЕВНИК ЧТЕНИЯ

Короче говоря, я все дальше уходил от романа, но чем дальше позволял себе двигаться от Юнгера, тем большее удовольствие получал от чтения, которое в конечном счете сегодня мне совсем не кажется потраченным впустую временем».

Вот фрагмент из дневника. Я, конечно, не утверждаю, что мой опыт чтения похож на опыт других читателей. Но чем больше размышляю над тем, *что* я читаю, *что* помню (а я вот уже несколько лет на удивление хорошо помню описание стеклянной пчелы, по существу, забыв всё то, что его окружает), тем больше прихожу к выводу, что чтение в значительной своей части определяется индивидуальной конфигурацией нашей памяти и иррациональным набором навязчивых мотивов, содержание которых, возможно, под силу понять только изошренному психоаналитику. В каком-то смысле чтение, в той его интимной сфере, которая простирается за область идей и сюжета, — это всегда чтение, руководимое нашим бессознательным. Все это делает меня крайне скептическим по отношению к принципам филологической интертекстуальности и культурного контекста. В своей основе такого рода чтение не может быть реконструировано филологическими усилиями, оно само в той или иной мере бессознательно руководит работой филолога. Как можно реконструировать мою совершенно частную связь между мотивом век и пониманием Юнгера или связь между стеклом, прозрачностью и пчелами? Мне представляется, что аналогичные ходы мысли характеризуют не только чтение, но и писание.

4 мая 1998 года

ВИКТОР СОНЬКИН

Чума на оба ваших чума!

Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта.

Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник (или Б.Л. Пастернака).

У осовремененных интерпретаций «Ромео и Джульетты» есть одна любопытная общая черта: все они склонны к рационализации конфликта. Мы видим две банды, сражающиеся за сферу влияния (как в фильме 1996-го с Леонардо ди Каприо и Клэр Дейнс), или, скажем, ненависть на национальной почве — и в самой ее гуще зарождается любовь между турчанкой и армянином, белым американцем и пуэрториканкой («Вестсайдская история»), сербом и албанкой — список, увы, можно продолжать очень долго.

Между тем, шекспировский гений проявился, помимо прочего, и в том, что конфликт между кланами Монтекки и Капулетти ровным счетом ничем не мотивирован. Никто о его причинах не вспоминает; никто не предъявляет противнику никаких обвинений, кроме ношения ненавистного имени; больше того, главы семей исподволь тяготятся этой враждой — недаром старый Капулетти совершенно искренне расхваливает Ромео и до поры до времени удерживает возбужденного племянника, Тибальта, от ссоры с ним. А в результате этой бутафорской вражды по ходу пьесы шесть человек тем или иным способом находят свою смерть.

Скорее всего, юноши призывного возраста из обеих семей чем-то объясняли себе и друг другу взаимную ненависть. Человеку легче думать, что он сражается за идею, хотя на самом деле он просто сходит с ума от жары. Но Шекспир эту идею выносит за сцену — и мы получаем модель, лабораторный образец всех прошедших и нынешних битв: они

ничем не отличаются от бессмысленной грызни двух веронских семей, «равных знатностью и славой».

В солнечной Вероне, как и на любом другом поле боя, мужчины тешат свое самолюбие и глупость в драках, а женщины страдают и пытаются сделать что-то осмысленное. Только женщины, да еще брат Лоренцо, который далек от ценностей «мужского мира», способны не посыпать голову пеплом в минуту отчаянья, а собрать все силы и поступить назло судьбе, вывернуться, придумать что-то конструктивное. Мужчины в этой пьесе убивают и прячутся, а женщины — размышляют, придумывают, строят хитроумные планы и плетут тайные интриги. Взять хоть знаменитую сцену на балконе. Джульетта обращается к Ромео с простыми, конкретными вопросами: «Ты Ромео? Ты Монтекки? Как ты сюда попал? Если тебя увидят мои родственники, они тебя убьют. Кто тебе показал дорогу?» Ромео отвечает ей многословно, цветисто и совершенно не по делу. В результате она понимает, что вразумить его нельзя, и сама переходит на язык иносказаний — подстраивается под Ромео, тем самым подчиняя его себе. Может быть, Шекспир был-таки женщиной? Вот был бы подарок феминисткам. Ведь в последних строках трагедии события пьесы только по-русски называются «повесть о Ромео и Джульетте» — в оригинале герцог говорит «о Джульетте и ее Ромео». Вот так фаллоцентрическое сознание переводчиков, даже Щепкиной-Куперник, не справилось со стихийной политкорректностью XVI века.

Впрочем, Шекспир, вообще, чаще всего ставит перед переводчиками невыполнимые задачи. Я приведу один пример. Капулетти, отец Джульетты, говорит о мнимой смерти своей дочери: «*Flower as she was, deflowered by hit*». Самый точный перевод — «*Цветок, лишенный девственности Смертью*». (У Щепкиной-Куперник — «*Вот здесь лежит цветок, растленный смертью*».) Но как бы точен ни был перевод, он не передает того, что «цветок» и «лишить девственности» (дефлорировать) — это однокоренные слова и что смерть персонифицируется по-английски в мужском роде. Эротика — иногда целомудренная, иногда полупристойная, иногда смешная — выветривается из русского текста начисто. В той же сцене на балконе между героями происходит такой обмен репликами. Ромео: «*О, ты так и оставишь меня неудовлетворенным?*» Джульетта (с явным недоумением): «*Да чем же я тебя сейчас могу удовлетворить?*» У Щепкиной-Куперник герои становятся медлительнее, рассудительнее и, конечно, старше:

- *Ужель, не уплатив, меня покинешь?*
- *Какой же платы хочешь ты сегодня?*

О Шекспире трудно говорить, помимо прочего, потому, что почти наверняка все это уже сказали до тебя. Это относится и к большому вопро-

су о русских переводах. (Если уж даже не знающий по-русски Штайн считает, что у нас нет хорошего перевода «Гамлета», что должен сказать тот, кто по-русски читать умеет?) На самом деле неудовлетворительность русского Шекспира вполне объяснима. Традиция требует переводить эквиритмически — то есть стихами, похожими на собственный стих Шекспира, пятистопным ямбом, по преимуществу нерифмованным. Западня же в том, что в строчку русского пятистопного ямба влезает существенно меньше, чем в строчку английского. А если добавить еще строчку — в две уже влезает больше, чем в одну английскую, и тогда приходится разбавлять оригинал чем-то ненужным. Из этого заколдованного круга надо как-то выходить. Я бы с осторожностью предложил ритмизованный верлибр, который не станет ни сковывать переводчика, ни слишком уж насиловать шекспировскую ткань. Правда, в «Ромео и Джульетте», как и в других ранних пьесах, очень много рифмовки — в том числе в двух сонетах-прологах и в двух сонетах, вплетенных в диалоги персонажей. С этим надо разбираться как-то отдельно. Но русская поэзия накопила уже достаточно богатый поэтический арсенал, чтобы справиться с такой задачей.

Хотя, конечно, с Шекспиром справиться трудно. Четыреста лет назад он уже писал по-английски тексты, внятные и нашим современникам. Американские старшеклассники воют, что ничего не могут понять в его пьесах. Но это совсем не потому, что английский язык с тех пор так уж сильно изменился. Меня поразил вот какой факт. В произведениях Шекспира есть семь тысяч слов, которые употреблены им лишь по одному разу. Семь тысяч шекспировских слов-однодневок — это больше, чем весь словарный запас классической английской Библии. Как вы думаете, какой словарный запас у среднего американского старшеклассника? Вот то-то и оно.

16 апреля 1999 года

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЗЫЧЕВ

Сад демонов — HORTUS DAEMONUM:
Словарь инфернальной мифологии
Средневековья и Возрождения

Автор-составитель А.Е. Махов. — М.: Интрада, 1998. —
320 с., с илл.; тираж 5000 экз.; ISBN 5-87604-039-8.

Когда прилавки завалены всевозможной оккультнистской чепухой, книжку, на обложке которой под репродукцией «Сна» Фюзели красуется — «Словарь инфернальной мифологии», взять попросту боязно. Такую книжку лучше открыть с конца и посмотреть, что там у автора с аппаратом. На этот раз — приятная неожиданность. С аппаратом всё в порядке. Чего стоит одна библиография всяческой демонологии на пятнадцати страницах, охватывающая работы от Ветхого Завета и до середины 90-х годов нашего столетия на русском и трех «гимназических» языках — французском, немецком и английском! Есть указатель имен и понятий, а в списке иллюстраций даже приведены источники. В уже привычной обстановке некоторого веселого одичания такого рода джентльменство греет душу.

Все это тем более любопытно, что в предисловии, благодаря тех, кто оказал автору-составителю помощь в подготовке издания, господин Махов ничего не говорит о спонсорах, так что, похоже, «Интрада» сама пошла на то, чтобы потратиться на печатный лист, отведенный аппарату. Если это так, перед издательством остается снять шляпу.

Вне всякого сомнения, словарь, статьи которого в большинстве имеют характер пространственный и рассудительный, весьма полезен с чисто утилитарной точки зрения. Он недорог, невелик и подручен, в отличие от могучего двухтомника «Мифы народов мира», которому к

тому же не уступает в фундаментальности: кто такие Абадонна и Вельзевул и в чем различие между суккубом и инкубом, худо-бедно знаешь, однако, не занимаясь этим специально, не упомнишь тонкости становления иконографии дьявола, тем более деталей его диспута с Богом; имя Диббук по крайней мере кажется знакомым, но уж о Вельфегоре, тем паче Каакринолаасе я так и вовсе не слышал. Полагаю, что не я один.

Это лишь первый слой текста. Есть и второй. Чтобы не описывать его долго извне, лучше взять частью хотя бы одну статью:

«МАСТЕР

*Одно из традиционных определений дьявола (чаще всего в сочетании „удивительный мастер“ — *artifex mirabilis*). „Дьявол удивительный мастер: может он творить такие художества, которые кажутся натуральными...“ — пишет Филипп Меланхтон (СВИДЕТЕЛЬСТВА О ФАУСТЕ, 14). Народная молва приписывала дьяволу все значительные, поражавшие размерами постройки. <...> Как ни странно, но и сооружение готических соборов, по народным верованиям, не обходилось без дьявола; так, Кельнский собор остался неоконченным, потому что мастер Герард, его легендарный строитель, вырвал из рук дьявола план, но самый ценный его кусок остался в руках у „удивительного мастера“. <...> Храм на горе Сен-Мишель также построен дьяволом в соревновании с архангелом Михаилом; храм победившего архангела забрали на небо, а дьяволов храм остался на земле.*

*Чтобы ясно разграничить дьяволовы творения от творений Божиих, богословы ввели терминологическое разграничение: Бог — *creator*, „творец“; дьявол же — *inventor* или *autor*, „изобретатель“, „виновник“ (подробнее — **Сила и бессилие дьявола**)...»*

Второй, лежащий под информативным (прежде всего, книги Библии и Патристика), слой текста словаря, преодолевая алфавитный порядок изложения, содержит компактный и весьма емкий очерк истории Средневековья, Возрождения и Реформации. Всеприсутствие адских сил в череде столетий дано в динамике переходов от сугубо «предметного» их состояния к все более житейскому, а затем и к почти фантомному, когда пушкинский «бедный бес» есть уже фигура страдательная. При этом автор (здесь уже отнюдь не составитель) постоянно заботится о том, чтобы и в зловеще серьезном бытии демонических сил читатель не терял из виду постоянное присутствие смехового и даже иронического начал и чтобы за несколько презрительным — после Лютера — отношением к дьяволу не утрачивалось чувство вечной угрозы. В самом конце XVI века Томас Лодж в трактате «Убожество разума и безумие мира: открытие воплощенного дьявола этого века» «в поисках инкарнации дьявола приходит к мысли, что наилучшее, соразмернейшее воплощение дьявола — каждый человек (ибо

„весь мир пребывает во зле“), отсюда и рождается знаменательная формула: „*Noto homini даетон*“...»

Вот еще фрагмент статьи — об экзорсизме: «Обязательной частью ритуала служило заклинание демонов с наложением на них неизбежного обязательства не лгать. Однако заклинание это протекало вовсе не в нервном стиле современных триллеров, — напротив, демон и экзорсист вступали в весьма обстоятельный, спокойный и порой обоюдно остроумный диалог, в ходе которого вырабатывался договор на взаимоприемлемых условиях; при этом демон нередко мелочно торговался, а экзорсист пытался использовать познания изгоняемого дьявола в своих целях: например, узнавал у него что-нибудь о заgrabной участи своего умершего знакомого и т.д.»

Одна, скажем, статья «Борьба с дьяволом», группирующая все виды и варианты этой главной, в буквальном смысле слова тысячелетней войны христиан, может дать для проникновения в историю Европы больше, чем многие объемные труды.

За слоем историческим, функцией которого всегда был и будет сизифов труд ликвидации безграмотности, в словаре просматривается еще и третий. Здесь тоже целью является устранение безграмотности, но уже в том обличье уродливой однобокости, которая была уделом всех нас, грешных, кто когда-то что-то такое слышал о схоластическом мышлении, а потом лишь урывками, случайно мог прикоснуться к той великой работе ума, что осуществлялась поколениями изощреннейших людей. Тех, кто на университетских диспутах и в обмене посланиями постоянно балансировал на тонкой проволоке между ересями. Когда-то в работе над историей средневековых мастеров-архитекторов я наткнулся на дефиницию Бога, составленную Хильдебертом около 1000 года и звучащую как удары древком копья о каменные плиты паперти романского собора:

*Super cuncta, subter cuncta,
Extra cuncta, intra cuncta,
Intra cuncta nec inclusus,
Extra cuncta nec exclusus...*

(«Над Он — под. Внутри — снаружи.
Всё объемлет, всем окружен...» и т.д.)

Александр Евгеньевич Махов сделал очень немало для того, чтобы те, кому доведется вчитываться в статьи словаря, ощутили страсть, на которой основана вся средневековая диалектика. Иллюзорная целостность Писания была мощнейшим провоцирующим началом, дразнящим вызовом поколениям интерпретаторов, шла ли речь о происхождении Антихриста (сын человеческий, одержимый дьяволом, или сын дьявола и шлюхи,

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАЗЫЧЕВ

тем еще раз пародирующий воплощение Христа) или, к примеру, о сложнейшем теологическом вопросе — могут ли быть спасены демоны.

Идеальных словарей не бывает. Унизительно дешевая желтоватая бумага конечно же не улучшает воспроизведений, что жаль, так как иллюстрации отобраны весьма небанальным образом. Что ж, бедность не порок, но тогда вызывает некоторое недоумение приписки Тульской типографии: *«Качество печати соответствует качеству предоставленного оригинал-макета»*. Этого не может быть, потому как книга сделана с любовью. Честно говоря, не хочется придирааться.

10 июня 1998 года

СИДНИ МОНАС

Джойс и Россия

В своей недавно опубликованной книге «Джеймс Джойс и русские» Нил Корнуэлл, не претендуя на глубокий и исчерпывающий анализ, наметил контуры некой большой темы и в особо перспективных местах врыл колышки с надписью «Копать здесь». Небольшой том содержит три части: Россия и русские в жизни и творчестве Джойса; личные взаимоотношения и творческие параллели между Джойсом и тремя его крупнейшими русскими современниками (Белый, Эйзенштейн, Набоков) и отношение к творчеству Джойса в Советском Союзе, в том числе — история появления уже в перестроечную эпоху, после десятилетней эпопеи борьбы и трудов, русского перевода «Улисса» (1).

В каждом из этих застолбленных мест имеется и золото, и пустая порода. Многое там представляется случайным и несущественным. Однако для Джойса и для многих русских на страницах этой книги судьба говорила языком случая, и для них не было ничего «чисто» случайного и второстепенного. Конечно, в современном мире Ирландия занимала относительно небольшое место по сравнению с Россией, однако нерешенные проблемы ирландского и русского самосознания имели много общего. Удивительно похожие трудности испытывали талантливые писатели обоих народов, пытаясь принять свою ирландскую или русскую идентичность и не ограничить в то же время слишком сильно свой культурный горизонт; и не подавить, не притушить и не подчинить свой талант, пытаясь примирить страстно переживаемую культурную принадлежность и стремление к «мировому гражданству». Роль литературы вообще велика в формировании национального самосознания, но в

России и в Ирландии это проявилось с особой силой. Культуру этих двух стран можно назвать литературной по сути. Более того, это была прежде всего литература протеста.

Шеймас Дин в своем блестящем эссе «Джойс и национализм» утверждает, что отказ Джойса служить узкоместническому ирландскому патриотизму на самом деле означал более глубокое стремление создать культуру, которая была бы одновременно ирландской и универсальной: *«Незавершенная и несозданная культура [Ирландии] сделала возможным самое всеобъемлющее, самое совершенное и изощренное, самое безгранично могучее искусство. Колониальная культура породила имперское искусство. И породить подобное искусство она смогла именно в силу своей ущербности»* (2).

Тут сразу же приходит на ум Петр Чаадаев, чье первое «Философическое письмо», опубликованное в 1836 году, прозвучало, по словам Герцена, «как пушечный выстрел в ночи» и стало фундаментом для всех последующих философских исканий в области русского национального самосознания. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в письме отрицалась историческая и культурная обоснованность русского национализма (3). Несколько лет спустя в неоконченном эссе Чаадаев написал, что Россия представляет собой «чистую страницу», которая, однако, буквально взывала о том, чтобы на ней что-нибудь написали (страницу, которая одновременно является и полем деятельности, и вызовом) (4). Как Стивен Дедалус и его создатель, великие русские писатели XIX века не остались глухи к этому воззванию.

Даже сам язык не давал однозначно твердой опоры. Чей это был язык? Гаэльский или английский (в Ирландии)? Язык родной, но связанный с давно ушедшей цивилизацией и с местом, весьма удаленным от урбанистических центров современной жизни, или же язык, который, несмотря на свою живую силу и способность отражать современную жизнь, являлся языком имперского угнетения?

В России XIX века была похожая, хотя и несколько более сложная ситуация. Прежде чем стать нацией, Россия уже имела сильное государство. Петровские реформы заложили основу имперской мощи, но они же и разорвали душу Московии надвое, по выражению славянофилов. Чаадаев, восторженный поклонник Петра I, писал по-французски, каковой он считал языком Европы. Писатели после Чаадаева имели возможность выбирать лишь между старославянской архаикой и сплавом просторечного говора с современной идиоматикой, испытывавшей сильное влияние французского, немецкого и английского языков. Подобно тому, как Джойс выбрал англо-ирландский вариант, российские писатели решили сочетать современное (городское) койне с крестьян-

ской речью и с изучением славянских корней. Быть «современным» означало одновременно стремиться к универсальности и уважать древность, быть привязанным к своей родной почве (5).

Я вовсе не утверждаю, что обрисованная выше культурная ситуация была характерна только для русских и ирландских писателей. Во второй половине XIX и в первое десятилетие XX века она также проявлялась в Скандинавии, в так называемом «Американском Возрождении», а также в Италии и Германии. Но именно в России и в Ирландии наиболее широко и остро ощущались противоречия и коллизии данной ситуации, и именно по поводу, если и не в самой Ирландии Джеймс Джойс предложил наиболее дерзновенное и яркое разрешение этих противоречий.

В период с 1896 по 1905 год, когда Джойс складывался как художник, Толстой, бесспорно, был самым великим из живущих романистов мира. Все честолюбивые молодые прозаики должны были так или иначе соотносить себя с этим колоссом, точно так же, как в 20-е и 30-е годы XX века им пришлось бы ориентироваться на Джойса. Толстой был основателем политической идеологии и главой религиозной секты. Отношение скептика Джойса к претензиям Толстого на безупречную христианскую жизнь было глубоко ироничным. Не для того он отвергал ханжескую набожность ирландского католицизма, чтобы в результате жевать силос и упражняться в усмирении своей плоти, как проповедовал русский писатель. Тем не менее, он воспринял Толстого как цельное явление, не отделяя, подобно многим, великого романиста от пророка и гуру.

В конце жизни Толстой никак не мог разрешить для себя вопрос бессмертия человеческой души. С одной стороны, его общая позиция как будто требовала признания его; с другой стороны, он не мог не чувствовать некоторой вульгарности и неправомерности этого понятия. Он, конечно, знал, что душа не может жить отдельно от того тела, в котором она обитала. Физическое тело свято само по себе. Природа бесконечно широка и глубока, в ней есть единство, но нет «сверхъестественного». Переписывая Библию, Толстой опустил чудеса. Джойс воспринял именно глубокое понимание Толстым телесной, физической жизни, в которую он включал и жизнь души, а также испытал значительное влияние со стороны его последующей, возможно, менее успешной попытки построить на этом понимании свою социально-этическую систему.

В 1901 году Священный Синод отлучил Толстого от Церкви. Таким образом, он оказался в драматической роли бунтаря одновременно против власти государства и против власти Церкви, *imperium* и *sacerdotum*. Это, так же как и его постоянная заинтересованность и участие в об-

щинной жизни российского крестьянства, его общинный анархизм, внушило Джойсу любовь к нему. Об одном из поздних рассказов Толстого «Много ли человеку земли нужно» Джойс сказал своей дочери Лючии, что это величайший рассказ из всех написанных (6).

Корнуэлл подчеркивает, что Россия — близкая родственница и соперница империи, которая господствовала над собственной страной Джойса, — стала для него символом империи вообще, империи патриархальной власти и деспотического патернализма. Писатели, вроде Толстого, — «сыновья», восстающие против «отцов», — постоянная, навязчивая тема у Джойса. Естественно, ярчайшее предвосхищение этой темы Джойс нашел в «Братьях Карамазовых» Достоевского. «Конечно, эта книга произвела на меня глубокое впечатление», — сказал Джойс Артуру Пауэру, отметив не только линию «отцов и детей», но и образ Грушеньки, «проститутки и девы непорочной одновременно» (7). Еще одна тема — тема современного города в противопоставлении деревенской отсталости. У Достоевского это не просто использование городского пейзажа, свойственное практически всем современным романистам, но создание символического города, города-символа внутри самой культуры — в особенности, в романе «Идиот». Возражая Пауэру, Джойс защищал «безумие» Достоевского: *«Собственно, во всех великих людях была эта жилка; она-то и была источником их величия; нормальный человек ничего не способен совершить»* (8).

Джойс не мог читать Гоголя в оригинале, однако часто ссылался на него и, возможно, имел некоторое представление о его лингвистическом гении, поэтому случайная интуитивная догадка Набокова о гоголевском влиянии в работах Джойса, по-видимому, не лишена оснований (9). В Париже Джойс любил слушать, как его русско-еврейский наперсник Поль Леон, рассуждает о персонажах «Мертвых душ» (10). Подозреваю, что особенно ему нравился ключевой эпизод, когда слуга Чичикова зачитывает вслух фамилии приобретенных Чичиковым «мертвых душ», сопровождая чтение комментариями по поводу характера людей на основании их «говорящих» фамилий. Это место наглядно демонстрирует присущую языку способность творить повествование и миф.

То явно выраженное сходство, которое многие отмечали между рассказами цикла «Дублинцы» и поздними рассказами Чехова, объясняется внутренними процессами, происходившими внутри формы художественной прозы на рубеже веков, когда фокус сместился с описания внешних событий к рассмотрению влияния события на душу человека. Так как в печати работы обоих авторов выходили приблизительно одновременно, вряд ли можно говорить о непосредственном влиянии их друг

на друга. Однако, поскольку это два самых замечательных автора короткого рассказа и происходят они из разных концов Европы, разительные соответствия между ними заслуживают рассмотрения и комментария. Отказ от традиционного сюжета или интриги, концентрация внимания на создании определенного настроения или атмосферы, умеренность в использовании изобразительных подробностей, направленность «вовнутрь», на душу героя, в результате чего происходит «эпифания» — озарение или раскрытие, выявление всеобщего и вечного в банальном и повседневном, — таковы характерные черты прозы позднего Чехова и раннего Джойса. То, что Джойс сказал Артуру Пауэру о важности чеховской драматургии, вполне можно отнести и к его художественной прозе: *«В других пьесах ощущаешь надуманность и аффектированную театральность; неестественные люди совершают неестественные поступки. У Чехова все приглушенное и под сурдинку, как в жизни; бесконечные токи и противотоки пронизывают пространство, размывая и растушеванная резкие линии, столь любезные сердцу других драматургов. Чехов первым из драматургов опустил внешнее на его истинное место — ему достаточно лишь легкого прикосновения, чтобы воссоздать трагедию, комедию, образ человека и страсть»* (11).

В личной жизни Джойса русские играли немалую роль. Разве мог он жить в Триесте, Цюрихе, Париже в ту эпоху, оставаясь незатронутым брожением и смятением, вызванными бурным потоком социальных и политических катаклизмов в Восточной Европе, славянских странах и в России, который докатился и до этих мест. Триест представлял собой смесь итальянских, немецких и славянских элементов, Цюрих был классическим местом эмиграции русских революционеров, а в Париж в 1923 году переместился центр огромной русской послереволюционной эмиграции (12). Ведь существуют, в конце концов, некие узы, связывающие изгнанников. Симпатия Джойса к русским была лишь немногим меньше, чем его симпатия к евреям, хотя иногда он и высказывался в том смысле, что русским нельзя доверять (13). Поль Леон, его преданный друг и частый помощник в Париже, был русским евреем. Джойс брал уроки русского языка у родственника Леона, Алекса Понизовского, который даже позволил себя убедить сделать предложение «безумной Лючии». Это не могло привести ни к чему хорошему, так и случилось, однако все же, похоже, это чуточку менее катастрофическим образом отразилось на личных отношениях, чем предыдущее предложение руки и сердца со стороны Самуэла Бекетта (14).

Длительное время считалось (в том числе Сильвией Бич), что один русский, Владимир Диксон, был всего лишь плодом художественного воображения Джойса. Он был автором знаменитого письма «Dear

Germ's Choice», помещенного в конце «Our exagmination», столь напоминавшего по стилю и остроумию творчество самого мэтра (15). Сын англо-американского отца и русской матери, эрудит и полиглот, он поселился в Париже после войны. Опубликовал два тома русских стихов в Париже и переписывался с Эзрой Паундом по вопросам математики и музыки. Он в совершенстве владел четырьмя языками, говорил еще на нескольких и с восхищением следил за развитием джойсовой «Work in Progress» по мере того, как ее фрагменты ложились к нему на стол (16). Возможно, именно Диксон познакомил Джойса с Алексеем Ремизовым, русским эмигрантским писателем, с которым в то время Джойс не мог не чувствовать глубокого родства (17).

Ремизов переводил на русский Ибсена. Он был гениальным графиком, каллиграфом и экспериментировал в области синестезии. Его перу принадлежит трагедия на основе апокрифических свидетельств о жизни Иуды. В нем сочетался интерес к европейскому авангарду со страстной погруженностью в фольклорные и церковные материалы допетровской эпохи (18). Говоря словами Эдуарда Мануйяна, Ремизов «уловил горечь и абсурд фольклорного воображения» (19). Двойной дар исследователя и поэта-художника помог Ремизову «высвободить» архетипическую природу фольклорного повествования и библейских апокрифических текстов, которые он «стилизировал» и переделывал, щедро приправляя их анахронизмами, одновременно высвечивающими и вышучивающими универсальную природу излагаемых сюжетов. Конечно, все это было близко автору «Work in Progress». Много лет спустя Владимир Набоков пренебрежительно заметил: «*Видите ли, Джойсу представлялось, что Ремизов что-то значил как писатель!*» (20). Чтобы лучше оценить это высказывание, небесполезно вспомнить, что Набоков восторгался «Улиссом» и презрительно относился к «Поминкам по Финнегану».

9 января 1934 года в государственной газете «Известия» был опубликован большой некролог по поводу смерти Андрея Белого, подписанный Борисом Пастернаком и двумя другими известными русскими писателями. Он появился в момент, когда модернизм в литературе подвергался жестоким нападкам, всего за несколько месяцев до позорного съезда писателей, на котором официально было заявлено об отказе от него. Редактором газеты был Николай Бухарин, который, как известно, спас многих писателей-модернистов и выступал в защиту литературного авангарда на съезде, но он и сам не избежал печальной судьбы — был репрессирован и погиб четыре года спустя. Авторы поставили Белого на очень высокую ступень в русской и мировой литературе и объявили себя его жрецами, что было весьма смело в то время. Они писали, что «*в современной европейской словесности Джеймс Джойс являет собою вершину*

формального мастерства. Однако не стоит забывать, что Джеймс Джойс учился у Андрея Белого» (21).

Это любопытное заявление, учитывая факт отсутствия каких-либо свидетельств того, что Белый и Джойс вообще знали о существовании друг друга. Тем не менее, в некрологе, опубликованном 26 января в газете «Таймс», Глеб Струве написал, что Белый «предвосхитил» Джойса, и, по крайней мере для русской критики, как положительно, так и отрицательно настроенной, сопоставление Белого с Джойсом стало общим местом, хотя и редко комментируемым. Место Белого в русской литературе огромно, хотя только сейчас он приобретает заслуженное признание. Это яркий, пусть и неровный поэт, блестящий литературный критик и теоретик, и, возможно, величайший русский романист XX века. Как и Джойс, он рано стал исповедовать «ибсенизм», и ему мы обязаны страстными статьями об Ибсене, Вагнере и Ницше. Как и Джойс, он интересовался языком «внутренней речи», ассоциативными процессами подсознания и феноменом порождения языком текста (narrative) и мифа. Также большую роль в его творчестве играет тема отца и сына. Однако его великий роман «Петербург», который обычно сравнивают с «Улиссом», на самом деле коренным образом отличен от него. Всем известно легендарное внимание Джойса к мельчайшим подробностям географии, обстановки, историческим деталям каждого конкретного дня в жизни Дублина. Петербург Белого, напротив, — это город-символ, в котором детали намеренно размыты и искажены с целью создания некоей атмосферы. Джойс иронически фамильярно относился к теософии и антропософии и вполне мог назвать Блаватскую Блеватской, в то время как Белый даже после ссоры с Рудольфом Штайнером оставался правоверным антропософом. И все же, как и Джойс, Белый свое искусство направлял к конечной политико-патриотической цели: «вылепить нерукотворное самосознание [своей] расы» (22).

В период между 1932 и 1934 годами в Париже Джойс встречался со многими русскими, в том числе с несколькими весьма темными официальными или полуофициальными советскими личностями. Набоков, который вместе с Понизовским учился в Кембридже, несколько раз бывал у Джойса в эти годы. Выше я уже говорил об отношениях Джойса и Ремизова. Это были самые заметные писатели в среде русской эмиграции. В числе советских был Факторович (23), однажды приезжал драматург и сценарист Всеволод Вишневский, который заверял Джойса, что он не только не запрещен в Советском Союзе, но даже и переводится после 25-го года (24). На Вишневского Джойс оказал только поверхностное влияние. Ни его пьеса «Оптимистическая трагедия», ни фильм «Мы из Кронштадта» не отражают глубинного духа

творчества Джойса. У Сергея Эйзенштейна была более страстная и глубокая одержимость Джойсом, он даже защищал его в Советском Союзе, когда это было вовсе небезопасно. Эйзенштейн был ярким, дерзновенным, творческим новатором-формалистом, в некотором смысле они с Джойсом были родственными душами. Но совершенно непонятно, по крайней мере для меня, что он имел в виду, заявляя о намерении перенести внутренний монолог Джойса в искусство кино, в особенности в придуманное им «эпическое кино», или «в манере Джойса» запечатлеть при помощи кинокамеры внутреннюю жизнь толпы на Красной площади (25).

Осенью 1934 года на съезде писателей в Москве Джойс подвергся массовой атаке как яркий представитель модернизма в литературе. Хотя этот съезд, на котором социалистический реализм был провозглашен в качестве официального эстетико-художественного принципа советского искусства и была подготовлена идеологическая база для подчинения литературы целям пропаганды существующего строя, и не был столь единодушным и единогласным, как иногда полагали, а его репрессивный потенциал не был вполне очевиден до 1937 года, он все же направил советскую литературу по пути, с которого она не сворачивала до начала 60-х (26).

Мало кто из советских делегатов съезда читал «Улисса» Джойса, лишь несколько отрывков переводилось на русский, и тем не менее, Карл Радек, который возглавил нападки на модернизм, особое внимание уделил этой книге. Совершенно очевидно, что он ее тоже не читал, так как он перепутал Bloomsday с 4 июня 1916 года и обрушился на Джойса за то, что он не упомянул о «Пасхальном восстании» (!) (27). Не покидавшее Джойса ощущение, что его книга «запрещена» в Советском Союзе, хотя и не было в буквальном смысле вполне правильным, все же было небезосновательным.

Несмотря на заверения Вишневого в обратном, русских переводов Джойса почти не было. В ноябре 1934 года в «Звезде» был опубликован перевод эпизода «Аид» из «Улисса», и еще два отрывка появились в 1935 году с комментариями Д.С. Мирского (28). В период между январем 1935 года и апрелем 1936 коллективный перевод первых десяти эпизодов «Улисса» выходил в журнале «Интернациональная литература», а затем публикация была внезапно оборвана. В 1937 году члены переводческого коллектива Стенич, Мирский и Игорь Романович были репрессированы. С другой стороны, даже в этот страшный год вышло полное издание «Дублинцев» в коллективном переводе под редакцией И.А. Кашкина. Эмигрант Виктор Франк в 1968 году опубликовал за границей перевод «Портрета художника в юности», но в Советском Со-

юзе это произведение появилось впервые в 1976 году, хотя еще в 1937 году его уже цитировали в рукописях! Переводы сопровождались исключительно необъективными комментариями и критикой, преследовавшими цель представить Джойса ужасающе «реакционным», причем часто подразумевалось не столько комментируемое произведение, сколько «Work in Progress». Д.С. Мирский, один из наиболее образованных и тонких критиков, который работал в Лондоне в эмигрантских изданиях, одним из первых русскоязычных исследователей понял и оценил Джойса. Однако после своего обращения в марксизм и возвращения в Советский Союз в 1933 году, он возглавил наступление на Джойса, хотя и в более цивилизованной манере, чем Миллер-Будницкая, чьи высказывания граничат с истерическими выпадами (29).

Тем не менее, Джойса продолжали читать в России. Уже в 1937 году, а затем в 1955-м А. Старцев писал интересные критические исследования о Джойсе. В 60-е годы, во время оттепели, когда начали допускаться некоторые отступления от жестких канонов социалистического реализма и стало возможным снова писать о Джойсе и публиковать его произведения, возник небольшой кружок поклонников Джойса, которые читали и любили его работы. В 1972 году Екатерина Гениева завершила работу над докторской диссертацией по Джойсу. В 1970 году молодой редактор издательства «Прогресс» обратился к Виктору Хинкису, одному из лучших русских переводчиков, с предложением перевести «Улисса». Редактор впервые узнал об этом произведении от одной англичанки, которая дала ему экземпляр «Улисса». В то время все еще не было возможности заключить с Хинкисом договор о переводе этой книги. Однако перевод «Улисса» уже появился в Польше в 1969 году, так почему бы не попробовать сделать это и в России (30)? Хинкису приходилось параллельно заниматься и другими переводами, чтобы не умереть с голоду. Он страдал маниакально-депрессивным психозом, слишком много пил, нажил себе политические неприятности, так как протестовал против исключения Солженицына из Союза писателей, прошел через кризис веры и принял христианство. В 1981 году он умер, так и не закончив перевод. Работу над переводом продолжил его друг, Сергей Хоружий, физик по образованию, который не был профессиональным переводчиком, но являлся подлинным глубоко образованным гуманитарием — с ним Хинкис консультировался по особо тонким теологическим и философским вопросам. В конце концов, полный перевод «Улисса» появился в ежемесячном журнале «Иностранная литература», а в качестве авторов перевода значились и Хинкис, и Хоружий. Публикации способствовала не только Гениева, которая к тому времени стала ведущим исследовате-

лем творчества Джойса в России, но и сам Дмитрий Лихачев, патриарх русского интеллектуального и научного мира (31).

До сих пор «Улисс» не издан в виде книги (32). Несмотря на глубокий комментарий Гениевой, Хоружего и других исследователей, а также перевод с английского целого ряда классических критических работ, роман был принят весьма неоднозначно. Но он живет и здравствует, и, возможно, сейчас какой-нибудь талантливый русский писатель-переводчик мечтает заняться «Поминками по Финнегану».

Если это произойдет, тут не обойдется без духа Михаила Бахтина. Бахтин — русский философ, умерший в 1975 году, — в настоящее время стал некой культовой фигурой и в России, и на Западе, хотя и по-разному. Может быть, он вовсе не читал Джойса, однако ряд его ключевых концепций в эксплицитной форме выражают то, что в Джойсе содержится имплицитно. Бахтин подчеркивал центральную роль языка в формировании и развитии человека, принципиальную незавершенность этого развития и самого языка, его полисемическую природу, его способность удерживать в себе и в некотором смысле воскрешать впоследствии те голоса, которые пользовались им. Бахтин воспевал открытость и приветствовал «радостную относительность», как он ее называл, гетероглоссию и диалог, «квазикосвенную речь». Его понятие «карнавала» основано на постулате о некоей вечной неистребимой простонародной культуре, которая никогда полностью не подчинялась власти того или иного политического режима, но при малейшей возможности сбивала с него спесь, закружив в водовороте карнавального смеха, способного всех уравнять (33).

Мы знаем, что историю Бакли и русского генерала Джойс узнал от своего отца и использовал ее как лейтмотив в «Поминках по Финнегану», посвятив около двадцати страниц в главе 11 описанию стрельбы. Уже давно она была блестяще истолкована Натаном Халпером, и здесь нет необходимости подробно излагать эту интерпретацию (34). Халпер совершенно прав, связывая архетипического человека, Василия Буслаева, с Бакли. Однако здесь следует добавить, что Booze-lay-off — это тоже Василий Буслаев, рядовой/типический богатырь из русских былин. Бакли, если (как предложил Халпер) вольно транслитерировать эту фамилию кириллицей, превращается в Василия, или в сына Василия, что дает нам архетипического Отца и архетипического Сына, ортодоксальный авторитет и бунтаря, сменяющего его. Это все происходит в городе Севастополе; преступление совершается в Крыму. Но Севастополь — это Sea vaast a pool — заводь Шивы (Siva), а Шива в индуизме черного цвета. Таким образом, Севастополь означает черную заводь, что также значит Дублин, по-

скольку Dubb на гаэльском значит черный, а lin — заводь. Сын занимает место отца. Возникает новая ортодоксия. Халпер так выразился по этому поводу:

*The children make a common turn
The rebels make a Comintern (35).*

Джойс ломает этимологию слов, разрушает смыслы и воссоздает их вновь. Он превращает Россию в Ирландию и наоборот. Он пишет Книгу жизни.

Перевод Татьяны Чернышевой.

Первоначально опубликовано в «Joyce Studies Annual» в 1993 году.

Опубликовано в РЖ 11 марта 1998 года

Примечания

- 1 Neil Cornwell. James Joyce and the Russians. London: Macmillan, 1992.
- 2 Seamus Deane. Joyce and Nationalism. В книге под ред. Colin MacCabe James Joyce: New Perspectives. Bloomington: Indiana University Press, 1982. P. 173.
- 3 П. Ia. Chaadaev. Philosophical Letters and Apology of a Madman. Перевод и предисловие Mary-Barbara Zeldin. Knoxville: University of Tennessee Press, 1969. P. 34. См. также: Raymond McNally. Chaadaev and his Friends. Tallahassee, FL: Diplomatic Press, 1971. С ранней юности русский поэт XX века Осип Мандельштам разделял взгляды Чаадаева. См. его: Selected Essays. Перевод и предисловие — Sidney Monas. Austin: University of Texas Press, 1977. P. 101-107. См. также: Clare Cavanaugh. Synthetic Nationality: Mandel'shtam and Chaadaev // The Slavic Review 49,4 (1990). P. 597-610.
- 4 Chaadaev, p. 160.
- 5 См. статью Michael Holquist о возникновении русской национальной культуры и значении русского романа в сборнике: Dostoevsky and the Novel. Princeton: Princeton University Press, 1977. P. 3-34.
- 6 Cornwell, p. 29.
- 7 Arthur Power. Conversations with James Joyce. Под ред. Clive Hart. London: Millington, 1974. P. 59. Цит. по: Cornwell, p. 27.
- 8 Power, p. 60. Цит. по: Cornwell, p. 34.
- 9 Cornwell, p. 36.
- 10 Ibid., p. 28.
- 11 Power, p. 57-58. Цит. по: Cornwell, p. 33.

- 12 В Цюрихе во время Первой мировой войны Джойс был завсегдаем кафе «Одеон», которое часто посещал Ленин. См. также: Robert Williams. *Culture in Exile*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- 13 Cornwell, *passim*.
- 14 Cornwell, p. 17-18; Richard Ellmann. *James Joyce*. Oxford: Oxford University Press, 1982. P. 648-650. И Леон, и Понизовский погибли в немецких лагерях смерти. Факторович, более elusive русский персонаж, на самом деле являвшийся кем-то вроде советского агента, чья фамилия сильно напоминает вымышленного Таксовича в начале набоковской «Лолиты», помогал Джойсу по алгебре и математике. Cornwell, p. 13-14; *Selections from the Paris Diary of Stuart Gilbert, 1929-1934*. Под ред. Thomas Staley и Randolph Lewis // *Joyce Studies Annual*, 1990. P. 15-16.
- 15 Cornwell, p. 8-11; Thomas Goldwasser. *Who was Vladimir Dixon? Was he Vladimir Dixon?* // *JJQ* 16,3 (1979). P. 219-222; John Dixon. *Ecce Puer, Ecce Pater: A Son's Recollections of an Unremembered Father* // *JJQ* 29,3 (1992). P. 485-492. В номере представлены также фотографии Диксона и его жены, фотографии письма, помеченные Диксоном места из «Поминок по Финнегану», переписка Диксона с Эзрой Паундом, несколько стихотворений в переводе и небольшая статья Edward Manouelian о Ремизове.
- 16 John Dixon, p. 488.
- 17 Пока нет свидетельств того, встречались ли когда-либо Джойс и Диксон. «*Оба они жили в Париже в период с 1923 по 1929 год; оба посещали „Shakespeare and Company“*. Мы никогда этого не узнаем». *Ibid.*, p. 490.
- 18 Edward Manouelian. *Aleksei Remizov and Vladimir Dixon* // *JJQ* 29,3 (1992). P. 557-562; Victor Terras. *A History of Russian Literature*. New Haven: Yale University Press, 1991. P. 477-479.
- 19 Manouelian, p. 558.
- 20 *Ibid.*, p. 557.
- 21 Cornwell, p. 64-65.
- 22 См. предисловие и аннотации переводчиков к: Andrei Bely. *Petersburg*. Перевод и предисловие — Robert Maguire и John Malmstad. Bloomington: Indiana University Press, 1978. См. также: Andrei Bely: *Spirit of Symbolism*. Под ред. John Malmstad. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
- 23 См. прим. 14.
- 24 Cornwell, p. 58-59.
- 25 Однако, см.: Goesta Werner. *James Joyce and Sergej Eisenstein* // *JJQ* 27,3 (1990). P. 491-507.
- 26 Regine Robin. *Socialist Realism: an Impossible Aesthetic*. Перевод — Catherine Porter. Stanford, CA: Stanford University Press, 1992.
- 27 Cornwell, p. 104-105.
- 28 Д.С. Мирский — литературный псевдоним Д.П. Святополк-Мирского (прим. перев.).

- 29 Ibid., p. 90-91, 94-99, 108-109; Д.С. Мирский. Литературно-критические статьи. — Москва, 1978; Д.С. Мирский. Статьи о литературе. — Москва, 1987; D.S. Mirskii: Uncollected Writings on Russian Literature. Под ред. G.S. Smith. Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1989; R. Miller-Budnitskaya // James Joyce's Ulysses. Перевод N.J. Nelson. *Dialectics* 5 (1938). P. 6-26.
- 30 Emily Tall. Behind the Scenes: How Ulysses Was Finally Published in the Soviet Union // *The Slavic Review* 49,2 (1990). P. 183-199. См. также ее подборку и комментарий: Correspondence between Three Slavic Translators of Ulysses // *The Slavic Review* 49,4 (1990). P. 625-633.
- 31 Tall. Behind the Scenes. P. 190.
- 32 Автор не знает, что книга была выпущена издательством «Республика» в 1993 году (прим. ред. РЖ).
- 33 Mikhail Bakhtin. *The Dialogic Imagination*. Перев. Michael Holquist and Caryl Emerson. Austin: University of Texas Press, 1982; Bakhtin. *Problems of Dostoevsky's Poetics*. Перев. Caryl Emerson. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982; Bakhtin. *Rabelais and His World*. Перев. Helene Iswolsky. Bloomington: Indiana University Press, 1984. См. также: Katerina Clark and Michael Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984; Gary Saul Morson and Caryl Emerson. Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford: Stanford University Press, 1990; Sidney Monas. Verbal Carnival // *Irish Slavonic Studies* 6 (1985). P. 35-45; Sidney Monas. Literature, Medicine and Celebration of the Body in Rabelais, Tolstoy and Joyce // *The Body and the Text*. Под ред. Bruce Clark and Wendell Aycock. Lubbock: Texas Tech University Press, 1990. P. 57-76.
- 34 Nathan Halper. James Joyce and the Russian General // *Partisan Review* (18 July-August, 1951). P. 424-431.
- 35 Halper, p. 430.

ВИКТОР СОНЬКИН

Только для сумасшедших

Герман Гессе. Степной волк. Перевод С. Апта.

Германия — страна для меня загадочная. Я там никогда не был, языка не знаю, да и вообще сумрачный германский гений всегда оставался мне темен и неясен. Все претензии к немцам, которые на протяжении русской литературной истории высказывали и Тургенев, и Достоевский, и Набоков, я готов принять и разделить: немецкая расчетливость, немецкая аккуратность, даже немецкая порядочность мне, как и большинству моих соотечественников, кажутся неестественными и чужеродными. С другой стороны, из всех многочисленных и разномастных иностранцев, по служебной или по какой другой надобности посещающих Россию, только с немцами — а еще больше с немками — можно по-настоящему поговорить по душам; только немцев влечет сюда настоящее веление сердца, только у них я обнаруживал такое знание русского языка и культуры, что становилось даже завидно. Одним чувством вины этого не объяснишь: налицо какая-то подспудная духовная связь между нашими народами. Впрочем, об этом и так много говорено.

Так же непонятен был мне и «Степной волк». С одной стороны, раздвоенность, которая мучает героя, ничуть не удивительна — с этим чувством рано или поздно сталкивается любой человек, достигший определенного уровня развития. С другой стороны, уж как-то он преувеличенно страдает, все у него вызывает реакцию отторжения — и джаз, и приукрашенный портрет Гете, и танцы, и газеты. Причем автор подчеркивает, что для Гарри Галлера это не просто трудный, депрессивный период, какой бывает у каждого, а лейтмотив всей жизни, непримиримая

вражда между человеком, вынужденным жить в мире людей, и волком, который ненавидит этот мир и его лживые законы.

При этом я не мог не признать, что роман Гессе завораживает. Что автор заставляет читателя полюбить этого странного, изломанного героя. Что любовная линия не вызовет нареканий даже у поклонников более легкого чтения. Что перевод С. Апта прекрасен — причем это тот редкий случай, когда один автор одинаково блестяще переводит и прозу, и вставные стихотворения.

Ключ к роману дала мне небольшая статья С. Аверинцева, которую я нашел во время поисков следов Гессе в Сети для web-присутствия. Аверинцев и переводил, и комментировал Гессе, но в этой статье упоминает немецкого писателя лишь вскользь. Главная мысль заметки — ностальгическая; автор прекрасно сознает все ужасы и мерзости тоталитаризма, но при этом обвиняет современность в утрате **значительности**. Скажем, де Голль и Черчилль, при всей неоднозначности этих фигур, — значительны, а про нынешних политиков любой страны этого при всем желании не скажешь. Или: значительны были и большевики, и фашисты — а нынешние коммунисты и неонацисты в лучшем случае смешны.

Тут-то я и понял, что вызывает мое смутное недоумение в «Степном волке» — эта самая значительность. Гарри Галлер одержим значительностью всех своих ипостасей — как человеческих, так и волчьих; он неспособен посмотреть на себя со стороны — и улыбнуться; он чудовищно, неизлечимо серьезен. Судьба несколько раз дает ему возможность разорвать этот замкнутый круг. В «Трактате о Степном Волке», который как бы случайно, а на самом деле по воле провидения попадает в руки героя, говорится: *«Один только юмор... совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества»*. (В другом месте: *«Всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону»*.) Затем — мистическая встреча с Герминной, двойником и музой героя, которая учит его танцевать и получать удовольствие от простых радостей жизни: от секса до покупки граммофона. Читатель волен судить, разорвал ли герой этот обруч значительности, вырвался ли за флажки, окружающие его бытие. На мой взгляд — нет.

Аверинцев, должно быть, порадовался бы такому исходу (он пишет о том, что юмор и игра в мире Гессе имеют особый, *значительный* смысл). Меня он не радует. Мне вообще не кажется, что значительность — это хорошо. Уж лучше опереточные неонацисты, которые бредутся наголо и кидаются камнями, чем настоящие фашисты, которые серьезно и размеренно загоняют людей шеренгами в газовые камеры. Гарри Галлер ясно видел эти картины будущего перед своим мысленным взором: весь роман пропитан страшным похмельем первой мировой войны и не менее

ВИКТОР СОНЬКИН

страшным предчувствием второй. Но герою все время кажется, что немцы недостаточно серьезно отнеслись к урокам Ипра и Вердена. А они, как показала история, наоборот, отнеслись к ним слишком серьезно. Возмездие, жизненное пространство, тысячелетний Рейх, окончательное решение еврейского вопроса — уж куда серьезней.

Может быть, нынешнее поколение немцев — не без помощи таких мыслителей, как Гессе, — усвоило свой урок. Может быть, они научились смотреть на себя с иронией. Может быть, именно поэтому теперь с ними так приятно выпить водки и потолковать о мире и о любви.

13 августа 1999 года

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ

Друг Отечества, Катилина!

Из опыта грязных технологий

Этот фельетон написан в начале сентября, после двух первых московских взрывов. Он появился на свет в результате избыточного чтения московской прессы вперемешку с Саллюстием на ночь. После этого долго лежал в одной из московских газет, осторожность которой я, впрочем, весьма уважаю. Тогда еще многое казалось мне и редактору смелой гипотезой. Сегодня в этом тексте масса очевидного и недостаёт перцу. Кто ищет перцу, пускай читает Светония — «Жизнь двенадцати самозванцев». Но Светоний для нас пока впереди. Пускай сперва самозванцы попробуют начать гражданскую войну и ее выиграть.

Все персонажи вымышлены историками Саллюстием и Цицероном (их слова выделены курсивом). Любые совпадения с физическими лицами объяснимы человеческой природой.

У нас так много написано о «первом свободном поколении», а я бы поговорил о перспективах рабства в России. О новой черни. Столичной черни времен свободы, ищущей рабства, его готовящей.

Свобода по правилам самой свободы рождает многообразную чернь — уже не стариков, о нет. Отнюдь не старую чернь. Банды вооруженных, крепких молодых людей собираются в предгорных лагерях, нападая на представителей неуважаемой власти. Стычки и драки в горах, поначалу вдалеке от столицы. А в столице наглеют те, кого перерасход

смет толкает к избирательной активности. Народные трибуны, то ли выбранные, то ли нет, на оспоренных выборах. Где я уже об этом читал? — *«Они подали бедным и неимущим людям надежду на такие же грабежи, какие происходили в прошлом».*

Любимцы толпы, их темные южные связи. Первые неразгаданные убийства, о которых стараются не говорить. И вдруг — трупы, трупы хлынули на сцену изо всех шкафов. Горят дома. А электорат ждет *«лишь сигнала, чтобы подобно шайке разбойников кинуться на гражданское общество и награть себе достояние».* Это Моммзен — о Риме 60-х годов до н.э.

Дежа вю! Со школы памятная притча о Катилине — за него я схватил двойку. Школьный учебник истории грязных технологий. И опыта сопротивления им.

Избирательная кампания Катилины

В сентябре 63-го года до н.э. Луций Сергий Катилина лидировал в рейтингах. Сам Евгений Киселев не придерется — политик сильный, нестарый и популярный; избрание его и его сообщника консулами Республики кажется простой формальностью. Этой формальности ждали все — с разными чувствами. С брезгливым оппортунизмом, с ледяным страхом, с припрятанным в доме мечом...

Зачем Катилина грозит старой власти и сам идет во власть, тоже знают — долги. Старая власть в руках его кредиторов. Ему давали деньги (в обмен на лояльность патрону), он их украл. Возвращать нечего, деньги кончаются, патрон стар и уходит... Нужны новые деньги, либо смерть кредиторов; лучше то и другое вместе. Для этого надо взять власть из рук этих старых крыс — но законно. Выборы так выборы.

«Хотя они и обременены долгами, все же рассчитывают стать во главе государства и думают, что почетных должностей, на которые им нечего рассчитывать при спокойствии в государстве, они смогут достигнуть, посеяв в нем смуту».

В Риме осенью 63-го года принципиальным считали конфликт демократов с олигархией — Катилина принадлежал к демократической части спектра. Его нельзя было обвинить в том, что он, Катилина, — реакционер. Он был свой.

С другой стороны, древний род Катилины обещал олигархии сохранные в государстве позиции. Ну не всей, так ведь это «цена вопроса». Как всякий миллионер, Катилина знал толк в чужой собственности и свою умел посчитать. Он и тут свой! Не враг же он частной собственности, этот, как говорят сицилийцы, друг своих друзей. «Сколькими долгами обременены они! Сколь они влиятельны, сколь знатны!»

Все знают о намерениях кандидата, но считается, что угрозы конституции нет. Всем известно, что Катилина смеется над законом Республики, но не придают этому значения. И так, он будет избран голосами народа по спискам и на деньги олигархии.

Все всё знают — кто, сколько, откуда... Никого не останавливают. Но почему? Сегодня трудно объяснить, почему «вспоминая грабежи и былые победы, все жаждали гражданской войны» — что ж, они получают войну.

Катилина не призывает к разрушению государства — всего лишь «режима». Сменим один режим на другой — и о'кей! Ведь безобразия так сильны. Разве не верно все, что говорят о коррупции? Давно пора выжечь эту язву.

И пока отцы шествовали в тогах в свой дурацкий Сенат, молодежь готовилась резать неэффективных собственников в собственных их домах. Ведь приятно выжигать язву коррупции, начиная с тех, кто давал тебе взятки. И хозяйственник, чья тушка набита деньгами, полученными от патрона, осторожно именуется патрона **вредителем**.

Немного учености

Модель Катилины — назовем ее **МК** — отличается тем, что предполагает камуфляж открытостью. Угрозу, официально не признаваемую угрозой, знает любой. Лапы тянутся прямо к власти, их видят, но обсуждают — «рейтинг». «Заговор против государства устроен открыто».

Для успеха **МК** нужно, чтобы власть открыто и громко, публично компрометировали. Настолько нагло, что опровержения бесполезны. Тогда очень скоро ее не будут принимать всерьез.

Для успеха **МК** необходимо, чтобы государство некому было защищать. Оно всем надоело. У него больше нет друзей.

«Ибо — скажу коротко правду — из всех тех, кто в это время правил государством, под благовидным предлогом одни, будто бы отстаивая права народа, другие — наибольшую власть олигархии, каждый боролся за собственное влияние». Элиты устали. Они не хотят напрягаться. Но им кажется, что они приготовились.

В истории Катилины ничего не понять, не разглядев попытки новых собственников взрастить «своего» диктатора чужими руками. **МК** сулит олигархии энергичного, крепкого защитника — вот тайна слепоты ее будущих жертв. «По внешнему виду они люди почтенные (ведь они богаты), но их стремления и притязания совершенно бесстыдны... Не думаете ли вы, что, когда все рухнет, именно ваши владения останутся священны и неприкосновенны?»

Группа неэффективных собственников решила спастись отдельно. Выкармливая себе ручную акулу и напустив на соседа, они надеются отвести тварь от себя. Этим фокусом не обмануть и таксу, г-н Ястржембский!

Политическая программа Катилины

В ней всего два разборчивых пункта: **уничтожение старых долгов и возобновление проскрипций**. Проскрипциями в древнем Риме именовали то, что в Москве именуют «судом над виновниками грабительской приватизации» — то есть правом черни убивать, получая процент с имущества убитого.

То есть прекращение кредитных платежей одновременно с правом прокредитовать себя за счет «клеветов режима». *«Катилина посулил отмену долгов, проскрипцию людей состоятельных, магистратуры, жреческие должности, возможность грабить и все прочее»*. Перечитайте любую программную речь на слете сынов Отечества — и выведите из нее какую-нибудь другую идею, кроме этих недвусмысленных пунктов.

«Люди уже преклонного возраста, но испытанные и сильные, неожиданно-негаданно получив имущество, жили пышно и не по средствам. Они возводят такие постройки, словно обладают несметными богатствами. Их радует устройство образцовых именей, множество челяди, великолепные скакуны, и поэтому они запутались в таких значительных долгах».

Миллионер и должник, обремененный грузом невозвратных кредитов. Как он себе все это видел? Вот отрывок из программной речи Катилины на штабе сынов Отечества (то есть римских киллеров и наемного воря): *«С того времени, как кучка могущественных людей захватила власть в государстве, мы, все остальные, были чернью, лишенной влияния, лишенной авторитета, зависящей от тех, кому мы, будь государство сильным, внушали бы страх»*. Итак, чернь учится внушать страх. И только произнесено вслух слово «вредитель», в мировом городе рушатся и горят дома. Какие совпадения! *«Заговор устроили знатнейшие граждане, чтобы предать государство огню»*.

Где прячут ворованный бетон? В фундаменте безобразных бронзовых циклопов и торжищ, куда торговцев сгоняют делиться.

Где прячут труп? Среди трупов. (Так прятали октябрьские концы 93-го среди погибших от пуль «снайперов оппозиции» — а кто видел хотя бы одного снайпера оппозиции? Мятежники Руцкого раздавали не снайперские винтовки; а ведь кто-то стрелял по москвичам с московских чердаков.)

А где прячут долги? В революции, где ж еще — спроси хоть Лужкова, хоть Мирабо, хоть самого Филиппа Орлеанского... Следовательно, у вас будет дефолт или революция, выбирайте: все равно будут оба.

Изумруды Семьи

Наш Катилина уже погрозил властям «судьбой Чаушеску». И своевременно г-н Боос — московский осветитель — просветил нас по румынской истории. Румыны тоже пробавлялись враньем про «несметные сокровища Семьи», пересказывая сочиненные мэром Бухареста байки про туфельки дочери Чаушеску — «из чистого золота с изумрудами».

Город Бухарест, кто не знает, — столица братской Румынии, где «освободительная революция» шла по сценарию октябрьского мятежа: и кстати — среди трупов горожан и гостей столицы «чердачных снайперов» тоже не нашлось. Ну прямо тебе Москва. Зато новая власть сориентировала всех искать изумруды Семьи. Пилите, Шура! Ищите золото партии, сокровища церковников, замки президентской дочки и ахалтекинских жеребцов мэрии.

...Заодно прибили старика президента со старухой женой — после процедуры «суда», знакомой любому, кто стал бы судиться с мэром в Хамовниках. И поделом — новая власть должна быть ясна.

Но постойте, постойте — где народные изумруды? Посветите нам, г-н Боос, где пилить!

А там, в сердечке всей этой суеты, за скупленными редакциями и муниципальными бандами, — неглупый человек, посмеиваясь над недалеким партнером, ждет своего часа. Под конец жизни ему все слаще власть. Сильный, спокойный, вдумчивый человек, он почти не делает ошибок. Как его зовут?

Барышня и Лужков

«В заговоре участвовали, хотя и неявно, многие знатные люди, которых надежды на власть побуждали больше, чем отсутствие средств».

Мысль, будто Примаков, став властелином страны, задумается в первую очередь о суде над Березовским или Гусинским, а не о голове меньшого брата Лужкова, объяснима лишь с зажмуренными от страха глазами. Подумайте, допустимо ли для старого волка — оставить столицу на человека, имеющего эдакое ноу-хау: урна для голосования с приклеившимися ко дну 90% бюллетеней ЗА — чудо-прием демократии, ее политический ломик. А риск иметь партнера, у которого к выборам — откуда ни возьмись — выныривают террористы, пугая обывателя взрывами. И снова трупы горожан и гостей столицы. И снова убийцы ушли, растаяли, нет их?

Волшебные урны, волшебные террористы... Не много чудес для примаконской державы? Нет, такого новая власть не потерпит. Такие урны ей вскоре понадобятся самой.

И вот тогда-то наш видный политик, опрометчиво вымолвивший — «вредил!» (слово не воробей — такое обвинение на Руси публично брошено впервые после 1953 года), сам украсит собою московский список. Это будет не избирательный список. Это будет список «московского дела» или «дела губернаторов». Тогда лучшего мэра в последний раз покажут по всем каналам ТВ, даже по каналу «ТВ-Центр». Но уже не в программе Бориса Ноткина.

«Вначале стали казнить всем ненавистных людей. Народ радовался и говорил, что это справедливо. Впоследствии своеволие усилилось, и они стали казнить по своему произволу, а прочих запугивать. Так поработенный народ тяжело заплатил за свою глупую радость».

Вот ведь и Красс финансировал Катилину, «уверенный в том, что в случае победы заговора он без труда станет его главарем»... А выиграл-то Цезарь! Знакомо слово «цезаризм», г-н Караганов?

А пока старцу с титановой клюкой люб его ручной дуче. Мудрый отставник осадит и пристыдит городских хулиганов, не правда ли? Ступай сюда, барышня власть... *«Сколько было таких, которые по своей недалекновидности его не считали врагом!»*

Сахару и зрелищ!

Катилина — городской партизан, не прячущийся по подвалам, он всегда на слуху. Он поставщик зрелищ для плебса, и он же раздает ему хлеб (новые долги, долги!..) *«Как бывает в подобных случаях, одни сообщали о знаменьях и чудесах, другие — об устраиваемых сборищах, о доставке оружия, о начинающихся в горах восстаниях... Люди торопились, суетились, не доверяли ни месту, ни человеку, не вели войны и не знали мира».*

В темной реальности все страшатся друг друга. Непонятная реальность черна. Фактов нет, фактами являются постановочные клипы. Сводки новостей именно из клипов и состоят. А телеведущие разъясняют стиль и дизайн клипмейкеров, тряся перед камерой чужими счетами.

Пресса, не смея описать экономику, охотно оттягивается в доносах на реальность — и досадует, чего там следователи медлят. Беспомощность анализа искупается копиями чьих-то платежей. Неужели есть банковские счета? И по ним (о ужас!) — движутся деньги? Зачем? Кто решал деньгам двигаться?! Так судят те, кто — все без исключения — имеет кредитные карточки и — часто — счета за границей.

Реальность есть преступление. Компромат — сбор улики на реальность, а куда нам сдавать улики? Новым властям. Добропорядочные граждане сидят дома и сосут ТВ. Им бесплатно достанутся хлеб и сахар; а об итогах выборов сообщит новая власть.

Появление «зрительских партий» — шаг к располитизации общества — «аудиторной политике». Это политика болельщиков. Вместо того чтобы заниматься политикой, народ смотрит, как ею занят другой — зато он вправе роптать. Или — млеть при виде любимца с титановой клюкой. *«Безумие охватило не одних заговорщиков; вообще весь простой народ в своем стремлении к переменам одобрял намерения Катилины».* Народ? Точней — плебс, зависящий от столичного бюджета лояльности. В поздней Империи партии болельщиков оставались единственной политикой для масс, они бились в кровь — на ипподромах. Были жертвы — за жеребцов властелина. И все это была шоу-политика, вроде «Итогов». Просмотрев «Итоги», попив чаю с сахарком и отправляясь спать, римлянин трясся от страха — сахар? сахар?

Как Рим одолел Катилину

Тем не менее, Катилину обыграли. Изящно просто: его назвали вслух тем, кто он есть — жалким мятежником. Человеком, откровенно презирающим конституцию и свободы Рима. *«Во имя бессмертных богов! — призываю вас, которые всегда дома свои, усадьбы, статуи и картины ставили выше интересов государства: если хотите сохранить все, чем вы дорожите, ...то пробудитесь наконец и принимайтесь за дела государства!»* — вот какие новые слова зазвучали в правительстве.

И демагогия вдруг выдохлась, рейтинг упал. Вор и должник (одному Крассу приходилось срочно возвращать 600 миллионов сестерциев) перестал рассматриваться как строгий критик нравов олигархии. *«Теперь речь не идет о том, хороши или плохи наши нравы, а о том, будут ли все эти блага нашими или же они вместе с нами достанутся врагам государства!»*

Подействовало. И тогда в федеральном собрании Катилине в лицо сказали — пшел прочь! Катилина бежал из Рима, прихватив свой имидж с собой.

А что он еще мог, главный демагог столицы? Притворно гневить правительство — зная, что суды куплены за харчи и нищие судьи запуганы? Насылать убийц, которых Цицерон просто не пустил в Дом правительства (не велел отпирать киллерам — те потоптались и ушли)? Так тут же АОЗТ киллеров разгромили, а самих их казнили по законам военного времени. Оставшиеся же *«в ужасе стали расходиться, радуясь тому, что их участие в заговоре осталось нераскрытым».* Кстати, когда дурман сошел, из иных тайных катилинариев получились прекрасные граждане Рима.

Названному вслух, всеми разгаданному — Катилине ничего не осталось, как поднять антиправительственный мятеж. Мятежа ждали —

кто предупрежден, тот вооружен. Кумир столицы левоцентристом не был — он пал с мечом в руке, совершив раз в жизни честный поступок.

Если мы свободное государство — самозванцу не стать президентом, не поломав страну об колено. Если мы уже сдались, угроза в нас самих, избирателях; это похуже Катилины. Чернь (то есть «электорат») из любого хозяйственника воздвигнет себе Катилину.

Управдомы столицы. Сутенеры и шлюхи с Тверской. Народо-вольцы МК, принимающие гонорар поштучно. Московские политические мародеры, как их поименовал Явлинский, катилинарии — *«множество людей крайне разнообразного, смешанного и пестрого состава. Они не столько спешат в бой, сколько медлят с уплатой налогов»*. Их заговор устроен открыто? Перечислим его участников поименно и силой властей пресечем безумства — *«если они усмотрят малейшую вашу слабость, то все, кто преисполнен наглости, немедленно окажутся здесь»*.

Ничего реально Катилина поделать не смеет. Этот кошмар Отечества — наше недоразумение, сумма политических недомолвок и оговорок. Взгляните на этот римейк Муссолини в упор — он комичен. ...Выкрикивая свои речи, не подпрыгивал бы, мил-человек!

«Людей этих я отношу к разряду грабителей и расхитителей имущества, но советую перестать им безумствовать и помышлять о проскрипциях и диктатурах». Цицерон. Не боялся именовать врага вслух, указывая на него пальцем.

12 сентября 1999 года, Москва

Опубликовано 6 октября 1999 года

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

Не все @ — ангелы, да и любишь немногих

Эмануэль Сведенборг. О небесах, о мире духов и об аде.
Предисл. Х.Л. Борхеса. Пер. с лат. А. Аксакова. —
СПб.: Амфора, 1999.

В конкурсе на самое затраханное слово последних пятнадцати лет победили ангелы. Во множественном числе, хотя и ангелу в единственном тоже досталось. Вот та загадка, которую надо обдумать, решая задачки из книги г-на Сведенборга, шведа, а книге уже триста лет. Книга его несомненно является задачником, суть которого в том, что каждому приведенному пункту в книге (там всякий эпизод нумеруется) следует найти соответствие в себе.

Что скрывать, будучи литератором я сам писал о них, ангелах. В связи с чем данная книга и была, наверное, выдана мне на рецензию г-ном Кузьминским, в чем его коварство. Коварство потому, что ангелы — это же как рыба. То есть, я, скажем, писал о кильке, а Сведенборг — о селедке. Или наоборот. А называются одним словом. В сравнении же меня со Сведенборгом нет никакой гордыни — между собой сравнимы все люди, употребляющие одни слова.

По своему опыту употребления могу сказать, что писал об ангелах тогда, когда хотелось условно назвать некое нечто — мало сказать хорошее и доброе, что исходило от людей, обстоятельств, отношений, разных историй, им не принадлежа, даже не осознаваемое ими. Да и было это в начале 90-х, когда власти почти не было и пространство могли разграничивать и управлять им именно ангелы. Поэтому то время было хорошим.

В данном случае речь о варианте описания жизни ангелов г-на Сведенборга. Но тут вопрос. А кто такой Сведенборг? А если он про-

сто как безумец бывший милиционер Виссарион, уведший ныне за собой куда-то в Сибирь своими речами большое количество последователей? Или же кот Борис из рекламы, которому поместили в лапу кисть с краской, а Сведенборгу — так же засунули в рот слово ангел? Просто Ебанько с Покровки? И вот эти рефлексии непонятно о чем, написанные непонятно кем и неведомо в каком состоянии, и предлагаются нам на рассмотрение.

Возможно, он просто певец Империи Карла XII (Сведенборг жил в 1688-1772 годах), как последний викинг, в молодости объевшийся мухоморов в обиде, что не успел к Полтавской битве. И так до конца жизни и думавший о Карловых войнах в небесах? Текст, собственно, писан, когда Эммануил С. жил уже в Лондоне, где, дописав, и умер.

Фактом своих писаний он осуществляет некую провокацию, строя почти таблицу Менделеева из ангелов, которые будто бы дали ему на это разрешение. При этом слово «ангел» оказалось настолько сейчас в топе, что эту книгу переиздали. Конечно, тут надо учесть еще и личную чуткость к подобным явлениям быстротекущей жизни Вадима Назарова, автора проекта «Личная библиотека Борхеса», в которой Сведенборг и вышел. За что Вадиму Борисовичу спасибо.

Далее же учтем важную для рецензий вещь: для них есть закон понижения градуса. То есть рецензия на поэзию имеет все черты поэтической прозы. Рецензия на прозу — почти мемуар, писанный критиком, всасывающим данный текст в свою жизнь. Как следствие, в рецензии на текст мировоззренческого характера требуется сделать нечто художественное. Ибо тексты, расписывающие ангелов по частям, несомненно являются руководством для пишущих прозу, ничуть не меньшим, чем постановления идеологических отделов для социалистических реалистов. Что ж, сейчас я буду делать из этой истории художественный текст.

Так вот, г-н Сведенборг являлся конкретным баламутом и, похоже, немного даже раздолбаем. Все его ангелы, упакованные вместе, в эстетическом смысле напоминают муравейник, в котором копошатся мотыльки. О нормальных ангельских чинах Сведенборг ведать не ведает, поскольку протестант. А у них же главное — польза себе и Отечеству, а никак не бесплотные сущности и теодицея. Собственно, если бы г-н Сведенборг свою книгу не написал, то социализм бы в Швеции так и не построили. Он, то есть, типичный лондонский эмигрант, на расстоянии от Отчизны ее благодетельствовавший, подобно многим иным лондонским эмигрантам.

Еще почему он баламут и раздолбай. В наших широтах ясно, что вся эта книга писана в соблазне: у нас же увидел нечто непривычное, так

креститься надо, а уж потом разговаривать, если там кто останется. Вместо этого — сорок бочек разговоров с бесами, принявшими ангельское обличие (да и обличие, надо сказать...). У нас так не принято. Соответственно, не построен и социализм.

Конечно, переход к общественной тематике возникает тут потому, что уж слишком у Сведенборга ангелы массово гуляют, отчего похожи на бесов. Ну или ангелы цвета хаки, сущность которых связана с цветом их одежд, а в хаки они потому, что чего ж это они, собственно, строем-то ходят?

То есть, про что все это? Мы не знаем ни типологии шведского счастья, ни физиологии Сведенборга. Сам текст, разумеется, держится на слове «ангелы» + манипуляции с означаемым. Учтем также уровень научно-технических, а также естественных знаний того времени — это не о том, что космонавты летали, а Бога не узрели, но о том, что регулярно употреблявшие мухоморы тогдашние шведы знали мало структур.

Дальше просто. Вы берете любую книжку, например — по теории групп, и производите автозамену: вместо слова «группа» — «ангел» или «ангелы». Вы получите практически полное соответствие книге Сведенборга, только падежи согласовать. Либо — в книжке по теории автоматов заменяете на ангелов машины Тьюринга. Эффект будет тем же.

А еще умнее — раз уж мы в Интернете — заменить на «ангела» слово урл/сайт/сервер. И тогда адрес станет его именем, и замена вполне корректна, поскольку пока отсутствуют исследования о надмирном происхождении и сущности веб-страниц. Из чего, кстати, следует глубокая укорененность Сети в какой-то подкорке или сути человека, но эту тему мне развивать не с руки, потому что еще немного, и вместо заказанной рецензии в отдел г-на Кузьминского мне придется пристраивать текст в отдел г-на Горного, а его еще поди-убеди в подобном взгляде на Сеть. Короче, любой URL — ангел, и даже больше: все @ — тоже ангелы, а иначе по их количеству Сведенборга не догнать.

Вот краткое руководство, как опознать ангела в быту. Ангел — это то, что (тот, кто) соприкасается с вашим личным опытом, не являясь его следствием. Поэтому:

1. Люди ангелов не видят и не опознают, они погружены в свой опыт.
2. То, что люди опознают в качестве ангела, — это не ангел, а примстилось что-то.
3. Люди придумывают истории под это слово, потому что есть такое слово.
4. Они боятся смерти и хотят справку о том, что все будет хорошо. Но никакой ангел им это пообещать не может, ибо это вне его компетенции.

Лирически продолжая, ангелы — это те, кто делает подсечку, после которой вы видите не асфальт, а небо. То есть они заходят со спины и бьют вашу жизнь под коленки. Условно говоря.

Так что если вы прочтете хоть пару страниц этой книги, то вы поймете, что единственный там ангел — сам Сведенборг.

То, что Сведенборг сам был ангелом, подтверждается тем хотя бы, что люди наиболее часто цитируют его высказывания о смерти. (*«Первоначальное состояние человека после смерти сходно с его состоянием в мире, так как он продолжает оставаться в рамках внешнего мира... Следовательно, он еще не знает ничего, что он находится в привычном ему мире... Поэтому после того, как люди обнаруживают, что они имеют тело с теми же самыми ощущениями, что и в мире... у них возникает желание узнать, что представляют собой небеса и ад.»*)

Можно посмотреть по любой искалке на Сведенборга в Сети — в основном он будет лежать на сайтах, изучающих жизнь после смерти, — в моудиевской халявной версии.

А речь о смерти вовсе не составляет основную часть его мессиджа. Значит, мессидж предназначен таким же ангелам, как он сам, а никоим образом не нормальным людям. Для ангелов же это просто справочник по тому, что есть человек (в книге постоянно появляется напоминание ангелам: *«это неизвестно в Мире»*, любой пункт текста начинается с отсылки именно что к ангельскому опыту, в сравнении с которым описывается опыт человеческий — не наоборот!), а людям ее читать вовсе не надо. Потому что Сведенборг — это же такой архангел Гавриил из анекдота.

Идет мужик и видит, как с обрыва два мужика с разбегу прыгают в пропасть, а их обратно на скалу закидывает. Он поднимается к ним и спрашивает:

— Мужики, а вы что делаете?!

— Да вот, тут мощные восходящие потоки воздуха, вот мы и катаемся на них.

— А можно мне попробовать?!

— Да, конечно, разбегись только!

Мужик разбегается, прыг со скалы, хуяк об дно и — в лепешку. А наверху один другому:

— Да, Гавря, ты хоть и архангел, но сволочь порядочная!

Но вы же не думали, что духовность — это одеколоном душиться?

**Редактор
Борис Кузьминский**

**Художественное оформление и оригинал-макет
Никита Ордынский**

**Верстка
Антон Винник**

**Корректурa
Елена Тимошкина
Светлана Фрик**

**Издательство «Рудомино»
(ЗАО Центр «Мультимедиа»)
129089 Москва, ул. Николоямская, д.1
Лиц. ЛР № 070082 от 10 ноября 1996 г.
ISBN 5-7380-0130-3**

**Тираж 1 тыс. экз.
Формат 70×100/16**

**Отпечатано в ППП «Типография «Наука».
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ № 285**



РУССКИЙ ЖУРНАЛ

WWW.RUSS.FU